АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ

ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ

ALEKSEI REMIZOV

RUSSIA IN THE WHIRLWIND

THIRD EDITION

WITH AN INTRODUCTION AND NOTES BY ANDREI KOZIN (BORIS FILIPOFF)

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1990

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
И КОММЕНТАРИИ
(ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ)
АНДРЕЯ КОЗИНА
(БОРИСА ФИЛИППОВА)

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1990

Aleksei Remizov: VZVIKHRENNAIA RUS'
With an introduction and notes by Andrei Kozin (Boris Filipoff)

First published in 1927 by Tair, Paris
Reprinted (with Andrei Kozin's notes added) in 1979
by Overseas Publications Interchange Ltd

This reprint of the 1979 edition
(with an introduction and amended notes)
is published in 1990 by Overseas Publications Interchange Ltd,
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

ISBN 1 870128 47 8

Cover design by Andrzej Krauze

The author's portrait by G. S. Vereisky

Printed and bound in Great Britain
by M & A Thomson Litho Ltd, Glasgow

ЗАМЕТКИ ОБ АЛЕКСЕЕ РЕМИЗОВЕ
(Читая *Взвихренную Русь*)

Слово, как оно не столько даже говорится, сколько выпевается: недаром Алексей Михайлович Ремизов (1877 – 1957) был чудодеем чтецом, а когда-то и певцом. Недаром в своей закатной, неизданной при жизни автобиографической повести *Иверень* жалобился: „И с моим пропадом мое слово, моя музыка, весенний воздух, — куда вы уйдете?" И при этом этот воздух, эта музыка, это напевное слово рисовались Ремизову одновременно и в зрительных образах, часто сновиденных, дремных, но графически и красочно отчетливых:

„— Вас зовут Алексеем.

Голос мне показался знакомым, и я очнулся.

Я хотел ответить, но почувствовал, что даже „А" не выговаривается, я только следил за начертанием своего имени: „Алексей". И вдруг „А" отделилось — и выходит аист: спотыкаясь, аист идет и прямо в глаза мои" (там же) .

И Ремизов не только живописал и выпевал свою словесную вязь, свою житейскую боль и горечь, но и талантливо и причудливо рисовал — был замечательным художником линии и краски (его весьма ценил, к слову сказать, Пабло Пикассо), был и исключительным каллиграфом — писал любым уставом и полууставом, любил заставки, заглавные киноварные буквы зачал, росчерки и круженья букв и около букв.

Но был ли он только высоким по совершенству мастером, чистым эстетом, до бешенства раздражающим некоторых (Бунин, к примеру, не мог о нем спокойно говорить)? Был ли он только лишь писателем для писателей, некой лабораторией русского художественного слова и образа, русской фразы, гневливо отталкивающимся от „немчуры", лишавшей русский язык и русскую грамматику их красочности и своеобычной стати (вспомним его проклятья Гроту, Гречу и другим)?

Да ведь не было в Ремизове, — при всей его приверженности к языку и почерку, образности и четкости подъячих времен тишайшего царя и тезки Алексея Михайловича, — ни квасного русопятства, ни отталкивания от **чужого**. Да и не были ему чужими ни затейливый узорчатый Восток (*Тибетские сказки. Заяшные*, Чита, 1921; *Е. Тибетский сказ*, Берлин, 1922; *Чакхчыз-Таасу. Сибирский сказ*, Берлин, 1922; *Лалазар. Кавказские сказки*, Берлин, 1922), ни библейская и агиографическая византийская условно-безусловная реальность (*Лимонарь. Апокрифы*, СПб, 1907; *Николины притчи. Сказания*, Петроград, 1917; *Никола Милостивый*, Москва, 1918; *Трагедия о Иуде. Представление*, Петербург, 1919; *Пляс Иродиады. Вертеп*, Берлин, 1922; *Звенигород Окликанный. Николины притчи*, Париж — Нью-Йорк, 1924; еще две книги „московских любимых легенд о Николе" — *Три серпа*, Париж, 1930; *Образ Николы Чудотворца*, Париж, 1931; *Звезда Надзвездная*, Париж, 1932; *Повесть о двух зверях. Стефанит-Ихнелат*, Париж, 1950), ни рыцарственная строгая кельто-романская графика и архитектоника раннего Средневековья (*Мелюзина*, Париж, 1952; *Тристан и Исольда*, Париж, 1957 — вместе с *Бовой Королевичем*). Да и состав последней, вышедшей еще при жизни автора, книги — *Круг счастья* (Париж, 1957): в ней якутский сказ *Тябень*, да библейские *Царь Соломон*, *Царь Соломон и красный царь Пор* и *Соломон и Китоврас*... Все, конечно, обруселое, но уж таков Алексей Ремизов: еще больше, чем обруселое, — обремизовленное...

Уход от жизни? Как и его вечные творческие претворения сновидений, как и его *Обезьянья Великая и Вольная Палата*, cancelarius'ом которой назначил себя ее творец, объявивший в манифесте „самодержавного повелителя лесов и всея природы Асыки Первого" „всем хвостатым и бесхвостым, в шерсти и плешивым приверженцам нашим, что здесь, в лесах и пустынях нет места гнусному человеческому лицемерию, что здесь вес и мера настоящие и их нельзя подделать и ложь всегда будет ложью, а лицемерие всегда будет лицемерием, чем бы оно ни прикрывалось"? (*Ахру. Повесть петербургская*, Берлин, 1922). Такой же уход от реальности, как развешанные на бечевках по

всей квартире полуабстрактные чертики и всяческая нежить, а то и просто какие-то хвостики?

Но ведь и раньше, в десятые годы, были сказы *Посолони* Москва, 1907), сказки *Докука и балагурье* (СПб, 1910), сказки *Укрепа* (Петроград, 1916), *Снежок* (Петроград, 1918), *Сибирский пряник* (Петербург, 1919) и, дальше, сказки и представления сценические *Бесовское действо* (Петербург, 1919), *Царь Максимилиан* (2 изд., Петербург, 1919), *Заветные сказы* и *Царь Додон* (обе книжки – Петербург, 1920 и 1921). А уже за рубежами России, кроме перечисленных выше, *Сказки обезьяньего царя Асыки*, *Трава-Мурава*, *Горе злосчастие*, *Русалия*, *Сказки русского народа. Докука и балагурье*, *Зга* (все, кроме *Зги*, выпущены в Берлине, в 1922 – 1925 гг.), *Голубиная книга* (Гамбург, 1946), *Бесноватые* и *Мартын Задека* (обе – Париж, 1951 и 1955) ...

А сколько осталось неизданным, особенно в годы 1931–1949, о которых сам Ремизов писал (в перечне своих книг в конце *Круга счастья*): „Тут меня и прикончили. И стал я альбомы делать: рукопись с картинками. Больше 200 альбомов, больше 200 рисунков. И сорвал правый глаз. Никогда не знаешь, что такое „черезчур".

Но и в так называемые реалистические вещи Ремизова (в *Крестовые сестры*, например, – 1922, первая публикация – 1910) нет-нет, да и врывалась та или иная чертовщина и нежить. Хотя бы во сне...

„... Почему-то какие-то сочетания у Мусоргского или у Чайковского и вообще музыка, песня и напоенное пламенем слово вдруг уводили меня в непохожий мир, жуткий и страшно мне близкий: там котлы кипят, смола течет и дразнящие перелетают огни, душа тоской – тоска о чем?" (*Иверень*).

Думается, что это вовсе не отказ от реальности, даже не естественная защитная реакция организма, не могущего вынести пыток действительности, а в особенности – нечеловеческих условий послереволюционных дней. Скорее – это некое постижение внутренней сути действительности, самой идеи ее: этим же путем шли и Гоголь, и Иероним Босх, и Гофман, и Брейгель.

Нет, жизнь в ее бесконечной изменчивости и необратимости скорее всего объективно и реально, более полнокровно отражается в легендах, в мифотворчестве, не государственно-принудительном, а народном. Ибо в легендах, в мифах, десятилетиями и веками, тысячелетиями отстаивается некая общая идея бытийности, а не случайная дробность так называемых фактов, всегда и всеми воспринимаемая совсем по-разному.

И мифотворчество Ремизова, если в грубо-биографическом, в психо-биологическом плане и было *отчасти* защитной реакцией, уходом от убийственной действительности, то в плане духовном, творческом — было скорее постижением идеи, сути происходящего.

В этом, в частности, и совершенно исключительная ценность — и в художественном, и в познавательном отношении — его Временника *Взвихренная Русь*, в котором реальнейшие факты и житейские наблюдения пронизаны сновидениями, мыслями вслух, трагедо-фарсовыми сценами молниеносной смены правительств с февраля по октябрь семнадцатого года — и карнавально-шутовских шествий к очередным вождям их верноподданных чтителей. И нет в этих экспрессионистических зарисовках, к которым Ремизов обращался неоднократно, дословно повторяя их полностью или частично (*Огненная Россия*, Ревель, 1921; *Шумы города*, Ревель, 1921; *Всеобщее восстание. Временник Алексея Ремизова*, в альманахах А. Белого *Эпоха*, Берлин, кн. 1, 2 и 3, 1922; наконец, *Взвихренная Русь*, Париж, 1927), ни малейшей контрреволюции, никакой предвзятости.

Ведь писал их бывший революционер, даже примыкавший к марксистам, поплатившийся за это тюрьмами и ссылками, с 1896 года по первые годы нашего века... Да и человек, формально оставшийся гражданином СССР (или ставший им после Второй мировой войны) ... Правда, сам-то марксизм, даже молодого Ремизова, был липовым, порожденным больше жгучим состраданием к угнетенному и замученному рабочему люду, чем идейными соображениями: „... А мой марксизм? — вспоминал он в *Иверени*, уже на склоне лет, — Когда Федор

Иванович примется объяснять „производственными отношениями" самое, казалось бы, темное, запутанное в жизни человеческой, выходит все просто, наглядно, стройно и вразумительно и уж никаких вопросов, а я в пустяках путаюсь".

Но вот эта-то „стройность и вразумительность" и вскоре же отпугнули Ремизова: где уж в нашей ирреальной реальности, где уж в житейской путанице — с главенством в нас самих не рассудка, а подсознательного — найти эти самые „наглядность и стройность"!

И в творчестве Ремизова все более и более начинает господствовать иррациональное начало, разорванность бытийных планов, даже синтаксическое своеволие, отпугивающее немалое число не только рядовых читателей.

В 1978 году, впервые после 1921 года, вышла в СССР книга А. М. Ремизова *Избранное* (Москва, ГИХЛ). И, конечно, во вступительной статье, в общем достаточно содержательной, Ю. А. Андреев должен был сказать, что Ремизов до отъезда из СССР в 1921 году „издал 37 книг. С 1921 года по 1957— 45 книг. За рубежом, таким образом, написано многое. И, однако, когда потребовалось составить однотомник его избранных, лучших произведений, почти невозможно оказалось ввести в это издание хоть что-либо, написанное в эмиграции, за исключением некоторых действительно ярких эпизодов из воспоминаний о давнем прошлом, ибо в большинстве своем послереволюционные вещи редко выдерживают даже снисходительное сравнение с теми, что были созданы на Родине".

И Ю. А. Андреев не может не отталкивать от себя (хотя нет-нет, да и прорвется в его статье подспудная увлеченность творчеством Ремизова-эмигранта, наиболее полноценным и полнокровным периодом его творчества) зарубежного Ремизова, утверждая, что апогей творчества последнего — его „звездная" пора, пора реалистических произведений — самое начало века. А пора эмигрантская — ну, это упадок: в лучшем случае — автобиографические повести, а так — больше всего сказочки да легенды...

Но то и дело цитирует он тогда еще неизданную *Иверень*, сам, видимо, упиваясь ее языком и образностью: „Цвет, переполняясь

краской, звучит, и звук, дойдя до краев, напряженный, красится, и мое — моя душа, взбудараженная, переполнившись, выбилась словом, заговорила"...

* * *

Меня всегда поражало: говоря о Ремизове, подчеркивают его скомороший сказ, его юродство, хвостики чертят и всяческой нежити, развешанные в его порядком беспорядочной квартире. Вспоминают известную хитрецу, просвечивающую во всем его облике. И как-то редко-редко видят глубочайшую трагичность его жизни и творчества: не уныние, а безысходную печаль, прорывающуюся в самых беззаботных, на первый взгляд, его произведениях, часто автобиографических, еще чаще — полуавтобиографических. И вот еще: это то, что большинство читателей — и вообще людей — никогда не прощает: оригинальность неповторимо-одинокой личности, личности беззаветно творческой, отсутствие в его вещах уже давно и всеми проторенных, давно исхоженных мест и путей.

„Припоминая только свое „безысходное", я курил мою горькую полынь и в глазах у меня темнело. Всю жизнь меня тыкали: пишу непонятно и не гожусь или „не подхожу к нашему читателю". А издатели не принимали моих книг: „я не самоокупаем". И те из пишущих, кому помог в ремесле, стесняются моего имени или просто плюют на меня. В газетах меня печатают из милости. Можно ли привыкнуть просить? Нет. Скорчась — я ведь и горбатый-то от попрошайства — я попросил бы, да нынче нету газет, некуда сунуться. И вспоминая свой пропад, я отходил, не спрашивал... И чернота кутала меня..."

Пишущим собратьям Ремизов помогал безотказно. По себе знаю. И сколько писателей, и в СССР тоже, шли по его стопам. Но, увы, чаще всего чисто формально. Мало и недостаточно учился у Ремизова Алексей Толстой. Недостаточно — Пришвин: слишком уж был он приземлен ужасающе приземистым позитивизмом. Пильняк был слишком разболтан и расхлябан, да и культуры недоставало. Прочие же прозаики-„орнаменталисты" двадцатых годов понимали зачастую не выше сапога элементар-

ной литературной техники, как ни муштровал их в „Доме Искусств" в студиях и кружках едкий и умнейший Замятин (может быть единственный, кто, наряду с Михаилом Булгаковым, воспринял немало от Ремизова). Уж не Леониду ли Леонову понять было ремизовское время и ремизовскую обратную перспективу? Или ремизовский литературный портрет-гротеск?

„... А по мне: ведь лучший портрет тот, где карикатурно, а, значит, не безразлично", — обращался Ремизов к В. В. Розанову (этим-то путем и идет за Ремизовым Михаил Булгаков, писатель совершенно иной тональности, но многим Ремизову обязанный). Это писал Ремизов в „розановых письмах" — своей книжке *Кукха* (Берлин, 1923).

Вот и рисовал Ремизов — и словами, и красками, и пером — и шаржи, и карикатуры, и случайные брызги чернил, чуть тронутые пером или карандашом, — и „закрутами" слов, — и образ случайного и произвольного в нашей жизни получался у Ремизова — в прозе ли или в рисунке — или в стихах (у него плохо отличимых от хорошо ритмизированной прозы) — не надуманным, а заживо выхваченным из жизни, не из случайной ее шелухи, а из ее бытийственного ядра.

А у него прозаики-орнаменталисты чаще всего и заимствовали лишь его внешнюю скорлупу-форму. Заимствовали, учились у него, а ему-то самому никак не помогали — даже просто заработать на жизнь...

Ремизову дивовались, его чурались, хотя никто не удивлялся в начале века ни хореодействам Вячеслава Иванова, ни „театру для себя" Евреинова. А вот скоморошьим действам в быту и на сцене Ремизова удивлялись и насмешливо пожимали плечами. И никак не хотели понять, что в творчестве и в жизни этого большого писателя было два крепко связанных друг с другом плана-слоя: непосредственное творение литературы и творение своей жизни, своей личной биографии. И в творчестве — чаще всего начало исповедальное, почти сплошь трагическое или иронико-трагическое. И другой план-слой — литература — и жизнь опосредствованные, как бы вторичные — полное осовременивание образов, идей и самого языка прошлых веков и прослеживание в современности не истоков даже, а сокровен-

ного **нутра** прошлого. Но опосредственной-то эта литература (и жизнь) была лишь для поверхностного взгляда. Сам же Ремизов рассматривал и время, и престранство в перевернутой, в обратной перспективе.

И поэтому ходил запросто по Советской России Никола Милостивый, а Король Марк (в *Тристане и Исольде*) слал телеграммы и чуть ли не разговаривал с Тристаном по телефону... Отсюда же и такое пристальное внимание Ремизова к снам: ведь в сновидениях мы как раз наиболее непосредственно соприкасаемся с самими собою — и с самою действительностью, не загроможденной для нас во сне сумятицей и дрязгом, пестрядью дневных дробностей. Да и сон часто является памятью будущего — перевернутой памятью прошлого, предвиденьем. А многие приятели и друзья Ремизова умоляли его: „Алексей Михайлович, пожалуйста, не видьте нас во сне!"

Трагедия жизни — и трагическая память. Трагедия жизни, разделенной и порабощенной временем и пространством. Они отделяют нас от наших любимых, от всего, что нам дорого.

„... И разве забыть мне каменные сквозящие плиты, тесные пределы у Николы Великорецкого — в храме Василия Блаженного, и эти тяжелые вериги по стене — какими глазами я глядел на них! Это были *мои* вериги — добровольно надеть на себя и идти в мир за страдой. Но однажды, выйдя на Красную площадь и невольно сторонясь кровавого Лобного места, я вдруг остановился: явственно надо мной выговаривал дьячий голос — „а велел его держать за крепкими сторожи, сковав руки и ноги и на шее цепь". Transes perpétuelles... боязнь кругосветная или всесветный страх. Узел неразвязываемый и никак неразвязывающийся. Я окружен постоянным страхом и невозможно привыкнуть"...

Страх жизни, трагической жизни, трагической неизбывной цепи поколений, а в наши дни жизни, испещренной кровавой неразберихой войн и революций; преизбывающей потерями наиближайших, скитаньями, голодом и холодом (и в самом прямом — и в духовно-душевном смысле слова), кровавыми расправами. Иной раз не только хочется, но просто необходимо видеть за этой реальностью другую, — иначе не станет ни сил,

ни охоты жить. Но ведь это так и есть: за этой нашей реальностью — другая, более реальная.

„Работаю, стиснув зубы. Говорят, пишу непонятно. А я не могу снижаться до понимания людей, которые не дают себе труда подумать над тем, что читают... Да и кто читает? Вот французы признают меня, а русские — нет" (Андрей Седых. *Далекие, близкие*) .

Одинокий — из-за своеобычности. Одинокий, ибо за мнимой действительностью повседневья видел реальность с у т и. Да еще: если бы была у Ремизова крепкая *вера*. А хотя и столько писал он и о Звезде Надзвездной, и о Николе Милостивом, но вера-то его — больше от эстетики. Вот страдание и сострадание, вот возмущение горькими судьбами мира сего — это горячо, как и в дни юности и революционных увлечений. Недаром написал он и об Ангеле Страстей Господних, нестерпевшем лицезрения страстей Господних: увидел он Распятое Слово, увидел тяжкую несправедливость мук Праведника, да еще Богочеловека, и не смог утешиться холодными рассуждениями об искупительной Жертве за человечество: метнул копье негодования, жалости и мести в тьму веков и тьмы людские... В Ремизове, несомненно, жили и Фома Неверный („Верую, Господи, помоги неверию моему!...) , и Иван Карамазов с его неприятием Царствия Божия — из-за страданий ни в чем неповинных...

Даже не трагедия: безысходность. В этом и „закруты памяти" Ремизова. „... Я подумал: когда на меня нахлестывает черная волна и сердце мое вдруг обнажается, что это? может быть это оттуда? Не знаю как назвать: память?"

Прочтите редчайшую по красочности, ярчайшую и умную ремизовскую хронику революционных лет. *Взвихренная Русь*. Мало кто так великолепно воплотил в слове эти годы, когда миллионные толпы бежали — кто от голодной смерти, в поисках более сытых мест; кто — от красного террора, от пыток и смерти в застенках ЧК; кто бежал, наоборот, к красным, а кто в Белую армию... „Я никода не думал, что можно так безнадежно терять голову. Или, действительно, страх осетил душу и безголовым подхестывал ноги? ... И куда девалось чутье деловых людей и счетчик — глаз купца? Бежать! И одна только грозная

воля: беги! И ноги – единственное, что что-то еще значит, ноги – преимущество давно исчезнувших скороходов и состязающихся для забавы бегунов – стали первым, а все остальное от головы – так..."

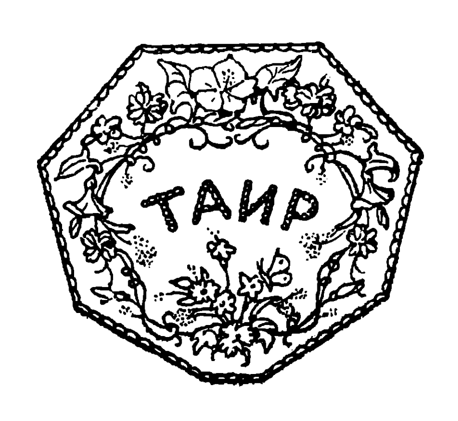
Вы скажете, но ведь люди и боролись, и воевали за свою идею, и отстаивали ее в спорах... Да, но страх обуял миллионные толпы. Но он – „Пилатов грех" (в *Мастере и Маргарите* Булгакова) – царил в стране.

И эту-то смятенную, мучительно страждущую, грешную и распущенную, но бесконечно дорогую ему Русь, Русь, взвихренную революцией, ярко и правдиво рисует нам эта книга, книга Алексея Ремизова.

Борис Филиппов

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ

ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ



ИЗД. ТАИР

ПАРИЖЪ

1927

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ

ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ

ИЗД. ТАИР
ПАРИЖЪ
1927

Imp. de Navarre, 5, rue des Gobelins, Paris.

Посвящаю
С.П. Ремизовой Довгелло

БАБУШКА

Насъ въ вагонѣ немного. Было-то очень много — въ проходѣ стояли, да слава Богу, кто въ Гомелѣ высадился, кто въ Жлобинѣ, кто въ Могилевѣ, вотъ на просторѣ и ѣдемъ.

Старикъ, дровяной приказчикъ съ Фонтанки, вылитый Никола съ Ѳерапонтовскихъ фресокъ, весь удлиненный, а лицо поменьше, — въ Новгородъ на родину ѣдетъ; курскій лавочникъ съ женою, степенные люди, въ Петербургъ ѣдутъ — Петербургъ посмотрѣть, да бабушка костромская Евпраксія.

Всѣ съ богомолья ѣдутъ изъ Кіева.

Показался имъ Кіевъ, что рай Божій: ни пьющаго, ни гулящаго не встрѣтили богомольцы въ Кіевѣ, ни одного не видѣли на улицѣ безобразника, а много вездѣ ходили — ходили они по святымъ мѣстамъ, службы выстаивали, къ мощамъ да къ иконамъ прикладывались.

— Не городъ, рай-городъ!

— Лучше нѣтъ его.

— Въ трактирахъ съ молитвою чай пьютъ.

— Съ молитвой закусываютъ.

Только и разговору — Кіевъ: хвалятъ-не-нахвалятъ, Бога благодарятъ.

Бабушка въ сѣренькой кофтѣ, темная короткая юбка, въ темномъ платкѣ. Бабушка все по-монашески, и не скажетъ какъ-нибудь «спасибо», а по-монашески — «спаси, Господи!» Прижилась, видно, къ святынямъ и сама вродѣ монашки сдѣлалась.

Долго и много хвалятъ Кіевъ, о подвижникахъ разсказывали, о нечистомъ; не обошлось и безъ антихриста.

Бабушка и антихриста видѣла — только не въ Кіевѣ...

«три ему года, три лѣта, а крестилъ его попъ съ Площадки Макарій, и было знаменіе при крещеніи, самъ батюшка разсказывалъ, когда погружали дите въ купель, крикнулъ нечистый: «ой, холодно»! — и пять разъ окунулъ его батюшка, а когда помазывали, кричалъ окаянный: «ой, больно! ой, колетъ! ой, не тутъ»!

— Три года ему, окаянному, въ Красныхъ Пожняхъ живетъ, — пояснила бабушка, крестясь и поплевывая.

Такъ потихоньку-да-полегоньку въ благочестивыхъ разговорахъ и ѣхали.

Но вотъ и ко сну пора — попили чайку, солнце зашло — пора спать.

*

Лавочникъ съ лавочницей принялись постели себѣ готовить, одѣяла всякія вытащили, войлокъ, подушки — примостились, какъ дома.

И старикъ новгородскій примостился удобно.

Только у бабушки нѣтъ ничего: положила бабушка узелокъ подъ голову — узенькую скамейку у окна у прохода выбрала она себѣ неудобную, помолилась и легла, скрестивъ руки по-смертному.

И я подумалъ, глядя на ея покорное скорбное лицо — на ея кроткіе глаза, не увидавшіе на мѣстѣ святомъ ни пьяницы, ни гулящаго:

> «Бабушка наша костромская, Россія наша, это она прилегла на узкую скамеечку ночь ночевать, прямо на голыя доски, на твердое старыми костями, бабушка наша, мать наша Россія»!

И все я слѣдилъ, какъ засыпала старуха.

«Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя»!

Съ молитвой затихала бабушка — и затихла — похрапываетъ тихонько — заснула бабушка крѣпкимъ сномъ.

— —

Тутъ лавочница вспомнила, должно быть, слово Божіе о ближнемъ, да и по жалостливости своей пожалѣла бабушку, — поднялась съ постели, шаритъ, вытащила тоненькое просѣтившееся одѣялишко и къ бабушкѣ: будитъ старуху, чтобы подостлала себѣ!

Растолкала старуху.

— Спаси Господи! — благодарила старуха, отказывалась: ей и такъ ничего, заснула она.

Но лавочница тычетъ подъ-бокъ одѣяло — тормошитъ старуху.

И поднялась бабушка, постелила лавочное одѣялишко, еще разъ благодаритъ лавочницу — и легла.

Легла бабушка на мягкое — а заснуть и не можетъ: не спится, не можетъ никакъ приладиться, заохала:

«Господи, помилуй мя»!

А и молитва не помогаетъ, не идетъ сонъ, бока колетъ, ломитъ спину, ноги гудутъ.

А лавочница богобоязная, лавочница, «доброе дѣло» сдѣлавъ, завела носомъ такую музыку, — одна поетъ громче паровознаго свиста, звонче стука колесъ — на весь вагонъ.

Слѣдилъ я за бабушкой —

> «Бабушка наша костромская, Россія наша, и зачѣмъ тебя потревожили? Успокоилась вѣдь, и хорошо тебѣ было до солнца отдохнуть такъ, нѣтъ же, растолкали! И зачѣмъ эта глупая лавочница полѣзла съ своимъ одѣяломъ человѣка будить»?

Но , видно, услышалъ Богъ молитву, внялъ жалобамъ — заснула бабушка, тонко засвистѣла сѣрой птицей.

> «Слава Богу! — подумалъ я, — успокоилась. Ну, и пусть отдохнетъ, измаялась — измучили ее, истревожили. А чуть свѣтъ, подымется лавочница, возьмется добро свое складывать, хватится одѣялишка, пойдетъ, вытащитъ изъ-подъ старухи подстилку эту мягкую, разбудитъ старуху, подыметъ на ноги: ни свѣтъ, ни заря, изволь вставать. Ничего не подѣлаешь. А пока — — бабушка, костромская наша, мать наша, Россія»!

ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ

ВЕСНА-КРАСНА

I

СУСПИЦІЯ

Василиса Петровна Старостина, кореня переяславскаго изъ деревни Черницыной, женщина степенная, сердцемъ неуходчивая: западетъ ей отъ слова ли, отъ встрѣчи ли, не отпуститъ, замаетъ. Станетъ Василиса свое сердце разговаривать: себѣ скажетъ, тебѣ выскажетъ, — мало! — пойдетъ въ дворницкую.

Хозяинъ Василисинъ, Димитрій Евгеніевичъ Жуковскій — доброй души, не злопамятный, ученый человѣкъ, философъ:

— Членный билетъ потерялъ!

Расчитывала Василиса по этому билету кое-какого запасу на зиму сдѣлать, прошлымъ лѣтомъ запасовъ на Москвѣ было не мало, да съ пустыми руками кто тебѣ повѣритъ? И не можетъ Василиса забыть о билетѣ, еще бы: во всѣ дома всѣ сосѣди всякій себѣ тащитъ, кто сахару, кто крупъ, кто муки, кто чего, а у нея на полкахъ въ кухнѣ однѣ шкурки тараканьи, вотъ и схватитъ, рѣдкій день не услышишь объ этомъ пропащемъ билетѣ.

— Сто человѣкъ не надо за одного ученаго! — честитъ Василиса хозяина, крася и хваля за доброту его, но билета она ему не можетъ простить, — членный билетъ потерялъ!

А живетъ Василиса на Собачьей площадкѣ во дворѣ въ большомъ каменномъ домѣ — на томъ дворѣ конурка, въ конуркѣ Жучокъ собака, домъ стережетъ.

О билетѣ всякій день, и рѣдкій день безъ войны.

О войнѣ, о ея тяготѣ напастной, о смущеніи, о той самой суспиціи, (по слову Н. А. Бердяева), изъ-за этой войны, которая суспиція, какъ грѣхъ, ходить пошла среди людей, военныя тревожныя мысли не оставляютъ Василисину думу и нѣтъ разговору противъ потревоженнаго ея сердца.

— Харчи ни до чего не доступные, — говоритъ Василиса, — если три года пройдетъ война, всѣ съ голоду пропадемъ. Чего будемъ ѣсть? А то: «Давайте терпѣть»! Терпѣть? Никому и не будетъ: ни здѣсь, ни тамъ. Народъ-то пошелъ: шея чуть не оторвется, лицо землей покрылось. Война заставила всѣхъ чернѣть. Который остался, не служитъ, много получаетъ, много и проживаетъ. Завидовать некому. И для чего эта война? Людей бить? А послѣ войны будутъ бить другъ друга. Кто тутъ виноватъ? на кого же бросаться? И давай другъ на друга. Другъ друга душить будутъ.

Я сижу у окна лицомъ къ конуркѣ, рисую картинки — «Рожицы кривыя».

Когда я въ первый разъ вошелъ во дворъ, я забоялся Жучка, а Жучокъ залаялъ, меня забоялся. Теперь мы пріятели, я Жучка рисую. Чуть проглянуло и опять дождя надуваетъ.

— Плохо, нехорошо стало, — говоритъ Василиса, — а кто много претерпѣлъ? Народъ. Богъ милосердный, да много прогнѣвали. Жалко народъ, ни за что такъ пропадаетъ. Лучше ужъ совсѣмъ убить, а чтобы пустить доживать: рыло сворочено, носъ вырванный. И для чего это война?

Людей бить? У насъ сказываютъ, не пулями, опилками стрѣляютъ, а у него не то: снаряды хорошіе, стеклами порятъ, газомъ душатъ. А намъ нельзя: мы православные. Ему позволено душить. Такъ и воловъ не бьютъ. Земля разрывается: сверху бьютъ. Это не воевать, а бить. А простой народъ, за что онъ пропадаетъ? Кто будетъ отвѣчать? Цари собрали народъ и давай душить. На смѣхъ ли? Отъ ума ли? Только прицѣпились къ жизни, выбрались изъ копчушекъ, а ихъ на войну. «На томъ свѣтѣ всѣ ангелами станутъ»! — попы читаютъ.

Василиса вышла къ себѣ въ свою комнатенку, поправила лампадку: кіотъ у нея золотой съ золотымъ виноградомъ. Раскалилась, не можетъ стать: какую страду ей надо нести! Сына ея убили — забыть не легко.

— Скоро, знать, свѣту конецъ, — говоритъ Василиса, — скоро все перевернется. Жуликъ пошелъ, воръ на ворѣ, озорнѣе стали. Убить человѣка ничего не стоитъ. Сердитые отъ горя: у кого убили, у кого уродъ. И такъ отступлены отъ Бога, а тутъ совсѣмъ пропадъ. Для чего это война? Жизнь разсыпается, жить нехорошо стало. Не до Бога. Люди озлились, стали гордые, злые. Прежде придешь въ лавку: «Пожалуйста — пожалуйста»! А теперь: «Поди вонъ»!

Въ Кречетникахъ ударили ко всенощной. Дождикъ холодный, не ильинскій. Спрятался Жучокъ въ свою конурку. Зажечь лампу что ли?

— Ни мука, ни зола, — слышу голосъ изъ кухни: Василиса сама съ собой — все это кара.

II

КРОВАВЫЙ МОРЪ

Въ клопиной заставленной комнатенкѣ на Каменноостровскомъ подъ небесами — квартира изъ чердака приспособлена, и вода по утрамъ не подымается — сидимъ распаренные за самоваромъ.

Марья Ивановна Курицына разливаетъ чай, хозяинъ Курицынъ угощаетъ, прапорщикъ Прокоповъ разсказываетъ: съ перваго дня мобилизацiи онъ призванъ, до войны служилъ въ банкѣ, и вотъ уже третiй годъ въ тылу на самой спѣшной службѣ.

— Я такъ рѣшилъ, нѣтъ больше никакихъ силъ, раздѣнусь до-нага, выйду на Знаменскую площадь и пойду. Все равно.

Весь день вчера и сегодня дождь, и теперь за окномъ сквозь дождь расплывающiеся бѣлые фонари и скользящiй шипъ по скользкому торцу неугомонныхъ автомобилей. Каждый день съ утра хожу я по «Новому Времени», ищу квартиру или комнату, мнѣ все равно ужъ, стою въ очереди, дожидаясь осмотра — и одно мнѣ горе: всякiй разъ, когда до меня доходитъ очередь, квартиру занимаютъ, или хозяйка, узнавъ о моихъ занятiяхъ, отказываетъ, переходя къ моему счастливому сосѣду, а сегодня одна дама сказала мнѣ совсѣмъ откровенно, что мужъ ея самъ писалъ въ газетахъ, знаетъ она, что за народъ «писатель», и ни за что не передастъ мнѣ квартиры; а квартира очень подходила. А то и такъ: купи мебель и квартира твоя, цѣна же не въ сотняхъ, а въ тысячахъ.

Курицынъ, прiютившiй меня въ клопиной комнатенкѣ, высматривалъ квартиры и доносилъ въ какое-то военное

учрежденіе,и квартиры реквизировали, такая его должность, Курицынъ клялся, что онъ во что бы то ни стало достанетъ мнѣ квартиру, но я-то ему совсѣмъ не вѣрилъ, и только крутой и крѣпкій чай съ сахаромъ и бѣлымъ хлѣбомъ — Марья Ивановна запасливая! — меня успокоили, а то ей Богу, какъ прапорщикъ Прокоповъ.

— Я бы радъ служить, да не могу, нѣтъ больше силъ, — тянулъ свое прапорщикъ Прокоповъ, — раздѣнусь я до-нага, выйду съ дежурства на Знаменскую площадь и пойду. Мнѣ все равно.

Марья Ивановна лѣтомъ ѣздила на богомолье, бывала въ Верхотурьѣ и привезла пророчество затворника Макарія:

«Если въ семнадцатомъ году народъ не покается, черезъ двѣнадцать лѣтъ Богъ накажетъ, пошлетъ кровавый моръ».

Но этотъ моръ уже шелъ, третье лѣто косилъ безпощадно, и только вѣра Марьи Ивановны ждетъ его на двадцать девятый годъ.

И прапорщикъ Прокоповъ ей доказывалъ, что въ семнадцатомъ году, а семнадцатый годъ черезъ три мѣсяца, вся жизнь замретъ, желѣзныя дороги станутъ — все износилось, а поправлять некому и нечѣмъ! — и каяться будетъ поздно. Кровавый моръ дѣлалъ свое дѣло.

— Если опросить всѣхъ поголовно, — говоритъ хозяинъ Курицынъ, — у насъ, и въ Германіи, и въ Англіи, и во Франціи, чтобы сказали всѣ по совѣсти, кто воевать хочетъ и кто противъ, я увѣренъ, мало дураковъ нашлось бы.

— Я бы радъ служить, да не могу, нѣтъ больше силъ, — свою пѣсню пѣлъ прапорщикъ Прокоповъ, не видя конца бойнѣ (моръ все равно все погубитъ!), этой азартной войны безъ конца, — раздѣнусь я до-нага, выйду съ дежурства на Знаменскую площадь и пойду. Мнѣ все равно.

III

ЗВѢЗДА СЕРДЦА

Послѣ пасмурныхъ дней, осеннихъ, закрывшихъ крылатое Бештау и дымяшійся отравленный Машукъ, послѣ тоскливыхъ дней туманныхъ, сровнявшихъ съ дикой неоглядной степью бѣлоснѣжный кряжъ съ далекимъ крайнимъ Эльбрусомъ, среди ночи я увидѣлъ лермонтовскія звѣзды.

Словъ я не помню, кому и о чемъ, я не помню, и какой молитвой молился, видѣлъ я звѣзды и такъ близко до боли, и такъ кровно, какъ свое, всегда со мною, и память, широкую, какъ звѣзды, отъ звѣзды къ звѣздѣ и по звѣздамъ сквозь туманы путь —

сквозь туманъ кремнистый путь —

Послѣ ночи я поднялся рано. Бѣлый бѣлоснѣжный кряжъ съ Эльбрусомъ ясный леденилъ утро. Бештау, весь — черный, распахнувъ летучія крылья, смотрѣлъ затаенно въ своей демонской первородной тоскѣ. И только отравленный Машукъ дымился.

Это было въ Грузинскую и я вспомнилъ нашъ храмозой московскій праздникъ, садовника Егора: на всенощную принесъ Егоръ изъ Найденовской оранжереи гирлянду изъ астръ, георгиновъ и пунцовыхъ и бѣлыхъ флокусовъ и положилъ на аналой къ Божьей Матери; за всенощную цвѣты помяты, но цвѣтную свѣжесть — послѣдніе цвѣты! — да еще запахъ душистаго мvра, которымъ батюшка мазалъ, когда прикладывались, и запахъ воска отъ свѣчей, — я такъ это почувствовалъ и почуялъ, и уже не видѣлъ ни

демонскаго Бештау, ни бѣлаго Эльбруса, я стоялъ тамъ въ бѣлой любимой нашей церкви на Воронцовомъ полѣ у аналоя, гдѣ лежала гирлянда.

И вдругъ слышу — гдѣ-то внизу у дороги, словъ не разобрать, бродячая пѣвица. А потомъ догадался: новая уличная пѣсня! — и это былъ такой голосъ, какъ гирлянда тамъ на аналоѣ изъ астръ, георгиновъ, изъ пунцовыхъ и бѣлыхъ флокусовъ — послѣднихъ цвѣтовъ.

И я понялъ подъ уличную пѣсню, всѣмъ сердцемъ почувствовалъ въ эту минуту не ту злую войну, которую видѣлъ и чувствовалъ по искалѣченнымъ и увѣчнымъ одноногимъ, однорукимъ, безногимъ и безрукимъ, не ту проклятую, посланную на горе сътяготой нашей безкормной, голодомъ, холодомъ, нуждою и горемъ неизбывнымъ — сына убили, забыть не легко! — не распоротые свинцомъ и желѣзомъ животы, не развороченное мясо, не слѣпую безразличную пулю — будь ты деревомъ, камнемъ, лошадью, стѣною или человѣкомъ, ей все равно, безъ пощады! — не кровавые и гнойные бинты, не свалку нечистотъ, не вошь и вонь, не бойню, — такъ и воловъ не бьютъ! — нѣтъ, совсѣмъ другое, другое небо и землю, никакую бойню, а поединокъ за звѣзду своего сердца – за родину съ ея полями, съ ея лѣсомъ, съ говорливой рѣчкой, старымъ домомъ, мирною заботой, церковью и древнимъ соборомъ, съ колоколами, съ знаменитымъ распѣвомъ, съ красной Пасхой, съ пѣсней, со словомъ.

И будь крылья, полетѣлъ бы на то поле, гдѣ вольно умираютъ за звѣзду своего сердца, и умереть за Россію, за колыбель нашу, за русскую землю.

IV

ПО РАТНЫМЪ МУКАМЪ

На Дмитровъ день пришелъ и мой чередъ.

Отдалъ я писарю синій билетъ и пересталъ быть: былъ человѣкъ, сталъ ратникъ.

Говорилъ мнѣ Терентій Ермолаичъ, полотерный мастеръ: «взять насъ не возьмутъ, а только измучаютъ». Старый солдатъ — удушливые газы разрабатывалъ.

Такъ оно и вышло.

Съ утра я являлся въ казармы и ждалъ.

– Приходи завтра! — не глядя, за дѣлами, огрызался писарь.

— Подожди на дворѣ! — отмахивался еще болѣе занятой, весь осинѣвшій отъ синихъ билетовъ, которые принималъ изо-дня въ день безъ счета.

Терпѣливо я ждалъ на дворѣ. Выходила перекличка, но меня не выкликали, и я шелъ домой, чтобы на слѣдующее утро снова итти въ казармы и ждать терпѣливо.

— Приходи завтра!

— Подожди на дворѣ!

Такъ изо-дня-въ-день.

И чѣмъ дальше, тѣмъ злѣе становился писарь — надоѣстъ вѣдь одно и то же! — а я нетерпѣливѣе: или забыли меня?

Еще чего захотѣлъ: забыли? Не забыли. Не одинъ я, насъ много такихъ — синихъ.

И вотъ дождались: выкликнули, построили и повели.

Толклись въ «околодкѣ» у доктора.

Тутъ всякія килы показывали и язвы, и жилы синія.

Какой-то старикъ — по документамъ сорокалѣтній — растерянно обращался ко всякому:

— У меня, — повторялъ онъ, — хроническая гонорея, воспаленіе пузыря.

И такъ жалобно морщился, по этимъ его морщинкамъ больнымъ видно было, какая это боль его каменная.

А другой показывалъ сюда — на сердце: не жила, такъ не увидишь.

Сидѣли на корточкахъ костлявые и опухшіе съ градусниками. Одѣтые и полураздѣтые стояли въ очереди.

Докторъ много не разговаривалъ, ставилъ статью: такая-то статья и слѣдующій. Въ «околодкѣ» не задерживали.

И тѣ, кто раздѣвался, живо одѣлись.

Ужъ безъ строя, разбереженныхъ и встряхнутыхъ, повели назадъ во дворъ.

И опять перекличка.

И опять:

— Приходи завтра!

А на завтра:

— Подожди на дворѣ!

Совсѣмъ изморѣлыхъ водили въ Присутствіе.

— Чего вы, ребята, скучно идете, гряньте-ка пѣсню! — трунили конвойные.

А ни у кого духа не хватало, шли молча.

—«Три деревни — два села!»— не унимался, зубоскалилъ конвойный.

Шли по Гороховой, потомъ повернули по Садовой кто съ килой, кто съ жилой, а кто — такъ не покажешь. И тотъ старикъ сѣменилъ, повторяя свое жалко о пузырѣ.

Въ Присутствіи велѣно было всѣмъ раздѣться, все равно, съ килой или съ глазомъ.

Сидѣли въ кучѣ пришибленные въ испаринѣ, — такъ души передъ Творцомъ жизни и смерти ждутъ своей участи. И было неловко выходить къ столу, гдѣ въ чистыхъ мундирахъ зорко тебя осматривали и, судя, перешептывались.

Однихъ назначали на «испытаніе», другихъ принимали.

И тѣ, кто былъ принятъ, шли изъ Присутствія на «сборный пунктъ».

А тѣ, кто подлежалъ еще испытанію, должны были начать все сначала: по утрамъ являться въ казармы на перекличку и терпѣливо ждать, когда выкликнутъ, чтобы съ партіей такихъ же итти подъ конвоемъ въ госпиталь.

Эти ожиданія на казарменномъ дворѣ, хожденія на осмотръ и осмотръ открыли и передо мной щелку, и я заглянулъ въ самое нутро войны, я почувствовалъ ее не ту, о которой пѣсни поютъ — «звѣзда сердца»! — какая насмѣшка! — а то ея сверло, о которомъ никакого склада не сложишь и никакой сказки не скажешь.

И душа моя отшатнулась.

«Звѣзда сердца»! — какая насмѣшка! Вѣдь вся наша жизнь есть только разубранное и разукрашенное подкапываніе и подсиживаніе сосѣда, только отравленіе и подтачиваніе вѣка ближняго — убійство скрытое; а война, это ужъ убійство откровенное и ничѣмъ неприкрытое. И если для мирнаго убійства, для лицемѣрнаго житія мірского, прежде всего надо умъ и ловкость, для войны прежде всего мясо здоровое, крѣпкое и зоркое, мясо-машину.

И вотъ съ разныхъ концовъ Петербурга согнали насъ разныхъ по жизни и по душѣ, и по духу, чтобы отобрать годныхъ и отбросить дрянь.

Дрянь, къ которой принадлежалъ и я, были самые несчастные: мы ни къ чему были и просто не имѣли смысла быть на бѣломъ свѣтѣ, и съ нами не считались.

Толкаясь днями на казарменномъ дворѣ въ ожиданіи переклички, я смотрѣлъ на годныхъ — настоящихъ, которые уходили на «сборный пунктъ», а оттуда на муштровку въ казармы, чтобы, наловчившись нужнымъ пріемамъ, итти убивать. И среди бородатыхъ сверстниковъ моихъ я замѣтилъ о ту пору — въ третій годъ войны — что о Россіи, которую защищать отъ враговъ и собрали насъ всѣхъ, и годныхъ и негодныхъ, о Россіи не было рѣчи, а было одно:

— Все равно, скоро войнѣ конецъ.

И эта мысль о скоромъ концѣ, — даже срокъ ставили: весна! — примиряла людей моего возраста, семейныхъ и ужъ тронутыхъ нелегкой мирной жизнью, озабоченныхъ, съ ихъ трудной участью.

— Войнѣ скоро конецъ.

V

МЕЖДУ СЫПНЫМЪ И ТИФОЗНЫМЪ

Въ туманное петербургское утро, когда каждый поворотъ, каждый звукъ и окликъ, какъ этотъ желтый невскій туманъ, подымаютъ въ душѣ неизъяснимую тоскущую тоску и скорбью переполняютъ сердце, въ туманное, любимое утро ввергнутъ былъ въ госпиталь и сорокъ четыре дня и сорокъ четыре ночи живой, только негодный, провелъ я среди умирающихъ и мертвецовъ.

Когда послѣ ужина больные укладываются по своимъ койкамъ на сонъ грядущій и бѣлыя ночныя сидѣлки при-

мащиваются на лавку подремать до полунощнаго звонка, выхожу тихонько изъ палаты, осторожно иду по каменнымъ гладкимъ квадратамъ, мимо запертаго телефона, безконечнымъ, какъ въ крещенскомъ зеркалѣ, сводчатымъ корридорамъ.

Тамъ въ концѣ открытая палата — подъ голубымъ матовымъ огонькомъ тифозный и два крупозныхъ, а въ окно имъ съ воли зеленый, прыгающій подъ дождемъ фонарь. Ни фонаря дождливаго, ни огонька они не видятъ — малиновые, зеленые, красные шары подъ потолкомъ, и пудовая лапа давитъ грудь.

Въ углу, какъ свѣчка, всю ночь сестрица.

— Спите, чего вы? — шепчетъ сестрица.

А мнѣ что-то и сна нѣту.

Иду на другой конецъ — безконеченъ, какъ въ крещенскомъ зеркалѣ, сводчатый корридоръ, — тамъ въ душныхъ бинтахъ сыпные и запахъ мази.

Наша палата — «камера», такъ я говорю себѣ, потому что есть что-то общее между тюрьмой и госпиталемъ, или эти окна съ рѣшетками и уйти нельзя? — наша палата въ середкѣ, наши сосѣди — туберкулезъ и такіе, какъ мы, кто съ сердцемъ, кто съ животомъ. И изъ нашей палаты прямо черезъ сводчатую широкую площадку-сѣни ходъ въ уборную и къ той двери, черезъ которую никто еще изъ заключенныхъ не выходилъ, а только выносятъ.

Рѣдкую ночь не слышу, какъ звенятъ колесики кровати — это катятъ кровать съ померпимъ изъ палаты на площадку къ уборной, и рѣдкое утро робко не пройду мимо ширмъ, за которыми лежитъ закрытый простыней покойникъ.

Утро, когда послѣ ночи боль рѣзче и часомъ не смотрѣлъ

бы на свѣтѣ, наше утро, когда въ корридорѣ колютъ сахаръ, разносятъ хлѣбъ и кипятокъ по палатамъ, а изъ палатъ мочу, а тамъ на волѣ туманы, любимое петербургское утро, и сквозь туманъ я вижу госпитальный дворъ, промокающія дрова и огонекъ на кухнѣ, наше утро — оно трепетно, какъ поздній вечеръ.

Тутъ приходитъ изъ мертвецкой сторожъ Андрей одноухій, на немъ огромная сѣрая куртка, какъ на пожарномъ, онъ притащилъ казенный коричневый гробъ, выйдутъ сидѣлки изъ припарочной, положатъ покойника въ гробъ и въ ту вонъ дверь —

И останется одна дощечка — по черному бѣлымъ:палата, отдѣленіе, имя и болѣзнь по-латыни. Фельдшеръ Виталистъ Виталистычъ отмѣтитъ въ книгѣ, лабораторщикъ Гасюкъ погаситъ бѣлую надпись.

И сколько «послѣднихъ минутъ», сколько жалкаго безпомощнаго дѣтскаго крика «послѣднихъ минутъ» за всѣ эти ночи!

И какая ни будь распаскудная твоя жизнь, а какая она! — разставаться не хочется. И какіе бываютъ на свѣтѣ люди — и обидчики, и жестокіе, а какъ придетъ эта минута, всѣ какъ дѣти.

*

Съ вечера, когда въ корридорѣ пустѣетъ и наши халаты синіе и коричневые красятся въ черное, а сидѣлки въ бѣлое, — безпокойно въ корридорѣ вечеромъ.

Это она выходитъ изъ своего угла, — я не знаю, гдѣ ея домъ, можетъ, въ теплѣ у баньщика Вани, Ваня чего-то долго по утрамъ не отворяется и стучи-не-стучи, не пуститъ въ теплую ванну, — она выходитъ въ сумерки, я ее чувствую, какъ чувствуютъ обреченные, для которыхъ съ кажд-

дымъ ея шагомъ постылѣетъ свѣтъ: все имъ не такъ, все не по нихъ! — она идетъ, необыкновенная, пробирается по скользкимъ каменнымъ квадратамъ съ крѣпкой вѣрной веревкой.

Отъ всѣхъ насъ, входящихъ въ госпиталь, отбирается въ пріемномъ наша вольная одежда. И вотъ сосѣдъ мой хиромантъ Шавлыгинъ, захлеснутый тугою петлей, цѣпляясь за послѣднюю нить жизни, вспомнилъ о сапогахъ.

Онъ былъ при послѣдней минутѣ, ужъ шаги слышалъ и смертный вихрь вѣялъ на него.

«Пришли, принимайте!» — сказалъ кто-то.

И къ двери палаты подошли сидѣлки, е я сидѣлки, несли на плечахъ гробъ, и свѣча въ рукахъ первой заколебалась подъ вихремъ.

— Давайте сапоги! — задыхался Шавлыгинъ, глотая отравленный воздухъ.

Думалъ несчастный, будь сапоги на ногахъ, въ сапогахъ выдерется онъ изъ петли, выскочитъ на волю.

Нѣтъ, умирать никому не хотѣлось.

Ужъ, кажется, какую муку принимали сердечные: одинъ кашель ихъ — да это пилы, сверла и зубья всякіе, разрывавшіе по ночамъ грудь! — думаешь, хоть бы конецъ, чего такъ-то мучиться. А и они упирались.

И другой сосѣдъ мой монтеръ Фигуровъ, когда о н а захлестнула его, очень былъ слабый, а вскочилъ съ койки, ноги-то худыя, однѣ ноги видно, такъ и впился ногами въ полъ.

— Пустите!

Да ужъ куда тамъ, е е не осилишь.

И отлетѣла душа его хрупкая, какъ электрическая лампочка-тюльпанъ.

Былъ монтеръ Фигуровъ высокій, рослый, а какъ въ

гробъ класть, подобрался весь, какъ заяцъ, а руки сложенныя крестомъ, какъ перламутровыя.

Жизнь наша нелегкая, тревожная, сколько огорченій однихъ! — на бѣломъ-то свѣтѣ жить, если бы все показывали, какъ оно будетъ, пожалуй, почешешься, соглашаться ли, а какъ стукнетъ конецъ, разставаться не хочется: какую-нибудь травинку вспомнишь, ну самую обыкновенную, жгучую крапиву, которая около дома росла, вспомнишь — Господи, такъ бы на нее и смотрѣлъ все!

Умираютъ за того, кого любятъ и за то, что любятъ, умираютъ изъ чести и умираютъ по долгу.

Но нешто много такихъ, кто любитъ такъ, чтобы умереть, и такихъ, для кого есть честь, и много ль найдется въ нашъ нищій день кто бы до конца исполнилъ свой долгъ?

Въ уборной у насъ курилка, тамъ же и клубъ.

Тутъ всякія исторіи разсказываются, тутъ и философія.

Я спросилъ сосѣдей моихъ курильщиковъ:

— А какъ на войнѣ? Какъ на войнѣ умираютъ?

И сколько ни разсказывали сосѣди, я изъ всѣхъ разсказовъ понялъ одно; хоть и идутъ на смерть «по присягѣ», а умирать никому не охота. И еще я понялъ, что только тотъ смѣетъ призывать къ смерти, только тотъ, только тотъ, — и это изъ всѣхъ словъ вопіяло! — кто самъ готовъ по всей правдѣ итти и умереть.

— А то много такихъ, — серчалъ Тощаковъ съ прострѣленнымъ бокомъ, — сидятъ въ теплѣ, сыты: «идите, братцы, помирать за родину!» Пожалуйте, самъ попробуй!

*

«Мандолинщикъ плѣнный изъ Германіи», — такъ почему-то въ первый мой день меня встрѣтили въ нашемъ

уборномъ клубѣ курильщики. Или ожидали такого мандолинщика и я за него сошелъ: я будто бы попалъ въ плѣнъ германцамъ, а теперь за негодностью назадъ въ Россію выпровожденъ.

На мандолинѣ я играть не учился и не умѣю, (это Лоллій Львовъ!) но это неважно, за кого бы ни считали. Даже, пожалуй, мнѣ это на пользу: пѣсельникъ, мандолинщикъ, скоморохъ — «веселые люди», какъ въ старину ихъ на Руси величали, въ тяготѣ житейской, среди жестокихъ буденъ, случайныхъ и немилостивыхъ, влекли къ себѣ своимъ искусствомъ, растравляющимъ и отводящимъ душу.

И я много наслушался о житьѣ-бытьѣ — о горькомъ и безтолковомъ, о темномъ и щемящемъ.

Не разъ я о войнѣ спрашивалъ, я спросилъ и о врагѣ:

— Какъ на счетъ врага? Какой онъ, очень страшный?

И изъ всѣхъ разсказовъ одно вынесъ, что врага-то по настоящему нѣтъ никакого, а что воюютъ, потому что такъ нужно.

— Потому что присяга — должо́нъ; и онъ по присягѣ.

И съ какой нѣжностью, словно о малыхъ ребятахъ, передавали о плѣнныхъ: и какъ чаемъ поили и какъ хлѣбъ давали.

А ко всему одно, одно и неизмѣнно, ко всѣмъ разсказамъ:

— Скоро и войнѣ конецъ.

И даже срокъ ставили — вотъ чудеса! — весною.

Помню, кто-то изъ курильщиковъ, сосѣдей клубныхъ, за гонимой папироской философствовалъ, какъ тамъ на войнѣ въ тяготѣ да въ опаскѣ думается.

Всякому-то кажется, вотъ только бы вернуться и пойдетъ ужъ новая жизнь, и въ письмѣ другой пишетъ о этой

новой жизни, и если выпивалъ да крутъ былъ, клянется, ни въ жизнь ни столечко не выпьетъ и никогда не обидитъ, только бы Богъ сохранилъ. Ну, а случаемъ вернется домой на побывку и прощай ты, новая жизнь, пошелъ по старому.

— Человѣка ничѣмъ не прошибешь! — сказалъ черный Балягинъ; мы его тараканомъ звали, черный, и жизни ему оставалось до первой оттепели.

— Неужто ничѣмъ?

— А Сибаевъ? — замѣтилъ кто-то.

— Какой Сибаевъ?

Шелъ я изъ лабораторіи послѣ «выкачиванія», въ глазахъ зеленѣло, иду — хоть бы до палаты добраться! — а меня за руку Тощаковъ и показываетъ:

— Сибаевъ изъ 31-й.

Я о ту пору такъ только взглянулъ: вижу, молодой, рослый, халатъ до колѣнъ. Потомъ ужъ разобрался.

Сибаевъ контуженный ходилъ по корридору, не подымая глазъ.

До войны «фюлиганъ», какъ говорили про него сосѣди, такъ жаловалась и его родная мать. Мать его прачка, и такъ работа нелегкая да еще отъ сына горе: что заработаетъ на стиркахъ, лодарь все пропьетъ, да и поколачивалъ. А тутъ, какъ случилось, снарядъ разорвался, его словно бы всего передернуло. Вернулся онъ домой къ матери и совсѣмъ какъ не тотъ: станетъ на колѣни, все прощенье проситъ, и такая память вдругъ, все-то припомнилъ, какъ измывался, какъ колотилъ, и проситъ, клянется, что никогда ужъ не будетъ такъ, и только бы поправиться, все самъ дѣлать будетъ, беречь будетъ.

Мать не знаетъ, что и дѣлать, она все простила, и нѣтъ злой памяти, вѣдь она Бога-то молила, чтобы только не такъ ужъ сынъ-то ея непутный поѣдомъ ее ѣлъ, ну, пошу-

митъ немножко, ничего, а онъ — на колѣняхъ. Мать все простила, а онъ помнитъ, забыть не можетъ, самъ себѣ простить не можетъ.

«Господи, зачѣмъ это я сдѣлалъ? Господи, чѣмъ поправлю? Господи, не могу забыть!»

Сибаевъ изъ тысячи тысячъ ничѣмъ не прошибаемыхъ одинъ прошибленный ходилъ по корридору, не подымая глазъ.

— Это совѣсть, — сказалъ про него Тараканъ, — пропадетъ!

Бѣлая зима настала. Покрѣпчало и въ палатахъ и сердечный кашель поутихъ — и е й отдыхъ: то-то, должно быть, пріятно у банщика Вани въ горячей ваннѣ! А на Наума подулъ съ моря вѣтеръ и зажелтѣло на волѣ. И опять ночами зазвенѣли по корридору колесики кровати, опять по утру на площадкѣ ширмы и мертвецкій Андрей одноухій въ сѣрой пожарной курткѣ.

Заглянулъ я за ширмы, а тамъ подъ простыней — Тараканъ!

А Сибаевъ держался, ходилъ по корридору, не смѣя поднять глазъ.

*

И когда по испытаніи въ концѣ госпитальныхъ дней, въ канунъ послѣдней комиссіи лежалъ я пластомъ, какъ мои обреченные сосѣди, вспоминались мнѣ разговоры и мои думы о жизни и смерти, и о такой любви и о такой чести и долгѣ, ради которыхъ умираютъ, и о войнѣ, которую воюютъ, потому что такъ надо «по присягѣ», и о врагѣ, котораго по настоящему нѣтъ никакого, и опять о смерти, къ которой призывать смѣетъ только тотъ, кто самъ готовъ по всей правдѣ итти и умереть, и о жизни, будь она самой

жалкой и ничтожной, распаскудной, но для каждаго единственной и важной, неискупаемой и цѣлымъ міромъ, а въ глазахъ стоялъ Сибаевъ, изъ тысячи тысячъ непрошибаемыхъ, одинъ прошибленный съ своей совѣстью, а эта совѣсть одна могла бы легко и просто развоевать и самую жестокую войну и въ мирной жестокосердной жизни и на бранныхъ кровавыхъ поляхъ, и разрѣшить всякую присягу и вѣрнѣе самаго вѣрнаго динамита разворотить и самыя крѣпкія бетонныя норы, куда запрятались люди, чтобы ловчѣе бить другъ друга. Эта совѣсть одна могла бы своимъ безукорнымъ свѣтомъ уничтожить и самую смертную тьму.

— «Господи, чѣмъ поправлю? Господи, не могу забыть!»

VI

ОГНЕННАЯ МАТЬ-ПУСТЫНЯ

На Святкахъ смотрѣлъ картину Петрова-Водкина: большая въ полстѣны, изображенъ окопъ, — вышли, идут. Лица все знакомыя, ихъ увидишь и безъ окопа, всякія, и благообразныя, и звѣрскія, и остекленѣвшія, а одинъ выскочилъ, щеки надуты, видно хлыстомъ погнали, съ перепугу ничего не понимаетъ, а посередкѣ Андрей Бѣлый — подстрѣленный!

Но не въ этомъ суть картины, не въ лицахъ, не въ глазахъ, а въ землѣ и небѣ. Эту землю и небо видитъ подстрѣленный, отъ котораго душа отлетаетъ, и ноги его чуть отъ земли, какъ на иконахъ пишутъ.

Я смотрѣлъ на картину и думалъ:

«Что это за небо такое глубокое? Что за земля такая черная и такая зеленая неправдашная?»

Есть старинный образъ — Три московскихъ чудотвор-

ца — стоятъ они наги, а передъ ними Москва-рѣка течетъ, а за рѣкой московскій Кремль съ башнями, а направо вверху Троица , а осѣняетъ чудотворцевъ дубрава.

Да эта самая дубрава, она и тутъ на картинѣ — это мать-пустыня, огненная мать-пустыня съ небомъ нездѣшнимъ и зеленой землей.

*

На Ильинъ день по-стаосму, на Спасовъ по-новому, по царской волѣ и слову вышелъ русскій народъ со всѣхъ концовъ русской земли на ратное терпѣніе и смерть.

Русскій народъ по судьбинному суду оставилъ домъ и пошелъ въ пустыню.

Мать-пустыня, куда уходили только избранные, горькая, огненная, по судьбинному суду открылась передъ всѣмъ русскимъ народомъ и избраннымъ и призваннымъ и заключеннымъ.

Будутъ гадать и спорить, кто огонь пустилъ землю жечь, запалилъ міръ со всѣхъ концовъ, который царь или какіе воротилы, и для чего, и докажутъ: такой-то царь или такіе-то воротилы, или ихняя шайка воровская и съ такимъ-то умысломъ, и потому-то — но почему земля изрыта и нѣтъ дома безъ потери и столько несчастныхъ недобитыхъ осталось доживать въ мірѣ убогій свой вѣкъ — судъ судьбинный кто разгадаетъ?

Огненная мать-пустыня съ постомъ, терпѣніемъ, съ уныніемъ пустыннымъ и искушеніямъ, и прекрасная мать-пустыня съ дубравой и густыней, съ райскими птицами и цвѣтами, какіе вспоминаешь да во снѣ снятся, ты открыла по судьбинному суду врата и передъ русскимъ народомъ передъ землей — родиной на грознаго Илью-по-старому, на Спаса Милостиваго по-новому!

VII

ЯЗЫКЪ ЗАПАЛЪ

Справили рождественскую кутью — постную: послѣ всеношной, какъ показалась звѣзда, сѣли за столъ.

Сосѣдъ Пришвинъ хлѣбъ принесъ.

Подъ новый годъ справили кутью — «богатую».

Сосѣдъ Пришвинъ хлѣбъ принесъ.

И «голодную» кутью — подъ Крещенье — справили.

Сосѣдъ Пришвинъ хлѣбъ принесъ.

Когда догорѣли бѣлыя свѣчи передъ Неопалимой Купиной, зажгли на елкѣ красныя. Прокофьевъ на рояли игралъ — «скиѳское». И когда онъ игралъ, не вѣрилось, что въ мірѣ бѣда съ жестокой войной: одни, какъ звѣри, сидятъ въ норахъ, подсиживаютъ врага, какъ бы побольше истребить, а другіе точутъ и льютъ, и пилятъ, готовятъ оружіе поострѣе да крѣпче; и не думалось, что другая бѣда ужъ на порогѣ, караулитъ голодная.

Сосѣдъ Пришвинъ всякій разъ твердитъ:

«Запасайтесь, скоро хлѣба не будетъ!»

Не вѣрилось, не думалось.

А и въ самомъ дѣлѣ, и какъ это такъ? Или это дѣлается, никого не спрашивая и ни съ кѣмъ не уговариваясь потому же по самому, почему музыка раскрываетъ дверь и выходишь изъ холодной норы въ звѣздный садъ.

Обѣщалъ Пришвинъ крупчатки достать, чтобы ужъ была масленица: «его мука, его и икра, а блины будутъ наши!»

Съ тѣмъ и Святки проводили.

Музыканту честь за музыку, сосѣду за хлѣбъ и посулъ.

*

На Викторина къ священнику Викторину на именины пошли. Потащили съ собой и сосѣда — досталъ - таки муку! —и еще съ шлиссельбургскаго тракта скульптора Кузнецова.

Къ ужину, чего запасла матушка, все на столъ, милости просимъ: была колбаса отъ «Шмюкинга», Чеснокова, сыръ романовскій, грибки да капуста Зайцева, пастила прохоровская, заливные рябчики собственнаго приготовленія, а тортъ ивановскій.

Обѣщалъ прапорщикъ Прокоповъ вина достать, самъ пришелъ, а вмѣсто вина — тянучки!

Передъ ужиномъ слушали пѣніе: Леонидъ Добронравовъ поетъ въ родѣ, какъ Шаляпинъ, и какъ возьмется за Хованщину либо за Бориса, вѣкъ бы слушалъ — вся она тутъ Русь съ московскимъ Кремлемъ и пустыней огненной.

А по Борисѣ сѣли за ужинъ.

До Рождества еще убили Распутина — больше мѣсяца, а память о немъ все еще занимала новостью. Одни его звали ласково, какъ несчастнаго, Гришей, другіе строго — Григоріемъ, а третьи и особенно тѣ, кто при жизни подлипалъ и подхалимилъ, бранно — Гришкой.

— Гришка. Одна нога во дворцѣ, другая въ церкви.

— Правилъ Россіей хамъ, сапоги бутылками въ ботикахъ, а вокругъ шайка шарлатановъ и безотвѣтственныхъ проходимцевъ.

— Для Распутина Россія — село Покровское.

И такъ и этакъ шпыняли покойника.

Отъ Распутина прямой ходъ къ Царскому.

И за вкусной Чесноковской колбасой повторялось всякое — и о измѣнѣ, о радіотелеграфѣ — «прямой проводъ изъ Царскаго въ германскую ставку» — и о министрѣ Протоповѣ, въ котораго вселился духъ Распутина, и о великосвѣтскомъ заговорѣ.

Протопопица Пирамидова утверждала, что мы наканунѣ дворцоваго переворота.

Пріятель съ шлиссельбургскаго тракта вывелъ къ настоящему: онъ разсказалъ, какъ на заводѣ у нихъ пулеметы поставлены, а на Голодаѣ сарты подъ-замкомъ держутся для усмиренія.

— 14-го февраля наши всѣ пойдутъ.

Такъ отъ Распутина черезъ Царское и измѣну къ 14-му февралю, ко «всеобщему возстанію», отъ колбасы до торта ивановскаго и доѣлись.

Тутъ самоваръ подали.

Именинникъ, хлопотавшій за ужиномъ вмѣстѣ съ матушкой, присѣлъ къ самовару.

— А вотъ какое есть пророчество, — провѣщался именинникъ, — говорятъ, будто Гриша сказалъ царю: «когда меня не будетъ, всѣ вы распылитесь!» Стало быть, разъ 14-го февраля всеобщее возстаніе и пулеметы... — и хлебнувъ горячаго чаю... языкъ у него запалъ.

VIII

ВЕЛИКАЯ ТОЩЕТА

Въ Прощенный день пришла Акумовна и прямо бухну лась въ ноги.

На Акумовнѣ черный ватошный апостольникъ и вся она черная.

— Богъ проститъ, Акумовна.

Прежнее время присаживалась старуха къ столу и за чаемъ начинались разговоры о житьѣ-бытьѣ, и прошломъ, и теперешнемъ, и какъ Акумовна по веснѣ въ Петербургъ за «старшину» ѣздила, мальчика привозила — «мозгъ у

него взбунтовавши», и какъ въ деревнѣ все-то до щепочки повынуто и больше житья нѣтъ — «солдатъ поставили!» — и о безумной генеральшѣ, хозяйкѣ, подъ-замкомъ у которой голодомъ высиживаетъ Акумовна по цѣлымъ суткамъ, о сосѣдскихъ угловыхъ барышняхъ изъ чайной, и о ихъ легкой жизни съ «ханжой» и смертью собачьей, и о бдящемъ «старшемъ» Иванѣ Ѳедоровичѣ, и о швейцарѣ Алексѣѣ, о всѣхъ дѣлахъ темныхъ и дѣлахъ бѣдовыхъ, о случаяхъ и напастяхъ Буркова дома — всего Петербурга.

— Богъ проститъ, Акумовна, Богъ проститъ.

Поднялась старуха, растопырила по-лягушачьи черные костлявые пальцы, по-птичьему разинулась.

— Ой, что будетъ-то, Господи, что будетъ-то!

И какъ стала, такъ и стояла черная — можетъ, въ послѣдній разъ? — И ротъ ея полый (десной ѣстъ!) разѣвался по-птичьему, а пальцы по-лягушачьи растопыривались.

Двѣнадцать лѣтъ назадъ, 9-го января, «когда дворники на Невскомъ сметали съ тротуара человѣчьи мозги съ кровью», бѣда пронеслась, цѣла и невредима осталась Акумовна доживать свой вѣкъ, но то, что произойдетъ послѣзавтра —

— 14-го всѣ до единаго пойдутъ.

— Куда же пойдутъ?

— Въ казенное... въ это... — Акумовна еще больше разинулась и въ горлѣ ея пересмякло, — а не 14-го, такъ на будущей недѣлѣ въ четвергъ.

Сказать ей страшно, страшнѣе выговорить. И не за себя она боится, ей — чего? — за племянниковъ, пойдутъ и ничѣмъ не удержишь, а вернутся ли, Богъ знаетъ.

Да еще ей страшно, она и сама не знаетъ.

А все оттого, что ѣсть нечего, хлѣба нѣту, булочныя заперты.

А хлѣба нѣтъ оттого, что война.

Прежнее время наряжалъ я Акумовну въ елочное серебро, такъ въ серебрѣ старуха и чай пила, а тутъ и не до чаю, не до серебра.

— Ой, что будетъ-то, Господи!

А непремѣнно будетъ, весь Бурковъ домъ знаетъ — весь Петербургъ.

XI

ХЛѢБА

Ждали вторника — 14-го.

Писали въ газетахъ. Предостерегали.

«Кромѣ худа, ничего не будетъ!» — предостерегали.

Отъ слова стало, отъ слова и станется, коли есть сила чающая, и ни крикъ, ни вопъ, ничего не поможетъ.

По утру во вторникъ смотрю въ окно — мететъ.

«Нѣтъ, — думалось, — ничего не выйдетъ».

И правда собрались студенты да курсистки на Невскомъ, пропѣли «Отречемся отъ стараго міра» — то-то молодость, то-то безстрашная и безкорыстная: силы растутъ, кровь кипитъ, все насмарку, все заново, а новое такъ легко и прекрасно — «Отречемся отъ стараго міра!» И сгинули. Мятель смела.

И больше, кажется, никто ужъ ничего не думалъ и на выступленія рукой махнулъ. Жили, какъ жили въ безкормной тощетѣ, ропща и жалуясь, съ одной надеждой: скоро война кончится.

Отъ слова стало, отъ слова и станется, коли есть сила чающая, и ни крикъ ни вопъ, ничего не поможетъ.

*

Въ воскресенье вечеромъ было «знаменіе» — —

Появился въ Петербургѣ изъ Ростова-великаго купецъ Фроловъ, знакомый Чехонина.

Пришелъ Чехонинъ, привелъ купца. Купецъ какъ купецъ, видъ благообразный, разложилъ онъ на столѣ книжечки всякія, пошарился, вынулъ изъ кармана бычій рогъ, приставилъ себѣ рогъ къ виску.

— Богъ — бодать — быкъ. Богъ есть быкъ.

И такъ толкуя Писаніе такимъ выковоромъ изъ буквъ, такое понесъ, не дай Богъ.

— А вы въ Бога вѣрите? — перебилъ я.

— Богъ быкъ, — чего-то все радуясь, сказалъ купецъ, — нѣтъ Бога, разумъ.

— Какой разумъ?

— А вотъ тутъ, — и показалъ на лобъ.

И снова понесъ выковоръ свой толковый, уничтожая Писаніе и ветхое, и новое.

И не упомню, на какой книгѣ, не вытерпѣлъ я.

«Богъ — бодать — быкъ. Богъ есть быкъ!» — звенѣло въ ушахъ, когда отъ ростовскаго толковника и слѣдъ простылъ.

*

Хлѣба въ домѣ не было.

Пришвинская мука на блины пошла. Хлѣба не было. И Пришвинъ пропалъ.

Хлѣба не было да и крупъ оставалось всего на донышкѣ. Хоть бы крупъ достать!

Думалъ, въ понедѣльникъ пройду на Надеждинскую, въ литераторскій кооперативъ: можетъ, выдадутъ. Опять бѣда съ деньгами. Такъ до четверга и довелъ.

И совсѣмъ изъ головы, что Акумовна-то въ Про-

щенный день толковала, прощенье прося: «не 14-го, такъ на слѣдующей недѣлѣ въ четвергъ», т. е. , 23-го.

Забылъ, забылъ я о 23-мъ!

И не помню, что мнѣ подъ этотъ день снилось.Помню изъ газетъ: въ тотъ день выскочилъ какой-то Вейсъ и очень осердился, какъ смѣли безъ него «хлѣбныя карточки» готовить, и что онъ этого не допуститъ. И еще помню статью В. В. Розанова объ автомобиляхъ, какъ наша «радикальная демократія» спитъ и видитъ захватить автомобили и кататься. А главное и это, какъ «Богъ — быкъ» въ воскресеніе, засѣло въ памяти: «государь уѣхалъ въ ставку».

*

По обѣдѣ, чѣмъ Богъ послалъ, попилъ я чайку и сталъ въ путь снаряжаться, вынулъ мѣшокъ. Есть у меня такой: какъ по этапу гнали когда-то, былъ грѣхъ, этотъ самый мѣшокъ мнѣ вѣрную службу служилъ. За странствіями по бѣлому свѣту все, кажется, перетерялъ я, а мѣшокъ цѣлъ, служитъ. Взялъ я этотъ этапный мѣшокъ и въ путь.

Забылъ, забылъ я о 23-мъ!

У Казанскаго собора трамвай сталъ.

И впереди стоитъ.

Подождали, подождали, кто-то соскочилъ, а за нимъ другіе. И я съ мѣшкомъ. А впереди стѣна. И казаки.

Хотѣлъ я на Михайловскую проскочить — надо же крупъ-то достать! — да нѣтъ, никакъ не пробраться.Тутъ и полиція. Не пропускаютъ.

И пошелъ я за народомъ.

Молча шли. Одна надпись:

— «Хлѣба!».

На Аничковомъ мосту оттѣснили къ рѣшеткѣ, я на Фонтанку. Прибавилъ шагу.

Тревожно было на волѣ,— такъ никто не прохлаждался, спѣшили.

Какая-то женщина вышла изъ воротъ съ ребенкомъ.

— Назадъ! Куда? — закричалъ на нее съ сердцемъ какой-то, — подстрѣлятъ!

А никто не стрѣляетъ, тамъ на Невскомъ шли молча и только надпись:

— «Хлѣба!»

Съ грѣхомъ пополамъ добѣжалъ я до Надеждинской, очень безпокоился: «ну-какъ лавку-то запрутъ, какъ безъ крупъ домой итти?» Да и дума была: «какъ теперь домой итти?».

А въ лавкѣ ставни закрываютъ, боятся: разгромятъ!

Да не разгромятъ. Никто и голоса не подаетъ и рукъ не подымаетъ, идутъ молча и одна надпись:

— «Хлѣба!».

Нѣтъ, мнѣ не вѣрятъ, боятся.

Кое-какъ свѣсили крупъ. Уложилъ я въ мѣшокъ. Чернымъ ходомъ выпустили. Напугались и лавку заперли.

А тамъ шли молча, подходили къ Знаменью. И одна надпись:

— «Хлѣба!»

Одни рты:

— «Хлѣба!»

До Михайловской успѣлъ въ трамвай вскочить. Дальше не пойдетъ. И пошелъ я по Невскому, понесъ мѣшокъ.

На Невскомъ, какъ въ праздникъ. Народъ и казаки. Ѣдутъ совсѣмъ рядомъ, а ничего. Нѣтъ, не такъ бывало. И ничего не страшно.

Вышелъ я ко дворцу. Иду, тащу мѣшокъ: «экій, всѣ руки оттянулъ!» На мосту остановился передохнуть. А надъ бѣлой Невой звѣзды —

И какъ увидѣлъ я эти звѣзды, и на душѣ такъ легко, точно прорвало, и вотъ — легко!

Совсѣмъ поздно вернулся я домой.

Разсказываю. А на душѣ легко и ничего не думается.

— Да это революція! — услышалъ я.

— Революція?

Пришелъ сосѣдъ Пришвинъ, хлѣба не принесъ.

Я и ему, что на Невскомъ видѣлъ, и о хлѣбѣ.

— Да это революція! — опять слышу.

Неужто революція? — И вѣритъ и не вѣритъ сосѣдъ.

Пили чай пустой съ крошками, гадали, что дальше, а на душѣ было такъ легко, и я ничего не думалъ.

Я видѣлъ бѣлую просторную Неву и надъ Невой звѣзды — —

X

СУДЪ НЕПОСУЖАЕМЫЙ

Та душевная легкота, какую чувствовалъ я, когда вдругъ увидѣлъ звѣзды надъ Невой, канула въ душѣ, и пасмурное утро февральское замутило всякій звѣздный свѣтъ.

На душѣ туманно, а великопостный благовѣстъ внятенъ даже и за двойной рамой.

Толпы, собравшіяся вчера на Невскомъ, безликіе рты — пасть, которую надо было заткнуть кускомъ хлѣба, пока-что молчаливыя, вышли и сегодня, выйдутъ и завтра. И стрѣляй, не стрѣляй — накормить голоднаго надо, голодную собаку и ту жалко, а тутъ душа человѣческая, и еще потому надо, вѣдь, голодный, что бѣшеный.

Молчаливыя толпы — голодные рты собрались отъ заставъ и съ трактовъ къ петербургскимъ мостамъ.

Сосѣдъ Пришвинъ хлѣба не принесъ.

Что-то будетъ!? — Гадали. Что будетъ, чѣмъ кончится?

Сосѣдъ Пришвинъ съ пятницы засѣлъ за «Французскую революцію». Всѣ говорили о революціи.

Туманно было на душѣ.

Я продолжалъ писать старинную повѣсть о Антіохѣ — царѣ сирійскомъ и Аполлонѣ Тирскомъ, мнѣ хотѣлось, непремѣнно кончить къ какому - то сроку и я боялся, что не успѣю.

Туманно было на душѣ, и внятно: я прислушивался, точно ждалъ чего-то.

*

Въ субботу до всенощной пріѣзжалъ съ Охты Иванъ Николаевичъ Пантелѣевъ, спутникъ нашъ на старыя могилы въ Римъ — въ канунъ войны привелось побывать въ Римѣ, и память о немъ неизбывна.

— На Охтѣ пристава укокошили!

Иванъ Николаевичъ молодой, здоровый, — поглядишь на него, самъ помолодѣешь, и какъ сталъ онъ разсказывать о своей Охтѣ, показалось тогда, такъ вотъ и распахнется дверь и выпустятъ всѣхъ на волю.

Мечталось о «волѣ», какъ о хлѣбѣ.

Попили мы чайку съ Иваномъ Николаевичемъ, вспомянули Римъ, старую Аппіеву дорогу, потолковали о войнѣ — пожелали ей скораго конца, пошелъ я провожать гостя, а кстати, думаю, газету куплю. Попрощались, вышелъ я на Среднiй проспектъ и хоть бы одинъ газетчикъ, пустынно, и трамваи безъ огоньковъ одинъ за другимъ — въ паркъ.

И нестрашнымъ показался мнѣ патруль: шли солдаты, носъ въ землю, тяжело.

А неужто и вправду, вотъ такъ и распахнется дверь?

Мечталось о «волѣ», какъ о хлѣбѣ.

*

Въ воскресенье выдался ясный день съ морозцемъ.

И было »знаменіе» надъ Петербургомъ: явились на небѣ четыре багряныхъ солнца, серебряный поясъ опоясалъ небо, и по поясу противъ багряныхъ пять бѣлыхъ солнцъ, а отъ солнца къ солнцу радуга, а надъ радугой вѣнецъ.

Я прошелъ до Казанскаго собора, а съ улицъ вылѣзали и ползли мнѣ навстрѣчу — лица необычныя: перекошенныя, передернутыя, сухія, колчепыги, завитнашки, — это ли обида выползала изъ своихъ скрытій, угловъ и норей — сползались придушенные и придавленные — обида выходила со своей горечью творить судъ непосужаемый.

Вечеромъ пугали водой: вода станетъ, а на Неву не дадутъ съ ведромъ ходить. Большое было смятеніе по дому.

А у меня на душѣ, какъ туманъ.

До поздней ночи писалъ я старинную повѣсть, и легъ съ думою о грядущихъ грозныхъ дняхъ.

И приснилось мнѣ:

> — — надѣлъ я, какъ маску, картину Гончаровой «Ангелъ, стражъ Софіи цареградской» и синюю, расшитую шелками, китайскую кофту на красномъ шелку, поднялъ суконный черный воротникъ и поползъ на четверенькахъ. Слышу, говорятъ:
>
> «Потушите огонь!»
>
> И нѣсколько разъ повторяетъ:
>
> «Потушите огонь!»
>
> А я и въ маскѣ, но мнѣ все видно: освѣщенная комната — очень свѣтло, а электричество не горитъ. Стучатъ, Хочу зажечь, кручу выключатель. Нѣтъ не горитъ.

И очутился я въ лодкѣ. Море. Синѣе китайской кофты. И солнце. Больно смотрѣть. Лодка летитъ. Слышу:

«Я буду сѣять по небесному полю!»

Я посмотрѣлъ черезъ глаза свои назадъ: тамъ облака — облака ползутъ, какъ тѣ на Невскомъ, перекошенныя, передернутыя, сухія, колчепыги, завитнашки.

«Какъ же я буду, — говорю, — сѣять по небесному полю?»

Лодка летитъ.

И впереди, куда летитъ моя лодка — грозовая туча. Туча растетъ — ползутъ облака. Вотъ завились и, вливая въ пучину великій валъ — «Душу вы мою размозжили!» — погасили свѣтъ.

*

По утру въ понедѣльникъ приходитъ Терентій Ермолаичъ, полотерный мастеръ, по счету получить.

— Ну, что, — говорю, — какъ на Невскомъ?

А онъ смотритъ весело и шинель его солдатская разстегнута.

— Войнѣ конецъ.

Не знаю, такой хмурый, выпрямился.

Разсказалъ онъ мнѣ, какъ вчерашній день у Знаменской солдатъ одинъ изъ волынскаго полка стрѣльнулъ, «да въ свою бабу и угодилъ».

— Спохватился дуракъ, да поздно. Заплакалъ. Тутъ всѣ и повернули ружья да въ городовыхъ. Какая же война? Все продано.

По обѣдѣ вышелъ я на волю — чего тамъ на волѣ?

А тамъ земля шаталась.

И вѣковая стѣна вотъ-вотъ рухнетъ.

Пробрался я къ Семеновскому мосту и повернулъ на Фонтанку къ «князю обезьяньему» М. М. Исаеву. Посидѣлъ немного и домой. Выхожу изъ воротъ.

— Матушки, горитъ! — закричала старуха, шла она шаталась съ своимъ шитымъ мѣшкомъ, чиновница.

— Что горитъ?

— Окружный горитъ.

«Окружный горитъ!» Посмотрѣлъ я вверхъ, а тамъ дымъ — длинный — идетъ — и идетъ —

— Окружный горитъ и Комендантское! — сказалъ студентъ.

— Потушите огонь! — слышу.

— Предварилка горитъ! — крикнула барышня, раскраснѣвшаяся, бѣжитъ она по Фонтанкѣ къ Литейному.

Петербургъ горѣлъ — горѣли черныя гнѣзда: судъ, война и неволя.

Земля шаталась.

Въ седьмомъ часу зажегъ я лампу, присѣлъ къ столу повѣсть оканчивать о Антіохѣ — царѣ сирійскомъ и Аполлонѣ Тирскомъ и вдругъ слышу, точно ребятишки что-то перекатываютъ — шарики? И вотъ опять — шарики катятся! Открылъ я форточку. И понялъ: не ребятишки, это у насъ стрѣляли на Васильевскомъ Островѣ.

И туманъ, заволокшій мнѣ душу, разсѣялся, точно эти звуки были утреннимъ свѣтомъ, а сердце, вздрогнувъ, робко дрожало.

И всю ночь я слушалъ.

Будто летѣлъ — съ волною въ грозу.

XI.

НА СВОЕЙ ВОЛѢ.

До разсвѣта всю ночь и съ разсвѣтомъ, какъ ночью, неугомонно — или конца не будетъ? — на волѣ точно ребятишки перекатывали — катали шарики.

И отъ этихъ слѣпыхъ игрушечныхъ шариковъ, судъ творившихъ непосужаемый, сердце робко дрожало.

Стрѣляли по нашей линіи. И казалось, около дома — въ нашъ домъ стрѣляютъ. Прохожіе и солдаты забѣгали во дворъ, жались подъ аркой. Тутъ же и ребятишки: имъ очень весело — отъ каждаго выстрѣла они шарахались во дворъ и опять пробирались къ воротамъ — очень весело!

Стою у окна — если бъ на волю! Да куда ужъ, и носа не высунешь. Повѣсти моей оставалось конецъ и я сѣлъ писать. И къ обѣду кончилъ — о Антіохѣ — царѣ сирійскомъ и Аполлонѣ Тирскомъ.

Во дворъ вбѣжали солдаты: было подозрѣніе, что у насъ на чердакѣ городовой спрятался. Я заглянулъ въ окно, (живемъ мы какъ разъ подъ чердакомъ), а ужъ солдаты ружья подняли — —

Безпокойно было на волѣ.

*

Яркій солнечный день.

«На своей волѣ» ходилъ народъ съ темнымъ сердцемъ и открытымъ, съ доброй волей и злымъ умысломъ.

Стояли кучками, слонялись. Ну, какъ на Пасху. И красные лоскутки у всякаго — пасхальные.

— Теперь нужна еремѣевская ночь, — говоритъ какой-

то, Богъ его знаетъ, переплетчикъ, и смотритъ на молодого солдата съ такимъ бѣлымъ нѣжнымъ лицомъ, какъ у барышни.

Солдатъ не понимаетъ и только чувствуетъ что-то страшное въ этомъ имени — «еремѣевская!»

— Если Родзянко сказалъ, что такъ надо, значитъ ужъ такъ надо! — отвѣчаетъ онъ растерянно, будто оправдываясь за вчерашній день и ночь.

Вдругъ совсѣмъ рядомъ надъ самымъ ухомъ закатались эти шарики и, какъ на зовъ, откуда-то выбѣжали солдаты — ружья на перевѣсъ. И было чудно смотрѣть, какъ они бѣжали, и словно не по настоящему, а въ игру такую играли. Они остановились противъ сосѣдняго дома, подняли ружья — и ахнули въ окно.

— Все Вильгельмъ, — сказалъ какой-то, пряча руки въ карманы, зябкій, — безъ него ничего бы не вышло. Всѣхъ царей посшибаетъ.

— Какая жъ теперь война? — весело замѣтилъ солдатъ.

— А безъ войны сидѣли бы вы дураками еще тысячу лѣтъ.

Мчится автомобиль — красный флагъ парусить — одни сидятъ, другіе стоятъ, третьи прилегли: ружья прямо на тебя.

А за нимъ другой, весь облѣпленъ и кого только нѣтъ — все красно и пестро.

— Вотъ времячко-то настало! — и вѣритъ и не вѣритъ баба, — нашъ братъ на муфтабилѣ катается.

— Вокругъ солнца круги были, мужчины говорятъ, никогда не бывало такого! — слышу о знаменіи, — явились на небѣ четыре багряныхъ солнца, серебряный поясъ опоясалъ небо и по поясу противъ багряныхъ пять бѣлыхъ солнцъ, а отъ солнца къ солнцу радуга, а надъ радугой вѣнецъ.

Въ кучкѣ всякъ о своемъ: кто о знаменіи, кто о вчерашнемъ, кто о войнѣ, кто о нашей безкормной тощетѣ.

— Вчерашній день выпустили. А онъ и говоритъ: «Не достоинъ я жить на свѣтѣ, я убилъ человѣка!» Проситъ въ тюрьму опять посадить.

— Ой, что было-то. Тутъ хлопаетъ, тамъ хлопаетъ, надъ головой летитъ. Накладены трупы кучею.

— Съ селедки-то во рту одервенѣетъ! — замѣчаетъ раздраженно.

— Съ перваго шага въ бою. Какая жъ война!

— Если Родзянко сказалъ, что такъ надо, значитъ, ужъ такъ надо.

— Штурмана поймали! — съ радостнымъ крикомъ выскочила изъ-подъ воротъ горничная.

И всѣ бросились за ней во дворъ.

Безпокойно было на волѣ.

*

Иду за народомъ на ту сторону.

И чѣмъ дальше, тѣмъ чаще и ближе эти перекатывающіеся шарики: тутъ хлопаетъ, тамъ хлопаетъ, надъ головой летитъ.

Гнали партію городовыхъ. Темная толпа улюлюкала. И какія-то звѣроподобныя бабы налетали: больно руки чешутся!

— Куда это ихъ?

— Да куда-то въ Думу пихаютъ.

Одного городового везли на санкахъ — на такихъ санкахъ кладь возятъ — лежалъ онъ ничкомъ привязанный и разможженная нога его болталась въ крови. Два солдата сидѣли по бокамъ и одинъ изъ нихъ сломаннымъ прикладомъ долбилъ его по шеѣ.

Бабамъ посчастливилось, бросились онѣ къ санкамъ — дорвались звѣроподобныя! — и вцѣпились несчастному въ уши.

Безпокойно было на волѣ.

Автомобили съ лежащими солдатами, цѣлившимися прямо въ тебя; автомобили со всякимъ сбродомъ, увѣшеннымъ красными лоскутками; солдаты, бѣгающіе съ ружьями на перевѣсъ, словно не по настоящему, а въ игрѣ, и эти перекатывающіеся шарики — одно и то же и на Невскомъ, и на Морской, и на Фонтанкѣ, и на Гороховой.

Пошатываясь, шелъ навстрѣчу здоровенный солдатъ.

— Какое дѣло! — остановился онъ, — стрѣлять придется.

— Въ кого?

— Въ кого прикажутъ.

— Да развѣ можно въ своихъ стрѣлять?

— Вѣрно, нельзя! — и шатаясь, пошелъ, бормоча.

Безпокойно было на волѣ.

Народъ валилъ къ Думѣ, какъ къ празднику.

На Пушкинской у сквера передъ памятникомъ Пушкина на снѣгу лежалъ какой-то: лица его не было видно, ноги онъ поджалъ къ подбородку, и окровавленной рукой закрывалъ глаза, словно прятался отъ яркаго свѣта.

— Вотъ денекъ, — кричала звѣроподобная, — рубль дала бы, живого городового увидѣть!

Автомобили съ лежачими солдатами, цѣлившимися прямо въ тебя; автомобили со всякомъ сбродомъ, увѣшеннымъ красными лоскутками; солдаты, бѣгающіе съ ружьями

на перевѣсъ, словно не по настоящему, а въ игрѣ; и эти перекатывающіеся шарики — одно и то же и на Пушкинской, и на Загородномъ, и на Забалканскомъ.

— Господи, когда это ссориться перестанутъ? — сказала простая душа.

Добивали.

И пожары дымили вечеръ. Горѣли участки. И наша Суворовская часть горѣла. То-то ворамъ пожива и праздникъ.

Съ ночнымъ морозомъ замерзали добитые и недобитые, кто на крышѣ, кто въ проруби, кто въ подвалѣ.

И тѣ, у кого былъ зубъ на сосѣда, выходили въ потемкахъ съ чѣмъ попало своимъ судомъ расправляться.

— Кровь отмщается! — сказалъ кто-то.

— Кому?

— Да кому прикажутъ.

Передо мной стоялъ здоровенный солдатъ, пошатываясь.

*

Недалеко отъ дому я бросился вмѣстѣ съ другими подъ ворота: видно, еще не всѣхъ добили и вотъ опять — или кто такъ, здорово живешь, попугать?

Я прошелъ во дворъ. Въ сторожкѣ горѣлъ огонекъ.

Тихонько отворилъ я дверь — пить мнѣ очень хотѣлось.

Передъ образомъ горѣла лампадка. Двѣ женщины сидѣли у стола, одна немолодая, дворничиха, должно быть, а другая совсѣмъ молодая. Дворничиха разсказывала, какъ вчера странникъ старичокъ приходилъ къ купцу.

— Вывелъ старичокъ его во дворъ: «Посмотри, говоритъ,

Тимофей, что видишь?» А Тимофей-то Яковлевичъ какъ глянулъ и видитъ, ровно море на небѣ, вода льется. «Воду вижу, дѣдушка». «Это потопъ будетъ». Постояли немного. И опять старичокъ: «Посмотри, что еще видишь?» Тимофей Яковлевичъ посмотрѣлъ на небо, а небо, какъ огонь, горитъ и падаетъ огонь. «Огонь вижу, дѣдушка». «Огонь падетъ на землю».

И зашептала дворничиха, ничего разобрать не могу: должно быть, еще что-то показывалъ странникъ.

— Ой, Господи, Никола милостивый!

— «Что видишь?» — продолжала дворничиха внятно, — а Тимофей Яковлевичъ посмотрѣлъ на небо: «Хорошо говоритъ, дѣдушка, такъ хорошо». «Ну, и хорошо будетъ на Руси, другъ, да не дожить намъ до этого времени.»

Со вспугнутымъ сердцемъ, какъ передъ бѣдою, и трепетно — «хорошо на Руси будетъ!» — я вышелъ.

На улицѣ было пустынно, только солдаты.

— Къ Кривоносову, тамъ погрѣемся! — кричалъ солдатъ у нашихъ воротъ, скликая солдатъ.

XII

КРАСНЫЙ ЗВОНЪ

Городъ святого Петра — Санктпетербургъ!
Полюбилъ я дворцы твои и площади,
тракты, линіи, острова, каналы, мосты,
твою суровую полноводную Неву
и одинокій завѣтный памятникъ
огненной скорби —

Достоевскаго,
твои бѣдные мостки на Волковомъ
твои тѣсныя колтовскія улицы,
твои ледяныя бѣлыя ночи,
твои зимніе желтые туманы,
твою болотную осень съ одинокимъ
тонкимъ деревцомъ,
твои сны,
твою боль.
Полюбилъ я страстные огни —
огоньки четверговые
на Казанской площади
и въ стальныя крещенскія ночи
мѣдный гулъ колокольный
Мѣднаго всадника.
Разбитъ камень Петровъ
Камень огнемъ пыхнулъ.
И стоишь ты въ огнѣ —
суровая Нева течетъ.

*

Я стою въ чистомъ полѣ —
чистое поле пустыня.
Я стою въ чистомъ полѣ —
вѣтеръ вѣетъ въ пустыню:
грёмъ и топъ,
стукъ желѣза.
Въ копотномъ небѣ вьется:
крылье, какъ зарево,
хвостъ, какъ пожаръ.
Наскочья нога ступила на сердце —

рас-
ка-
лена
душа.

*

Родина моя просторная, терпѣливая и безмолвная!
зацвѣли твои бѣлыя сугробныя поля
цвѣтомъ алымъ громкимъ.
По бездорожью дремучему
дорога пролегла.
Темныя темницы стоятъ настежъ —
замки сломаны.
Или горе-зло-кручинное до поры
въ подземелье запряталось?
Или горе-зло-кручинное
безоглядно въ лѣса ушло?
Твоя горькая плаха на избы разобрана,
кандалы несносные на пули повылиты,
палачъ въ чернецы пошелъ.

Родина моя просторная, терпѣливая и безмолвная!

Зашаталась русская земля —
смутенъ часъ.
Ты одна стоишь —
на головѣ терновъ вѣнокъ,
ты одна стоишь —
неколебимая.
По лицу кровавые ручьи текутъ,
и твоя рубаха бѣлая,

какъ багряница —
это твоей кровью заалѣли
бѣлыя поля.
Слышу, темное тайкомъ ползетъ,
пробирается по лѣсамъ, по зарослямъ
горе-зло-кручинное,
кузнецы куютъ оковы
тяжче-тяжкія.

*

Родина моя просторная, терпѣливая и безмолвная!
Прими вѣрныхъ, прими и отчаявшихся,
стойкихъ и шаткихъ,
бодрыхъ и немощныхъ,
прими кровныхъ твоихъ
и пришлыхъ къ тебѣ,
всѣхъ — отъ мала до велика —
ты одна неколебимая!
изъ гари и смуты выведи
на вольный бѣлый свѣтъ.

XIII

ПЛАКАТЪ

«Господа наши друзья, гостьи и гости, посѣщающіе насъ! Напоминаю всѣмъ, кто приходитъ къ намъ, что мы оба — люди больные и физически и нервно; напоминаю, что мы съ начала войны и до сихъ поръ находимся на краю гибели: мы ничего не имѣемъ, кромѣ заработка, а заработокъ

нашъ съ войны очень уменьшился. Наше тяжелое матерьяльное положенiе окончательно расшатало наши нервы. Въ эти великiе и необыкновенные дни мы всѣ должны беречь другъ друга. Помните, что культурныхъ людей у насъ такъ мало, а тьмы такъ много. Чтобы намъ не погибнуть, чтобы имѣть возможность работать, мы просимъ:

не говорите у насъ по телефону —

это убиваетъ! По телефону можно говорить въ аптекѣ, въ подъѣздѣ и т. д.»

МЕДОВЫЙ МѢСЯЦЪ

I

ПРЯНИКИ

Сосѣдъ Пришвинъ, пропадавшій съ самаго перваго дня въ Таврическомъ дворцѣ — извѣстно, тамъ въ б. Государственной Думѣ все и происходило, «рѣшалась судьба Россіи» — Пришвинъ, помятый и всклокоченный, наконецъ, явился.

И не хлѣбъ, пряниковъ принесъ — настоящихъ пряниковъ, медовыхъ!

— По сезону, — уркнулъ Пришвинъ, — нынче все пряники.

Къ Таврическому дворцу съ музыкой водили войска.

Одинъ полкъ привелъ «великій князь» — и объ этомъ много разговору.

Съ войны пріѣзжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали —

— чтобы передать Родзянкѣ.

Появились изъ деревень ходоки: посмотрѣть новаго царя —

— Родзянку.

Родзянко — былъ у всѣхъ на устахъ.

И въ то же самое время въ томъ же Таврическомъ дворцѣ, гдѣ сидѣлъ этотъ самый Родзянко, станомъ расположились другіе люди во главѣ съ Чхеидзе — «Совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ».

Тутъ-то, — такъ говорилось въ газетахъ, — «Керенскій вскочилъ на стулъ и сталъ говорить —»

Я замѣтилъ два слова — двѣ кнопки, скрѣплявшія всякую рѣчь, декларацію и приказъ той поры:

— смогу.

— всемѣрно.

И Родзянко пропалъ, точно его и не бывало.

Къ Таврическому дворцу съ музыкой водили войска.

Съ войны пріѣзжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали —

— чтобы передать Керенскому.

Появились изъ деревень ходоки: посмотрѣть новаго царя —

— Керенскаго.

Керенскій — былъ у всѣхъ на устахъ.

И третье слово, какъ третья кнопка, скрѣпило рѣчь:

— ножъ въ спину революціи!

А красныя ленточки, ими украсились всѣ отъ мала до велика, обратились и совсѣмъ незамѣтно въ защитный цвѣтъ.

И нашъ хозяинъ, не Таврическій и не Песочный, другой, таскавшій меня однажды къ міровому за то, что въ срокъ не внесъ за квартиру 45 рублей — а ей Богу жъ, не было чѣмъ заплатить и некуда было итти! — старый нашъ хозяинъ — человѣкъ солидный, а такой себѣ бантище

прицѣпилъ пунцовый, всю рожу закрыло, и не узнать сразу.

Носили Бабушку —

Вообще , по древнему обычаю, всѣхъ носили.

Жаль, что не пользовались лодкой, а въ лодкѣ и сидѣть удобнѣе и держать сподручнѣй.

Поступили, кто посмышленѣе, въ есеры:

— въ то самое, — говорили, — гдѣ Керенскій.

«Безкровная революція, — задирали носъ, — знай нашихъ!»

«Безкровная, это вамъ не французская!» — дакали.

Демонстраціи съ пѣніемъ и музыкой ежедневно.

Митинги — съ «пряниками» — ежедневно и повсемѣстно.

Все, что только можно было словами выговорить и о чемъ могли лишь мечтать, все сулилось и обѣщалось навѣрняка — «пряники:»

земля,
повышеніе платы,
уменьшеніе работы,
полное во всемъ довольство,
благополучіе,
рай.

Пришвинъ — агрономъ, человѣкъ ученый, въ Берлинѣ по нѣмецки диссертацію написалъ, Dr. M. Prischwin! — доказывалъ мнѣ, что земли не хватитъ, если на всѣхъ передѣлить ее, и что сулимыхъ полсотни десятинъ на брата никакъ не выйдетъ.

Я же никакъ не агрономъ, ни возражать, ни соглашаться не могъ, я одно чувствовалъ, насѣдаетъ на меня что-то и съ каждымъ днемъ все ощутительнѣй этотъ насѣдъ. И, не имѣя претензіи ни на какую землю и мало вѣруя въ

пряники — наговорить-то что угодно можно, языкъ не отвалится! — карабкался изъ всѣхъ силъ и отбивался, чтобы какъ-нибудь сохранить

свою свободу
самому быть на землѣ
самимъ.

И красную ленточку — подарокъ Николая Бурлюка — надписавъ «революція», спряталъ въ завѣтную черную шкатулку къ московскому полотенцу — пѣтухами московскими мать вышивала, и къ деревянной оглоданной ложкѣ — памяти моей о Каменщикахъ, Таганской тюрьмѣ.

*

— — остановился у Н. С. Бутовой въ Москвѣ въ Успенскомъ переулкѣ. Жду С. П. И вижу, Ященко пришелъ. Такъ — моя кровать, а онъ на диванѣ лежитъ. Входитъ Н. С. Бутова.
«Это небезызвѣстный профессоръ Ященко, — говорю, — пришелъ ночевать».
И мнѣ очень передъ Н. С. неловко: вѣдь она его совсѣмъ не знаетъ!
А вотъ и утро — — я иду по Садовой мимо С. В. Лурье на Землянку. Противъ церкви Николы Ковыльскаго два городовыхъ и околодочный — и всѣ въ бѣломъ по лѣтнему. «Городовыхъ уничтожили, а они стоятъ!» сталъ я противъ — разсматриваю.
Но тутъ какъ пошелъ народъ, какъ пошелъ — меня и оттѣснили.
Барышня Пуга́вка тянетъ за руку, а въ рукахъ у Пуга́вки дипломъ, въ трубочку свернутъ:

хочется ей непремѣнно, чтобы я посмотрѣлъ. А я не могу разобрать — вѣдь, ночь! — ничего не вижу. Подошелъ къ фонарю —

«Ничего не понимаю!»

«Я кончила балетную ботаническую школу».

Догоняю С. П. А меня мальчикъ да дѣвочка нагнали.

«Мы дѣти Фриды Лазаревны и Я. С. Шрейбера!»

«Вотъ, — думаю, — С. П. удивится».

— — дѣвочка бѣленькая, на мышку похожа, а мальчишка черненькій, а за ними борода треплется — —

«Оторвалась, значитъ, отъ Якова Самойловича, самостоятельно теперь —»

Идетъ навстрѣчу Пильнякъ: ноги серебряныя, кончикъ носа серебряный — весь блеститъ.

Оказывается, что же вы думаете, тоже ночевалъ у Н. С. Бутовой.

«И Гершензонъ, и Бердяевъ, всѣ тамъ».

«Бѣдная, — думаю, — Н. С., этакую ораву!»

И вижу Успенскій переулокъ, церковный дворъ. Изъ квартиры Н. С. Бутовой выносятъ ковры. А Левъ Шестовъ клѣтку несетъ.

«Ты, — говоритъ, — на мнѣ ѣздилъ, теперь я на тебѣ покатаюсь!»

Помогаю какой-то коверъ нести персидскій. Внизъ несли — очень тяжелый! — а когда донесли, очутился я на верху. Вхожу въ комнаты, а слѣдомъ за мной келейникъ изъ Андроніевскаго монастыря — онъ принесъ ветчины и хлѣба —

«Тутъ кормить не соглашаются».

II

ПАЛОЧКИ

Прачка, нѣмка Лизавета, столько лѣтъ стиравшая у насъ на Таврической, точная и аккуратная, на Островъ ходить отказалась. Пришла другая; новая: на видъ ничего, старый человѣкъ, повѣрить, казалось бы, можно.

И выстирала. Проситъ впередъ денегъ ей дать.

— Ей Богу, — говоритъ, — въ пятницу гладить приду!

Ну, дали ей денегъ, всѣ — сколько полагалось, а она и надула.

Тутъ по двору ходитъ, скалится.

— Пойди, — говоритъ, — жалуйся! Куда пойдешь?

И вспомнился мнѣ разговоръ со старшимъ дворникомъ: принесъ постановленіе домового комитета.

«Въ домѣ у насъ, — сказалъ онъ, — все идетъ дружно, только интеллигенція противъ!»

«Кто-жъ это?»

«Да вотъ самъ хозяинъ... на счетъ земли не согласенъ».

Можетъ, думаю, и эта старуха тоже на счетъ земли хлопочетъ — — только этажомъ ошиблась!

И еще вспомнилось, такое жъ — со швейцаромъ.

«Вотъ землю теперь трудящимся, — сказалъ швейцарь, — я тоже получу!»

«Зачѣмъ вамъ земля? Вѣдь вы всю жизнь въ городѣ живете, и не знаете, что съ землею дѣлать?

А онъ подумалъ, и словно-бъ и согласенъ, потомъ вдругъ нашелся:

«Ну, я деньгами согласенъ получить».

*

Пошелъ я въ парикмахерскую постричься и напоролся на митингъ.

Главный мастеръ кричитъ:

— Теперь такое время, надо рвать. А то поздно будетъ.

И я подумалъ.

«А земля-то, пожалуй, и не причемъ, тутъ вѣрно вотъ это — — а то поздно будетъ»!

*

Изъ парикмахерской шелъ такъ — по улицѣ.

Къ краснымъ флагамъ привыкли. Трамвайный путь расчищаютъ.

На трактирѣ надпись:

> *въ виду свободы объявляю: мой трактиръ свободенъ для всѣхъ солдатовъ. Солдаты, приходите, кушайте, пейте безплатно, а также желающіе изъ публики. Да здравствуетъ свобода!*

Столпились кухарки.

Какой-то шутникъ изъ прохожихъ:

— Требуйте 98 рублей въ мѣсяцъ, а миритесь на 30-и.

Самъ смѣется. Но смѣхъ его — въ сурьезъ.

— Намедни тоже, выискалась барыня растрепа. Собирала по полтиннику, записывала въ общество, тоже сулила 98 въ мѣсяцъ. И адресъ указала на Фурштадской. А когда пошли, тамъ такой и нѣтъ.

— Теперь такое время.

— А то поздно будетъ.

— Я не подданый, чтобы день и ночь работать! — угрожалъ кому-то ломовой.

Нестройно кучка народу — душъ около сотни — демонстрируетъ мимо Исакія.

Два красныхъ флага:

«да здравствуетъ с-д. р. п.» и «земля и воля».

Царь вампиръ изъ тебя тянетъ жилы,
Царь вампиръ пьетъ народную кровь...

— Товарищи, присоединяйтесь! долой буржуазію! шапки долой! — выкрикиваетъ безъ шапки.

А рядомъ солдатъ съ ружьемъ:

— Сказано: шапки снимать. Снимай шапку!

Я снялъ шапку.

И какіе-то два прохожихъ сняли.

И вдругъ мнѣ показалось, одинъ изъ моихъ глазѣющихъ сосѣдей какъ гаркнетъ —

Бо-же ца-ря...

царь вампиръ изъ тебя тянетъ жилы,
царь вампиръ пьетъ народную кровь...

— Пойдемъ! — и оба пропали.

Смеркалось — весенняя тяжелая сумерь волной накатывала.

И я вспомнилъ, какъ въ 14-мъ году въ войну одинъ поперечный поэтъ — А. И. Тиняковъ — тоже вотъ гаркнулъ на всю Фонтанку:

«Да здравствуетъ императоръ Вильгельмъ!»

Пѣніе едва доносилось и только какой-то «рарпиръ» и «нарровъ» врывались въ уличный шумъ.

Я надѣлъ шапку и пошелъ.

*

Нѣтъ, не въ волѣ тутъ и не въ землѣ, и не въ рыви, и не въ хапѣ, а такое время, это вѣрно, вздвигъ и взъершъ, рѣшительное, рѣдчайшее въ исторіи время, эпоха, вздвигъ всей русской земли — Россіи. Это весенняя накатывающая волна, въ крути вертящіяся палочки — самое сумбурное, ни на что не похожее, весеннее, когда все летитъ кверхъ тормашками, палочки вертящіяся —

И я стиснулся весь, чтобы самому какъ не закрутиться такой палочкой.

Россія — Россія ударится о землю, какъ въ сказкѣ надо удариться о землю, чтобы подняться и сказать всему міру:

— Азъ есмь.

— Но можно такъ удариться, что и не встанешь.

— Все равно, не хочу быть палочкой!

— Теперь это невозможно: или туда или сюда.

Я не все понималъ, что говорилось во мнѣ, и часто просто словъ не было, а какая-то круть туда и сюда — обрывки словъ.

А все сводилось: чтобы не растеряться и быть самимъ подъ нахлывающей волной въ неслыханномъ взвивѣ вихря.

И что я замѣтилъ: звѣзды, которыя я видѣлъ въ канунъ, погасли, вихрь овладѣвалъ моей душой.

— Да, я безкрылый, слѣпой, какъ кротъ, я буду рыть, рыть, рыть —

*

Вечеромъ сосѣдъ Пришвинъ разсказывалъ о всякихъ чудесахъ.

Разсказалъ о арестованныхъ городовыхъ, которые собрали между собой по подпискѣ 215 рублей —

«на нужды революціи».

И я себѣ представилъ, какъ эти городовые, усатые, въ сапогахъ, а кто и въ женскомъ платьѣ — и такое со страху бывало! — надо же какъ-нибудь выкручиваться... такое время —

«на нужды революціи!»

— А въ Царскомъ на митингѣ городовой вышелъ въ солдатскомъ: «Я, говоритъ, иду на фронтъ, не всѣ мы такіе, зачѣмъ же на дѣтей позоръ? Я могу быть убитъ!» «А когда будешь убитъ, тогда и говори!»

— А какъ же съ деревней?

— Ничего, въ деревню поѣхали: «тучи!»

*

— — ѣдемъ въ Москву —

«Чѣмъ чернѣе трудъ, тѣмъ больше правъ на свободу, вы кто такой?»

«Я? — и не долго думая: — я, — говорю, — отходникъ: и въ Кіевѣ и тутъ приходилось...»

«Получайте билеты».

Попали на Плющиху въ Новоконюшенный къ Льву Шестову.

Шестовъ надъ спиртовкой, поставилъ чайникъ.

«Революція или чай пить?»

И самъ глазами смѣется:

«Помолчи, — не даетъ отвѣтить, — такое время, лучше помолчи».

На Зубовскомъ бульварѣ на ларькѣ продаютъ бѣлые хлѣбы .

Я выбралъ три хлѣба — какъ большія рыбы.
«Сколько?»
«По рублю»
Схватилъ я у ларечника колунъ, да на торговку:
«По - рублю!»
«За всѣ — 50 копеекъ».
А сама такъ смотритъ — и задаромъ отдастъ! — такъ, только одни сверлки — глаза.
Опустилъ я колунъ -- и всего-то у меня полтора рубля! — всѣ и отдалъ.

III

О МИРѢ ВСЕГО МІРА

Третья недѣля и съ каждымъ уходящимъ днемъ входитъ новое — жуткое.

И эта жуть представляется мнѣ все отъ праздности: на улицахъ, мнѣ кажется, не идутъ ужъ, а «ходятъ».

Углубляется революція, — такъ сказала одна барышня изъ редакціи.

И какъ была счастлива,!

Я видѣлъ о ту пору счастливыхъ людей: и ихъ счастье было отъ дѣла.

— Революція или чай пить?

Другими словами:

— Стихія — палочки вертящіяся? — или упоръ, самоупоръ?

Тѣ, кто въ стихіи — «въ дѣлѣ» — они и счастливы. Потому что счастье вѣдь и есть «дѣятельность».

И скажу, до забвенія видѣлъ я тогда такихъ дѣятельныхъ — счастливыхъ.

Чай-то пить совсѣмъ не такъ легко, какъ кажется! Вѣдь, чтобы чай пить, надо прежде всего имѣть чай; А чтобы имѣть чай — —

Есть, впрочемъ, одно утѣшеніе: эта стихія, какъ гроза, какъ пожаръ, и пройдетъ гроза, а ты останешься, ты долженъ остаться, вдохнувъ въ себя всѣ силы грозъ.

— Но грозой можетъ и убить!

Пришвинъ — увлекающаяся борода, — такъ его прозвали на собраніяхъ, «увлекающейся бородой», —Пришвинъ все въ ходу, не мнѣ чета, но тоже не въ дѣлѣ, и вотъ пріунылъ чего-то.

«Въ мясѣ-то копаться человѣчьемъ — всѣ эти вертящіяся палочки — вся эта накипь старыхъ неоплатныхъ долговъ — месть, злоба — весь этотъ вывертъ жизни и неизбѣжность, проклятія — р е в о л ю ц і я — носъ повѣсишь!»

Сосѣдки наши, учительницы, обѣ тихія, измученныя. Я часто слышу, какъ старшая жалуется:

— Несчастье мое первое, что я живу въ такое время.

А другая кротко все уговариваетъ:

— Очень интересное время. Послѣ намъ завидовать будутъ. Надо только какъ-нибудь примириться, принять все. И развѣ раньше лучше намъ было?

— Да, лучше, лучше, — ужъ кричитъ.

И мнѣ понятно:

«Какъ хорошо въ грозу, какіе вихри!»

И мнѣ также понятно и близко:

«Въ мясѣ-то копаться человѣчьемъ—всѣ эти вертяшіяся

палочки, — гроза, раздоръ, тревога и самая жесточайшая месть и злоба, вывертъ жизни — р е в о л ю ц і я».

— Хорошо тому, кто при дѣлѣ, а такъ — —

— Представляю себѣ, какъ вамъ трудно! — мнѣ это та барышня сказала редакціонная.

— Когда происходятъ такія историческія катастрофы, какой ужъ тутъ можетъ быть счетъ съ отдѣльнымъ человѣкомъ! — на всѣ мои перекорныя разсужденія отвѣтилъ Ѳ. И. Щеколдинъ.

— Да, потому и наперекоръ: вѣдь , катастрофа-то для человѣка, а человѣка топчетъ!

— Видѣлъ я на старинныхъ иконахъ образъ Іоанна Богослова, — замѣтилъ археологъ И. А. Рязановскій, — пишется Богословецъ съ перстомъ на устахъ. Этотъ перстъ на устахъ — знакъ молчанія, знакъ заграждающій.

— Бѣдныя с ч а с т л и в ы я палочки, куда вихрь понесетъ, туда и летите!

Палочками разносились по бѣлому свѣту сѣмена революціи.

*

А сегодня Пришвина и не узнать.

Сегодня — 14-ое марта: знаменательный день:

ко всему воюющему міру обратились съ призывомъ о мирѣ —

— Посмотрѣлъ я, — разсказывалъ Пришвинъ, — рожи красныя: чего имъ? Какая война? Домой въ деревню, къ бабѣ. Конечно, миръ.

И я почувствовалъ, что оживаю.

Вѣдь я словно умеръ, и вотъ опять родился, учусь говорить, смотрѣть —

Сегодня я въ первый разъ сталь писать.
А какая весна на волѣ!

*

— — вижу образъ Божьей Матери — вѣнчикъ на образѣ изъ чистаго снѣга; выдвигаю ящикъ бумаги достать и вытянулъ ногу -- шелковая тонкая туфелька. А живемъ мы не въ домѣ — надъ домомъ. Леонидъ Добронравовъ поетъ: *Величитъ душа моя Господа!*

IV

ЖЕРТВЪ РЕВОЛЮЦІИ

О похоронахъ жертвъ революціи говорили давно.

Спорили о мѣстѣ: хотѣли первоначально на Дворцовой площади похоронить, да, говорятъ, Горькій вступился, и постановили на Марсово поле нести.

Пугали всякими страхами: и то, что пулеметы будто на крышахъ не всѣ сняты и, какъ пойдетъ процессія, тутъ и начнется стрѣльба; и того еще боялись, что нуженъ порядокъ, а какъ его сдѣлать? — никто никого не слушаетъ.

Наканунѣ прибѣжала къ намъ во дворъ дѣвчонка изъ сосѣдняго дома, предупреждаетъ не выходить на улицу:

— На 17-ой линіи съ седьмого этажа съ крыши только что сняли пушку.!

А случившіеся при этомъ страховоды подтвердили:

— Изъ Москвы въ одну ночь пѣшкомъ цѣлый полкъ пришелъ: бѣгутъ съ войны.

23-го марта ровно мѣсяцъ, какъ началось.

23-го марта и состоялись похороны.

Безъ колокольнаго звона несли красные гроба.

А если бы знали, какой есть погребальный перезвонъ — въ старыхъ русскихъ городахъ, въ Сольвычегодскѣ и нынче звонятъ, — большое искусство!

На Марсовомъ полѣ говорили рѣчи и изъ всѣхъ запомнилось — В. И. Засуличъ:

«о второмъ изданіи русской революціи».

Сумрачны были эти похороны, какъ и день сумрачный.

*

На углу 14-ой линіи какой-то самозванный милиціонеръ, пользуясь случаемъ — народъ на похоронахъ! — залѣзъ въ квартиру на самый на верхъ.

Была одна женщина въ квартирѣ съ дѣтьми, подняла крикъ. Сосѣди — однѣ женщины оставались — на крикъ бросились, навалились на «милиціонера» и, потащили внизъ.

Крикъ поднялся на всю линію.

Собралась толпа.

— Голову ему снять мерзавцу!

Ну, а тотъ проситъ, винится:

— Не снимайте, — говоритъ, — головы моей! — проситъ.

Страшно, когда человѣкъ на тебя бросается, а страшнѣе того, когда схватятъ тебя, бросающагося.

— Голову снять!

Одно твердятъ, не слушаютъ ничего.

Вотъ это-то и есть самое страшное: не слушаютъ! — не слышатъ словъ твоихъ.

Кричали, кричали — слава Богу! — повели въ комиссаріатъ.

*

Сумрачны были похороны и красное не краснымъ, сумрачнымъ смурило.

А когда наконецъ стали расходиться, всѣ только и говорили, что о порядкѣ.

И иностранцы, говорятъ, дивились нашему порядку.

— Первый смотръ революціоннаго пролетаріата!

*

Скажу о порядкѣ —

Чѣмъ-чѣмъ, а порядкомъ мы всегда славились.

И лѣтописный безпорядокъ — «наряда» будто нѣтъ! — и прославленная московская Ходынка, все это такъ — либо со зла, либо себѣ на умѣ сказано.

Черезъ мѣсяцъ въ Саратовѣ — всѣ газеты облетѣло!

Въ Саратовѣ на Петиной улицѣ спозаранку образовывались хвосты — очередь передъ публичными домами — публичные солдатскіе хвосты: 40 человѣкъ на одну женщину, какъ разъ, стало быть, наоборотъ пѣсни. И бывали случаи, что даже выскочитъ на улицу которая: «Спасите, больше работать не могу!» Ну, а ужъ за то порядокъ — такой былъ порядокъ, что иностранные корреспонденты, когда дознались, то не только дивились, а и завидовали: въ Европѣ ничего подобнаго не бывало! Конечно, культурные-то народы безъ привычки полѣзли бы, какъ скоты, и передрались бы другъ съ другомъ изъ за.

А еще позже въ Ташкентѣ.

Въ Ташкентѣ самосудомъ прикончили Коровиченку. И когда лежалъ онъ на полу, истерзанный, при послѣднемъ издыханіи, образовался опять-таки, скажу, хвостъ — очередь — пускали за 30 копеекъ по очереди плевать въ лицо умирающему — хвостъ плевательный.

Шли, платили 30 копеекъ и плевали, и былъ порядокъ — математическій.

V

СВЯТАЯ

На почтѣ какой-то мальчикъ съ пачкою заказныхъ писемъ уступалъ очередь одиночнымъ письмамъ, и только когда всѣ прошли, подошелъ къ окошечку съ своею пачкой —

— ко всеобщему удивленію!

Былъ у насъ Вяч. Шишковъ, б. сибирскій атаманъ, и денегъ предлагалъ и муки пообѣщалъ на Пасху —

— какая рѣдкость!

Хлѣбные хвосты растутъ.

Говорятъ, скоро хлѣба совсѣмъ не будетъ.

Легъ я и лежалъ съ открытыми глазами: столько наслушался я горькихъ жалобъ, столько слезъ увидѣлъ, въ глазахъ черно.

*

Благовѣщеніе праздновали три дня.

Ледъ не скалывался по улицамъ — лужи, кучи, грязь

невылазная — что-то отъ Пензы, Вологды, Устьсысольска и никакъ не петербургское.

По чистотѣ Петербургъ былъ вѣдь первый послѣ Берлина!

Увлекающаяся борода — Пришвинъ — съ того самаго дня, какъ кликнули кличъ о мирѣ, ходилъ въ ражѣ и ничего не замѣчалъ, такъ и перъ по грязищѣ.

По прежнему къ Таврическому дворцу демонстировали.

Но изъ всѣхъ демонстрацій, о которыхъ читали въ газетахъ, всякому запомнилась демонстрація дѣтей.

Они пришли, какъ водится, со всѣмъ весеннимъ шумомъ, принесли «пиѳагоровы штаны» и «удѣльный вѣсъ», и что говорили, не знаю, а наказъ имъ памятенъ:

«зорко слѣдите за правительствомъ!»

*

Пасха была ранняя.

И праздновали Пасху, кто сколько хотѣлъ.

— Вотъ нѣмцы, тѣ сумѣли бы устроиться, а у насъ только палка — безъ палки ничего. Такъ все и распразднуютъ.

Пришвинъ какъ будто соглашался: бывалый, сколько лѣтъ жилъ въ Германіи, знаетъ, что такое «нѣмецкое дѣло».

— У нѣмцевъ, посмотрите, ѣдетъ ли желтый почтовый автомобиль, какая важность у почтоваго чиновника: Reichspost! — или обратите вниманіе на вагоновожатаго, вамъ покажется, не простой вагонъ ведетъ онъ, а какой-то особенный, и случись что, все разрушится — Германія! — весь міръ, или когда сдаешь заказное письмо, вѣдь съ твоимъ письмомъ такъ мудруютъ — такъ наклеиваютъ и подписываютъ, словно въ твоемъ письмѣ сама судьба — Германіи! —

всего міра. У нѣмцевъ нѣтъ этого маленькаго дѣла, маленькаго человѣка — «должность моя маленькая, самъ я маленькій человѣкъ!» — нѣтъ этой нашей русской сгорбленности и пришибленности, и эту походку трусцой, сѣменящую, гдѣ вы ее тамъ встрѣтите? Да, такіе не распразднуютъ свое добро.

Пришвинъ соглашался, но его будоражилъ и веселилъ этотъ взвихъ или, какъ твердилъ Ивановъ-Разумникъ, скифскій вихрь, буря — пьянящая китоврасова музыка — безумье, когда все ни на что, а такъ — рывь, колебаніе міра, и всѣ эти взвихнутыя вертящіяся въ вихрѣ палочки — танецъ бурь, танецъ битвъ, крутящейся крути все круче и круче — танецъ революціи.

А кромѣ того — Пришвинъ охотникъ — весна! — ошалѣлъ, потянуло на землю къ травѣ и лѣсу.

На Пасху у насъ все было — Шишковъ, какъ всегда, и мучное слово сдержалъ.

Встрѣтили Пасху съ Пришвинымъ.

На второй и третій день было большое сборище, какъ всегда.

Какъ всегда, Өедоръ Ивановичъ Щеколдинъ и Наталья Васильевна Григорьева, Леонидъ Добронравовъ, И. А. Рязановскій, А. М. Коноплянцевъ, Р. В. Ивановъ-Разумникъ.

Приходилъ и Александръ Александровичъ Блокъ — и это въ послѣдній разъ былъ онъ въ моей серебряной игрушечной комнатѣ — въ обезвелволпалѣ (въ обезьяньей великой и вольной палатѣ).

Блокъ, для меня необычно, въ защитномъ френчѣ, отяжелѣлый, разсказывалъ о войнѣ —

«какая это безтолочь идіотская — война!»

И за нѣсколько мѣсяцевъ — служилъ онъ въ хакомъ-то земскомъ отъядѣ — навидался, знать и наслышался вдоспаль!

И была въ немъ такая устремленность ко всему и на все готоваго человѣка, и что бы, казалось, ни случилось, не удивишь, и не потужитъ, что вотъ еще и еще придетъ что-то.

А что-то шло — это чувствовалось — какой-то новый взвихъ —

Вѣдь, и за этотъ мѣсяцъ ужъ чувствовалось, что дальше такъ продолжаться не можетъ, и можно на все рѣшиться, только бы перемѣна и, что бы ни произошло, все будетъ лучше —

Я слышалъ, какъ одни ждали нѣмцевъ, я скоро услышу, какъ другіе будутъ рады Корнилову, а третьи — что бы тамъ ни было — главное, конецъ войнѣ! — и такихъ большинство, обрадуются Ленину и встрѣтятъ Октябрь ладно.

VI

ПЕРВАЯ СМЕРТЬ

На четвертый день Пасхи умеръ докторъ А. Д. Нюренбергъ.

Это первая смерть моего возраста — мы родились въ одинъ годъ и въ одинъ мѣсяцъ.

Живой человѣкъ — безсмертный, казалось! — и въ нѣсколько дней всему конецъ.

Добрый онъ былъ человѣкъ — такими добрыми родятся только очень талантливые — и умница.

Лежалъ онъ на Фонтанкѣ въ тѣсной Кауфманской часовнѣ.

Я пришелъ спозаранку.

Какія-то старушонки, спѣшившія за мной — дорога

къ часовнѣ путанная — стояли у стѣны, трясли головой, жалко смотрѣли красными отъ слезъ старыми глазами.

Много приносили вѣнковъ и такъ цвѣты —

А эти старушонки ничего не принесли — онѣ только сами пришли съ Острова за Калинкинъ мостъ на Фонтанку — принесли свой непосильный трудъ и жалость.

Я помню, что-то онъ разсказывалъ о старушонкахъ и о бѣдѣ ихъ несчастной, о своихъ сосѣдяхъ.

Я смотрѣлъ на желтый крѣпкій лобъ — какой умный упоръ! Но глаза закрытые плотно, не с в ѣ т и л и. И только брови — одна къ другой — чернѣе еще чернѣлись.

И мнѣ вспомнилось: пріѣхалъ онъ однажды послѣ пріема, легъ на диванъ въ нашей тѣсной столовой—просто такъ полежать; я пошелъ къ себѣ, занялся письмомъ и совсѣмъ забылъ; вхожу зачѣмъ-то въ столовую, протянулъ руки, чтобы на стулъ не наткнуться — чуть-чуть огонекъ отъ лампадки свѣтитъ — а онъ съ дивана тихонько руку да за ногу меня — и поймалъ!

И съ этихъ поръ и не знаю, отчего это бываетъ, я почувствовалъ что-то такое доброе въ его душѣ, и еще понялъ тогда же, и тоже не знаю, отчего это бываетъ, что одинокъ онъ въ сутолкѣ своего дѣла и, хоть большая гремитъ слава, а счастья нѣтъ и нѣту.

Старушонокъ совсѣмъ къ стѣнѣ прижали.

Все приходилъ народъ — паціенты — очень много, всю часовню набили и вѣнковъ много — весь въ цвѣтахъ.

Послѣдніе цвѣты — послѣдній поклонъ молчаливый и — безотвѣтный.

Я все смотрѣлъ на желтый крѣпкій лобъ и думалъ и тихо покорно мирился со смертью:

«въ суетѣ своего дѣла очень онъ усталъ, а теперь ничего не надо, вотъ и лежитъ спокойный не-

пробудно — телефонъ не разбудитъ и торопиться некуда».

И еще думалось:

«трудно очень жить стало, такъ трудно, что просто иногда завидно — мертвому завидно: не могу я быть ни палачомъ, ни мстителемъ, ни грознымъ карающимъ судьей и всякая эта рѣзкость «революціоннаго» взвива меня ранитъ и мнѣ больно — моей душѣ больно».

На кладбище я не пошелъ — очень далеко, надо по желѣзной дорогѣ! — а проводилъ, какъ выносили.

И все я смотрѣлъ — провожалъ.

Вѣнокъ изъ маленькихъ синихъ цвѣтковъ, подвѣшенный на колесницѣ, подпрыгивая, лучился синимъ.

Солнечный весенній день.

*

VII

МОЛЧАЛЬНИКЪ

Не всѣ на Руси крикуны и оралы и не всякій падокъ на крикъ.

Сказать о русскомъ человѣкѣ, будто пустымъ крикливымъ словомъ взять его можно съ душой и сапогами, это невѣрно.

И не одна только примазавшаяся гирь и шкурническая мрась сидитъ нынче по русскимъ городамъ и верховодитъ.

Пріѣхалъ И. С. Соколовъ-Микитовъ, солдатъ — летчикъ съ фронта — большой молчальникъ, слова не выжмешь.

— Какими, — говорю, — судьбами?

— Выбранъ делегатомъ въ Совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ.

Ушамъ не вѣрю.

— Кто же выбралъ?

— Шестнадцать тысячъ за меня, какъ одинъ. Вотъ и послали.

И разсказалъ мнѣ, какъ на собраніи у нихъ первыми крикуны повыскакивали и стали бахвалиться: кто чего можетъ! А онъ, Микитовъ, молчкомъ сидитъ, и только потомъ обмолвился, что, молъ, зряшное это все бахвальство-то, ни шапками не закидаешь, ни горломъ дѣла не сдѣлаешь. И какъ стали выбирать, крикуновъ-то взашей, а его на атаманское мѣсто въ Совѣтъ.

И вправду Соколовъ-Микитовъ большой молчальникъ и, коли скажетъ, бывало, съ толкомъ скажетъ, не дастъ въ обиду и прокъ былъ.

Но скажу, что вышло: и не то что бы закричали его крикуны и оралы, но самъ-то онъ перемудрилъ и до самого конца, какъ въ моряки поступить балтійскіе, три мѣсяца ходя въ Совѣтъ, не проронилъ ни слова.

Слово — серебро, молчаніе — золото, а если ужъ черезчуръ, то просто — сомъ-молчальникъ!

VIII

ТУРКА

А бываютъ на свѣтѣ люди и тоже про нихъ не скажешь, что изъ породы они человѣческой, ну, какъ рисуютъ человѣка на картинкахъ «возрасты человѣческой жизни», нѣтъ, это не человѣки, а сказочные люди, о которыхъ

всякій въ книжкахъ читалъ — въ сказкахъ, и вопреки здравому разсужденію вѣрилъ, что они на самомъ дѣлѣ есть.

Я зналъ такого, кличка ему Турка. Туркой всѣ его и звали — Илья по имени, по прозвищу Турка.

Обыкновенно появлялся у насъ Турка передъ наступленіемъ какого-нибудь важнаго событія.

И вотъ въ апрѣлѣ появляется Турка.

Турка разсказалъ о демонстраціи, съ которой онъ только что — первая въ Петербургѣ демонстрація съ черными флагами.

— Денегъ столько, сколько подымешь, а земли столько, сколько обѣжишь.

А за одно разсказалъ Турка и о пріятелѣ своемъ тоже туркѣ, — не то въ Рыбинскѣ, не то въ Кадниковѣ.

Турка въ географическихъ названіяхъ всегда путалъ и начнетъ другой разъ про Черниговъ, а сведетъ на Кинешму, тоже и въ именахъ, а что до численности ужъ подлинно обсчитывался — изъ одного выведетъ три, а изъ трехъ всю дюжину.

Такъ вотъ гдѣ-то въ Кадниковѣ жилъ - былъ этотъ турка Кирѣевъ Григорій Сильвестровичъ.

— Человѣкъ одинокій, жилъ Кирѣевъ тихо и смирно, торговалъ рыбой и одного дожидался въ одиночествѣ своемъ — праздниковъ: сначала Рождества ждетъ, потомъ Благовѣщенія, потомъ Пасху и т. д. И вдругъ нежданно-негаданно грянула революція и все перепуталось и такъ перевернулось, ни съ того, ни съ сего выбираютъ его въ городскія головы, и вся Кинешма отъ мала и до велика — «здравствуйте, пожалуйста, Григорій Еремѣевичъ, быть вамъ головой!» Онъ и растерялся: еще бъ, головой!.. И въ

одинъ прекрасный день послѣ головинныхъ поздравленій ясно почувствовалъ, что не одна, а цѣлыхъ двѣ у него головы: одна собственная его, Кирѣева, которая ѣстъ кушанья и разговариваетъ, а другая — другая голова городская.

— Ахъ, Турка, Турка!

— И это бы все ничего, — продолжалъ Турка, — ну что жъ такого, двѣ головы, да хоть бы и три, я бы и девять носилъ, даже съ девятью хоръ можно устроить и концерты давать: пою за десятерыхъ! Но дѣло обернулось куда хуже, другая-то голова городская оказалась водяной: воду изъ нея льютъ, улицы поливаютъ. Это его окончательно и сбило. И теперь собирается прямо изъ Ельца и со всѣмъ многочисленнымъ своимъ семействомъ въ Петербургъ: хочетъ представиться въ петербургскую пожарную команду и послужить дѣлу революціи, какъ неистощимый и непрерывно дѣйствующій самополивъ!

Турка вращалъ огромными турецкими бѣлками и въ усъ свой черный по-турецки улыбался.

— Ахъ, Турка, Турка!

Сколько ему, Туркѣ, еще въ жизни ночей!

Это изъ тысяча-и-одной-ночи прямо со страницъ изъ картинки вышелъ онъ и очутился въ Россіи, а изъ Россіи перекочевалъ въ Европу, а изъ Европы въ Китай, потомъ въ Сибирь и опять въ Россію.

Турка считалъ себя причастнымъ къ русской литературѣ; когда выходила замужъ дочь Глѣба Ивановича Успенскаго, Вѣра Глѣбовна за Савинкова, онъ былъ шаферомъ, а затѣмъ нѣкоторое время жилъ въ одномъ домѣ и по одной лѣстницѣ съ Павломъ Елисеевичемъ Щеголевымъ на Большой Дворянской, и кромѣ того любилъ посмотрѣть рѣдкія

русскія книги въ книжной лавкѣ у Якова Гавриловича Новожилова.

Турка, окончивъ Петербургскій университетъ и отсидѣвъ въ Крестахъ за «безпорядки», поѣхалъ въ Германію — Турка тоже «докторъ», только не агрономическія науки изучалъ онъ, какъ Пришвинъ, а по апретурному дѣлу — химикъ.

Изъ Германіи Турка вернулся въ Херсонъ къ отцу и занялся торговлей — въ Херсонѣ первая была ихъ лавка: всякія и самыя тонкія англійскія сукна.

Турка во всѣхъ влюблялся и въ Турку влюблялись, и было у Турки тысяча невѣстъ, а на тысяча первой Турка собирался жениться.

И не женился.

Сколько ни объяснялись, сколько ни говорили другъ съ другомъ, а до конца никакъ не могли договориться и по очень простой причинѣ: Турка тугъ былъ на правое ухо, а невѣста на лѣвое съ глушинкой.

Такъ и не женился.

А померъ отецъ, осталось все Туркѣ, какъ старшему, а Турка передалъ торговлю братьямъ, а самъ пустился свое счастье искать.

Заманила его на востокъ икра — «красная кетовая икра!»

И повезло — на икрѣ большое состояніе нажилъ.

И ужъ собирался было въ Японіи домъ строить изъ фиговыхъ листиковъ, а мнѣ сулилъ китайскихъ боговъ и японскую разноцвѣтную тушь, и вотъ случилась буря — кетовые корабли потонули, и ужъ въ 4-омъ классѣ прикатилъ Турка въ Петербургъ, — начинай сначала!

И была его турецкая жизнь полна самыхъ такихъ головоломныхъ нечаянностей: то онъ какія-то гайки прода-

валъ, то табашнымъ дѣломъ занялся, — но все какъ-то такъ выходило, что вотъ-вотъ на небеса взлетитъ, хвать, корабли ко дну, начинай сначала!

Когда началась война, Турка ходилъ къ Зимнему Дворцу, стоялъ на колѣняхъ.

Турка просился въ добровольцы, мѣшокъ собралъ съ бѣльемъ и сухарики припасъ, но почему-то ему отказали, и какъ ни добивался — отказали.

Вѣдь Турку заманивала война, какъ кета, какъ гайки!

А когда въ 1916 году добровольцевъ запретили и ужъ больше перестали принимать, Турка бросилъ мѣсто — а мѣсто онъ занималъ важное въ Сибирскомъ Банкѣ — и наперекоръ всякимъ запретамъ, опять пошелъ добиваться.

И приняли-таки, добровольцемъ угнали въ Финляндію. — Турка торжествовалъ! Турка готовился «принять бой!» — но тутъ произошла революція, товарищи Турки, и не сговариваясь, тихо и смирно кончили войну и разбѣжались по домамъ.

И Турка кончилъ войну и вотъ появился —

Когда-то при открытіи первой Государственной Думы Турка, чтобы пробраться посмотрѣть поближе, взялъ извозчика и поѣхалъ. А тамъ около Таврическаго дворца ждали членовъ и, когда замѣчалъ кто особенно чтимыхъ, выкрикивалась фамилія и всѣ вразъ бросались къ извозчику или къ атомобилю, вытаскивали и качали.

Въ сухопаромъ Туркѣ былъ опознанъ Максимъ Максимовичъ Ковалевскій, и Турку качали при всеобщемъ одобреніи и при дружномъ крикѣ:

«Да здравствуетъ Максимъ Максимовичъ!»

И теперь при возвращеніи изъ Финляндіи повторилась съ Туркой тоже недоразумѣніе: когда подошелъ поѣздъ,

Турка не безъ робости выглянулъ изъ вагона, собираясь тихонько и не черезъ вокзалъ, а путями пробраться на улицу, но къ великому изумленію увидѣлъ на платформѣ огромную толпу, устремленную какъ разъ къ его вагону.

Въ Туркѣ опознанъ былъ извѣстный революціонеръ Барладеанъ Алексѣй Георгіевичъ, котораго ожидали изъ Женевы.

Турку вытащили изъ вагона — Турка цѣпкій, сопротивлялся, не помогло! — и на рукахъ понесли черезъ весь вокзалъ къ автомобилю, окруженному сочувствующей толпою.

Но что всего чуднѣе: Туркѣ говорили привѣтственныя рѣчи!

Турка по восточному прикладывалъ руку то ко лбу себѣ, то къ сердцу, держась золотого молчальнаго правила.

Но въ концѣ концовъ вынужденъ былъ нарушить молчаніе и сказалъ единственный стихъ по-турецки, единственно, что зналъ турецкаго изъ Микаэля Теръ-Погосяна:

айда илда
биръ барымъ
аква уйма
чипіимъ

акалчигенъ
сенъ алдынъ
чойма сакла
чипіимъ

Всѣ остались очень довольны и подъ крики: «Да здравствуетъ тов. Барладеанъ!» — отвезенъ былъ Турка прямо въ Таврическій дворецъ.

— Только воспользовавшись нуждой, удалось сбѣжать, но съ фуражкой пришлось разстаться.

Тутъ Турка вдругъ сталъ на колѣни.

Тысяча-и-одна-ночные глаза его наполнились слезами и, по восточному прикладывая руку то ко лбу себѣ, то къ сердцу, онъ повинился, что на демонстраціи самъ онъ не былъ, а только слышалъ.

Я видѣлъ, тысяча-и-одна-ночная душа его рвется прямо подъ черный флагъ —

*

— — я спросилъ: какъ же ихъ хоронятъ? — А хоронятъ такъ: на носъ мокрую тряпку, а ѣдятъ они черный хлѣбъ съ молокомъ — —

XI

ЛЕНИНЪ ПРІѢХАЛЪ

Разговоръ одинъ слышишь, у всѣхъ одно:

— о Ленинѣ.

Забыли Совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, грозу и страхъ, забыли Чхеидзе, предсѣдателя Совѣта — все пропало —

— одинъ Ленинъ.

— Ленинъ пріѣхалъ, ну теперь начнется!

— Что-то будетъ: Ленинъ пріѣхалъ!

«Лeнинецъ» — вотъ что стало грозою и страхомъ —

— большевикъ.

Въ трамваѣ насторожились.

И не знаю, за что, а должно быть, видъ у меня такой, ѣхалъ я тихо, а меня хотѣли вывести.

— Такихъ надо за шиворотъ тащить! — кричала какая-то дама.

Вотъ ужъ подлинно, у страха глаза велики.

— Если Ленинъ отъ Болотникова, Блейхманъ отъ атамана Хлопка! — сказалъ археологъ Иванъ Александровичъ, переводя событія современныя на Смуту XVII вѣка.

А сегодня нашъ швейцаръ заявилъ, что онъ тоже большевикъ:

— Мое соціально убѣжденіе такое, что каждый долженъ помереть на своей собственной постели.

*

Мнѣ надо было на Невскій, вскочилъ я въ трамвай и поѣхалъ.

И все ничего. Заглядывали съ любопытствомъ на волю: обгоняли трамвай броневики — солдаты съ винтовками.

Но не вѣрилось, чтобы произошло что-нибудь — февральской тревоги не было

Возлѣ Зимняго дворца трамвай остановился.

И я увидѣлъ тотъ Финляндскій полкъ, который пугалъ меня въ февралѣ перекатывающимися шариками — стрѣльбой неугомонной.

Вся власть совѣтамъ!
Безъ аннексій и контрибуцій!
Да здравствуетъ миръ между народами!
Долой Милюкова!
Храните юную свободу!

Плакаты — надписи несли высоко надъ головами — всѣмъ видно:

— Вотъ, подлецы, Ленина имъ надо!

— Началось! Причемъ Милюковъ?

— А вы читали, что сказалъ Милюковъ?

— Что жъ онъ сказалъ?

— Война безъ конца.

— Не безъ конца, а до побѣднаго конца.

— Я не русскій, но мнѣ вчужѣ стыдно за Россію: что у васъ дѣлается!

— Вонъ — вонъ изъ вагона!

Поднялся шумъ: кричалъ и рабочій, кричалъ и господинъ, кричала и дама — одни заступались за иностранца-офицера, другіе поддерживали рабочаго.

— Уходите! Сейчасъ стрѣлять будутъ!

Милиціонеръ вошелъ въ вагонъ и кончилъ всѣ споры.

Пришлось вылѣзать.

Демонстрація шла по Невскому — —

Вся власть совѣтамъ!
Безъ аннексій и контрибуцій!
Да здравствуетъ миръ между народами!
Долой Милюкова!
Храните юную свободу!

Часа черезъ два, когда все окончилось и безъ всякой стрѣльбы, я возвращался домой.

Трамвай биткомъ набитъ.

— Вино грабили солдаты!

— Это не можетъ быть, солдаты?!

— Какъ же не солдаты, сама видѣла: родной племянникъ.

— Нѣтъ, такъ нельзя! — рабочій, повернулся къ солдатамъ, — Щегловитовъ сидитъ въ Петропавловской крѣпости, а Милюковъ съ нимъ чай будетъ пить. А намъ надо такого, чтобы со мной пилъ.

Вся власть совѣтамъ!
Безъ аннексій и контрибуцій!
Да здравствуетъ миръ между народами!
Долой Милюкова!
Храните юную свободу!

Много говорили и пугали.

Но у меня не было того чувства, чтобы совершилось что-нибудь, произошелъ бы сдвигъ.

Что-жъ, долой Милюкова, а кого на мѣсто Милюкова — —?

— И какъ была война, такъ война и останется.

И опять начнется — опять финляндскій полкъ — опять «долой» — —

— Ленинъ возьметъ верхъ, посмотрите! — сказала С. П.

Но этому никто не вѣрилъ.

*

— — какая-то женщина обираетъ билетики: по билетику что хочу, то и спрошу.

«Кѣмъ я былъ?»

И сейчасъ же отвѣтъ мнѣ готовъ:

«Родился въ Скандинавіи въ 1561 году, а имя Сергѣй».

X

СТАЛЬ И КАМЕНЬ

Были у Вѣры Николаевны Фигнеръ.

Затѣваетъ она сборникъ «Гусляръ».

Я ужъ разъ ее видѣлъ на первомъ «скифскомъ» собраніи въ январѣ у С. Д. Мстиславскаго.

Закалъ въ ней особенный, какъ вылитая.

Или такъ: одни по душѣ какіе-то рыхлые, какъ будто приросшіе еще къ вещамъ, и шагъ ихъ тяжелый, идутъ, будто выдираются изъ опута, другіе же , какъ сталь — холодной сферой окружены — и въ этой стали бьется живая воля, и эта воля безпощадна.

Я чего-то всегда боюсь такихъ.

Или потому что самъ-то, какъ кисель, и моя воля — не р а з л у ч н а я.

И, говоря, мнѣ надо какъ-то слова разставлять, чтобы почувствовать, что слова мои проникаютъ и черезъ эту холодную сферу.

Какъ-то весной еще до войны въ «Сиренско-Терещинковскій» періодъ жизни нашей провожалъ меня Блокъ и разговорились мы какъ разъ о такомъ вотъ, — очень помню, на Троицкомъ мосту, начиналась бѣлая ночь.

— Не представляю себѣ, какъ вы можете разговаривать, напримѣръ, съ Брюсовымъ?

Блокъ это понялъ хорошо.

Но Вѣру Николаевну я больше слушалъ и старался отвѣчать по-человѣчески, а это было очень трудно , и выходило очень глупо.

Вѣру Николаевну я слушалъ и смотрѣлъ такъ, какъ на «живую» память.

Вѣдь съ ней соединена цѣлая исторія русской жизни — совсѣмъ недоступная моей душѣ сторона, выразившаяся для меня въ имени — «первое марта».

Я это всегда представлялъ себѣ — «отъ убійства до казни» — какъ сквозь густой промозглый туманъ, по спинѣ отъ зяби мурашки и хочется, чтобы было такъ, если бы можно было вдругъ проснуться.

И не это, а неволя — Шлиссельбургская крѣпость — долгіе одиночные годы смотрѣли на меня, и я не могъ повѣрить, — такое терпѣніе., такая крѣпь! — и вѣрилъ.

Вѣра Николаевна предлагала намъ на лѣто ѣхать къ ней -- въ Казанскую губернію.

И я видѣлъ: деревенскія вѣсти тревожатъ ее — въ деревнѣ кавардакъ.

*

Узналъ изъ газетъ, что пріѣхалъ Савинковъ.

А сегодня днемъ на звонокъ отворяю дверь — Савинковъ!

Сколько лѣтъ не видались. Въ послѣдній разъ въ 1906 году весной, передъ Севастополемъ — — А все такой же, нѣтъ, еще каменнѣе, а глаза еще невиднѣе, совсѣмъ спрятались.

Разговорились о стихахъ — Борисъ Викторовичъ стихи писать сталъ, — о поэтахъ, о Маяковскомъ, о Кузминѣ.

А я все хотѣлъ спросить: помнитъ ли онъ, какъ еще въ Вологдѣ однажды я вотъ, какъ теперь, этотъ вопросъ:

«Революція или чай пить?»

Понялъ ли онъ — двадцать лѣтъ прошло! — что меня тогда мучило?

Въ Вологдѣ, гдѣ было такъ тѣсно, я чувствовалъ въ себѣ, какъ и теперь, этотъ упоръ —

быть самимъ собой.

И я не спросилъ, — такъ стихами и кончили.

А съ Савинковымъ мнѣ легче говорить — или потому, что много переговорено за вологодскую жизнь?

А еще легче — вспоминаю теперь — съ Каляевымъ.

Помню навсегда, какъ Каляевъ цвѣтовъ мнѣ принесъ, и это тогда, какъ за «чай» то мой поперечный очутился я и въ тѣснотѣ, и совсѣмъ одинъ.

А ужъ совсѣмъ мнѣ легко съ Розановымъ.

XI

И ЗАБОТЪ

Вешній Никола отдарилъ.

На Николинъ день по всей Россіи прошелъ снѣжный ураганъ.

Пріѣзжалъ Гржебинъ — онъ печатаетъ мою книгу «Николины Притчи», въ ней собраны русскія легенды о Николѣ.

А Никола — это нашъ русскій народный богъ.

И до чего странно и дико — такую русскую книгу ни одинъ русскій издатель не принялъ — всѣ отказали, и одинъ единственный не отказалъ Зиновій Исаевичъ.

Я смѣялся:

— Еврей принялъ русскаго Николу, а русскіе отшвырнули своего Николу сапогомъ!

А Зиновій Исаевичъ раскладывалъ по столу, какъ

камушки раскладывають, чехонинскіе картинки — тончайшіе сплеты въ буквенную Николину ризу.

— Зиновій Исаевичъ, и васъ и вашихъ дѣтей Никола за это оградитъ, есть такой старинный апокрифъ.

— Ну, а какъ вамъ эта буква?

Гржебинъ, будто уральскимъ камушкомъ, игралъ чехонинской буквой, нарисованной бѣличьей кисточкой.

*

Въ домѣ у насъ бѣда: захворала С. П.

И вотъ ужъ недѣля въ тревогахъ и заботахъ.

Смутно и больно.

Не дай Богъ! и здоровому-то «безъ дѣла» трудно, а захвораешь — — въ этомъ вихрѣ-то безпощадномъ, вѣдь, всѣ какъ ослѣпли.

*

Пошелъ посмотрѣть на Невскій — «Заемъ свободы».

Бѣдно что-то очень и призывы незвучны.

Нѣтъ, слово «война» — пугало и даже свободой не скрасишь.

— Ишь, нарядились! — слышу изъ толпы голосъ.

Нѣтъ, этого народъ не одобритъ.

И мнѣ чего-то неловко за знакомыхъ, которыхъ я видѣлъ въ процесіяхъ, наряженныхъ невесело.

Звонилъ Блокъ.

Говорили о «Новой Жизни», о Горькомъ.

— Горькій правильно, только путанно, — сказалъ Блокъ.

*

На углу 15-ой линіи и Средняго агитаторъ — за кого не знаю, а выбираютъ въ Городскую думу.

— Спиртъ безъ книжекъ, хлѣбъ безъ очереди, сахаръ безъ карточекъ.

И до чего эти всѣ партіи звърски: у каждой только своя правда, а въ другихъ никакой, вездѣ ложь.

И сколько партій, сколько и правдъ, и сколько правдъ, столько и лжей.

И, какъ вотъ сейчасъ, идутъ выборы, и если всѣхъ послушать, и ужъ никакой правды не сыщешь; всякій все обѣщаетъ и одинъ другого лаетъ.

А ничего не подѣлаешь: радоваться нечему, но и горевать не къ чему —

Вѣдь это жъ жизнь: кто кого? чья возьметъ? — въ въ этомъ все и удовольствіе жизни.

Да, «безъ дѣла» бѣда.

Смотрѣлъ я на агитатора: живетъ, живъ, счастливый человѣкъ.

— Спиртъ безъ книжекъ, хлѣбъ безъ очереди, сахаръ безъ карточекъ.

*

Помню, когда началось, въ какомъ я былъ волненіи: отвѣтственность, которую взялъ на себя русскій народъ, и на мнѣ, бѣдь, легла тысячепудовая.

Что будетъ дальше, сумѣютъ ли устроить свою жизнь — Россію! — столько думъ, столько тревогъ.

Душа, казалось, выходитъ изъ тѣла — такое напряженіе всѣхъ чувствъ.

Третій мѣсяцъ революціи.

И отъ напряженности вздвига всѣхъ чувствъ я какъ весь обнаженъ.

Совѣсть болитъ —

По другому не знаю, какъ назвать мучительнѣйшее изъ чувствь: все дурное, что сдѣлалъ людямъ, до мелочей, до горькихъ нечаянныхъ словъ, все вспоминаю.

И жалко всѣхъ.

Вотъ ужъ никакой стали, никакого желѣза — весь міръ, всѣ вещи какъ слились со мной, прохожу черезъ груды, отрываясь, протискиваюсь, и за мной тянется цѣлый хвостъ, а къ рукамъ отъ плечъ и до пальцевъ тяготятъ тягчайшія крылья и сердце стучитъ, какъ тысяча сердецъ всего живого отъ человѣка до «бездушной» вещи.

И мнѣ жалко всѣхъ.

*

Поздно вечеромъ возвращался я домой по Среднему проспекту.

Сумерки бѣлой ночи — фонари кое-гдѣ зажгли.

Шелъ я быстро, торопился домой.

По слѣпотѣ не разъ натыкаясь на встрѣчныхъ, всматривался, чтобы быть осторожнѣй.

И вдругь вижу: на меня прямо какая-то груда.

И наткнулся.

И ясно, какъ только могутъ вдругъ близорукіе, я все различилъ.

Замухрыстый солдатёнка — шинель въ накидку — и съ нимъ, шинелью прикрывалъ онъ, дѣвочка лѣтъ двѣнадцати.

Они переходили на ту сторону — къ банямъ.

. . . .

Еще сумернѣе становилось, отъ рѣдкихъ фонарей слѣпѣе, еще чаще натыкался я, совсѣмъ плохо различалъ дорогу.

Но какъ ясно я видѣлъ!

Я видѣлъ наваливающуюся на меня груду — плюгащій солдатенка и, совсѣмъ какъ стебель, дѣвочка, прикрытая шинелью.

XII

ОТПУСКЪ

Передъ нашимъ отъѣздомъ въ концѣ мая, — а мы рѣшились ѣхать на лѣто въ Берестовецъ — поѣхали къ В.В. Розанову прощаться.

Сопровождалъ насъ И. С. Соколовъ-Микитовъ: подъ его глазомъ вечеромъ не такъ опасно.

Первое знакомство съ Розановымъ въ 1905 г. на Шпалерной и вотъ теперь опять на Шпалерной, только не та, другая квартира, и, какъ оказалось, въ послѣдній разъ.

Пошли мы къ нему прощаться — такое время: уѣдешь, а вернешься и не застанешь, или уѣдешь и самъ не вернешься, и не потому, что бы не хотѣлъ —.

Не хорошо, бѣгутъ изъ Петербурга, — началось это съ годъ — побѣжали отъ страху: нѣмцы придутъ! А теперь: революціи страшно — надвигается голодъ.

Глупые! развѣ можно убѣжать — отъ судьбы никуда не уйти.

Дома застали Василія Васильевича и Варвару Димитріевну.

А дѣтей не было: уѣхали куда-то — пустое гнѣздо.

В. В. отдыхалъ, подождали, посидѣли съ Варварой Димитріевной.

А скоро и вышелъ, и какой-то, точно послѣ бани, чистый: это В. Д. ему сказала, чтобы не въ халатѣ, принарядился.

Очень озабоченный и игры этой не было розановской.

Конечно, злободневное сначала, безъ этого не обойдешься, и, конечно, по русскому обычаю, съ осужденіемъ — о правительствѣ само собой — «временное правительство».

В. В., какъ немногіе, правильно произносилъ, на послѣднемъ ударяя: временнòе, а не временное, какъ языкомъ чесали.

— Временное правительство подъ арестомъ.

Вѣдь, какое бы ни было правительство и самое ангельское, все равно будетъ оно всегда осуждаемое,все равно, какая бы ни была власть, а какъ власть — ярмо.

А человѣкъ въ ярмѣ — человѣкъ брыкливъ.

И только закоренѣлый рабъ и скотъ радъ уздѣ — ярму.

О временномъ правительствѣ, о псевдонимахъ, которые верховодятъ.

— Подпольная Россія на свѣтъ вышла.

И о народной темнотѣ и солдатской теми, и о Ленинѣ — о пломбированномъ вагонѣ, и о дворцѣ Кшесинской, и о дачѣ Дурново, гдѣ засѣли анархисты.

Ну, все, что говорилось въ тѣ первые три мѣсяцы революціи.

На этомъ политика кончилась.

В. В. показывалъ монеты — свое любимое, говорилъ и о египетской книгѣ — свое завѣтное.

И о нездоровьѣ — раньше никогда — прихварывать сталъ; склерозъ! — и о докторѣ Поггенполѣ, на котораго вся надежда.

Пили чай, хозяйничала Варвара Димитріевна, какъ всегда, какъ и въ 1905 г., хоть и не то — вотъ кто изболѣлъ за эти годы!

Чай примирилъ и успокоилъ.

И не будь нездоровья, В. В. пошелъ бы посмотрѣть — въ 1905 году куда не ходилъ! — а теперь куда еще любопытнѣй.

Я разсказалъ о вечерѣ: устраивается на Островѣ такой съ лозунгомъ танцовальный:

Будемъ сѣять незасѣянную землю!
подростки безплатно,
дамы — 50 коп.

На минуту игра, какъ лучъ, — лукавый глазъ.

Сколько бъ было разговору: сѣмя!— сѣменная тайна!—

И опять погасло, глубокая забота.

— Мы теперь съ тобой не нужны.

И сначала брыкливо, потомь горько, а потомъ покорно:

— Не нужны.

И покорно, и тяжко, и убѣжденно, словно изъ-пододна вышло, послѣднее — приговоръ и отпускъ.

Варвара Димитріевна тоже очень безпокоится: сталъ В. В. прихварывать, — все можетъ случиться.

— Докторъ говоритъ...

И какъ это несоединимо — человѣкъ всю свою жизнь о радости жизни — о сѣмени жизни — о жизни —

— Докторъ говоритъ, сосуды могутъ сразу лопнуть и конецъ.

Такъ и простились.

Отъ Троицы-Сергія получили мы отъ Розанова Апокалипсисъ — нѣсколько книжечекъ съ надписью, но ужъ увидѣться намъ не пришлось.

*

Я долго все поминалъ:

«не нуженъ... мы съ тобою ненужны».

Какъ ! Розановъ не нуженъ?

Теперь, въ этой вскрути жизни, мечтавшій всю жизнь о радости жизни?

Розановъ или тысяча тысячъ вертящихся палочекъ?

— Человѣкъ или стихія?

— Революція или чай пить?

А! безразлично! — стихіи б е з р а з-л и ч н о: вскрутитъ, попадешь — истопчетъ, смететъ, какъ не было.

Вскруть жизни — революція — — и благослови ты всю жизнь, всѣ сѣмена жизни, ты одинъ въ этой крути безъ защиты и тебѣ крышка.

Такъ Розанова и прикрыли.

«Розановъ, собирающій окурки на улицѣ!»

Что же еще прибавить — — развѣ для некурящихъ! — тутъ все лицо и слѣпому ясно.

И прикрыли.

— А зачѣмъ, — скажутъ, — повернулся спиной, отвергъ революцію?

— Отвергать революцію — стихію — — какъ можно говорить, что вотъ ты отвергаешь грозу, не признаешь землетрясенія, пожара или не принимаешь весну, зачатіе?

И мнѣ слышится голосъ отверженнаго и прикрытаго, и этотъ голосъ не жалоба, не проклятіе, голосъ человѣка о своемъ правѣ быть человѣкомъ:

— Одно хочу я, разъ ужъ такая доля и я застигнутъ бурей, и я, беззащитный, брошенный среди безпощадной бури , я хочу подъ громъ грозы и гремящіе вихри, самъ, какъ вихрь, наперекоръ —

прилетайте со всѣхъ странъ!
вертящіеся,крутитесь,взлетайте
жгите, жгитесь
соединяйтесь!

— — я свободный — свободный съ первой памяти моей, и легокъ, какъ птица въ летѣ, потому что у меня нѣтъ ничего и не было никогда, только это вотъ — еще цѣла голова! — да слабыя руки съ крѣпкими упорными пальцами —

прилетайте!
соединяйтесь!

—я наперекоръ взвиву тѣснящихся вещей, съ которыми срощенъ, какъ утробный, продираясь сквозь живую, бьющуюся живымъ сердцемъ толчею жизни, я хочу этой же самой жизни, черезъ всѣ ея тысячекратные громы подъ хлестъ и удары въ отдаръ —

п р о к у к у р е к а т ь п ѣ т у х о м ъ

ВЪ ДЕРЕВНѢ

I

Судя по проектамъ и письменнымъ распоряженіямъ, можно было бы ждать не такого.

Правда, всю дорогу — отъ Петербурга до Крутъ — въ наше купэ никто не вошелъ, но ѣхать подъ грозой съ дубастаньемъ въ окна и криками —

клюкъ-топъ-дробь-матъ

Думалось, ужъ лучше, пожалуй, и безъ всякихъ удобствъ, а по просту, какъ бывало, въ III-мъ классѣ, или совсѣмъ не ворошиться, а сидѣть на Островѣ и ждать погоды.

На крышѣ — разбѣгавшіеся по домамъ солдаты, какъ клюватыя птицы —

матъ-дробь-топъ-клюкъ

Когда въ первые дни войны мы возвращались изъ Берлина въ Петербургъ, дорога была такая — я боялся загадывать на завтра и только думалъ на сейчасъ, такъ и теперь, удаляясь за тридевять земель отъ Петербурга, нѣтъ, еще неувѣреннѣй —

клюкъ-топъ-дробь-матъ

И по пути я ужъ всѣми глазами видѣлъ, что война сама собой кончилась, и нѣтъ такой человѣческой силы повернуть назадъ, одна есть сила — «никакой войны!» — сила нечеловѣческая — войнѣе всякой войны —

революція —

*

революція — пробужденіе человѣка въ
жестокомъ днѣ,
революція — судъ человѣка надъ человѣ-
комъ,
революція — пожеланія человѣка чело-
вѣку.
Красна она не судомъ
— жестокая пора! —
красна озареніемъ
— сѣменной весенній вихрь! —
пожеланіями человѣка человѣку.
«Взорвать міръ!» — «перестроить жизнь!» —
«спасти человѣчество!»
Никогда такъ ярко не горѣла звѣзда —
мечта человѣка
о свободномъ человѣческомъ царствѣ
на землѣ,
Россія въ семнадцатый годъ!
но и никогда и нигдѣ на землѣ
такъ жестоко не гремѣлъ погромъ.

*

Полемъ было ѣхать хорошо, несмотря на вѣтеръ.
Птицы по прежнему поютъ.
По прежнему земля зеленѣетъ.
Поле чистое — —

По дорогѣ на селѣ собраніе: агитаторъ — изъ пришвинской «тучи» — разъясняетъ собранію о буржуазіи.

— Говорить надо не буржуа, — учитъ, — а буржуазъ.

И въ другомъ селѣ тоже, говоритъ петербургскій, тутъ всѣ петербургскіе «изъ тучи», о интеллегенціи.

— Интеллегенція, — учитъ, — это ненормальное явленіе въ природѣ. Интеллегенція намъ не говоритъ правды. Интеллегенція, если при старомъ режимѣ и бывала откровенна, откровенность ея была продажной. Интеллегенція при катастрофическомъ столкновеніи классовъ должна погибнуть.

Ѣдемъ дальше, третье село — и въ третьемъ селѣ — въ третьемъ селѣ солдатъ:

— Долой царя, да здравствуетъ само-державіе!

За войну отстроили новую каменную церковь.

Старая деревянная съ колонками стоитъ — запустѣла. И старикъ священникъ померъ. Новый на его мѣсто, но ужъ въ новой церкви, въ войну опредѣлился, молодой.

— Царская теличка! — ухмыльнулся кучеръ, — умора!

Попъ былъ изъ молодыхъ да ранній, и какъ пришла революція, очень испугался: перваго вѣдь будутъ громить попа! Собралъ онъ народъ въ церковь и все, что слышалъ: и быль и небыль, и о распутинскихъ чудесахъ, и о подземномъ телефонѣ въ Царскомъ селѣ — изъ Берлина прямо въ Петербургъ! — все вывелъ на чистую воду, а закончить рѣшилъ Кшесинской — самое громкое имя, не даромъ въ

ея дворцѣ Ленинъ засѣлъ. А какъ сказать: «балерина?» — не поймутъ. Придумалъ: скажу, «пѣвичка». И сказалъ:

«Царская пѣвичка, царь для которой дворецъ построилъ!»

И пошло гулять по селу:

— Царская т е л и ч к а, царь для которой дворецъ построилъ!

Проѣхали лавку — надпись все та же:

*

воспрещается лущить семечки
садиться на прилавокъ если много
людей безъ дѣла не надо входить
въ лавку за непослушаніе будутъ
подвергаться административному
в з ы с к а н і ю

*

Я встаю въ 9 часовъ. Курю, записываю сны и прибирзюсь. Въ 11-12 часовъ пью чай съ хлѣбомъ. Послѣ чаю минутъ на десять выхожу въ садъ. И опять въ комнату и занимаюсь до 3-хъ. Въ 3-и обѣдъ. Послѣ обѣда ложусь съ книгой и читаю до 5-и. Въ 5-ь пью чай, и опять съ полчаса читаю. Потомъ пересаживаюсь къ окну и занимаюсь до половины восьмого. Съ половины восьмого до 8-и (не всякій день) гуляю въ саду по дорожкѣ отъ сливъ до амбара. И домой, зажигаю лампу и занимаюсь до 9-и. Въ 9-ь пью чай. Послѣ чаю читаю газеты или рисую, или опять пишу до 12-и.

Такъ всѣ дни — и теперь, и когда случалось раньше попадать лѣтомъ въ деревню.

*

Когда я выхожу на улицу, вещи убѣгаютъ отъ меня, и подымаются стѣны, гдѣ казалась мнѣ одна ровь и гладь, какія-то лѣстницы безъ перилъ громоздятся навстрѣчу, на которыя (и безъ перилъ)а изволь лѣзть! — и мосты, которыхъ я боюсь, и хоть на четвереенькахъ, а долженъ перейти. И когда все это я продѣлаю и только что подойти къ двери — дверь подъ носомъ захлопнется.

Какъ помню себя, я все дѣлалъ, чтобы обходить улицу. И первая катастрофа въ моей жизни произошла именно потому, что я вышелъ на улицу.

И это вовсе не уродство, а вѣрное мое чутье къ жизни: какъ помню себя, я всегда что-то выдѣлывалъ надъ собой, обрекая себя на добровольное заточеніе —

съ правомъ выхода, когда хочу.

Затворъ сталъ стѣной, моимъ рогомъ, моимъ жаломъ, моей иглой, моимъ копытомъ и моей стихіей.

И вовсе не отъ нелюдимости и отчужденности отъ міра.

Я люблю все живое въ мірѣ — а вѣдь все живое, что свѣтитъ, а свѣтитъ все отъ крупныхъ звѣздъ и до мельчайшей песчинки и отъ большого слова до мимолетной мысли:

я люблю солнце, звѣзды, вѣтеръ, землю —

я люблю зарю и дождикъ, камни, деревья, траву и рѣчь, и смѣхъ человѣка —

и горы, и море, и птицъ, и звѣрей, и человѣка —

и все къ чему прикоснулась рука члорѣка — отъ искусства человѣка.

Нѣтъ, вовсе не потому, какъ кротъ сижу я въ норѣ и, вздрагивая, выхожу на волю.

Безъ кротовой норы — безъ моего затвора я ежъ безъ иглъ, конь безъ копыта, пѣтухъ безъ шпоръ.

Вещи, которыя убѣгаютъ отъ меня тамъ, тутъ сами приходятъ ко мнѣ, но какія странныя! — обыкновенныя же долго не держатся: посуда выскальзываетъ изъ рукъ, и сколько я этого добра перебилъ отъ лампы до кувшина и отъ банки съ вареньемъ до цвѣточной вазы! — нѣтъ, не такія, а сучки какіе-то, палочки, какъ рожи, и рожицы, какъ палочки, зайцы, мыши, пауки и ни на что непохожее, вотъ что само приходитъ.

Я помню одного глиняного конька-свистульку, его я дарилъ ребятишкамъ — дѣти всегда смотрѣли на эти ни-на-что непохожія вещи вѣрнымъ глазомъ, какъ на живое, — я дарилъ конька, а онъ возвращался ко мнѣ.

Когда я иду по улицѣ, а передо мной, въ вихрѣ свертываясь, несутся прочь отъ меня вещи и улетаютъ, я иногда съ ужасомъ думаю: а что какъ вдругъ всѣ онѣ станутъ! и я, конечно, крѣпко ударюсь и расшибу себѣ лобъ!

И также въ моемъ затворѣ эта мыслъ вдругъ приходитъ и я настараживаюсь: а что какъ вещи, которыя бѣгутъ отъ меня, хлынуть оттуда ко мнѣ и, конечно, задавятъ?

И эта мысль, нѣтъ не мысль, смутное чувство такой мысли держитъ меня въ постоянномъ напряженіи.

Я иду быстро, но очень бережно, какъ большіе звѣри, а перехожу на другую сторону, какъ заяцъ, кругами.

И отъ каждаго рѣзкаго или случайнаго звука сердце у меня стучитъ, какъ птичье.

И я не могу гулять — какъ это принято среди людей, и среди рыбъ, и среди звѣрей — я только могу итти зачѣмъ-нибудь, чтобы какъ можно скорѣе забиться въ свою нору, откуда я могу, к о г д а х о ч у, тогда и выйду.

Въ тюрьмѣ — въ прошломъ моемъ — я не нуждался

ни въ какой прогулкѣ и могъ бы не выходить мѣсяцами изъ камеры, въ тюрьмѣ меня тяготило не это, я могъ бы безъ жалобы высидѣть годы, меня мучило насиліе надъ моей волей, принужденіе, я не могъ, к о г д а х о ч у, выйти.

Въ тюрьмѣ, къ моему счастью, я попадалъ всегда въ одиночку, и всего нѣсколько разъ загоняли меня въ общую, а это тоже для меня, что на улицу — въ стихію грозную и безпощадную.

На людяхъ — такъ скажу — я пропалъ бы.

На міру — и такъ скажу — потерялся бъ.

И свидѣтельство мое о всеобщемъ возстаніи въ величайшій годъ русской жизни есть свидѣтельство такъ приспособившагося къ жизни, а иначе и невозможно, что какъ разъ самое кипучее — событія великихъ дней оказались закрыты для глазъ, и осталось одно — дуновеніе, отсвѣтъ, который выражается въ снахъ, да случайно западавшее слово въ неоглушенное шумомъ ухо, да обрывки событія, подсмотрѣннаго глазомъ, для котораго ничего не примелькалось.

И судъ мой есть судъ тоже человѣка, только забившагося въ нору, для непрестанной духовной работы, съ сердцемъ — почему не сказать? — птицы, вздрагивающемъ при каждомъ уличномъ стукѣ и стучащемъ отвѣтно со стукомъ сердца всей страды міра.

II

— — пришелъ Пришвинъ на себя не похожъ разстроенный: хохолъ взбитъ, изъ носу волосъ, изъ ушей волосъ.

«Я каменный мостъ проглотилъ!» — сказалъ раздѣльно не своимъ голосомъ, зѣвнулъ и пропалъ.

*

Въ селѣ Гребенниковѣ во время молебна одинъ крестьянинъ разбилъ икону Николы. Крестьяне постановили удалить его на поселеніе и доставили въ тюрьму. Уѣздный комитетъ вынесъ постановленіе: «Гриценко, разбившій икону, долженъ умереть голодной смертью!» Постановленіе приведено въ исполненіе.

*

Слушаю пѣніе и какъ-то не вѣрится: всѣ врозь — и не замѣчаютъ. А можетъ, это-то «врозь» и есть настоящее?

Бараны прошли — пыль, какъ дымъ —

по у-ли-цѣ мо-сто-вой

III

— — сѣли обѣдать, Маша объясняетъ, почему она запоздала съ обѣдомъ:

«Ничего еще не готово, только цыплята!»

Я запихалъ себѣ въ ротъ цѣлаго цыпленка, давлюсь, рукой помогаю, а никакъ не проглочу. Вижу — Андрей Бѣлый: его подвязываютъ къ трапеціи и онъ кружится, какъ мельница, совсѣмъ голый — по тѣлу рѣдкіе волосики въ родѣ куриныхъ когда курицу ощиплютъ.

И я бѣгу изъ «Рядовъ» — лавки заперты — а сзади пожаръ. около нашего дома горитъ!
«Стоило мнѣ, говорю, только выйти, какъ бѣда случилась, и это постоянно!»

IV

— — двѣ московскія церкви стоятъ рядушкомъ: одна — Троица съ огромнымъ иконостасомъ —
«Назывется Улей»
А другая:
«Духовская».
Въ церкви идетъ служба.
Сталъ и я подпѣвать. И Чехонинъ тоже поетъ. (Чехонинъ только такъ называется Чехонинъ, на самомъ же дѣлѣ — художникъ Реми).
И попалъ я въ длинную прихожую: мнѣ обязательно надо видѣть Познера. Слышу разговоръ: всякій старается показать, что онъ есть самый изъ всѣхъ умный и все знаетъ. Догадываюсь, что это Редакція.
И очутился я въ саду у пруда около чудесной яблони.

V

— — сидитъ на камушкѣ Андрей Бѣлый: на немъ германская шапка безъ козырька и солдатская шинель съ эполетами; эполеты — это два перекрещивающихся шнурка съ маленькими черными орлами на концѣ, подъ орлами

красные лоскутки, орлы свѣшиваются съ плечъ. И не въ 9-ой онъ арміи, а въ 8-й офицеромъ. Носъ необыкновенно заостренный, какъ у Гоголя, а смѣется, какъ Шишковъ.

«Что же ты теперь дѣлаешь?»

«Солдатъ кормлю!» — и улыбается, какъ Шишковъ.

«Ишь, вѣдь, думаю, какъ: Андрей Бѣлый поваромъ сдѣлался!»

Входимъ къ П. Е. Щеголеву.

Тамъ В. А. Ждановъ: онъ такой же, какъ въ Вологдѣ, только совсѣмъ сѣдой.

Андрей Бѣлый здоровается.

«Андрей Сѣрый,» — рекомендуется Андрей Бѣлый.

«Владимиръ Анатольевичъ Ждановъ.»

И они цѣлуются.

И я поцѣловался.

И когда цѣловался, подумалъ:

«При встрѣчѣ послѣ долгихъ лѣтъ надо цѣловаться подольше!»

«Какъ вы измѣнились, — говоритъ Ждановъ, — какъ напоминаете вы мнѣ доктора Аусгусса и тутъ въ щекахъ: Dr. Ausguss! — А это кто?»

«А это, — говорю, — Любовь Николаевна, сестра Надежды Николаевны, вашей жены.»

И думаю:

«Что же это онъ не признаетъ, неужели спуталъ?»

«Аусгуссъ! Аусгуссъ! — Ждановъ качаетъ головой, посматривая на меня съ удивленіемъ, — какое сходство!»

. . . .

Мы въ длинной комнатѣ, у насъ такой нѣтъ, и я знаю, что это не наша квартира.

Входитъ В. В. Розановъ.

«Покажи мнѣ кого-нибудь изъ 10-й арміи!»

«Да кого-жъ я вамъ покажу, Василій Васильевичъ?»

«Ну, скорѣй, скорѣй. Дѣло важное, я здѣсь и напишу.»

А я думаю:

«Кого-жъ мнѣ показать: Виктора (моего брата) — ничего отъ него не добьешься, Соколова-Микитова — слова не выжмешь!» А Розановъ очень волнуется, не присядетъ, а сѣменитъ такъ нетерпѣливо.

И я понялъ: что-то очень важное происходитъ.

. . . .

Мы занимаемъ огромную квартиру и живемъ не одни. У насъ есть верхъ, куда ведетъ лѣстница изъ корридора, и внизу кухня. Квартира наша напоминаетъ Версальскій дворецъ. Я говорю швейцару:

«Зачѣмъ зря горитъ электричество?»

А онъ мнѣ тихонько:

«Димитрій Петровичъ Семеновъ-Тяньшанскій мнѣ сказалъ, чтобы я жегъ побольше, а то Сергѣй Александровичъ Есенинъ и такъ ничего не платитъ.»

«Да позвольте, говорю, вѣдь квартира-то моя, не Есенина!».

И подымаюсь на верхъ.

Тутъ какая-то дама. должно быть, это и есть

сама Frau Nelke, и съ ней Леонидъ Добронравовъ.

«Вамъ Добронравовъ больше всѣхъ изъ писателей нравится?»

«Да-а, — я не нахожу, что отвѣтить, — да, онъ хорошо поетъ.»

И подаю ноты: написаны рукой и краснымъ, и чернымъ.

«Пожалуйста, обратите вниманіе на это, это Андрей Бѣлый съ войны привезъ.»

Добронравовъ поправилъ пенснэ:

«Это маршъ 13-го года.»

Сѣли пить чай. С. П. разливаетъ чай.

Вдругъ мнѣ показалось, что съ ней что-то плохо, я бросился внизъ.

Лѣстница и корридоръ, какъ въ банѣ, съ потолка течетъ.

Я въ комнату — въ родѣ какъ чуланчикъ.

И вижу, Левъ Шестовъ сидитъ у стола.

«Вотъ думаю, неожиданно: вернулся такъ рано!»

«Иди, говорю, на верхъ, тамъ дамы: Frau Nelke, Добронравовъ...»

А онъ безнадежно:

«Давно этимъ не занимаюсь!»

И пошелъ на верхъ.

А я на улицу. Перешелъ на ту сторону.

Тамъ С. Я. Осиповъ живетъ.

С. Я. Осиповъ въ матросскомь, а поверхъ золотая венгерка съ красными шнурами, а сзади торчитъ препорядочный хвостъ, должно быть отъ барсука отрѣзанъ. С. Я. Осиповъ согла-

сенъ, онъ пойдетъ со мной, только я долженъ напередъ телефонъ исправить.
«Коробка испортилась, которая на стѣнѣ виситъ.»
Полѣзъ я коробку прочищать и снялъ крышку, продулъ, а надѣть не могу.
А меня торопятъ.
Я такъ и сякъ —
«Да скорѣй же!»
Нѣтъ, ничего не выходитъ.

VI

— —рѣшаю купить себѣ всякихъ сластей: «продажи больше не будетъ, лавку закроютъ черезъ пять минутъ!» Я заторопился. И мнѣ отпускаютъ, да только очень медленно; медленно развѣшиваютъ: въ сахарной пудрѣ какъ крупинки шоколадъ. Боюсь, не успѣютъ. Продавщица на А. Д. Радлову похожа, а помогаетъ ей Бруно Майзельсъ — sanftester Bruno! —такъ его всѣ называютъ, кротчайшимъ! Пошелъ дождь. Въ лавку набирается народъ.
И вдругъ вижу — и боюсь сказать себѣ — докторъ Нюренбергъ!
Весь онъ, какъ въ волшебномъ фонарѣ, весь истонченный, почти прозрачный и совсѣмъ молодой: усы не подстрижены, а на самомъ дѣлѣ легкой черной чертой, и цѣлы всѣ зубы. На немъ легкій сиреневатый пиджакъ и шелковый тончайшій галстукъ.

Онъ прямо подходитъ ко мнѣ и, улыбаясь, трясетъ мнѣ руку. И я вижу по его взгляду: онъ спрашиваетъ, узналъ ли я его, и самъ же безъ словъ утверждаетъ, что это онъ.

«С. П. — говорю я, — Аронъ Давидовичъ!»

С. П. о чемъ-то говоритъ съ нимъ Онъ очень оживленъ. Но сразу видно, что онъ не здѣшній.

«Какъ это, думаю, никто не замѣчаетъ!»

Срокъ кончился: сейчасъ запрутъ лавку.

Мнѣ завернули небольшой пакетъ.

«6 рублей, — говоритъ Анна Димитріевна, — 4 за товаръ и 2 за услуги: Брунѣ рубль и мнѣ.»

«Какія обдиралы!» — подумалъ я и вынимаю деньги.

«Ничего подобнаго! — Анна Димитріевна швырнула мой пакетъ, — вотъ если бы вамъ дали денегъ...»

Втроемъ мы вышли изъ лавки.

Идемъ по улицѣ, потомъ по дорожкѣ — будто въ Парижѣ въ Булонскомъ лѣсу, а видно море.

«Мнѣ пора!» — сказалъ Нюренбергъ.

«Почему?»

Но я это не сказалъ, онъ и такъ понялъ и только пожалъ плечами. И сталъ вдругъ сурьезный: видно, ему хотѣлось бы сказать, да онъ не могъ. И сталъ прощаться.

Съ жалостью смотрѣлъ онъ въ глаза и долго трясъ руку, какъ Савинковъ.

И я замѣтилъ, какъ онъ старается, чтобы рука моя не прикоснулась къ нему, а дѣлаетъ это

онъ такъ потому (онъ передалъ это мнѣ безъ словъ взглядомъ) —

— потому что, прикоснувшись, я почувствую скелетъ мертвеца, а это очень страшно!

. . . .

Пасмурный любимый день.

Въ одномъ изъ нюренбергскихъ соборовъ на сѣрой каменной колоннѣ подвѣшена картина: карта земли — вся война.

Вся война нарисована кровавой до просачиванія красной и черной дымящейся краской.

А около Вѣны небольшой медальонъ, тусклый съ маленькими фигурками, — рисовалъ Кустодіевъ.

Ааге Маделунгъ, датскій писатель, говоритъ мнѣ:

«Стоитъ вамъ вписать свое имя въ этотъ кружокъ, и война кончится!»

И вижу, Горькій: переминаясь, поетъ и что-то очень веселое поетъ, а слова какъ «со святыми упокой».

*

Сидитъ Буцъ головой трясетъ, языкъ высунулъ —

На солнце нашла туча и, какъ снѣжинки, полетѣли лепестки на зеленый дворъ.

Высоко летаютъ коромысла.

Юзефъ косу точитъ, кукуетъ кукушка.

Буцъ улегся.

И сторожевой трешеткой затрещалъ аистъ.

Больше солнце не выйдетъ, и закатъ будетъ туманный.

VII

— — я долженъ былъ нарисовать декорацію. И началъ ее дѣлать: я нарисовалъ огромную обезьяну. И тутъ я увидѣлъ: лишній кусокъ посередкѣ въ бокъ пошелъ. Тогда я отъ него внизъ еще нарисовалъ обезьяну. И получилось двѣ головы обезьяньихъ.
«Вотъ, думаю, какая ерунда вышла!»
«Да лучшей и не надо! — говоритъ Философовъ, — прямо въ Парижъ къ Дягилеву.»

VIII

Сегодня вѣтерокъ подулъ и летитъ — акація! — послѣдніе лепестки.

IX

Легъ поздно изъ-за газеты, и не могъ заснуть.

Ночью стоналъ кто-то, и мнѣ казалось, что это С. П. И я очень затревожился и все лежалъ и курилъ, готовый, если вдругъ что, подняться.

И когда я лежалъ, незамѣтно, уходила ночь, и разсвѣтъ выражался въ колебаніи, точно

домъ — корабль,
а ночь — море.

Потомъ я увидѣлъ шторы и слышу первые клики птицъ и шаги.

*

— — умеръ отецъ И. А. Рязановскаго, его несли въ цинковомъ гробу; гробъ закрытъ крышкой, и только голова внѣ гроба поставлена впередъ, какъ на саркофагахъ: сѣдая голова съ длинной бородой.
Я это видѣлъ изъ кондитерской, гдѣ мнѣ сначала не хотѣли отпускать печенье, но потомъ по запискѣ И. А. Рязановскаго выдали. Я взялъ еще граненую бутылку водки.
«Для гостей пригодится!»
И увидѣлъ Святополка-Мирскаго: онъ сидитъ у моего брата Николая въ Большомъ Афанасіевскомъ переулкѣ, одинъ, за большимъ столомъ и клюетъ носомъ.
«Дмитрій Петровичъ! — бужу я его, — какъ вы сюда попали?»
А онъ точно въ рупоръ:
«Я комендантъ Николаевской дороги, сижу на дежурствѣ, билетовъ нѣтъ.»

X

— — переѣзжаемъ на новую квартиру.
Сначала я поселился въ какой-то общей комнатѣ «больничной», тамъ стоятъ «койки»: Б. В. Савинкова, Walpol'я и Williams'a. Потомъ я перенесь свою кровать куда-то въ противоположный конецъ корридора. Тутъ ушла у насъ прислуга — я ей и рису далъ, просилъ остаться, но она ушла. И прислуживаетъ намъ наша старая нянька покойница Прасковья, и слу-

житъ она намъ, невидима для насъ. И опять мнѣ надо тащить мою кровать, и теперь ужъ въ отдѣльную комнату. Оказывается, мы будемъ жить въ комнатѣ, сосѣдней съ Замятинымъ, и платить будемъ 20 руб. въ мѣсяцъ.
Входитъ Замятинъ: онъ только что вернулся изъ Англіи, онъ маленькаго роста, въ цилиндрѣ и совсѣмъ старый, а губы какъ накрашены ярко-лиловымъ; онъ заперъ на висячій замокъ свою комнату, прощается.
«Куда же это вы?»
«По нуждѣ, — и, снявъ цилиндръ, раскланялся, — извините!»
Наша комната на 6-мъ этажѣ, она въ видѣ театральной ложи, но безъ барьера и полъ очень шаткій, т. е. по просту легкая настилка, которая выходитъ, какъ крыша, надъ партеромъ, и каждую минуту отъ неосторожнаго движенія или просто подъ нашей тяжестью крыша провалится, и мы полетимъ въ партеръ.
Вещи ужъ летятъ: упалъ комодъ, столъ, стулья — —
Но я хочу оправдать наше такое опасное житье:
«У насъ, — говорю — два выхода!»
И узнаю, что министромъ внутреннихъ дѣлъ вмѣсто Авксентьева назначенъ Сергѣй Порфирьевичъ Постниковъ.
«Потому что онъ единственный имѣетъ власть!»
При этомъ подразумѣвается, что власть вовсе не дается назначеніемъ — вѣдь любое и самое высокое мѣсто можно унизить! — власть это личное качество.

«И съ такой прирожденной властью именно и есть Сергѣй Порфирьевичъ Постниковъ!»
Такъ увѣряетъ меня М. В. Добужинскій: онъ тоже съ нами на крышѣ и въ рукахъ у него кисточка, которой онъ дирижируетъ.

XI

Много мнѣ сегодня снилось, но память о снѣ спугнули.

Писательское ремесло это ужасно какая недотрога: улитка, ежикъ, котораго никакъ не погладишь.

Пустяки послѣдніе, слово, движеніе могутъ сдуть всю воздушную постройку.

И не знаю, у всѣхъ ли это такъ, но у меня — сущее несчастье.

И вотъ пустяками все разрушено до безпамятства. Одно помню, комаръ зудѣлъ, точно плакалъ.

*

Когда обвиняютъ всѣхъ только въ разбоѣ, только въ корысти, хочется наперекоръ обѣлять даже и ту тьму, которая есть.

Обвинители обыкновенно обвиняютъ сами-то изъ-за своей корысти.

*

— Чего вы траву мнете?
— Намъ теперь права даны.

— Вѣдь онъ же дерево!
— Изъ-за васъ деревомъ сдѣлался.

XII

— — ѣхалъ я съ Гординымъ въ лодкѣ, лодка закрыта крышкой, крышка, какъ опрокинутая лодка. На одномъ краю стояли мы и очень было страшно: вотъ-вотъ лодка перекувырнется. Гординъ разсказывалъ, какъ онъ пишетъ романы. Ну, все какъ въ жизни:
«Ночью я занимаюсь романами, а днемъ пишу. А потому мои романы такъ живы, и особенно послѣдній: «Любовь къ тремъ апельсинамъ». Тутъ появился И. П. Пономарьковъ регентъ и Петръ Прокоповъ и заспорили другъ съ другомъ, долго спорили, и все о философіи, какъ всегда, а тотомъ, какъ всегда, запѣли: «Былъ у Христа младенца садъ» — Прокоповъ — тонко, Гординъ — потолще, а самъ Пономарьковъ — толстымъ голосомъ. И, какъ всегда, повторили пѣсню разъ десять.
Очень было страшно.
И вдругъ очутились мы въ автомобилѣ на Каменноостровскомъ, слѣзли около трамвая, и тутъ автомобиль заняли кондуктора, и мы остались съ носомъ.
Было должно быть, очень холодно. Гординъ попросилъ старуху-торговку пальто себѣ — тутъ и ларекъ ее — и старуха дала ему какое-то пожелтѣвшее драное и стала упрекать.

«Чего захотѣлъ, — ворчала старуха — мало ему печки, затопи улицу!»
И я увидѣлъ, что Гординъ въ женскомъ платьѣ, и никто не подозрѣваетъ, что онъ наряженъ.
А старуха такое понесла, не дай Богъ. Гординъ въ слезы.
«Чего жъ, думаю, не возразитъ!»
«Ничего, — отвѣчаетъ, — я напишу объ этомъ: я напишу «Любовь къ тремъ апельсинамъ», и поступлю въ «женскій батальонъ смерти».
Все по какимъ-то улицамъ ходилъ я. Въ домъ вхожу, на самый на верхъ: тутъ Кузьминъ М. А. и Юркунъ, и Зноско-Боровскій, и Сухотинъ, и Святополкъ-Мирскій, и Михаилъ Струве. И я очутился въ Москвѣ въ Сыромятникахъ. Всѣ лежатъ въ залѣ и Блокъ.
«Александръ Александровичъ, — говорю, — Михаила-то Ивановича министромъ иностранныхъ дѣлъ назначили!»
«Господи, что же это такое, — Блокъ очень встревожился, — по дѣлу Бейлиса?»
Я разыскиваю въ клиникѣ и самъ не знаю кого. Въ сыпномъ отдѣленіи прохожу корридоромъ: всѣ служители, какъ и больные, въ повязкахъ и даже городовой.
Очень было страшно.
А когда выбрался, встрѣчаю на Литейномъ мосту Вл. Вас. Гиппіуса, здороваюсь, и въ эту минуту Гиппіусъ сливается съ Курицынымъ, а Курицынъ превращается въ Кондурушкиныхъ. И все вдругъ истлѣло.

*

Какъ успокаиваетъ, когда въ теплый лѣтній день слышишь, какъ пилютъ дрова.

XIII

— — жду очереди сниматься, много насъ ждетъ и П. Е. Щеголевъ. А снимаетъ Д. С. Мережковскій и снимаетъ очень медленно: какой же Мережковскій фотографъ!

Наконецъ и моя очередь: меня усаживаютъ въ кресло, а сзади садится Лундбергъ — всѣхъ такъ и снимаютъ на фонѣ Лундберга. И бѣжимъ мы куда-то и на какомъ-то мосту неизвѣстно зачѣмъ, такъ по пути, отсѣкъ я голову Тинякову, бросилъ голову и опять бѣгу, стираю кровь съ пальцевъ.

Надо ѣхать въ Ессентуки, — С. П. пріѣдетъ потомъ, — насъ четверо: Андрей Бѣлый, Владимиръ Диксонъ, К. А. Сомовъ. Багажа у насъ никакого нѣтъ, только ноты. Мы будемъ играть коротенькія пьесы съ музыкой, пѣніемъ и танцами. Осталось мало времени, а собираемся мы изъ Сыромятниковъ.

Я хожу по огороду около Андроніева монастыря, на грядахъ кучи яблокъ — «черное яблоко» «Черновъ собралъ изъ ломаннаго желѣза!»

И вдругъ откуда ни возьмись, идетъ Тиняковъ —

*

Когда свинья ѣстъ, она хвостикомъ помахиваетъ.

XIV

— — сегодня мое рожденье: на окнѣ у Маяковскаго на стеклѣ пальцемъ написано. А окно выходитъ въ садъ. Много собралось народу, кого только нѣтъ! И ѣдемъ мы въ трамваѣ — полнымъ полно, висятъ! На мосту трамвай сворачиваетъ съ пути и идетъ около самаго краю, перилъ нѣтъ, того и гляди полетимъ въ воду. Я-то на площадкѣ, выскочу, а вотъ С. П. въ вагонѣ —

и это меня мучаетъ и то еще, что не пригласилъ Шкловскаго: нѣтъ его ни въ вагонѣ, ни на площадкѣ.

«Андрей Бѣлый хвостикъ себѣ переломилъ, — говоритъ Ольга Елисеевна, — и теперь онъ какъ ангелъ, in eine hohere Region hinaufgestiegen!»

И вотъ я одинъ. Сумракъ, дождикъ. Едва различаю дорогу.

Кто-то похожій на Аркадія Зонова тихо:
«А я останусь еще на день, съ Иліодоромъ поговорю.»
И вижу подходитъ монахъ.
Должно быть это и есть Иліодоръ! — стараюсь разсмотрѣть лицо, а очень темно.
«Можетъ и мнѣ остаться?»
И иду дальше.
Два монаха навстрѣчу такіе же, какъ тотъ, Иліодоры.
«Нѣтъ, — говоритъ одинъ, — выходъ есть.»

XV

— — рѣчь шла о клятвѣ и присягѣ; въ нарушеніи клятвы и заключалась вся суть событій — вся революція.

И я попалъ въ какое-то училище и тамъ учатъ гимнастикѣ: учитъ Балтрушайтисъ, а распоряжается Брюсовъ.

И меня заставили прыгать черезъ «кобылу». Мнѣ очень трудно, а прыгаю.

И вдругъ появляется Вячеславъ Ивановъ и торжественно объявляетъ:

«Урокъ кончился! Сейчасъ начнутъ дѣлать прививку комариную!»

*

Никакія и самыя справедливѣйшія учрежденія и самый правильный строй жизни не измѣняетъ человѣка, если что-то не измѣнится въ его душѣ — не раскроется душа и искра Божія не взблеснетъ въ ней.

А если икра Божія взблеснетъ въ душѣ человѣческой, не надо и головы ломать ни о справедливѣйшихъ учрежденіяхъ, ни о правильномъ строѣ жизни, потому что съ раскрытой душой само-собой не можетъ быть среди людей несправедливости и неправильности.

XVI

— — купилъ я себѣ ботинки очень дорогіе за 100 рублей и еще за 150 на Невскомъ въ табачномъ магазинѣ у Баннова.

Шелъ я къ Александро-Невской Лаврѣ съ Ѳ. И. Щеколдинымъ. Строятъ домъ, какъ игрушечный, раскрашиваетъ Владимиръ Бурлюкъ. Здѣсь же сидитъ и Петровъ-Водкинъ и съ нимъ Клопотовскій: Клопотовскій весь татуированъ. «Художникъ долженъ поменьше разсуждать, тогда и выйдетъ картина!» — сказалъ Петровъ-Водкинъ и ткнулъ пальцемъ въ Клопотовскаго. Идемъ дальше —

Ѳ. И. Щеколдину надо къ Нарвскимъ воротамъ. А я совсѣмъ запутался и не знаю, какъ это ему показать.

«Да вонъ налѣво!» — говоритъ хозяйка Пришвина Копецъ: вмѣсто брошки у нея «обезьяній знакъ», а на рукѣ пришвинскій сюртукъ для продажи.

И я соображаю, что выщли мы къ Покрову — Покровскій рынокъ!

Гдѣ-то за городомъ иду — мѣста незнакомыя — рѣдкія постройки, памятники, надпись: «строилъ художникъ Левъ Бруни». Много цвѣтовъ. И я повернулъ назадъ.

Навстрѣчу католическая процессія — одни маленькія дѣвочки. Поютъ Марсельезу по-французски. «Зачѣмъ же это онѣ поютъ такое?

«Это святая пѣсня!» — говорятъ мнѣ.

И я вхожу въ прихожую и прямо на зеркало. По сосѣдству въ открытую комнату — я вижу это въ зеркало — входитъ В. Ф. Коммиссаржевская съ мужемъ: мужъ ея инженеръ.

Оба говорятъ мнѣ, чтобы я пришелъ къ нимъ непремѣнно.

И я попадаю на дачу Дурново.

У меня въ рукахъ рукопись: «лирическая проза» —воззваніе, которое написалъ я для К. Ѳ. Залита. Залитъ сидитъ у стола и чиститъ, какъ картошку, ручныя бомбы.

«Это воззваніе, — говорю, — можно напечатать черезъ мужа Коммиссаржевской и расклеить на Васильевскомъ островѣ!»

«Съ добрымъ утречкомъ! — отзывается Залитъ и, не подымая головы, продолжаетъ работу, — Bleichmann ist schon gestorben!»

Танцуютъ.

«Въ такое время танцуютъ!»

И говорю громко:

«Вѣдь это весна!»

Среди танцующихъ — И. Гюнтеръ, Шкловскій, Ховинъ, Пуни, Пунинъ и Богуславская.

А играетъ М. В. Сабашникова.

«Слышу вашъ голосъ, — говоритъ Коммиссаржевская, — и думаю: что же это вы не заходите къ намъ!»

Я оборачиваюсь и вспоминаю рукопись: «лирическая проза».

И вижу въ зеркалѣ: И. А. Рязановскій въ пожарной каскѣ верхомъ съ портфелемъ ѣдетъ на выборгскую сторону въ «Кресты».

XVII

— — угощаю И. А. Рязановскаго яблочнымъ пирожнымъ: на сковородкѣ прямо ножомъ цѣлые поджаристые круги снимаю.

Слышу, на верху стучатъ.

Иванъ Александровичъ испугался: кто можетъ стучать?

Тихонечко на цыпочкахъ пошли мы въ кухню — тамъ плотники работали на кухнѣ.

«Климъ!» — покликалъ я.

Но никто не отвѣтилъ.

«Климушка!» — пропищалъ какъ-то заискивающе И. А.

Кто-то отозвался:

«Готово, — и опять, — забираемъ!»

«Что?» — у И. А. дрожали колѣнки.

Да, это, конечно, былъ Климъ.

И мы пошли наверхъ.

«Я говорилъ, что Климъ!» — И. А. покраснѣлъ весь: страхъ его прошелъ.

Безъ пиджака, подпрыгивая, шелъ онъ сзади.

Оказывается, лопнулъ водопроводъ и вотъ Климъ закопачивалъ стѣну.

Отъ лѣстницы по правую руку стѣна вся въ картинахъ. Нѣкоторыя пришлось опустить и внизу ихъ закрыли бочкой.

«Ольга Михайловна Альтшулеръ сказала, чтобы эти яблоки сохранить!» — показалъ Климъ на покосившуюся картину, на которой были нарисованы какіе-то собачьи хвосты въ крапивѣ!

Кромѣ Клима со стѣной работали еще три плотника. Климъ что-то разсказывалъ.

«А главное произойдетъ въ пятницу!» — сказалъ Климъ и, поплевавъ себѣ на руки, ударилъ топоромъ о стѣну.

И. А. присѣлъ, и изъ него вдругъ пошелъ дымъ душный и ѣдкій — —

А я очутился въ магазинѣ.

Продавщица Ольга Михайловна: одна нога утиная, другая куриная. А помогаетъ ей Е. С. Пинесъ. Весь магазинъ заваленъ яблоками. На стѣнѣ надпись: «не для продажи».

Въ магазинъ входитъ мальчикъ.

«Glasspapier!» — говоритъ онъ.

О. М. завертываетъ что-то, а Пинесъ подаетъ счетъ.

Это большой листь съ картинкой: нарисованы куры, а подписано — «вся власть совѣтамъ». Первая цифра — 1р. 60 к. и затѣмъ колонкой мелко, не разобрать.

И выходитъ такъ: старыя ботинки не починили, а сдѣлали новыя и эти новыя продали, и теперь возвращаютъ мнѣ непочиненныя старыя, и я же долженъ заплатить и за новыя проданныя и за починку.

Я положилъ счетъ въ карманъ:

«Я покажу это въ Совѣтѣ.»

«Ради Бога! не дѣлайте!»

«Нѣтъ я это сдѣлаю.»

И снялъ я ботинки, швырнулъ въ яблоки и въ однихъ чулкахъ вышелъ.

О. М. догоняетъ меня — одна нога утиная, другая куриная, — схватилась за руку:

«Не ходите!»

И вижу: очень взволнована.

«Не ходите! — проситъ, — тамъ озеро, такая глубь, одни раки плаваютъ.»

А я никакъ не пойму: куда не ходить, какое озеро, какіе раки?
И вдругъ вспоминаю: «Glasspapier! — и говорю:
«Что же это Ефимъ Семеновичъ давно яблоками торгуетъ?»
«Какими яблоками?»
И вдругъ, отпрыгнувъ, стала на кочку — одна нога утиная, другая куриная.

. . . .

Вь Москвѣ въ Успенскомъ соборѣ стою на галлереѣ. Тутъ же и Пришвинъ: Пришвинъ самоваръ ставитъ — углей нѣтъ, стружками Иду внизъ
«Снимите шапку!» — говоритъ кто-то
И я вижу, всѣ въ шапкахъ и я въ шапкѣ.
Снялъ я скорѣй шапку, пробираюсь черезъ народъ къ середкѣ.
А. Г. Горнфельдъ у рѣшетки съ папиросой. «Съ папиросой нельзя въ церкви!» — говоритъ Горнфельдъ и мнѣ такъ показываетъ, словно бъ я курилъ, а онъ не причемъ.
У мощей Ермогена С. Ѳ. Платоновъ и съ нимъ Д. А. Левинъ.
Кончаютъ молебенъ.
И мы выходимъ втроемъ.
Около церкви «Двѣнадцати апостоловъ» странникъ раздаетъ книжки. И на одной книжкѣ онъ надписалъ что-то. И подаетъ Д. А. Левину. И тутъ я догадался, что не Левинъ это, а Левинымъ замаскирована какая-то преслѣдуемая великая княгиня, и оттого все лицо ея краской измазано подъ Левина.

У колокольни Ивана Великаго садятся обѣдать. Я отказываюсь. С. Ѳ. Платоновъ благодаритъ меня за отказъ, и подвигаетъ себѣ большую миску со столбцами XVII вѣка: они какъ макароны въ сухарикахъ.

«Покажите, — говорю Левину, — книжку мнѣ съ надписью.»

«Хорошо, послѣ дождика», — и смѣется, лицо накрашенное.

. . . .

Въ Успенскомъ Соборѣ стоимъ: много народу. Въ Левинѣ узнали, но не показываютъ виду, только смѣются.

«Мнѣ нужно къ М. М. Исаеву, — говоритъ мнѣ Левинъ.

«Онъ добрый человѣкъ.»

«Ну, нѣтъ, я у него въ кухаркахъ служила!»

*

По постановленію татарскихъ и лезгинскихъ комитетовъ въ городѣ Закаталѣ, вдовцы и вдовы, имѣющіе дѣтей и внуковъ, обязаны вступать въ бракъ.

Три вдовы, отказавшіеся выйти замужъ, заключены въ хлѣвъ и будутъ содержаться въ хлѣву, пока не согласятся на бракъ.

XVIII

— — К. А. Фединъ страшно растерянный. Къ П. Е. Щеголеву взволнованно:

«Зачѣмъ этихъ дураковъ позвали?»
«Да мы сейчасъ партію съ ними устроимъ!»
И раскладываютъ ломберный столикъ —
Въ вагонѣ тѣсно и неудобно. Ѣду я, неизвѣстно куда, и зачѣмъ, не знаю, — знаю, долго мнѣ ѣхать.
К. А. Фединъ разложилъ картинки:
«Это — вдоль и поперекъ.»
«А это — сзади напередъ.»
«А это — вверхъ и внизъ.»
Одни палочки, а рисовалъ Луначарскій.
«Луначарскаго, — говоритъ Фединъ, — въ Городскую думу выбрали; три милліона мужскаго населенія, не считая переходнаго возраста, женщинъ и дѣтей.»
«А Павла Елисеевича, — говорю, — никуда еще не выбрали?»
«А это —»— Фединъ развернулъ еще картинку.
Входитъ старшій дворникъ Антиповъ Иванъ Антиповичъ.
«Вы дрова брали?» — говоритъ мнѣ.
«Нѣтъ, — говорю, — не бралъ.»
«А то, можетъ, брали? Да я такъ спросилъ на счетъ билетиковъ.»
«У меня и книжки-то нѣтъ! да и зачѣмъ же я буду скрывать, что вы!»
«Интеллигенція, — говоритъ дворникъ, — интеллигенція противъ.»
Тутъ какая-то Маша, должно быть отъ уполномоченнаго Семенова, показываетъ мнѣ на столъ.
А на столѣ нарисована рожа и всякіе кренде-

ли выведены не то іодомъ, не то тѣмъ желтымъ, чѣмъ письма мазали, цензуруя.

«Это дворникъ, — говоритъ Маша, — дворникъ, какъ придетъ съ дровами, такъ рисовать.»

И входитъ Бабушка (Брешковская) и съ ней М. И. Терещенко: Терещенко — желтый такой весь...

«Вотъ посмотрите, — Прокофьевъ развернулъ ноты, — мое сочиненіе: «Бабушкины сказки!»

*

Пасмурно и свѣжо, большой вѣтеръ.

Ничего не писалось за весь день, только рисовалъ.

Оттого, что былъ дождь, мальчикъ не пойдетъ за газетами, такъ и не узнаемъ, чѣмъ окончилась воскресная демонстрація въ Петербургѣ.

Тучи идутъ валами —

А птицы все-таки поютъ и куковала кукушка.

Все утро по двору конь ходитъ — еще бы, сколько за всѣ эти жаркіе дни всякихъ мухъ перекусало!

Послѣднюю недѣлю я совсѣмъ не выхожу изъ комнаты.

Смотрю въ окно — —

Ничего мнѣ не хочется: ни писать, нп читать.

XIX

— — я залѣзъ на галлерею высочайшаго театра: «концертъ С. В. Рахманинова.»

М. А. Дьяконовъ говорилъ мнѣ — «три милліона ступенекъ, не считая приступовъ и заходовъ» — а я насчиталъ однѣхъ приступокъ до милліона.

Мѣста надо занимать съ налету, какъ въ игрѣ «въ свои сосѣди».

Я бросился, куда попало, и наскочилъ на Шаляпина.

«Всѣ предки мои до двѣнадцатаго колѣна носили фамилiю Шаляпиныхъ, а Дьяконовъ опровергаетъ.»

«Что-жь говоритъ Дьяконовъ?»

«Да ничего не говоритъ.»

Вступился Горькiй:

«Въ нашемъ роду, — сказалъ А. М., — съ незапамятныхъ временъ всегда были Пѣшковы и никакихъ Горькихъ. Дѣло это сухопутное и невооруженымъ глазомъ не разобрать.»

Но тутъ П. Е. Щеголевъ деликатно согналъ насъ съ мѣста и, усѣвшись поудобнѣе, развернулъ газету.

А я попалъ въ Таганку въ Глотовъ переулокъ. Я долженъ ходить за царскими дѣтьми и караулить: ихъ пятеро и всѣ они маленькiя, лѣтъ такъ семь — восемь, въ бѣломъ —

«Плохо, думаю, дѣло, какой же я караульщикъ!»

А Ида говоритъ:

«Ничего, мы справимся. У А. А. Архангельскаго сбоку три ноздри выросло.»

XX

— — пришелъ въ театръ на оперу и вижу, сидитъ въ первомъ ряду П. П. Сувчинскiй, грибы чиститъ, поганки.

Я съ нимъ поздоровался и сѣлъ рядомъ
«Самъ собиралъ, — сказалъ Сувчинскій, — по новому способу, въ закрытомъ помѣщеніи.»
И прохожу я съ Шаляпинымъ къ самой рампѣ,
Поетъ какая-то пѣвица — сдавленный голосъ. а сама улыбается.
Вышла другая —
Шаляпинъ вынулъ тетрадку и пишетъ ноты: краснымъ и чернымъ.
«По новому способу, — говоритъ онъ, — новая опера: «Рахатъ-лукумъ»
И напѣваетъ.
Сергѣй (Ремизовъ) разсказываетъ о новой московской квартирѣ: тамъ онъ и помѣститъ насъ.
Мы взяли билеты и поѣхали на вокзалъ.
Дорогой заѣхали въ ресторанъ. Тамъ и актриса — сдавленный голосъ.
«Намъ надо торопиться на поѣздъ.»
И прощаюсь.
Актриса поцѣловала мнѣ руку.
«Не вытирайте пожалуйста!»
И мы попали въ квартиру доктора Срезневскаго.
Пріемная въ видѣ фонаря, какъ въ редакціи «Новой Жизни», а въ оконную раму вдѣланъ образъ — «Глава Іоанна Предтечи», а подъ образомъ сидитъ художникъ Егоръ Нарбуръ и куритъ трубку.
Я зачѣмъ-то раздѣваюсь.
А Нарбутъ Владимиръ торопитъ.
И я опять одѣлся.
«Выѣхать очень трудно, — говоритъ онъ, —

а главное, нашъ поѣздъ могъ давно ужъ уйти.»
Мы идемъ пѣшкомъ и не увѣрены, куда повернуть. И вдругъ видимъ зеленый заборъ.
«Святая Софія, — говоритъ художникъ Нарбутъ, — идемъ правильно.»
Мы очень обрадовались, перешли по рельсамъ со спуска въ гору и идемъ насыпью.
И вотъ откуда-ни-взялся мальчишка-вороватый, жалуется, на меня показываетъ.
«Этотъ, — показываетъ на меня, — бросилъ коробку съ порошкомъ!»
И вижу, народъ собирается.
А мальчишка вертится, жалуется, подстрекаетъ: «Коробку съ порошкомъ!»
«Да это, — говорю, — желтая коробка изъ-подъ банновскихъ папиросъ, въ ней просыпанный зубной порошокъ и карлсбадская соль.»
Не вѣрятъ.
И все тѣснѣй окружаютъ меня.
«Коробку съ порошкомъ!» — и ужъ не вертится, а кружится, какъ волчокъ, мальчишка.
«Хиба!» — сказалъ Нарбутъ.
И поѣздъ тронулся.

*

Послѣ дневного дождя, когда вѣтеръ расчистилъ полоску на закатѣ и ожили птицы, въ первый разъ затрубили жабы на болотѣ.

Когда я на ночь тушу свѣтъ, начинается звонъ — точно гдѣ-то далеко въ набатъ бьютъ: звонитъ комаръ.

XXI

— — мы были въ Іерусалимѣ, потомъ на Аѳонѣ. И рѣшили дома отслужить всенощную. Изъ Іерусалима у насъ свѣчи, а съ Аѳона забыли. Въ корридорѣ стоитъ Распятіе и передъ нимъ красная лампадка, я самъ зажегъ эту лампадку.

Ждемъ Верховскихъ со всѣми дѣтьми.

Борисъ Пастернакъ въ углу сѣти чинитъ.

Думаю, тѣсно будетъ!

И очутился въ Греціи. Тамъ война. И вижу Елизавету Михайловну Терещенко: вся заплаканная, а чему-то радуется.

И вотъ гдѣ-то, не то въ Пензѣ, не то въ Устьсысольскѣ, въ учительской комнатѣ профессоръ Я Я. Никитинскій и съ нимъ какіе-то, на А. М. Коноплянцева похожіе.

Идетъ споръ: хотятъ вычеркнуть Гоголя.

И постановленіе вынесли: вычеркнуть!

И вижу Г. В. Вильямсъ въ солдатской шинели, онъ вышелъ на балконъ, поднялъ черное знамя и сказалъ:

«Запрещаю выходить на улицу и собираться въ собранія!»

«Какъ же, думаю, всенощную-то служить?»

И вижу: въ корридорѣ Распятіе, красная лампадка, и Сергѣй молится.

Монахъ разсказываетъ мнѣ о чудесахъ аѳонскихъ, какъ его на Аѳонѣ исправили: былъ онъ неспособенъ по рожденію...

Монахъ при этомъ двусмысленно подкашли-

валъ и подмигивалъ въ уголъ, гдѣ сидитъ Борисъ Пастернакъ и чинитъ сѣти.

«Пойдемте, поищемъ!» — сказалъ онъ Пастернаку. И оба пропали.

Народу къ службѣ собирается много: Алексѣй Толстой, Ѳ. И. Щеколдинъ, С. М. Городецкій, Ященко въ крылаткѣ, Бердяевъ, Вышеславцевъ, Сеземанъ.

Кто-то, я не вижу, разсказываетъ, что Сергѣй померъ.

«Совсѣмъ посѣдѣлъ и померъ».

*

Чтобы увидѣть домового, надо въ Великій четвергъ понести ему творогъ на чердакъ, — такъ и сдѣлала одна и хоть видѣть его не видѣла, а ощупала-таки: мягкій!

Если онъ скажетъ: у-у-у! — это хорошо.

А если: е-е! — это плохо.

Одна баба не велѣла соръ изъ избы выметать, а велѣла заметать все въ уголъ. А въ Великій четвергъ, когда осталась одна, надѣла она бѣлую рубаху и плясала на этомъ сору два часа — всю всенощную. И сталъ къ ней по ночамъ прилетать золотой снопъ: прилетитъ и разсыплется!

XXII

— — безулыбная старуха Прасковья Пименова влѣзла въ духовку.

Вошелъ Клюевъ: онъ въ огромной соломенной шляпѣ, въ поддевкѣ, но ужъ безъ своего серебрянаго креста:

«Страха ради революціи.»
У насъ стоитъ инструментъ: не то это арфа, не то гусли, — и никакъ не подойдешь.
«Не арфа и не гусли, — объясняетъ Клюевъ, — а самопишущее перо Adler, безъ чернилъ пишетъ!»
Мы ходимъ вокругъ инструмента, но потрогать нѣтъ никакой возможности.
П. С. Романовъ и И. В. Жилкинъ разсматриваютъ матеріи.
«Революція, — говоритъ А. С. Рославлевъ, — это перекопъ всей земли; она встряхнетъ все до основанія. Надо разбить всѣ стекла, посшибать съ колоколенъ кресты и по возможности перетасовать все населеніе: первые да будутъ послѣдними и послѣдніе будутъ первыми. И тогда начнется новая жизнь!»
А я сижу одинъ и со мною Н., только она гораздо меньше, чѣмъ на самомъ дѣлѣ, она меня слушаетъ, а я ей разсказываю о нашемъ трудномъ житьѣ-бытьѣ.
И начинается словесное: всѣ вещи исчезли, одни слова —
«дѣленіе состояній души».
И я прохожу отъ обыденнаго къ истонченной сложнѣйшей отвлеченности, а въ житейскомъ подымаюсь съ Земляного вала въ Таганку.

*

Проснулся, еще ночь — лунная холодная ночь — и слышу поютъ ——

Это была какая-то вѣдовская пѣсня: женскіе охрипшіе голоса врозь съ мужскими.

Я долго лежалъ, не могу заснуть, все слушаю: голоса скакали, крутились, «катали», какъ тутъ говорятъ, пѣли купальскія пѣсни.

XXIII

— — задано два сочиненія: по русскому и по закону Божьему.

Священникъ Г. Ѳ. Виноградовъ отъ Николы-красный-звонъ читалъ молитву съ особенными удареніями. Всѣ стояли на колѣняхъ. А я отдѣльно за колоннами и тоже сталъ на колѣни. Я думалъ, что это затѣяно больше для рекламы, чтобы побольше было разговору, но И. А. Рязановскій, наблюдавшій съ колонны, показалъ мнѣ знаками, что это дѣлается по инструкціи Тинякова и Исаева.

И я сталъ въ очередь: справиться о моей рукописи. И все не такъ дѣлаю: тѣ, кто стоялъ куда сзади, давно меня перегнали, а я топчусь на одномъ мѣстѣ и ужъ нѣтъ надежды дойти до редакціи.

Вижу падчерицу Розанова Александру Михайловну: она получила отвѣтъ — «принята».

Хозяинъ дома Ф. Ф. Фидлеръ.

Я подымаюсь по лѣстницѣ — лежатъ на кроватяхъ: Рославлевъ, Андрусонъ, Ленскій, Годинъ, Цензоръ, Муйжель, Яблочковъ, Свирскій, Котылевъ и Л. Кормчій.

«А, — говорятъ, — теперь вы у насъ будете!»
«Съ нами! съ нами!»
И какъ черти возятся.
Муйжель насадилъ себѣ на хвостъ Година и Рославлева, какъ на колъ, потряхиваетъ, а тѣ гогочутъ. Котылевъ голый — на голое смокинкъ, распоряжается.
«Съ нами! съ нами!»
Иду дальше.
П. А. Митропанъ показываетъ на руку:
«Тайна знака, — говоритъ онъ, — тайный знакъ».
Иду дальше.
М. А. Кузминъ: онъ росту, какъ Рославлевъ, и съ длинной черной бородой, ѣстъ редиску.
«Вь школу прапорщиковъ мнѣ нельзя поступить!» — говоритъ онъ.
«А какъ же Пястъ?»
«Тайна знака, — вспоминаю, — тайный знакъ.»
«А васъ въ Обуховскую больницу положатъ на испытаніе.»
Спускаюсь внизъ —
«По глазамъ! Зачѣмъ же въ Обуховскую?»
Викторъ (Ремизовъ) объясняетъ: онъ слышалъ, какъ надо это дѣлать.
«Надо натощакъ выпить бутылку коньяку.»
Но для чего это? — для того ли, чтобы ничего не видѣть, или для общаго ослабленія? — непонятно.
«Да я одинъ не могу выпить бутылку!»
И тихонько спустился подъ лѣстницу —
А тамъ И. А. Рязановскій.

Этакую — куда выше шкапа такое сдѣлалъ толстыми кругами и самъ вокругъ ходитъ, какъ котъ, доволенъ —

XXIV

— — примостились на плошади въ палаткахъ, площадь длинная — Сухаревка.

Пасмурно — мглистое московское утро.

На другомъ концѣ площади мучаютъ.

«Мучаютъ, — говоритъ кто-то, — казнь особенная.»

Особенная издѣвателская казнь: кромѣ всякихъ уколовъ и подколовъ, — это пустяки! — заставляютъ еще дѣлать человѣка такое, что ему особенно трудно и даже противно.

И доводятъ жертву до послѣдняго отчаянія, и ужъ несчастный умоляетъ о смерти.

«Смерть съ удовольствіемъ!» — объясняетъ кто-то.

Или лишатъ человѣка свѣта, а потомъ выведутъ изъ погреба и тотъ свѣту обрадуется и начнетъ благодарить.

«Казнь съ благодарностью!» — объясняетъ кто-то.

На другомъ концѣ площади мучаютъ.

«Казнь съ благословеніемъ!»

Отнять у человѣка все и потомъ дать ему крупицу, и какъ за эту крупицу будетъ тебѣ благодаренъ, больше, благословитъ тебя.

Отнять у человѣка и тогда онъ оцѣнитъ, какое благо имѣлъ онъ и не цѣнилъ.

И самая жарчайшая память и самая глубочайшая благодарность и восторгъ передъ жизнью и благословеніе смерти — все человѣческое рожденное, всѣ голоса полногласно звучали на другомъ концѣ площади, гдѣ мучали.

Какъ карандашъ чинятъ, такъ стругали мясо души человѣческой.

И негодуя, и возмущаясь, мы пошли домой. Восресенская площадь — пустынно, какъ ночью, и мглисто, сѣрый московскій день.

Вдругъ откуда-то городовые, и одинъ ко мнѣ: «У васъ будетъ обыскъ, — говоритъ, — ваши рисунки подсмотрѣли!»

И побѣжалъ, и за нимъ другіе.

Я понялъ такъ, что они бѣгутъ на площадь казни, а послѣ обыска и меня погонятъ туда же. Но что же такое мои картинки? Какой же я художникъ? И если я нарисовалъ «свободу печати», вѣдь безъ подписи никто не пойметъ, что «изнасилованная птица» и есть свобода печати! А Совѣтъ и лозунги я нарисовалъ зеленымъ, и если у меня вездѣ однѣ рожи, но я только и умѣю рисовать рожи — рожицы кривыя.

«Все равно, — говоритъ кто-то, — ты не смѣешь рисовать и кривыя, все равно и твоя участь — площадь. Есть особенная «художественная казнь» — для писателей — это отрывать и разсѣивать, ни на минуту не оставляя въ покоѣ, ни на минуту не оставляя въ покоѣ, ни на минуту не давая человѣку сосредоточить мысли.»

«Но вѣдь все это я уже разъ пережилъ!» — хочу какъ-то выпутаться.

«Все равно, не считается. Да и по дѣломъ!»
Въ какомъ-то корридорѣ — похоже, какъ въ Аничковомъ дворцѣ, гдѣ выдавали авторскія за постановки —
Мнѣ предлагаютъ новенькую студенческую шинель.
А есть рваное пожелтѣлое пальто, лосное отъ селедокъ и керосину.
Я взялъ рваное, нарядился и пошелъ домой.
Тамъ кровать и около вещи свалены.
«Это Сергѣя (Ремизова) кровать и вещи его, — говоритъ кто-то, — скоро ему въ дорогу.»
И чего-то мнѣ страшно стало, я къ двери — вѣдь это въ Сыромятникахъ, всѣ двери знакомы! — а дверь заперта. Ищу ключъ.
Чуть освѣщено — одна кухонная керосиновая лампа съ закоптѣлымъ стекломъ.
Надъ дверью широкое стекло.
И вдругъ вижу: голыя ноги сверху — я ужъ такое видѣлъ разъ въ госпиталѣ, когда въ гробъ клали.
И стѣна разошлась, какъ провалъ — —
чуть свѣтаетъ, осеннее утро. Замоскворѣчье въ туманѣ — Ордынка, Полянка, Болото.
Къ Благовѣщенскому собору собирается крестный ходъ.

— Караулъ!
— улъ!
— улъ!

Толчемся въ прихожей у Садовскаго, въ комнаты онъ не приглашаетъ.

Иду въ нашу новую квартиру.
Оказалось, изъ моей комнаты есть ходъ (стеклянная дверь) прямо на волю.
«Какъ же, думаю, до сихъ поръ мы и не знали про этотъ ходъ!»
Иду за стуломъ черезъ коридоръ мимо чужихъ комнатъ — все стеклянное. Взялъ стулъ и назадъ. Спускаюсь по лѣстницѣ. А за мной какая-то по ступенькамъ на одной ногѣ, напѣваетъ:
«Вѣра-Степанова! — Вѣра-Степанова!»
Обернулся я:
«Гриневичъ?» — говорю.
«Нѣть, — смѣется, — наша!»
«А знаете — Садовскій отъ удовольствія потираетъ руки, — Л. А. за третьяго вышла! Пришвинъ очень обиженъ: его чести будто бы лишили!»
«Ну, что за пустяки, — говорю, — при чемъ честь!»

XXV

— — загорѣлся сосѣдній домъ, пожаръ залили, а у насъ всѣ стекла побиты.
Сосѣди наши нѣмцы, мы зашли къ нимъ — все перевернуто, смотрѣть жалко.
«Ну, думаю, они поправятся, а мы такъ и будемъ съ разбитыми окнами!»
И поѣхалъ я на автомобилѣ съ А. С. Смирновымъ — повезъ кукольную пьесу. Тутъ, откуда-ни-возьмись Котылевъ.

«Я, — говоритъ, — въ каиниты поступилъ. Теперь революція: все на свѣтъ, все вверхъ тормашками!»

XXVI

— — каждый изъ насъ долженъ нарисовать проектъ воздушнаго корабля.
И всѣ мы идемъ по очереди со своими проектами — у каждаго въ рукѣ свитокъ.
И летимъ —
И все ничего — мы летимъ и не знаемъ куда, а надо, какъ оказывается, непремѣнно въ Романовъ-Борисоглѣбскъ.
А когда прилетѣли въ Романовъ, оказывается, должны еще дѣлать экскурсіи въ окрестностяхъ.
Летѣть вверхъ — очень тянетъ внизъ, а внизъ — ужасно.
Я сидѣлъ на самомъ днѣ, — весь корабль сдѣланъ былъ изъ тончайшихъ пластинокъ, на еще тонѣйшихъ рельсахъ, безъ мотора.
Корабль выплылъ надъ рѣкой и повисъ.
Я выглянулъ на волю: пасмурно.
А кто-то говоритъ:
«Вотъ, поди, душа въ пятки ушла!»
И куда бы мы ни прилетали, вездѣ опаздываемъ: поздній часъ, все закрыто, одни туманы.
Мнѣ дали розовое трико, я долженъ его передать, а кому, не знаю. И сижу дуракъ-дуракомъ.
Навстрѣчу Аверченко.

«Я давно хочу съ вами познакомиться, — говорю ему, — у васъ есть безподобныя вещи.» «Это не я, — конфузливо отвѣчаетъ Аверченко, — это Петръ Пильскій.»

XXVII

— — въ церкви очень свѣтло не отъ свѣчей, а такое устройство.

Служатъ въ лѣвомъ придѣлѣ. Всѣ молитвы читаетъ Вячеславъ Ивановъ. Служба такая: священникъ задаетъ вопросы, на которые отвѣчаетъ В. И. Только необыкновенно тоненькимъ голосомъ. Потомъ онъ выходитъ на амвонъ и тамъ читаетъ, и ужъ потолще. Все по-русски.

Похожій на Н. М. Минскаго вертится около столиковъ какъ-то само-собой, какъ парикмахеры щелкаютъ ножницами, какъ кельнера стаканами — самос-обой.

«Можно достать лаку! — говоритъ онъ мнѣ — и краснаго и чернаго.»

И я ясно вижу: онъ весь заросшій чернѣйшимъ японскимъ волосомъ и только на лицѣ три бѣлыхъ полоски — на лбу и по щекамъ.

«Я также знаю, — говоритъ Н. М. Минскій, — вѣрное средство красить волосы.»

Входитъ учитель географіи докторъ Геровскій и предлагаетъ заняться всеобщей гимнастикой.

XXVIII

— — на Васильевскомъ островѣ на 14 линіи въ домѣ Семенова-Тяньшанскаго есть галлерея съ садомъ. И такъ какъ очень жарко, я туда на ночь и хожу.

Швейцаръ сказалъ мнѣ, что это стоитъ большихъ денегъ, но я ничего не плачу.

Тутъ живетъ и Н. К. Рерихъ. Я заглянулъ къ нему — обѣдаетъ, много варенья на столѣ.

Встрѣчаю какого-то маленькаго красненькаго. вь родѣ Беленсона.

«Не хотите ли, — говоритъ, — сняться?»

«Что-жъ, давайте.»

«Я снимаю только нагишомъ.»

И — входятъ музыканты, а впереди Пришвинъ съ трубой.

«Wetterprophet! (предсказатель погоды) — заявляетъ о себѣ Пришвинъ и обращаясь къ музыкантамъ, — интернаціоналъ!»

XXIX

— — Рошаль и Коллонтай назначили меня и Блока на какую-то театральную должность: не то при Ал. Ил. Зилотти находиться, не то Ал. Зилотти при насъ находиться — «на усмотрѣніе др. А. Л. Зандера» — такъ написано въ бумагѣ.

Мы поѣхали въ Кіевъ и съ нами Нина Николаевна Сеземанъ. Начинается всенощная, постъ

тысячный хоръ подъ управленіемъ Кошица:

«Благослови, душе моя, Господа.»

Но мы стоимъ не въ церкви, а на Кіевскомъ мосту подъ деревомъ № 1072.

XXX

— — у меня съ живота снялась какая-то шкурка и я почувствовалъ необыкновенную легкость. Докторъ Аѳонскій сказалъ, что такое случается, какъ въ частной жизни, такъ и въ общественномъ организмѣ.

«И совершается неизбѣжно и безболѣзненно.»

Я сѣлъ на океанскій пароходъ — трубы, страсть и глядѣть, и все вычищено, какъ зеркало. Я ходилъ по палубѣ, а когда задумалъ спуститься въ каюту, попалъ въ такое мѣсто, откуда только и есть, что прыгай въ воду. Пояса и лѣстницы тутъ же, все свалено въ кучу, но мнѣ кричатъ:

«Прыгай въ воду!»

Я не рѣшался, я стоялъ, не зная, что дѣлать, видѣлъ воду — узкій пролетъ и воду, зеленоватую и быструю.

И пошелъ опять на палубу.

Кто-то сказалъ, что я индѣецъ.

И тотчасъ выскочили индѣйцы и окружили меня.

Я иду по улицѣ съ Сергѣемъ (Ремизовымъ), мимо малиновой церковки съ синей, золотыми звѣздами, главой — открытый алтарь, около

царскихъ вратъ священникъ — «предсказываетъ!» — волоса у него всѣ въ шпилькахъ для завивки. Передъ нимъ какая-то женщина.
Сергѣй подошелъ первый, я за нимъ.
Священникъ посмотрѣлъ на меня, и вижу недоволенъ.
«Посмотрите, — сказалъ онъ, — сколько внѣшней скорби, а на самомъ дѣлѣ индѣецъ!»
Тутъ я вспомнилъ, что на пароходѣ я былъ индѣйцемъ, дѣйствительно, стало быть, все знаетъ, и мнѣ стало очень неловко.
И слышу, какъ говоритъ онъ С. П.
«Вотъ эта настоящая!»
И я понялъ до отчетливости разницу между «индѣйцемъ» и настоящимъ.
И идемъ мы съ В. В. Розановымъ къ часовнѣ Боголюбской — «къ Боголюбской невѣсты ходятъ передъ вѣнцомъ!» — а мы по бѣлоснѣжному-то пути грязищу тащимъ индѣйскую, ободранные индѣйцы, «неблагородные», какъ говорилъ Розановъ, подразумѣвая это «индѣйство».
А далеко еще часовня и жалко мнѣ Розанова.
«Сердце-то какое черствое, — говоритъ онъ, захлебываясь, — хоть немножечко бы теплоты. Давай покуримъ.»
А навстрѣчу черномазый: это и Тиняковъ, и Пименъ Карповъ вмѣстѣ.
«Между нами было одно непріятное недоразумѣніе, которое всегда оставалось. Теперь я сдалъ экзаменъ, и вотъ говорю вамъ: «теперь я свободенъ.»

XXXI

— — на вышкѣ въ лѣвомъ углу, отгороженный тоненькой щелястой переборкой, рисуетъ А. Я. Головинъ и еще два художника.
По сосѣдству пожаръ. А они, не обращая вниманія, рисуютъ. И только когда задымилась стѣна, они выскочили.
«Что-жъ это вы, — говорю имъ, — отъ васъ все видно и вы такъ поздно спохватились, вѣдь, тамъ же вещи, все теперь сгоритъ!»
Мы спустились внизъ.
Тамъ проходы, какъ на Николаевскомъ вокзалѣ. Говорятъ, что огонь проникъ и въ нижнее помѣщеніе.
А внизу мои книги и рукописи, но туда никакъ не пройти.
Ѳ. И. Щеколдинъ съ Н. П. Рузскимъ у столика чай пьютъ и о чемъ-то разсуждаютъ, и къ нимъ подсаживается А. И. Зилотти.
«Петербургъ, — говоритъ Зилотти, — неприступная крѣпость. И взять его могутъ только свои.»
Я вхожу въ нашу комнату: однѣ обгорѣлыя стѣны.
«И всѣ мои рукописи пропали, а вѣдь могли бы спасти! Сосѣди успѣли все вынести!»
Въ сосѣдней комнатѣ М. Н. Бялковскій объясняетъ что-то по картѣ П. Е. Щеголеву.
Щеголевъ слушаетъ съ недовѣріемъ. И я это ясно вижу, а Бялковскій не догадывается и во всю старается.

«Петербургъ неприступная крѣпость, — слышу, — и взять его нельзя, только... свои.»
Входитъ А. М. Горькій, а за нимъ З. И. Гржебинъ.
Гржебинъ въ ночномъ колпакѣ съ аистами.
«Это мнѣ изъ Германіи Вейсъ привезъ!» — и прихорашивается.
«Педагогическое средство, — говоритъ Горькій, — только нѣмцы такое и могли сочинить.»
«А я Алексѣю Толстому подарилъ московскій колпакъ вязанный безо всего, жалованный колпакъ.»
Обѣдать надо, а на столѣ одни обезьяньи хвосты.
«Доктору Владыкину Мениликъ, негусъ абиссинскій, подарилъ, — вспоминаю, — Толстова еще судили за это!»
«А зачѣмъ хвостъ обрѣзалъ?!» — говоритъ Горькій.
«Это не Толстой, это все Копельманъ! — Гржебинъ закусилъ отъ хвоста кончикъ, и какъ надъ спаржей трудится, а хвостъ крѣпкій, не поддается.
«И все погорѣло, всѣ книги и рукописи, одни хвосты остались!»
А я не знаю, что сказать:
«Вотъ, — говорю, — Алексѣй Максимовичъ, у Андрея Бѣлаго сидѣльный хвостикъ отпалъ».
А Горькій хмурый, только губами ежитъ; и весь-то въ заплатахъ, а пиджакъ новенькій.
«Надо поговорить съ Ладыжниковымъ: Иванъ Павловичъ въ курсѣ дѣла. Слѣдуетъ издать. Безплатное приложеніе.»

Прохожу по корридору. Народу, какъ на вокзалѣ. Заглянулъ я на себя въ зеркало — на головѣ красный колпакъ съ кисточкой, а лицо заостренное, лисичье, а росту съ Пинкевича.

*

Проходили нищіе по селу съ кобзой, пѣли старинную думу о Почаевѣ.

Какой степью повѣяло половецкой!

Какой свѣтъ — угрскія звѣзды!

XXII

— — прицѣнивался къ старинной рукописной книгѣ съ миніатюрами, украшенной, какъ Годуновская псальтирь, тончайше золотомъ, 50 рублей просили.

Когда раскроешь книгу, голоса слышатся, сначала урчанье, а потомъ явственно, и цѣлый хоръ поетъ подъ органъ.

Купилъ книгу Я. П. Гребенщиковъ, я ему 25 рублей далъ.

И два раза я возвращался къ Я. Г. Новожилову, все мнѣ хотѣлось себѣ какую-нибудь такую книгу купить, но сколько ни рылся, ничего нѣтъ, одни сочиненія Шебуева.

Идемь по Москвѣ, я хочу показать Сергѣю (Ремизову) церковь Николы-въ-Толмачахъ.

На заборахъ «Заемъ свободы». И не можемъ никакъ найти.

«Какъ же такъ, думаю, не можетъ найти!»

И сижу я въ комнатѣ, вотъ ужъ 35 дней сижу въ заточенiи.
И слышу, зоветъ кто-то.
И подъ самымъ окномъ какъ прыгнетъ черезъ заборъ — —
И вижу Неглинный проѣздъ, подъ венецiанскимъ балдахиномъ весь въ серебрѣ съ шитыми львами идетъ Б. К. Зайцевъ, полныя горсти сѣмечекъ, самъ кланяется, налѣво-направо кожуркой поплевываетъ.
«Удивительная вещь, — говоритъ И. А. Рязановскiй, (онъ съ процессiей, на головѣ его бѣлая чалма и цвѣты въ рукахъ), — видѣлъ я во снѣ, вышелъ изъ меня калъ, а дѣвать его некуда, завернулъ я въ газетную бумагу, ну, никакого-то признака, и понесъ, зашелъ за памятникъ Сусанину. А Петровна и говоритъ. «Боюсь я, Ванечка, съ тебя еще пошлину возьмутъ!»
«Это къ деньгамъ, — говорю, — что калъ во снѣ, что грязь видѣть — къ деньгамъ.»
А народъ идетъ и идетъ — и всѣ на Красную площадь.
Проѣхалъ верхомъ на слонѣ Жилкинъ, проскакалъ на пожарной кишкѣ летчикъ Василiй Каменскiй, протащили на аписахъ Брюсова, въ золотомъ башлыкѣ проплылъ Вишнякъ съ Кожебаткинымъ — черныя птицы, хвосты рублены. Пронесли на пурпурѣ Куприна, за Купринымъ Бунина. А вотъ и Шестовъ — ведутъ дружка! — тридцать-и-пять араповъ ведутъ подъ руки.

«Ей, — брычать, — чай такъ чай!»
И опять слышу, зоветъ кто-то.

*

Неизвѣстной дамой пущенъ былъ слухъ:

«Разъѣзжаетъ по Кіеву съ собственнымъ автомобилѣ начальникъ штаба Вильгельма!»

Толпа повѣрила. И арестовали какого-то борзенскаго помѣщика съ кабаномъ.

XXXIII

— — В. А. Сувчинская съ кулаками наскочила на меня: отдай ей ручку!
«Да вы, — говорю, — мнѣ подарить хотѣли!»
«Мало ли что хотѣла!»
Вѣра Александровна, какъ же это...»
«Да такъ, отдавайте!»
Не даетъ и слова сказать.
А лежала на столѣ какая-то сломанная, огрызокъ.
«Ладно, — говорю, — сейчасъ!»
А самъ этотъ огрызокъ бумагой и прикрылъ.
«Не завертывайте!»
А я ужъ завернулъ и подаю —
И вижу, Лариса Рейснеръ, хочу сосчитать деньги — у меня ихъ вотъ какая пачка!
Донесъ я до самой двери и около двери, гдѣ сидитъ ночной сторожъ, и, какъ это случилось, не знаю, потерялъ.

«Не положилъ ли я вамъ случайно въ карманъ?» — спрашиваю сторожа.

*

Сонъ былъ прерывенъ и треволенъ; понаѣхали гости и одинъ ночевалъ по сосѣдству. Поздно легъ, а заснулъ и того позже. Получены газеты съ описаніемъ «іюльскаго» Петербурга: все живо представилъ себѣ.

XXXIV

— — Ивановъ Разумникъ написалъ какую-то статью, статья очень понравилась Шестову. Я объ этомъ разсказываю Иванову-Разумнику. Мы въ Москвѣ, въ лавкѣ, я жду лимона. А мнѣ даютъ брусничной эссенціи.
«Погнали на войну! — кричатъ , — всѣхъ! всѣхъ! всѣхъ!»
«Разумникъ Васильевичъ, — говорю, — спасайся-кто-можетъ!»
Да скорѣй изъ лавки на улицу.
А по улицѣ и все верхомъ на коняхъ гимназисты.

XXXV

— — пріѣхалъ къ намъ изъ Петербурга Н. Н. Сухановъ съ докладомъ. Онъ очень помятый и встрепанный,все на часы смотритъ: боится опоздать.

Нарядили меня въ студенческій мундиръ и заставили играть, но я не могу суфлера слушать и все свое. Наконецъ, надо же уходить.

И слышу апплодисменты.

Вышелъ, раскланялся и прохожу по корридору. Это баня, а содержитъ Е. А. Ляцкій.

«Самая гигіеничная — объясняетъ Ляцкій, — П. П. Муратовъ всякую субботу посѣщаетъ, лучшіе итальянскіе мастера зафиксировали въ памятникахъ искусства, не баня, а золотая баня.»

Я занялъ номеръ, и еще номеръ для Д. Д. Бурлюка.

И вдругъ выходитъ — Господи! — одинъ зубъ — одинъ зубъ по середкѣ.

*

Разговоръ зашелъ о захватахъ: что все началось съ захвата — революція и есть захватъ! — и что вотъ Курлушкина Богъ наказалъ.

А я подумалъ: о захватахъ вообще лучше помалкивать, кто не грѣшенъ? — и о наказаніи Божьемъ не судить человѣка, вѣдь, завтра придетъ и твой чередъ и ты будешь наказанъ, нѣтъ, о наказаніи, какъ и о всякой бѣдѣ, надо принимать сердцемъ, не злорадствуя, а жалѣя.

XXXVI

— — обѣдали съ Ю. К. Балтрушайтисомъ на Курскомъ вокзалѣ.

Тутъ былъ и Гершензонъ и Рачинскій и Бердяевъ и Шестовъ — весь столпъ московскій. А потомъ попали въ какой-то домъ — и полѣзли на верхъ, ужъ лѣзли-лѣзли, едва ноги идутъ, а поднялись на какую высоту — не знаю, очень высоко! а спустились сразу.
А намъ говорятъ:
«Вы попали въ публичный домъ!»
Вотъ тебѣ и разъ!

МОСКВА

I

А знете что: все это неправда или не вся — и если говорить по самой правдѣ —

этотъ вихрь и есть то, въ чемъ я только и могу жить.

Только мнѣ такъ мало силъ отпущено и я просто по вѣрному житейскому чутью отбрыкиваюсь отъ всякаго «движенія»:

вѣдь, если бы, я, какъ всѣ люди, пошелъ бы ходить, у меня оборвались бы жилы!

Да, мнѣ не надо никакой этой тишины и ровности, никакого благополучія.

Когда я попадаю въ провинціальный городъ, я это всѣмъ существомъ моимъ чувствую.

И если бы какой благожелатель поселилъ меня въ вѣчную санаторію, чтобы я и пальцемъ не пошевельнулъ, и все мнѣ будетъ — и чай и кофе во-время, и на почту не надо ходить заказныя письма сдавать —

или такое тихое мѣстечко нашлось бы на землѣ гдѣ-нибудь на Тихомъ Океанѣ — ein ruhiges Plâtzchen für brennende Cigarren — или —

и было бы это все равно, какъ если бы приговорили меня къ медленной, но вѣрной смерти: я началъ бы слоняться, отекъ и, наконецъ, заснулъ бы.

Слава Богу, бѣда всей нашей жизни всегда спасала меня!

*

Поздно вечеромъ прiѣхали въ Черниговъ.

Отъ вокзала черезъ весь безконечный мостъ шли пѣшкомъ до самой «Москвы».

Темь — лѣсная. Ночь хмурая. Шаршавые кусты по дорогѣ. И птицы. Мнѣ казалось, тамъ въ беззвѣзной ночи — черныя.

Точно разъ ужъ во снѣ я видѣлъ такую дорогу!

Волоча огромные сундуки, обгоняли безликiе черные. Рѣдкiе экипажи сквозь — шарахающiеся пѣшеходы. Одинокiе внезапные фонари вдругъ — бездонныя канавы вь репеѣ.

Я несъ старый лопнувшiй чемоданъ. И нетрудная ноша тяготила: развязавшiйся ремень путался подъ ногами, путалъ наше безпутье.

«Зачѣмъ, зачѣмъ, это все? Зачѣмъ въ такую ночь? И итти».

Такъ бы вотъ остановился или проснулся бы!

Да, въ дѣтствѣ я во снѣ видѣлъ такую дорогу. И не разъ снилось. И это былъ самый мучительный, самый изводящiй изъ сновъ.

Съ этимъ сномъ соединялся у меня конецъ — конецъ свѣта, конецъ жизни, «свѣтопреставленiе»:

Дорога, беззвѣздная ночь — солнце померкло, луна — пркратила свѣтъ! — и только демонскіе внезапные глаза, какъ эти — —
— огни одинокихъ экипажей.
«Зачѣмъ, зачѣмъ это все? Зачѣмъ былъ этотъ міръ и вотъ конецъ?»

И не только во снѣ, на всѣхъ граняхъ моей жизни это чувство беззвѣздной дороги — безпутья прожигало болью:

и тогда въ Москвѣ передъ Каменщиками — первой моей тюрьмой —
и тогда на этапѣ — отъ Пензы до Устьсысольска —
и потомъ — потомъ это будетъ въ августѣ 21-го года въ скотскомъ вагонѣ отъ Петербурга до Нарвы, когда поѣдемъ изъ Россіи.
«Зачѣмъ, зачѣмъ это все? Зачѣмъ въ такую ночь — ?»

Дорога отъ вокзала черезъ мостъ до «Москвы» показалась безконечной, а по остротѣ на всю жизнь.

II

По утру у Спаса — въ древнѣйшей русской церкви Мстислава Тмутороканскаго.

Служба кончилась. Только кучка богомольцевъ — женщинъ въ бѣломъ въ бѣлыхъ обмоткахъ: старыя онѣ или не такія ужъ, не разобрать — вѣтромъ и солнцемъ обожженныя лица и руки.

У мощей молился старикъ священникъ.

Такъ молятся у кого ни души на землѣ и некому ска-

зать — а вѣдь у всякаго есть, что непремѣнно сказать или о чемъ попросить —

Принялъ я въ сердце и эту молитву.

Мы вышли.

Бѣлыя стѣны собора, бѣлыя, какъ мазанки. А кругомъ зелень — тополя. Шумятъ — шепчутъ.

Есть тишина около храмовъ. И даже если и камушка не останется, все разрушитъ время — я это чувствовалъ въ заповѣдныхъ рощахъ, гдѣ когда-то стояло капище съ идолами — такая вотъ тишина и только шумитъ роща —

Принялъ я въ сердце и эту тайную тишину тайнъ.

Пошли по городу.

Въ лавкахъ пусто: гдѣ распродано, а гдѣ одни подскребки.

— Война съѣла!

— Война! война! война!

Одна эта жалоба — единственный припѣвъ.

Поглазѣли на Троицкую горку — тамъ первая на Руси стоитъ церковь — Ильинская въ честь Громовника Ильи: Святославъ построилъ.

И дальше.

Въ Казанскомъ саду, гдѣ поетъ по веснѣ соловей, ни души.

Пасмурно, пустынно —

или это отъ пасмури пустынно?
или война все съѣла?
или гроза идетъ и вотъ притаились — революція?

А хорошо, когда гроза идетъ — не думаю, чтобы измѣнялся человѣкъ: какимъ зародишься, такимъ и помрешь. Знаю, и самая грозная изъ грозныхъ — революція — взвихъ и встрясъ — ничего не измѣнитъ, но я также знаю, что безъ грозы пропадъ. И хочу, чтобы нѣтъ-нѣтъ, да, я хочу, чтобы ударило — ударило крѣпко такъ, чтобы взвизгнуть, схватиться за голову хоть однажды, иначе наше замельчавшее, псивое житье отравитъ всякую жизнь.

Да, хорошо, когда идетъ гроза — —

Да, это такъ.

Повела меня С. П. на Гончую улицу.

Вотъ этотъ сѣренькій домъ — тутъ она родилась. Домъ какъ нежилой, а въ окнахъ цвѣты.

Съ Гончей по пескамъ вышли къ Гимназіи.

Здѣсь она училась — —какая неприступная казенная крѣпость!

и неужели кончилось все это?
или одно кончили, другое придумаютъ?
если бы въ человѣкѣ можно было перекувырнуть это — самое — !

Постояли, поглазѣли на гимназію.

И сколько вспомнилось! И странно, все-то и самое нелегкое, а какъ легко!

И должно быть, изъ подали послѣдней, а въ послѣднюю минуту все какъ-то такъ вспомнится — и нелегкое совсѣмъ легко! а потому — потому что больно ужъ жизнь-то сама хороша!

Да, это такъ.

«Въ гимназіи, — разсказывала С. П., — не позволя-

ли книгъ изъ частной библіотеки брать, только изъ гимназической можно. А мы все-таки брали и читали тайкомъ. Захотѣлось прочитать романъ Ясинскаго «Вѣчный праздникъ»: слышали изъ черниговской жизни. Пошли въ библіотеку Идлисъ, спрашиваемъ: «Вѣчный праздникъ Максима Бѣлинскаго»? Полѣзъ библіотекарь на полкахъ искать. А одна гимназистка очень любила иностранныя слова — «Максимъ Бѣлинскій, говоритъ, это псевдонимъ!» А библіотекарь на книгу-то какъ-разъ и напалъ: — «Нѣтъ, говоритъ, его зовутъ Іеронимъ!»

Ну, видѣлъ я гимназію, надо посмотрѣть и запретное — библіотеку.

Отыскали библіотеку — библіотека Идлисъ! — на полкахъ книги, а Псевдонима уже нѣтъ, другой.

И пошли въ «Москву».

*

— — Ѳ. К. Сологубъ и Н. Г. Чернявскій сидятъ въ столовой — у насъ только и есть одна теплая комната, эта столовая. Входитъ Керенскій.

Одинъ разъ я его видѣлъ въ редакціи «Сиринъ» на Пушкинской, а онъ все такой же и также говоритъ очень громко — если сравнить съ Ивановымъ-Разумниковымъ, просто кричитъ.

«Александръ Ѳедоровичъ, — говорю, — вы теперь все можете! Есть у меня три желанія: первое — часы съ кукушкой, а второе — дудочку-кукушку, такія до войны въ Карлсбадѣ продавались, и третье — воздушный яблочный пирогъ!»

«Дудочку-кукушку я смогу!» — сказалъ Керенскій.

*

Сны наползали и пропадали: пропалъ Сологубъ, пропалъ Чернявскій, пропалъ Керенскій, и я очутилася не въ столовой — этой единственной нашей комнатѣ, а въ подвалѣ.

*

— — въ одномъ углу В. Н. Ивойловъ (Княжнинъ) на корточкахъ караулитъ мышъ, а на другомъ концѣ въ углу на корточкахъ же Зоргенфрей (Зоръ) караулитъ Ивойлова.

Въ подвалъ набираются незнакомые.

«Гдѣ это мы находимся?» — спрашиваю.

«Точно самъ не знаешь: въ Кузнечномъ переулкѣ.»

«Почему же въ Кузнечномъ?»

«Какъ почему?»

И упрекаютъ меня, что я не желаю разсказывать о китайцахъ.

А я , ей Богу же, о китайцахъ ровно ничего не знаю.

«Вы, — говорю, — спутали: это проф. В. А. Алексѣевъ китаецъ.»

И снимаю съ себя одежду за одеждой — кожи, шкуры, дерюги, шкурки.

И вдругъ откуда-то нашъ хозяинъ М. Д. Семеновъ-Тяньшанскій:

«Отопленія нѣтъ! — языкъ высунулъ, — ни дровъ, ни угля. Я буду освѣщать домъ водой»!

III

Къ ночи пріѣхали въ Круты.

Въ тѣсный узкоколейный вагонъ неосвѣщенный, тыча фонаремъ въ лицо, солдаты —

провѣрка документовъ!

Мнѣ всегла чего-то страшно, когда я отдаю свой паспортъ — или отъ неувѣренности и путаницы, напуганный путаницей? или эти ружья, противъ которыхъ безоружному всегда неладно? — а тутъ и темь и тѣснота и фонарь.

И еще поразило меня: что-то было отъ стрѣлецкой Москвы.

И этой смертобойной стариной открылся нашъ путь на Москву.

И опять тополя — чего шепчутъ? — черные въ черное въ звѣздахъ.

Попрощался я съ тополями.

И на вокзалъ.

А тамъ — нигдѣ такъ война не претъ, какъ на вокзалахъ! — загромождено, завалено, загажено, зашмыгано а въ буфетѣ все моментально расхватываютъ — война и — революція, прущая войной противъ войны.

Билеты выдали, а въ поѣздъ не попасть.

А надо! — и вкарабкались.

Такъ и на крышѣ вотъ ѣздятъ: надо и полѣзешь!

Изъ «Международнаго» насъ выпроводили сейчасъ же — въ первомъ классѣ передъ уборной въ проходѣ стали.

И такъ до разсвѣта.

Въ Бахмачѣ протиснулись въ вагонъ. И ужъ тутъ въ проходѣ прошелъ толкливый тягучій день и безконечная безсонная ночь до самой Москвы.

Голова отъ боли раскалывалась.

*

Разговоры о войнѣ, Керенскомъ, большевикахъ.

Частятся «хамъ» и «сволочь».

Сначала я о своемъ думаю, но раговоры затѣсняютъ свое.

И одно только свое остается: что вотъ эти «не хамы и не сволочь» — они лежали и день и сейчась лежатъ! Это все военные петербургскіе и съ ними какая-то барышня, знакомая ихъ знакомыхъ, они пресытившись, не знаютъ, ужъ какъ еще и лечь, чтобы совсѣмъ какъ дома, а С. П. дремлетъ на картонкѣ въ проходѣ.

. . . .

— люди совсѣмъ не измѣнились. Такое на свѣтѣ дѣлается, такъ все кругомъ угрожаетъ, имъ угрожаетъ! а они какъ и раньше болтаютъ всякій вздоръ, и никакого чувства у нихъ нѣтъ, что вотъ надвигается что-то страшное, и неизвѣстно, чѣмъ все это кончится.

— — а кончится плохо. И пусть будетъ плохо!

— — легкость — легкость поразительная —

— — имъ надо потыкать носомъ, тогда они, можетъ еще и поймутъ, а такъ — ничего!

И голоса замыкаются — много голосовъ — въ цѣпь.

— — гибнетъ Россія, чувствую —

— — а какая она будеть, не знаю —

— — и не на комъ остановить глаза, люди пропали —

— — кто пропалъ? И развѣ было что — ?

— — республику еще никто не установилъ, а республиканскія войска бѣгутъ —

— — убійства, насилія, грабежи, все есть, все, все. А еще и похуже будетъ —

— — тутъ напрасно однихъ большевиковъ обвиняютъ — впрочемъ всегда кого-нибудь обвиняютъ! — а если подумать: вѣдь жизнь-то одна, мало кому охота помирать. А есть и такіе, въ прежнее время и пошли бы, а теперь —

— — промышленная жизнь остановилась, голодъ. Такая русская свобода не дорога —

— — на власть революціонной демократіи посягнуло не безуміе, а самое трезвое разсужденіе —

— — слушаться-то кого нынче? Никто никого не признаетъ. Коли бы правда была — !

— — война — война — война —

— — и доконаютъ — !

— — да ужъ хуже того, что есть, едва ли было когда —

— — неумѣлость, недуманье —

— — на скачкахъ встрѣчала въ Красномъ —

— — сволочь — хамы —

— — а вѣдь вотъ палкой опять загнали въ окопы —

— — былъ порядокъ да сплылъ. Темныя силы —

— — ну за это еще будетъ: повоюютъ —

— — всю Россію, какъ шаромъ огненнымъ, покатятъ. Много кому придется расплачиваться. Жалко, кто такъ пропадетъ —

— — и никто ни въ чемъ не увѣренъ —

— — въ большевикахъ —

И вдругъ на «большевикахъ» все обрывается и одинъ голосъ жалкій жалующійся тянетъ безконечно:

— — ф — о — р — м — у — л — е — в — и — ч — ъ — —

*

— — высокій берегъ — тамъ на верху деревья
Дорога вся изрыта водой. Ямы отъ водоворота. Гдѣ были огороды, точно граблями проведено. Углы клунь снесены водой. Плетни валяются. Озимое такъ все вымыло, точно и не сѣяли. Овраги — —

«Какъ поступить съ вашей квартирой, — говоритъ Формулевичъ (онъ же и Степпунъ), — передать ли ее частнымъ лицамъ или общественному учрежденію?»

«А гдѣ же мы жить-то будемъ?»

«Воздержаніе отъ ѣды — единственное средство.»

И Степпунъ пропалъ въ оврагѣ.

А я полѣзъ на берегъ.

IV

Въ Москву пріѣхали заполдень.

Путь намъ въ Таганку — взяли извозчика: 14 рублей!

А что если бы кто сказалъ тогда, что въ 20-мъ году осенью за такой же конецъ заплатимъ не 14 рублей, а десять тысячъ!

Было смутное чувство пропада, но не представляли себѣ, до чего можно дойти.

И такъ во всемъ.

Папиросъ купилъ: что раньше стоило 20 штукъ 18 копеекъ — говорятъ «почти даромъ»: 35 копеекъ!

И ясно было одно: это — война, расплата за войну, которую *наперекоръ* продолжали.

И терпѣливъ же человѣкъ —

И не въ большевикахъ тутъ — —если бы не было большевиковъ, ихъ надо было бы выдумать, такъ что ли? —

> чтобы прекратить, наконецъ, эту кровавую желѣзную игру «до побѣднаго конца».

Такое услышалъ я съ первыхъ же московскихъ дней отъ терпѣливѣйшихъ и самыхъ смирныхъ въ Таганкѣ.

— Ты большевикъ! — говорили мнѣ, припоминая мое прошлое.

И это говорили всѣ, кто меня зналъ еще по Москвѣ, и говорилось съ надеждой и сочувствіемъ.

Сначала я разъяснялъ, что это было въ тѣ допотопныя времена, когда —

— Когда еще Владиміръ Ильичъ не отдѣлился , и была единая и недѣлимая соціалъ-демократическая рабочая партія «с. - д.»

Въ Петербургѣ ходилъ разсказъ, какъ въ началѣ революціи, когда было принято причислять всѣхъ къ какой-нибудь партіи и А. Н. Бенуа попалъ въ большевики за участіе въ «Новой Жизни», К. А. Сомовъ будто бы полюбопытствовалъ, кто же онъ-то теперь?

«Ты, Костя, отвѣтилъ Бенуа, меньшевикъ-интернаціоналистъ».

Вспомнивъ Сомова, я уже самостоятельно сталъ подбирать себѣ кличку помудренѣе.

— Не большевикъ я, а націоналистъ-интернаціоналистъ...

Но это никого не убѣдило.

И я остался большевикомъ, что и ясно и вразумительно: съ большевикомъ соединялось тогда «долой войну», а это такъ всѣмъ хотѣлось въ той Таганкѣ, куда я попалъ.

V

Въ Таганкѣ мы остановились у моего брата Виктора.

Я думалъ разспросить его, какъ тамъ на войнѣ съ революцеiй — но его въ Москвѣ не оказалось: гдѣ-то на войнѣ корпѣлъ.

*

Мой братъ Викторъ — изъ запасныхъ прапорщикъ, до войны служилъ въ Банкѣ. За войну два года просидѣлъ въ окопахъ. Въ послѣднее наше свиданiе — прошлой весной — много чего поразсказалъ мнѣ. И изъ его словъ я уже тогда понялъ, что скоро все кончится —

и кончится не просто!

Человѣкъ онъ тихiй, вытишинный въ Банкѣ, — я не разъ слышалъ отъ него и много горькаго о его службѣ, — и, слушая его разсказы о войнѣ, я тогда подумалъ:

«А когда кончится война и онъ вернется въ Банкъ, какъ онъ приметъ свою службу — такъ ли покорно и смолчно какъ раньше?»

И мнѣ было ясно: если прорвало такого терпѣливаго и безобиднаго и, стало быть, войнѣ конецъ, то, кончивъ войну, такiе вотъ жить по-старому не согласятся —

и тамъ, гдѣ они молчали, отвѣтятъ,
и гдѣ гнулись, не смолчатъ,
и гдѣ уступали, пойдутъ противъ.

Нянька Кондевна разсказывала о войнѣ, какъ съ офицерами солдаты расправляются. Про это я уже слышалъ и читалъ.

— Да вѣдь онъ же не настоящiй офицеръ!

— Ну, на это не посмотрятъ! В. М. гориться нечего, онъ съ ними, какъ свой, его не тронутъ.

Да — не тронули!

Съ войны онъ вернулся въ Москву и въ началѣ 20-го года — въ самый тягчайшій годъ страды — уже красноармейцемъ погибъ гдѣ-то «подъ Колчакомъ».

Что-то въ немъ было похожее на Льва Шестова

Не въ философіи — никакой философіи онъ не занимался — онъ зналъ бухгалтерію и еще въ училищѣ (мы вмѣстѣ учились) умѣлъ рѣшить любую задачу, и самыя сложныя вычисленія, не какъ я на бумажкѣ, въ умѣ дѣлалъ.

Нѣтъ, съ Шестовымъ у него было сходство въ житейскомъ.

Въ рѣдкія наши свиданія онъ училъ меня уму-разуму, желая помочь мнѣ въ моей кавардашной жизни, а мнѣ всегда было чего-то чудно: или потому, что совѣты — «умъ-разумъ» и отъ самаго добарго желанія, а имѣли очень мало — я чувствовалъ — житейскаго.

Шестову, занявшему большое мѣсто въ литературѣ, удавалось, но Виктору въ его подчиненномъ положеніи банковскаго служащаго — ничего.

И единственно, что онъ разъ сдѣлалъ, это когда меня въ допотопныя времена гнали по-этапу черезъ Москву: онъ пробрался къ арестантскому вагону и передалъ мнѣ карандашей, перьевъ и ручекъ, добытыхъ, какъ говорилось у насъ въ 19-20-мъ году, «черезъ преступленіе».

«Смѣяться тутъ нечего, — говорилъ, бывало, — хочешь помочь человѣку, а онъ дурака валяетъ: вздумалъ писать дѣловыя письма съ завитушками, а никто вѣдь ничего не понимаетъ! А съ воскресенскимъ дьякономъ я тебѣ очень совѣтую познакомиться».

Дьяконъ, конечно, мнѣ не зачѣмъ, но у него-то , по какимъ-то непонятнымъ мнѣ соображеніямъ житейскимъ,

связывалось съ этимъ знакомствомъ полезное для меня во всѣхъ отношеніяхъ.

И еще : какъ-то онъ написалъ мнѣ — вообще-то онъ не писалъ ничего, кромѣ поздравительныхъ писемъ (святцы зналъ, какъ бухгалтерію!)—«что если будетъ ужъ очень тяжело, чтобы я имѣлъ въ виду, у г о л ъ для меня всегда у него найдется!»

Нянька Кондевна о своемъ разсказывала, какъ ея мужъ Устинъ помиралъ:

> какъ мучился, пріобщить бы! о онъ языкъ высунулъ (колдунъ былъ!); ему на шею росный ладанъ повѣсили, а о н и (черти) его крючьями стащили съ лавки и подъ печку, всѣ кости гремятъ — —и тутъ память у нея отошла.

— Дѣти, безъ хлѣба, три вязанки соломы — одной пришлось гориться. Ну, а теперь слава Богу: корова у помѣщика въ саду пасется, теперь ничего.

Ночью была гроза настоящая: сначала громъ гремѣлъ, потомъ какъ запуститъ дождь — —

*

> — — иду по дорожкѣ въ саду. Вижу черепъ лежитъ. Нагнулся: черепъ. Взялъ его въ руки. Иду и разбираю — и въ траву откидываю кости. И когда разобралъ весь, говорятъ мнѣ:
> «Это вашъ черепъ.»
> «Какъ же такъ, вѣдь я живъ!»
> «Черпъ вашъ.»
> И я подумалъ:
> «Мой черепъ — удивительное дѣло, при жизни! надо сберечь».

И опять я иду, сбираю кости, чтобы черепъ составить — свой.

VI

Въ прежніе годы проѣздомъ въ Петербургъ мы останавливались въ Москвѣ не въ Таганкѣ, а у другого моего брата Сергѣя.

Но вотъ уже нѣсколько лѣтъ у него не было «угла»: онъ попалъ въ большую бѣду и два года ходилъ по Москвѣ безъ должности и «уголъ» у него былъ только для ночлега. Съ войны, когда стали забирать на войну, ему, какъ «негодному», удалось получить мѣсто сначала на Товарной станціи на тяжелую работу, потомъ въ управленіи на Домниковской улицѣ. Тамъ же поблизости въ Сокольникахъ онъ и комнату снималъ.

Прямо со службы пѣшкомъ пришелъ онъ въ Таганку.

Онъ разсказывалъ о Москвѣ — о революціи, о нянькѣ Кондевнѣ, которая въ революцію просила городовова ей показать, «чтобы дать ему хоть подзатыльникъ», — о моемъ ученикѣ-городовомъ, который хотя и не выдерлжалъ экзамена на околодочнаго, зато медали всѣ выслужилъ, какія только полагались для ношенія, и вотъ очутившійся на старсти лѣтъ — лучше бы и медалей не носить! — и о своей службѣ на Домниковской: съ революціи ему повышеніе!

— Теперь уже не то.

Да, не то: онъ одѣтъ лучше — не такъ, какъ тогда! и смотрѣлъ не такъ — прямѣй.

Отъ революціи въ Москвѣ разговоръ перешелъ просто къ Москвѣ — всегдашнее московское.

— Нѣтъ, ты не любишь Москвы, — сказалъ онъ мнѣ, — какая это любовь: жить постокнно въ Петербуогѣ! Вотъ я — я безъ Москвы просто жить не могъбы!

Да — это была настоящая любовь.

Въ началѣ 20-го года — въ самую тягчайшую страду — онъ все-таки рѣшился уѣхать изъ Москвы: поѣхалъ къ своей дочери въ Мелитополь, дорогой захворалъ тифомъ и померъ.

Этотъ братъ мой , ни ка кого изъ насъ не похожій, съ дѣтства писалъ стихи, сначала «пушкинскіе», потомъ «футуристическіе», и никогда ничего не печаталъ; хорошій голосъ былъ у него, одно время учился въ Филармоніи, но актеромъ не сдѣлался; вообще никѣмъ не сдѣлался — просто былъ вездѣ (а онъ долженъ былъ поступить на службу) случайнымъ, «временнымъ», а когда захотѣлъ во-что-бы-то-ни-стало сдѣлаться, какъ всѣ, изъ этого ровно ничего не вышло. Хуже того, совсѣмъ плохо — безъ должности-то ходилъ по Москвѣ два года, вы это понимаете, имѣя «уголъ» только для ночлега! Съ дѣтства гимназистомъ онъ началъ курить и съ папиросой могъ часами сидѣть у окна, мечтая. Онъ пріѣзжалъ ко мнѣ во всѣ мои ссылки: въ Пензу, въ Устьсысольскъ, въ Вологду. А въ пензенскую тюрьму онъ передалъ мнѣ т ы с я ч у штукъ апельсинъ, — по московски!

Да, бэзъ Москвы онъ не могъ жить.

*

Я пошелъ его провожать къ Новоспасскому монастырю — оттуда трамвай въ Сокольники.

Обыкновенно онъ провожалъ меня въ Петербургъ, а на этотъ разъ мнѣ пришлось — въ первый разъ въ жизни онъ получилъ отпускъ на двѣ недѣли и вотъ собрался уѣхать —

«подышать вольнымъ воздухомъ!»

Трамваи ходили рѣдко, пришлось ждать.

Опять заговорили о Москвѣ — революціи и о прошломъ.

И вспомнивъ, должно быть, свои тягчайшіе годы «безъ должности», онъ вспомнилъ и еще что-то и вдругъ точно обрадовался:

— Вѣдь, ты жъ большевикъ! — сказалъ онъ, — какъ же по твоему?

Но я не успѣлъ объяснить: подошелъ трамвай.

Такъ и простились.

Было 8 часовъ — послѣдній трамвай въ Сокольники въ 8-мь — я нарочно медленно пошелъ домой: на Воронцовской можно было у одной старообрядческой «чернички» получить молоко «въ 8 часовъ».

А приди я въ 8, молока мнѣ все-равно не дали бъ — часы по-военному времени подведены на часъ! — потому что грѣхъ: грѣхъ давать, разъ признаю я новые, а не старые «коровьи», по которымъ часамъ корову доятъ, доили и будутъ доить «во вѣки вѣкомъ».

«Большевикъ!»

Я шелъ мимо трактира — это къ Спасской заставѣ — трактиръ третьяго разряда «Гробъ» —

И вдругъ спохватился:

«Такое время — можетъ , никогда не увидимся. Вотъ посидѣли бы въ этомъ «Гробу» и я разъяснилъ бы все это — какой большевикъ — —»

И я еще тише пошелъ.

На Новоспаскомъ часы, какъ стояли.

VII

Въ Москву мы пріѣзжали, какъ на кладбище.

Я ходилъ по старымъ мѣстамъ, о которыхъ только у меня память . И я видѣлъ, какъ съ каждымъ годомъ остается все меньше этихъ крестовъ.

За войну особенно много исчезло, за революцію еще бóльше — и это какъ-то само-собой.

На углу Землянки и Николоямской не было пивной, даже никакого признака не осталось — въ другихъ мѣстахъ съ запрещеніемъ передѣлались въ чайныя.

— Тутъ была пивная Алексѣя Ивановича Горшкова? — спросилъ я.

И никто ничего не знаетъ.

Какой-то догадался:

— Это не тутъ , это у бань: Горшковъ! какъ же, Горшкова знемъ.

А я зналъ твердо, что у бань и пивной-то никакой не было.

Около бань, проходя черезъ мостъ, заглянулъ въ Яузу —

и Яуза какъ будто помелѣла.

А кругомъ пустырь застроенъ, отъ огородовъ и травники не осталось, и стройка заслонила Андроніевъ монастырь —

можетъ, и колокола уже не слышно?

Тоже и городововскую деревянную будку снесли — каменный стоитъ красный домъ.

А вотъ и ворота — —

Обыкновенно мы ходили къ матери въ Сыромятнпки съ братомъ, этотъ разъ и послѣдній — одни.

Сергѣй предупреждалъ, что въ Сыромятникахъ очень

встревожены моимъ пріѣздомъ: съ годами забытое всплыло теперь съ революціей мое прошлое въ видѣ пугалы «большевикъ», который сдѣлалъ революцію, да то ли еще надѣлаетъ! — смутно всѣми чувствовалось, что идетъ и непремѣнно придетъ самая-то настоящая гроза.

Сергѣй смѣялся, будто не велѣно мнѣ и чаю давать, если приду. (Мать жила у родственниковъ и хоть совсѣмъ отдѣльно, но, какъ больная, сама не могла распоряжаться). Я не хотѣлъ вѣрить — отвыкъ за эти годы, но припомнивъ всякія мелочи изъ стародавняго московскаго житья, былъ ко всему готовъ.

Мать узнала меня.

— Вы родились въ февральскую революцію (1848 г.) и вторую дождались февральскую, и еще дождетесь.

И сталъ ей разсказывать всякія небылицы, чтобы развеселить: о китайцахъ (въ Москвѣ о китайцахъ много говорилось еще въ канунъ революціи), о республикахъ, объявлявшихся въ ту пору самымъ неожиданнымъ образомъ, о «сыромятинской» республикѣ —

— Ты всегда вотъ такое скажешь...

Она не знала, вѣрить или не вѣрить, и что правда и что такъ.

Она не могла ужъ ходить, а сидѣла. И за годъ, мнѣ показалось, еще больше сгорбилась и стала совсѣмъ маленькой.

Она вдругъ заволновалась:

отчего такъ долго не несутъ чаю?

Прислуга смущенно что-то отвѣтила:

не то съ самоваромъ не ладно, не то самоваръ не готовъ.

— Не надо мнѣ чаю! — сказалъ я, вспомнивъ: «не велѣно чаю давать!»

Мать ужъ не одна была.

И я сразу понялъ, что появилась гостья изъ-за меня. И у меня пропала всякая выдумка, всякій разговоръ — развеселить. И я замолчалъ.

А она заплакала большими слезами безъ всякихъ словъ.

*

Тяжелая жизнь у нея была, тягчайшая. — Я это еще въ дѣтствѣ понялъ, только поздно ужъ. И потому виню себя: и мой есть камень! Я всегда помню ее съ книгой — первый глазъ мой къ книгѣ отсюда. И мое пристрастіе къ нѣмецкому — съ дѣтства я слышалъ о Германіи и нѣмецкія слова: мать училась въ нѣмецкой школѣ и могла «думать» по-нѣмецки. Ни мои мечты, выражаемыя мною рѣзко, ни мой «большевизмъ», ни моя ссылка ничуть не смутили ее. Поздно ужъ понялъ я — еще въ дѣтствѣ — что мыдѣти, сломили ея жизнь и я, послѣдній, «нежеланный», послѣдней каплей переполнилъ мѣру и вотъ человѣкъ сломился.

Въ 1919 году въ февралѣ она померла. Похоронили ее мои братья. А я и на похороны не могъ пріѣхать — это совпало съ моимъ арестомъ, когда были арестованы Р. В. Ивановъ-Разумникъ, Блокъ, Петровъ-Водкинъ, А. Штейнбэргъ и М. К. Лемке. Выпущенный съ Гороховой, я только могъ написать (не знаю, дошло ли письмо!) — я просилъ положить за меня три поклона:

первый — что ужъ своимъ появленіемъ на свѣтъ переполнилъ я горе;
второй — что поздно понялъ: за свой камень;
и третій — за то, что жизнь дала мнѣ, а лучше жизни ничего нѣтъ на свѣтѣ.

*

Я шелъ по Москвѣ въ Кремль — въ Успенскій соборъ ко всенощной. Шелъ подъ звонъ колоколовъ — вся Москва звонила: завтра Ильинъ день.

Мнѣ было чего-то необыкновенно.

И какъ часто со мною бываетъ, оттого ли, что привыкъ писать вслухъ, я все время мысленно разговаривалъ.

«Революція или чай пить?»

«Чай пить....»

«А вотъ на жъ тебѣ: нѣтъ тебѣ чаю!»

«Революція взяла верхъ!»

Я шелъ по старой дорогѣ — мимо дома Вогау, разгромленнаго въ канунъ революціи (а какой домъ! — однѣ стѣны остались), мимо Ивановскаго монастыря — пристаница хлыстовъ, гдѣ когда-то «радѣлъ» первый московскій сыщикъ Иванъ Осиповъ — Ванька Каинъ, Хитровкой — пристаница московской голытьбы, къ Варварскимъ воротамъ мимо часовни Боголюбской и дальше Варваркой мимо палатъ Романовыхъ съ таинственнымъ проваломъ Зарядья, Старыми рядами — на Красную площадь мимо Лобнаго мѣста къ Спасскимъ воротамъ съ медвѣдями на башнѣ —

VIII

Въ Успенскомъ соборѣ служба началась.

На стихирахъ пѣли «знаменитый » догматикъ — изъ вѣковъ повѣяло: какой строй и строгость! Потомъ Литія. Я ее особенно ждалъ. Столповое пѣніе басами.

Это уже до жути вѣковое, точно всѣ поднялись — и

Петръ и Алексѣй и Іона, и Филиппъ — и вотъ тянутъ съ соборянами на басахъ въ унисонъ:

— Господи помилуй — Господи помилуй —

У ящика за свѣчами стоялъ знакомый, вмѣстѣ учились.

Онъ тоже меня замѣтилъ и улыбнулся: онъ тоже любилъ это и чувствовалъ и строй и строгость.

Послѣ Литіи я вышелъ.

Вышелъ и знакомый — онъ занималъ въ Москвѣ большое мѣсто; въ Кремлѣ былъ какъ-дома.

На Иванѣ Великомъ звонили второй звонъ — вѣка выговаривали на колоколахъ.

— Революцію мы встрѣтили звономъ. Ты звонарято нашего знаешь? — и онъ назвалъ не то Гутманъ, не то Гросманъ, — ну, и хватилъ — во всѣ!

Выходя изъ Собора, я замѣтилъ около двери на стѣнѣ заборную «гнѣздовую» надпись, и теперь, когда возвращались въ Соборъ, я показалъ знакомому.

И вмѣсто отвѣта онъ такую загнулъ «матовую» крѣпь, даже надпись — мнѣ показалось — сама собой стерлась, какъ и не бывало.

Повелъ меня въ алтарь. И хоть я не разъ видѣлъ всякія святыни, опять посмотрѣлъ и все потрогалъ. Въ алтарѣ онъ меня знакомилъ — раньше, когда случалось бывать, никогда.

Онъ точно чему-то обрадовался.

— Большевикъ! — прибавлялъ онъ къ моему имени. — это у насъ большевикъ.

Изъ алтаря повелъ въ предѣлы, гдѣ росчищались фрески.

Тамъ постояли — разсказалъ онъ мнѣ о работахъ и о всякихъ трудностяхъ казенныхъ.

— Если все ладно пойдетъ, работы ужъ не тѣ будутъ. Теперь не то!

Вышли, стали съ народомъ впереди.

— Надо непремѣнно снять съ иконъ ризы. Все равно и такъ сдерутъ. А безъ ризъ даже лучше.

Уже третій звонъ звонили.

Колокола врывались въ «Хвалите» — «Хвалите имя Господне!» —

колокольнымъ «краснымъ» звономъ въ ладъ.

Знакомый тихонько разсказывалъ о старинѣ, о долгой службѣ подъ Успеньевъ день, о столповомъ распѣвѣ — о такой русской старинѣ, которую для гордости же нашей «своимъ русскимъ добромъ» беречь надо, какъ Рублевскія иконы.

— Ты какъ думаешь, много еще чего будетъ?

— Такое! — и онъ рукой махнулъ, — надо ко всему быть готову, — подумалъ, — чего жъ бояться-то? А убьютъ, такъ убьютъ.

Послѣ великаго славословія я простился.

Но домой не пошелъ, а остался на площади: я все смотрѣлъ, вглядывался въ ночь.

Всенощная кончилась — темными стаями расходился народъ.

Только въ Архангельскомъ Соборѣ горѣли огни — неугасимыя лампады.

А тамъ на Иванѣ Великомъ огромный колоколъ — глазатый пустыми окнами.

А тамъ — звѣзды, какъ осеннія.

И вдругъ я понялъ, что все это — —прошло —

эта Россія — —

*

Широка раздольная Русь, родина моя, принявшая много нужды, много страсти, — вспомянуть невозможно! — вижу тебя: оставляешь свѣтъ жизни, въ огнѣ поверженная. Были будни, трудъ и страда, а бывалъ и праздникъ съ долгой всенощной, съ обѣднями, а потомъ съ хороводомъ — громкимъ, съ шумомъ, съ качелями.

Былъ голодъ, было и изобиліе.

Были казни, была и милость.

Былъ застѣнокъ, былъ и подвигъ: въ жертву приносили себя ради счастья народнаго.

Гдѣ нынѣ подвигъ? гдѣ жертва?

Гарь и гикъ —

Было униженіе, была и побѣда.

Безумный ѣздокъ! хочешь за море прыгнуть изъ желтыхъ тумановъ гранитнаго любимаго города, несокрушимаго и крѣпкаго, какъ Петровъ камень, — надъ Невою, какъ вихрь, стоишь, вижу тебя и во снѣ и въ явь.

Братъ мой безумный — несчастливъ часъ! — твоя Россія загибла.

Я кукушкой кукую въ опустѣломъ лѣсу, гдѣ гніетъ палый листъ: Россія моя загибла.

Было лихолѣтье, былъ Разстрига, былъ Воръ, замутила смута русскую землю, развалилась земля, да поднялась, снова стала Русь стройна, какъ ниточка, — поднялись русскіе люди во имя русской земли, спасли тебя: родного брата выгнали, краснозвонный Кремль очистили — не стерпѣлось братнино иновѣрное иго.

Была русская вѣра искони изначальная.
Много знаютъ поволжскіе лѣса до Желѣзныхъ воротъ, много слышали горячихъ молитвъ, какъ за русскую вѣру въ срубахъ сжигали себя.
Гдѣ ты, родная твердыня, «Послѣдняя Русь?»
Я не слышу твоего голоса, нѣтъ, не доноситъ и гари срубной изъ поволжскихъ лѣсовъ.
Или въ мать-пустыню, покорясь судьбѣ, ушли твои вѣрные сыны?
Или нѣтъ больше на Руси — «Послѣдней Руси», безстрашныхъ вольныхъ костровъ?
Былъ на Руси Каинъ, креста на немъ не было, своихъ предавалъ, а и онъ въ проклятомъ грѣхѣ любилъ свою мать — Россію, сложилъ неизбывную пѣсню:
у Троицы у Сергія было подъ Москвою...
на костеръ пойдешь — —

*

Широка раздольная Русь, вижу твой красно-звонный Кремль, твой бѣлоснѣжный, какъ непорочная дѣвичья грудь, златокровельный соборъ Благовѣщенья, а не вѣститъ мнѣ серебряный ясакъ, не звонитъ красный звонъ.
Или заглушаетъ его свистъ несносныхъ пуль, обезпощадившій сердце міра — всей земли?
Одинъ слышу гикъ —
Ты горишь — запылала Русь! — головни летятъ.
А до вѣка было такъ: было увѣрено — стоишь и стоять тебѣ, широкая и раздольная, неколебимою во всей нуждѣ, во всѣхъ страстяхъ.

И покрой твое тѣло короста шелудивая, вѣтеръ сдуетъ съ тебя и коросту шелудивую, вновь свѣтла, еще свѣтлѣй, вновь радостна, еще радостнѣй возстанешь надъ своими лѣсами надъ ковылевой степью, взбульливою.

Такъ пошло, такъ думали, такая крѣпла вѣра въ тебя.

Человѣкоборцы безбожные, на землѣ мечтающіе создать земной рай, жены и мужи, праведные въ своей любви къ человѣчеству, вожди народные, только счастья ему желавшіе, вы, дѣлая свое дѣло, сѣя вражду, вы по кусочкамъ вырывали вѣру, не замѣтили, что съ вѣрою гибла сама русская жизнь.

Нынѣ въ сердцевинѣ подточилась Русь.

Вожди слѣпые, что вы надѣлали?

Кровь, пролитая на братскихъ поляхъ, обезпощадила сердце человѣческое, а вы душу вынули.

И вотъ слышу гикъ —

Русь моя, ты горишь!

Русь моя, ты упала, не поднять тебя, не подымешься!

Русь моя, русская земля, родина, обезпощаженная кровью братскихъ полей, подожжена — горишь!

*

О моя обреченная родина, пошатнулась ты, неколебимая, и твоя царская багряница упала съ твоихъ плечъ.

За какой грѣхъ или за какую смертную вину?
За то ли, что свою клятву сломала, какъ гнилую трость, и потеряла послѣднюю вѣру, или за кровь, пролитую на братскихъ поляхъ, или за кривду — открытое сердце не разъ на-крикъ-кричало на всю Русь: «нѣтъ правды на русской землѣ!» — или за исконное безумное свое молчаніе?
Ты и нынѣ, униженная, когда пинаютъ и глумятся надъ твоей святыней, ты и нынѣ безгласна. Безумное молчаніе твоихъ вѣрныхъ сыновъ вопіетъ къ Богу, какъ смертный грѣхъ.
О, моя поверженная родина, ты руки простираешь — —
Или тебя посѣтилъ гнѣвъ Божій — Богъ послалъ на тебя свой мечъ?
О, моя безсчастная родина, твоя бѣда, твое разореніе, твоя гибель — Божье посѣщеніе. Смирись до послѣдняго конца, прими бѣду — не бѣду, милость Божію, и страсти очистятъ тебя, обѣлятъ твою душу.
О, моя горемычная родина, мать моя — униженная!
Припадаю къ ранамъ твоимъ, къ горящему лбу, къ запекшимся устамъ, къ сердцу, надрывающемуся отъ обиды и горечи, къ глазамъ твоимъ изсѣченнымъ — —
Я не разъ отрекался отъ тебя въ тѣ былые дни, грознымъ словомъ Грознаго въ отчаяніи задохнувшагося сердца моего проклиналъ тебя за крамолу и твою неправду.
« Я не русскій, нѣтъ правды на русской землѣ!»

Но теперь — нѣтъ, я не оставлю тебя и въ грѣхѣ твоемъ, и въ бѣдѣ твоей, вольную и полоненную, свободную и связанную, святую и грѣшную, свѣтлую и темную.

И мнѣ ли оставить тебя, — я русскій, сынъ русскаго, я изъ самыхъ нѣдръ твоихъ.

На твои молчаливыя звѣзды я смотрѣлъ изъ колыбели своей, слушалъ шумъ лѣсовъ твоихъ, тосковалъ съ тобой подъ завываніе снѣжныхъ бурь, я леталъ съ твоей воздушной нечистью по дикимъ горамъ твоимъ , по гоголевскимъ необозримымъ степямъ.

Какъ же мнѣ покинуть тебя?

Я несъ тебѣ драгоцѣнные уборы, чтобы стала ты свѣтлѣе и радостнѣй. Изъ твоихъ же самоцвѣтныхъ камней, изъ жемчуговъ — словъ твоихъ, я низалъ бѣлую рясну на твою нѣжную грудь.

О, родина моя, надѣленная жестокой милостью ради чистоты твоего сердца, поверженная лежишь ты на зеленой муравѣ, вижу тебя, въ гари пожаровъ подъ пулями, и косы твои по землѣ разсыпались.

Я затеплю лампаду моей страдной вѣры, буду долгими ночами трудными слушать твой голосъ, сокровенная Русь моя, твой ропотъ, твой стонъ, твои жалобы.

Ты и поверженная, искупающая грѣхъ, навсегда со мной останешься въ моемъ сердцѣ.

Ты канешь на дно свѣтлая.

О, родина моя обреченная: Богомъ покаранная — Богомъ посѣщенная!

Сотрутъ твое имя, сгинешь, и стояла ты или не было, кто вспомянетъ? Я душу сохраню мою русскую съ вѣрой въ твою страдную правду, сокрою въ сердцѣ своемъ, сокрою память о тебѣ, пока слово мое — рѣчь твоя будутъ жить на трудной крестной землѣ, замолкающей безъ подвига, безъ жертвы, въ безпѣсеньи.

*

Ободранный и нѣмой стою въ пустынѣ, гдѣ была когда-то Россія.

Душа моя запечатана.

Все, что у меня было, все растащили, сорвали одежду съ меня.

Что мнѣ нужно? — Не знаю.

Ничего мнѣ не надо. И жить не зачѣмъ.

Хочу неволи вмѣсто свободы, хочу рабства вмѣсто братства, хочу узь вмѣсто насилія.

Опостылѣла бездѣльность людская, похвальба, залетное пустое слово.

Скорбь моя безпредѣльная.

И время пропало, нѣтъ его, кончилось.

Не гибель страшна, но нельзя умереть человѣку во имя себя самого. Ибо не за что больше умирать, все погибло.

И изъ бездны подымается ангелъ зла — серебряная пятигранная звѣзда надъ его головой съ семью лучами и страшенъ онъ.

«Погибни во имя мое!»

И нѣтъ спасенія свыше.

И тянется замкнутая слѣпая душа, нѣмыми руками тянется въ безпредѣльность — —

И не проклинаю я никого, потому что знаю часъ, знаю предѣлъ, знаю исполненіе сроковъ судьбы.
Ничто не избѣжитъ гибели.
О, если бы избѣжать ея — —!
Каждый самъ въ одиночку несетъ бремя своего проклятія — души своей закрытую чашу, боясь расплескать ее.
Тьма вверху и внизу.
И свилось небо, какъ свитокъ.
И нѣту Бога.
Скрылся Онъ въ свиткѣ со звѣздами и солнцемъ и луною.
Черная бездна разверзлась вверху и внизу.
И дьяволъ потерялъ смыслъ своего бытія, повисъ на осинѣ Іуды.
А всѣ зачѣмъ-то еще живутъ.
И чѣмъ громче кричитъ человѣкъ, тѣмъ страшнѣе ему.
Какъ дѣти они, потерявшія мать.
И не понимаютъ той скорби, которая дана имъ.
Скоро настанетъ послѣдній часъ, скоро пробьетъ —
Безъ четверти двѣнадцать!
Слышите? Нѣтъ ничего, ни Кремля, ни Россіи — ровь и гладь.
Приходи и строй! Приходи, кому охота, и дѣлай свое дѣло, — воздвигай новую Россію на мѣстѣ горѣломъ.
А про старое, про бывалое — забудь.
Ты весь Китежъ изводи сѣтями — пусто озеро, ничего не найти.
Единый конецъ безъ конца.

*

Русскій народъ, что ты сдѣлалъ?

Искалъ свое счастье — —

Одураченный, плюхнулся свиньей въ навозъ.

Повѣрилъ — —

Кому ты повѣрилъ? Ну, пеняй теперь на себя, расплачивайся.

Землю ты свою забылъ колыбельную.

Гдѣ Россія твоя?

Пустое мѣсто.

И гдѣ твоя совѣсть, гдѣ мудрость, гдѣ твой крестъ?

Я гордился, что я русскій, берегъ и лелеялъ имя родины моей, молился «святой Руси».
Теперь — — несу кару, жалокъ, нищъ и нагъ.
Не смѣю глазъ поднять!
«Господи, что я сдѣлалъ!»
И одно утѣшеніе, одна у меня надежда: буду терпѣливо нести бремя дней, очищу сердце и умъ и, если суждено, возстану въ Свѣтлый день.
Русскій народъ, настанетъ Свѣтлый день.
Слышишь храпъ коня?
Безумный ѣздокъ! хочетъ прыгнуть за море изъ желтыхъ тумановъ, — онъ сокрушилъ старую Русь, онъ подыметъ и новую изъ пропада.
Слышу трепетъ крыльевъ надъ головой.
Это новая Русь —
Русскій народъ! настанетъ Свѣтлый день!

*

Сорвусь со скалы темной птицей тяжелой, полечу неподвижно на крыльяхъ, стеклянными глазами буду смотрѣть въ безпредѣльность, въ черный мракъ полечу я, только бы ничего не видѣть.
Поймите, жизнь наша тянется черезъ силу.
Остановитесь же, вымойте руки, — онѣ въ крови, и лицо, — оно въ дыму пороха!
Земля ушла, отодвинулась.
Земля уходитъ — —
Лечу въ запредѣльности.
На трехъ китахъ жила земля. «Былъ безпорядокъ, но и былъ устой: купцы торговали, земледѣльцы обрабатывали землю, солдаты сражались, фабричные работали».
Все перепуталось.
Лечу въ запредѣльность.
Отказаться отъ осязаемой жизни, пуститься въ воздушный міръ, кто это можетъ? И остается упасть червемъ и ползти.
Обгоняю аэропланы —
Стукъ мотора стучитъ въ ушахъ.
Закукурекалъ бы, да головы нѣтъ: давно оттяпана!
Поймите же, быть пришельцемъ въ своей, а не чужой землѣ, это проклятіе.
И это проклятіе — удѣлъ мой.

*

Все разорено, пусто мѣсто, остался столъ — во весь человѣчій ростъ великъ сдѣланъ.
Обнаглѣлые жадно съ гикомъ и гоготомъ рвутъ

на куски пирогъ, который когда-то испекла покойница Русь — прощальный, поминальный пирогъ.

И рвутъ, и глотаютъ, и давятся.

И съ налитыми кровью глазами грызутъ столъ, какъ голодная лошадь ясли. И норовятъ дочиста слопать все до прихода гостей, до будущихъ хозяевъ земли, которые сядутъ на широкую русскую землю.

В-ѣ-ѣ-ѣ-ч-н-а-я п-а-а-м-я-т-ь.

XI

Путь изъ Москвы въ Ессентуки былъ такъ же неувѣренъ, какъ изъ Чернигова въ Москву.

Все растормошено: станціи, вокзальная публика, пассажиры.

Не революція — «революція вездѣ прошла мирно», война, ея хвостъ, выворачивающій нутрь Россіи — развалъ, распадъ, раздробь.

И въ вагонѣ не поймешь, о чемъ больше: о войнѣ или революціи.

Въ Ессентуки пріѣхали съ большимъ опозданіемъ и, оказывается, сейчасъ же надо билеты обратно —

а то ужъ на нѣсколько недѣль всѣ распроданы!

Эта новость, куда важнѣе, чѣмъ Государственное Совѣщаніе и выступленіе Корнилова, и съ этими обратными билетами много связано и хлопотъ и страховъ.

И въ санаторіи, какъ и вездѣ, та же растормошенность и то же «по военному времени».

Революція вылѣзла забастовкой: забастовка «служащаго персонала», а во время Корниловскаго выступленія — въ «шпіонствѣ», когда, пользуясь удобнымъ, сводили счеты.

Прошлымъ лѣтомъ въ санаторіи жилъ В. Г. Короленко. Ни тормошащая война, ни забастовка не изгладили о немъ память. И черезъ годъ много объ этомъ говорилось и почему-то ждали, что и опять пріѣдетъ.

— Вотъ если бы былъ Короленко, этого не допустили бы! — часто слышишь.

На видномъ мѣстѣ висѣло нѣсколько группъ, гдѣ былъ снятъ Короленко и съ нимъ всѣ, кто только успѣлъ записаться у фотографа.

*

Прошлымъ лѣтомъ В. Г. Короленко жилъ въ санатаріи д-ра Зернова, и дорожка къ нему была протоптана: не было, кажется, ни одного изъ пріѣзжихъ, кто бы не прошелся по ней — если и не къ самому Короленкѣ, то по крайней мѣрѣ къ дому такъ посмотрѣть, не пройдетъ ли, не выглянетъ ли?

Тѣ, кто жилъ въ домѣ по сосѣдству съ Короленкой, были счастливѣйшими людьми и столь же счастливыми считались всѣ, кому удавалось въ столовой сидѣть за однимъ столомъ съ Короленкой.

Съ Короленкой могъ познакомиться всякій и очень просто: или просто подойти, когда онъ шелъ къ источникамъ, или черезъ Митропана.

П. А. Митропанъ молодой прапорщикъ, тогда начинающій писатель, лѣчился въ Ессентукахъ: онъ изъ Полтавы, близко зналъ Короленку и Короленко любилъ его: съ удивительно чистыми глазами, кроткій, никакой не военный, но и не расхлябанный, крѣпкій и въ плечахъ и въ словѣ.

Съ Митропаномъ я сейчасъ же познакомился, а съ Короленкой я только здоровался.

Разговаривать такъ, какъ съ Митропаномъ, я не могъ: мало ли когда глупость какую скажешь или чего сморозишь, съ Митропаномъ все сойдетъ, а съ Короленкой такъ неловко.

Мнѣ Короленко представлялся, да такъ оно и на самомъ дѣлѣ было, — очень занятымъ человѣкомъ всякими тяжелыми и трудными дѣлами другихъ людей и не безразлично, а съ сердцемъ — «съ желаніемъ» и съ думой о каждомъ такомъ дѣлѣ.

Такихъ людей мало и рѣдки, и бережно подходишь къ такимъ.

Я не знаю, должно быть, это и всегда такъ было, но начиная съ войны особенно стало рѣзко выступать, а ужъ въ революцію совсѣмъ выперло: самые вопіющіе поступки, самыя позорныя дѣла стали объяснять, а тѣмъ самымъ и успокаиваться, ничего не значущими словами въ родѣ «по тактическимъ соображеніямъ» или «военное время» или «революція» или «съ массовой точки зрѣнія».

И то самое, что безъ «тактическаго соображенія», безъ «военнаго времени», безъ «массовой точки зрѣнія» просто называлось убійствомъ, предательствомъ, подлостью, тутъ сходило за обыкновенное и принятое и нисколько не возмутительное, о чемъ можно было говорить легко и даже съ улыбкой.

И такое съ войной стало входить въ самую сердцевину человѣческаго.

И когда я думалъ о Короленкѣ послѣ встрѣчъ въ столовой, на дорожкѣ и у воды, какъ онъ смотритъ и отзывается, мнѣ ясно представлялось, насколько чуждъ онъ всему этому — и вотъ въ чемъ отличіе его, и потому-то дорожка

къ старому зданію санаторіи протоптана и потому же столько счастливыхъ людей ходитъ въ Ессентукахъ.

Я думаю не потому только, что Короленко «знаменитый» русскій писатель, такъ всѣхъ тянуло хоть пройтись по одной съ нимъ дорожкѣ; конечно, и такіе были, но именно вотъ это — это отличіе: его встрѣча и его проводы «человѣка», съ которымъ сталкивала судьба —

> человѣкъ есть человѣкъ и при всякихъ «соображеніяхъ» и при всякихъ стихійныхъ явленіяхъ и при каждой точкѣ зрѣнія остается человѣкомъ, который можетъ не только ѣсть и пить, но которому больно и мучается.

У насъ случилось несчастье: умерла мать С. П. Телеграмму переслали изъ Петербурга. С. П. была въ отчаяніи. А ѣхать все равно невозможно: и поздно и по такому затору (военное время!) въ недѣлю не доберешься, да и С. П. лежала больная.

Наша сосѣдка учительница Надежда Павловна изъ всѣхъ самая счастливая: она нежданно-негаданно встрѣтила, какъ сама выражалась, «свѣтлую личность» и могла разговаривать, а кромѣ Короленки въ той же санаторіи жилъ Ив. П. Чеховъ, и она, какъ и многіе, смотрѣла на него, какъ на Антона Павловича.

Надежда Павловна, хорошая барышня, разсказала Короленкѣ. И Короленко пришелъ къ намъ.

Конечно, и по его мнѣнію, ѣхать невозможно было.

Обыкновенными словами говорилъ онъ объ этомъ и такъ еще разсказалъ о деревнѣ, какъ онъ когда-то косилъ.

И отъ его словъ стало покойно и мирно.

Въ тяжелыя минуты даже и безъ словъ одинъ взглядъ человѣка можетъ многое сдѣлать для души!

Потомъ когда С. П. оправилась, она часто встрѣчалась съ Короленкой.

Я купилъ краснаго зайца: необыкновенно — красный! а усъ черный, глаза — пуговицы черныя и безъ хвоста. Заяцъ изумительный: «онъ смотрѣлъ и все понималъ». И я не разставался съ этимъ зайцемъ и всѣмъ его показывалъ, теребилъ за усъ и повертывалъ.

— Владимиръ Галактіоновичъ, — не удержался я, — какой чудесный заяцъ, погладьте!

Короленко взялъ моего зайца и совсѣмъ ласково спросилъ меня, смотря еще ласковѣе:

— Вы убѣждены, что неодушевленные предметы чувствуютъ?

Для меня въ ту минуту было это такъ несомнѣнно, я такъ носился съ этимъ зайцемъ, и на такое у меня просто не было слова отвѣтить.

Короленко уѣхалъ въ Полтаву еще въ теплые дни.

А мы, сколько насъ оставалось, въ первые холодные, развозя всякій по своимъ мѣстамъ память о необыкновенномъ человѣкѣ, въ душѣ и словѣ котораго столько тепла и свѣта — покоя и мира.

Потомъ въ Германіи однажды лѣтомъ въ Breitbrunn'ѣ на Ammersee посчастливилось намъ встрѣтить Маргариту Моргенштернъ и познакомиться съ Michael Bauer'омъ, рѣдчайшимъ человѣкомъ — большого свѣта!

Что-то родственное съ Короленкой, только я такъ бы сказалъ: у Короленки не было «слова», а у Бауера такое «слово», которое различаетъ и именуетъ.

У меня нѣтъ т а к о г о с л о в а, я чего-то не знаю и только чувствую, и потому, говоря такъ, я только намекаю, чтобы какъ-то сохранить образъ человѣка.

Встрѣтить *человѣка* — это великое счастье!

И вотъ самыя важныя дѣла — «билеты обратно» и «ванну достать» (по военному времени и революціи это не такъ просто!), и всякія событія — «Государственное совѣщаніе», Корниловъ, пропадали, когда начиналъ кто вспоминать о прошломъ счастливомъ лѣтѣ — о Короленкѣ, который тутъ вотъ жилъ въ старомъ зданіи, а обѣдалъ за вотъ этимъ самымъ столомъ, и всѣ его видѣли и могли съ нимъ разговаривать, а вонъ и карточка, гдѣ сидитъ онъ съ Ив. П. Чеховымъ, а кругомъ всѣ, кто успѣлъ записаться у фотографа.

А фотографъ, восчувствовавъ, кого ему посчастливилось снять, вспоминая, хватался за голову: почему не снялъ больше карточекъ и во всѣхъ видахъ и положеніяхъ — а то нѣтъ ни у источниковъ, ни около ваннъ, ни въ аллеѣ на прогулкѣ.

— Скажите мнѣ, что я дуракъ! — въ отчаяніи говорилъ фотографъ, развѣсивъ и со внѣ и внутри своей фотографіи карточки, гдѣ всѣ мы были съ Короленкой и Ив. П. Чеховымъ.

Въ разсказахъ всякій старался: повторялъ слова и сказанныя Короленкой и не сказанныя Короленкой.

Да, великое счастье встрѣтиться съ человѣкомъ!

И это на всю жизнь.

X

Изъ газетъ:

«Я повторяю, что внутренніе враги именно капиталисты, большіе и малые, и разные торговцы.»

«Я предлагаю съѣзду на мѣстахъ произвести баллоти-

ровку и каждый, на кого падетъ жребій, долженъ убить одного буржуя.»

«Я готовъ даже сейчасъ убить одного буржуя!»

*

На состоявшемся митингѣ было рѣшено: убить трехъ служащихъ, а остальныхъ избить хорошенько и прогнать сквозь строй.

*

Минаева нарядили въ женскую юбку, на голову надѣли мѣшокъ, а въ руки дали лопату съ надписью: «За тридцать серебренниковъ продалъ свободу!» Въ такомъ видѣ до поздней ночи водили несчастнаго по селу, заставляя кричать:

«Я членъ продовольственной управы за тридцать серебренниковъ продалъ Временное правительство!»

*

Монахъ Иннокентій поселился въ саду Липовецкаго монастыря, садъ окрестилъ «раемъ», а себя Христомъ: «онъ на бѣломъ конѣ поѣдетъ на фронтъ и прекратить войну!»

XI

Извините, пожалуйста, вы господинъ Короленко?

— Нѣ-ѣтъ, какой я Короленко!

— А мнѣ сказали, тутъ Короленко!

— Бы-ылъ, только это въ прошломъ году.

— Экая досада... А можетъ, въ Пятигорскѣ?

Я посовѣтовалъ написать въ Полтаву, если какое дѣло: Короленко отвѣтитъ.

Такъ и разговорились: оказалось, служащій отъ Перлова, пріѣхалъ лѣчиться — сколько лѣтъ собирался и вотъ съ революціей выбрался.

Помню, въ Пензѣ былъ одинъ, днемъ переряживался онъ китайцемъ, и китайцемъ стоялъ въ магазинѣ для привлеченія публики и ни слова по-русски, и заговоритъ только послѣ службы! какъ одѣнется опять въ «гражданское» платье.

Я обрадовался встрѣчѣ — что-то мнѣ напомнило того пензенскаго китайца! — а съ такимъ разговаривать не соскучишься, онъ свое дѣло знаетъ, и сталъ я разспрашивать, какіе бываютъ чаи и въ чемъ какая разница и всякія названія, что такое «тюльпанъ» и что такое «роза», и почему «любительскій», почему обертки разныя, — разноцвѣтныя, и что все это значитъ?

Объясняя мнѣ всякіе чаи — сорта и названія (все дѣло въ названіи!) онъ нѣтъ-нѣтъ да чего-то спохватится.

— Тутъ одно дѣльце, — не вытерпѣлъ, наконецъ, и вынулъ изъ кармана лоскутокъ бумаги, — пріятель въ Кисловодскѣ, т. е. не то что пріятель, хотѣлъ помочь человѣку черезъ господина Короленка, и такой вышелъ ералашъ. Можно вамъ оставить для просмотра? Человѣкъ-то хорошій, а сомнѣвается. Что-нибудь исправить или какъ думаете?

*

«Я нижеподписавшійся московскій купецъ варшавской фирмы «Свѣтъ» по взаимному согласію

съ Маріей Степановной рѣшили жить граждан·скимъ бракомъ, а потому я обязуюсь выполнить слѣдующія условія:

1. Во время пребыванія на курортѣ въ Ессентукахъ выдать ей за мѣсяцъ съ 10-го августа по 10 -ое сентября пятьсотъ (500) рублей.

2. Когда переѣдемъ въ Москву, я буду выдавать, пока не будемъ жить вмѣстѣ, по 500 руб. въ мѣсяцъ.

3. Въ обезпеченіе ея дальнѣйшаго существованія я обязуюсь за каждый прожитый годъ со мной выдавать ей или вносить на ея имя въ Государственный или Частный Банкъ по 5.000 руб. (пять тысячъ рублей), начиная считать первымъ годомъ съ 1 августа 1917 г. по 1 авг. 1918 годъ, если между нами не произойдетъ разногласія.

4. Если Марія Степановна пожелаетъ взять своихъ двухъ дочерей, я согласенъ и обязуюсь дать имъ полное содержаніе и воспитаніе, а также обезпечить въ будущемъ.

5. Въ случаѣ моей смерти я завѣщаю ей, какъ гражданской женѣ, ту часть моего состоянія, какая полагается по закону гражданской женѣ.

6. Марья Степановна со своей стороны обязуется быть любящей и вѣрной гражданской женой, а кромѣ того обѣщаетъ она, пока не будемъ жить вмѣстѣ приходить ко мнѣ каждый день.

Подпись.

Я нижеподписавшаяся на всѣ вышеуказанныя условія согласна и обязуюсь все исполнять, какъ честная гражданская жена».

XII

Проходилъ медвѣдчикъ съ медвѣдемъ — медвѣдь Шурка — съ медвѣдемъ и съ обезьяной.

Пѣлъ медвѣдчикъ медвѣжью пѣсню — пѣсней и начиналось.

А медвѣдь показывалъ —

как кисловодскія кухарки ходятъ,

какъ барышни танцуютъ.

Это я все съ балкона видѣлъ въ сосѣднемъ саду.

*

Иду ужинать въ столовую: медвѣдчикъ вижу — медвѣдчикъ съ медвѣдемъ и обезьянка — обезьянка идетъ — старается по-медвѣжьи — —

А сзади ребятишки:

и страшно и любопытчо,

и хочется поближе и медвѣдь съѣсть!

Я пошелъ съ ребятишками сзади.

Впереди медвѣдчикъ съ медвѣдемъ, за медвѣдемъ по-медвѣжьи обезьянка, а за обезьянкой насъ ватага:

и страшно и тянетъ!

*

Не видно ни Бештау, ни Верблюда, ни Быка. Я больше всѣхъ люблю Верблюда. Дождь.

Въ Пятигорскъ за билетами.

Очередь — хвостъ или, какъ въ Германіи, die Schlange — змѣй.

Прошлись по дорожкамъ Лермонтова, заглянули во всѣ уголки, гдѣ жилъ онъ, и туда, гдѣ была дуэль.

И опять въ хвостъ.

Я думалъ о Лермонтовѣ — о лермонтовской «прозѣ»: игольчатой, свѣтящейся демонской иглой.

Подходитъ дѣвочка-нянька и съ ней двѣ совсѣмъ маленькія:

— Запишите!

— А вамъ куда ѣхать?

— Никуда.

— Зачѣмъ же васъ записывать?

— Запишите!

— Да куда же?

— На матерію.

И только я ей сочувствую — смѣются! —

— Керенскій убитъ, Корниловъ диктаторъ.

— Диктаторъ Калединъ, а Корниловъ объявленъ измѣнникомъ: а за то, что солдатамъ обѣщалъ въ недѣлю кончить войну, а отдалъ Ригу.

Сегодня Ивана Постнаго— «Плясъ Иродіады!»

— Если въ этотъ ден ьпоститься, голова никогда не будетъ болѣть.

— Въ Бологовѣ путь закрытъ.

— Посредники: Алексѣевъ и Милюковъ.

Ну слава Богу, билеты въ Петербургъ есть.

И я въ тысячный разъ говорю себѣ: «никогда никуда!»

*

Къ вечеру прояснилось — билеты тутъ! — ожилъ Быкъ и Верблюдъ. Я и Быка люблю! А тамъ въ туманѣ — дымящійся демонскій «мохнатый» Машукъ.

Я шелъ по аллеѣ къ лавкамъ купить табаку.

Меня остановила маленькая дѣвочка.

— Стань — сказала она, — я тебя сниму.

Я посмотрѣлъ въ ея лукавыя глазенки.

— Ну, снимай! — говорю.

Она вынула коробочку, пальчикомъ тамъ повела, какъ фотографъ дѣлаетъ.

— Готово! — и подаетъ виноградный листокъ: — вотъ ваша карточка!

Навстрѣчу шли солдаты: впереди въ штатскомъ — вели офицера.

Видно: очень взволнованъ, молодой еще; загаръ въ лицо бросился.

— Смотрите, солдаты! А я думала ихъ уже нѣтъ! — крикнула вдогонку какая-то простая женщина.

А я вспомнилъ изъ газеты — Церетелли:

«Несознательные элементы арміи!»

И пошелъ дальше за солдатами — билетъ тутъ и виноградный листикъ!

Точное есть по-нѣмецки слово «verhaften» — «задержать» — что-то близкое съ нашимъ «схватить».

И мнѣ неспокойно стало — чего-то неловко.

«Революція — контрреволюція, verhaften — схватить...»

XIII

Въ горячіе дни — а теперь опять все горитъ — я чувствую, идетъ со свѣжимъ утромъ, съ туманами, а ночами вся-то звѣздная —

осень.

И въ мое окно —

кремнистый путь блеститъ —

*

Сегодня во время ужина обходилъ столы какой-то офицеръ изъ санаторіи, собиралъ на больного учителя. И этотъ учитель съ нимъ же — докторское свидѣтельство показывалъ: куда офицеръ, туда и учитель.

Горло завязано и такъ смотритъ — ну, такъ какъ-то — и до чего такъ эта бѣда унижаетъ!

Смотрѣть больно.

Такъ вотъ оно что это значитъ? —

кремнистый путь блеститъ —

*

— — мы живемъ въ Зимнемъ дворцѣ, тамъ же и Ивановъ-Разумникъ. У меня въ комнатѣ замѣчательный коверъ — красный пушистый бобрикъ. Карташевъ читаетъ свою драму о кофеѣ — «карташовскій кофе»: первый кофе — настоящій, а когда воды подольютъ — «карташовскій». Бывшіе царскіе лакеи обносятъ кофеемъ. Отхлебнулъ я — кофе карташовскій! Карташовъ читаетъ драму. Въ концѣ перваго акта появляются вѣдьмы. И на самомъ дѣлѣ онѣ явились, я это почувствовалъ. А Карташовъ сталъ раздѣваться: на немъ холщевые штаны, онъ ихъ снялъ черезъ голову. И пропалъ. Пропалъ и Ивановъ-Разумникъ. И хозяинъ Александръ Федоровичъ Керенскій, который зашелъ было пьесу послушать. И я остался одинъ. И вотъ онѣ стали заходить кругомъ — я не шевелился, какъ скованъ, ждалъ — и одна за другой стали онѣ вокругъ. Я видѣлъ только лица — какія, ой, какія — безпощадныя! Если бы я протянулъ руку, мо-

рука отсохла бы. Онѣ смотрѣли — буравчики буравили изъ стеклянныхъ глазъ. А сила ихъ была неподъемная.

Какія слова? какое чувство — — ну что вы? что вы хотите?

. . . .

И я открылъ глаза — луна! — въ окно —
кремнистый путь блеститъ —

XIV

И опять дорога — Ессентуки-Москва-Петербургъ — и еще неувѣреннѣе и суматошнѣе.

Поѣздъ по-долгу стоитъ въ пути — «топлива нѣтъ». А передъ нами было крушеніе: товарный сошелъ съ рельсовъ.

— По инерціи, — объяснилъ кондукторъ и чего-то задумался, — нѣтъ, Василій Ивановичъ, этотъ номеръ не пройдетъ.

И долго повторялъ, добродушно укорялъ Василія Ивановича.

— Не Василій Ивановичъ, — поправилъ какой-то, — а Александръ Федоровичъ!

— Александръ Федоровичъ, — обрадовался кондукторъ, — Александръ Федоровичъ *Керенскій*.

По дорогѣ вдогонку, какъ шлепки, солдаты:

— Бей буржуевъ!

А въ вагонѣ путаница: кто съ плацкартой, кто безъ, не разобрать.

Одну ночь я проспалъ на верху «схвостившись» (по современному: «сконтактовавшись») съ сосѣдомъ, а другую вотъ сижу на тычкѣ.

*

— — личное оскорбленіе, — тянулъ какой-то жуликъ, — совѣсть не позволяетъ —

— — стыдно и грѣхъ, за рукавъ тащутъ: не поступишь въ союзъ, тебя мѣшкомъ закроютъ —

— — готовы шкуру содрать —

— — а у меня кружку украли: поставилъ грѣть у источника, хватился, нѣтъ, украли —

— — рѣчами Керенскаго кричитъ безсиліе —

— — накачнется на шею, въ острогъ попадешь —

— — солдаты шли изъ-подъ палки, а когда палку взяли, они и разбѣжались —

— — не всѣ —

— — Маша безъ души осталась изъ-за штиблетовъ: украли! —

— — хоть въ бутылку полѣзай, дѣваться некуда —

— — озаровали... свобода! свобода для пьянства, лежи на боку! —

— — я мальчикъ молоденькій, пятьдесятъ лѣтъ у хозяина служилъ, безъ Бога не до порога —

— — отъ одеколону дурманъ на полчаса —

— — ноги у него обвязаны въ родѣ шпіона, — солдатскій депутатъ. —

— — нѣтъ, это хорошая барыня —

— — когда лучше было: при царѣ или теперь? —

— — и тогда и теперь —

— — нѣтъ не такъ —

— — нѣтъ теперь лучше: я возму у тебя мѣшокъ и мнѣ ничего не сдѣлаютъ, а при царѣ въ судъ —

— — русское царство затѣснится, русское слово уйдетъ подспудъ, русскимъ людямъ одно останется — молитва —

— — я больше всего люблю танцы: какъ они красятъ самого обыкновеннаго человѣка. А оттого, что въ движенiи полетъ: хоть чуточку отъ земли —

— — это какъ бы умеръ любимый человѣкъ. И вотъ эти дни прожилъ я, какъ у постели умирающаго. Сердце мое было расколено. А сегодня я понялъ и принялъ судьбу, какъ очищающую кару —

— — да, или умереть или принять —

— — а она совсѣмъ съ толку сбилась. Говоритъ ужъ сама съ собой, и не съ собой, а съ тряпками. «Съ людьми, говоритъ, уже не могу, такъ съ тряпочками!» —

— — вотъ вамъ безкровная революцiя —

— — или умереть или принять —

— — на трехъ китахъ жила земля. Былъ безпоря-докъ, но и былъ устой: купцы торговали, земледѣльцы обрабатывали землю, солдаты сражались, фабричные работали. Все перепуталось —

— — прiѣхалъ батюшка молебенъ служить. Всегда служилъ на Троицу. А тутъ встрѣтили неодобрительно. А двое парней — бѣглые съ войны — взяли да и выкололи глаза Николѣ: «Этакую икону, — говорятъ, — самимъ можно написать, это дѣло человѣческихъ рукъ!» Была засуха да вдругъ ливень и съ градомъ. Возвращались парни изъ деревни, перекувырнуло лодку, они и утонули. И ѣхала съ ними дѣвчонка, ту волной къ ракитамъ прибило, одна она и уцѣлѣла: нашли полумертвую — оглохла и ослѣпла —

— — а дѣвчонку-то за что —

— — —

Я заглянулъ въ окно — Москва! — а ничего не видать: дождь.

XV

На вокзалѣ въ Петербургѣ встрѣтилъ насъ Иванъ Сергѣевичъ и Любовь Исааковна: И. С. по обыкновенію молча, а Любовь Исааковна и удивленно (какъ могли мы назадъ пріѣхать, когда всѣ уѣзжаютъ и она сама уже на отъѣздѣ!) и встревоженно:

— Курица 5 рублей!

«Курица 5 рублей!» — дѣло не въ курицѣ, и въ мирное-то время когда она стоила 75 копеекъ, когда мы ее покупали! дѣло въ рубляхъ.

И не въ пяти рубляхъ, а въ ста пятидесяти!

Дома насъ ожидало много непріятныхъ и неожиданнаго и все съ рублями: сейчасъ же явился старшій дворникъ — платить за квартиру, но главное-то эти полтораста...

> Передъ отъѣздомъ загодя я далъ ихъ знакомому, чтобы тотъ внесъ въ срокъ, а знакомый-то, и такой всегда точный, а тутъ за дѣлами, должно быть, забылъ и уѣхалъ, и вотъ надо опять платить — требуютъ! — и нечѣмъ.

Посмотрѣлъ я на свою комнату: рыжіе тараканы.

Безъ насъ наползли: плохо! Это нищета ползетъ.

А все-таки дома, это я такъ почувствовалъ въ первый же день.

Тяжело тамъ — хотѣлъ сказать «по заграницамъ!» — тяжело по «градамъ и весямъ», гдѣ всѣмъ есть до тебя дѣло и никому до тебя.

Осенній ясный день.

И только жуткій вихрь носится надъ Петербургомъ.

XVI

Который день я съ утра выхожу изъ дому —
надо достать этихъ денегъ!

Не знаю, что и дѣлается на свѣтѣ, не успѣваю прочитать газету.

Заглянулъ случайно: «Демократическое совѣщаніе» — и запомнилось изъ словъ:

«Да здравствуетъ безсмертная революція!»

А надо достать денегъ — 150 рублей! И еще объясниться, что нѣтъ такихъ денегъ, но что непремѣнно заплачу.

И всѣ «бѣгутъ» изъ Петербурга: кого пугаетъ революція («что еще будетъ!»), кого голодъ (съ продовольственнымъ вопросомъ не справятся!»), кого нѣмцы («взяли Ригу, возьмутъ и Петербургъ!»). а съ нѣмцами — аэропланы! И не знаю ужъ, кого просить.

— Да здравствуетъ «безсмертная» революція!

XVII

Сегодня въ первый разъ съ нашего пріѣзда затопилъ я печку.

Иванъ Сергѣевичъ изъ дому получилъ посылку: масло, медъ и еще что-то, не помню.

Когда я стоялъ у плиты, — пасмурный день, моросить съ утра, — я почувствовалъ вдругъ, какъ мнѣ — какъ черезъ голову мою черное что-то прошло, точно черное облако.

Сразу же схватился — это было глубочайшее чувство.

И прошло — и только осталось: чего-то мнѣ тоскливо.

И я подумалъ, это отъ всѣхъ дней бѣготни, объясненій,

просьбъ, отказа, отъ этихъ дней, когда съ утра выходилъ изъ дому, чтобы просить.

Вернулась домой С. П. — она тоже всѣ эти дни ходила — сѣли обѣдать.

«Иванъ Сергѣевичъ посылку получилъ!» — а мнѣ все равно.

Пасмурный вечеръ. Ко всенощной зазвонили. Завтра воскресенье.

Хотѣли къ Федору Ивановичу пройти — это Ф. И. Щеколдинъ насъ выручилъ: неловко намъ было обращаться къ нему, вѣдь онъ и тѣ 150 предъ нашимъ отъѣздомъ далъ! — Ф. И. на Кронверкскомъ, гдѣ Горькій. Боюсь: сыро, дождикъ, темно.

И не пошли.

Попили чаю одни.

Позаниматься бы, а ничего не дѣлается. И на мѣстѣ не сидится.

И сталъ я оклеивать стѣну «серебряной» бумагой — изъ подъ шеколада мнѣ собирали, много у меня ея было.

И такъ до глубокой ночи — и спать не хочется.

Легъ все-таки —

XVIII

— —распростертый крестомъ, брошенъ лежалъ я на великомъ полѣ во тьмѣ кромѣшной, на родной землѣ. Тѣло мое было огромадно, грузно, неподвижно; руки мои — какъ отъ Москвы до Петербурга.

Скованный тяжестью своего поверженнаго тѣла, я лежалъ колодой, одинъ, покинутъ, въ чистомъ,

полѣ на русской землѣ; и были ноги мои, какъ отъ гремучей Онеги до тихаго Дона.

Огненная повязка туго — вѣнчикъ подорожный — «Святый Боже» — туго крѣпкимъ обручемъ повивалъ мой лобъ; и сквозь кости пламя жигучимъ языкомъ жгло мнѣ мозгъ.

И вотъ стужа невыносимая, холодъ невозможный — въ звѣздахъ въ крещенскія ночи, помню, ударитъ, бывало, морозъ, — такой вотъ морозъ, но беззвѣздный, во тьмѣ кромѣшной заледенилъ мнѣ сердце. И я весь такъ и затрясся, такъ всѣмъ своимъ скованнымъ, своимъ брошеннымъ тѣломъ, немилосердно — увв-в! — стучу зубами.

И слышу изъ тьмы безпріютной холодной ночи старый дѣдовъ голосъ:

«Собери-ка, сынокъ, кости матери нашей, безсчастной Россіи!»

А я трясусь въ злой стужѣ, а жгучій огненный вѣнчикъ жжетъ мнѣ мозгъ, я — кость отъ кости, плоть отъ плоти матери нашей, безсчастной Руси.

И принимаюсь я загребать кости со всего великаго поля въ одну груду. А ихъ такъ много, костей разныхъ, гору нагоришь.

Загребаю я кости, спѣшу, и знаю, одному никакъ невозможно, и также знаю, что надо, а не соберу — все пропало, знаю, собрать надо все вмѣстѣ и вспрыснуть живой водой, и тогда оживутъ кости и снова станетъ, подымется моя безсчастная, покаранная Русь.

«Собирай, сынокъ, потрудись!» — слышу опять дѣдовъ старый голосъ.

Подняться бы и все бы, кажется, справилъ, да

силъ больше нѣтъ, — изъ послѣднихъ, Господи, крестомъ распростертъ лежу въ чистомъ полѣ и нѣтъ силъ подняться.
Загребаю, спѣшу, загребаю — кость къ кости, а конца не вижу. Совсѣмъ обезсилѣлъ, не могу ужъ.
Пластомъ лежу неподвижно.

На минуту стужа отпустила меня и только тутъ горитъ.

Открылъ я глаза, смотрю — —
А на холмикѣ — такъ церковка, а ко мнѣ холмикъ — старикъ, вижу, старый, волоса подъ вѣтромъ растрепались, оборванъ весь, а глаза запали, горемычные.
Да это Никола нашъ, Никола Милостивый! — узнаю я, — вышелъ, стоитъ горемычный надъ поверженной безсчастной Русью.
Тутъ какіе-то парни лѣзутъ на холмикъ, гогочутъ.
И одинъ говоритъ другому:
«Павелъ, дай ему въ морду!»
И я вижу — парни лѣзутъ, гогочутъ — а онъ горемычно стоитъ, какъ не видитъ, и вдругъ выпрямился весь и глаза загорѣлись гнѣвомъ.
А Павелъ — — Павелъ поплевалъ на кулакъ, пригнулся — —

*

«Жажду! Жажду!»
Я сползъ съ кровати, поставилъ на спиртовку чайникъ — воды себѣ скипячу — утолить мою лютую жажду.

И едва дождался. Казалось, часы прошли, пока не закипѣло.

Стаканъ за стаканомъ — глотаю большими глотками — огненные куски!

Неутолима жажда моя.

«Жажду! Жажду!»

Доползъ я до умывальника, открылъ кранъ, полилъ въ пригоршню холодной воды — и вода въ моихъ рукахъ обратилась въ пламя.

Пламенемъ я умылся.

«Жажду! Жажду!»

Слышу, говорятъ:

— Уксусомъ натереть надо.

А я, валясь на кровать, какъ послѣдней милости прошу:

— Уксусу бы мнѣ выпить!

И тутъ опять стужа напала на меня и затрясла немилосердно, — и я трясусь всѣмъ моимъ измученнымъ тѣломъ, немилосердно — ув-в-в! — стучу зубами.

*

Я вскочилъ съ кровати — спиртовка пылала: отверстіе, куда вливаютъ спиртъ, забыли закрыть, и вотъ съ двухъ концовъ пылало.

И не духомъ, руками я погасилъ пламя.

Мои руки, какъ пламя.

Кричу:

— Не берите руками горящіе предметы, горячо , обожжетесь!

Но моего голоса не слышно.

И въ смертной тоскѣ я подбираюсь весь, свернулся въ комокъ: стужа хлещетъ меня, а голова, какъ спиртовка, подожжена съ концовъ, пылаетъ, — вотъ разорветъ.

— Пріѣхалъ изъ Москвы скопецъ Иванъ Дмитріевичъ, — говоритъ сосѣдъ матросъ Микитовъ, — на Москвѣ украли царь-колоколъ!

«Украли царь-колоколъ? — повторяю и обида жжетъ, — «когда зазвонитъ царь-колоколъ, возстанутъ живые и мертвые!» Вотъ тебѣ и возстанутъ! А вотъ возьметъ дворникъ метлу хорошую и смететъ всѣхъ воровъ съ русской земли, какъ сохлые листья, смететъ въ помойку.»

И опять кричу:

— Не берите руками горящіе предметы, горячо, обожжетесь!

Но моего голоса не слышно.

А Ивановъ-Разумникъ съ пудовымъ портфелемъ, какъ бѣсноватый изъ Симанова монастыря.

— Это вихрь! на Руси крутитъ огненный вихрь. Въ вихрѣ соръ, въ вихрѣ пыль, въ вихрѣ смрадъ. Вихрь несетъ весеннія сѣмена. Вихрь на Западъ летитъ. Старый Западъ закрутитъ, завьетъ нашъ скиѳскій вихрь. Перевернется весь міръ. И у кого есть крылья — —

— Ужъ народъ-то больно дикъ, ничего не подѣлаешь! — горюетъ Шишковъ, простуженный.

Тутъ и Замятинъ, вижу, въ сѣренькомъ, только что изъ Англіи вернулся, еще на человѣка похожъ, осторожно прислушивается.

И Пришвинъ съ электрическимъ самоваромъ въ рукахъ.

— Михаилъ Михайловичъ, — прошу, — дайте вашъ электрическій самоваръ на одну ночь, спиртъ у насъ кончился.

— Я вамъ молока пришлю. Два рубля бутылка.

А самъ крѣпко держитъ самоваръ, не выпуститъ.

— У Ивана Алексѣевича халтура поправляется, —

смѣется Микитовъ, — продалъ два вагона кофею, а кофій — изъ голубинаго помета.

«Да, какъ сохлые листья въ помойку! — повторяю я, и обида душитъ меня, — погубили Россію! Послѣднія головни горятъ. И осталось русское сердце — сапогомъ его! — и слово — да чорта съ этимъ словомъ, пиши и говори по-тарабарски! Кара? Нѣтъ, это судъ Божій. Царь-колоколъ воры украли!»

И опять кричу:

— Не берите руками горящіе предметы, горячо, обожжетесь!

Но моего голоса не слышно: мое слово воры украли!

И я лежу, свернувшись въ горящій комокъ — послѣдняя головня.

А изъ сосѣдней комнаты слышу: это «дебренскій старецъ» Иванъ Александровичъ о Россіи — о чемъ же еще? — о Россіи, вѣдь о ней всѣ думы.

— У Россіи душу вынули.

И слова его, какъ гвозди.

И вдругъ я увидѣлъ — и мнѣ въ огнѣ моемъ стало покойнѣй, — въ ногахъ у меня по стѣнѣ длинная повисла змѣя:

голова змѣева, а ротъ человѣчій!

внимательно такъ смотритъ, надолго повисла, крѣпко.

И я понялъ: — что стражъ мой, и будетъ со мной неизмѣнно.

И за шкапомъ показались двѣ морды:

уши ослинныя, борода козья, а глаза умные песьи — кланяются.

И изъ за желѣзной печки мелькаетъ и вьется — —

И я понялъ: мнѣ не подняться.

*

Вижу нашу тѣсную прихожую——
Входитъ Микитовъ, огромный, черный, въ черной балтiйской матроскѣ:
«Я три ночи не спалъ, — мѣста себя не нахожу такъ и побѣжалъ бы. И бѣжалъ бы, пока хватитъ духу. Нѣтъ, Россiя не можетъ погибнуть! Земля дремучая — по кустамъ, по ельнику прячется дремучая сила, молчитъ. Только ея имени не знаю. И какъ назвать? Иду я по Невскому, руки горятъ——»
«Иванъ Сергѣевичъ, — говорю, посмотрите: прогниваетъ отъ неправды человѣческое сердце. Кровь — три года ножъ и пуля!— кровь и грязь — все хваткомъ, все нахрапомъ, «не обманешь, не купишь!» и нѣтъ милостыни мира, только для себя, — озвѣрѣло наше сердце. Безсовѣстье душитъ Россiю. Гнѣвомъ дремучаго сердца обличите вы эту неправду, эту ложь, кровавую мару».
А онъ ничего. Вышелъ и дверь прихлопнулъ.
«И вижу, опять входитъ, несетъ кожаную подушку въ бѣлой наволочкѣ и въ уголъ ее, потомъ принесъ другую, а потомъ третью и все въ уголъ, одну на другую.
Бѣлыя подушки поднимаются въ углу, какъ бѣлая крышка гроба.
Бѣлую крышку гроба вижу въ углу нашей тѣсной прихожей.

*

Лежу въ огнѣ, горю — стужа больше не трясетъ — стрѣляетъ въ ухо, горю.

Горю въ огнѣ. Кашель душитъ, — рветъ глотку. Душитъ ржавь.

И не могу остановиться, не могу остановить мысли: онѣ — какъ вихрь.

И я выговариваю всѣ мои мысли: боюсь, разорветъ.

Я говорю, говорю, говорю и не знаю, чего говорю, я выговариваю мысли: онѣ какъ вихрь. Стой! передохнулъ и опять: не то разорветъ, — говорю, говорю, говорю.

Я жду чего-то.

Приходятъ въ домъ, слышу, стучатъ дверью, но разговора не слышу, какъ онѣмѣли. Все затаилось, ждутъ чего-то.

За стѣной, въ сосѣдней квартирѣ, ребенокъ плачетъ, — помню, по веснѣ появился на свѣтъ, — плачетъ и плачетъ. Потомъ дѣвчонка-нянька, укачивая, поетъ пѣсню. И мнѣ чего-то жалко, жду чего-то и чей-то голосъ зоветъ:

дамъ тебѣ я на дорогу —

Лежу въ огнѣ, горю. Стрѣляетъ въ ухо. Душитъ ржавь. Горю.

Мой неизмѣнный стражъ — змѣя.

Змѣя по стѣнѣ въ ногахъ.

Сѣдой дымъ ползетъ. За дымомъ комнату не узнаю. Просторная и высокая, не та. Сѣдой дымъ ползетъ по потолку.

«Просто, — говорю, — бѣлая рубаха, кипарисовый сольвычегодскій крестъ, досчатый гробъ».

И чей-то голосъ зоветъ:

дамъ тебѣ я на дорогу —

И чего-то жду и жалко мнѣ.

Сторожитъ змѣя.—

горько раскрыта пасть.

И ходятъ по угламъ въ дыму, прячутся, крыятъ —

одинъ, какъ на ходуляхъ, маленькій, пузатый, торчитъ пупокъ.

И опять говорю, говорю, говорю — мои мысли, какъ вихрь: разорветъ — говорю, говорю, говорю.

*

Поздно вечеромъ пріѣхалъ докторъ.

Первый разъ вижу. (Афонскій — онъ меня знаетъ — пріѣдетъ только завтра). А этого позвали, я понимаю: очень со мной безпокойно.

Докторъ слушалъ, нырялъ, выстукивалъ.

— Крупозное воспаленіе. Лѣвое легкое — на почвѣ алкоголизма.

Тутъ я какъ очнулся: всю вижу, комнату, только сквозь дымъ.

— Я не пью!

— На почвѣ алкоголизма.

— — —

Закрылъ крѣпко глаза и покорился.

А въ домѣ совсѣмъ затихло, и по сосѣдству тихо.

*

Лежу подъ огненнымъ покровомъ.

— Матерь Божія, спаси, спаси! — слышу неотступно и жарко.

А я покорился.

И представляю себѣ, — «на почвѣ алгоколизма»! — ночь, я иду въ Москвѣ по Долгоруковской, пробираюсь къ знакомому кабаку, «гдѣ торгуютъ, дольше, чѣмъ въ другихъ». Я знаю такіе кабаки. Осень, грязь, луна серебритъ булыжникъ. Остановился у фонаря, крѣпко зажалъ въ рукѣ мѣдь — —

— Матерь Божія, спаси спаси! — слышу неотступно и жарко.

Зажегъ я огарокъ, поставилъ на стулъ, плюхнулся на диванъ. Догораетъ, чадитъ, а потушить не могу. Опустилъ я палецъ въ раскаленный подсвѣчникъ — —

— Матерь Божія, спаси, спаси! — слышу неотступно и жарко.

Въ отхожее мѣсто въ уголъ я запрячу бутылку, запрусь. Господи, измаялся я и нѣтъ мнѣ выхода! И вижу, сижу я у Спасской заставы въ «Гробу» — трактиръ третьяго разряда. — и Мозгинъ Мишка со мной, остекленѣлъ весь, пропиваемъ крестъ. Въ Новоспасскомъ монастырѣ ко всенощной звонятъ.

— Матерь Божія, спаси, спаси!

И не могу я подняться, лежу пригвожденный подъ горящимъ покровомъ, жесткимъ, какъ изъ чертовой кожи, не могу стать съ огненнаго креста моего, изъ костра палящаго, а стать бы мнѣ на ноги и въ послѣдій разъ —

послѣдній разъ

поклониться до самой земли

сердцу человѣческому изнывшему отъ обиды, утраты, раскаянія —

сердцу, задохнувшемуся отъ неправды нашей — сердцу щадящему и жалостливому во власти безпощадной суровой судьбы, — сердцу, надрывающемуся въ смертной тоскѣ —

Тройнымъ рыданіемъ зарыдалъ бы я — —

*

— — пробилъ я черепомъ дно моего досчатаго гроба, полетѣлъ сквозь землю — на мнѣ бѣлая рубаха и крестъ кипарисовый —

«Мать сыра-земля!»

— — внизъ головой лечу въ землѣ черезъ земляную кору — кости и черепа, куски тѣла, персть и прахъ — чую составъ земляной, сырь, чую запахъ земли —

«Мать сыра-мемля!»

— — прорѣзаю земляную кору, нѣдра земли — песокъ и камень; камень пробилъ, сквозь камень лечу — въ огонь.

Огонь, какъ море въ грозу!

Нырнулъ въ огонь,

И иду подъ огнемъ, какъ подъ водой, иду въ самую жгучую глубь. И какъ изъ шайки, окачиваетъ огнемъ.

Сердце, какъ голубь, вотъ духъ перерветъ.

И вдругъ вижу: надъ головой синее небо и сквозь небесную синь свѣтятъ звѣзды!

Къ звѣздмъ высоко лечу надъ землей — на мнѣ бѣлая рубаха и крестъ кипарисовый —

«Сестры-звѣзды!»

Я лечу надъ землей, звѣзды горятъ, и память горитъ! какъ звѣзды —

о тѣхъ, кто тоскуетъ —

кто не находитъ мѣста себѣ на землѣ —

кто глухими ночами безнадежно бьется о стѣнку и проситъ и молитъ безнадежно — —

«Сестры-звѣзды!»

Въ вихрѣ несусь я за звѣзды — духъ во мнѣ занялся и сердце стучитъ — въ звѣздномъ вихрѣ несусь я.

Все мнѣ странно — и огненный столпъ, и косматыя звѣзды, и, какъ огонь, золотая парча, и крылатыя очи.

Золотыя запрестольныя иконы, ликовъ не вижу‘ золотыя крутятся въ вихрѣ, но я узнаю: это ангелы Божьи!
И я руки мои простираю:
«Здравствуйте, ангелы Божьи!»
И подаютъ мнѣ ангелы Божьи свои горячія руки.
И, я какъ подожженный, взвиваюсь огнемъ и огнемъ несусь въ небеса.

*

Былъ докторъ Афонскій. Стучалъ и слушалъ. Какой онъ чего-то сурьезный. Завтра кризисъ. Велѣлъ конфору вспрыскивать и банки.

Когда смеркалось, вошелъ Философовъ. Вошелъ онъ какъ-то бокомъ и сталъ бокомъ, на меня не смотритъ.

Или дымъ мнѣ глаза застилаетъ?

— Дмитрій Владиміровичъ! — здороваюсь.

И вспоминаю, какъ въ Вологду посылалъ онъ мнѣ «Миръ Искусства», и какъ въ первый разъ я пошелъ въ нему въ Басковъ переулокъ,(это въ первый самовольный пріѣздъ мой въ Петербургъ, который я тогда же съ перваго дня полюбилъ.)

Хочу спросить о Савинковѣ.

А Философовъ не даетъ говорить.

И правда, мнѣ говорить очень трудно.

— Въ «Русскомъ историческомъ журналѣ», — говорю, — есть о московской банѣ XVII вѣка. «Бани древяни; пережгутъ каменіе румяно, разволокутся нази, обліются квасомъ усніяномъ, возьмутъ на ся прутье младое, бьются сами...»

И вспоминаю Розанова, Егоровскія бани въ Казачьемъ, сосѣди мы были.

— Розановъ въ Сергіевъ посадъ переселился! — говоритъ Философовъ.

И слышу, Савинковъ:

— Я всѣми грѣхами грѣшенъ, но родинѣ и свободѣ я не измѣнялъ.

— Борисъ Викторовичъ, а что такое свобода?

И вижу стражъ мой — змѣя на стѣнѣ въ ногахъ: горько раскрыла пасть:

«Свобода?»

И я ищу такую точку, такъ скорчиться мнѣ и извиться, чтобы упереться и откашлянуться. Ржавь меня душитъ.

«Свобода! — Былъ человѣкъ связанъ и скованъ, освободили: иди, куда знаешь! дѣлай, что хочешь! — ну, веревку и прячешь, а то неровенъ часъ, вонъ крюкъ въ потолкѣ крѣпкій — —»

А на волѣ подымается вѣтеръ, въ окно стучитъ, вольный.

Когда ставили банки, очень было страшно: пламя синимъ языкомъ стоитъ въ глазахъ.

А на волѣ вѣтеръ такъ и рветъ, такъ и стучитъ.

Слышу:

— Печку невозможно топить, очень сильный вѣтеръ.

На волѣ вѣтеръ — всѣ семь братьевъ вихрей — стучитъ желѣзный, крутитъ, вьется надъ домомъ, надъ Островомъ, надъ Петербургомъ.

«На Руси крутитъ огненный вихрь. Въ вихрѣ соръ, въ вихрѣ пыль, въ вихрѣ смрадъ. Вихрь несетъ весеннія сѣмена. Вихрь на Западъ летитъ. Старый Западъ закрутитъ, завьетъ нашъ скифскій вихрь. Перевернется весь міръ».

И ищу такую точку, такъ скорчиться мнѣ и извиться и откашлянуться. Ржавь меня душитъ.

*

Я стою въ горной долинѣ не то въ Шварцвальдѣ, не то въ дикомъ Уралѣ, не то на Алтаѣ.

Тамъ на вершинѣ въ темныхъ тучахъ буря ломаетъ, небо и свиститъ вѣтеръ ужасно, вьюжнымъ свистомъ трясетъ долину.

Я весь въ бѣломъ, золотая стрѣла пронзаетъ мнѣ лѣвое ухо, и другая стрѣла въ правомъ боку, и третья вонзается въ самое сердце.

Три гвоздя вбиты мнѣ въ голову и лучами торчатъ поверхъ головы, какъ корона.

Я знаю: я прошелъ черезъ землю сквозь самыя нѣдра, черезъ огонь, я былъ въ царствѣ звѣздъ и отъ звѣздъ въ звѣздномъ вихрѣ за звѣзды на небесахъ. Я прошелъ всѣ мытарства, я сгорѣлъ на огнѣ боли и смертной тоски, я взойду на вершину.

А тамъ шумъ, свистъ, грохотъ, тамъ буря ломаетъ небо —

И я взялъ трость — эта трость огромадна, какъ мачта, — я поднялъ ее до самой вершины.

«Эй, кто тамъ! Отзовитесь!» — крикнулъ я, разсѣкая свистъ вѣтра.

И увидѣлъ: какъ на зовъ мой изъ клубящихся тучъ весь въ малиновомъ наклонился ко мнѣ съ вершины, щурится — носъ утиный.

И я напрягъ всю мою силу, духомъ вбѣжалъ я верхъ по мачтѣ, и сталъ на вершинѣ.

И стоялъ среди бури подъ обломками неба, затаилъ всю мою боль — сердце мое истекало кровью, изъ прободеннаго ребра сочилось, а голова въ гвоздяхъ пылала.

Я собралъ весь мой голосъ и крикнулъ окровавленному міру:

«Станьте! Останови-тесь! — на четыре стороны кричалъ я съ вершины, и голосъ мой разсѣкалъ свистъ вѣтра,— пробудитесь къ жизни отъ смерти, откройте глаза, залѣпленные братскою кровью, переведите духъ вашъ ожесточенный! Кровавая Марâ третье лѣто жретъ человѣчье мясо, лакнула крови и пьяна, какъ рваное злосчастье, ведетъ васъ; въ рукахъ ея ножъ — на острый ножъ Вы, братья! въ мірѣ есть правда, не кровава и не алчна; она, какъ звѣзда, кротко свѣтитъ на крестную землю!»

Я кричалъ, разсѣкая вѣтеръ, я кричалъ всему міру отъ моря до моря.

И слова мои были, какъ кровь, какъ огонь, какъ камень.

И со словами я выплевывалъ мою кровь и огонь и камень въ жестокую долину, гдѣ рѣшалъ судьбу бездушный ножъ да безразличная пуля.

А надъ моей головой ломалось небо и свистѣлъ вѣтеръ ужасно.

И вотъ, какъ отъ удара, сшибло и я упалъ.

*

Свѣтъ свѣтитъ и небо безъ облачка чисто — я лежу у моря на жаринѣ —

Пустынный островъ — Оландскіе острова.

Крупная брусника ковромъ устилаетъ островъ.

Я весь въ бѣломъ, золотая стрѣла пронзаетъ мнѣ ухо и другая прободаетъ мнѣ бокъ и третья вонзилась въ самое сердце, а на головѣ моей три гвоздя лучами, какъ корона.

Я лежу на жаринѣ въ брусникѣ — и правое крыло мое виситъ разбито.

— — — — — — — — — — — — — — — — —

*

— Фіандра, содержатель веселаго дома въ Александріи и продавецъ всякихъ восточныхъ лакомствъ, въ воздухѣ раскинулъ надъ землей свою палатку, поставилъ вверхъ ногами — не знаю, чего поставилъ, огоньки какіе-то, — а вверхъ ногами онъ поставилъ такъ...— Фіандра чего не придумаетъ! — завелъ медвѣдчикъ свою гнусавую волынку — огоньки замелькали, завыла волынка и все задвигалось, зашевелилось, какъ въ первый день творенія.

И пошла жизнь.

Я прохожу корридоромъ мимо растворенныхъ комнатъ — комнаты биткомъ набиты, и все это москвичи изъ прошлыхъ лѣтъ, я знаю ихъ въ лицо, и не знаю по имени, это съ Бронной и Пречистенки, актеры, актрисы, акробаты, клоуны, натурщицы и просто такъ, жаждущіе искусства и изъ ночныхъ кофеенъ съ ледяными эфирными руками. Они высовываются изъ дверей, и глаза у всѣхъ раскрыты.

На мнѣ бѣлая рубаха, золотыя стрѣлы и гвозди короной.

«Гдѣ — говорю, — моя комната?»

Тутъ высокочилъ какой-то — сюртукъ на голое тѣло, показываетъ: «вонъ та со ступеньками!»

Комната со ступеньками — моя комната: тѣсна и безъ оконъ, бѣлая-не-бѣлая, плѣсень густо

покрываетъ стѣны, и совсѣмъ пустая, ни стола, ни стула, ничего, и крашенный полъ забрызганъ известкой.

И пала мнѣ на сердце тоска.

Стою, какъ въ погребѣ, — такая тоска! — а за дверью прячутся, подсматриваютъ: «что, молъ, будешь дѣлать въ своей комнатѣ, какъ вывернешься?» — и, слышу, воетъ волынка-медвѣдчикъ! —

И не знаю я, на что и рѣшиться, и тоска заливаетъ мнѣ душу.

«Спасите! — Спасите меня!» — простеръ я руки къ бѣлой сырой стѣнѣ —

И сорвался.

И лечу внизъ головой черезъ глубокую непроглядную тьму, внизъ головой на землю.

И вотъ я на землѣ — —

Я лежу на землѣ, обтянутый сырой перепонкой, и не разбитое крыло, прячу я за спиной мою переломанную лягушиную лапку.

Комната освѣщена ярко. Около моей кровати что-то дѣлаютъ, копошатся. Не пойму ничего. Потомъ чувствую, какъ снимаютъ съ меня бѣлье: перемѣнить надо свѣжее.

Кризисъ наступилъ.

И мнѣ горько до слезъ, что упалъ я и туда не вернуться, что нѣтъ ни крыльевъ, ни золотыхъ стрѣлъ, и тѣхъ словъ не повторить ужъ, а лежу я — обтянутый сырой перепонкой, и прячу за спиной мою перебитую лягушачью лапку.

Посмотрѣлъ я на стѣну, а змѣи нѣтъ —
залила огонь и уползла!
Вижу шкапъ, на шкапу картонка.

И мнѣ горько до слезъ, что лежу я, глотаю ртомъ воздухъ, какъ лягушка.

И въ горечи моей я подбираю мое постылое перепончатое тѣло, чтобы быть совсѣмъ незамѣтнымъ, и ищу такую точку, такъ скорчиться мнѣ и извиться, чтобы легче откашлянуться.

*

День тяжелъ, а ночь для меня ужасна. Я боюсь ея душной: не могу отхонуть отъ кашля.

И измучилъ я всѣхъ. —
Верчусь, какъ вьюнъ.
«Простите меня за всѣ эти кашли мои!»
Подобрался, чтобы незамѣтнѣе быть, совсѣмъ скорчился.

*

Вижу я Невскій — вода — весь Невскій въ водѣ.
«Или Нева разлилась?»
А я не боюсь воды, смѣло иду и за мною народъ бредетъ — по-колѣно въ водѣ. Дошли до купаленъ
Тутъ всѣ и разбрелись.
Я дальше пошелъ. А тамъ снѣгъ, тихо падаетъ снѣгъ и ложится на землю чистый, какъ въ крещенскій сочельникъ.
И я чую: тишина, какъ этотъ чистый крещенскій снѣгъ, ложится мнѣ на душу.

*

Вотъ бѣда! Ночью, — теперь я не такъ уже кашляю, — когда всѣ заснули, прискакала Баба-Яга и подмѣнила мнѣ ногу.

И я ничего ей не могъ: ни сказать, ни остановить. Есть у меня дудочка-кукушка, покуковать бы, да какъ на грѣхъ куда-то засунулъ подъ подушку.

И вотъ правая нога у меня не моя, — костяная!

*

Лежу съ костяной ногой —

Въ воскресенье, дастъ Богъ, и встану.

Неловко съ костяной-то, да какъ-нибудь ужъ.

Лежу, потрагиваю ее, костяную, пеняю Ягѣ:

«Ну, что за радость, добро бы какую взяла богатырскую, а то...»

Очень мнѣ ѣсть хочется.

Все прошу ухи — «демьяновой».

Ужъ ходилъ Макитовъ въ Андреевскій рынокъ, да опоздалъ; съ пустыми руками вернулся.

А ночью долго я заснуть не могъ: и голодно, и сна мнѣ что-то нѣтъ, Гоголя читалъ, «Вечера».

> И только завелъ глаза, вижу: лежу въ нашей комнатѣ, какъ и вьявь лежу, а по бокамъ у кровати морскіе черти. Потрогалъ: черные, шелковые.
>
> «Черти, — говорю, — балтійскіе, наловите мнѣ рыбу»!
>
> А они и говорятъ:
>
> «Никакъ невозможно, завтра воскресенье, а подъ воскресенье заказано намъ рыбку ловить!»

*

Въ воскресенье я поднялся, и робко пошелъ на своей костяной ногѣ —

Бѣлый свѣтъ, — благословенъ ты, бѣлый свѣтъ! — а мнѣ больно смотрѣть.

«Сестра моя! не достоинъ я рукъ твоихъ и заботъ твоихъ. Прости мнѣ жестокое слово и нетерпѣніе мое. Одинъ виновенъ — одинъ и долженъ нести!».

Бѣлый свѣтъ — благословенъ ты, бѣлый свѣтъ! — а мнѣ больно смотрѣть.

XIX

Тотъ день для меня былъ роковой: я захворалъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ.

Захворалъ о ту же пору А. И. Котылевъ, не знаю за что не разъ выручавшій меня въ моихъ литературныхъ дѣлахъ въ самое крутое для насъ время. И слышу померъ.

А меня спасло.

С. П. ухаживая за мной, не вынесла, и послѣдніе дни мы оба лежали.

И это для меня было самымъ тяжкимъ: вѣдь все изъ-за меня! — и я ничѣмъ не могъ ей помочь.

За недѣлю, какъ я поднялся, я написалъ вотъ эту мою память о снахъ и видѣніяхъ за болѣзнь «огневицу» и «вѣчную память» — слово мое, переговоренное «безъ словъ» тогда еще тамъ ночью въ Кремлѣ послѣ всенощной.

У меня такая крѣпь на душѣ — поетъ. И мнѣ все любо. Сколько во мнѣ силъ сейчасъ. Чего-то радуется. Слушаю, смотрю —

и чей-то голосъ зоветъ меня —

Домъ нашъ переполненъ любовью. И эта любовь мнѣ свѣтитъ.

А сегодня я встрѣтилъ человѣка — нѣжнѣйшей души.

Это И. С. Бискъ — старый знакомый С. П. — приходилъ прощаться.

XX

Вчера опять началось выступленіе. Но, кажется есть и прокъ: будутъ говорить о мирѣ. Сегодня арестовано «временное правительство» — узнали послѣ обѣда.

25 минутъ 10-го вечера (по моимъ) съ Авроры выстрѣлъ!

«Наконецъ-то Владимиръ Ильичъ взялъ власть!»

Видѣлъ во снѣ землянику: цѣлая карзина да мыть надо — грязная. И розу, которую положили С. П. Уписывалъ я, какъ котъ, куренка. А живемъ въ гостинницѣ.

На другой день изъ газетъ:

> «Въ часъ ночи въ квартиру Цвернера, находящуюся въ 6-омъ этажѣ д.№ 13 по Демидову переулку, влетѣлъ артиллерійскій снарядъ вѣсомъ около 10 пудовъ. Пробивъ стѣну, снарядъ упалъ на письменный столъ. Такъ какъ взрыва не послѣдовало, то обошлось безъ жертвъ.»

ОКТЯБРЬ

I

56 дней — 8 недѣль высидѣлъ я въ комнатахъ послѣ болѣзни. Я прислушивался къ волѣ за стѣной, слушалъ разсказы съ воли и писалъ «*Россію въ письменахъ*», по обрывкамъ документовъ изъ «ничего» возсоздавая старую Россію — ее потревоженныхъ китовъ, безъ которыхъ она немыслима:

«баня — печь — ковшъ — базаръ — полиція — псалтырь — часовникъ — патерикъ — сундукъ — крестъ — грамотка — столбецъ — гадальныя карты — странникъ — оракулъ — письмовникъ — календарь — святцы — помѣщикъ — азбука» и т.д.

Да потихоньку сидѣлъ надъ «*Временникомъ*» —

«всеобщее возстаніе!»

Такъ и шли дни, перевиваясь снами.

*

Поздно вечеромъ разговаривалъ съ А. А. Блокомъ по телефону: ему кажется все такимъ мирнымъ. А я ничего не знаю. Тогда (въ февралѣ) была легкость и тревога — рушилась вѣковая стѣна. А теперь — даже весело: что-то изъ

всего изъ этого выйдетъ? И на долго ли хватитъ? Смѣшеніе тьмы, дикости и самыхъ яркихъ пожеланій.

у насъ въ домѣ обыскъ. Солдаты въ турецкихъ шапкахъ.
А главный — женщина.
«Вы ѣздили на Кавказъ до станціи Семлева?»
«Ѣздилъ,» — говорю.
И понимаю: тутъ не въ Кавказѣ дѣло и не въ Смелевѣ, тутъ что-то еще! И дѣйствительно, не успѣлъ я отвѣтить, какъ солдаты въ турецкихъ шапкахъ пропали, а я жду поѣзда. И замѣчаю, что по спѣшкѣ набралъ я въ дорогу много лишняго: рванныя калоши, линючую новобранку, гиманастическія гири, всѣхъ цвѣтовъ сартскіе тибетейки, ключи, чулки, банки изъ-подъ какао. И все это я выбрасываю, спѣшу — а вещей гора! А за вещами у золотого пчелинаго домика А. А. Блокъ на костыляхъ:
«Малина, — говоритъ, — спѣлая»!

II

Ничего не знаемъ, какъ послѣ большого праздника когда газетъ не бываетъ. Министры Временного Правительства сидятъ въ Петропавловской крѣпости. Жалко мнѣ М. И. Терещенку. Звонилъ Блокъ: тоже о Терещенкѣ. Вспоминали «Сиринъ» и всѣ тѣ годы сиринскіе — какіе далекіе!

— — входитъ Владиміръ Унковскій, за нимъ мальчикъ изъ магазина: несетъ ему пальто зеленое —

«Достоевскаго»! — говорятъ.

Керенскій наряженъ монахомъ. И какой-то еще весь изможденный, а зовутъ его Загафединъ. Я подумалъ, этимъ именемъ назову какую-нибудь мою игрушку — загафединъ!

«А зачѣмъ царя спихнули? Надо самимъ лучше сдѣлаться, а потомъ и рѣшать!» — говоритъ Загафединъ.

Керенскій брезгливо:

«Самъ насмбродилъ!» — и оправляется: непривычно ему въ монашескомъ.

«А сказали бы домой итти и винтовку бросилъ бы!» — Унковскій, въ зеленомъ пальто Достоевскаго юркнулъ въ картонку.

Я умылся грязной водой, а Чуковскій плачетъ. «Мнѣ, думаю, нехорошо, а ему — къ прибыли». А онъ все плачетъ.

«Купилъ — говоритъ, — карету, а лошадей нѣтъ! купилъ кольца для куръ, а и куръ нѣтъ!»

И опять входитъ мальчикъ — который принесъ Унковскому зеленое пальто Достоевскаго. Посылка отъ Ф. И. Щеколдина! И самъ Щеколдинъ появился. Распаковали посылку: а это высокій горячій куличъ и коробка съ напильниками. Щеколдинъ осмотрѣлъ куличъ и напильники и скрылся. И еще несутъ, посылку: отъ А. Н. Рябинина. Это яблоки — и всѣ-то прѣлыя, лежалыя! Пасмурный облачный день. Тихо необыкновенно и только слышно, какъ звонятъ къ обѣднѣ».

«На худой конецъ за сорокъ верстъ слышно!» — подалъ голосъ Унковскаго изъ картонки.

Сѣли въ амвтомобиль и поѣхали.

III

Умеръ нашъ домовый хозяинъ Д. П. Семеновъ-Тянь-Шанскій. Вчера онъ у насъ читалъ свой «Временникъ», собирался притти оканчивать сегодня вечеромъ.

— — въ Петербургѣ переворотъ, бѣгутъ солдаты и у всѣхъ у нихъ новенькіе блестящіе погоны: «Мы теперь всѣ офицеры»!
И входитъ Д. П. Семеновъ-Тянь-Шанскій съ рукописью.
И вижу я: хочетъ онъ оплести насъ шерстью.

IV

Получено извѣстіе изъ Москвы, будто во время переворота сожженъ Василій-блаженный.

— Что же это такое сдѣлали? — Ф. И. Щеколдинъ плакалъ, говоря по телефону.

А я не вѣрю — не хочу вѣрить. «А если? если остались однѣ развалины, онѣ будутъ святѣй неразрушеннаго. Нѣтъ, только бы что-нибудь осталось!»

Приходилъ П.: онъ очень смущенъ, оторопленный:

— Не бѣжать ли намъ?

— Да намъ-то чего?

Вотъ такъ всѣ и разбѣгутся.

О хлѣбѣ: «хлѣбъ тяжкбй», это съ соломой: «хлѣбъ грядовой, это съ мякиной.

— — мысли бѣжали такъ быстро, не выговариваяясь, однимъ чувствомъ! И я увидѣлъ Р. В. Иванова-Разумника. И дважды вмѣстѣ съѣздили заграницу: сначала въ Римъ, и назадъ, потомъ въ

Парижъ и домой. Что было дорогой, не помню, только помню — попались намъ сербскіе солдаты. А у Аверченки парикмахерская и аукціонъ. Я принесъ картину Бориса Григорьева и не знаю, кажется, ее уже продали. И что странно, самому же Борису Григорьеву съ придачей Добужинскаго. Добужинскій тутъ же выдергиваетъ канву изъ вышивки — «медъ и яблоки», такая картина. З. Н. Гиппіусъ спрашиваетъ, «откуда я знаю, какъ она вѣруетъ?»

«Ничего подобнаго, — говорю, — это все М. К. Вольфсонъ: 5-ая глава изъ Евгенія Онѣгина, выжать 6 лимоновъ!»

И вижу: М. К. Вольфсонъ на закоркахъ у Лундберга подымается по лѣстницѣ съ Сахаровымъ, а за ними Шпетъ трусить.

«Всѣ мы теперь ѣздимъ въ 3-мъ классѣ!»

«Ничего подобнаго, — говорю,— вы не сидите въ 3-мъ классѣ!»

И идемъ съ П. Е. Щеголевымъ, какъ когда-то въ Вологдѣ: хочется ему купить говядины и непремѣнно въ нѣмецкой колбасной. А кругомъ мухи цѣыми грядами. Навстрѣчу Чуковскій съ Чулковымъ: Чуковскій — 70.000 процентныхъ бумагъ, Чулковъ — красное (церковное) вино.

«Мы пріискали себѣ мѣсто!» — сказали оба.

V

Раскинувъ руки крестомъ:

«Я хотѣла бы, чтобы меня разорвали за васъ!»

А другая, закрывъ ладонями лицо:

«Умереть за духъ Божій въ человѣкѣ, а не за красныя рожи!»

Какой-то, напившись на обыскѣ, рѣшительно заявилъ:

«Мнѣ пора уходить!»

Когда теперь встрѣчаются, всегда споръ, а споръ — одно оскорбленіе. Приходится доказывать, что ты человѣкъ, — а вѣдь все идетъ противъ этого признанія.

— — я взялъ у А.А.Блока книжку съ картинками. Мы въ лѣсу, сидимъ за столикомъ, Промелькнулъ монахъ и скрылся, а вижу — вылѣзаетъ изъ оврага. Я и говорю:

«Александръ Александровичъ, жаловался мнѣ монахъ, что выгоняютъ ихъ изъ монастыря!»

А на улицѣ народу, не пройти — всѣ, задравши голову, смотрятъ:

«Эропланъ летитъ!»

Въ окнѣ ораторствуетъ Ивановъ-Разумникъ: опять возстаніе въ Петербургѣ.

Юрій Верховскій («Слонъ Слоновичъ») ужъ въ домѣ картошку чиститъ, а на полу на корточкахъ Викторъ Ховинъ подбираетъ кожурку и все кучками складываетъ. Встрѣчаю Николая II-го у воротъ Александровскаго Коммерческаго училища въ Бабушкиномъ переулкѣ на Старой Басманной. Онъ меня спрашиваетъ: «служилъ ли я гдѣ?»

«Нѣтъ, — говорю, — нигдѣ. Я нетрудовой элементъ?»

«А Василій Васильевичъ?»

«Розановъ — —?»

«Его еще нѣтъ, — перебиваетъ Добронравовъ,— со Степуномъ застрялъ въ лифтѣ на Таврической!»
«Да теперь, — говорю, — нигдѣ и лифты не ходятъ».
«З-а-с-т-р-я-лъ!» — повторяетъ Добронравовъ, выговаривая въ разбивку.

VI

Присѣлъ къ столу — если бы имѣлъ даръ слезный, я заплакалъ бы! Который день С. П. лежитъ — припадокъ печени. И никого, одна моя уродливая тѣнь.

— — докторъ Лангъ живетъ на морѣ; изслѣдованіе показало, что у него жесточайшее малокровіе. И. С. Соколовъ собираетъ посылку: все въ пакеты завертываетъ. И тутъ же около примостился А. А. Блокъ и И. А. Рязановскій: кораблики и коробочки изъ бумаги свертываютъ, бормочутъ чего-то:
«Полотилинъ — платвушка —»
«Отпанетъ — отпадетъ —»
«Хапка — тяпка» —
Я подошелъ къ Авксентьеву да пальцемъ его въ животъ, — а изъ него пакля.

VII

Парвый долгій походъ на волю. Былъ на Кронверкскомъ у Ф. И. Щеколдина. Шелъ пѣшкомъ больше часу.

Съ неприбычки все странно. Вечеромъ заходилъ нашъ новый хозяинъ М. Д. Семеновъ-Тянь-Шанскій:

«14-го декабря въ деревнѣ убили его брата поэта Леонида Семенова».

Срéди ночи раздался страшный взрывъ: горѣлъ складъ на Гутуевскомъ островѣ.

— — чортъ сѣлъ мнѣ на животъ. Пятками по бокамъ колотитъ. (Вмѣсто ногъ у него копыта).
«Что ты это дѣлаешь?» — говорю.
А онъ досталъ изъ кармана топорикъ, ла какъ звѣздонетъ —
«Что ты дѣлаешь?»
«Рубли достаю».
«А нельзя ли пережидать — хоть день!»
«Никакъ нельзя, — и самъ топорикомъ работаетъ, — хуже будетъ, какъ на пятаки мѣняться будутъ».

САБОТАЖЪ

Жилъ маленькій человѣкъ Акакій Башмачкинъ, его никто не боялся — чего хуже? А онъ писалъ себѣ въ Департаментѣ и всѣхъ боялся. Такъ искони повелось:

Акакій Акакіевичъ Башмачкинъ всѣхъ боялся.

А какъ пошелъ голодъ да холодъ — холодъ да голодъ, а тутъ еще прижимъ да нажимъ, да зубило, и остервенѣлъ маленькій человѣкъ Акакій.

И говоритъ себѣ Акакій:

«Жизнь моя пропащая, а дѣло мое малое, такъ втолковали намъ искони, погибать-такъ-погибать, не хочу работать да и все тутъ».

И пошелъ маленькій человѣкъ пошелъ Акакій Башмачкинъ къ себѣ къ Калинкину мосту.

И опустѣлъ Департаментъ и всѣ отдѣленія — и первыя и послѣднія.

Такъ что же вы думаете? — къ нему, ко млѣ-то департаментской, сами тридцать-и-три большіе брата подступили:

— Возьми, — говорятъ, — товарищъ Башмачкинъ, дѣла опять, пожалуйста!

А онъ имъ — и до чего осмѣлѣлъ человѣкъ! — Гоголь, ты слышишь ли — —!

— Да вы же говорили, что дѣло мое маленькое, а я — мля, сами и дѣлайте: чай, сумѣете!

И связали за это маленькаго человѣка Акакія и въ тюрьму подвальную посадили: изморозятъ, изморятъ — забоится! А ему хоть бы что — хуже не будетъ.

— А кто вотъ дѣлать-то будетъ, вы, разумныя, вы большія головы!

СОВРЕМЕННЫЯ ЛЕГЕНДЫ

ИСКРЫ

Тяжко на разоренной землѣ.
Родина моя!
Душа изболѣла.
«Если бы были такія могилы, куда бы клали живыхъ, — я легъ бы.»

Душа не острупѣлая, душа не задохнувшаяся въ мертвыхъ тискахъ еще живая ищетъ чудесъ.
И въ этомъ ея послѣднее спасеніе. Хочетъ воплотить не бывшее, но всѣмъ сердцемъ желаемое и всѣмъ духомъ требуемое.
Посмотрите, какъ бьется живая, какъ плясица-птица въ рукахъ, и смотрится въ ночь, не мелькнетъ ли?
Но нѣтъ свѣта.
Ни откуда не свѣтитъ.

«Неразумная, есть свѣтъ! и этотъ свѣтъ вѣчно горитъ изнутри, изъ тебя же самой!
Ты жаждешь , хочешь приблизить срокъ, твори же изъ твоей мысли.»

И вотъ возсталъ и бродитъ по Руси призракъ великаго чаянія истинной вѣры истинной свободы.
Еслибъ поджечь цѣльнымъ огнемъ, какіе бъ запылали костры!
Не костры, безсильныя искры, какъ потухающіе угольки, сыплются по снѣгу и сверкаютъ.
Тамъ —
Какъ ложныя звѣзды.

Я протянулъ руки —
И пали искры и обожгли мнѣ ладони.

I

РУКА КРЕСТИТЕЛЕВА

Сосѣдка Анна Ивановна хорошая женщина, мужъ ея солдатъ.

Частенько заходитъ къ намъ Анна Ивановна, и особенно по утрамъ.

И всегда съ новостями: о такомъ въ газетахъ не пишутъ.

Какъ-то до Николы еще растапливаю я печку, — дымитъ она у насъ, не дай Богъ! — самъ на угольки дую, сержусь на печку, что такая нерастопка.

Тутъ Анна Ивановна входитъ:

— Слышали, что во дворцѣ-то?

— Еще что? — сержусь на печку.

— Руку разрубили.

— Какую руку?

— Предтечи, Крестителеву.

— Что вы говорите?

— Тесакомъ Крестителеву. Во дворцѣ.

«Крестителеву!» А и въ самомъ дѣлѣ, рука-то Предтечи въ Зимнемъ дворцѣ, въ дворцовой церкви Нерукатвореннаго Спаса: въ Зимній дворецъ привезли ее мальтійскіе рыцари въ даръ императору Павлу. А шесть вѣковъ назадъ видѣли ее земляки наши, паломники, въ Цареградѣ. А въ Царьградъ попала она изъ Антіохіи. А въ Антіохію принесъ ее евангелистъ Лука изъ Самаріи. Вотъ какой долгій путь до Невы-рѣки.

А какія бывали гоненія! Но и въ самыя жесточайшія, когда Юліанъ велѣлъ сжечь тѣло Крестителево, руку, крестившую Христа, пощадилъ, не велѣлъ трогать. Такъ и сохранилась. Сколько вѣковъ! Рыцари уберегли.

— Нѣтъ, — говорю, — больше на бѣломъ свѣтѣ рыцарей. Вотъ бѣда!

— Вынули изъ раки и тесакомъ разрубили по суставамъ! — все еще ужасалась Анна Ивановна.

А какія чудеса бывали!

Обложилъ Антіохію Змѣй, и такой ужасный, — отъ страха помирали. И всякій день пожиралъ Змѣй по непорочной дѣвицѣ. Сколько горя! А былъ въ Антіохіи одинъ купецъ, очень любилъ свою дочь и такъ не хотѣлось ему отдавать ее Змѣю. Насталъ чередъ. Что дѣлать? Пошелъ купецъ въ баншю, — въ башнѣ хранилась рука Крестителева, — пошелъ просить Крестителя, — всѣ отказались, нѣтъ управы на Змѣя, некому помочь! Помолился онъ Крестителю и какъ сталъ прикладываться, тайно

суставъ изъ мизинца и выкусилъ. И ужъ ночью смѣло повелъ дочь къ Змѣю. Не боится Змѣя: сохранитъ Креститель! А Змѣй ужъ пасть разинулъ, вотъ поглотитъ. Тутъ купецъ косточку ему, что выкусилъ-то, да прямо въ пасть. А изъ Змѣя духъ вонъ.

— Разрубили по суставамъ, и всякому досталось по косточкѣ, — продолжала Анна Ивановна, — Фирсова солдата помните? Водопроводчикъ. Взялъ Фирсовъ косточку, да себѣ въ карманъ и сунулъ. А она карманъ-то и проѣла, насквозь прожгла и ушла!

Анна Ивановна покачала головой и въ глазахъ ея засвѣтилось кротко:

— Видно, въ недостойныхъ рукахъ была!

II

СВЯТОЙ КОВЧЕЖЕЦЪ

Вы знаете Сверчкова? — веселый человѣкъ. Со смѣху уморитъ, какъ начнетъ свои турусы. И легко съ нимъ: никакой притворенной скотины не чуешь, — осматриваться нечего.

Въ дѣлахъ дѣловыхъ человѣкъ незамѣтный, — маленькій чиновникъ и, конечно, никто его на рукахъ не носилъ и не понесетъ, развѣ на Смоленское. Впрочемъ, былъ и одинъ грѣхъ: нынче во время майскихъ въѣздовъ, возвращаясь изъ Озерковъ, вознесенъ былъ на руки и на рукахъ высоко надъ головами проплылъ по воздуху отъ вагона черезъ вокзалъ до автомобиля, — спутали съ кѣмъ-то изъ эмигрантовъ, возвращавшихся съ тѣмъ же поѣздомъ изъ-за

заграницы. Правда, видъ у него заграничный, и бородка зайцева.

*

Идетъ Сверчковъ по Старому Невскому.

Зима нынче выдалась теплая, и драповое его пальтишко къ самой порѣ.

Идетъ онъ, насвистываетъ, — веселый человѣкъ! Не на службу, такъ идетъ.

Навстрѣчу солдатъ — столкнулись глазами.

Солдатъ пріостановился.

— Не хотите ли купить, товарищъ, хорошая вещь, — наклонился, шепчетъ: — изъ дворца!

Да изъ кармана и вынулъ.

Всматривается Сверчковъ: маленькій ящичекъ серебрянный. Раскрылъ, — а тамъ что-то такое крошечное, въ родѣ пылинки и подъ слюдой.

«Что бы это такое , думаю, понять не могу: пылинка! И знаете, сердце у меня заболѣло: да вѣдь это, думаю , мощи!»

Сверчковъ давнымъ давно ни въ какую церковь не ходилъ, а этой весной, нацѣпивъ красный бантикъ, въ великую пятницу, какъ на масленицѣ, въ карты дулся.

И вдругъ сердце заболѣло: «мощи!»

А солдатъ сообразилъ, глядитъ нагло:

— Меньше ста не возьму.

«А у меня всего сто и есть, больше нѣтъ, послѣднее, все. Да, думаю, мощи! Богъ знаетъ, въ чьи руки попадутъ! Вынулъ кошелекъ и все отдалъ, а ковчежецъ сюда спряталъ, держу крѣпко.»

— А это не купите ли?

Солдатъ еще что-то вынулъ, да Сверчковъ ужъ ничего не видитъ: все равно, послѣднее, вѣдь, отдалъ.

— Сколько?

— Двѣсти!

— Не надо!

Мелькнулъ и исчезъ солдатъ, будто и не бывало.

III

БѢЛОЕ СЕРДЦЕ

Ждалъ я трамвая.

Никакъ не могу войти: висятъ, толкаются. Трамваевъ десять пропустилъ и все неудача.

Вижу, старуха стоитъ, какъ и я, ждетъ. Древняя бабушка. Посмотришь на такое лицо, и кажется, вѣкъ оно такимъ было, — вѣкъ была бабушка бабушкой: морщинки маленькія, беззубая и очень добрая. Я посмотрѣлъ попристальнѣе: терпѣливо стоитъ, и видятъ ли что усталые глаза? Да, увидѣли!

— Не оставь меня, — сказала бабушка, — вмѣстѣ поѣдемъ на трамваѣ. Никакъ не могу попасть.

— Хорошо, — говорю, — поѣдемте, только долго намъ стоять тутъ: толкаться не хочу, висѣть...

— Сохрани Богъ! — перебила меня бабушка.

Да, бабушка видѣла, что не одна она.

Съ нами барышня стояла, и по всему было видно, что она съ нами. Но барышня больше не могла выдержать, и когда подошелъ еще трамвай, вдругъ перемѣнилась — и куда дѣвалась вся ея кротость! — стала сама трамвайной, и вижу — повисла.

А наше дѣло было отчаянное, хоть пѣшкомъ иди.

— Пойдемте бабушка.

— Не дойти.

А и вправду, не дойти старухѣ: стояли мы на углу й9-линіи, а бабушкѣ путь въ Новую деревню.

Побѣдилъ я мое отчаяніе, рѣшилъ еще ждать, а бабушка, видно, давно побѣдила и ничуть не отчаивалас терпѣливая.

И дождались: впихнулись, и не на прицѣпной, а на переднiй.

*

Трамвай полонъ, сѣсть и не думай. Все солдаты. Я то ничего, хоть висѣть и не могу, а стоять мнѣ ничего, вотъ старуха-то какъ: совсѣмъ-то согнулась и ноги не слушаютъ, — какъ былинку, ее при всякомъ толчкѣ такъ и кидаетъ.

— Хоть бы бабушкѣ кто мѣсто уступилъ! — говорю сѣдокамъ.

Я въ трамваяхъ не разъ такъ говаривалъ и проку не очень ждалъ. Но тутъ повезло: поднялись два матроса.

— Найдутся добрые люди, садитесь!

И усѣлась бабушка, — нашлись добрые люди!

И до чего, скажу вамъ, хорошо человѣку, когда онъ такъ вотъ, какъ эти матросы. Я посмотрѣлъ на нихъ и почувствовалъ, что и стоя имъ сію минуту хорошо, какъ и бабушкѣ.

А бабушка, какъ отсидѣлась немного, такъ и заговорила.

И не такъ громко она говорила, а каждое слово ея было внятно, — въ голосѣ ея было очень много такого, отъ

чего вотъ и матросамъ, уступившимъ бабушкѣ мѣсто, хорошо было: самыя жестокія слова шли у нея отъ бѣлаго сердца.

Бабушка о себѣ разсказывала, какъ и откуда она въ Петербургъ появилась, и о своей жизни тяжкой и кругомъ одинокой. И во время разсказа, спохватываясь, подымала она глаза ко мнѣ:

— Такъ не оставь же меня, — вмѣстѣ выйдемъ!

— Вмѣстѣ, вмѣстѣ, бабушка! — повторялъ я.

И тѣ два матроса, покачиваясь отъ толчковъ, безъ словъ повторяли за мной:

«Вмѣстѣ, вмѣстѣ!»

*

Тяжко ей на бѣломъ свѣтѣ, она такъ и сказала, — «тяжко». Не здѣшняя. Родина ея теперь, какъ на краю свѣта, подъ Ковно. Много разъ ее выгоняли: все говорили, что нѣмцы идутъ. Да все обходилось благополучно: соберется бабушка выселяться, сложитъ добро, а пройдетъ день-другой, и все попрежнему, и никуда не надо.

— А какъ ужъ обидѣли меня, такъ я и ушла.

— А кто же васъ , нѣмцы?

— Нѣтъ, — бабушка что-то вспомнила горькое. вижу, а сказала еще добрѣе, — свои робята.

Сѣдоки солдаты переглянулись.

И голосъ ея еще сталъ внятнѣе.

И присмирѣли чего-то, весь вагонъ, никто не выходитъ. Или всѣмъ одинъ путь?

— Домикъ у меня былъ. Думала, такъ тамъ и помру. Совсѣмъ я одна на бѣломъ свѣтѣ. Была дочка, шестнадцати лѣтъ померла. А другая дочка вышла замужъ, годокъ

пожила и померла. Было три сына, тутъ на заводѣ работали въ Петербургѣ. Какъ померъ мой старикъ, четыре дня не хоронила, ждала, вотъ пріѣдутъ. И не пріѣхали. Видно, телеграмму не получили. А потомъ, какъ война началась, всѣхъ сыновей на войну взяли. И сколько я писала и спрашивала, — ничего о нихъ не знаютъ. Какъ камень въ воду.

— А можетъ, въ плѣну они?

— Нѣтъ пропали.

И опять что-то горькое вспомнила, а заговорила еще добрѣе.

— А какъ пришли робята, да какъ запалили мой домишко, такъ и полыхнуло. А я плачу: «Ой, не жгите, прошу, оставьте!» «Ты съ нѣмцами жить хочешь, ты — нѣмка, мы тебя въ огонь бросимъ!» А я думаю: пускай бросаютъ, мнѣ и такъ тяжко, а всѣхъ угодниковъ Божьихъ жгли. Стою такъ, думаю, а они разсуждаютъ, — одинъ говоритъ: «Бросимъ ее въ огонь!» А другой: «Не нужно!» А какъ домъ сгорѣлъ, я и пошла. Три мѣсяца пѣшкомъ шла.

*

Бабушка чего-то задумалась.

Вспомнила ли она свой домъ, — тамъ , на краю свѣта, однѣ головни подъ снѣгомъ лежатъ!

Или о сыновьяхъ задумалась, — тутъ гдѣ-то на заводѣ работали и теперь тамъ, — тамъ подъ снѣгомъ лежатъ!

А я подумалъ, глядя на сгорбившуюся затихнувшую старуху, — весь вагонъ глядѣлъ на нее.

«Бабушка, ты своимъ сердцемъ съ потерей и утратой, бѣлымъ сердцемъ приняла всю свою горючую судьбу, — а и вправду, развѣ скажешь такъ, какъ сказала ты о сво-

ихъ разорителяхъ: свои робята! — и вотъ одна ты на бѣломъ свѣтѣ со своимъ бѣлымъ сердцемъ. и тяжка твоя жизнь, твои послѣдніе дни, и кто утѣшитъ тебя? Кто насъ утѣшитъ? Бабушка, это я за всѣхъ говорю, всѣмъ, всѣмъ, всѣмъ. И кому легко, кому счастливо, кто можетъ быть счастливъ на твоемъ бѣломъ пожарищѣ, на бѣлой могилѣ твоего погубленнаго мира? Какой звѣрь или какая оскаленная косматая душа или душа придушенная, какъ трухлявый червивый грибъ, или сердце, какъ оглоданная сухая кость? Нѣтъ, вотъ всѣ мы тутъ, и если умомъ кто не понялъ чего, сердцемъ-то всѣ почувствовали, каждый изъ насъ, всю твою свинцовую тяжесть, весь крестъ нашъ.»

— Ты не безпокойся, — сказала вдругъ бабушка, — одна женщина въ Москвѣ сонъ видѣла. Приснилась ей Царица Небесная и сказала: «Держава Россійская въ моей рукѣ, иди и ищи икону такую, какъ я передъ тобою стою». Та женщина и пошла по всей Москвѣ, по всѣмъ домамъ ходить, — нѣту нигдѣ. А наконецъ, въ селѣ Коломенскомъ, подъ Москвою, пошла она въ такую церковь, еще при царѣ Иванѣ Грозномъ строилась. Много тамъ иконъ, — какъ мертвыхъ хоронятъ, оставляютъ иконы въ церкви, — внизу лежали. Перебирала она ихъ, перебирала и вдругъ крикнула: «она самая!» И теперь эту икону по Москвѣ возятъ, молебны служатъ, списываютъ. И я видѣла: вверху, какъ радуга, и Саваоѳъ, а потомъ облака, а потомъ Царица Небесная въ порфирѣ и коронѣ, въ одной рукѣ — скипетръ, въ другой — земля.

Тутъ пришла пора выходить бабушкѣ.

Я довелъ ее до остановки, усадилъ въ другой трамвай. Простились. И пошелъ я въ нашу петербургскую темень, понесъ сквозь темь бѣлое — тихій свѣтъ увѣренной вѣры.

ГОЛОДНАЯ ПѢСНЯ

Если что еще и бодритъ духъ мой, это скорбь. И эта скорбь связываетъ меня съ міромъ. Скорбь же даетъ мнѣ право быть.

Мои гости — бѣда и несчастье. И глаза мои — къ слезамъ, какъ мои уши — къ стону. А сердце дышетъ болью.

И я знаю, торжествующій и довольный никогда не постучитъ въ мою дверь. Я знаю, ко мнѣ придетъ только съ бѣдою.

И самъ я возвращаюсь съ воли всегда потрясенный, съ затаенной болью отъ встрѣчъ.

*

Вотъ говорятъ, Петербургъ гнилой и туманный, нѣтъ, въ Петербургѣ бываютъ дни ослѣпительные.

И въ такіе дни, когда все такъ ярко и ясно, моей душѣ особенно больно.

Въ Прощеный день по обѣднѣ шелъ я по Старому Невскому.

Было такъ вотъ ярко — заморозки, рѣзкій вѣтеръ, рѣжущее солнце. Путь мнѣ былъ долгій. На другой конецъ шелъ я. Мысли — съ ними не разстаюсь я въ моей не-

волѣ — мои думы о дѣлахъ человѣческихъ, о нашей бѣдной жизни, о проклятой судьбѣ и человѣкѣ, не родившемся еще человѣкомъ, вольныя, свертывались онѣ въ жгутъ и рѣзче вѣтра, больнѣе рѣжущаго солнца неслись въ моей душѣ.

Глаза мои были напряжены до слезъ и отъ солнца и отъ всматриванія — не было лица, тѣнь отъ котораго не падала бы на меня, всѣхъ я видѣлъ и различалъ каждаго. И слышалъ много звуковъ, и изъ всѣхъ звуковъ въ шумѣ одинъ звукъ вонзился въ меня —

— тла-да-да-да-да —

Я шелъ по солнечной сторонѣ — кто это? откуда звенитъ? — перешелъ на другую —

— тла-да-да-да-да —

— сверлило въ ушахъ.

На углу Полтавской въ тѣни стоялъ китаецъ: судорожно подергивались его ноги, колотили въ промерзшую землю. Голова его была обнажена — черепъ, обтянутый кожей, а впалые глаза закрыты — слѣпой китаецъ. Слѣпой, съежился весь, рука вцѣпилась въ рваную шапку —

— тла-да-да-да-да —

Это китаецъ звалъ о помощи, просилъ, слѣпой и замерзшій.

И звукъ его зова — не гортанная переливная старая рѣчь Китая — одинъ голодный звонъ — голодная пѣсня изъ тѣни наперекоръ рѣзкому вѣтру звенѣла по рѣжущему солнцу —

— тла-да-да-да-да —

И когда я подалъ милостыню, стало мнѣ передъ нимъ такъ стыдно — да лучше-бъ никогда мнѣ не видѣть и ничего не слышать! — почуялъ я въ немъ брата, которому, какъ и себѣ, ничѣмъ не могу помочь.

Толпа плыла широкимъ потокомъ навстрѣчу, ощеривались толстыя рожи, лоснились щеки, напитанныя кониной, мѣшечнымъ жирнымъ блиномъ и сметіемъ всякимъ, сдобреннымъ приторнымъ американскимъ вазелиномъ.

И одинъ рѣзче вѣтра голодный звонъ — голодная пѣсня —

— тла-да-да-да-да —

*

— Братъ мой голодный изъ поднебесной страны, пережившей много вѣковъ, неизвѣстныхъ и самой старой Европѣ, здѣсь никому ты не нуженъ —

— Братъ мой замерзшій, ты понимаешь, что такое слово? Тебя научили съ колыбели чтить слово и книгу. Слово здѣсь, какъ ты голодный, не нужно —

— Братъ мой терпѣливый — —

— тла-да-да-да-да

— тла-да-да-да-да

Свиная толпа съ пятаками, самодовольная, широко плыла навстрѣчу —

— — —

— —

— Понимаешь ли ты, самодовольная и торжествующая, хоть что-нибудь въ моей жизни и въ моей волѣ, можешь ли ты вызвать подъ своимъ тупымъ черепомъ хоть отдаленныя мысли, хоть намекъ о моемъ трудѣ, который тебѣ такъ же нуженъ, какъ нуженъ голодный китаецъ, какъ нужно слово и книга? Знаешь ли ты хоть что-нибудь о той боли, какая жжетъ меня, и о той тревогѣ и мукѣ, въ которой проходитъ жизнь моя и на яву и во снѣ? Снились ли тебѣ мои сны, и играло ли твое сердце отъ радости, заливавшей

мою душу — радости, отъ которой свѣтится весь міръ, дышутъ камни , оживаютъ игрушки, глядятъ, разговариваютъ звѣзды! и разрывалось ли твое сердце отъ тоски и скорби, которая обугливала всякій блескъ и свѣтъ? Нѣтъ, ты дрыхнешь и тебѣ ничего не снится, нѣтъ, ты не страждешь, ты только орешь отъ голода и визжишь отъ похоти. И нѣтъ звѣздъ надъ тобой. Какъ же ты , нищая духомъ, смѣешь посягать на мою волю и распоряжаться моимъ трудомъ, который есть одна живая боль? И еще скажу тебѣ, понимаешь ли ты, что я послѣдній нищій, щелкаю голоднымъ языкомъ, и мое тѣло измождено, душа измучена, кожа съ нея содрана — ты не понимаешь? — понимаешь ли ты, чть подъ видомъ благодѣянія всему народу, ты запускаешо лапу не въ карманъ мой, который пустъ, а лѣзешь къ моей шеѣ, къ моему кресту, который тяжелѣе золота и г рячѣе огня —

— тла-да-да-да-да —

— Братъ мой голодный, вотъ ты въ тѣни стоишь, слѣпой, замерзшій, а я иду — еще могу итти! — и никому не нужный, а иду — наперекоръ рѣзкому вѣтру противъ рѣжущаго солнца —

— тла-да-да-да-да —

ЗНАМЯ БОРЬБЫ

I

Съ утра мятель. Съ винтовками ходятъ — разгоняютъ. Вчера арестовали Пришвина. Иду — въ глаза вѣтеръ, колючій снѣгъ — не увернешься.

На Большомъ проспектѣ на углу 12-ой линіи два красногвардейца ухватили у газетчицы газеты.

— Боитесь, — кричитъ, — чтобы не узнали, какъ стрѣляли въ народъ!

— Кто стрѣлялъ?

— Большевики.

— Смѣешь ты — —?

И съ газетами повели ее, а она горластѣй метели —

— Я нищая! — оретъ, — нищая я! ограбили ! меня!

— — —

На углу 7-ой линіи красногвардейцы надъ газетчикомъ. И съ газетами его на извозчика. А пробѣгала съ газетой — видно послали купить поскорѣе, успѣла купить! — прислуга, и ее цапъ и на извозчика.

— И ты — —!

А она , какъ орнетъ, да съ переливомъ —

и гдѣ вѣтеръ, гдѣ вой, не разберешь.

— — —

Около Андреевскаго собора народу — войти въ соборъ невозможно.

— Расходитесь! — вступаютъ въ толпу красногвардейцы, — расходитесь!

— Мы архіерея ждемъ.

— Крестный ходъ!

— Расходитесь! Расходитесь!

Толчея. Никто не уходитъ.

Какая-то женщина со слезами:

— — хоть бы намъ Богъ помогъ! —

— — только Богъ и можетъ помочь —

— — узнали, что конецъ имъ, вотъ и злятся —

— — какой конецъ — —!?

— — съ крышъ стрѣляли —

— — да, не жалѣли вчера патроновъ —

— — придетъ Вильгельмъ, — подразниваетъ баба, — и заставитъ насъ танцовать подъ окномъ: и пойдемъ танцовать! —

— — большевики устроили: каждый пойдетъ по-одиночкѣ съ радостью —

— — — тутъ его и расхрястали —

— — — заснулъ на мостовой —

— — — взвизгнулъ, какъ заяцъ, и дѣло съ концомъ —

— — —

Идетъ старикъ безъ руки и повторяетъ громче и громче:

— Наказалъ Господь! — Наказалъ Господь!

— Что? Что?

— Наказалъ Господь.

Старуха протискиваясь:

— Что говоритъ?

— Да наказалъ Господь и погодку плохую послалъ.

— — комната: отъ окна къ двери покато. Я его едва различаю: такой онъ прозрачный и вялый, но я въ его власти. Онъ что-то себѣ задумалъ: то къ столу подойдетъ, то къ окну. Взялъ булавку и ко мнѣ: хочетъ мнѣ въ палецъ всадить. Я ему говорю:

«Перестань, ну что такое булавка? ну, воткнешь — — ! — уговариваю. Положилъ онъ булавку. И опять ходитъ. Знаю, что на умѣ у него — ищетъ что-то, чѣмъ бы больно уколоть меня. Подошелъ онъ къ столу — а на столѣ моя рукопись! — да спичкой и поджегъ. Не велика , думаю, бѣда, скоро не сгоритъ! А самъ рукой такъ — и огонь погасъ. И тутъ я замѣтилъ, что около стола наложены кипы бумагъ, смоченные горючей жидкостью. И понимаю, не въ рукописи дѣло, а мѣтилъ онъ въ эту кипу: перекинетъ огонь и вспыхнетъ. А вотъ и не удалось! Скучный онъ бродитъ и такіе у него мутные глаза — ищетъ. Взялъ золотое перо —

«Ну зачѣмъ?» — говорю.

А онъ какъ не слышитъ — онъ меня за руки: и всадилъ перо мнѣ въ палецъ.

II

Елку не разбирали, стоитъ не осыпается.

На Рождество у насъ было много гостей: Сологубъ, Замятинъ, Пришвинъ, Добронравовъ, Петровъ-Водкинъ. Достали хлѣба — на всѣхъ хватило.

Сегодня въ газетахъ о убійствѣ Шингарева и Кокошкина:

«— — — когда они явились въ палату, гдѣ лежалъ Ф. Ф. Кокошкинъ, Кокошкинъ проснулся и, увидѣвъ, что на него нападаютъ, закричалъ: «Братцы, что вы дѣлаете?!»

Долго разговаривалъ съ Блокомъ по телефону: онъ слышитъ «музыку» во всей этой метели, пробуетъ писать и написалъ что-то.

«Надо итти противъ себя!»

Послѣ Блока говорилъ съ С. Д. Мстиславскимъ о Пришвинѣ.

— Пришвина также грѣшно въ тюрьмѣ держать, какъ птицу въ клѣткѣ!

> — — судятъ Пришвина. И я обвиняю.
> «Такъ что жъ я такого сказалъ?» — не понимаетъ Пришвинъ.
> «Да развѣ не вы это сказали: «надо ихъ пригласить: люди они полезные въ смыслѣ сахара?»
> И жалко мнѣ его: знаю, засудятъ. Подхожу къ Горькому — Горькій плачетъ.
> И тутъ же Викторъ Шкловскій, его тоже судятъ. «А я могу десять штукъ сразу!» — сказалъ Шкловскій. И вынимая изъ кармана картошку, немытую, сырьемъ сталъ глотать — —а изъ него вылетаетъ : котлы, кубы, кади, дрова, горны, горшки — огонь!

III

Сегодня необыкновенный день: нѣмцы вступаютъ въ Россію. Проходя по Невскому видѣлъ какъ на плѣннаго нѣмецкаго солдата бабы крестились.

Въ Кіевѣ убили митрополита Владимира.

Я его разъ видѣлъ — въ Александро-Невской Лаврѣ на вечернѣ въ первый день пасхи: онъ «зачиналъ» пасхальные стихиры особымъ московскимъ распѣвомъ — «Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его». Все это надо бы сберечь — и эту «музыку» для русской музыки.

Да, теперь и я тоже слышу «музыку», но моя музыка — по землѣ:

«тла-да-да-да-да» голодной пѣсни!

Каюсь, не утерпѣлъ, съѣлъ просвирку: четыре года берегли, бѣлая, Ф. И. Щеколдинъ изъ Суздаля привезъ! А я размочилъ и съѣлъ. И вспомнилась сказка: три чугунныхъ просвирки и надо ихъ сглодать, и когда сгложешь — — а я съѣлъ!

— — мнѣ приносятъ мои картины: ихъ несутъ на шестахъ, какъ плакаты. Я взглянулъ: да что же это такое? — квадратиками ломтики — сырая говядина! — рубиновые съ кровью! И подпись: «бикфордовъ шнуръ».

IV

Въ Москвѣ при заходѣ солнца изъ солнца поднялся высокій огненный столбъ, перерѣзанный поперечной полосой, — багровый крестъ.

— — мы живемъ въ гостинницѣ и занимаемъ большія двѣ комнаты. Утромъ . Слышу, стучатъ. «Надо, думаю, посмотрѣть!» И иду черезъ комнату, а на полу кровь. Я вытирать — не стирается: большой сгустокъ — какъ вермишель.

V

Приходили съ обыскомъ красно-гвардейцы —

— Нѣтъ ли оружія?

— Кромѣ ножницъ, — говорю, — ничего.

Глазѣли на мою серебряную стѣну, усаженную всякими чучелками.

— — въ Москвѣ въ Сыромятникахъ прудъ и полонъ прудъ блинами — блины, какъ листья кувшинокъ. Это намъ въ дорогу: мы собираемся ѣхать въ Москву.

I. В. Гессенъ спрашиваетъ:

«А въ Петербургѣ какъ у васъ съ прикрѣпленіемъ?»

(«Прикрѣпленіе» — отдача хлѣбной и продуктовой карточки въ Продовольственную лавку: дѣло очень трудное — надо успѣть во-время, а большая очередь!).

«Н. А. Котляревскій, — говорю, — въ Академіи на чугунной плитѣ чугуномъ припечаталъ!»

Послѣдняя ночь, завтра въ путь. Собрали мы корзинку.

«А какъ же съ блинами?» — жалко бросать. Заглянулъ я въ окно: а на пруду лодки — сѣтками, какъ бабочекъ ловятъ, блины собираютъ.

VI

Въ Брестѣ подписанъ миръ съ нѣмцами. Видѣлъ во снѣ М. И. Терещенко: на немъ драная шапка и пальто

въ родѣ моего. А сегодня, слышу, его выпустили изъ Петропавловской крѣпости. Вчера сбрасывали съ аэроплана бомбы на Фонтанкѣ.

— Задавитъ, — говорятъ, — насъ нѣмецъ!

И называютъ число — 23-ье марта:

— 23-го марта нѣмцы займутъ Петербургъ!

Разбѣгаются: кто въ Москву, кто куда. Улепетнулъ и Лундбергъ, чудакъ!

Третьій день, какъ лежитъ С. П.: опять припадокъ печени. Горе наше горькое!

— — Ф. Ф. Коммиссаржевскій сказалъ, что недѣлю назадъ сошелъ съ ума актеръ А. П. Зоновъ — помѣшался надъ вопросомъ: «какой романъ труднѣе?»
И вижу: женщина съ провалившимся носомъ черная караулитъ Зонова. Входитъ Л. Б. Троцкій, подаетъ телеграмму — а тамъ одна только подпись отчетливо по нѣмецки: «Albern».

VII

Въ Москвѣ у Никольсикхъ воротъ по случаю 1-го мая образъ Николы завѣсили красной матеріей съ надписью: «Да здравствуетъ интернаціоналъ!»

«И вотъ безъ всякой естественной причины въ нѣсколько минутъ завѣса истлѣла и сталъ виденъ образъ: отъ лика исходило сіяніе».

— — Яковъ Петровичъ Гребенщиковъ реквизировалъ домъ на горѣ. Какая гора, я не знаю: очень высоко, — можетъ, Эверестъ! И домъ

такъ устроенъ, что часть комнатъ — подъ горою и выходятъ окнами къ морю. Мы выбрали себѣ комнату на верху. И оказалось, что это кухня, только совсѣмъ незамѣтно — безъ плиты съ особенными шкапами, въ которыхъ кушанье готовится само собой:
«Поставь, завинти, а черезъ нѣкоторое время, вынимай и ѣшь, сколько влѣзетъ!» — объясняетъ «инструкторъ» инж. Я. С. Шрейберъ.
Въ кухнѣ Яковъ Петровичъ не посовѣтовалъ намъ селиться. «Берите, — сказалъ онъ, — другую комнату: здѣсь будетъ вамъ очень жарко».
И мы выбрали самую крайнюю съ огромнымъ во всю стѣну окномъ на морѣ. И вдругъ шумъ, съ шумомъ открылось окно. И вижу, подплываетъ корабль. А изъ корабля трое во фракахъ, одинъ на Г. Лукомскаго похожъ, а другіе — подъ Сувчинскаго: тащутъ какую-то: — совсѣмъ пьяная , валится! А меня не видятъ.
«Затянись!» — говоритъ Лукомскій.
«А наши вещи?»
«Крѣпче — —все».
И вижу корабли — уплываютъ: корабли, какъ птицы, а бѣлые — какъ ледъ.

VIII

Я пишу отзывы о пьесахъ и читаю. И когда читаю, почему-то всѣмъ бываетъ очень весело и всѣ смѣются. Написанное откладываю для книги, которую назову «Крашенныя рыла».

— — въ какомъ-то невольномъ заточенiи нахожусь я. Только это не тюрьма. А такая жизнь —съ большими запретами: очень много, чего нельзя. Поздно ночью я вышелъ изъ своей комнаты въ общую. Это огромная зала, освѣщенная желтымъ свѣтомъ, а откуда свѣтъ, не видно: нѣтъ ни фонарей, ни лампъ. Только свѣтъ такой желтый. Въ залѣ пусто. Два китайца передъ дверью, какъ у билетнаго столика. Дверь широко раскрыта.

И я вижу: на страшной дали по горизонту тянутся золотыя осеннiя березки, и есть такiя — срублены, но не убраны — висятъ верхушкой внизъ, золотыя, листья крохотные весеннiе. «Вотъ она, какая весна тутъ!» — подумалъ я. Въ залъ вошли пятеро Вейсовъ. Стали въ кругъ. И одинъ изъ Вейсовъ, обращаясь къ другимъ Вейсамъ, сказалъ:

«Господа конты, мы должны привѣтствовать сегодняшнiй день: начало новой эры!»

«Господа конты! — повторилъ я, — какъ это чудно: конты!» И подумалъ: «это какiе-нибудь акцiонеры: у каждаго есть «счетъ» и потому такъ называются контами. А сошлись эти конты, потому что тутъ единственное мѣсто, гдѣ еще позволяютъ собираться». И не утерпѣвъ, я обратился къ Д. Л. Вейсу (Д. Л. Вейсъ служилъ когда-то въ издательствѣ «Шиповникъ»):

«Почему вы сказали: конты?»

И вижу: смутился, молчитъ.

«Я объ этомъ непремѣнно напишу!» — сказалъ я.

«Очень вамъ будемъ благодарны, — отвѣтилъ Д. Л. Вейсъ, — у насъ торговое предпріятіе». И вдругъ вспоминаю: не надо было говорить, что напишу — писать запрещено! И начинаю оправдываться; и чѣмъ больше оправдываюсь, тѣмъ яснѣе выходитъ, что я пишу и, конечно, напишу. И совсѣмъ я спутался. И вижу: дама въ сѣромъ дорожномъ платьѣ — жена какого-то конта. Я ей очень обрадовался: я вспомнилъ, что эта дама помогала намъ перевезти наши вещи сюда.
«И Б. М. Кустодіевъ тутъ , — сказала она, — онъ тутъ комнату снимаетъ!»
Успокоенный, что дурного ничего не выйдетъ изъ моего разговора, я пошелъ къ входной двери. И тутъ какой-то шмыгнулъ китаецъ — и мы вмѣстѣ вышли на маленькую площадку — —
Передъ нами огромная площадь — гладкая торцовая. Желтый свѣтъ. А по горизонту далеко золотыя березы. Китайцы старательно скребутъ оставшійся ледъ.
«Это въ Германіи ихъ пріучили въ чистотѣ держать!» — подумалъ я. И вижу, изъ залы выходитъ очень высокій офицеръ, похожъ на Аусема. Да это и есть О. Х. Аусемъ, я его узналъ. Но онъ не признаетъ меня.
«Васъ надо въ штыки!» — сказалъ Аусемъ.
А я понимаю: онъ хочетъ сказать, что я долженъ отбывать воинскую повинность.
«Никакъ не могу!» — и я показалъ себѣ на грудь.
«У насъ всѣ заняты, — отвѣтилъ Аусемъ, — одни орутъ.... да вы понимаете ли : «орутъ?»

«Какъ же, одни пашутъ....»
И мы вмѣстѣ выходимъ въ залъ.
«Вы изъ Кеми?» — спрашиваетъ Аусемъ.
«Нѣтъ, — говорю, — я изъ Москвы».
«А гдѣ же ваша родина?» — онъ точно не понимаетъ меня.
«Я — русскій — Москва — Россія!»
«Ха-ха-ха!» — и ужъ не можетъ сдержать смѣха и хохочетъ взахлёбъ.
И я вдругъ понялъ: а и въ самомъ дѣлѣ — какая же родина? — вѣдь «Россіи» нѣтъ!

IX

Въ ночь на Ивана Купала (по старому стилю) началась стрѣльба. Вчера убили графа Мирбаха. Я собрался въ Василеостровскій театръ на «Царскую невѣсту», одинъ актъ кое-какъ просидѣлъ да скорѣе домой. Стрѣляютъ! И когда идешь, такое чувство, точно по ногамъ тебя хлещутъ.

— Возстаніе лѣвыхъ с-р-овъ!

— — на верху въ комнатѣ стоитъ около стола Блокъ.
«Я боленъ!» — говоритъ онъ.
И вижу, онъ грустный. И тутъ же Александра Андреевна, его мать, въ дверяхъ.
«Лепешки, — говоритъ она, — по 3 рубля: два раза укусить».

О СУДЬБѢ ОГНЕННОЙ

Отъ словъ Гераклита Ефесскаго

Есть судъ надъ всѣмъ, что дышетъ, живетъ и растетъ,
судъ огнемъ,
Огонь
послѣднiй судiя — все судитъ и все разрушаетъ.
А молнiя — кормчiй.

Послѣднее испытанiе
черезъ огонь.
Огнемъ
очищается персть
А молнiя кормчiй.

Пожжетъ огонь все, что горитъ!
Въ огненномъ вихрѣ проба для золота
и гибель пищи земной.
и вмѣсто созданнаго останется
одно созидаемое —
персть и сѣмена для роста.

Все, что дышетъ, живетъ и растетъ,
станетъ дымомъ.
И ты своими ноздрями почуешь:

противоборствующее — соединяетъ,
а разнообразіе преображаетъ въ гармонію,
гармонія возникаетъ изъ борьбы.

Молнія — кормчій.
Огонь очистительный!
А справа идетъ его братъ.
— война —
царь и отецъ всего,
властитель надъ богами и людьми;
творя новое право и новую жизнь,
указуетъ судьбу рабовъ и свободныхъ.

Вѣчная распря
— война! —
движетъ весь міръ,
распредѣляетъ долю.
И все возникаетъ изъ распри и судьбы.

Все совершается въ кругѣ судьбы.
Всякій свѣтъ побѣждаемъ.
Свѣтъ же послѣдняго суда неизбѣженъ.
И куда убѣжишь отъ осіянности?

Сама судьба полагаетъ предѣлъ совершенія:
безмѣрно взлетѣвшій низко падаетъ.
И каждому — по его духовной потребѣ:
ослы солому предпочтутъ золоту.

Все совершается въ кругѣ судьбы
Люди , звѣри и камни родятся, растутъ,
чтобы погибнуть,

и погибаютъ,
чтобы родиться.
Всякій гадъ бичемъ Бога пасется.

И сила черезъ судьбу становится правомъ,
Въ началѣ была сила,
по судьбѣ сила стала правомъ.
Право правитъ вселенной,
силой давя на человѣка.
Разореніе права — пожаръ.
Его ты залей скорѣе чѣмъ пожаръ!

Въ началѣ была сила,
по судьбѣ сила стала правомъ.
И что бы сталось безъ права?
Хаосъ, распаденіе, пыль.
Да станетъ народъ за право,
какъ за родныя стѣны!

Судьба всемогущая!
Великое единство пути!
вверхъ и внизъ,
спасенія и гибели!
Кто тебя минуетъ, кто тебя избѣжитъ?
Не слабые духомъ, слѣпленные изъ грязи,
свиньи въ золотѣ,
куры, купающіяся въ пыли и золѣ.
Судьба! всемогущая!
Кто тебя минуетъ, кто тебя избѣжитъ?

ЛѢСОВОЕ

Поднялись чуть свѣтъ. Для меня такая мука куда-нибудь ѣхать. Вѣрно, и на тотъ свѣтъ также будетъ, но я покорюсь. Какъ покоряясь судьбѣ, сейчасъ поднялся, чтобы ѣхать въ деревню къ Соколову. Деревня для меня тоже другой свѣтъ.

Терпѣливо ждали трамвая на углу 7-й линіи и Средняго проспекта около дома, гдѣ жилъ когда-то Ф. К. Сологубъ. (Его выселили и теперь тутъ Совдепъ!) Поѣздъ вышелъ около 10-ти. Мѣста попались хорошія. И ни одного солдата — это не прошлогоднее, когда ѣхали въ Берестовецъ: клюкъ-топъ-дробь-матъ. Къ вечеру пріѣхали на станцію. Передохнули послѣ вагонной встряски въ опустѣлой чайной Ракосуя (хорошая фамилія!) и на лошадяхъ — въ Кислово. Путь 50 верстъ по прямому, а по косому — — ? Мы ѣхали по косому.

И опять поле (гляжу, какъ съ того свѣта!) — трава (трава растетъ и въ революцію и послѣ революціи!) — деревья (помѣщичьи или крестьянскіе имъ безразлично!). Я какъ будто проснулся: трава — поле — деревья! Я какъ изъ могилы — мнѣ сказали: «иди на землю, живи опять!» — и вотъ я вышелъ.

Деревнями проѣзжали, вездѣ лѣсъ сложенъ.

— Будетъ новая стройка!

Точно въ лѣсное гнѣздо попалъ, когда совсѣмъ ужъ въ ночь пріѣхали, наконецъ, въ домъ въ Кислово.

Лѣсавки, лѣсовое, лѣсное — —

*

Лѣсавки, лѣсовое, лѣсное — —

Ужъ очень мы дома изголодались, а тутъ столько хлѣба! И хочется взять и неловко. Что-то снится, но не различаю. Или воздухъ дѣйствуетъ ? или не вжился? или ѣда?

Смотрю въ окно — въ садъ:

«Какъ хорошо въ Божьемъ мірѣ!»

Всякій день меня водятъ на прогулку къ «семи дубкамъ» (ихъ всего-то два, но такъ по привычкѣ говорится, къ семи — пять въ революцію срѣзали на полозья!) Отъ «семи дубковъ» на «лысую гору», съ лысой горы въ лѣсъ.

По камнямъ я ходить умѣю, а по землѣ трудно — нога подвертывается. Иду несмѣло, смотрю по сторонамъ:

«Какъ хорошо въ Божьемъ мірѣ!»

*

Пекли хлѣбъ изъ новой муки: хлѣбъ зеленоватый. Ѣли такъ, чтобы на годъ! — не жаловаться.

Читаю единственную газету: московскую «Бѣдноту».

*

Въ хлѣбъ въѣлись, больше не манитъ: лежитъ на столѣ такой кусище — не смотришь. И не понятно, какъ это всю зиму — сколько объ этомъ было разговору! Да, сытый голоднаго не разумѣетъ!

Какой сегодня чудесный вечеръ — осенній. Ясно, тихо, — осенне. Въ саду и на лугу желтые цвѣты, какъ по веснѣ, одуванчики — второцвѣты. Днемъ прилетаютъ съ

озера стрекозы въ садъ — «женятся!» Въ лѣсу тишина, птицы молчатъ, перепѣли всѣ пѣсни, и одна только не поетъ, а стонетъ —

«Какъ хорошо въ Божьемъ мірѣ»!

*

«Какъ хорошо въ Божьемъ мірѣ!»

Но я не могу долго жить въ деревнѣ. Этотъ чередъ жизни: ѣдятъ, ростутъ, женятся — зелено, грязно, тихо — лѣсавки, лѣсовое, лѣсное. Нѣтъ, не могу я по «естественныиъ законамъ» и въ постоянномъ страхѣ передъ погодой.

Пора домой — на камни и голодъ!

И тянутся нетерпѣливые дни: скучно — домой!

Я вспоминаю В. Ф. Нувеля: одинъ единственный разъ за всю свою жизнь выбрался онъ изъ Петербурга не въ Мартышкино, гдѣ жилъ Сомовъ, а въ настоящую деревню, какъ это вотъ Кислово, и на лонѣ природы въ ухо залѣзла къ нему уховертка. И ужъ мнѣ мерещатся вездѣ эти нувелевскіе уховертки.

Вотъ и голода нѣтъ, одолѣла забота.

*

Лѣсавки, лѣсовое, лѣсное — — прощайте!

Сегодня вернулись домой въ Петербургъ. Когда входили во дворъ, навстрѣчу старикъ Успенскій, и не здороваясь, голодный:

— Хлѣбъ привезли? — спросилъ онъ и съ завистью и съ отчаяніемъ.

За эти недѣли закрыты всѣ «буржуазныя» газеты и журналы! А идетъ зима — —

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГЪ

«Вошли мы въ щель четвертую — —»

День кончился — сутолка и безтолковщина!
день — наполненный голодными порываніями и самыми хитрыми изобрѣтеніями добыть какую-нибудь снѣдь; день — кружащійся между службой, стояніемъ въ очередяхъ, ожиданіемъ и жалкимъ обѣдомъ.

А когда-то я не думалъ о насыщеніи. Странно подумать, что это было когда-то. И странно думать, что я еще живъ.

Вся боль моя канула — и вотъ, какъ паръ, поднялась къ ушамъ моимъ и глазамъ: и все, что я вижу, и все , что я слышу, проникнуто болью. Улица, встрѣчные — люди, звѣри, машины — больно бьютъ меня по сердцу. И я не могу отвести глазъ — они же не видятъ меня.

*

Ночь — петербургская. Ни огонька. Весь нашъ каменный мѣшокъ успокоился.

А за стѣной шуршитъ, кашляетъ — это сосѣдъ мой безсонникъ.

Только вдвоемъ мы не спимъ: онъ — потому что душа у него ночная, душа его дышетъ ночью; я — моей работы никогда не окончить и рука коченѣетъ, а я сижу, и погаснетъ тоненькая свѣча (этотъ единственный свѣтъ!), а я буду такъ же сидѣть.

Тутъ и мои книги — мало ихъ у меня осталось! — Гоголь, Достоевскій....

> Гоголь: «поэты берутся не откуда же нибудь изъ-за моря, но исходятъ изъ своего народа. Это — огни, изъ него же излетѣвшіе, передовые вѣстники силъ его».

— Николай Васильевичъ! — какіе огни? Или не слышите? Одинъ пепелъ остался: пепелъ, зола, годная только, чтобы вынести ее на совкѣ да посыпать тротуары. А потомъ растопчетъ чья-нибудь американская калоша.

*

Сосѣдъ умолкъ. А подъ утро, знаю, опять начнется — этотъ кашель его сверлящій.

Все замолкло — мертвый каменный мѣшокъ! — великое молчаніе свободы.

Какъ часто теперь я больше не чувствую свое тѣло: я какъ бы отдѣляюсь — великое молчаніе свободы! — и нѣтъ никакихъ желаній.

У меня было много пріятелей — и всѣ куда-то пропали!

Остался одинъ: не забываетъ — зайдетъ, присядетъ къ столу — одно ухо длинное, острое, а глазъ, какъ три глаза! Говоритъ же онъ со мной половинкой своей обыкновенной съ ухомъ и глазомъ обыкновеннымъ: говоритъ о пай-

кахъ, категоріяхъ, литерахъ. А другой половинкой ужасной такъ ужасно смотритъ — —

— — —

Нѣтъ, сосѣдъ не успокоился, безсонникъ, опять закашлялъ.

— Федоръ Михайловичъ! Что я сегодня видѣлъ! — видѣлъ я издыхающую собаку: она сидѣла подъ заборомъ какъ-то по-человѣчески и въ окрававленныхъ губахъ жевала щепку.

ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛЪ

I

Конституція

1. Обезвелполпалъ (обезьянья-великая-и-вольная-палата) есть общество тайное —

> происхожденіе — темное,
> цѣли и намѣренія — неисповѣдимыя,
> средствъ — никакихъ.

2. Царь обезьяній — Асыка-Валахтантарарахтарандаруфа-Асыка-Первый-Обезьянъ-Великій:

> о немъ никто ничего не знаетъ,
> и его никто никогда не видѣлъ.

3. Есть асычій нерукотворенный образъ — на головѣ корона, какъ пѣтушиный гребень, ноги — змѣи, въ одной рукѣ — вѣнокъ, въ другой — трехвостка.

4. Гимнъ обезьяній:

> я тебя не объѣлъ,
> ты меня не объѣшь,
> я тебя не объѣмъ,
> ты меня не объѣлъ!

5. Танецъ обезьяній: «вороній» — въ плащахъ, три шага наноскахъ, крадучись, въ стороны и подпрыгъ наоборотъ съ присядомъ, и опять сначала.

6. Семь князей. Семь старѣйшихъ кавалеровъ-вельможъ, ключарь, музыкантъ, канцеляристъ и сонмъ кавалеровъ и изъ нихъ служки и обезьяньи полпреды.

7. Три обезьяньихъ слова: «ахру» (огонь), «кукха» (влага), гошку» (ѣда).

8. Принято отвѣчать на письма.

II

МАНИФЕСТЪ

Мы, милостью всевеликаго самодержавнаго повелителя лѣсовъ и всея природы —

АСЫКА ПЕРВЫЙ

верховный властитель всѣхъ обезьянъ и тѣхъ, кто къ нимъ добровольно присоединился, презирая гнусное человѣчество, омрачившее свѣтъ мечты и слова, объявляемъ хвостатымъ и безхвостымъ, въ шерсти и плѣшивымъ, приверженцамъ нашимъ, что здѣсь въ лѣсахъ и пустыняхъ нѣтъ мѣста гнусному человѣческому лицемѣрію, что здѣсь вѣсъ и мѣра настоящіе и ихъ нельзя поддѣлать и ложь всегда будетъ ложью, а лицемѣріе всегда будетъ лицемѣріемъ, чѣмъ бы они ни прикрывались; а потому тѣмъ, кто обмакиваетъ въ чернильницу кончикъ хвоста или мизинецъ,

если обезьянъ безхвостъ, надлежитъ помнить, что никакія ухищренія пузатыхъ отравителей въ своемъ рабьемъ присядѣ, какъ будто откликающихся на вольный кличъ, но не допускающихъ борьбу за этотъ кличъ, не могутъ быть допустимы въ ясно-откровенномъ и смѣломъ обезьяньемъ царствѣ, и всякія попытки подобнаго рода будутъ караемы изгнаніемъ въ среду людей человѣческихъ, этихъ достойныхъ сообщниковъ лицемѣровъ и трусливыхъ рабовъ изъ обезьянъ, о чемъ объявляемъ во всеобщее свѣдѣніе для исполненія; данъ въ дремучемъ лѣсу на лѣвой тропѣ у сороковца и подмазанъ собственнохвостно; скрѣпилъ и деньги серебрянной бумагой получилъ бывш. канцеляристъ обезвелволпала cancellairus —

III

ЛОШАДЬ ИЗЪ ПЧЕЛЫ

— хожденіе по Гороховымъ мукамъ б. канцеляриста и трехъ кавалеровъ обезвелволпала —

ДОНЕСЕНІЕ

старѣйшему князю обезьянему Павлу Елисеевичу Щеголеву.

Въ ночь на Срѣтеніе , въ великую метель и вьюгу по замыслу нечистой силы или отъ великаго ума человѣческаго, произведенъ былъ обыскъ въ Обезьяньей-великой-и вольной-палатѣ и забранъ б. канцеляристъ обезвелвол-

пала. И въ ту же ночь той же участи подверглись три обезьяньихъ кавалера — К. С. Петровъ-Водкинъ, А. З. Штейнбергъ и М. К. Лемке; а на Карповкѣ взятъ епископъ обезьянскій Замутій (въ мірѣ князь обезьянскій Евг. Замятинъ), а на Забалканскомъ кавал. обеззн. К. А. Сюннебергъ-Эрбергъ, а на Загородномъ предсѣдатель (и не обезьяньей) — Книжной Палаты С. А. Венгеровъ. Поименованные: Сюннебергъ-Эрбергъ, епископъ Замутій и предсѣдатель Венгеровъ, допрошенные на Гороховой, отпущены по домамъ, причемъ во время допроса у одного изъ потерпѣвшихъ съѣдены были котлеты, хранящіяся на случай въ портфелѣ —

> *«точно не зналъ, что мѣста сіи обитаемы разбойниками!»*

На слѣдующій день къ ночи захваченъ былъ кавал. обеззн. А. А. Блокъ, а другой кавал. Р. В. Ивановъ-Разумникъ отправленъ со Шпалерной изъ Предварилки на Москву.

По утру по обѣднѣ черезъ обезьяньяго зауурядъ-князя было донесено о ночномъ происшествіи въ обезвелволпалѣ Алексѣю Максимовичу Горькому, и что дѣлать: не вышло бы какой бѣды — написаны обезьяньи грамоты на глаголицѣ! — а на глаголицѣ и такіе ученые, какъ Пинкевичъ, и даже самъ Н. Н. Сухановъ не понимаетъ!» А гулявшій послѣдніе часы на свободѣ А. А. Блокъ, несмотря на праздничный день, проникъ во Дворецъ къ самому наркому А. В. Луначарскому съ жалобой на обезьяню неприкосновенность обезвелволпала.

Такъ было ликвидировано, какъ говорится, возстаніе «лѣвыхъ с-р-овъ» въ Петербургѣ.

ОБЫСКЪ

Сонъ: «песъ въ тазу» —

огромный мѣдный тазъ, какъ резиновый, наливаемъ кипяткомъ и въ тазу стоитъ огромный песъ, фурчитъ, а ничего; а тутъ С. В. Познеръ отпихнулъ ногой дверь и несетъ на блюдѣ пирогъ.

Днемъ газета — въ газетѣ слова Спиридоновой: «слушай земля!» И подумалось: «обыскъ!» Не обратилъ вниманія: о ту пору обыскная мысль и надо и не надо лѣзла въ голову.

Съ вечера мело — завтра Срѣтеніе! Зажегъ лампадку и при огонькѣ взялся за книгу — «Изслѣдованіе о Михаилѣ архангелѣ». Читая, рисовалъ. И когда подъ крыльями подписывалъ: «Salve obductor angele!» («Радуйся ангеле-водителю!») слышу стукъ шаговъ по лѣстницѣ. Я зажегъ лампу и съ лампой къ двери —

«— — вооруженные до зубовъ ворвались чекисты — — »

Мнѣ показалось, очень много и очень всѣ страшные — «до зубовъ», но когда моя серебряная стѣна съ игрушками зачаровала пришельцевъ, я увидѣлъ простыя лица и совсѣмъ нестрашныя, и только у одного пугала за плечами винтовка.

— Годится ли отъ лампадки закуривать? — замѣтилъ мнѣ который-то.

— Да я спичкой огонекъ беру!

Но это все равно, хотя бы и нестрашныя — и это всегда при обыскахъ! — какъ будто нахлестнется на шею и — петля!

А въ «Обезьяньей-великой-и-вольной-палатѣ» ни хлѣ-

ба,ни чего — все подобралось! — а только сухариковъ немножко, на случай болѣзни берегъ, да табаку собралъ въ коробку, такъ на донышкѣ, черные сигарные листы, завязалъ все въ узелокъ, и повели —

А на волѣ мететъ!

ПОВЕЛИ ВЪ СОВДЕПЪ

Захлестнулось — теперь никуда! — иду, какъ на арканѣ и странно, какъ по воздуху, вотъ настолечко отъ земли! — фонарь — въ фонарѣ свиститъ, ишь, запутался въ трамвайной проволокѣ, ну! —

забѣгаетъ — забѣгаетъ — —

нѣтъ, не поддается!

— — да хлопъ комокъ подъ ноги!

и ускакалъ.

Идемъ по трамвайнымъ рельсамъ. Снѣгъ въ глаза, а не холодно. Еще бы холодно!

— Куда?

Молчитъ.

Я оглянулся: а за спиной черно — черной стѣной закрываетъ.

ПОДЪ ЛѢСТНИЦЕЙ ВЪ СОВДЕПѢ У ПЕЧКИ

— Придется подождать: приведутъ еще товарища!

Это сказалъ не тотъ, который меня велъ — тотъ , какъ снѣжокъ, прыгнулъ въ метель — это другой.

Я забился въ уголъ головой подъ лѣстницу. Между мною и моимъ стражемъ прислонена къ лавкѣ винтовка. Онъ подбросилъ полѣно въ раскраснѣвшуюся печку — и краснымъ пыхнуло жаромъ.

Онъ — рабочій съ Трубочнаго завода,
а я — —

— Саботажникъ?

— Нѣтъ.

— — — ?!

Недовѣрчивымъ глазомъ посмотрѣлъ на меня въ полуоборотъ и такъ недовѣрчиво-подозрительно и остался, а другой его глазъ туда — въ метельную темь.

« — въ этомъ домѣ до Совдепа жилъ Ф. К. Сологубъ, и сюда подъ лѣстницу засидѣвшіеся гости спускались будить швейцара, и нетерпѣливо ждали, когда швейцаръ крякнетъ — »

— Ведутъ!

Громко, безъ стѣсненія, распахнулась дверь —

К. С. Петровъ-Водкинъ!

Я ему очень обрадовался.

Съежившійся растерянно смотрѣлъ онъ изъ шубы, еще бы! вѣдь всю-то дорогу, какъ вели его, онъ себѣ представлялъ, что ведутъ его на разстрѣлъ — «китайцы будутъ разстрѣливать!» — и въ предсмертныя минуты онъ вспомнилъ всѣ свои обложки и заглавныя буквы и марки, нарисованныя имъ для «Скифовъ» и «Знамени борьбы» — —

И вотъ вмѣсто «китайцевъ» — я:

— Козьма Сергѣевичъ!

— Трубку потерялъ, — сказалъ онъ, обшариваясь, и не находя.

Насъ вели по знакомой лѣстницѣ — все вверхъ — «къ Сологубу».

У «СОЛОГУБА»

Ничего не видно

— храпъ — и ползетъ — —

Присѣли къ столику, закурили и ни гу-гу. Въ двери окошечко — жаркой свѣтъ. За дверью шумѣли «китайцы», потомъ «китайцы» по-нѣмецки стали разговаривать, а потомъ «китайцы» замолкли —

— храпъ — и ползетъ — —

« — мы сидимъ въ «залѣ у Сологуба» и мнѣ ясно представился послѣднiй вечеръ у Сологуба на этой квартирѣ: елка — тѣсно — какой-то пляшетъ вокругъ елки, а елка вотъ тутъ, гдѣ сейчасъ мы сидимъ у столика.

«Кто этотъ молодой человѣкъ?» — спрашиваетъ меня Е. В. Аничковъ.

А я и не знаю и говорю наобумъ: «Дураковъ!» Артуръ Лурье и съ нимъ Л. Добронравовъ у стѣнки тамъ — а тамъ М. А. Кузминъ, О. А. Глѣбова-Судейкина, Теффи — — А вотъ и самъ Павелъ Елисеевичъ Щеголевъ; а за нимъ П. Я. Рысъ, а за Рысомъ на комариныхъ ножкахъ С. А. Адрiановъ — »

— храпъ — и ползетъ — —

Чья-то рука пошарила по столику. Ловко, какъ изъ

отрывного календаря, оторванула — на столикѣ книга! — и во тьмѣ загорѣлся еще огонекъ.

«Бѣда, — подумалъ я, — коли надобность выйти!»

А какой-то, возставшій изъ тьмы, стучалъ въ дверь «китайцамъ» — а «китайцы», какъ вымерли. Такъ несчастный и откулачился отъ двери и упалъ во тьму.

И мы, обкурившись, опустились на полъ.

И сонъ — и сквозь сонъ пить хочется! — сномъ затянулся, какъ папиросской, безпамятно —

— — — — — — — — — —

и вдругъ — распахнулась дверь и остренькій тощенькій, вскоча въ комнату, затараталъ, какъ будильникъ.

И я сразу проснулся.

ПО УТРУ

Да насъ тутъ набилось — цѣлый клоповникъ!

здѣсь сидѣлъ Иванъ Степановъ Петровъ
лошадь изъ пчелы за спикуляцію

— — спекуляція? — говоритъ какой-то со сна съ перемычками, — что такое спекуляція?

— — обольемъ тебя водой и заморозимъ — это спекуляція!

Яшка Трепачъ
чека — лка

— — свобода! она хороша, когда есть своя голова; а голова не то, что бъ была она свободная, а какъ сказать, настоящая голова, а не пыльный мѣшокъ.

— — натравливаютъ, ну и каждый дѣлается, какъ собака.

— — клюетъ свинство.

Поздравителямъ 1918 года:
б. полотеру — 2 р.
б. швейцару — 5 р.
б. водопроводчику — 1 р.
б. трубочисту — 1 р.

— — волки и тѣ стадомъ ходятъ!

— — вчера заставили дрова носить.

— — тоже и воду, и прибрать все надо.

— — —

Осмотрѣлъ я стѣну, исписанную и карандашемъ и углемъ и мѣломъ: телефоны, фамиліи и всякія «нужныя» и такъ изреченія и «на память». И опять къ столику, гдѣ ночью сидѣли. Тутъ и Петровъ-Водкинъ поднялся.

— Трубку потерялъ! — тужилъ онъ, никакъ не могъ забыть.

Я взялъ со стола растерзанную книгу, служившую, какъ отрывной календарь, — и сразу же узналъ: это мои «Крестовыя сестры».

— «Крестовыя сестры!»—показалъ я Петрову-Водкину.

Но онъ ничего не отвѣтилъ.

А я ничего не подумалъ — а прежде бы подумалъ да еще какъ! — я положилъ книгу назадъ на столикъ.

— — —

Хотѣлось мнѣ списать со стѣны, а изъ «Крестовыхъ сестеръ» выдрать страницу пожалѣлъ; на полу валялся примятый листокъ — на немъ Петровъ-Водкинъ ночевалъ, вотъ на немъ —

Яшка Трепачъ принесъ что-то въ родѣ кипятку — Яшка Трепачъ староста! — но пить не изъ чего было.

— Скажите , пожалуйста, — обратились мы оба къ Яшкѣ, — долго намъ тутъ сидѣть?

— Если на Гороховую не затребуютъ, засядете надолго.

— Можетъ, насъ, какъ заложниковъ, тутъ оставятъ? — въ одинъ голосъ сказали мы Яшкѣ.

— Заложниковъ? — Яшка окинулъ насъ веселымъ глазомъ, — такую дрянь!

Вошелъ «китаецъ» и сказалъ чистымъ русскимъ языкомъ:

— Которыхъ привели ночью — —?

Мы съ Петровымъ-Водкинымъ выступили.

— Заложники! — поддалъ Яшка, — ну, и народъ!

— Нѣтъ ли хлѣбца! — остановилъ ледящій, котораго вчера заставили дрова таскать на 6-ой этажъ.

— Хлѣбъ не отдавай! — окрикнулъ кто-то вдогонъ, — съ Гороховой скоро не выпустятъ.

А когда мы съ «китайцемъ» выходили изъ «залы Сологуба», въ проходѣ столкнулись со Штейнбергомъ и Лемке: они ночевали въ «кабинетѣ Сологуба» —

Штейнбергъ — въ женской шубѣ,
Лемке — съ такимъ вотъ чемоданомъ, какіе только въ багажъ сдаютъ.

ВЪ СЛѢДСТВЕННОЙ КОМИССІИ

Насъ принялъ тощенькій остренькій — я сразу его узналъ, это тотъ, что во снѣ мнѣ приснился: вбѣжалъ въ

камеру и затараталъ, какъ будильникъ. Онъ отобралъ у насъ документы: паспортныя книжки и удостовѣренія на всякія права.

Получить удостовѣреніе — это большая работа и я очень забезпокоился.

— Прошу васъ, не потеряйте!

— Не безпокойтесь: поведутъ на Гороховую, отдамъ.

И онъ сталъ звонить на Гороховую.

ему отвѣчали и не отвѣчали.

А онъ все звонилъ.

— Товарищъ Золотарь, неуёмная головка! — замѣтилъ который-то изъ стражи, ну, конечно, никакой не китаецъ, а самый нашъ откуда-нибудь съ Трубочнаго завода.

Мы сидимъ передъ столомъ въ рядъ:

Штейнбергъ въ женской шубѣ,
Петровъ-Водкинъ — изъ шубы,
Лемке — съ чемоданомъ, какіе только въ багажъ сдаютъ,
и я съ узелкомъ.

— Шесть мѣсяцевъ въ Кронштадтѣ сидѣлъ, — объясняетъ Лемке, не выпуская изъ рукъ чемодана, — знаю по опыту.

На столѣ у товарища Золотаря огромная фарфоровая голубая лягушка — стоитъ она на заднихъ лапкахъ, «служитъ».

Я смотрю на эту голубую, ни на что не похожую, лягушку и почему-то вспоминается мнѣ такой нравоучительный разсказъ изъ «Азбуки для самыхъ маленькихъ» и я повторяю слова:

« — — пролилъ Лука чернила — плакалъ Лука»;

« — — съѣлъ Лука муху — плакалъ Лука»;

« — — кувыркнулся Лука со стула, стукнулся головой объ полъ — плакалъ Лука»;

« — — схватилъ Лука огонь, обжегъ пальцы — плакалъ Лука»;

— — —

А Золотарь звонитъ.

ПОВЕЛИ НА ГОРОХОВУЮ

« — — окруженный кольцомъ вооруженныхъ до зубовъ чекистовъ — — »

И дѣйствительно, стражи набралось что-то не мало: и милиціонеры и красноармейцы и еще съ Гороховой какіе-то. Но должно быть, все это только для виду — опытный глазъ Яшки Трепача не ошибался! — насъ посадили въ трамвай, на прицѣпной. И везли до самой Гороховой на трамваѣ. А отъ трамвая шли мы вразсыпную.

И это совсѣмъ не то — не та картина! — и встрѣтя, никто не сказалъ бы про насъ, какъ недавно еще говорили про «книгочія василеостровскаго», встрѣтивъ его на Большомъ Проспектѣ, окруженнаго матросами: велъ онъ матросовъ показывать Публичную Библіотеку:

«Якова Петровича, — говорили съ сокрушеніемъ, — видѣли, говорятъ, на Большомъ Проспектѣ, борода развѣвается: вели его, несчастнаго, матросы разстрѣливать!»

ПО ЛѢСТНИЦѢ НА ГОРОХОВОЙ

Когда я поднимался по сводчатой лѣстницѣ мимо подстерегающихъ пулеметовъ, я представлялъ себѣ, что мо-

жетъ чувствовать человѣкъ, никогда не проходившій ни черезъ какія лѣстницы, ни въ какія тюрьмы —

> а вѣдь кажется, никого не оставалось изъ живущихъ въ Петербургѣ, кому не суждено было за эти годы пройти черезъ сыпнякъ или по этой лѣстницѣ!

Какіе страхи мерещились несчастнымъ, застигнутымъ нежданно-негаданно судьбою, и какой страхъ гнался и цапалъ со всѣхъ сторонъ, и не пулеметы, а сами нюренбергскія бутафорскія машины и снаряды пытокъ лѣзли въ глаза, цѣпляя, вывертывая и вытягивая.

Петровъ-Водкинъ догналъ меня со своимъ конвойнымъ.

ВЪ ГОРОХОВОЙ КАНЦЕЛЯРІИ

Старичекъ-«охранникъ» бритый съ зелеными губами — а вотъ кто, если бы смотрѣлъ, сколько бы увидѣлъ обреченныхъ человѣческихъ чувствъ! —

> или когда такое творится (и эта не-обходимая лѣстница и этотъ не-отвратимый «пріемъ!»)
> и ужъ не въ волѣ человѣческой, а судьба и судъ,
> — и смотрѣть не полагается?

Не гладя, поставилъ онъ насъ — Петрова-Водкина одесную, меня ошую — раскрылъ книгу и подъ какимъ-то стотысячнымъ №-омъ сталъ записывать одновременно и мое и Петрова-Водкина.

> и кѣмъ былъ и чѣмъ есть и откуда корень и кость
> и много ль годовъ живу на бѣломъ свѣтѣ?

Потомъ отобралъ документы, уже прошедшіе черезъ Золотаря, и велѣлъ подписаться въ книгѣ каждому порознь подъ своимъ №-омъ.

И поддавшись всеобщему чувству — передъ судьбой и судомъ! — я, какъ когда-то на вступительномъ экзаменѣ въ приготовительный классъ подъ диктовкой — «коровки и лошадки ѣдятъ траву» — вывелъ нетвердо, но ясно вмѣсто «Алексѣй Ремизовъ» —

Алекей Ремзов

КАМЕРА 35-ая

КОНТРЪ-РЕВОЛЮЦІЯ И САБОТАЖЪ

— «Алекѣй Ремзовъ?»

— Я.

— Петръ Водкинъ?»

— Тутъ! — отозвался Козьма Сергѣевичъ.

Всѣ тутъ были: и Штейнбергъ въ женской шубѣ, и Лемке съ чемоданомъ, какіе только въ багажъ сдаютъ. И еще незнакомые: одни сидѣли, другихъ сажать привели —

> баба съ живымъ поросенкомъ: шла баба по спекуляціи, попала на обыскъ и угодила въ контръ-революцію;
>
> дама съ искусственными цвѣтами: «дверью ошиблась» и попала въ засаду;
>
> балтъ-моръ : наскандалилъ чего-то;
>
> красноармеецъ изъ «загородительнаго отряда»: бабу прикончилъ, загорождая;
>
> человѣкъ съ огромными бѣлыми буквами на спинѣ — какъ слонъ! — бѣглый изъ германскаго плѣна;
>
> да два «финляндца»: перебѣгали границу — прямо съ границы.

Всякій разсказалъ другэму свои происшествія: какъ и почему попалъ и попался. Но больше некому разсказывать.

— И долго ли намъ еще тутъ томиться?

И наползаютъ всякіе страхи: за окномъ автомобиль стучитъ — «пары выпускаетъ» — и я вижу, какъ прислушивается баба съ поросенкомъ и поросенокъ не пищитъ.

— Автомобиль пары выпускаетъ, извѣстно: разстрѣливаютъ!

ОБѢДЪ

Немножко поздновато, ну, когда цѣлый день постъ, тутъ, хоть и въ полночь, а все обѣдъ будетъ, не ужинъ! Поставили миску на столъ и ложку:

— Обѣдъ.

— Спасибо.

У Штейнберга ложка , а у Лемке въ его чемоданѣ цѣлая дюжина, да вынулъ онъ одну (по опыту знаетъ, больше не стоитъ!), да казенная. Сѣли мы вкругъ миски и чередомъ въ три ложки принялись за супъ.

И поросенокъ оживился: хрючитъ, клычки скалитъ, хвостикомъ поддѣваетъ — ну, ему баба кусочекъ хлѣба въ пятачекъ сунула:

— Кушай!

Такъ всю миску и подчистили.

Унесли пустую миску, убрали ложки.

— И долго ли намъ еще тутъ томиться?

А говорятъ:

— Подожди — слѣдователь вызоветъ!

Первымъ вызвали Лемке.

Взялъ Лемке свой чемоданъ и повели его съ чемоданомъ куда-то въ корридоръ. И пропалъ Лемке.

Пропалъ Лемке! — — а за окномъ автомобиль стучитъ — «пары выпускаетъ» — —

— И есть тутъ, сказывали, — шепчетъ баба съ поросенкомъ, — находится надзиратель, пѣтухомъ кричитъ: разстрѣливалъ и помѣшался — пѣтухомъ кричитъ.

ДОПРОСЪ

Что подумаетъ баба съ поросенкомъ, когда придетъ и ея чередъ и ее введутъ въ слѣдовательскую къ товарищу Лемешову!

Не слѣдователь — Лемешовъ свой человѣкъ, баба это сразу сообразитъ по говору съ его первыхъ словъ! — нѣтъ, а эти вотъ машины: телефонные комутаторы и аппараты и синій свѣтъ отъ абажура, отъ чего машины еще стальнѣе. И изъ тьмы, куда не попадаетъ этотъ свѣтъ, почудится ей, какъ прорѣзывается рѣшетка тюремнаго окна, а за словами допроса стукъ автомобиля и изъ стука пѣтушинный крикъ разстрѣливающаго надзирателя.

Штейнбергъ дописывалъ свои показанія, а мы съ Петровымъ-Водкинымъ начинали.

И какъ тамъ на «пріемѣ», такъ и тутъ одинъ запѣвъ:

> чѣмъ былъ и что есть и какого кореня и кости
> и много ль годовъ живу на бѣломъ свѣтѣ?
> — — —
>
> — — —

Я писалъ завитущато — и перо хорошее и сидѣть удобно и свѣтъ такой, не темнитъ и не рѣжетъ! — и въ концѣ подпись свою вывелъ:

съ голубемъ, со змѣей, съ безконечностью —
съ крылатымъ «з», со змѣинымъ «кси»
съ «ѣ» — въ Алексѣ
съ «ижицей» — зъ Ремизовѣ
и съ заключительнымъ «твердымъ знакомъ»

Штейберга отправили назадъ въ камеру, а насъ съ Петровымъ-Водкинымъ — въ корридоръ.

Лемешовъ съ бумагами проскочилъ на верхъ въ «президіумъ».

ПРЕЗИДІУМЪ

Что такое президіумъ? Но этого никто не скажетъ — что такое президіумъ! — потому что никто его не видѣлъ и ничего не знаетъ. И одно знаемь, что тамъ рѣшается наша судьба —

это зубы и пилы и крюки и ножи и стрѣлы и глазатыя уши и зубатыя лапы, это носъ пальчетовидный и пальцы съ зубами — синее, желтое, красное и черное, это — судьба!

Мы сидимъ въ корридорѣ на чемоданѣ Лемке — самъ Лемке въ камерѣ — и очень хочется пить и еше такое , какъ бываетъ послѣ допроса: какъ будто кто-то тамъ внутри по внутренностямъ провелъ постороннимъ предметомъ — «механическое поврежденіе».

Ни къ обыскамъ, ни къ допросамъ не привыкнешь — я не могу привыкнуть! — и мнѣ всегда чего-то совѣстно и за себя и за того свидѣтеля моихъ словъ, кто меня допрашивалъ. И это не только въ тюрьмѣ, а и въ жизни — на волѣ!

Нельзя ли съорганизовать чаю! — взмолились мы къ служителю.

Служитель шмыгалъ по корридору безъ всякой видимой причины.

— Это можно! — сказалъ онъ и посмотрѣлъ на насъ добрыми глазами.

И откуда что взялось: кипятокъ и чай — и такой горячій, губы обожжешь.

Развернулъ я мой узелокъ сухариковъ попробовать — «берегъ на случай болѣзни!» И съ сухариками стали мы пить и пересказывать наши отвѣты на допросѣ —

никогда такъ не говорится, какъ послѣ скажется, а что сказано, не выскажешь!

И когда мы такъ въ разговорахъ горячій чай отхлебывали, изъ другой двери отъ другого слѣдователя вышла баба съ поросенкомъ. И повели ее, несчастную, мимо камеры «контръ-революціи» въ сосѣднюю — въ «спекуляцію».

И видѣлъ я, какъ шла баба — — нѣтъ, о себѣ она ужъ не думала: одинъ конецъ!

«А за что ему такое?— поросятинѣ несчастной? въ чемъ его вина, что ему здѣсь мучиться?»

У КОМЕНДАНТА

Лемке — съ чемоданомъ,
Петровъ-Водкинъ — въ шубѣ,
и я съ узелкомъ — —

терпѣливо ждемъ въ комендантской, куда насъ привела судьба по суду.

Ужъ очень время-то неподходящее: пора спать, а тутъ

затребовали бумаги! И комендантъ долго роется въ грудѣ. И отыскавъ, наконецъ, подъ стотысячнымъ №-омъ наши документы и удостовѣренія, выдалъ ихъ намъ на руки.

— Нельзя ли получить какой ночной пропускъ, а то выйдемъ мы на волю, насъ сейчасъ же и сцапаютъ!

— Не сцапаютъ!

И никакого намъ пропуска не дали.

А тихо-смирно — ночное время! — провели по лѣстницѣ внизъ и на улицу — на Гороховую.

Вышли мы на улицу, воздухомъ-то какъ съ воли дунуло, шагу-то и поддало, и! — пошли.

ПОДЪ МОСТОМЪ

Шли мы по улицѣ — посередь улицы, гдѣ трамвай идетъ —

Петровъ-Водкинъ,
Лемке,
и я, цѣпляясь за Лемке.

А сугробы намело — глубокіе!

Не мостомъ, идемъ прямо по Невѣ подъ мостомъ: незамѣтнѣе!

И видимъ: по мосту черные гонятъ какихъ-то — сцапали! Луна срѣтенская — такъ и зеленитъ. Незамѣтно идемъ, да тѣнь-то отъ насъ на полъ-Невы.

— — то тамъ промелькнетъ, то изъ сугроба выюркнетъ черный по бѣлому, по лунному — —

Выбрались мы на берегъ. Тутъ заколоченный магазинъ, а сбоку вывѣска «чай и кофе» — прижались къ «чаю и кофею» —

Да нѣтъ никого!
И опять пошли —
Петровъ-Водкинъ,
Лемке,
и я, цѣпляясь за Лемке —
— Тридцать лѣтъ съ женой подъ-ручку не ходилъ а вотъ съ Ремизовымъ пошелъ!

IV

РОЖЬ

— Скажите, Яковъ Гавриловичъ, гдѣ бы мнѣ ржи достать?

— А вамъ зачѣмъ?

— Да у насъ вмѣсто хлѣба все овесъ выдаютъ, надоѣло; хочу изъ ржи кашу дѣлать. Вонъ И. А. Рязановскій эту самую кашу , какъ лакомство, употребляетъ. Только что тяжеловато, говоритъ, а каша хорошая.

— На Знаменской попробовать если...

Яковъ Гавриловичъ книжный человѣкъ, своя лавка — и новыя книги и старыя, все, что хотите — но онъ и въ этомъ дѣлѣ понимаетъ: Яковъ Гаврилычъ первый присоединился къ лозунгу — «безъ аннексій и контрибуцій!»

— Яковъ Гаврилычъ, достаньте, пожалуйста, Я по такимъ мѣстамъ не хожъ: меня вездѣ чего-то боятся. И на счетъ табаку....

— Этотъ номеръ не пройдетъ, табаку не могу, некурящій, а ржи постараюсь.

Я отложилъ книги, какія у меня были понаряднѣе

— съ книгами приходится разставаться! — отсчиталъ мнѣ Яковъ Гаврилычъ денегъ за нихъ тысячи совѣтскими, связалъ книжки такъ, чтобы удобнѣе на санки положить, и мы простились.

— До свиданія, Яковъ Гаврилычъ, большое вамъ спасибо!

— До свиданія-съ! До будущаго воскресенья.

А я ему еще разъ вдогонку:

— Ржи-то!

*

Въ воскресенье опять я отложилъ книгъ, какія повиднѣе. Послѣ обѣда пришелъ Яковъ Гаврилычъ, забралъ книги, а вмѣсто тысячъ — пакетъ ржи.

И вотъ, когда я, пересыпавъ рожь въ коробку, свертывалъ бумагу — всякая бумажонка это драгоцѣнность большая и зря бросать не годится! — вижу какіе-то знаки не то эфіопскіе, не то глаголическіе, и отложилъ листки. А вечеромъ пришелъ П. Е. Щеголевъ — «старѣйшій князь обезьяній!» — разговорились о чемъ-то литературномъ, отошелъ я къ полкамъ книгу какую-то отыскать, а онъ, какъ всегда, «машинально» листки-то эти подозрительные со стола взялъ — —

— Откуда, — говоритъ, — это у васъ такое?

— Что тамъ?

— Да это жъ обезьянье!

— Вотъ чудеса! — неужто обезьянье?

И сѣли мы съ нимъ разбирать знаки — не то эфіопскіе, не то глаголическіе — обезьяньи: «донесеніе обезьяньго посла обезьяньей вельможѣ»:

*

«— — спѣшу увѣдомить тебя, другъ мой, что «положеніе дѣлъ въ великой бѣлой имперіи «страшно измѣнилось: всѣ люди вышли изъ «скотскихъ загоновъ и объявили, что они человѣки, но при этомъ они стали разбра«сывать нечистоты на площадяхъ и улицахъ, «утверждая, что во всеобщемъ засореніи заклю«чается истинная свобода. Вожди ихъ говори«ли, что людей единственно можно убѣждать, «отказавшись отъ всякаго принужденія, по«этому никто никого не сталъ слушаться. И каж«дый сталъ дѣлать, что хотѣлъ. Ты знаешь, что «у насъ, въ обезьяньемъ царствѣ, свободно-вы«раженная анархія, но она подчинена строгимъ «правиламъ и выработаннымъ формамъ, кото«рымъ каждый подчиняется совершенно сво«бодно. Напримѣръ, хотя бы при переправѣ «черезъ рѣку — всѣ берутъ одинъ другого за «хвостъ и такимъ образомъ переплываютъ цѣпью. «Каждый понимаетъ, что иначе переправиться «нельзя, либо онъ утонетъ. Слабыя же дѣти пе«реходятъ по живому мосту сплетенныхъ обезь«янъ. Представь себѣ у людей — этихъ напы«щенныхъ дураковъ! — совсѣмъ иначе: они ста«ли не облегчать себѣ жизнь, а затруднять, при«чиняя всевозможныя насилія во имя свободы «и заставляя каждаго заниматься несвойствен«нымъ ему дѣломъ. Особенно намъ, интелли«гентнымъ обезьянамъ, было смѣшно, когда «писатели скалывали ледъ на улицахъ и раз«гружали барки съ дровами. Нѣтъ, я никогда «не унижусь до того, чтобы когда-нибудь за-

«хотѣть стать человѣкомъ, какъ объ этомъ меч-
«тала моя бабушка, находившаяся въ крѣпо-
«стномъ состоянiи у бывшаго барона фонъ-
«Пфиферганга въ городѣ Штумбенбургѣ, Мы
«видимъ противоположное явленiе: наиболѣе поч-
«тенные изъ людей съ удовольствiемъ отказы-
«ваются отъ своего человѣческаго достоинства и,
«переходя въ наши ряды, становятся поддан-
«ными великаго Асыки. Нужно сказать правду,
«превратиться изъ человѣка въ обезьяну не
«такъ трудно, хотя и не легко отказаться отъ
«предразсудковъ, связанныхъ со чванной че-
«ловѣческой породой. Преимущества же обезь-
«янъ, если взглянуть трезво, безусловно выше
«человѣческихъ — —

*

«Обезьянье свидѣтельство замѣняетъ визы во
«всѣ государства и даетъ безконтрольный про-
«пускъ въ лѣса, въ поля, въ болота и прочiя
«трущобы всего земного шара.
«Дано сiе свидѣтельство кавал. обеззн. (имя
«рекъ) въ томъ, что онъ поименованный кавал.
«обеззн. имѣетъ неограниченныя права пере-
«ходить, переѣзжать и перелетать всѣ грани-
«цы и черезъ любыя заставы, поставленныя «сво-
«бодолюбивыми» человѣческими ячейками, и не
«связанъ никакими обязательствами и клятва-
«ми и никому ничего не долженъ — воленъ дѣ-
«лать, что хочетъ, и думать, какъ взбредетъ въ
«голову, храня хвостъ.

V

АСЫКА

Насъ стянули со всѣхъ концовъ свѣта: изъ Австраліи, Африки и Южной Америки и я, предводитель обезьянъ, опоясанный тканымъ, гагажьяго пуха поясомъ, ломалъ себѣ голову и рвалъ на себѣ волосы, не зная: какъ вырваться изъ цѣпей, которыми мы были скованы по рукамъ и ногамъ, и улепетнуть на родину! Но было ужъ поздно: прогнавъ по цѣлинѣ черезъ поля, насъ выстроили, какъ красноармейцевъ, на Марсовомъ полѣ, и герольды въ золотѣ со страусовыми перьями на шлапахъ, разъѣзжая по рядамъ, читали намъ приговоръ. Насъ, обезьянъ, обвиняли въ непроходимомъ распутствѣ, злости, бездѣльничаньѣ, пьянствѣ и упорно-зланамѣренной вороватости, и, признавая необыкновенно блестящія природныя способности къ развитію и усовершенствованію, приговаривали: примѣнить къ намъ секретныя средства профессора Болонскаго университета рыцаря Альтенара, потомка викинговъ Гренландіи, Исландіи и Сѣвернаго Ледовитаго Океана. Со слѣпой материнскою любовью и негодованіемъ слѣдилъ я, какъ по совершеніи всѣхъ шутовскихъ церемоній, началась расправа. Эти «гуманнѣйшіе умники» потѣхи ради прокалывали насъ сапожнымъ шиломъ и потомъ били желѣзными молотками; а другимъ намазывали шерсть мягкимъ и горячимъ варомъ, и, закатавъ въ массѣ вара веревку и прикрѣпивъ ее къ тѣлу, продергивали въ хомутъ свободной и сильной лошади и волокли по землѣ подъ гикъ и гамъ, покуда не издыхала жертва; третьимъ тщательно закалывали губы мѣдными англійскими булавками. И много еще было сдѣлано, какъ обузданіе — потѣхи ради. Ког-

да же Марсово поле насытилось визгомъ и стономъ, а земля взбухла отъ пролитой обезьяньей крови, а народъ надорвалъ себѣ животики отъ хохота, прискакалъ на мѣдномъ конѣ, какъ вѣтеръ, всадникъ, весь закованный въ зеленую мѣдь: высоко-взвившійся арканъ стянулъ мнѣ горло — и я упалъ на колѣни. И въ замерѣвшей тишинѣ, дерзко глядя на страшнаго всадника, передъ лицомъ ненужной, ненавистной, непрошенной смерти, я, предводитель обезьянъ Австраліи, Африки и Южной Америки, прокричалъ гордому всаднику и ненавистной мнѣ смерти трижды пѣтухомъ.

ТРИ МОГИЛЫ

Первая могила — на Смоленскомъ:

от сыпного тифа померъ докторъ Сергѣй Михайловичъ Поггенполь.

Точный и вѣрный, знающій и любящій свое дѣло, желѣзный, вотъ какой онъ былъ докторъ желѣзный! — «самый главный надъ всѣми докторами», какъ опредѣлила его Акумовна, вѣщая старуха.

Ученые люди помянутъ его, разскажутъ о его наукѣ, а я — какъ часто я думалъ: «если , не дай Богъ, случится у насъ бѣда, позвоню Поггенполю, буду просить его пріѣхать (на Васильевскій островъ онъ никогда не ѣздилъ!) ну, чего бы ни стоило, все сдѣлаю, только бы пріѣхалъ!» — и теперь помяну его моей вѣрой въ его знаніе и вѣрность.

*

Вторая могила въ Александро-Невской лаврѣ:

отъ сыпного тифа померъ Федоръ Ивановичъ Щеколдинъ.

Не могу я никакъ свыкнуться съ этой безповоротной мыслью о его смерти. Съ похоронъ вернулся домой, поставилъ самоваръ и подумалъ: «придетъ Федоръ Ивановичъ, разскажу ему, какъ хоронили — — »

Не придетъ больше Федоръ Ивановичъ, и на Пасху не жди —

Отпѣвали его въ Исидоровской церкви. Лежалъ онъ въ серебряномъ гробу подъ серебрянымъ покровомъ такой же самый, только красный отъ сыпи, да еще этотъ бѣлый широкій вѣнчикъ на лбу, какъ повязка — какъ бѣлый обручъ! Да когда священникъ, прочитавъ «отпускную» — подорожіе въ безвозвратный путь, коснулся его руки, я видѣлъ какъ безсильно запрыгали квелые потемнѣвшіе пальцы — темные безплодные прутья!

Съ Ф. И. я познакомился въ ссылкѣ въ Устьсысольскѣ: онъ былъ честнѣйшій, самый надежный. И его знали во всѣхъ уголкахъ Россіи — знали какъ «Федора Ивановича, которому можно довѣрить и на котораго можно положиться».

О его революціонной работѣ разскажутъ въ «Исторіи русской революціи», я же помяну его великую честность и его любовь къ березкамъ, да къ полевымъ цвѣтамъ — колокольчикамъ.

*

Третья могила — у Троицы-Сергія подъ Москвою: померъ Василій Васильевичъ Розановъ.

Самый живой изъ старшихъ современниковъ, всеобъемлющій, единственный въ русской литературѣ, и одинокій въ бродячей нашей жизни.

Весной въ революцію ѣздили мы на Шпалерную прощаться съ Василіемъ Васильевичемъ. Говорили въ послѣдній разъ за самоваромъ о любимомъ его — о тайнѣ кровной любви, собирающей живой міръ, о монетахъ — старинѣ драгоцѣнной, и о докторѣ Поггенполѣ.

Напишутъ сотни книгъ, воспоминаній, станетъ Розановъ — главой въ «Исторіи русской литературы», я же помяну Василія Васильевича, нашего сосѣда, сердечность его и отзывчивость — много выпало въ жизни ему бѣды житейской! — и благословеніе его *любви*, которой живъ и крѣпокъ вѣчно раздорный человѣческій, грѣшный міръ.

ЗАЯЦЪ НА ПЕНЬКѢ

Всѣ только и говорятъ: «одинъ убѣжалъ, другой — бѣгу!» А кто и молчитъ, а глазами — въ лѣсъ.

— — —

Чего же мнѣ вдругъ жалко стало?

А жалко мнѣ пасмурнаго утра: я стою на лугу у лѣса — звонитъ монастырскій колоколъ и кукуетъ кукушка. Это было очень давно подъ Звенигородомъ въ Спасъ-Сторожевскомъ монастырѣ, куда еще дѣтьми ходили мы изъ Москвы «на богомолье». Это было мое первое утро, когда я въ первый разъ услышалъ какъ кукуетъ кукушка. Вотъ чего мнѣ жалко — разставаться не хочется.

*

— — —

Чего же я вдругъ обрадовался?

Наклонился надъ самоваромъ угольковъ подбросить и такъ ясно представилъ сѣверную устьсысольскую осень — яснѣйшіе вечера съ синей вечерней зарей, зеленые разросшіеся, какъ кусты, мхи, и жгучесть оторванности отъ всего міра.

*

Снилось: комната вся уставлена книгами и на полу книги; и въ эту комнату поселяютъ меня одного; и жалко мнѣ чего-то и не уйти никуда.

Какъ-то потерялся я. И ужъ не говорю, и слова мои — лишь отзвукъ сказанныхъ.

*

— — — покорный судьбѣ, я подставляю спину подъ плети и лицо плевкамъ. И ничего не говорю. Я иду весь прозябшій, побѣдивъ всякую стужу, иду улицей прямо — я знаю, ни въ комъ не пробудется милосердіе и я упаду обезсиленный. Я не знаю, зачѣмъ нужны всѣ мои униженія и зачѣмъ весь мой страдный путь? За себя мнѣ не страшно, не за себя — —

ЗЕНИТНЫЕ ЗОВЫ

Если что-то не произойдетъ — —
не прикоснется рукой къ моему сердцу — я пропалъ. И въ тяжелой вянущей тьмѣ *какъ будто* беру я что-то — хочу материнскую руку прижать къ сердцу.
И вижу:
паукъ!
И гляжу въ высоту: «Крылатый паукъ , зашей рану на моемъ сердцѣ!» И на зовъ мой спускается мохнатый холодный паукъ.
И тьма еще темнѣй и еще безысходнѣй.
А тамъ — я чую:
колыхаетъ разсвѣтъ!
Къ разсвѣту я обернулся, стражду изъ мрака: «Осѣни!» Молчитъ, колыхаетъ разсвѣтъ.

И опять я прошу: «Духъ высоты!» И слышу, какъ изъ бѣлой волны звучитъ — (или это сердце мое?) «Не хочу!» (или шумъ крови въ усталыхъ ушахъ?) «Не хочу!».

И я во міракѣ томлюсь.

Желѣзная птица съ желѣзнымъ клювомъ — звенитъ когтями, со стукомъ шевелятся острыя перья. Зову желѣзную птицу. (Она расклевала каменный мячъ — освободила солнце, луну и звѣзды, это она продолбила въ камнѣ дыру — и брызнулъ свѣтъ на темную землю!) «Желѣзная птица, бѣлый воронъ, ударь въ мое сердце!» Шелестятъ желѣзныя перья, лязгаетъ клювъ: «Не хочу!»

— — — — — — — — — —

У! какъ вѣтеръ свиститъ въ ушахъ! Санки мчатся по ровной дорогѣ — волки — кони мои! — быстро несутъ. Тамъ — искры зари мелькаютъ. И какъ гулъ по пустынѣ изъ моря звонъ. И вижу:

олень!

Копыта звенятъ, пробиваютъ ледяную кору, не сгибаются ноги. «Желѣзный олень, на рогахъ къ зарѣ подыми! И брось — расколоти тюленьи кости мои въ куски. Я духомъ упаду въ водоворотъ глубины и по тонкой иглѣ взовьюсь къ высотѣ!»

олень подымаетъ рога —

и зарею сверкаетъ крестъ —

у! какъ вѣтеръ свиститъ въ ушахъ! Санки мчатся по ровной дорогѣ — волки — кони мои, — быстро несутъ къ зарѣ — —

Вербное.

Во снѣ: пришелъ Ф. И. Щеколдинъ, прочиталъ о себѣ въ «Трехъ могилахъ» и остался очень доболенъ. В. В. Розановъ тутъ же, спитъ на моемъ холодномъ диванѣ подъ игрушками.

*

Вечеромъ точно прошло что, и я почувствовалъ какъ меня сжало всего и пьетъ. Борюсь, не хочу поддаваться. Во снѣ: О. Д. Каменева привезла мнѣ туфли. (Нехорошій сонъ!).

*

Я проходилъ по Набережной — Нева идетъ! И все смотрю — не я одинъ: стоятъ на мосту смотрятъ —

— Нева идетъ!

И отчего это глядишь, не оторвешься, когда «пошла рѣка»?

«А когда у насъ все установится и настанетъ тишь да гладь — «бытъ» — вѣдь пожалуй, скучно будетъ!»

*

Ладожескій ледъ прошелъ. Растворилъ я комнату, закрытую на зиму

И чего-то вспомнилось и затаилось.

И чего-то поется и не остановишь.

А вечеромъ глядѣлъ, не отрываясь, на первомайскія ракеты — отъ насъ изъ окна все видно. Какъ на рѣку, когда ледъ идетъ, смотришь, такъ и на ракеты — какъ летаютъ огненныя змѣйки и огненныя птицы.

— — проснулись, а на улицѣ городовые стоятъ: въ ночь заняли Петербургъ, никто не слышалъ! Я спѣшу, точно скрываюсь отъ кого. Отъ полиціи? Не знаю. Я одинъ иду. Сумерки. Захожу въ какой-то садикъ, какъ у Казанскаго со-

бора, и вижу: гробь несутъ. Я въ сторону: а и тутъ несутъ другой. И куда я не метнусь — несутъ покойниковъ: черный гробъ, а носильщики — сестры въ бѣлыхъ косынкахъ.

*

По пути домой встрѣтилъ много странныхъ людей — безногихъ, безрукихъ, одноглазыхъ: выползли на свѣтъ Божій, на солнышко. И я вспомнилъ, какъ въ февралѣ пердъ революціей тоже вдругъ появились. Или это обида выходитъ на улицу?

*

«Охотиться за водой!» Никто не повѣритъ. А мы всякій день этимъ заняты — вода на 6-ой этажъ не подымается!

*

Утромъ пошла вода. Я радовался, какъ радуюсь теплу и свѣту. Какое счастье, когда изъ крана течетъ вода!

И оттого ли, что такое утро выдалось счастливое, нахлынула на меня жарчайшая память.

Шелъ на Кронверкскій и все думалъ:

«Чѣмъ живъ человѣкь, чѣмъ красна его измѣнчивая жизнь? Встрѣчей — — ? Мгновенной ли любовью и разлукой? Вѣрой и разочарованіемъ? Или въ измѣнѣ и очарованіи жарчайшая память, и эта память живитъ душу?»

Вернулся домой — а вода прекратилась.

*

Вывезетъ или пропадъ?

На первомъ мѣстѣ агитаціонная литература, затѣмъ учебники, потомъ классики, а потомъ всѣ мы еще живущіе робинзоны. Не дождешься!

Въ прошломъ году, когда закрыли всѣ «буржуазныя» газеты и журналы, это было очень жутко: вѣдь хоть изрѣдка, а всетаки меня печатали, какъ гастролера, и тѣмъ «пропитаніе я себѣ добывалъ». Осень и зиму «побирались», должая, а потомъ вывернулись — появилось частное книгоиздательство — «девятое чудо свѣта!» Но ужъ все , что получено, проѣдено. А теперь? Или пропадъ?

*

Увы! зеленая бочка, въ которой воду бережемъ, течетъ! Надо будетъ дознаться, гдѣ течь? Это такое горе: опять въ бутылкахъ собирать — у насъ 80 бутылокъ изъподъ Боржому.

*

Третій день горитъ электричество до полночи, вотъ счастье! А то вѣдь не успѣешь и оглянуться — и опять во тьмѣ. Хожу въ страхѣ: думаю о дровахъ. Чѣмъ будемъ топить? Рѣдкій часъ не думаю. И какъ будемъ жить? Встаю по-утру съ отчаяніемъ. Всѣ силы уходятъ на то, чтобы что-нибудь достать изъ ѣды и какъ-нибудь быть на бѣломъ свѣтѣ.

*

Обыскъ по всему дому: къ намъ забрались въ 3 часа утра.

Моя серебряная стѣна съ игрушками зачаровываетъ. Есть у меня деревянный волкъ-самоглотъ, къ волку шарикъ привѣшенъ: если качать шарикъ, волкъ головой кланяется, а хвостъ у него подымается. Бабы влипли въ волка: давай хвостъ ловить.

— Товарищи, перестаньте! что вы? дѣти что ли? — отгрызнулъ главный: онъ и самъ бы не прочь, да очень усталъ.

А бабы — я замѣтилъ — куда цѣпче! и все трогаютъ и во всѣ коробочки глазомъ шмырятъ: «покажи!»

*

Приходили изъ Совдепа отъ Жилищной тройки по уплотненію буржуазныхъ квартиръ. Ну, я вамъ скажу, если кто позариться вселиться къ намъ , такъ только себѣ въ наказаніе. Изволь безъ воды! а таскать на 6-ой этажъ тоже удобство!

*

Былъ трубочистъ, не бывшій годъ!

*

Въ окно полыхаетъ зарево — вотъ что еще тянетъ, какъ рѣка и ракеты, не оторвешься и жутко.

*

Раннимъ утромъ съ «Севастополя» выстрѣлъ: необыкновенно торжественное! и укатилось мягко-серебряно-

звонко. И опять въ тотъ же самый часъ пробудило — я улсышалъ: та же торжественная пѣсня — мягко-серебряно-звонко!

Стою въ очередяхъ по три, по четыре часа.

Когда шелъ въ Чернышевъ переулокъ въ кооперативъ «Севпроса», на Исакіевской площади начали путать проволокой; а когда возвращался, вижу, въ Александровскомъ саду разставлены пулеметы и около красноармейцы. А по набережной навалены мѣшки, а гдѣ и на дровахъ. Жалко дровъ — все растащутъ! Ну, слава Богу, все успѣлъ получить! Одна эта мысль: «успѣть бы получить, а тамъ что будетъ, хоть кто хочешь, приходи, все равно!»

*

Въ очереди за хлѣбомъ въ нашей продовольственной лавкѣ какой-то рабочій ко мнѣ тихонько:

— Отогнали!

— — —

*

Трамвай набитъ до невозможности.

— Господа, подвиньтесь!

Красноармеецъ, оборотясь:

— Господа подъ Гатчиной легли.

Баба съ мѣста:

— То-то и есть: господа легли, а одни хамы остались.

— А ты тише! Держи языкъ за зубамъ! А то знаешь: долго разговаривать съ тобой не будемъ.

— Ишь какой выискался! И не боюсь я тебя. Что жь, останови трамвай, выведи меня и разстрѣляй! Такую жизнь сдѣлали, только смерти и просишь.

Баба ворчитъ.

Красноармеецъ оттѣснился.

А тутъ и остановка, стали выходить — мѣста освободились.

Баба въ-розсыпь къ стоявшей дамѣ:

— Садитесь пожалуйста!

И наклонившись къ сосѣдкѣ:

— Я изъ той деревни, гдѣ они были. Вѣрите ли, на Покровъ пришли! — и совсѣмъ шопотомъ: — офицеръ съ погонами! А у насъ на Покровъ много свадебъ назначено, батюшка и спрашиваетъ: «скажите, пожалуйста, можно вѣнчать?» А офицеръ: «кого угодно, только не комунистовъ!»

*

— Сны мнѣ больше не снятся!

Я какъ-то спохватился: гдѣ сны? — Нѣту. Измученный ложусь я спать и сплю, ничего не вижу. Я дѣлаю все — самую грязную работу, и не поспѣваю дѣлать своего. Сколько я думалъ и слышалъ, а записать и пустяковъ не удосужился.

Ожесточенныя мысли приходятъ мнѣ въ ожесточеніи моемъ, отчаяніи и уныніи. Все мое время уходитъ на добычу, а вѣнецъ дѣлъ — разъ въ недѣлю пообѣдать. Подумалъ: «подамъ прошеніе въ Совнаркомъ — разстрѣлять меня, какъ запаршивѣвшую собаку: все равно, ни толку отъ меня, ни пользы!»

*

Недалеко отъ дома —

— Нѣтъ ли у васъ работы?

Я обернулся: сзади шла, должно быть, изъ прислугъ.

— Что вы? какая у насъ работа!

— Возьмите меня служить хоть даромъ.

— Да намъ не нужно.

— Вы не обижайтесь! Къ кому же намъ и обращаться, какъ не къ вамъ — а вамъ и самимъ теперь нечего.

— Да ужъ какъ нечего!

И она меня до дому проводила, все разсказывала, какъ жить ей плохо: квартира у нея маленькая, а дровъ нѣтъ и керосину нѣтъ, и что было, все продано.

— Видно съ голоду помирать.

И я ничѣмъ не могъ ей помочь.

*

Засѣданіе въ «Асторіи» о культпросвѣтѣ среди «заградительныхъ отрядовъ». Хозяинъ, молодой человѣкъ, высказалъ «геніальную мысль:

— «Исторію» надо писать такъ, какъ въ изданіи «Сатирикона», и это должно быть заданіемъ для нашей работы!

Вернувшись домой, я написалъ «о человѣкѣ, звѣздахъ и свиньѣ». На слѣдующемъ засѣданіи я непремѣнно прочитаю, это моя «исторія».

*

Сегодня у меня особенный день. Я проснулся и вдругъ почувствовалъ — — ко всему міру, ко всей твари. Я точно проснулся. И готовъ все принять и подыму самый тягчайшій трудъ. Я понялъ, что надо нести всю эту бѣду — нашей жизни. Надо! — — потому что *такъ надо*.

ЗАПЛЕЧНЫЙ МАСТЕРЪ

На Петра было и Февронію, чудотворцевъ муромскихъ, на другой день Купалы, запылалъ пожаръ въ Ярославлѣ. Началось запаленье съ питейнаго дома — съ ведерной да чарошной продажи. Погибло въ огнѣ много Божьихъ церквей, честныхъ монастырей, бѣлостѣнныхъ купеческихъ домовъ, Гостинный дворъ и всѣ лавки съ товарами.

А какъ нѣтъ худа безъ добра — погорѣли остроги и канцеляріи съ дѣлами и кляузой, да сгорѣли и кнуты съ клеймами, штемпеля колодницкіе, щипцы, чѣмъ ноздри рвутъ —

«снасти, подлежащіе ко учиненію колодникамъ экзекуціи».

Посылали въ Романовъ, Пошехонье и въ Кинешму —

— У самихъ нѣтъ!

Сидятъ поддозорцы въ тюремной избѣ, утеклецы изловленные: не биты, не сѣчены, не клейменные. Нѣту и заплечнаго мастера.

— Не пожелаетъ ли кто изъ вольныхъ люцей въ заплечные мастера: быть въ штатѣ при Ярославской Провинціальной канцеляріи?

Растосковался заштатный мастеръ Григорій Кузьминъ:

«Кабы мнѣ, заплечнику, лѣтъ десятокъ съ плечъ, я пошелъ бы охотою, день-деньской пьянъ, веселилъ бы мастерское сердце унылое. Зазвонятъ у Николы Мокраго, я надѣну красную рубаху, рукавицу цвѣтную на руку, возьму плеть воловьихъ жилъ; два подмастерья пойдутъ за мной съ веревкой и ремнями сыромятными; на черный помостъ взойду, стану у чер-

наго столба съ желѣзнымъ кольцомъ: «Берегись, ожгу!» Засвиститъ мой кнутъ — подъ кнутъ деньги сыпятся. Брызжетъ кровь изъ спины — а не дрогнетъ рука. И вонзаются клейма, какъ кошка: «*в о р ъ*». А теперь — худо видѣть сталъ, ослабъ, рука дрожитъ. Зазвонятъ у Николы Мокраго — въ кафтанишкѣ смуромъ, мятая шапка, озираясь, побреду, какъ воръ, на площадь, стану въ церкви въ сторонкѣ: «Господи! чудотворцы муромскіе! песъ замуренный — черти осѣтили, Господи!»

Прислала Москва — Розыскная Экспедиція — тридцать кнутовъ да щипцы со штемпелемъ. А вслѣдъ и самъ мастеръ пожаловалъ — Хлѣбосоловъ Никита Ивановичъ.

ОКНИЩА

лица ихъ — сама земля,
тѣло ихъ — прилипло къ костямъ,
до пояса отросли волосы,
по локоть бороды — стрѣлами на груди,
одежда изодралась отъ голода и тѣсноты —
лохмотья висятъ,
а голоса ихъ — пчелиные

I

ФИФИГА

На улицѣ вечеромъ: стоятъ — прилипнутъ къ стѣнкѣ и смотрятъ на васъ.

— — —

— — бываетъ у меня такое чувство, точно я виноватъ передъ всѣми, и мнѣ хочется прощенье просить у всякаго —

— — какъ задавитъ скука, и человѣкъ ничего не стоитъ —

— — три къ носу, все пройдетъ —

— — своему горю какъ-нибудь помогать надо, что же дѣлать — — !

— — напрокудилъ и къ стѣнкѣ лепится! —

— — не было совѣсти и не заводилось —

— — около чужого несчастья руки грѣютъ —

— — съ именемъ Божьимъ да топоромъ —

— — съ дороги берутъ — всякая дрянь люди —

— — и невинный и винный страдаетъ —

— — лѣзутъ козы на изгороду!

— — камня бы имъ горячаго дать!

— — что укралъ, то Богъ далъ —

— — сколько веревку ни вей, конецъ будетъ —

— — судьба наша безъ судьбы —

— — —

Идетъ дѣвчонка съ бутылкой, а впереди какой-то тоже съ бутылкой.

Дѣвчонка повернула на 12 линiю, а тотъ было дальше — —

— Дяденька! — окрикнула дѣвчонка, и слышу шопотомъ: — керосинъ тутъ продаютъ.

И я подумалъ:

«Можно жить еще на свѣтѣ!»

— — —

— А что такое фифига?

— А это такое, что насѣдаетъ и никуда не скроешься; такъ и про человѣка говорятъ: «превратился въ фи-фигу!»

— А что такое «медовые выплевыши» — очень, говорятъ , вкусные?

— Еще не пробовалъ.

II

НА УГЛУ 14-ой ЛИНІИ

Да, мы жили не такъ — это я потомъ тутъ понялъ до конца. Правда, и у насъ бывало — — вотъ когда зимой воды не было и сосѣди нижнихъ этажей, до которыхъ вода доходила, верхнимъ воды не давали: и не то, что воды жалко, а «ходятъ — студятъ комнаты!» И то все-таки, скажу, не всѣ — —

Да, не такъ — — это я говорю о томъ кругѣ драни и голи, гдѣ каждый тащилъ на себѣ , какъ мѣшокъ тяжелый, свой неувѣренный обузный день — свою судьбу безъ судьбы.

На углу Большого проспекта и 14-ой линіи стоитъ женщина. Одѣта она прилично, т. е. все, что можно зашить и подштопать, все сдѣлано. И не такая она старая, не развалина, только лицо, какъ налитое, безъ кровинки. Она не проситъ словами, она чуть кланяется и смотритъ —

и ей всегда подаютъ.

Въ самый тискущій тискъ и послѣдній загонъ — много о ту пору мудровалъ человѣкъ надъ человѣкомъ! — когда , кажется, ну ничего не подскребсти, все использовано и завалящаго не можетъ быть, я видѣлъ —

подаютъ!

А кое-кто еще и остановится, женщины больше: остановятся, поговорятъ съ ней — должно быть, въ уголъ гдѣ она на ночь-то ютится, туда въ этотъ ея ледникъ приносятъ ей, ну, что можно, что въ силахъ человѣкъ сдѣлать, когда у себя нѣтъ ничего.

И на лицѣ у нея, какъ лучъ, свѣтится.

И когда я это вижу, я ужъ иду на пяточкахъ — мнѣ все страшно: вотъ я что-то спугну, помѣшаю чему-то, какъ-нибудь своимъ ходомъ нарушу, задую — — свѣтъ.

*

Какъ-то проходя по Б. Проспекту, это зимою было, я старуху не увидѣлъ — померла, подумалъ.

«Такъ и померла, значитъ, въ своемъ ледникѣ!»

Недѣля прошла, другая — старухи не было.

«А можетъ, думаю, попала подъ декретъ объ упраздненіи нищенства?»

А сегодня гляжу, стоитъ! — чуточку поправѣе: тамъ такое углубленіе есть въ желѣзной рѣшоткѣ забора, такъ въ углубленіи прислонившись стоитъ, и по прежнему кланяется — шея обмотана, обвязана, но аккуратно такъ.

А какая-то женщина остановилась. Что-то шептала — а та ей отвѣчаетъ.

Словъ не слышно, но глаза я видѣлъ — вообще-то я по моей слѣпотѣ глазъ у человѣка не вижу, а тутъ увидѣлъ: я увидѣлъ и понялъ, что очень плохо было эти недѣли, очень больно — хворала, но вотъ понемногу прошло. И еще я увидѣлъ: была въ глазахъ кроткая покорность вынести эти тягчайшіе дни — назначенные и неизбѣжные. А та женщина, я это тоже увидѣлъ, заплакала — отъ своего, конечно, заплакала: своего у каждаго — черезъ край!

И я тихонько пошелъ съ обостреннымъ глазомъ — слѣпой, различая мелочи незамѣтныя.

И не знаю, куда мнѣ дѣваться и что сдѣлать, когда я такъ вижу, и не знаю, какъ поправить —

III

ЗАЛОЖНИКИ

А другой разъ иду я, у меня, ну — какъ грудная клѣтка открыта и внутренности обнажены — горятъ. Я не голоденъ, мнѣ ничего такого не нужно себѣ, и я иду совсѣмъ внѣ всякихъ грозъ.

Такъ шелъ я по Среднему проспекту съ такой обнаженностью горящей — и каждое движенiе, каждый поворотъ встрѣчнаго былъ мнѣ, какъ прикосновенiе къ больному мѣсту.

И вотъ недалеко отъ Совдепа на углу 7-ой лин. гонятъ —

— Кто эти несчастные? — спросилъ я.

— Буржуи заложники! — кто-то отвѣтилъ.

И я вспомнилъ, читалъ сегодня въ «Правдѣ» — это вскорѣ послѣ убiйства Урицкаго — «за одну нашу голову сто вашихъ головъ!» И я подумалъ:

«Это тѣ, изъ которыхъ отберутъ сто головъ за голову!»

Прiостановился и смотрѣлъ, провожая глазами обреченныхъ: ихъ было очень много — много сотенъ.

«Должно быть, въ «политикѣ» такъ все и дѣлается, — думалъ я, — не глядя дѣлается! вѣдь, если бы смотрѣть такъ вотъ, какъ я, и всякое мстящее рвенiе погаснетъ — за голову сто головъ!»

И вдругъ увидѣлъ возмущенное лицо человѣка — возмущенный голосъ человѣка, кричащiй:

«Убили! такъ нате же вамъ! вашихъ — сто!»

А тутъ вижу гонятъ — это какъ разъ тѣ, которые попали — обреченныя сотни.

Каждаго различать въ лицо невозможно, но есть общее: это согнутость и тревога — не о себѣ! о себѣ -то никто

больше не тревожиться, развѣ ужъ какой плющавый! — нѣтъ, о близкихъ, у каждаго вѣдь гнѣздо! — да еще недоумѣніе: — — «не согласенъ, не согласенъ, что несу отвѣтъ!»

«Да, это въ политикѣ, не глядя, — на бумагѣ, по анкетамъ — — !»

Я провожалъ глазами этихъ обреченныхъ — пришибленные шли они покорно по Среднему проспекту изъ Совдепа — —

«Не трудящійся да не ѣстъ!»

— — калоши мои оказались такая рвань, взглянуть страшно. Откуда, что — ничего не понимаю. Потомъ догадываюсь: на собраніи въ Театральномъ Отдѣлѣ обмѣнялся съ А. А. Блокомъ и носилъ съ мѣсяцъ, подложивъ бумагу, и вотъ попалъ опять въ свои, но ужъ разношенныя здорово, — это все Блокъ. Мы идемъ по снѣгу, по сугробамъ — бѣлое все. И на душѣ — бѣло. Далеко зашли. Да это Москва!
«Подождите, — говоритъ А. А. Блокъ, — посмотрю, можно ли?»
Я остался у крыльца, жду; а онъ въ домъ пошелъ. Я не знаю, кто живетъ въ этомъ домѣ, но думаю, можно хоть чуточку передохнуть. А Блокъ ужъ назадъ —
«Нельзя, — говоритъ, — пойдемте дальше».
«Не пускаютъ?»
«Чужая мать».
И идемъ по снѣгу, по сугробамъ — бѣлое все. А на душѣ — не бѣло.

IV

ЛАВОЧНИКЪ

Въ сосѣднемъ домѣ лавочка. Лавочника Микляева всѣ знаютъ. Только у Микляева и можно купить сахару, а больше нигдѣ. Сахарныя карточки появились еще въ войну и все меньше и меньше выдаютъ сахару и ужъ безъ Микляева не обойтись стало.

И всѣ пользовались сахаромъ, только не всѣмъ продавалъ онъ.

Я не разъ заохдилъ въ лавку, терся, выжидая, когда уйдутъ покупатели, и я останусь глазъ-на-глазъ съ Микляевымъ. И выждавъ, начиналъ осторожно и отдаленно, а потомъ:

— Сахарку бы! (Такъ меня учили).

Но всякій разъ Микляевъ только головой покачивалъ:

— Нѣту.

И я уходилъ ни съ чѣмъ.

Но я не жаловался , какъ никто изъ сосѣдей по нашей линіи: все равно, такъ или этакъ, а сахаръ достать есть гдѣ, и сахаръ будетъ.

А вѣдь и лавчонка-то тѣсная, темная и только всегда огонекъ отъ лампадки передъ образомъ въ углу надъ конторкой — прямо надъ Микляевымъ, а для насъ она свѣтится такими сахарными огнями, куда Елисеевъ на углу Караванной.

*

Начался учетъ и по анкетамъ вышло, что лавочникъ Микляевъ — «лавочникъ» — буржуй, и, какъ «паразити-

ческій элементъ», попалъ онъ въ особый списокъ и долженъ былъ отбывать «общественныя работы».

Я его часто встрѣчаю по утрамъ: онъ бѣжитъ на какую-то «общественную работу». А лавка его заперта и огонька не видно — когда же ему торговать! И замѣчаю, какъ прохаживаются мимо лавки, ждутъ: не блеснетъ ли огонекъ? Да напрасно ждутъ! Поздно вечеромъ возвращается Микляевъ съ работы, и не бѣжитъ, а медленно движется и прямо домой: усталъ — непривычно! — всю жизнь за прилавкомъ и все на ногахъ и не уставалъ, а вотъ — —

И съ каждымъ днемъ я замѣчаю, какъ онъ худѣетъ — онъ какъ жердь: кожа да кости. И ужъ не смотритъ на тебя, а раньше, бывало, встрѣчаясь, раскланивались —

это какъ собака, она тоже не смотритъ, околѣвая.

Въ нашемъ районѣ всѣ его жалѣютъ: ни сахару достать, ни спичекъ.

— Ну кому человѣкъ мѣшалъ! — говоритъ какой-то остервенѣлый: безъ сахару-то все опротивѣетъ.

— Паразитическій элементъ!

А потомъ и лавка точно опала. Въ окно видно: всѣ ящики сдвинулись или опрокинуты стоятъ и соръ вокругъ.

И хозяина что-то не встрѣчаю.

Конечно, не молодой, трудно начинать жизнь по-новому — — а чтобы ну годъ другой перетерпѣть, вонъ Шариковъ тоже былъ «паразитическій», а въ концѣ концовъ дожилъ, дотерпѣлъ и въ анкетномъ листикѣ значится «нэпманъ» — красный купецъ, и какъ ни въ чемъ не бывало.

«Граждане, хищнически расходующіе воду, будутъ привлекаться къ отвѣтственности!»

V

АННА КАРЕНИНА

Въ «Вѣстникѣ Отдѣла Управленія», гдѣ печатаются всякія обязательныя постановленія Петросовѣта есть такой законъ: тамъ о перемѣнѣ фамилій.

Каждый разъ я съ нетерпѣніемъ жду четверга, когда выйдетъ этотъ Вѣстникъ, чтобы посмотрѣть, какія есть еще на свѣтѣ «лошадиныя» фамиліи и на какія «нелошадиныя» мѣняются. Очень интересно. И я думаю, это единственное, что есть интереснаго въ газетахъ. Разсужденія — «политику» — я не читаю, а хроники — «случаевъ и происшествій» — нѣтъ: не полагается —

вѣдь, въ такое время все случай и все происшествіе!

И не мало попадалось мнѣ фамилій такой звучности необыкновенной, очень-то и не представишься! А мѣнялись: или на громкія литературныя или на такое, ужъ никакъ не поймешь, почему. Но читая этотъ Вѣстникъ и, выискивая чортъ знаетъ что, я никогда въ лицо не видѣлъ человѣка, который назывался бы однимъ, а потомъ вдругъ сталъ бы другимъ и какъ ни въ чемъ не бывало.

И вотъ на нашемъ дворѣ объявилось!

*

Всѣ знали Нюшку Засухину. Нюшка трамвайная метельщица — «трудовой элементъ», существо доброе и кроткое: налитая, какъ пузырь — должно быть, отъ воздуха такой румянецъ! — а носъ не шишечкой (шишечкой это у Лизы), а самый нашъ доморощенный пятачокъ. Прихо-

дила онъ къ намъ хлѣбъ продавать — доставала черезъ кондукторовъ — потомъ колбасу, а потомъ эти самые «медовые выплевыши» собственнаго изготовленія. Но ни хлѣба, ни колбасы, ни «выплевышей» ни разу у нея не пришлось купить — очень все дорого. А она все-таки заходила къ намъ «сказаться»: показать «нелегальный товаръ».

Нюшкѣ посчастливилось: получила она и не какъ-нибудь по усмотрѣнію, а въ «общемъ порядкѣ» по своей трудовой карточкѣ калоши. А это большая рѣдкость и, если перепродать, цѣны нѣтъ. Но она никогда съ ними не разстанется!

Въ воскресенье вечеромъ — теплая погода, самое лѣто, да и часы на три часа впередъ, воображаете? — Нюшка надѣваетъ калоши и съ зонтикомъ выходитъ постоять около дома.

И такъ всякое воскресенье, выбѣжишь на улицу и непремѣнно ее увидишь: стоитъ съ зонтикомъ — калоши блестятъ!

И слышу: больше не Нюшка она Засухина, а Анна Каренина!

*

Зима 19-го года была самой лютой не по морозу, — эка, морозы-то и не такіе бывали! — а потому что топить нечѣмъ было. Продавать же дрова нельзя — запрещено: дрова, какъ хлѣбъ , товаръ «нелегальный».

Само собой и покупать не разрѣшалось, за это тоже: попадешься, не обрадуешься!

Но вѣдь, когда холодно, тутъ ни на что не посмотришь!

У кого деньги были или запасы всякіе, что можно было продать или на обмѣнъ, тѣ и хлѣбъ и дрова доставали: за деньги все можно.

> Нѣтъ, что ни говорите, не вѣрю я, чтобы на нашей улицѣ былъ бы когда праздникъ! — только на бумагѣ вывести все, что угодно, можно и не потому, что такъ есть, а потому что хочется, и безъ вѣры нельзя быть на бѣломъ свѣтѣ.

«Богатые» — всякими правдами и неправдами за деньги или, какъ говорилось, «черезъ преступленіе», простые же люди — черезъ «учрежденія», ну, всякій, хоть сколько нибудь, да добывалъ себѣ дровъ. А я и служилъ и тоже къ учрежденіямъ имѣлъ всякія отношенія, но мнѣ не везло: наобѣщать наобѣщаютъ, да только этимъ и будь здоровъ!

Конечно, у всѣхъ было мало и сжигали все, что ни попало. Ну, а когда даже и самаго малаго нѣтъ, тутъ ужъ только и смотришь, чего бы использовать на топку: со шкапами и полками покончивъ, за дверь взялся. Только это невѣрное дѣло и одному никакъ невозможно (хорошо еще нашелся добрый человѣкъ и дверь высадилъ чисто, а то бѣда! Но что подѣлаешь, надо что-нибудь выдумывать, и слышу — когда надо, уши-то вотъ какія становятся,какъ глаза у водолаза! — слышу я,

> что надо итти къ товарищу такому-то, и называютъ учрежденіе:

— Сологубъ и Мережковскій давно получаютъ —

Понимаю, и Сологубъ и Мережковскій извѣстные писатели, а мое дѣло маленькое — меня мало кто знаетъ! — и расчитывать мнѣ на «исключеніе» не годилось бы, но опять-таки, говорю, когда надо, тутъ и не то что уши ростутъ, а и языкъ, и все выраженіе наглѣетъ.

Я и пошелъ.

Я сталъ все объяснять, какъ сейчасъ говорю, и объ ушахъ и о праздникѣ, котораго на нашей улицѣ никогда

не дождешься, только о двери не сказалъ (все-таки начальство. неудобно!).

— Не знаю, — говоритъ, — какъ мнѣ и быть, много я всѣмъ вашимъ давалъ, что на это товарищи-рабочіе скажутъ? Опять же и Мережковскому надо послать...

И все-таки пообѣщалъ.

Вернулся я домой — счастливыя минуты! — я думалъ, такъ вотъ сейчасъ и привезутъ. А долго пришлось ждать: за дѣлами тамъ забыли, конечно, — не я одинъ и всѣмъ надо!

Я и опять пошелъ.

Понимаю, и не полагается мнѣ никакихъ дровъ, и зря я это все затѣялъ, но что же мнѣ еще придумать: я и такъ мерзну, а ужъ тутъ совсѣмъ — замерзаю!

Пошелъ я напомнить —

— на счетъ дровецъ обѣщались?

— Хорошо, хорошо, — говоритъ, — я не забылъ: дрова будутъ.

> Да, я вамъ скажу, всѣ бы мы пропали, живи эти годы жизнь свою по-декретамъ, но сердце человѣческое, для котораго нѣтъ никакихъ декретовъ, спасало насъ.

И опять ждать-пождать, нѣту, и другую дверь я намѣтилъ — и вдругъ подъ вечеръ привозятъ — счастливая минута! — привезъ милиціонеръ, дрова сбросилъ съ саней у воротъ подъ аркой, и уѣхалъ.

— — —

Стою я надъ дровами — и не такъ ихъ и много — а все-таки перенести къ себѣ на такую высоту, на шестой-то этажъ, силъ у меня такихъ нѣту: попробовалъ, протащилъ полѣна два, запыхался и боюсь ужъ.

А всѣ ходятъ, смотрятъ, дрова похваливаютъ.

— Откуда?

— — —

А я все стою, отойти невозможно: отойдешь, кто и стянетъ. Прошу одного, другого помочь — мнѣ это никакъ невозможно!—объясняю. И хлѣбъ сулю. И никто не соглашается (я понимаю, надо хлѣба много!) — не соглашаются: очень высоко и такъ за день всѣ устали! А на ночь оставить дрова на дворѣ, нечего и думать: вѣдь не съ кого будетъ спрашивать!

А всѣ ходятъ, смотрятъ, дрова похваливаютъ.

— Вотъ привалило счастье-то!

И еще разъ сбѣгалъ, полѣно къ себѣ снесъ на верхъ. Нѣтъ, больше не могу.

Я и возропталъ:

«Ужъ если, думаю, человѣкъ захотѣлъ доброе дѣло сдѣлать, такъ надо до конца дѣлать, ну, что бы велѣть этому милиціонеру и не только привезти, а и перетащить дрова ко мнѣ на верхъ, я бы ему весь мой хлѣбъ отдалъ —»

Стою надъ дровами — жаръ-то прошелъ, какъ бѣгалъ-то я съ полѣньями къ себѣ! — холодно стало.

И во дворѣ никого, а скоро и ночь.

И только въ окнахъ чуть огоньки перемигиваютъ — на меня мигаютъ на счастливаго, которому выпала такая удача, привалило счастье: дрова!

— — —

А шла съ работы Анна Каренина, несла въ рукѣ огромную черную метлу да узелокъ съ хлѣбомъ, вся-то закутанная, только ноздри изъ щекъ глядятъ. Знаю, устала, но я ужъ не думаю, не думая, прошу —

И что же вы думаете? — согласилась:

за тотъ хлѣбъ согласилась, за который никто не соглашался!

Отнесла она метлу къ себѣ — бросать зря нельзя, а то еще кто стащитъ! — и не раскутываясь, какъ была, такъ и вышла. Кликнула Лизу, и вдвоемъ взялись за дрова.

Я не замѣтилъ, какъ въ мѣшкѣ перетаскали онѣ ко мнѣ всѣ полѣнья.

И вотъ тутъ-то , когда я отдалъ ей весь мой хлѣбъ, произошло превращеніе: глаза ея щелочки расширились — такія — «Анна Каренина!» — и она въ первый разъ увидѣла всю мою серебряную стѣну съ игрушками —

а вѣдь сколько мѣсяцевъ приходила къ намъ и никогда ни разу не замѣчала!

— Какія это здѣсь растопыры, ай!

И ужъ забывъ о хлѣбѣ, стала собирать разбѣжавшіеся глаза свои на каждомъ серебряномъ гнѣздышкѣ, гдѣ, пришпиленныя, какъ сидѣли, всякія разныя игрушки —

— растопыры — собаки — птички сидятъ — кривоножки —

И оглядѣвъ всѣхъ — всѣхъ растопыръ — никакъ не могла оторваться:

змѣя съ раскрытой жалящей пастью жаломъ лѣзла въ глаза ей.

— Сами и глазки садили?

*

— — вижу А. А. Блокъ въ красномъ китайскомъ халатѣ.

«Александръ Александровичъ, вамъ бы надо женскіе ботинки, я съ годъ ношу женскіе, и тогда на каблукахъ и костюмъ на васъ совсѣмъ хорошо будетъ!»

А Ивановъ-Разумникъ:
«У васъ всегда были подленькія мысли».
«Безпартійные должны совѣтскую власть поддюживать!» — сказалъ Блокъ и сталъ оправляться.
И вижу: проходитъ — онъ проходитъ, какъ на сценѣ, а за нимъ народъ — черный, и только одинъ онъ въ красномъ —
— — —
— — я въ своей комнатѣ съ серебряной стѣной, лежу на диванѣ подъ игрушками. Дверь въ сосѣднюю комнату открыта.
«Да помогите же!» — зову.
И слышу голосъ С. П.:
«Я позову сейчасъ доктора Поггенполя, вѣдь онъ же здѣсь!»
«Да здѣсь никто помочь не можетъ, — отвѣчаю ей, — будутъ: такъ рѣшено! будутъ расправляться со всѣми, у кого нѣтъ пол-фунта революціонности, а у меня только восьмушка!»

VI

ПОРТРЕТЫ

Въ Народномъ Домѣ висятъ два большихъ портрета. красками написаны — работа художника «ради существованія».

Эти портреты, какъ я ни слѣпъ, а сразу увидѣлъ, слоняясь по залу въ ожиданіи собранія. Мнѣ-то ничего съ Васильевскаго острова, а другимъ съ дальнихъ концовъ на Петер-

бургскую сторону, никогда во-время не поспѣваютъ. Вотъ я и слонялся, глазѣя.

Какой-то изъ театральныхъ рабочихъ проходилъ мимо.

— Кто это? — спрашиваю, показывая на портреты.

— Марья Федоровна и Петръ Петровъ! — скороговоркой отвѣтилъ и такъ посмотрѣлъ на меня: откуда, молъ, такой взялся «несознательный».

— Какъ Марья Федоровна и Петръ Петровичъ! что вы говорите?

Понимаю: Марья Федоровна — завѣдующая ПТО, Петръ Петровичъ — управдѣлъ, но все-таки —

— Скажите, чьи это портреты? — остановилъ я завѣдующаго Народнымъ Домомъ.

— Роза Люксембургъ и Карлъ Либкнехтъ — отрывисто сказалъ онъ и посмотрѣлъ на меня: ну, молъ, и чудакъ нашелся.

— Я очень плохо вижу, — поправился я.

И подумалъ: «а что жъ, тотъ-то мнѣ — или нарочно?»

И вспомнилъ, какъ мой ученикъ изъ «Красноармейскаго университета» самый способный—«политрукъ» — послѣ моего чтенія о Гоголѣ признался, что и онъ и его товарищи были убѣждены, — что Гоголь еще живъ и служитъ въ ПТО — «членъ коллегіи».

«Нѣтъ, конечно, не нарочно; и почему начальству не висѣть на самомъ видномъ мѣстѣ, такъ всегда было!»

Тутъ подошли запоздавшіе и началось собраніе.

А я продолжалъ думать о своемъ — о портретахъ:

Роза Люксембургъ и Карлъ Либкнехтъ!

— — —

Разсказывалъ мнѣ одинъ — за продовольствіемъ ѣздитъ (Теперь этимъ кто н занимается!) И точно не помню, но гдѣ-то по сосѣдству въ нашей же Сѣверной Коммунѣ, когда дошла

вѣсть о убійствѣ Розы Люксембургъ и Карла Либкнехта, въ мѣстной «Правдѣ», по-примѣру петербургской, было написано все о тѣхъ же головахъ: «за нашу одну голову сто вашихъ головъ!» Стали справляться по анкетнымъ листкамъ и вышло, что никто не подходитъ: какіе были буржуи — торговцы, лавочники, довѣренные давнымъ давно или разбѣжались или были использованы, какъ отвѣтчики, за другіе контръ-революціонныя выступленія въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Но надо же какъ-нибудь: такъ — никого — невозможно! И пришлось отобрать изъ «нетрудового элемента»: взяли пятерыхъ учителей, больше некого.

И я себѣ представилъ, какъ эти несчастные готовились къ смерти.

Ни судьи, кто ихъ обрекъ на смерть, ни сами они, обреченные, ничего не знали — въ первый разъ слышатъ:

Роза Люксембургъ и Карлъ Либкнехтъ!

«нетрудовй элементъ» — это еще куда ни шло: «трудящійся» — это тотъ, который руками дѣлаетъ, а они дѣйствительно только учили грамотѣ и руки тутъ совсѣмъ не причемъ;

но Роза Люксембургъ и Карлъ Либкнехтъ —

если бы Марксъ-Энгельсъ! — все-таки что-то слышали, а про этихъ ничего. «Нѣтъ, не согласны!» Умирать, не зная за что, — умирать, чувствуя себя дуракъ-дуракомъ —

— — —

Я не знаю, можетъ, мнѣ нарочно разсказалъ этотъ «мѣшечникъ», но все это такъ вѣроятно и такъ возможно —

как вотъ Марья Федоровна и Петръ Петровичъ на портретахъ, какъ вотъ Гоголь — членъ коллегіи ПТО.

Только Роза Люксембургъ и Карлъ Либкнехтъ пожалуй не повѣрятъ —

«Чтобъ избѣжать холеры муки,
Мой чаще хорошенько руки».

VII

БРАТЕЦЪ

Сегодня воскресенье —

Всякую субботу къ намъ приходитъ археологъ И. А. Рязановскій, я его кормлю крошками, собранными за недѣлю, онъ ночуетъ въ моей серебряной комнатѣ съ игрушками, и въ воскресенье я его провожаю до Николаевскаго моста. Когда-то мы вели съ нимъ археологическіе разговоры («страсть къ археологіи, по его мнѣнію, есть любовь къ современности!»), а съ каждой субботой все меньше объ археологіи и больше о продовольствіи, объ очередяхъ — и какъ надо все брать «урывомъ» и «съ наскока»!

> Вѣдь объ этомъ теперь только и разговору, куда ни придешь и о чемъ бы ни заговорилъ.

«Я, знаете, Олексѣй Михайловичъ, — сказалъ онъ съ горечью, но не безъ гордости, — я теперь умѣю ногой лягаться».

Я эти вспомнилъ горькія и гордыя слова его, глядя, какъ шелъ онъ, простившись, шелъ не по-прежнему, а ногой подрыгивалъ, которой онъ — человѣчный изъ человѣковъ! — научился лягаться.

Сегодня воскресенье — въ три часа по воскресеньямъ на 12-ой линіи у «братца» собираются. Я и подумалъ, пойду послушаю, о чемъ же теперь «братецъ» толкуетъ, когда одинъ у всѣхъ толкъ: ѣда и морозъ.

Вотъ недавно приснилось: ветчина и колбаса —
подъ столомъ разбросаны ломтики. А вѣдь это
для меня, что человѣку научиться ногой лягаться!

На 12-ой линiи я обогналъ какую-то простую женщину и прiостановился: мнѣ показалось, что меня окликнули. Нѣтъ, это она не ко мнѣ — она сама съ собой:

— Все испортили! — и въ голосѣ выговаривалась горечь, — и если бы солнышко ниже было, солнышко тронули бы!

Я посмотрѣлъ на нее — а меня не видитъ! — и скорѣе пошелъ впередъ.

*

Домъ я сразу нашелъ, а квартиру никакъ не могу: это моя постоянная мука — всегда не въ ту дверь.

— Гдѣ квартира № 1 — спросилъ я: хорошо, кто-то еще подошелъ.

Да это та самая женщина, которая о солнышкѣ.

— А вы къ братцу?

— Да.

— И я къ нему. Тайкомъ иду. Мужъ-то на заводѣ — «товарищъ»! нельзя и слова сказать.

И я пошелъ за ней.

*

Комната просторная и ужъ полна. Кто на лавкѣ сидитъ, кто такъ — у стѣны. Больше женщины. Чуть повыше пола помостъ, какъ кафедра, и аналой.

Я былъ разъ въ Гавани на собранiи еще до войны и все тоже мнѣ показалось, какъ тогда. И какъ тогда, вошелъ «бра-

тецъ» въ бѣлой, длиннѣй чѣмъ обыкновенно, рубашкѣ и крестъ на голубой лентѣ. И сразу, какъ вошелъ онъ, я почувствовалъ, что всѣмъ стало чего-то легче — чего-то мирно.

Пропѣли хоромъ «Царю Небесный», «Отче нашъ».

И сталъ онъ читать евангеліе. Читалъ онъ нетвердо, какъ дѣти. А открылось ему объ исцѣленіи слѣпорожденнаго, который ни самъ не виноватъ, ни родители его не виноваты, а родился слѣпымъ для «дѣла Божія» — для «свѣта міру». Кончилъ евангеліе, началъ разсказывать — какъ сказку сказывалъ житіе изъ Пролога о преподобномъ Нифонтѣ.

(Я это житіе знаю — рукопись XII вѣка — все о демонахъ и мудреное!)

> У всякаго есть ангелъ хранитель. И человѣкъ добръ и бодръ подъ его попеченіемъ. Но приходятъ демоны страстей: нашептываютъ въ уши, тянутъ за языкъ, тащутъ за руки. И начинается кавардакъ. И длится до тѣхъ поръ, пока къ ангелу хранителю не придутъ на помощь другіе ангелы и не начнутъ борьбу съ демонами. Ангеловъ же надо вызвать человѣку — вымолить, а вымолить можно только любовью. Черное же сердце — злобы, проклятія и мести — не только не вызоветъ своей молитвой ангеловъ себѣ на помощь, а подзоветъ еще злѣйшихъ демоновъ и ужъ подлинно на свою голову.

На Нифонта наклеветали («нашептали демоны»), будто онъ только представляется святымъ человѣкомъ, а на самомъ дѣлѣ онъ и воръ и плутъ и мошенникъ. И вотъ люди, соблазненные демонами, стали гнать старца.

> Не даютъ житья ему: убирайся, говорятъ. Старецъ — святой человѣкъ! — все видитъ: видитъ

и этихъ демоновъ, которые, незримо для другихъ, мудруютъ надъ его гонителями — и сталъ на молитву. И молился, чтобы явились ангелы и отогнали демоновъ отъ несчастныхъ опутанныхъ людей. И явились ангелы — горяча была молитва и велика любовь старца къ несчастнымъ гонителямъ! — ангелы и турнули демоновъ. И когда демоны пропали, люди, гнавшіе старца, какъ очнулись: что за причина? за что они несчастнаго гнали? — живетъ старецъ тихо, смирно, ничего худого не дѣлаетъ, не безобразничаетъ, никого не смущаетъ, на зло не науськиваетъ и одно желаніе — помочь другому человѣку! И оставили они жить старца да еще и извиненіе попросили: прости, говорятъ, добрый человѣкъ, мы обознались!»

И окончивъ разсказъ, какъ сказку — «мы обознались!» — и самъ вдругъ обрадовался: вѣдь все хорошо такъ кончилось — и гонители и гонимый помирились другъ съ другомъ!

Со всѣхъ сторонъ поднялось отъ обрадованнаго сердца:

— Спасибо, братецъ спасибо!

— Ты нашъ апостолъ!

— Ты нашъ пророкъ!

— Нѣтъ! — и онъ сказалъ это громко и крѣпче и настойчивѣе, — я не пророкъ, я не апостолъ, я — тотъ пѣтухъ, который запѣлъ , и отрекшійся Петръ вспомнилъ Христа.

*

— — Андрей Бѣлый въ сѣромъ мышиномъ, какъ мышъ, молча, только глазами поблескивая, во-

дитъ меня по комнатамъ — а комнаты такія узкія, сырыя — показываетъ. И вывелъ въ яблоновый садъ. На деревьяхъ яблоки и наливныя и золотыя и серебряныя и маленькія китайскія, я сорвалъ одно яблоко — а это не яблоко, а селедочный хвостикъ, я за другое — и опять хвостикъ. И очутился на лугу. А лугъ весь-то въ продовольственныхъ карточкахъ самыхъ разныхъ цвѣтовъ; какъ въ цвѣтахъ, и въ удостовѣреніяхъ съ печатями. Но какого-то самаго главнаго удостовѣренія у меня нѣтъ. И я все искалъ, схватывался, искалъ — нѣтъ!

VIII

МЫ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕМЪ

Когда-то ихъ магазинъ былъ у всѣхъ на виду, самый дорогой — самый гастрономическій самыхъ соблазнительныхъ деликатесовъ. Всю войну и начало революціи торговля шла такъ бойко, словно нигдѣ никакой войны и никакой революціи нѣтъ и не ожидается.

А когда вышелъ декретъ о запрещеніи частной торговли и стали закрывать магазины, и «гастрономическій» былъ временно обращенъ въ «комиссіонный», назначенный для распопродажи всякихъ случайныхъ вещей, имъ тоже временно оставили одну заднюю комнату, и чтобы до нихъ добраться, надо было пройти черезъ всѣ комнаты, заваленныя старьемъ — черезъ поношенныя платья, держанную посуду и подозрительныя рѣдкости.

Но и въ единственной — въ этой задней комнатѣ мож-

но было найти все, что и раньше во всѣхъ комнатахъ, только товару, конечно, очень поубавилось, но за то было и такое, чего никогда у нихъ не бывало: это — маленькіе, необыкновенно вкусные черные хлѣбцы.

Продавали они только знакомымъ — старымъ покупателямъ да недавнимъ, кого въ лицо знали.

*

Рыща за добычей, я зналъ кое-какіе закоулки, гдѣ никакъ не догадаться, что идетъ тайная продажа съѣстнымъ, и гдѣ могли произойти самыя неожиданныя встрѣчи — помирать-то голодомъ кому охота! — зналъ я и этотъ магазинъ.

> Увы! дорогіе Нюшкины выплевыши мнѣ какъ рыбій жиръ!

Я и пошелъ на Караванную за «хлѣбцами».

И что же вы думаете: все оказалось запечатаннымъ — вся комиссіонная торговля — весь магазинъ. Я заглянулъ во дворъ, а тамъ надпись: на обрывкѣ карандашомъ —

Эрнэ

Пріоткрылъ дверь — бывшая дворницкая, навѣрно! — и вижу сидятъ —

> ихъ было трое — три продавщицы — и всѣ цѣлы и невредимы сидятъ въ этой крохотной комнатенкѣ.

— Какъ вы насъ нашли?

— Нюхомъ, — говорю, — точно толкнуло что: нюхомъ вошелъ во дворъ и вижу вашу надпись, туркнулся —

И все-то у нихъ оказалось, все есть, только куда меньше, и эти маленькіе, необыкновенно вкусные черные хлѣбцы!

Да, вотъ этотъ изводимый декретами и никакъ неизводящійся «обиральный элементъ», да доброе дарящее сердце, для котораго нѣтъ никакихъ декретовъ, а то бы — пропадъ.

*

Прошло сколько — почему-то дни никогда такъ не бѣжали, какъ въ тѣ годы — мѣсяцъ а, можетъ, и больше, но какъ будто вчера. Не было денегъ, а тутъ какъ получилъ, и сейчасъ же на поиски: полголовы у человѣка, а у другого и вся была набита голодною волчьею мыслью достать ѣды.

Зналъ я одного человѣка, который свихнулся на этой изводимой и ничѣмъ не изводящейся мысли объ ѣдѣ: вѣдь при всякихъ обстоятельствахъ никогда не было по себѣ думать только объ этомъ! «На пайкахъ помѣшался!» говорили о немъ. И дѣйствительно, напуганный, что не хватитъ, онъ сталъ собирать «пайки»: всѣми правдами и неправдами онъ тащилъ въ свою комнату и ничего не трогалъ — боялся, не хватитъ. И безъ того то, что «выдавалось», было не перваго сорта, подпорченное, а тутъ ужъ совсѣмъ въ гниль пошло, но онъ не замѣчалъ — берегъ.

И вотъ, какъ заведутся, бывало , деньги — и первая мысль: достать ѣды.

И пошелъ я по привычной дорожкѣ на Караванную. И во дворъ, конечно. И прямо къ двери — въ эту кварти-

ренку кошачью, куда, выгнанный изъ «комиссіоннаго» загона, забился, какъ въ щель, когда-то самый дорогой — самый гастрономическій самыхъ соблазнительныхъ деликатесовъ —

Эрнэ

А дверь-то заперта!

И чего я только ни дѣлалъ — и звонилъ и стучалъ и царапался (Я тоже понемногу научился «ногой лягаться» и еще появился у меня «нюхъ», чего раньше никогда не замѣчалъ!) А ничего — никакого отвѣта.

«Вотъ тебѣ и на, пришелъ, значитъ, и на нихъ чередъ!» И подосадовалъ: «куда же мнѣ теперь итти — ?» И больше, чѣмъ подосадовалъ, а съ сердцемъ: — «сами-то, говорю, не голодомъ, а нажравшись, декретъ писали, вѣдь голодомъ-то, я это хорошо понимаю, только мечтаешь — «будетъ же когда-нибудь и на нашей улицѣ праздникъ!» — а когда какіе-то хлѣбцы, вотъ — на одинъ укусь, но вѣдь больше нѣтъ ничего, и такое не позволяютъ продавать — конечно, сами нажравшись!»

И въ сердцахъ повернулъ ужъ къ воротамъ.

И вдругъ навстрѣчу — знакомая! — это одна изъ трехъ продавщицъ. Узнала меня.

— Да вѣдь мы же еше существуемъ! Тамъ — насъ выгнали! — обыскъ былъ и все отобрали. Домкомбѣдъ у насъ ничего: мы теперь въ подвалѣ.

И я пошелъ за ней.

Ходъ рядомъ, но еще ниже — въ подвалъ:

темно, ничего не разберешь.

И въ темнотѣ — разбираю — двѣ продавщицы сидятъ, и тутъ же разложены эти хлѣбцы — эти маленькіе, необыкновенно вкусные, черные хлѣбцы — на одинъ укусъ.

И та, которая привела меня, подсѣла къ нимъ.

— Вѣдь насъ никакъ нельзя извести, — сказали онѣ въ одинъ голосъ, — мы тутъ совсѣмъ незамѣтны.

«Да ужъ ниже если, — подумалъ я, — такъ въ землю — на тотъ свѣтъ!»

IX

ОТЪ РАЗБИТАГО ЭКИПАЖА

Поздно вечеромъ шелъ я по трамвайнымъ рельсамъ по Невскому — Невскій раскатистый съ ухабами большой дороги. И всякій, какъ и я, норовилъ ходить не по тротуару, а прямо. Вѣтеръ — вѣтеръ все тотъ же — рѣзкій, пронизывалъ меня сквозь всѣ мои шкурки. Въ перчатку засунулъ я мой документъ — удостовѣреніе и пропускъ — и, какъ вѣтеръ, чувствовалъ я этотъ клочокъ бумажки у себя на ладони.

Въ необыкновенной шубѣ выше, чѣмъ въ дѣйствительности, держась черезчуръ прямо, навстрѣчу мнѣ по рельсамъ же и не шелъ, а выступалъ Гумилевъ.

Я очень ему обрадовался: съ нимъ у меня связана большая память о моей литературной «бѣдовой долѣ» и о его строгой оцѣнкѣ «слова»: онъ понималъ такое, чего другимъ надо было растолковывать.

Гумилеву въ противоположную сторону, но онъ пошелъ меня проводить.

Онъ говорилъ необыкновенно вѣжливо и въ то же время важно, а дѣло его было просительное и совсѣмъ не литературное, а «обезьянье».

— Нельзя ли произвести меня въ обезьяньи графы:

я имѣю честь состоять въ «кавалерахъ», мнѣ бы хотѣлось быть возведеннымъ въ графы.

— Да нѣту такого, — отвѣтилъ я, — чего вамъ, вы и такъ , какъ Блокъ и Андрей Бѣлый — «старѣйшіе кавалеры» и имѣете право на обезьяню служку.

— Нѣть, я хочу быть обезьянимъ графомъ.

«А и въ самомъ дѣлѣ, — подумалъ я, — графовъ не полагается, но если заводить, то только одного, и такимъ можетъ быть только Гумилевъ».

— Моя должность, Николай Степановичъ, какъ вамъ извѣстно, маленькая, — сказалъ я полуртомъ, боясь вѣтра, — я, какъ «бывшій канцеляристъ обезвелволпала», спрошу — —

— Очень вамъ буду благодаренъ.

И, простившись, не пошелъ, а п р о с л ѣ д о в а л ъ по рельсамъ.

Я обернулся: онъ шелъ черезчуръ прямо въ своей необыкновенной шубѣ, шерстью наружу, какъ у шофферовъ богатыхъ автомобилей — такой одинъ онъ во всемъ Петербургѣ.

*

Я шелъ одинъ подъ вѣтромъ и чувствовалъ, какъ вѣтеръ свой документъ подъ перчаткой у ладони — не дай Богъ потерять!

Мнѣ было очень холодно и жалобно.

На набережной образовалась гора изъ снѣга и никакъ не обойдешь. Я сталъ карабкаться. А трудно — скользишь, проваливаешься — а главное, не знаешь, можетъ, идешь надъ ямой.

И вижу , сзади какая-то женщина, тоже карабкается.

— Вотъ по горамъ — по горамъ ужъ лазаемъ! — не выдержала она, подала мнѣ голосъ, и по говору я понялъ: простая.

— Да, не знаешь, гдѣ ямы! — отозвался я ей полуртомъ, какъ Гумилеву.

— А за то все наше: и земля наша и небо наше и все безобразіе наше!

— Трудная жизнь стала.

— Не жизнь, — подхватила она съ сердцемъ — а жестянка изъ подъ разбитаго экипажа.

И, какъ перышко, перепорхнула черезъ яму.

А я по слѣпотѣ и неловкости моей, крѣпко прижимая пальцы къ документу подъ перчаткой — «вотъ Гумилевъ бы!» подумалъ я, — шагнулъ ——— и ногой провалился.

X

ДЕМОНЪ ПУСТЫНИ

Единственная комната, которую мы кое-какъ еще отапливаемъ, это та, что рядомъ съ моей — серебряной съ игрушками. Я мерзну и вечерами сижу въ шкуркахъ, а сверхъ пальто, и всегда въ калошахъ. На уголку стола около ѣды лампадка — ея огонекъ мнѣ свѣтитъ.

Табаку у меня часто не бываетъ — очень трудно его доставать стало — и я курю все, что ни попадетъ; пробовалъ и ромашку и шалфей. Отъ шалфею хоть и душно, но не такъ душитъ. И часто болитъ голова. И тогда я обматываю голову мокрымъ полотенцемъ и ужъ въ родѣ какъ въ чалмѣ сижу туркой.

А сплю я, не раздѣваясь, въ шкуркахъ. И въ снахъ мнѣ снится все больше изъ жизни — заботы загородили мнѣ всѣ двери туда! —

> — — японскій принцъ подарилъ мнѣ всѣ свои сочиненія съ раскрашенными картинками на японской бумагѣ. Все ПТО (Петербургское Театральное Отдѣленіе на Литейномъ) во вшахъ, кромѣ комнаты № 15, гдѣ выдаютъ талоны на полученіе жалованья. Въ комнатѣ, гдѣ мы собираемся на засѣданія, «члены коллегіи» танцуютъ. Черезъ стеклянную дверь въ коридорѣ я вижу столъ — очень бѣлая скатерть и посуда серебряная.
> «Стучите хорошенько!» — говоритъ А. Р. Кугель и лѣзетъ бородой въ мѣшокъ, изъ котораго торчатъ селедочныя головки — —

Тутъ наступила какая-то перемѣна: когда селедочныя головы покрыли голову А. Р. Кугеля, все окуталось чернотой — пучина безпамятства. И вдругъ я почувствовалъ, какъ отдѣлилися, и ясно ощутилъ свою обособленность ото всего, я точно вынырнулъ —

> — — я сижу въ нашей комнатѣ на уголку стула — поздній часъ, давно всѣ въ домѣ заснули и только мой огонекъ отъ лампадки свѣтитъ. А я сижу съ завязанной головой и курю съ промерзшей изнывающей безпредметной думой. И слышу, — шаги стучатъ по лѣстницѣ, подымается кто-то. И отъ этого стука («обыскъ!») запрыгалъ огонекъ — я его вижу: отражается въ стеклянной дверцѣ шкапа.

«Эхъ, думаю, — и не во время жъ! Я и сообразить ничего не могу!» А ужъ близко, стучатъ — въ нашу дверь стучатъ. Затаился я — знаю, понапрасно идутъ, ничего у меня нѣтъ, и какой-то пойманный страхъ. (Нѣтъ, ко всему можно привыкнуть, только — — не къ обыскамъ!) И опять стукъ — настойчивый. И вижу, какъ мечется огонекъ отъ лампадки въ стеклянной дверцѣ шкапа. А надо отворить! — — И вижу нашу прихожую, только очень расширенную, какъ огромный залъ. И входитъ человѣкъ: весь онъ въ пурпурѣ, пурпурныя опущенныя крылья, какъ огромныя легкія, висятъ, а внутри ничего нѣтъ, одна бѣлая реберная кость, какъ вырѣзанная на гравюрѣ, и лицо блѣдное такой блѣдностью, какъ у бедуина, опаленное и изсушенное жаромъ пустыни, и черная борода клиномъ; а голова его, какъ на воздухѣ, не видно ни шеи, ни позвонковъ. Я посмотрѣлъ ему въ глаза — и увидѣлъ черезъ нихъ то же самое лицо и тѣ же глаза. А человѣкъ былъ одинъ — и одинъ онъ и какъ «тьма» — противъ меня одного — не человѣкъ, весь въ пурпурѣ съ пурпурными опущенными крыльями. И я, какъ пойманный, завертѣлся на мѣстѣ — —

Два міра борятся: міръ новый и міръ старый,

И красная волна корабль кренитъ

И надъ гнѣздалищемъ всѣхъ пролетарскихъ маятъ

Гремитъ бетонъ, желѣзо и гранитъ.

И на бетонномъ пьедесталѣ

Міръ пролетарскій мы скуемъ изъ стали
Въ немногіе безстрашные года.

(Стихи на дѣтской продовольственной карточкѣ: Б).

XI

ИМЕНИНЫ

Если Михаилъ Михайловичъ Пришвинъ — «борода увлекающаяся», Ключовъ Тарасъ Петровичъ — «борода неунывающая». И не знаю, что чудеснѣе, а пожалуй — борода бороды стоитъ! И если Пришвинъ съ лопарями на Печенгѣ семгу ѣлъ — «съ боковъ поджарена, въ середкѣ живая!» — а въ степи съ киргизами на звѣзды молился — «хабаръ-баръ!» «баръ!» — Ключовъ зналъ названія всѣхъ книгъ, какія только съ незапамятныхъ временъ появились въ Россіи, и очень хотѣлось ему имѣть первыя изданія и, не имѣя — ну, хоть бы одна попалась! — не унывалъ, ища —

> А вы знаете: уныніе — это такая пропасть, какъ потянетъ — ступишь — и пропалъ. И подумайте: кто только ни поддавался за эти жестокіе годы этому злѣйшему соблазну.

Самый изъ смертельныхъ годовъ — вошьгодъ — 1919-ый! — а Ключовъ такъ сумѣлъ его проводить и такъ встрѣтилъ новый, и когда онъ объ этомъ разсказывалъ, просто не вѣрилось.

— Собрались, все библіотечная молодежь, и до утра пѣсни пѣли!

А вѣдь объ эту пору — послушайте! — ни дѣтей не рождалось, не влюблялись, не женились и какія тамъ пѣ-

сни! И встрѣча пѣснями новаго года — а весна и въ явь придетъ пѣсенная! — еще больше подбодрили «неунывающую бороду» окощевѣлаго Ключова.

— Вотъ постойте, — говорилъ Тарасъ Петровичъ, умиленный и растроганный пѣснями, — буду справлять свои именины, вотъ ужъ споемъ!

И вспоминая, какъ до утра новогоднія пѣсни пѣлъ, кому только не поминалъ онъ о своихъ именинахъ.

— Да когда же это, Тарасъ Петровичъ?

— 10-го марта, не забудьте!

— 10-го марта, не забудьте, Тарасъ Петровичъ именинникъ! — передавали другъ другу..

Признаюсь, тутъ и я постарался: страсть «творить безобразія» и въ самые тягчайшіе годы и въ самые унылые часы жизни никогда не покидала меня.

Я всѣмъ, кого бы ни встрѣтилъ, всякому разсказывалъ о Тарасѣ Петровичѣ, какая у него бодрость — подъ новый годъ всю ночь пѣсни пѣлъ! — «неунывающая борода»! Я всѣмъ и каждому толковалъ, что 10-го марта — не забудьте! — Тарасъ Петровичъ именинникъ: надо поздравить.

— Собирается пирогомъ угостить!

— Да мы незнакомы, — съ сожалѣніемъ говорилъ какой-нибудь, ни разу въ глаза не видѣвшій Тараса Петровича.

— Это ничего не значитъ.

— Все-таки неудобно.

Но этимъ не кончалось, я видѣлъ, какъ человѣкъ поддался, и мой именинный зовъ засѣлъ ему въ голову, и, пользуясь растряской, я начиналъ увѣрять, что онъ хоть и незнакомъ съ Ключовымъ, но что Ключовъ-то его хорошо знаетъ,

— И будетъ очень радъ.

А съ нѣкоторыми я прямо начиналъ:

— О васъ Тарасъ Петровичъ справлялся.

— Какой Тарасъ Петровичъ?

— Какой? Ключовъ!

И сразу переходилъ къ именинамъ:

— Собирается пирогомъ угостить.

Съ января до марта время порядочно — и если за это время самъ именинникъ старался, я, какъ видите, тоже дѣйствовалъ.

И когда дней за десять до именинъ стали ко мнѣ заходить будто по дѣлу, а между прочимъ (но это и было главное!) справиться — «запамятовалъ!» — когда точно именины-то Тараса Петровича? — и знаете ли, были и такіе, которые ей Богу же ни разу его въ глаза не видали, а только черезъ меня, я почувствовалъ что-то зловѣщее.

А когда наканунѣ именинъ я встрѣтилъ сестеръ Тараса Петровича и онѣ мнѣ напомнили о завтрашнихъ именинахъ и какъ онѣ собираются пирогъ печь и очень безпокоятся — дрожжей не достать! — и старшая замѣтила: «Народу-то назвалъ много, боюсь, пирога не хватитъ!» — я почувствовалъ себя очень неловко.

*

И вотъ наступилъ этотъ день —

Тарасъ Петровичъ сегодня именинникъ!

Я собрался спозаранку — такъ мнѣ его сестры наказывали! — но когда я пришелъ, въ его комнатѣ ужъ набилось народу порядочно. Стояли, сидѣли и терлись около книгъ.

Тутъ я сразу же замѣтилъ и кое-кого изъ своихъ — соблазненныхъ.

Разговаривали негромко. Имена учрежденій, имена завѣдующихъ и изъ всѣхъ именъ чаще самыя громкія — «пищевыя»: Пучковъ, Бадаевъ (подписи на продовольственныхъ карточкахъ), товарищъ Молвинъ, Мухинъ, Ложкомоевъ и нашъ василеостровскій Лукичъ.

Имениникъ въ бѣлой вышитой рубашкѣ, подпоясанной ремешкомъ, закрывая книгу своими спускающимися на глаза волосами, показывалъ книжнику — это «первое изданіе», котораго онъ добился таки.

Разговаривая другъ съ другомъ, нетерпѣливо переминались, а нѣкоторые, прислушиваясь, застыли съ поджатыми губами, и у всѣхъ играло на лицѣ умиленное предвкушеніе. И этого никакъ нельзя было скрыть. И книжникъ надъ «первымъ изданіемъ» чмокалъ губою:

> изъ кухни проникалъ особенный духъ свѣжеиспеченнаго пирога — сейчасъ самое время изъ духовки вынимать!

И, дѣйствительно, пирогъ готовъ! — сестры Тараса Петровича, раскраснѣвшіяся отъ печки и не безъ тревоги (хозяйскій глазъ сразу соображаетъ!) попросили насъ въ сосѣднюю комнату.

И сичасъ же мы обсѣли весь столъ и все-таки стульевъ на всѣхъ не хватило.

— Ничего, мы постоимъ! — охотно соглашались, забирая тарелку съ кусочкомъ пирога.

И на минуту все погрузилосч въ безмятежный чавкъ.

Я подобралъ разсыпавшуюся по тарелкѣ начинку, доѣлъ крошки и затаился: «не дадутъ ли еще?»

Въ комнату по одиночкѣ входили новые поздравите-

ли. А за стѣной слышно было, какъ сосѣдняя комната нагружалась. Отъѣвшіе вставали, уступая мѣсто. («Да, больше не попадетъ!»).

Еще три-четыре человѣка получили по кусочку — такимъ счастливымъ оказался инженеръ-металлургъ Шапошниковъ, незнакомый Тараса Петровича! — а больше и никому: больше нѣтъ пирога.

— Мать-честная! мать-честная! — схватывался за бороду именинникъ.

Я видѣлъ, какъ учительница Валентина Александровна въ своихъ веревочныхъ туфляхъ измерзшая вся, жалобно смотрѣла на пустую тарелку: можетъ , найдется ей кусочекъ? вѣдь она никакъ не могла пораньше: ей очень далеко.

— Да нѣту, въ томъ-то и горе, все съѣли!

— Мать-честная! мать-честная!

Я видѣлъ, какъ С. Л. Рафаловичъ — Рафаловичъ, авторъ неподражаемыхъ афоризмовъ, о чемъ я и объявилъ тотчасъ же, жившій до войны въ Парижѣ и еще сохранившій видъ, хоть и потрепаннаго, но прилично-одѣтаго человѣка — въ галстукѣ — поддавшійся моимъ соблазнамъ, пришелъ таки и старался глазами «нащупать» именинника, котораго не зналъ въ лицо и поздравилъ Шапошникова.

А Шапошниковъ, съѣвъ свою долю, растолковывалъ тоже съѣвшему чудеса электрофикаціи.

Но я ужъ не смотрѣлъ на Рафаловича — вѣдь ему и такого кусочка не досталось! — я видѣлъ по другимъ опоздавшимъ: какая обида и горечь и досада.

— Мать-честная! мать-честная! — схватывался за бороду именинникъ.

*

Я протиснулся въ сосѣднюю книжную комнату, гдѣ мы пирога ждали.

И тамъ — кого только не было! — и въ валенкахъ и въ вязанкахъ, какъ Валентина Александровна, и въ сапогахъ, и со значками и безъ значковъ. И всѣ ждали — я такъ почувствовалъ — какъ мы тогда ждали, ревниво посматривая на дверь, когда, наконецъ, позовутъ пирогъ ѣсть?

— Да нѣту, въ томъ-то и горе, все съѣли! Вотъ развѣ чаю — «кавказскій» изъ Сѣвпроса!

Въ комнату доносилось звяканье блюдечковъ.

— — —

Въ тѣснѣйшемъ корридорѣ сорвалась вѣшалка.

— — —

Я кое-какъ пролѣзъ къ двери — пѣнія я ужъ не дождусь! Я отыщу свое и домой!

Въ кухню дверь была отворена — и тамъ тоже сидѣли.

А когда отыскавъ свою шкбу, я вышелъ и спускался по лѣстницѣ, навстрѣчу мнѣ подымались какіе-то незнакомые: по ихъ оживленію я понялъ, что они къ Тарасу Петровичу. А у воротъ запыхавшійся Алянскій:

— Александра Александровича Блока еще нѣту?

— Замятинъ пришелъ.

И ужъ мнѣ казалось, всѣ, кого я ни встрѣчалъ по дорогѣ, всѣ торопились на именины.

Меня догналъ нашъ уполномоченный.

— Бѣгу за Евдокіей Ивановной, — сказалъ онъ на-бѣгу, — начинаемъ пѣсни пѣть!

XII

КАТЯ

Въ самый тискъ, моръ-мракъ-морозъ — — на черной лѣстницѣ кто-то постучалъ. Поднялся я, думаю: сосѣди на счетъ воды. А это не сосѣди, а незнакомая какая-то. Сразу замѣтилъ, что черезчуръ у нея все крупно и притомъ костисто: руки и ноги прямо неизмѣримы, а лицо какъ изъ дерева, и только блѣдная улыбка на тонкихъ заледенѣлыхъ губахъ.

— — —

Просится принять въ прислуги!

А какая тамъ прислуга: на себя не хватаетъ —

Да нѣтъ, она ужъ какъ-нибудь: ей карточку выдадутъ, будетъ хлѣбъ получать, а главное, уголъ!

— Надо рекомендацію, — говорю, — сами понимаете.

Рекомендацію можно! Жила она тутъ же на островѣ, хозяева заграницу уѣхали, но она пойдетъ и что-нибудь достанетъ.

И пошла.

И часу не прошло, вернулась. Суетъ паспортъ — паспортъ финскій, по фински написано: ничего не понимаю.

— А рекомендація?

Плачетъ:

— Никого нѣту — примите! — плачетъ.

Ну, что подѣлаешь — откуда же взять рекомендацію, коли никого нѣту, а главное, плачетъ!

И приняли.

Я думалъ, пойдетъ за вещами, а у нея и вещей-то никаккихъ нѣтъ, даже подушки нѣтъ. Да и у насъ лишняго нѣтъ, взялъ я съ дивана подушку. Очень довольна — больше ничего и не надо. И сейчасъ же прописали — уполномоченный

тоже ничего не понялъ, что тамъ въ паспортѣ по фински — да это неважно:

чернорабочая финка — а зовутъ Катя.

И поселилась у насъ Катя.

*

Кухню топили разъ въ недѣлю — одинъ разъ въ недѣлю обѣдъ готовили. А такъ въ кухнѣ морозъ, но она холоду не боится. Подушка есть, хлѣбная карточка есть — какъ-нибудь проживетъ!

Катя про себя выражалась всегда въ мужскомъ родѣ: «я ходилъ», «я стоялъ», и когда, бывало, такъ станетъ разсказывать и смотришь на нее — стриженная (это послѣ тифа!), костистая и такія вотъ ручищи! — просто языкъ не повернется называть Катя. Ну, а потомъ привыкли.

Домашнее — приборка комнатъ, мытье посуды — у нея не выходило, даже пустяки, подмести какъ слѣдуетъ не умѣ-етъ, пришлось все до мелочей растолковывать. Но за то въ очередяхъ — это что-то безпримѣрно! — она могла простоять часъ, два, три и, если надо, въ другой лавкѣ столько же выстоитъ. И ничего. Вернется, какъ и устали нѣтъ, и никогда не пожалуется. Тоже и на счетъ дровъ, умѣла притащить столь-ко! — другіе на санкахъ везутъ, а она на себѣ и всегда, конечно, лишку ухватитъ, чего и не полагается. (Это когда деревянные дома на сломъ давали на топливо!) Разъ цѣлую дверьприволокла. И такъ ловко разрубитъ, распилитъ и лучинки нащиплетъ — чисто.

А вечерами, пока есть электричество, сидитъ себѣ въ своей холоднющей комнатенкѣ, книжку читаетъ —

а читаетъ она Пушкина — однотомный Пушкинъ.

— Ну, какъ, — спросишь, — хорошо?

— Очень хорошо.

И улыбается блѣдной улыбкой — по дереву.

Такъ жила у насъ Катя съ мѣсяцъ, выстаивала часами въ очередяхъ, таскала дрова и ни на что не жаловалась. И въ нашемъ ледникѣ словно потеплило. Ну и понятно:

очереди — тяжелое дѣло, а дрова тягчайшее.

А потомъ Катя исчезла.

И день пождали и другой — нѣту.

— Катя пропала.

— — —

Остался Пушкинъ — однотомный. И рукавицы — невиданныя, ужъ такъ велики, прямо великанскія, и не только рука, двѣ ноги войдутъ не постѣсняются? Рукавицы эти я всѣмъ показывалъ и всѣ удивлялись. А въ Пушкинѣ нашелъ два листка — письма. Пушкина я на полку, а письма въ архивъ — когда-нибудь пригодятся:

«память о Катѣ».

А вотъ по веснѣ иду я какъ-то по Невскому, навстрѣчу красноармеецъ. Вглядѣлся — и что-то вдругъ вспомнилось, да! — это лицо, какъ дерево.

— Катя! —

А она улыбнулась своей блѣдной улыбой — по дереву. Вижу тоже узнала, только она совсѣмъ не Катя, это я теперь ясно вижу.

Тутъ только понялъ я и эти рукавицы и «очередную» неутомимость и на счетъ дровъ.

Но какое отношеніе къ письмамъ? Да никакого. Письма лежали въ Пушкинѣ, а Пушкинъ не Катинъ — приблудный.

А какія чудесныя письма! Особенно первое, Шпенглеръ добивался подлинныхъ русскихъ «народныхъ» писемъ. Вотъ

бы ему почитать, чего лучше. А изъ французовъ кто былъ бы въ восторгѣ, это Максъ Жакобъ! Авторъ письма пишетъ, какъ говоритъ, все произношеніе глазами видишь: писать ему собственно нечего, а написать надо, въ этомъ вся и задача — и письмо есть.

А писано въ канунъ революціи.

«1916 года апрѣля 2-го дня письмо ато извѣснаго товарь. Захара Алексеевича къ милому и дорогому товарищу Ефиму Ивановичу. Поздревляю я васъ, дорогой товарищъ Ехимъ Ивановичъ, восокоторжествен. праздникомъ Пасхою Христовой, желаю я вамъ, дорогой товарищъ Ехимъ Ивановичъ, встрѣтить этотъ праздникъ въ радости-весельи и также привести его, и уведомляю я васъ, дорогой товарищъ Евхимъ Ивановичъ, што я по милости Божей нахожусь живъ-и-здоровъ, чиво вамъ жилаю — всего хорошего въ дѣлахь-рукъ-вашихъ. Затѣмъ посылаю свое товарищеское почтенія и съ любовію низкой поклонъ дорогому товарищу Евхиму Ивановичу, и желаю я тебѣ, дорогой товарищъ Евхимъ Ивановичъ, ать Господа всего хорошего въ дѣлахъ-рукъ-ваш. Затѣмъ увѣдомляю я васъ, дорогой товарищъ Евхимъ Ивановичъ, што я покамисть слава Богу нахожусь еще у доми, написалъ бы я тибя, дорогой товарищъ Евхимъ Ивановичъ, про прижавъ, но, хорошо неизвѣстна, когда будитъ, говорятъ, что въ апрѣли мѣсяци, ну никто не знаетъ хорошо — ну! Еще увѣдомляю я тибѣ, дорогой товришъ Евхимъ Ивановичъ, что у насъ очинь типло, погода хорошея, снѣгу уже давно

нету, начали пахать уже 31 марта. Еще увѣдомляю я тибѣ, дорогой товарищъ Евхимъ Ивановичъ, што у насъ узяли сейчасъ ратниковъ первой разряди и вхвторой всего 3 года. Вотъ, дорогой товарищъ Евхимъ Ивановичъ, если я поѣду и-въ Кіевъ, на-буду все ревно вамъ слать письма, я на васъ никогда не забуду. Прошу я васъ, дорогой товарищъ Евхимъ Ивановичъ, какъ получишь мое письмо, то дайте мнѣ отвѣтъ: буду ждать съ нетерпѣніемъ атвѣту! Вотъ, дорогой товарищъ Евхимъ Ивановичъ, про призывъ я узнаю всю правду на святой недѣли, тогда я вамъ напишу всю аткривенною прявду, будитъ призывъ, или нѣтъ, вы тогда узнаете хорошо, — я тогда вамъ пришлю слѣдующее письмо. Увѣдомляю я тибя, дорогой товарищъ Евхимъ Ивановичъ, хожу къ вашему атцу гулять каждый день. Увѣдомляю я васъ дорогой товарищъ, что получилъ атъ васъ 2 письмо и вамъ шлю другой письмо. Благодару вамъ за письма, што шлете, не забываете, написалъ бъ я вамъ какія новости, когда бъ были — ну нѣту!»

XIII

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬ

Онъ приходитъ ко мнѣ всякій вечеръ —

Не потому онъ приходитъ, что его тянетъ ко мнѣ, а только потому, что живемъ мы съ нимъ на одномъ дворѣ въ одномъ домѣ. Насъ соединяетъ обязательное постановленіе

запирать ворота въ 9-ть или въ 11-ть, смотря какъ, да ночные пропуска, безъ которыхъ по гостямъ не больно расходишься. И остается дворъ — домъ, гдѣ застигло, — гдѣ живешь и ничего за квартиру не платишь, и откуда ведетъ одна дорога въ продовольственную лавку, гдѣ также безплатно выдаютъ тебѣ по купонамъ хлѣбъ.

И вотъ какъ вечеръ, ему не сидится и онъ, не выходя на улицу, ходитъ по знакомымъ. И я его жду всякій вечеръ съ ожесточеніемъ.

*

— Вотъ у васъ есть еще книги, — начинаетъ онъ свой обычный разговоръ, — а я всѣ продалъ! и у Б. нѣтъ ничего, тоже продалъ. Ваши книги можно было бы продать и очень выгодно: у васъ есть рѣдкія и съ автографами.

— Я понемногу продаю, — въ который разъ я оправдываюсь, — но вы сами знаете, все идетъ за гроши. И есть у меня, съ чѣмъ бы я не хотѣлъ разстаться: вотъ Срезневскій, Тихонравовъ — кому это нужно? — а дадутъ пустяки.

Тогда онъ перечисляетъ знакомыхъ, у которыхъ есть вещи, но живутъ голодомъ.

— А всякую вещь можно продать.

— Но это не всякій можетъ, а черезъ комиссіонеровъ дѣло невѣрное.

И я привожу случаи, когда брали вещи для продажи, а денегъ послѣ никакъ не получить и нельзя жаловаться, а взявшій продавать ссылается на обыскъ, когда не только чужія, а и свои вещи — все пропало.

Разговоръ переходитъ отъ «вещей» на «разницу»: «разница» — это тотъ излишекъ, какой получится, если деньги падаютъ и смѣты все время мѣняются: и не было учрежденія,

гдѣ бы періодически не полагалось этой «разницы» — добавка къ жалованью; и разговоръ о ней, какъ о обыскахъ, продовольственныхъ карточекъ, пайкахъ и о продажѣ вещей.

— Вы уже получили разницу?

— Нѣтъ еще.

— А у насъ выдали!

И начинаются всякія разсужденія и подходы, какъ возможно и гдѣ еще можно добиться — получить «разницу». Бывали случаи самые неожиданные: можно вѣдь было представить себѣ эту «разницу» вездѣ, смотря съ какого времени начать считать!

Отъ «разницы» къ тому, что называетъ сосѣдъ «окопаться»: «окопаться» (въ родѣ оффиціальнаго «забронироваться») значитъ имѣть въ рукахъ всевозможныя удостовѣренія на каждый и всякій случай.

— Вотъ, — говоритъ сосѣдъ, – какъ повезло Д.: окопался! Напечаталъ онъ разсказъ, гонораръ продуктами, ждетъ изъ редакціи получить, а его въ Уголовный розыскъ, въ хозяйственномъ отдѣлѣ выдали, ну, сушеные грибы, крупы немного — росписался, недоволенъ: обѣщали-то и икру и масло и сахару и даже вино! — а ему говорятъ — «вамъ, какъ младшему агенту!» Теперь онъ можетъ удостовѣреніе взять! А вамъ я совѣтую въ Горохрѣ.

(«Горохръ» — это городская охрана).

— Да у меня и такъ много.

— Нѣтъ, въ Горохрѣ это солиднѣе: мало ли, обыскъ —

И ужъ дальше идетъ невещественное: ему мерещатся вездѣ чекисты.

— Сегодня встрѣтилъ на Невскомъ А.: въ чекѣ служитъ!

— Не можетъ быть.

— Я васъ увѣряю.

И начинаются всякія догадки и предположенія, почему

этотъ несчастный А. служитъ или долженъ служить въ чекѣ. Я пробую возражать, но ничего не помогаетъ, хуже. И мнѣ становится неловко; мнѣ кажется, что онъ и меня подозрѣваетъ или завтра придетъ ему въ голову такая же подозрительная мысль. И я ничего не говорю, только слушаю.

Наконецъ наступаетъ послѣднее, послѣ чего онъ уйдетъ, я знаю: это мои игрушки — «которыя я долженъ продать».

— Если американцамъ, — говоритъ онъ, прикидывая въ умѣ, и называетъ огромную сумму: эта сумма началась съ тысячи, дошла до милліона....

— — — ?!

— Нѣтъ, если вы дрожите надъ такимъ сокровищемъ, вы не такь нуждаетесь, какъ всѣ мы!

*

— — — и я начинаю раздумывать — я вѣрю въ американцевъ! Да, конечно, въ концѣ-то концовъ придется — и я могу разстаться съ моими игрушками — и получу милліонъ! Но кто мнѣ его дастъ? кто это купитъ? кому нужны? въ музей? Но вѣдь игрушекъ-то нѣтъ никакихъ, понимаете!? а есть пыльные сучки, вѣточки, палочки, лоскутки и мои разсказы о нихъ: когда я говорю, они принимаютъ такой видъ, какой мнѣ хочется — и всѣ видятъ! — и коловертыша и кикимору и коцу и ауку и скриплика и... — ну, всю эту серебряную живую стѣну. А сними я ихъ со стѣны, и безъ меня никто не разберетъ, гдѣ и кто — кто коловертышъ, кто коща, аука, скрипликъ: они безъ меня — — они только со мной живутъ, ишь, глядятъ! усатые, носатые, трехрукіе, одноногіе — — —

— ну, не отдамъ, не отдамъ!

Купитъ американецъ! Но это то же, что и знаменитая коллекція печатей нашего сосѣда!

И мнѣ вспоминается этотъ чудакъ, про котораго говорятъ, какъ и про меня, что онъ не такъ ужъ нуждается, если не можетъ разстаться со своей «знаменитой» коллекціей! А скажу вамъ, какъ и про свои игрушки, всѣ мы, кто его знаетъ поближе, сосѣди — и ни для кого изъ насъ не тайна, что вся эта знаменитая коллекція, всѣ эти печати — фальшивыя! И какъ мои игрушки существуютъ, потому что я, такъ и эти печати, потому что есть еще на бѣломъ свѣтѣ такой чудакъ, есть вѣра его въ ихъ неподдѣльность.

Да, я могу разстаться съ моими игрушками! И неужто найдется такой американецъ? И мое слово проникнетъ? И глазъ увидитъ тамъ, гдѣ ничего нѣтъ? И вотъ — милліонъ. А тотъ чудакъ — —? Тутъ дѣло безнадежное: какого надо дурака найти! чтобы повѣрилъ въ чужую вѣру и фальшивое принялъ за подлинное! Да и не разстанется онъ со своей «знаменитой» коллекціей: вѣдь она для него въ концѣ его дней, въ его покинутости, во всеобщемъ трудѣ безрадостной жизни, въ его ненужности (ну, кому нужна теперь сфрагистика!) для него она — *единственное утѣшеніе*, и про все это всѣ мы знаемъ, зналъ и самъ профессоръ Марковъ, и не можемъ не вѣрить его вѣрою — и какое надо черствое сердце, какую замухрысчатую душу! — и только не знаетъ про это и никогда не узнать «благожелателю».

XVI

БЛАГОДѢТЕЛЬ

«Благодѣтель» это совсѣмъ не то, что «благожелатель» или «совѣтчикъ».

«Благодѣтель», все равно какъ и почему, но это всегда

реальное, осязаемое, «благожелатель» же — нѣчто призрачное и можетъ быть очень живымъ и обольстительнымъ, какъ сонъ.

«Благожелатель» всегда о тебѣ знаетъ больше, чѣмъ ты самъ о себѣ знаешь, онъ вообще все знаетъ: а имѣетъ онъ гораздо больше, чѣмъ сколько тебѣ отмѣриваетъ. (Примѣръ изъ сегодняшняго: когда онъ говоритъ, что на такую-то сумму можно прожить сносно, это значитъ, что самъ онъ проживаетъ куда больше!) Какъ нѣчто призрачное,«благожелатель» безотвѣтственenъ: онъ всегда почтетъ долгомъ сказать, что гдѣ-то есть дешевая квартира, но никогда не скажетъ, гдѣ именно, а просто «есть» или сошлется на своихъ знакомыхъ, которые знаютъ. И при этомъ «благожелатель» неуязвимъ: вѣдь совѣтуя, онъ желаетъ добра и развѣ шевельнется языкъ сказать — «замолчи»!

«Благожелатель» — это человѣкъ, которому, въ сущности до тебя никакого дѣла нѣтъ, но совсѣмъ не безразличенъ: онъ всегда осуждаетъ тебя.

*

«Благожелателей» за эти годы я мало встрѣчалъ, развѣ что этотъ несчастный сосѣдъ — —

За эти годы много я видѣлъ настоящаго добра отъ людей — безъ суда и осужденія, безъ никакихъ требованій, безкорыстно! Имена порастерялись, но чувство я сохранилъ и это чувство слилось у меня въ словѣ «Россія» — Россія! пусть самая неожиданная и кавардачная! — и мнѣ всегда больно, когда огуломъ осуждаютъ все русское. Я вспоминаю добро, какое я видѣлъ отъ людей за эти годы, и это такое острое чувство моей памяти!

Люди дѣлали добро — ихъ какъ будто кто посылалъ

ко мнѣ въ тягчайшую самую пору, или я самъ шелъ куда-нибудь и ужъ не ждалъ, но тамъ-то меня ждали. И все это я помню, сливая мою память въ чувствѣ слова «Россія».

И не только за эти годы — въ эти годы только особенно ярко и остро! — а и въ мирные годы за всю мою жизнь много я видѣлъ добраго отъ человѣка. И коли ужъ вспоминать, скажу, бывали и «смѣхи», но безъ этого никакъ не обойдешься — не «протиснешься» въ жизни.

Это еще до войны и революціи: далъ мнѣ одинъ добрый человѣкъ 100 рубей, и что же вы думаете, за эти 100 рублей взялъ онъ себѣ такое право — приходилъ ко мнѣ, когда ему вздумается (а не когда я зову) и сидѣлъ безконечно и говорилъ неумолчно, и притомъ глупости. А другой — это во время войны — не разъ благодѣтельствовалъ и всегда «продуктами», вмѣстѣ, бывало, поѣдимъ чего, но въ концѣ концовъ получилъ отъ я него счетъ за съѣденное или, какъ онъ выражался, за «совмѣстно потребленное».

Но за эти-то годы что-то не припоминаю, чтобы были «смѣхи»!

Былъ такой случай: пришелъ ко мнѣ человѣкъ ну ничего-то у самого нѣтъ, а пришелъ помочь, такъ онъ мнѣ письмо принесъ — «можетъ пригодится!» Письма тогда я не прочиталъ, а теперь, когда всякая строчка, гдѣ о Россіи — изъ Россіи — русская — такая драгоцѣнность! (Этого не поймутъ тѣ, кто въ Россіи!)

Вотъ это письмо — въ войну 1916 г. — «бѣженское». Храню, какъ даръ человѣка, у котораго это — все, и ему нечего больше дать.

> «Поздравляемъ васъ сь вашимъ чиномъ, Милостивый Государь! До 4 іюня мы про васъ не имѣли никакого слуху. Но мы до той поры не забыли

васъ, но знать про васъ не знали. А вашъ портретъ хоронили на долгую память. Мы все ожидали отъ васъ письма. Но вы навѣрное знаете, какъ мы страдаемъ и погибаемъ. И не прислали намъ письма, а прислали намъ подарокъ, которымъ мы были очень рады и заплакали, какъ дѣти. За что вы насъ спасаете погибающихъ? Мы не знаемъ, за какую благодарность вы намъ прислали столько денегъ! Какъ вы знаете про нашу жизнь? Мы даже не знаемь какъ возблагодарить васъ за вашу милостыню. Въ чемъ мы вамъ отслужимъ за ваше добро? Я бы сейчасъ поѣхалъ до васъ, если бы вы мнѣ велѣли пріѣхать. Я бы вамъ пошелъ служить теперь навсегда, потому что бѣженская жизнь надоѣла. Такъ что судьба моя только заставляетъ погибать. Работалъ я подъ мѣшками, чтобы добыть кусокъ хлѣба. Но теперь я уже отработался, что приходится ѣхать на окопы. Бросаю больную мать и безъ руки отца! А самъ уѣзжаю, потому что скоро будутъ брать въ солдаты. А нашъ братъ уже не живетъ и намъ безъ него очень скучно и непріятно. Но ничего не подѣлаемъ, что онъ померъ. Мы все лечили его и старались его вылечить такъ, что всѣ деньги на него выдали. Завезъ онъ насъ въ Астраханскую губ., но тамъ былъ плохой климатъ, и онъ началъ насъ гнать назадъ, такъ что дорога стала 50 рублей. И теперь остались безъ копѣйки. Когда насъ прогнали изъ Дратова, то сейчасъ все на свои деньги. Коровъ у насъ забрали даромъ, лошадей бросили. Свиней, курей, гусей оставили дома. И кошки наши остались. Когда мы выѣхали на Киновію, то я ходилъ домой,

то кошки бросились мнѣ на шею и все мяукали и въ ихъ глазахъ было полно слезъ. Когда я уже удалялся совсѣмъ, то онѣ бѣжали до церкви и вернулись. Благодаримъ васъ за вашъ подарокъ и просимъ васъ, пришлите намъ еще свою карточку на память. И дай вамъ Богъ всего хорошаго, и дай вамъ Богъ, чего себѣ желаете. Всѣ говорили, что вы не признаете Бога, но мы васъ не забудемъ, пока не помремъ. Я бы очень хотѣлъ видѣть васъ и поступить къ вамъ на службу. И до свиданья!»

XVI

СРЕДИ БѢЛА-ДНЯ

1

НАЛЕТЧИКИ

Жадины — наши сосѣди по линіи: отецъ и двѣ дочери. Бѣдно они жили. И не теперь только, а и всегда.

Николай Ивановичъ мнѣ папиросъ давалъ. Ему по службѣ полагалось, а самъ некурящій. Только очень неловко брать у него: вѣдь папиросы на обмѣнъ — очень выгодно. А зайдешь къ нему, онъ сразу пойметъ: и сейчасъ же коробочку мнѣ. А у меня ужъ и лицо дергается — и не могу не взять, беру. И не знаю, чѣмъ возмѣстить этотъ даръ, ничего такого у меня нѣтъ. А тутъ къ какому-то революціонному празднику выдали мнѣ, по моей службѣ, румянъ и духовъ немножко. Сначала-то я растерлся: куда такое? А слышу: если обмѣнять, выгоднѣе папиросъ! Я и подумалъ: ну, вотъ и хорошо, отнесу-ка я Жадинымъ.

*

Старшая Анна Николаевна больна была — «свинкой». Стала выздоравливать, но еще лежала. Николай Ивановичъ ушелъ на службу. А младшая Надя, она около сестры сидѣла, а вотъ какъ стало легче, она и рѣшила пройти на Сѣнной рынокъ купить чего-нибудь — одинъ только оставался еще не закрытымъ Сѣнной.

«Я тебя запру»! — и Надя вышла, заперла за собой дверь.

А Анна Николаевна осталась одна.

— — —

«Надя ушла, а я лежу, — разсказывала Анна Николаевна шопотомъ, долго она боялась громко объ этомъ разсказывать, — и вдругъ вбѣгаетъ Надя: вернулась! (она всегда возвращается) — забыла мѣшокъ. Взяла она мѣшокъ: «ай какой нехорошій у насъ на лѣстницѣ стоитъ!» И ушла — заперла за собой. Прошло такъ съ полчаса, слышу, опять отпираетъ. Нѣтъ, думаю, это не Надя: можетъ, Вѣра Ивановна, сосѣдка — Надя ее встрѣтила и ключъ ей отдала, ну та сразу-то и не можетъ отпереть. И слышу: отперла — входитъ. И сразу понимаю, не Вѣра Ивановна, мужскіе шаги — и много — не одинъ. Прошли въ кухню — — Потомъ въ Надину комнату — — Потомъ въ сосѣднюю. Думаю, кто изъ знакомыхъ въ Петербургъ пріѣхалъ, Надя ключъ дала. И вдругъ на порогѣ какой-то молодой человѣкъ, одѣтъ хорошо —

«какъ говорю, вы сюда попали?»
«очень просто: дверью».
«но вѣдь дверь была заперта?»
«что вы говорите! — дверь настежь!»
«нѣтъ, я знаю навѣрно: я была заперта!»
«— — молчи!» — и онъ револьверъ на меня.

И вижу, вошелъ матросъ и также револьверъ на меня. Я вскочила. А они за мной. И загнали меня въ уголъ.

«идите, ложитесь!
«нѣтъ»! — говорю.

А матросъ взялъ меня на руки и бросилъ на диванъ, гдѣ я лежала. Открылъ чемоданъ — очень духами запахло! — вынулъ веревку и сталъ меня связывать: связалъ руки, потомъ ноги —

«а теперь говорю, что будетъ?»
«мы уйдемъ сейчасъ».
«а я какъ останусь?»
«а васъ развяжутъ».

И вышли. И слышу, какъ въ корридорѣ щелкали курки — — Потомъ шаги по лѣстницѣ. Прислушалась: ушли! И стала я по-немногу веревку съ себя снимать. Очень это просто: ослабила сначала на рукахъ — и развязала, потомъ ноги. И вдругъ подумала: а-ну какъ они вернутся — увидятъ, я развязанная! И стала я себя опять связывать. Кое-какъ связала ноги, потомъ руки. И лежу, боюсь шевельнуться. И думаю: да что же это я съ ума сошла что ли? И сняла я съ себя веревку, встала, пошла заперла дверь. И опять легла».

— — —

А Надя разсказала —

когда она вышла въ первый разъ, она увидѣла возлѣ дровъ стоитъ матросъ, а когда вернулась, на лѣстницѣ этотъ какой-то нехорошій; она взяла мѣшокъ и съ мѣшкомъ пошла къ трамваю — трамваи рѣдко ходятъ, приходится долго ждать — и тутъ она замѣтила, ждетъ тотъ самый матросъ, котораго видѣла около дровъ; а сѣла въ трамвай, матросъ остался.

— И вотъ что странно, — сказалъ Николай Ивановичъ, — ничего вѣдь не взяли: возлѣ дивана на столѣ лежали часы — не взяли!

2

ПРИСТАЮТЪ

На углу 15-ой линiи баба грибы продаетъ.

— Сколько стоитъ?

— 40 рублей!

И когда Вѣра Ивановна платила, слышитъ сзади голосъ (спереди зуба нѣтъ!):

— Сколько стоятъ грибы?

Она обернулась:

— 40 рублей! — говоритъ.

— Ну и живи послѣ этого.

— Да, жить трудно.

И съ грибами пошла домой.

А тотъ безъ зуба — сзади.

— — — —

— Я хочу съ вами познакомиться! — заговорилъ онъ.

— Что же знакомиться! Такъ не знакомятся.

— А какъ же? — и отъ неожиданности онъ остановился, и сейчасъ же и сообразилъ, — я ужъ за вами дано слѣжу! Пошли бы сейчасъ ко мнѣ. У меня и продовольствiе есть! — и это сказалъ онъ очень внушительно: «продовольствiе!» — такъ бы и познакомились: я вамъ могу помочь въ продовольствiи.

— Мнѣ не нужно продовольствiя, я иду домой.

И пропустивъ домъ — не хотѣла показать, гдѣ — оста-

новилась она около единственной, сохранившейся еще «польской» прачечной, куда можно было зайти.

— Ну, вотъ я и домой пришла.

— Такъ и не пойдете ко мнѣ — — а я такъ бы хотѣлъ!

— Нѣтъ, не пойду, я дома.

Но онъ не можетъ примириться:

вѣдь у него же есть продовольствіе!

— И чего же вамъ? — просвистюкалъ онъ, — или кто ждетъ васъ?

— Мужъ.

— Такъ у васъ мужъ? — — ахъ, какъ жаль!

*

Она шла на Невскій за добычей: надо было табаку достать. А это дѣло очень трудное: никакихъ табачныхъ лавокъ нѣтъ, всѣ закрыты, и если найдется въ какой- нибудь «комиссіонной», да и то не всякому дадутъ — все вѣдь изъ-подъ полы: «нелегально или по русски сказать «подпольное».

А такой чудесный день — весна!

На мосту матросъ:

— Позвольте съ вами познакомиться!

И идетъ сзади.

— Позвольте съ вами познакомиться!

И ужъ теперь рядомъ.

— — —

Перешли мостъ.

— Я хочу съ вами познакомиться!

— Оставьте меня въ покоѣ!

Матросъ не обращая вниманія:

— Вы спѣшите куда нибудь?

— Да спѣшу.

— Такъ давайте такъ: приходите въ Александровскій садъ на эту скамейку сегодня въ 6 часовъ вечера.

— Нѣтъ, не приду.

Не обращая вниманія.

— Вмѣстѣ бы пошли. Я знаю такое мѣсто, гдѣ можно кофе выпить и закусить.

— Но вѣдь я же съ вами не знакома!

— Такъ и познакомимся.

На Невскомъ все закрыто и «комиссіонныя» закрыты — и никуда-то вѣдь не зайдешь!

Дошли до Казанскаго собора — матросъ не отстаетъ.

— Ну, — говоритъ, — приходите сюда, въ садикъ!

Не отвѣчая, она повернула на Казанскую и въ первый попавшій дворъ, будто домой, и тамъ на лѣстницу.

А матросъ остался внизу, подождалъ — подождалъ — непонятное дѣло:

> «вѣдь онъ же знаетъ такое мѣсто, гдѣ можно кофе
> выпить и закусить!» —

плюнулъ и пошелъ.

*

На углу Троицкой женщина надъ ларькомъ: нитки, иголки, мыло.

Голосъ сзади (съ зубами!):

— Мюръ-и-Мерилизъ, правда?

— Правда, — сказала она и, не оборачиваясь, быстро пошла по Троицкой.

Нагналъ:

— Ахъ, какъ бы я хотѣлъ съ вами познакомиться!

— Я спѣшу, — сказала она

— Такъ я васъ провожу.

Она въ парикмахерскую — къ б. Жарову: все равно, мыло надо купить.

Въ парикмахерскихъ мыломъ промышляли и, конечно, изъ-подъ полы или, сказать по-иностранному, нелегально!

И купила она кусокъ, выходитъ! а тотъ (съ зубами!) ждетъ.

— Скажите пожалуйста, ваше имя: я давно за вами слѣжу.

— Маргарита Васильевна! — назвала Вѣра Ивановна имя своей подруги, съ которой служила.

— Ну, вотъ Маргарита Васильевна, не бойтесь вы меня! — и отъ чувствъ онъ всхлипнулъ, — я желѣзнодорожникъ, за продовольствiемъ ѣзжу. На дняхъ поѣду, окорокъ привезу! — и онъ выговарилъ съ особеннымъ чувствомъ это слово «окорокъ», вышедшее за эти годы изъ употребленiя, какъ «лимонъ» и «апельсинъ» — хотите вамъ привезу?

— Нѣтъ не надо! — и она подошла къ дому, гдѣ жили знакомые: — я сюда, зайду къ подругѣ.

— А вы гдѣ живете?

— Улица Гоголя, — и она назвала номеръ дома своей службы.

— Такъ можно и написать: Маргаритѣ Васильевнѣ?

— — —

И что же вы думаете: написалъ! И Маргарита Васильевна получила письмо. Ничего не понимаетъ: изъясненiе чувствъ съ упоминанiемъ продовольствiя и про окорокъ — «окорокъ» подчеркнуто.

А дня черезъ два идетъ «Маргарита Васильевна» по Невскому, а навстрѣчу «Окорокъ». Страшно обрадовался.

— А я ужъ вернулся: цѣлый окорокъ привезъ! Подѣлимтеся со мной. Давайте условимся: вы ко мнѣ придете ——

— Мнѣ не нужно, — сказала «Маргарита Васильевна» и стала переходить на ту сторону къ б. Гурмэ.

У Гурмэ продаютъ теперь резиновыя подошвы!

«Окорокъ» чего-то замѣшкался: или въ изумленіи передъ «не нужно»? — но сейчасъ же сообразилъ, догналъ.

— Да вы не безпокойтесь, Маргарита Васильевна, мои намѣренія честныя: я вдовецъ.

— Мнѣ мужъ не позволяетъ никуда ходить! — сказала «Маргарита Васильевна» ясно и понятно, чтобы было для «честныхъ намѣреній» и ясно и понятно.

— Такъ вы зарегистрировались?

— Да. Зарегистрировалась.

— — —

XVI

РЫБІЙ ЖИРЪ

Я видѣлъ свѣтъ въ этомъ мірѣ, гдѣ мнѣ казалось, иногда, движутъ жизнью никакія «идеи», а «машина», и двигатель — «мошенникъ», въ годы огрубѣнія и отчаянія человѣческаго въ войну и послѣ, когда, казалось, сами небеса, истерзанныя мольбой о помощи и мирѣ, висѣли разодранными лохмотьями, а вмѣсто «тихаго свѣта» электричествомъ сіяла улыбающася всему міру «идеальная» рожа нажившагося на войнѣ хлюста.
Я видѣлъ свѣтъ и въ самую темь нашей, отъ всего свѣта «затворенной», жестокой жизни.

*

Надо было мнѣ достать лекарство. А лекарство, что оставалось еще въ Петербургѣ, взято было «на учетъ», и въ апте-

кахъ рѣдко чего выдавали. (Вѣдь все безплатно!) И я проникъ къ самому главному — въ Комздравъ (Комиссаріатъ здравоохраненія) за подписью, чтобы выдали. Такъ и день прошелъ. И ужъ подъ вечеръ я выбрался на Гороховую въ аптеку: тамъ былъ аптекарскій складъ и только тамъ я могъ получить лекарство.

Въ апетекѣ я засталъ хвостъ. И сталъ совсѣми въ дверяхъ — все вижу. А выдавали по особымъ рецептамъ, какъ я узналъ, рыбій жиръ. И за этимъ-то рыбьимъ жиромъ и была такая очередь.

Рвань послядняя «вопіющая» — много навидался я бѣдноты въ очередяхъ и особенно среди «нетрудового элемента», т.е. людей не физическаго труда въ «Домѣ литераторовъ» на Бассейной, въ «Домѣ ученыхъ» на Милліонной и въ «Домѣ искусствъ» на Мойкѣ, да и самъ я былъ не казистъ, но здѣсь — всѣ были какъ на подборъ. Вѣдь самая зима, а что-то очень ужъ легко и по лѣтнему — и вотъ всякія тряпки и лоскуты и какіе-то облѣзлые хвосты торчали изъ самыхъ непоказанныхъ мѣстъ, а лица были отеклыя, дергающіяся.

Мнѣ особенно врѣзался въ глаза очень высокій выше всѣхъ — рыжій съ вытянутой шеей: его очередь приближалась. И я ужъ не могъ не слѣдить за нимъ.

— Учитель Балдинъ, — сказалъ онъ какъ-то вытянувъ шею, такъ вытягиваютъ просители, такъ вытягиваетъ, я это на улицѣ здѣсь замѣчалъ въ Парижѣ, человѣкъ у котораго нѣтъ ничего, а идетъ онъ около всего, — учитель Балдинъ, — повторилъ онъ, — рыбій жиръ!

На прилавкѣ рядъ одинаковыхъ пузырьковъ, какъ іодъ отпускаютъ, такихъ, не больше — и это былъ рыбій жиръ, за которымъ стояла очередь, и къ которому вытягивалъ шею учитель Балдинъ.

Самъ-то я не переношу этого жиру, меня отъ одного названія мутитъ, такое «органическое отвращеніе» я чувствую, и не только съ іодный пузырекъ, а и капельки бы не принялъ — просто душа не принимаетъ! — но за этого учителя Балдина, за его нищету, покинутость и предвкушаемое счастье я тогда принялъ душой и это самое для меня отвратительное.

Я за нимъ также вытянулъ шею и въ послѣдній разъ, какъ онъ вытянулъ, когда протянулъ руку къ пузырьку и губами какъ-то сдѣлалъ ужъ беззвучно: поблагодарилъ что-ли задохнувшись.

И вотъ все у меня перевернулось.

И я почувствовалъ, какъ свѣтъ хлынулъ — —

И этотъ свѣтъ, наполнивъ мнѣ душу, озарилъ всю улицу — всѣ улицы, по которымъ шелъ я изъ аптеки со своимъ лекарсвомъ.

*

Домой я вернулся ужъ совсѣмъ въ темь. Никого у насъ не было — никто не забрелъ. И въ молчаніи легъ я спать. А проснувшись, я сразу почувствовалъ, что во мнѣ живо вчерашнее мое и этотъ свѣтъ —

Я вышелъ изъ дому.

Зима, эта невыносимая лють, которая мнѣ казалась никогда не кончится, а вотъ — я не чувствовалъ! И тѣ, кого я встрѣчалъ по дорогѣ, я не знаю, тоже навѣрно не чувствовали въ эту минуту ни стужи, ни мороза: и то, что было у нихъ отъ добраго сердца — отъ свѣта сердца поднималось встрѣчу моему свѣту —

одни улыбались мнѣ, какъ улыбаются только весною, другіе уступали дорогу — —

*

Мнѣ надо было за справками — вѣдь вся «затворенная» жизнь наша: прошенія, справки и страхъ (всякія страхи!)

И тамъ, гдѣ обыкновенно встрѣчали сурово, мнѣ показалось, отвѣчаютъ, какъ на желанное, и чего-то вдругъ радовались, можетъ, и не замѣчая того. Въ пріемныхъ я не толкался дуракомъ отъ стола къ столу и не туда — я не ждалъ, меня пропускали.

Въ Отдѣлѣ Управленія, — это я такъ ясно запомнилъ — пришла какая-то женщина хлопотать о мужѣ: «сапожникъ по пьяному дѣлу»! — проситъ она освободить — и не словами она это проситъ, а вся, все — съ головы, и чего-то шепчетъ, вотъ въ ноги поклонится. А я смотрю, не въ глаза, а на бумагу — на прошеніе, замуслеванное, сколько прошедшее учрежденій и рукъ по-пусту, и вижу: начальникъ пишетъ: «освободить».

И я чувствую, какъ свѣтъ мой переливаетъ — — и вотъ произойдетъ и еще что-то, я ужъ не знаю, подыметъ ли меня на воздухъ или разорветъ мнѣ сердце.

XVII

ЭЛЕКТРОФИКАЦІЯ

Много было чудеснаго и чудодѣйственнаго въ эти годы въ Россіи! И самыя головокружительныя мечты — земля вотъ-вотъ превратится въ рай и настанетъ и на нашей улицѣ праздникъ! — и самая неожиданная сѣрая явь.

Какъ-то стали считать, сколько въ мѣсяцъ проживаетъ

каждый изъ насъ по мирному времени, если «даровую выдачу» на деньги переводить, и едва до пяти рублей досчитали — а вотъ и нищіе, а есть и самоваръ и кое-какія книги уцѣлѣли, а харахору — на квадриліонъ!

> Когда, потомъ ужъ, въ Ревелѣ въ церкви я замѣтилъ, какъ стоятъ всѣ понуро, униженные, первое, что я подумалъ: «какъ! развѣ русскіе должны быть такіе? — русскіе должны стоять гордо!»

Да, и мечты за-звѣздныя, и шибающая явь, и самая дикая расправа человѣка надъ человѣкомъ, и горячѣйшее дарящее сердце.

И «всѣмъ, всѣмъ, всѣмъ», и доморощенное дубоножіе, и смѣхъ и грѣхъ.

— — —

— — — ну, вотъ по сосѣдству подъ Петербургомъ — разсказывалъ мнѣ пострадавшій, служащій по культ-просвѣту: нарядили за нимъ негласное наблюденіе и наблюдающіе залегли въ кусты противъ его дома; лѣтнее время, не все печетъ солнышко, подулъ вѣтеръ — пошелъ дождикъ, а подъ дождемъ въ сырости не очень-то сладко валяться, и вотъ какъ стемнѣло, вылѣзли они изъ-подъ кустовъ и въ домъ къ поднадзорному-то чай пить, попили чайку, обогрѣлись и опять на работу назадъ въ кусты, самъ онъ ихъ и отъ собакъ до кустовъ проводилъ! — — Въ Большомъ Драматическомъ театрѣ (б. Суворинскомъ) ставили б. короля Лира (пьеса очень понравилась, «потому что длинная»,) передъ началомъ какой-то, «перешедшій на этотъ бергъ съ октября» сказалъ разъясняющее слово о значеніи пьесы съ марксистскимъ подходомъ, а въ заключеніи объявилъ, что Шекспира до сихъ поръ запрещала цензура и, только теперь впервые появляется на свѣтъ. — — Балтморъ Костровъ, толковый и способный, со значкомъ, возражая това-

рищамъ, которымъ казалось ни къ чему знать такія грамматическія тонкости, какъ сказуемое и подлежащее, сказалъ не безъ сердца: «Если мы свой родной языкъ не будемъ знать, то дойдемъ и до того, что потеряемъ и свою православную вѣру и крестъ снимемъ съ шеи, какіе же мы послѣ этого комунисты?» — —

Въ своей членской книжкѣ Сорабиса (Союзъ работниковъ искусствъ) на мѣстѣ фотографической карточки я наклеилъ свой карандашомъ нарисованный автопортретъ и подписался — и тутъ же печать поставили; и когда я показывалъ это мое изображеніе, закрывая подпись: «кто это?» — всѣ безъ исключенія отвѣчали въ одинъ голосъ: «свинка» Своимъ ученикамъ-караноармейцамъ для испытанія ихъ письменной способности я задалъ описать какой-нибудь сонъ, — и странно, всѣ ихъ сны заключались «пушкой», а у нѣкоторыхъ и во время теченія сна «палили»! И когда я растолоковалъ имъ эти «пушки» поднялся такой громовой хохотъ, котораго навѣрно никогда не слыхивали стѣны б. военнаго министерства, гдѣ помѣщался красноармейскій университетъ, и въ холодющей комнатѣ стало жарко — или это отъ вареной мороженной брюквы, духъ которой проникалъ сквозь и самыя крѣпкія стѣны — —

Да, мечты! — вѣдь одно издательство «Всемірной литературы» чего стоитъ: изобразить по-русски всю міровую литературу! — и сѣрая обидная явь: нѣтъ бумаги! Да, сѣрая явь, пронизанная этимъ — я не подберу такого человѣческаго слова, вся бакалея, все съѣстное не выражаютъ и тѣни самого духа, и я назову по обезьяни, подлиннымъ обезьяньимъ словомъ — г о ш к у! — гдѣ слышу и ѣду и чавкъ и крадь. Когда по веснѣ среди бѣла дня вокругъ солнца открылась радуга и надъ радугой загорѣлись вѣнцы, какъ солца, народъ говорилъ: «къ усиленной войнѣ», какъ гово-

рилось о пайкѣ — «усиленный паекъ»! Это «гошку» пронизывало и самое солнце и небесные знаки! За Невской заставой появились «покойники»: голодные, они ночью выходили изъ могилъ и въ саванахъ, свѣтя электрическимъ глазомъ, прыгали по дорогамъ и очищали мѣшки до смерти перепуганныхъ, пробирашихся домой, запоздалыхъ прохожихъ. А какъ-то ѣду я по желѣзной дорогѣ — въ Петербургъ возвращался! — очень тѣсно, и только что подъ утро я задремалъ — и сразу проснуся отъ пѣтушинаго крика — вагонъ пѣлъ пѣтухомъ! Но что произошло дальше, тутъ ужъ я ничего не могъ сообразить: мѣшокъ пошелъ по вагону! а за нимъ другой! а за другимъ третій — такъ, и загребаетъ, а ногъ не видно! — я видѣлъ, какъ сосѣдъ мой красноармеецъ глубоко и истово по старинному перекрестился, и одинъ изъ мѣшковъ попятился, хрюча, а другой, какъ рогомъ, боднулъ и подъ лавку, и я вспомнилъ — Гоголь! —

Нѣтъ, ни одинъ наблюдатель чудесной жизни, никакой Гоголь, не увидитъ столько, какъ было въ эти годы въ Россіи, когда жизнь вся ломалась и съ мѣста-на-мѣсто передвигались люди и вещи!

По Литейному съ Викторомъ Шкловскимъ шли мы съ вечера изъ Дома Литераторовъ и пришла мнѣ въ голову одна планетарная мысль:

«А что, — подумалъ я, — если бы въ «Бѣсовскомъ дѣйствѣ» электрофицировать адъ — «тьму кромѣшную», какой бы поднялся кавардакъ и какая бъ была планетарная куролесина среди бѣсовъ»!

И когда я громко сказалъ объ этомъ — эта мысль моя электрическая встрепнула Шкловскаго:

— Из-воз-чикъ!!! — какъ крикнетъ онъ во тьму на

весь на пустынный Литейный, въ родѣ какъ автомобильная шина лопнула.

— — —

А кони давно всѣ пали,
а падлое мясо — синюю конину поѣли,
а съѣлъ кто — давно ужъ померъ,
а покойниковъ-прыгунковъ электрическихъ
— страхъ зазаставный! —
всѣхъ перестрѣляли.

ЗАГОРОДИТЕЛЬНЫЯ ВѢХИ

I

Новый годъ начался сномъ. Въ первый разъ за сколько мѣсяцевъ! Видѣлъ во снѣ ножницы, которые пропали и сколько дней ищу, не могу найти, и вотъ будто нашлись!

*

Въ очереди стоишь, разговариваютъ. Теперь меньше. Теперь стали дорогой заговаривать. Понятно, все пѣшкомъ надоѣдаетъ, а въ разговорѣ и не замѣтно. А у другого очень накипѣло и хоть на вѣтеръ. И всякій ищетъ виновнаго и въ своей и во всеобщей бѣдѣ.

Вотъ и эта — кто она? Какъ-то по-немногу все стерлось — уровнялось подъ послѣднюю рвань: можетъ, бывшая лавочница, а можетъ, хозяйка.

— — —

— — кто говоритъ: «уѣзжай отсюда!» А я говорю: «куда же я поѣду, тутъ хоть мѣсто нагрѣтое». А то говорятъ: «въ Кронштатъ уѣзжай,»! А я говорю: «Боже упаси, у насъ страшно, а на этомъ островѣ еще страшнѣй».

— — —

— — тутъ недавно возлѣ Академіи ученье было, одинъ

красноармеецъ и говоритъ:«Товарищи, не пойдемте на фронтъ все это мы изъ-за жидовъ деремся!» А какой-то съ портфелемъ: «ты какого полку»? А тотъ опять: «Товарищи, не пойдемте на фронтъ, это мы все за жидовъ»! А съ портфелемъ скомандовалъ: «стрѣляйте въ него!» Тогда вышли два красноармейца, а тотъ побѣжалъ. Не успѣлъ и до угла добѣжать, они его настигли да какъ выстрѣлятъ — мозги у него вывалились и цѣлая лужа крови. Я иду и громко плачу. Милиціонеръ подошелъ и говоритъ: «иди въ свою квартеру плакать». А я говорю: «когда это публично дѣлается, то можно публично и плакать».

— — —

II

Умерла бабушка Ольга Ивановна Доріомедова, мать Марьи Константиновны. Помяну Ольгу Ивановну чаемъ: никто такъ не умѣлъ чай дѣлать, какъ она! И оттого особенный уютъ былъ въ домѣ.

III

А. М. Горькій для «пищепитанія» сочинилъ издать избранныя произведенія. И всѣ мы «б. писатели» получили деньги — гонораръ каждый за свою книгу — Мережковскій, Сологубъ, Замятинъ, Шишковъ, Муйжель, Чуковскій — изъ Наркомпроса отъ З. Г. Гринберга, замѣстителя Луначарскаго. А сейчасъ я подбираю сказки для дѣтей — Гринбергъ хочетъ издать въ какой-то дошкольной дѣтской секціи. Ходилъ къ Бѣлопольскому въ Госиздатъ, понесъ на пробу изъ «Посолони». И все ничего, да одна бѣда:

— Нельзя ли ангеловъ замѣнить!
— — — ?
— Ну, хоть звѣздами.
— — —

IV

Видѣлъ во снѣ И. Іонова: на столѣ у него будто разрѣшеніе на изданіе моихъ книгъ въ Госиздатѣ. А. С. Іонова тутъ же лежитъ: у нея, говорятъ, сынъ родился. А рядомъ сидитъ ея мать.

V

Первый день Пасхи. Когда ночью шли домой изъ Андреевскаго собора — это не вѣтеръ — это «вѣй» какой-то вѣялъ съ моря.

Прежде я любилъ звѣзды и въ звѣздахъ видѣлъ знакъ — я не могъ разгадать, но неопреодолимо тянулся къ звѣздамъ. А теперь я полюбилъ вѣтеръ — вѣй» — я его почувствовалъ, какъ -когда-то звѣзды. И душа моя къ нему — и черезъ него моя связь со всѣмъ міромъ.

Я получилъ рѣдкій подарокъ — «находка!» въ мусорѣ — книга патріарха Никона «Мысленный рай». А когда я копнулъ переплетъ, тамъ цѣлыя сокровища: скоропись XVII в.

*

Въ нашемъ домѣ у Вагоновожатаго («вагоновожатый» — это Анна Петровна Плутицына за свой ростъ и тощесть необыкновенную) жильцы у нее матросы и водится хлѣбъ и

керосинъ. Къ Вагоновожатому ходитъ ея родственница Груша, б. горничная въ Меблированныхъ комнатахъ на Невскомъ, а теперь «уборщица» въ Совѣтскомъ домѣ. И всегда разговоръ о политикѣ — «послѣднія новости».

Я сидѣлъ у Вагоновожатаго по случаю хлѣба.

Говорили о яйцахъ: вспомнили, какъ на прошлую Пасху когда каждому по карточкѣ выдали по яйцу, Груша получила 18-ть! — «18-ть было меблированныхъ жильцовъ и всѣ разъѣхались передъ Пасхой, по ихъ карточкамъ она и получила». Отъ яицъ, какъ ъполагается, къ политикѣ: рѣчь зашла о ликвидаціи безграмотности —

— Что теперь ужъ по декрету обязательно заставятъ каждаго учиться!

— И не подумаю! что я дура что ли, учиться! — Груша съ сердцемъ затянудесь (Груша раньше не курила, только теперь, когда всѣ стали курить!) — этому скоро конецъ! Ленинъ рѣшилъ отстраниться отъ всякихъ дѣлъ: будетъ! «Я, говоритъ, больше не могу управлять: не могу видѣть, какъ этотъ народъ ходитъ голый, босый и голодный!» И отдалъ порт-фель. А евреи сказали: «А мы будемъ управлять, чтобы остатокъ народа перебить!»

— — —

VI

Всякій знаетъ, что чертямъ дано гулять и мутить людей подъ Рождество, (объ этомъ у Гоголя все написано!), а на Пасху совсѣмъ не указано. Но бѣсъ и есть бѣсъ: бѣсъ исхитрился и выскочилъ изъ тартараровъ въ самую святую полночь — и куда же? — да прямо въ церковь.

Вотъ и послушайте!

Во время пасхальной заутрени свѣчка у меня таяла, я то-и-дѣло зажигалъ ее и тушилъ, хвать: нѣтъ шапки! Туда-сюда, нѣтъ нигдѣ. И въ концѣ концовъ нашелъ, но очень испугался —

> конечно, это *онъ* вырвалъ у меня изъ рукъ «мутчикъ!»

А у мальчишки, который впереди меня, шапка такъ и не нашлась. Но самое ужасное: обернувшись вошью, вошью ползалъ *онъ* по спинамъ сосѣдей, а стояли плечо-къ-плечу и никакъ не устранишься!

На Кирочной, разсказывали, въ домовой церкви вышелъ священникъ и прямо затянулъ «Христосъ воскресе» (Долго не разрѣшали служить и, когда разрѣшили, въ послѣднюю минуту изловили какого-то попа, незнакомаго, вотъ и напуталъ!) Кто-то крикнулъ: «Что вы, батюшка, не то!» А попъ изъ царскихъ вратъ: «Эй, чортъ»!» И пошло — сумятица, вой, плесъ».

Въ Казанскомъ соборѣ какой-то «начиненный» подростокъ задумалъ поозорничать и хотѣлъ закурить отъ свѣчки — ну, и было жъ: чуть не разорвали!

Конечно, это все *его* рукъ дѣло!

VII

Второй день, какъ лежитъ С. П.: припадокъ печени. И нѣтъ воды. Измаялись, измучились. Не выхожу изъ дому, и ничего не придумаю. А сегодня выбѣжалъ въ лавку. Господи! какой зеленый пухъ налетѣлъ и покрылъ деревья. На 14-ой линiи трава.

*

Буракова всѣ любили. За его необыкновенный ростъ и силу, за добродушіе, за умѣнье все сдѣлать. И когда что случалось — поломается или, и изъяна нѣтъ, а просто остановка! — всякій схватывался: позвать Буракова! И Бураковъ появлялся и съ прибауткой отвинчивалъ, вставлялъ кусочки дерева или ковырялъ проволокой и опять машина налаживалась. И казалось, не было дѣла, которое онъ не исполнилъ бы и самое головоломное одолѣетъ и неподступное возьметъ.

Буракова далеко знали.

Въ революціонные праздники на манифестаціяхъ обыкновенно онъ носилъ флагъ, а въ крестномъ ходу его можно было видѣть съ какой-нибудь тяжеленной иконой.

Бураковъ изъ бѣлой арміи, псковской, попалъ въ плѣнъ гдѣ-то подъ Ямбургомъ и отбывалъ наказаніе въ контракціонномъ лагерѣ, а изъ лагеря назначенъ былъ на общественныя работы въ одинъ изъ совѣтскихъ домовъ и служилъ онъ въ родѣ дворника — «на всѣ руки».

Какъ-то кололь онъ на дворѣ дрова, и не знаю къ чему, зашелъ разговоръ о царѣ: какъ царя разстрѣляли.

— Что жъ, — сказалъ Бураковъ, — все это возможно и надо было ожидать, но только скажу вамъ: царь живъ, и все это неправда.

— Да такъ же такъ неправда, это жъ теперь всѣ знаютъ!

— А вы послушайте, что землякъ-солдатъ разсказывалъ—

— — —

— Ѣхали наши солдаты изъ Германскаго плѣна. Сѣли они на параходъ въ Стокгольмѣ. Параходъ еще не отходилъ, сидятъ они ждутъ, и видятъ — идетъ какой-то военный. Подошелъ къ нимъ: «Здорово, ребята!» Поздоровались. А онъ и говоритъ: «Вы меня не узнаете?» «Никакъ нѣтъ, не узнаемъ!» «Да я же вашъ царь!» Тутъ они вглядываться — и видятъ:

дѣйствительно царь! только похудѣлъ, постарѣлъ, весь-то сѣдой съ палочкой. «Ваше Императорское Величество, говорятъ, мы ваши вѣрные слуги! Только что же это съ вами такое случилось, и признать невозможно!» А онъ имъ по серебрянному рублю далъ каждому. И это истинная правда, потому что онъ мнѣ рубль показывалъ.

VIII

Сижу въ пріемной Отдѣла Управленія и жду. Жду поговорить. Такъ больше жить невозможно. И пусть намъ дадутъ какую-нибудь кавартиру: вѣдь у всѣхъ, кого ни возьми, хоть и плохо, а все-таки по-человѣчески, а у насъ и здоровый-то не вынесетъ, дня не проживешь такой жизни. И вотъ я жду — — И когда же , наконецъ? Задержусь, опоздаю домой — пропущу часъ, когда въ прачешной пустятъ воду и *никто не принесетъ* и останемся мы безъ воды! Вѣтеръ воетъ. Какъ воетъ! А когда шелъ, смотрѣлъ я на Неву — бѣжитъ. Завтра надо итти въ Петрокоммуну за керосиномъ, стоять долгіе часы въ очереди — а можетъ, и откажутъ! По площади итти побоялся — тамъ такой вѣтеръ. И какъ это мы зиму прожили! Думалъ иногда: нѣтъ, не вынесемъ! А какъ бы я хотѣлъ: ни у кого ничего не просить, такъ отдаться на волю, что будетъ; сгинуть — — и очень скоро. Эхъ, прозѣваю воду! И никто вѣдь не принесетъ! Опять завылъ вѣтеръ — вѣтеръ древній! Проглянуло солнце и прямо въ окно — на меня. Морить. И отъ курева дремлется. Только часы слышу ясно — — время идетъ все равно! Воду — воду пропущу!!

— — —

— Вы упали духомъ?

— Я? — вотъ вода у насъ не подымается!

НА ДАРОВЫХЪ ХЛѢБАХЪ

«Горы мусору у насъ —
«Надо вывезти сейчасъ:
«Мусоръ въ кухнѣ не копи,
«А сжигай его въ печи!

I

НАХОДКА

Наступаютъ теплые дни —
и весь Петербургъ звенитъ.
Цѣпляющійся зубильный звонъ, назойливый и точащій — желѣза о камень — звукъ стройки.
И не найти уголка, нѣтъ такого дома — идешь по Невскому и на Васильевскомъ и на Пескахъ и гдѣ-нибудь у Покрова — звенитъ.
Вечеромъ въ раскрытое окно каменный дыхъ и паръ домовъ и застоялая копоть трубъ, какъ глухая стѣна, и одинъ — дышетъ одинъ этотъ звукъ, точа — звенитъ.

Наступаютъ теплые дни —
вотъ и бѣлый май,
бѣлая ночь,
цвѣтъ двухъ алыхъ зорь — —

— много лѣтъ, какъ заглохъ, не звенитъ! —

И дѣти не играютъ въ любимую игру — уцѣлѣвшіе кое-гдѣ лѣса начатыхъ построекъ растащены: печурошная желѣзная саранча прожорливая за зиму подобрала всѣ деревянные дома и доски.

Маленькіе — тѣ еще въ пескѣ строятъ свои волшебные песошные города.

Дымъ фабришныхъ трубъ — невидаль, какъ стройка.

Разсѣялись желтые петербургскіе туманы.

Вечеръ свѣжъ и прозраченъ — какія звѣзды! — и уличная тишина пустынна.

*

«Находка»—собака звонкая: ошейникъ на ней не простой, съ бубенчикомъ.

И въ вечерній освѣжительный часъ съ высоты шестиэтажной видѣть ея никакъ не увидишь, а слышно: звенитъ.

И по утру, когда колодезные жильцы спускаются во второй дворъ съ чистымъ ведромъ въ прачешную за водой, а съ поганымъ къ помойкѣ, и сквозь ведерный звонъ звенитъ.

Только днемъ не звенитъ.

Илья Ивановичъ Яичкинъ, хозяинъ Находки, завѣдующій, и днемъ ему дома не сидка: дѣло его хлѣбное — въ лавкѣ.

А Находка при немъ неразлучно.

Заглянешь въ Управу къ Девяткѣ — сидитъ Девятка съ Попкинымъ, дѣла рѣшаютъ, — народы! телефонъ! содомъ! — и вдругъ черезъ всякій звонъ звенитъ.

А это и значитъ, что гдѣ-то тутъ въ какой-то изъ комнатъ Яичкинъ за хлѣбнымъ нарядомъ.

Тоже и вь лавкѣ, стоишь въ хвостѣ — молчимъ или точитъ зубильная жаль — и вотъ подъ стукъ ножа и гирь зазвенитъ, и всѣ очень понимаютъ, что это самъ Яичкинъ Илья Ивановичъ.

Такъ и въ Совдепѣ, ищешь ли комнату — за билетикомъ въ очередь за дровами стать, или перегоняешься изъ комнаты въ комнату за подписями и печатью, или просто тупорылой скотиной ждешь на авось, и опять зазвенитъ: Яичкинъ и здѣсь.

Въ 8-ь запираютъ ворота — была и такая крутая пора! — и ужъ не ты и къ тебѣ никому, и телефонъ, пылясь, мертво молчитъ, раскроешь окно — тамъ, глядишь, Галушинъ пресѣдатель примостился у окна — вечеръ теплый! — газеты: какой-нибудь уцѣлѣвшій № за 13-ый годъ, — а противъ въ окнѣ уполномоченный Кузинъ вѣдомость составляетъ: списки жильцовъ —

> прошелъ я Россію, сколько тюремъ, остроговъ, не миновалъ секретной самой тѣсной, какъ мышеловка, сидѣлъ и въ башняхъ — за какими ключами, затворами! — но такой каторжной тишины и гробового спокойствія не запомню.

И вдругъ звукъ, какъ шарикъ, разсыплется — мелкіе шарики —

> каждый шарикъ въ орѣшекъ — стукъ орѣшекъ! — орѣшекъ въ горошину — лопъ горошина! — горохъ на крупинки — сѣй, лей, вѣй! —

все завьется, заструнится — звенитъ —

Мнѣ-то не видно, но вижу, какъ Галушинъ и Кузинъ

киваютъ: Илья Ивановичъ Яичкинъ возвращается съ работы — ему по его хлѣбному дѣлу, какъ днемъ такъ и ночью, ходъ не заказанъ.

*

Жаловался Яичкинъ на ариѳметику: мудра — не твердъ.

Взялся за него Кузинъ, и одолѣлъ ее Яичкинъ да такъ, что ни на какую стать.

Съ этого все и пошло.

И «вагоновожатый» — Анна Петровна Плутицына, у которой матросы живутъ, жилистая и разсудительная, именно на ариѳметику все и доказывала и отъ ариѳметики выводила всю Находкину бѣдовую исторію.

А исторію эту собачью всѣ знали — отъ Управы и до лавки и отъ лавки до Совдепа и отъ Совдепа до Участковаго бюро и отъ Бюро до комендантуры и отъ комендатуры до клуба, а отъ клуба по улицѣ вдоль —

И даже Женя Кузинъ, который —

— «маленечко по нотамъ поетъ» —

и носитъ при себѣ, какъ трудовую книжку, пастушій билетъ: «пастушить ребятишекъ» — выдалъ я ему еще по веснѣ съ «обезьяньей печатью»! — и Женя можетъ ее разсказать и со всѣми подробностями и чудесами.

*

Илья Ивановичъ уѣхалъ въ командировку.

И узнали это не потому, что бы Яичкинъ ходилъ и объявлялъ по всѣмъ по семидесяти пяти квартирамъ съ низу и до верху, а потому что звонъ бубенчика замолкъ.

Въ послѣдній вечеръ звякнулъ — —

Я долго въ тотъ вечеръ не спалъ — читать не видно, такъ сидѣлъ —

въ бѣлой ночи по блѣдному небу расцвѣтали зеленью бѣлыя звѣзды — камушки изумрудные, и, не игля, лились лепестками.

Долго трудился Илья Ивановичъ надъ чемоданомъ, укладывался, потомъ — я ничего тогда не могъ понять — разрѣзалъ хлѣбъ, цѣлую форму, взвѣсилъ каждый кусокъ и сталъ раскладывать по полу рядкомъ, а потомъ, держа за ошейникъ Находку, тыкалъ ее ноосомъ въ каждый кусокъ и что-то приговаривалъ, уча, и такъ разъ десять на каждомъ кускѣ.

Находка становилась на заднія лапки, служила, смотрѣла — —

Илья Ивановичъ собралъ крошки, заперъ шкапъ, присѣлъ къ столу, подумалъ — вдругъ всталъ и, въ чемъ-то убѣждая Находку, строго погрозилъ.

Тутъ вотъ въ послѣдній разъ и звякнулъ бубенчикъ.

*

Домъ нашъ — колодезь, каменный мѣшокъ, и изъ всѣхъ домовъ, такихъ же мѣшковъ, самый есть тихій.

И ничего-то у насъ не случается.

Какъ-то однажды около полночи, когда всѣ семьдесятъ пять квартиръ на сонъ ладились, распахнулось окно надъ Кузинымъ и барышня Рыбакова сдавленно ухнула: «Душатъ!»

Рѣшили пожаръ: и всякій, въ чемъ застало, опрометью къ прачешной воды набрать, чтобы тушить.

Конечно вода никогда не мѣшаетъ, но дѣло тутъ не въ пожарѣ и вода не причемъ.

R.I.T.W.—N*

Давно подмѣчалъ старикъ Рыбаковъ, что хлѣбъ пропадетъ, а жила у нихъ еще прислуга, вотъ онъ и вышелъ передъ сномъ на кухню и что-то тутъ случилось —

или эти бѣлыя зазеленѣвшія звѣзды?

сталъ онъ шарить Пашу: хлѣбъ искалъ. А рыбаковская Паша, всякій знаетъ, одна на шестой этажъ бревно стащитъ, Паша-то старика и ущемила, дочь испугалась и всполыхнула:

«Душатъ!»

Что еще?

Больше, кажется, ничего.

И вотъ — завыла собака.

Какъ ночь, такъ вой.

Не повѣрили, всякій сказалъ, косясь:

— Это тамъ, не у насъ.

А что ночь, то вой заливнѣй.

И повѣрили:

— Не къ добру: у насъ.

Гдѣ, что, почему?

Въ домѣ собакъ нѣтъ — — Находка?

Пятый день, какъ Яичкинъ уѣхалъ, а Находка при немъ — неотлучно. А кромѣ того, никто и никогда не слышалъ, чтобы выла Находка, да она и не лаяла, она только звенѣла, а можетъ, и залаяла бы гдѣ на солнышкѣ, но въ каменномъ-то мѣшкѣ за такой оградой — —

Затаились, только уши одни.

И каждое окно, какъ ухо.

— Это у Яичкина! — первымъ догадался Кузинъ и, высунувшись, крикнулъ предсѣдателю.

Галушинъ, не замедля, откликнулся, точно и ждалъ того:

— Конечно, у Яичкина!

— У Яичкина! — отстѣнилось въ колодцѣ.

Тутъ уши опали.

И окна сразу закрылись.

*

Бѣлые тѣни, бѣлѣе ночи, заметались за окнами.

— Къ Яичкину забрались воры: чистятъ!

По лѣстницѣ воздушно въ бѣлой ночи: впереди предсѣдатель, за предсѣдателемъ уполномоченный, за уполномоченнымъ два члена, за членами сотрудники, — и всѣ были по-ночному на легкѣ и только форменныя кантовыя фуражки бывшихъ вѣдомствъ съ серебряными подковками и лепестками значили, что не лунатики, а домовое начальство и въ полномъ составѣ.

Я слышалъ звонкій голосъ Кузина, немилосердный стукъ.

И на минуту все замолкло — саплая надсадка — и, какъ конецъ, на весь колодезь трескъ.

У Яичкина въ покинутой квартирѣ замелькалъ огонекъ — и тотчасъ, какъ огонекъ, зазвенѣлъ бубенчикъ.

Ни воровъ, ничего —

одна единственная Находка!

*

Полночи только и было разговору.

— Уѣхать и запереть собаку!

— И какъ она еще не сдохла?

— Человѣку вытерпѣть трудно, а собакѣ и подавно: завоешь!

— Ей камушекъ показали, такъ она, какъ кубарикъ—

— Залаяла, ей Богу, самъ слышалъ.

— Не предупредить, вотъ чудакъ.

— И сколько этого г....ща, весь полъ!

— Да чего ей жрать-то было?

— Нашла себѣ чего: чай завѣдующій!

— Да вѣдь все на запорѣ, не такой.

И подъ всѣ суды-ряды и пересуды одиноко звенѣлъ бубенчикъ.

*

На другой день вернулся Яичкинъ.

Яичкинъ вернулся раньше срока.

Не хотѣлъ вѣрить:

вѣдь, онъ же оставилъ Находкѣ ровно десять фунтовъ хлѣба — десять равныхъ кусковъ хлѣба ровно по фунту на день.

— Да столько и гражданское населеніе не получаетъ! — оправдывался Яичкинъ.

А послѣ всякихъ споровъ, когда весь колодезь затихъ, я видѣлъ, какъ выговаривалъ онъ Находкѣ, укоряя ее, что «всѣ десять фунтовъ сожрала заразъ, а не по фунту, какъ полагалось!» Потомъ спохватившись, бросился собирать съ пола все собачье, наклалъ до верху «скороходскую» коробку изъ-подъ штиблетъ и поставилъ на вѣсы —

вѣсы показали 20-ть!

И ужъ чего ни дѣлалъ — и трясъ и дулъ — стрѣлка оставалась неколебимо: 20! — 20 фунтовъ!

— Откуда?

Яичкинъ отказывался что-нибудь понять:

— 10 — — 20 — — ?

Это было сверхъ всякаго учета и не поддавалось никакой регистраціи.

Находка стояла на заднихъ лапкахъ, служила, смотрѣла —

II

СЕРЕЖА

Мнѣ еще очень жалко Гусева.

И оттого жалко, что вотъ на моихъ глазахъ за эти годы потихоньку опустился онъ — пропалъ! — и отъ прежняго Гусева и званія нѣтъ: борода какая-то пошла и совсѣмъ неумѣстно, и загрязнился-то весь, страшно взглянуть; такой когда-то манжетистый, а теперь въ ночной сорочкѣ безвылазно. Ничего ему неинтересно, и говорить не о чемъ.

И когда онъ приходитъ ко мнѣ, не приходитъ, а «притаскивается» съ другого конца на Васильевскій островъ, мы сидимъ молча: я перебираю книги, а онъ что-нибудь подъѣдаетъ — такое, что въ прежніе-то годы считалось завалящимъ — ѣстъ и отдыхаетъ съ дороги. А потомъ: или «пора домой», или ложится спать, не раздѣваясь, въ шубѣ прямо на холодный диванъ.

Но иногда — это когда ѣды больше! — мы мечтаемъ.

Мы мечтаемъ:

кого бы намъ «еще» ограбить?

или — какъ хорошо было бы поступить намъ въ налетчики!

*

Люди раздѣлялись на три категоріи:

одни получали «паекъ» и пользовались имъ ничего и, если бы еще могли гдѣ получить, не отказались бы;

другіе получали не оффиціально — правда, такихъ было немного — и, пользуясь всякими «индивидуальными» выдачами и благотворительными американскими посылками, осуждали тѣхъ, кто получалъ «въ общемъ порядкѣ» по службѣ;

третьи — ничего не получали, только по «карточкамъ»;

(были и еще, но такихъ наперечетъ, это которые изъ «благородства» или изъ «чести» отказывались отъ пайковъ, и которыхъ обыкновенно деликатно подкармливали получавшіе «неблагородно»).

Гусевъ получалъ только, что полагалось по карточкѣ.

*

Къ Гусеву зашелъ «нѣкій» Сергѣевъ. (Гусевъ съ нѣкоторыхъ поръ — отъ всеобщаго утомленія, должно быть, — прибавлялъ къ именамъ «нѣкій» или, опуская совсѣмъ имя, просто выражался : «нѣкій!»).

Этотъ нѣкій Сергѣевъ пріѣхалъ въ Петербургъ ликвидировать свое петербургское имущество: кое-что оставалось у него еще съ войны. Въ Петербургѣ онъ жить не намѣревался: и голодъ и, того и гляди, нѣмцы займутъ, нѣтъ, онъ поѣдетъ въ провинцію, гдѣ и «сытно» и въ безопасности».

Ѣхать въ провинцію «на хлѣба и въ безопасность» было одно время сущимъ повѣтріемъ, и сколько глупаго народа такъ со слѣпу-то, очертя голову, бросилось по всякимъ медвѣжьимъ угламъ, чтобы рано или поздно замечтать о Петербургѣ, какъ о раѣ волшебномъ, гдѣ при изворотливости можно кое-что и достать, а главное все-таки въ большей безопасности: вѣдь одна «власть на мѣстахъ» вопреки всякимъ декретамъ изъ «центра», могла какъ-угодно и что-угодно вывернуть по-свойски. Много несчастныхъ попало тогда въ провинцію.

Сергѣевъ «ликвидировалъ» свое добро, т. е. разсовалъ вещи по знакомымъ: кому для сбереженія, кому на продажу — или, прямо говоря, бросилъ свое имущество.

Въ самомъ дѣлѣ, какое могло быть береженіе, когда хоть бы голову-то сберечь и то слава Богу! Всякая вещь могла попасть «на учетъ», и лишнія, какія если завелись, надо было или прятать, а это не очень-то просто, или сбыть — а кромѣ того, беречь чужое можно только тогда, если своего есть что поберечь, а ужъ когда своего-то нѣтъ ничего, тутъ такой соблазнъ! — Что же касается продажи — эта операція «нелегальная», и продажа своего или чужого съ рискомъ попасть въ комендатуру, а изъ комендатуры на Гороховую «за спекуляцію», нѣтъ, я думаю по всей справедливости право на выручку пріобрѣтаетъ одинъ продавецъ — а кромѣ того, если бы и вздумалось кому изъ «благородства» и «чести» не истратить эти деньги, а отложить выручку, то вѣдь черезъ мѣсяцъ, черезъ два

онѣ ничего не будутъ стоить и, стало быть, никому ужъ —

Какъ и всѣ отъѣзжающіе въ провинцію, и этотъ нѣкій Сергѣевъ далъ маху съ «ликвидаціей», ну, да это неважно, не въ этомъ дѣло: Сергѣевъ былъ тотъ расчетливый дуракъ, которыхъ на Руси не мало водилось и до и послѣ.

Жалко Сергѣеву Гусева — «вотъ, думаетъ, дуракъ несчастный! и чего торчитъ въ Петербургѣ?» — и говоритъ на прощанье:

— Николай Григорьевичъ, возьмите вы мой паспортъ, пропишите меня, будто я у васъ живу: все-таки будетъ у васъ лишняя карточка. А тамъ меня знаютъ, могу и безъ паспорта.

Сергѣевъ служилъ въ войну въ земскомъ отрядѣ — «земгусаръ», и было у него, кромѣ паспорта, еще удостовѣреніе личности и проходное свидѣтельство да и еще какіе-то документы на право передвиженія — изобрѣтеніе военнаго времени, подозрительнаго и расточительно документальнаго, отъ котораго пошла и вся наша волокита, а вовсе не потому, какъ это говорится, будто «въ учрежденіяхъ сидятъ буржуазныя ошмотки!»

— Такъ берите жъ вы паспортъ-то! а то вѣдь такъ пропадетъ, а тутъ — лишняя карточка.

И Сергѣевъ положилъ на столъ Гусеву свою паспортную книжку.

И разстались: Сергѣевъ поѣхалъ въ провинцію, гдѣ «и сытно и безопасно», а Гусевъ въ Петербургѣ остался съ паспортомъ Сергѣева, по которому —

если прописать, выдадутъ продовольственную карточку, а въ продовольственной лавкѣ восьмушку хлѣба.

*

Гусевъ отъ неожиданности и непривычки (это теперь мы съ нимъ мечтаемъ!) даже и спасибо не сказалъ, а Сергѣевскій паспортъ съ правомъ на продовольстсенную карточку ему ой какъ на руку: оба они, и Николай Григорьевичъ и Вѣра Васильевна, сидѣли о ту пору въ 3-ей категоріи, а 3-я категорія — не больно разъѣшься.

I-ая категорія — рабочіе,
II-ая категорія — совѣтскіе служащіе,
III-я — неслужащіе интеллигенты,
IV-я — буржуи.

Буржуи, или вѣрнѣе, бывшіе буржуи получали восьмушку хлѣба на два дня, интеллигенты — по восьмушкѣ на день. Впослѣдствіи и Гусевы, какъ совѣтскіе служащіе (по-немногу всѣ сдѣлались совѣтскими служащими!), переведены были во 2-ю категорію, и имъ полагалось по четверкѣ въ день, но пока что изволь быть доволенъ и восьмушкой!

Да, имѣть лишнюю карточку имъ было на руку — только какъ-то неловко: вѣдь Сергѣевъ-то уѣдетъ, и карточка, значитъ, подложная —

значитъ, подложной карточкой пользоваться — обманывать!

Да, не сразу это далось — это, какъ и на счетъ дровъ, сначала-то очень совѣстно, а потомъ свыкнется.

И это я не въ смѣхъ и не въ осужденіе: что подѣлаешь, видно всѣ эти высокія «честныя цѣнности» и «благородныя скрижали», все это и хорошо и достойно блюсти при обезпеченной, и не какой-нибудь богатой съ излишествами, а обыкновенной достойной человѣческаго существованія, жизни, и съ такихъ «обезпеченныхъ»

при нарушеніи спросится, ну, а съ голытьбы послѣдней, съ гусевской, ей Богу же по справедливости грѣшно и требовать!

Гусевъ — это еще когда мы не «мечтали», а разговаривали, какъ «порядочные люди» — разсказалъ мнѣ, какъ онъ тоже дрова «преодолѣлъ».

«Преодолѣлъ, какъ выражается Бердяевъ, — разсказывалъ Гусевъ, — вѣдь быть честнымъ въ такомъ пониманіи принятомъ, это знаете, такая роскошь, и не всякій можетъ себѣ позволить. Настя у насъ, наша послѣдняя прислуга, доживала постылые деньки, питаясь гласно отъ трехъ матросовъ, что по выраженію ея подруги Саши — «теперь это можно!» Вотъ и говоритъ она какъ-то вечеромъ: «баринъ, постерегите!» Сначала-то я не понялъ, чего стеречь. А она показываетъ на черный ходъ къ лѣстницѣ. Ну я и пошелъ за ней. Сталъ въ проходѣ, стою, караулю. Въ кухнѣ чуть такой свѣтъ — керосиновая лампочка закопченая, около носу не разберешь. А Настя внизъ спустилась, понимаю — «по дрова». Наши-то дрова кончились и купить не на что. Тогда, знаете, можно еще было покупать, не запрещалось. И сколько прошло, не помню ужъ, очень это тяжело, и вдругъ слышу — шаги. Нѣтъ это не Настя. И не знаю, что дѣлать, такъ бы и провалился на мѣстѣ! А тотъ, должно быть, тоже — и какъ увидѣлъ меня, да какъ шарахнется — дрова-то полѣнья по лѣстницѣ такъ и покатились. А это сосѣдъ: за тѣмъ же предметомъ! Такъ съ мѣсяцъ и согрѣвались. Я караулилъ, Настя спускалась на промыселъ. Сначала-то очень было неловко, а потомъ и ничего: преодолѣлъ!»

Гусевъ дрова преодолѣлъ, теперь надо было и на паспортъ рѣшиться.

*

Самому итти къ завѣдующему домомъ Казакову просить прописать Сергѣевскій паспортъ , неудобно, — Казаковъ, это старшій дворникъ подъ названіемъ «завѣдующаго» (Дворники и старшіе и младшіе были тогда упразднены!).

Настю послать — ?

> Еще при Керенскомъ, когда одни стали «углублять» революцію, а другіе каркать, что съ революціей «Россія погибнетъ», Гусевъ какъ-то сказалъ Настѣ, что, если она такое услышитъ, пусть всѣмъ говоритъ, что не погибнетъ Россія, «потому что есть Пушкинъ, Левъ Толстой, Достоевскій». Настѣ легче всего дался Пушкинъ, Толстого она забывала, а надъ Достоевскимъ мучилась, припоминая; но въ концѣ концовъ одолѣла. — «Почему, Настя, не погибнетъ Россія?» А она станетъ, закатитъ глаза: «Пушкинъ, скажетъ, эщэ Левъ Товстой, эщэ — Достоевскій». А когда большевики, какъ говорилось, «воцарились на престолъ» и такъ скрутило, только и слышно стало жалоба да ругаются, Гусевъ какъ-то и спросилъ Настю: «кто, Настя, теперь нами управляетъ?» И она вдругъ стала, закатила глаза: «Пушкинъ, эщэ Левъ Товстой, эщэ — Достоевскій».

Настю послать? Ляпнетъ еще чего или такое накурляетъ — да больше некого, только Настю!

Настю и послали къ Козакову.

И пока Настя ходила въ дворницкую — подъ Казакова была реквизирована кваритира, и жилъ онъ не какъ раньше дворники и щвейцары — въ подвалѣ, а какъ жилецъ, съ котораго «на чай» полагалось! — пока она тамъ разго-

воры разговаривала, ужъ и страху и опаски натерпѣлись несчастные Гусевы:

а ну-какъ Казаковъ узнаетъ, что Сергѣевъ-то уѣхалъ?

а ну-какъ Настя скажетъ, и совсѣмъ не въ попадъ, что нибудь въ родѣ — «Пушкинъ, еще Левъ Толстой, еще Достоевскій?»

а ну-какъ —

— И зачѣмъ это мы все затѣяли?

Настя вернулась:

Казаковъ прописалъ!

— Прописалъ! Спрашиваетъ: «а что жъ, говоритъ, жена его, Сергѣева, пріѣхала?»

— Нѣтъ! не пріѣхала, — чего-то оробѣлъ Гусевъ, — Марья Петровна не пріѣхала!

И вдругъ сообразилъ: значитъ, въ паспортѣ и Марья Петровна записана и, стало быть, можно было бы и ее прописать, — вотъ и еще лишняя карточка!

— Не посмотрѣлъ, — жалко сказалъ Гусевъ, — а вѣдь можно было бы и жену прописать.

— Такъ надо прописать, — подхватила Настя, — лишняя карточка.

Но Гусевъ испугался и замолчалъ: на такое рѣшиться сразу невозможно. Если бы за одно прописать обоихъ: и Сергѣева и жену — дѣло другое. И успокоился: будетъ и одной лишней карточки! Но забыть не забылъ, но и не поминалъ.

А Настя — въ голову-то ей это втиснулось: «если бы еще жену прописать — еще лишняя карточка!» — Настя терпѣла день, другой — «да что жъ въ самомъ дѣлѣ, у всѣхъ лишнія карточки, и всѣ это знаютъ, а тутъ добро само въ руки лѣзетъ, а не берутъ, отмахиваются!» — Настя взя-

ла тихонько паспортъ Сергѣева да и пошла въ Казакову: «еще чего стѣсняться?»

> Настя крѣпкая и упорная: когда въ первый разъ выѣхала она изъ деревни въ Петербургъ, — объ этомъ сама она часто разсказывала, — «какъ сѣла я въ Витебскѣ, а забрались мы въ вагонъ загодя, такъ до самого Петербурга и не слѣзала съ лавки; люди тамъ по нуждѣ выходятъ, а я думаю себѣ: нѣтъ, глупости, ужъ какъ сѣла, такъ до Петербурга!»

— Жена Сергѣева пріѣхала! — срыву сказала Настя Казакову и положила на столъ паспортъ.

Что жъ тутъ такого: жена къ мужу пріѣхала!

— Давно бъ пора! — Казаковъ пересмотрѣлъ паспортъ: — все въ порядкѣ.

И прописалъ жену Сергѣева —

> Марью Петровну Сергѣеву.

И стали Гусевы нежданно-негаданно получать по двумъ лишнимъ карточкамъ — двѣ лишнія восьмушки хлѣба.

И ничего —

> Да, конечно, ничего! «И давно бъ пора!» и «чего стѣсняться-то?» Неловко? Казаковъ узнаетъ? Да что жъ Казаковъ дуракъ что ли или слѣпой? И какая хитрость, поди жъ ты, прописать человѣка по настоящему паспорту, нѣтъ, вотъ изъ ничего чего устроить — а вѣдь цѣлые дома прописывались съ несуществующими жильцами (это впослѣдствіи открылось), а о такомъ не мечталъ и Гоголь! — да еще то-ли будетъ!

*

Съ мѣсяцъ все было хорошо и на другой ничего

Настя не выдержала — «и Богъ съ ними, съ Пушкинымъ, Толстымъ и Достоевскимъ: голодомъ пропадешь!» — собрала все свое добро и въ деревню.

> Да со своимъ добромъ и Сашину, подруги своей, подушку ухватила. Это потомъ Саша жаловалась: письмо просила написать Настѣ — «что когда *мать твоя* помирать будетъ, положи эту подушечку ей подъ голову».

Безъ Насти Гусевымъ самимъ оставаться больше стало. А вскорѣ оба на службу поступили и попали во 2-ю категорію.

И совсѣмъ ужъ ничего.

И вотъ, какъ на грѣхъ, случился очередной призывъ красноармейцевъ: опять кто-то наступалъ — Колчакъ? Деникинъ? или еще кто? И надо же такому быть, какъ разъ возрастъ Сергѣева подходилъ подъ этотъ призывъ.

Уполномоченный домкомбѣда Михаилъ Михайловичъ Котоховъ все знаетъ: и кто когда ложится, и у кого хлѣбъ водится, и у кого кто живетъ — и дѣйствительно и такъ, для карточекъ числится.

Вонъ въ домѣ Паршикова устроено въ подвалѣ въ родѣ курятника — жерди, и на этихъ жердяхъ, сидя, какъ куры, ночуютъ дезертиры. И это подлинно живые люди и лишь на ночь на случай обыска обращающіеся въ куръ, а Сергѣевъ, хоть и прописанъ, а онъ въ родѣ какъ не-живой, и его на ночь на насѣстъ никакъ не спрячешь, и безъ нужды и по нуждѣ никакъ не закукуречитъ. И это надо принять во вниманіе.

Котоховъ постучалъ къ Гусеву.

— Сергѣева надо отписать, — сказалъ онъ, неглядя,

— его годы призывные. Пускай у васъ одна жена его остается.

Гусевъ не спорилъ — Гусевъ и голоса подать не рѣшился.

Конечно, досадно. И надо же случиться какому-то наступленію! И кого это тамъ опять дернуло: Колчакъ, Деникинъ или еще кто?

Газеты мало кто читалъ: газеты не продавались, а наклеивались на углахъ для всеобщаго пользованія. Но наклеенныя не всякому охота читать, да и трудно — наборъ слѣпой, да еще и отъ клея слилось — ничего не разберешь! Да и некогда околачиваться, вѣдь каждый часъ дорогъ и всѣ часы распредѣлены: великое всеобщее стояніе въ очередяхъ за добычей! И вотъ, когда наступалъ кто-то — такъ ужъ повелось — называли Колчака и Деникина. А ужъ въ самомъ безгазетномъ кругѣ, гдѣ вообще никогда газетъ не читали, тамъ все валили на одного Колчака: «на одной сторонѣ, говорилось, Ленинъ-Троцкій, на другой Колчакъ». И всякій разъ, какъ они начинали поединокъ, объявлялся призывъ.

Такъ Сергѣевъ, попавшій въ призывъ, долженъ былъ дѣйствительно уѣхать отъ Гусева, и его отписали. И осталась у Гусевыхъ одна Марья Петровна, жена Сергѣева, — одна восьмушка, все таки лишняя восьмушка!

*

Гусевы обѣдали разъ въ недѣлю.

Обыкновенно въ субботу обмерзлая за недѣлю кух-

ня оживала. Топливомъ служили доски отъ деревянныхъ домовъ — дома на сломъ давались на домъ по числу квартирантовъ, которые сами должны были разломать домъ и развести на себѣ по квартирамъ всякій свою часть и, дома распиливъ, пользоваться — кромѣ этихъ досокъ дожигали мебель: столы, стулья, комоды, ну, все, что ни попадетъ, деревянное.

Готовили оба. Наваривали вотъ такую мисищу изъ мороженыхъ овощей — а потомъ всю недѣлю подогрѣвали на примусѣ. И цѣлу̀ю недѣлю овощной духъ держался въ комнатахъ, а ужъ въ субботу до слезъ и чоха.

Какъ-то послѣ всенощной зашелъ къ Гусевымъ Котоховъ.

> Котоховъ изрѣдка навѣдывалъ всѣхъ жильцовъ для порядку, и его всѣмъ, чѣмъ только могли, угощали: и искусственнымъ медомъ, который иногда на паекъ выдавали да въ нѣкоторыхъ кооперативахъ, и повидлой, тоже — рѣдкая выдача! — и собственнымъ изобрѣтеніемъ — какими-нибудь лепешками изъ картофельной кожурки, и чаемъ,какой случался, — или «кавказскій» или морковный или березовый или, еще такое было, какавелла — ни на что не похожее въ родѣ спитаго кофею.

Разговорились о томъ, о семъ, и «какая жизнь стала несносная и не видно конца тяготѣ!» — это всегдашній запѣвъ; а припѣвъ: «наступленіе, которое все перевернетъ!» — и тутъ даже ставили сроки «изъ достовѣрныхъ источниковъ»; а другой разъ и такое приплетутъ и тоже изъ вѣрныхъ рукъ, будто «Петербургъ объявятъ свободнымъ городомъ».

Можно сказать, за эти годы, живя только добычей, люди не теряли духа промышлять добычу — которая лишь поддерживала существованіе — единственно и только надеждой на какую-то перемѣну, вѣрой, что что-то произойдетъ чудесное и перевернетъ жизнь или какъ-то измѣнитъ ее: потому что только поддерживать свою жизнь, т. е. быть скотомъ, съ этимъ *человѣкъ* никогда не помирится! И это только потомъ ужъ, вспоминая, не пожалѣешь, что жилъ въ эти грозные грозовые годы, гдѣ бывало и такое, не только въ страхъ, а и въ смѣхъ.

Котоховъ разсказывалъ о предпологавшихся обыскахъ — Котоховъ все знаетъ!

— Будутъ продовольствіе отнимать — муку, если у кого свыше 5-ти фунтовъ, и сахаръ, если у кого найдется.

Совѣтывалъ даже и меньшее количество припрятать.

— Лучше всего на верху печки.

Отъ обысковъ къ жилищной тройкѣ по уплотненію квартиръ. А отъ уплотненія къ политикѣ — Ленинъ-Троцкій, и, какъ полагается, какое-то наступленіе : Колчакъ, Деникинъ. А отъ политики къ пѣнію.

Котоховъ пѣлъ въ церкви на клиросѣ.

Гусевъ былъ большой любитель церковнаго пѣнія, и его сочувствіе настроило котоховское сердце на чувствительный ладъ.

— Посмотрю я на васъ, — сказалъ Котоховъ, — ну какъ вы живете-можете! И эта восьмущка ваша несчастная! Если бы нашелся у васъ знакомый докторъ и согласится, напримѣръ: Сергѣева ожидаетъ ребенка! — 1-ая категорія: фунтъ хлѣба.

— Фунтъ хлѣба, ловко ли? — вздохнулъ Гусевъ.

А получить лишній фунтъ хлѣба очень было бы ловко!

— Чего жъ неловко-то? Со всякимъ можетъ случиться.

— Такъ все-таки ребенокъ, куда же мы его дѣнемъ? — заплетающимся языкомъ сказалъ Гусевъ и отъ неожиданности и отъ всей несообразности предложенія.

— Такъ вѣдь это впослѣдствіи, такое не сразу. А пока только: ожидается, понимаете?

Какъ не понять — мысль изумительная! — и почему въ самомъ дѣлѣ Марья Петровна Сергѣева не можетъ ожидать ребенка?

И весь слѣдующій день — воскресенье — Гусевъ звонилъ знакомому доктору.

Телефонъ къ счастью дѣйствовалъ послѣ долгаго безмолвія — обыкновенно же при всякихъ наступленіяхъ (Колчакъ, Деникинъ, Юденичъ) или угрозахъ наступленія, телефоны выключались, или и не выключались, а что-нибудь испортится «по линіи», и ужъ не дождешься, когда исправятъ.

И дозвонился: докторъ обѣщалъ только на завтра.

Не прежнее время: сѣлъ въ трамвай и пріѣхалъ! — да и мало было докторовъ — кто уѣхалъ, а больше того перемерли въ тифъ.

*

Докторъ Забругальскій старый знакомый, но все-таки сразу Гусевъ не рѣшился прямо сказать о своей просьбѣ. А началъ пространно — свои наблюденія о притупленіи чувствъ или, какъ самъ онъ выражался, объ «ослабленіи проводника любовной эманаціи» —

что вотъ никто и не женится!

и, должно быть, отъ постояннаго недоѣданія — проголоди! — и любовное желаніе прекращается, оставляя одно лишь воспоминаніе.

— А холодъ держитъ всѣ члены въ нѣкоторомъ какъ бы оцѣпенѣніи.... но бываютъ случаи и обратные.

> Гусевъ любилъ подобіе Гоголя, усвоивъ у Гоголя, впрочемъ такъ всегда и бываетъ, не Гоголевское кованное серебро словъ, не наполненіе «предметностью» фразы, а лирическій словоливъ.

— Напримѣръ Марья Петровна Сергѣева, вы ее у насъ встрѣчали.

— Не помню хорошенько, какая это Сергѣева? — Позвольте, маленькая хромая?

— Да нѣтъ! Марья Петровна на балерину похожа!

Но докторъ никакъ не могъ припомнить. Потомъ изъ вѣжливости что ли, я не знаю, отчего это иногда дѣлается, вдругъ сморщился:

— Припоминаю, на елкѣ у васъ....

— Марья Петровна Сергѣева ожидаетъ ребенка! — выпалилъ Гусевъ и, насколько позволяли средства, покраснѣлъ.

— Вотъ какая исторія, ну вотъ видите, а вы «притупленіе эманаціи!»

— И ей необходимо докторское свидѣтельство о беременности.

— Беременныя — 1-ая категорія — 1 фунтъ хлѣба! — сказалъ докторъ и причмокнулъ отъ удовольствія, — изъ-за одного этого слѣдовало бы.

— Такъ вотъ я на счетъ свидѣтельства, — Гусевъ подложилъ листокъ, — сдѣлайте милость, очень вамъ буду

благодаренъ: на третьемъ мѣсяцѣ беременности Марья Петровна Сергѣева, у насъ прописана.

Докторъ чего-то подумалъ —

или понялъ и соображалъ, ловко ли? или нужна была какая-нибудь замысловатая фраза? или такъ полагается докторамъ: прежде чѣмъ писать рецептъ или свидѣтельство, всегда обязательно подумать, хотя бы для виду.

— Ну, давайте.

И свидѣтельство было написано:

«гражданкѣ Марьѣ Петровнѣ Сергѣевой, находящейся на 3-емъ мѣсяцѣ беременности, для усиленнаго питанія».

На прощанье, какъ бы оправдываясь, сказалъ докторъ:

— Я не обязанъ помнить всѣхъ моихъ паціентовъ. И вы не безпокойтесь: кушайте 1-ю категорію.

*

Мѣсяцы идутъ — время бѣжитъ, прямо непостижимо! 1-ая категорія — лишній фунтъ хлѣба! Добрый-то человѣкъ надоумилъ! Да ужъ скоро у Марьи Петровны и дите на свѣтъ появится.

Письма рѣдкія: рѣдко о ту пору писали, еще рѣже доходили письма. Получилось письмо отъ Сергѣевыхъ — писала Марья Петровна:

жилось имъ не больно-то, а все-таки не голодали.

Разъ Гусевы посылку получили отъ Марьи Петровны — крупа, а въ крупѣ, крупой закрыто, нелегальная мука — муку запрещалось посылать.

Вотъ добрые-то люди!

Вотъ счастье-то , и не ждешь, а само и привалитъ: и 1-ая категорія, и посылка дошла, и главное въ цѣлости — и крупа и мука!

А въ одинъ прекрасный день — срокъ кончился — и у Марьи Петровны Сергѣевой родился сынъ

Въ очередную вѣдомость на полученіе продовольственныхъ карточекъ Гусевъ вписалъ въ графѣ проживающихъ у нихъ жильцовъ — Марью Петровну Сергѣеву съ сыномъ.

— Какъ у Сергѣевой сына-то зовутъ? — отгрызнулся Котоховъ: Котоховъ для порядку, такая дѣловая повадка, говорилъ съ огрызомъ, и это всегда очень пугало и привычнаго и непривычнаго и даже тогда, если все было по-правильному.

— Сережей, — пролепеталъ —Гусевъ, — Сергѣемъ.

— — —

И стали Гусевы получать, кромѣ своихъ двухъ четверокъ, еще и по 1-ой категоріи «кормящей матери» и по дѣтской карточкѣ *А*.

И знаете, какъ-то для Сережи выдали имъ варенье — а давно не ѣли! — ой, съ чаемъ-то вкусно! — они и блюдечки облизали: «спасибо!»

Вотъ она, Сергѣева-то какая — Марья Петровна!
— спасибо! — и за что это имъ такое?

*

Три мѣсяца прошло, и за эти три мѣсяца, кромѣ варенья, еще и конфеты и селедокъ выдали для Сережи, и Гусевы такъ привыкли, что у нихъ ростетъ мальчикъ, такъ увѣрились вѣрой своей голодной, что ей Богу, случись присягѣ, присягнули бъ.

Но какъ это всегда бываетъ, даже и звѣзды крошатся, стираются горы, пропадаютъ народы, и всякому человѣческому благополучію наступаетъ конецъ, а порядку — революція, пришелъ Котоховъ и не глядя сказалъ:

— Чтобы получить дѣтскую карточку, впредь надо нести ребенка въ Совдепъ показать.

— А какъ же Сережа! — у Гусева похолодѣли руки.

— Дѣтскую карточку иначе выдать невозможно.

— — —

Да если ужъ такъ надо, Гусевъ готовъ самъ нести Сережу — «закутаетъ его хорошенько и въ Совдепѣ въ очередь станетъ — и будетъ куковать —»

— — —

И Сережа «померъ», — ничего не подѣлаешь!

И остались Гусевы съ одной Марьей Петровной — и ужъ не 1-ая категорія, а 3-ая — не 1 фунтъ хлѣба, а восьмушка.

Помню, когда въ эти годы я публично читалъ «Царя Максиміліана», всякій разъ на словахъ царя затюремному сторожу о продовольствіи сына Адольфа подымался несмолкаемый хохотъ — «Поди и отведи моего сына Адольфа въ темницу и мори его голодной смертью: дай ему *фунтъ* хлѣба и стаканъ воды!» Да вѣдь этотъ «фунтъ — голодной смерти» былъ бы для всѣхъ въ эти годы великимъ благодѣяніемъ и лишиться такого — несчастье.

Вотъ несчастье! — Гусевы такъ привыкли — такъ свыклись съ мыслью, что съ ними живетъ Сережа! — и очень жалѣли, а ничего не подѣлаешь.

А когда пришла весна — весна послѣ ледяной зымы

тепломъ какъ взбѣситъ! — и надо и не надо пошли жениться, и это не только въ Петербургѣ, а и по всей Россіи въ третью весну послѣ революціи.

И тамъ , въ медвѣжьемъ углу, гдѣ когда-то вкусную пастилу дѣлали, а теперь не дѣлали, весна и безъ пастилы взяла свое, и Сергѣевъ, какъ и многіе прочіе, поддался.

Сергѣевъ тоже задумалъ жениться.

А женатому, чтобы жениться, надо разводъ, а разводъ это очень просто, лишь бы паспортъ, а паспортъ-то у Гусева: надо, значитъ, затребовать у Гусева паспортъ.

«Отъ всеобщаго *потрясенія*, — писалъ Сергѣевъ, — задумалъ я жениться, и съ Марьей Петровной вынужденъ развестись: необходимъ немедленно паспортъ!»

Ничего не подѣлаешь: надо послать паспортъ.

И вотъ съ послѣдней осьмушкой пришлось разстаться: безъ паспорта никакъ невозможно —

и Марью Петровну отписали

Такъ «померъ» Сережа и Марья Петровна «выбыла на родину».

И остались Гусевы на двухъ на своихъ законныхъ четверкахъ безъ никакихъ.

III

ТРУДДЕЗЕРТИРЪ

На площадкѣ 6-го этажа около самой дверцы лифта неизвѣстная собака навалила величайшую кучу.

Ее увидѣлъ первымъ Скворцовъ и почувствовалъ съ ужасомъ не меньшимъ, т. е. прямо пропорціально. И чѣмъ

больше Скворцовъ всматривался — а онъ стоялъ надъ ней, какъ вкопъ — тѣмъ сильнѣе становилось его чувство:

онъ ужъ видѣлъ больше, чѣмъ было въ дѣйствительности — онъ смутно чувствовалъ и всѣ послѣдтсвія: какъ изъ кучи выкучится полный нужникъ, и не миновать, попасть туда — по шейку. Извѣстно: одно къ одному — деньги къ деньгамъ, тоже и напасть на напасть! И еще: прилипнетъ, ни по чемъ не отстанетъ! — примѣта вѣрная.

Подходила очередь убирать Скворцову лѣстницу — по постановленію Домкомбѣда всѣ жильцы дома обязаны были по-очереди исполнять всякія домовыя повинности — и кучи, стало быть, никакъ не минуешь.

Случись это лѣтомъ, за недѣлю подсохло бъ — бери хоть голыми руками! И зимою подмерзло бь — и тоже трудъ не великъ, скребкомъ хвать и готово. А сейчасъ осень — а осенью, что весной, жди когда-то еще:

«хоть бы морозъ поскорѣе!»

Вы не смѣйтесь, это дѣло совсѣмъ не плевательное и не ждетъ!

Цѣлый день Скворцовъ по всякимъ добычнымъ дѣламъ:

добыча — единственное дѣло и забота,

И что могло быть другого въ эти годы блокады, внутреннихъ наступленій и «опытныхъ» декретовъ!

Въ Сѣвпросѣ («Кооперативъ служащихъ въ комиссаріатѣ Просвѣщенія Сѣверной Коммуны») выдавали мокрую картофель и еще что-то изъ подпорченныхъ овощей, а вмѣсто обѣщанной повидлы искусственный медъ — зависть не включенныхъ въ кооперативъ.

Всю эту добычу чтобы получить , нужно было высто-

ять въ очереди не малый часъ и отнести мѣшокъ домой.

Послѣ Сѣвпроса пошелъ Скворцовъ въ Петрокоммуну.

Тамъ въ «отдѣлѣ распредѣленія ненормированныхъ продуктовъ» стоялъ онъ въ медленномъ , упорномъ и норовистомъ хвостѣ съ прошеніемъ о керосинѣ:

«для вечернихъ работъ».

И въ Сѣвпросѣ и въ Петрокоммунѣ все одно: куча не выходила изъ головы — куча завалила и картофель и медъ и всѣ вороха бумагъ — ордера.

И хотя было, о чемъ сообразить или такъ спохватиться — —

> вѣдь стоишь, бывало, часъ и другой и вдругъ спохватишься: изъ-за чего? Да изъ-за какихъ-то пяти-трехъ фунтовъ керосину или изъ-за четверки хлѣба, чтобы сжечь или съѣсть и опять стать въ очередь и снова терпѣливо стоять! И какая обидная доля — и твоя и тѣхъ вотъ, попадали жъ люди упора и воли необычайной! — никогда -то ничего не построить, а изъ ничего, всѣми правдами и неправдами, добыть и рапспредѣлить по декрету, чтобы сожгли или съѣли, и ничего — ничего-то больше — безслѣдно —

«Безслѣдно? нѣтъ — — !»

Скворцовъ ужъ прилипъ и не ногой и не рукой, хуже: глазъ-то, это наше прекрасное окно на Божій міръ, попробуй-ка ты, прочисти!

«И какая это могла собака сдѣлать? Вѣрно, очень большая! И надо же: вбѣжать на 6-ой этажъ и около самаго лифта сѣсть! Хорошо еще лифтъ не дѣйствуетъ, а то такъ бы прямо ногой и попалъ. И странное дѣло: гдѣ теперь

собаку увидишь? Въ прошломъ году падали лошади, потомъ собаки: зашелудивитъ и кончится».

Скворцову вспомнилась вся лошадиная падаль, особенно на мостахъ , и подыхающія собаки — послѣднія — ужасныя.

«А вотъ и выискалась,! И чего такого она могла съѣсть? И гдѣ? что добыла?»

Сосѣдъ Вавилоновъ изъ Наркомзема (Народный комиссаріатъ Земледѣлія) имѣлъ такую повадку — всюду водилъ съ собой собаку. Собака его Бобикъ по гостямъ и питалась: что плохо лежитъ, все сожретъ этотъ вонючій Бобикъ.

«Вавилонская собака Бобикъ? Выдачу чью-нибудь сожрала? Повидло? И почему на моей именно, на моей площадкѣ на самой высокой? Почеаму не ниже? у уполномоченнаго? или у того же Вавилонова? у Сметовой, Гребневой, Алимова, Терехина? Вотъ бы у Терехина!»

Впрочемъ, все равнно: лѣстницу-то чистить Скворцову все равно съ верху и до низу, и на какой площадкѣ накладена куча, безразлично.

Да, Скворцовъ прилипъ и несъ это не въ глазахъ ужъ. а гдѣ-то въ самомъ мозгу.

*

Подъ вечеръ въ очереди за хлѣбомъ въ Продовольствнной лавкѣ № 34 — очень долго пришлось ждать, все не везли хлѣба, такъ до вечера и дотянули! — на одномъ изъ поворотовъ изождавшагося притѣсняемаго ворчливаго хвоста ужъ совсѣмъ близко къ Натальѣ Ивановнѣ (Наталья Ивановна за прилавкомъ хлѣбъ рѣжетъ) столкнулся Скворцовъ съ уполномоченнымъ Назаровымъ.

— А ничего куча, — подмигнулъ уполномоченный, — вотъ такъ собачка! — и добавилъ совсѣмъ неподходящее, но созвучное: — копровучъ!

Конечно, нижніе жильцы — ни Сметова, ни Гребнева, ни Алимовъ, ни Вавилоновъ, ни Терехинъ — не замѣтили бъ: кого на 6-ой этажъ потянетъ! А вотъ уполномоченный дознался. Но Назаровъ, хотя бы и о кучѣ — другой, можетъ, и позлорадствовалъ бы, что — «не все жъ намъ подчищать, а и вашей милости не угодно ль!» — нѣтъ, Назаровъ правильно!, какъ и всякій на его мѣстѣ, только изумился передъ величіемъ: «копровучъ!»

> «Копровучъ» — кооперативъ высшихъ учебныхъ заведеній — никакого отношенія къ занимаемому предмету, но по нагладности — мѣтко.

Наталья Ивановна желанная, ну хоть бы разъ разсердилась! А вѣдь есть на что — у всякаго нынче подозрѣніе, а тутъ хлѣбъ вѣдь! — такъ подъ руку и смотрятъ, не обдѣлила бъ! А она, если попросишь, и горбушку отрѣжетъ — а вѣдь горбушка противъ мякиша куда сытнѣе и не такъ спора — только не ловко просить-то, всякому хочется. Наталья Ивановна Скворцову прибавочекъ дала — или смотрѣлъ онъ очень жалостно? или ужъ очень задумался? или за шляпу, за всю его рвань и тряпье — —? Впрочемъ, нѣтъ, этимъ никого не удивишь: всѣ тутъ одинаковые — голь.

И съ прибавочкемъ у всѣхъ на виду — хлѣбъ, какъ и всякая выдача, не заворачивался — счастливый! —

> у входа въ лавку, чуть поодаль хвоста, стояла изнищалая больная женщина и еще какой-то старикъ, тихонько просили —

конечно, счастливый, а невесело въ сгущающихся сумер-

какъ пробирался Скворцовъ къ себѣ на 6-ой этажъ — мимо кучи.

И чернота сумерокъ была грозна, какъ куча.

— — —

«Откупиться?» — какъ электричество, которое давали на два часа, такое всегда желанное, блеснуло: «откупиться».

«Можно хлѣбомъ откупиться: за хлѣбъ все можно!».

Скворцовъ, какъ совѣтскій служащій, былъ во 2-ой категоріи и получалъ четверку хлѣба на день. Но хлѣбъ выдавали не всякій день, а назадъ — за нѣсколько дней по двумъ и даже по тремъ купонамъ — и, конечно, отдать свою долю онъ никакъ не могъ. Можно по знакомству купить у красноармейцевъ или у матросовъ — имъ перепадало больше! — или у уполномоченныхъ — такіе были, у которыхъ имѣлись «свободныя» карточки! — и опять бѣда: купить — надо деньги, а денегъ-то — только жалованье, а вся половина скворцовскаго жалованья не покроетъ и фунта хлѣба. Продавать же — нѣтъ ничего. А еслибъ и было что — теперь всякая рухлядь въ счетъ! — надо сноровку, да и неровенъ часъ облава и угодишь въ Комендатуру. Можно еще — и это самое вѣрное: на обмѣнъ. Напримѣръ, зеркало или занавѣску! Изъ деревень пріѣзжаютъ съ хлѣбомъ — — или у такого, который въ деревню ѣздитъ за хлѣбомъ, у мѣшечника. Да, мѣшечнаго добра-то — давно все сбыто.

«Нѣтъ, откупиться нечѣмъ».

— — —

Электричество еще не зажигали. Скворцовъ зажегъ лампадку — въ лампадкѣ горѣло не масло, а керосинъ.

(За годъ Скворцовъ наловчился съ керосиномъ и глазъ наметалъ, сколько нужно его въ лампадку, а то вспыхнетъ!).

Карточки на керосинъ и мыло выдавали всякій разъ, но ни мыла, ни керосина по карточкамъ никто не получалъ: не было. И это счастье Скворцова, что ему выдаютъ — «для вечернихъ работъ».

«А вѣдь керосиномъ тоже можно откупиться!»

Но такое и въ голову не приходило: лишиться свѣта и даже такого — меньше не бываетъ! — нѣтъ , лучше ужъ какъ-нибудь...

*

Да я понимаю:

«Лучше ужъ какъ-нибудь...!»

Я тоже изъ «счастливыхъ» — за всѣ эти годы я поддерживалъ огонекъ въ лампадкѣ: чуть-чуть керосину — а перельешь, вспыхнетъ! И до глубокой ночи, когда во всемъ домѣ сонъ и холодная темь, только у меня да у Скворцова огонекъ — холодный (керосинъ горитъ холодно!) и чистый (чище масла!) —

Скворцовъ зоологъ — надъ «жизнью насѣкомыхъ»,

я — мнѣ еще снились сны! — я надъ моей абракадаброй.

*

Съ начала революціи у Скворцова какъ-то само собой ясно выговаривалось·

что бы то ни было, а никогда не покинуть Петербурга!

И въ этомъ онъ былъ не одинокъ — и еще кое-кто изъ знакомыхъ громко заявляли о такомъ же своемъ рѣшенiи и всякiй сообразуясь со своимъ:

у однихъ было много вещей — надо было все распродать;
у другихъ твердая увѣренность, что все скоро кончится: кто-то придетъ — англичане, французы, нѣмцы или свои — Колчакъ, Деникинъ, Юденичъ — свергнутъ большевиковъ, и все пойдетъ по-старому или во всякомъ случаѣ по другому;
а у третьихъ — да просто дѣваться некуда.

А никто не приходилъ, а всякiя «самосильныя» попытки оканчивались проваломъ и разгромомъ, «опытные» же декреты забирались все глубже въ самую будничную жизнь: ужъ продавать и покупать становилось одинаково опаснымъ, магазиновъ не было, а рынки , еще не закрытые, доживали свои послѣднiе дни, а на то, что выдавалось по карточкамъ — на даровыхъ-то хлѣбахъ! — и это всякiй дуракъ понималъ, просуществовать невозможно было, даже проходя чинъ строжайшаго монастырскаго житiя, долго не протянешь. И вотъ какъ вскрутнуло да въ плюхъ, ногой на шею, вздыбило и носомъ — «домолили свободныхъ денечковъ!» «добились до райской жизни!» — ну, и стали помалкивать. А потомъ потихоньку да полегоньку кто куда — «и пропадай добро и всякая обстановка: и съ обстановкой и съ добромъ пропадешь!» — кто въ провинцiю: «тамъ сытнѣе!» — кто улепетнулъ за границу: «а тамъ золотыя горы!»

Бѣглая мысль — «убѣжать!» — это то же, что ежедневное: «добыть!»

«добыча» и «на утекъ» — первыя и самыя главныя мысли, исподъ всѣхъ воль и стремленій.

А Скворцовъ какъ уперся лбомъ — и никакихъ.

И думаю я, все это по рѣшенію его, съ которымъ мало кто соглашался:

правильно было или неправильнс, но онъ ни отъ какихъ «трудовыхъ повинностей» и «общественныхъ работъ» не отказывался.

«Справедливо это или несправедливо, — такъ, должно быть, разсуждалъ онъ, — хорошо это или дурно, но зачѣмъ-то все это происходитъ и отходить, уклоняться не слѣдуетъ: надо все принять, все положенное судьбой, и нести и все вынести!»

Или:

«Зря ничего не бываетъ. И дѣло вовсе не въ большевикахъ, а гораздо глубже. И отходить, увертываться — все равно, этимъ ничего не поправишь, и судьба настигнетъ тебя и скрючитъ, если такъ надо. И надо покорно нести и все вынести!»

И когда заставляли скалывать ледъ и сгребать снѣгъ, онъ скалывалъ и сгребалъ; и когда введено было дежурство за воротами — кто-то грозилъ наступленіемъ на Петербургъ, обѣщая освободить Петербургъ! — это въ тѣ мѣсяцы, когда съ 8-и часовъ вечера (а часы были переведены на 3-и часа впередъ) запирались ворота и безъ особаго пропуска нельзя было ходить по улицамъ, онъ дежурилъ и за воротами и во дворѣ, гдѣ только указывалъ уполномоченный, и въ любой часъ ночи; и когда стали назначать въ порядкѣ трудовой повинности на Неву выгружать барки, онъ таскалъ по мокротѣ бревна; а придетъ зима, да-

дутъ деревянные дома и заборы на топливо, онъ пойдетъ съ ломомъ и потомъ будетъ возить на санкахъ доски и терпѣливо распиливать и раскалывать.

— — —

Когда тоже самое дѣлаетъ Вавилоновъ или Назаровъ или еще кто — это большинство! — и они , живя, какъ въ плѣну, какъ въ осадѣ, никогда не отказываются , но совсѣмъ по-другому: большинство, къ которому они принадлежатъ, всегда покорно всякой власти безразлично какой, и изъ-подъ палки все исполнитъ, что ни велятъ. Алимовъ (это у насъ анархистъ!) какъ-то смѣялся: «если бы, говорилъ онъ, издали такой декретъ: обязательно явиться для порки въ Совдепъ, — и пошли бы и стали въ очередь!». Но Вавилоновъ и Назаровъ — это большинство — не смѣя отказаться и все исполняя, всегда, какъ только можно и гдѣ возможно, старались перехитрить и уклониться.

Когда это дѣлаетъ товарищъ Котовъ, что жъ, и это понятно: ему надо примѣръ показать, на то онъ и коммунистъ!

Между прочимъ , Котовъ хвасталъ и въ большую себѣ заслугу ставилъ, что онъ собственноручно чистилъ въ своемъ учрежденіи фановы трубы! Но надо принять во вниманіе что для этого грязнаго дѣла онъ пріѣзжалъ на автомобилѣ, какъ и вообще онъ всегда на автомобилѣ. И не знаю, если бы пришлось ему пѣшкомъ переть съ другого конца — такъ изо-дня въ день! — да еще и голодомъ, кто знаетъ, не записался бы онъ въ число «осадныхъ» и «плѣненныхъ», какъ Вавилоновъ, Назаровъ и проч. покорные всякой власти безразлично?

И когда въ сохранившихъ еще благоустройство гостинницахъ для привиллегированныхъ совѣтскихъ санов-

никовъ, сами сановники, единственно сохранившіе человѣческій обликъ, самолично съ настоящими лопатами вышли во дворъ снѣгъ сгребать, и это понятно: для прочихъ — сугубый примѣръ, а для нихъ самихъ просто спортъ — развлеченіе.

И когда это дѣлаютъ молодые — «красная молодежъ» или «буржуазная молодежь», все равно — а на Невѣ, когда разгружали барки, очень было весело! — и это понятно: тутъ и ухарство и соревнованіе и просто работа на людяхъ.

Но скворцовское — и не «изъ-подъ палки!» и не «для примѣра!» и не «какъ спортъ!» и не «по возрасту!» — нѣтъ, чего-то тутъ мудреное.

— — —

«Трудовая повинность!» — Алимовъ никогда не вы ходилъ на работу: разъ это обязательно и заставляютъ — «повинность»! — ему, хоть что ни говори, нипочемъ. «Рабоче-крестьянская власть или буржуазная, все равно: гдѣ власть, тамъ насиліе, и нѣтъ власти, которая была бы чѣмъ-то совершеннымъ и непогрѣшимымъ!» — и во имя своей свободы онъ готовъ былъ принять какія-угодно названія: и «контръ-революціонера» и «соціалъ-предателя» и «оппортунистическаго коммуниста», — и не боялся никакихъ грозъ: отъ комендатуры до Гороховой, куда впослѣдствіи и угодилъ. Не выходила на работы и учительница Гребнева: она смотрѣла на эти трудовыя повинности просто какъ на издѣвательства. Всего разъ не вышелъ Пузыревъ, вообще-то смирный человѣкъ и совсѣмъ не наскокистый, но тутъ, какъ нашло, и онъ заявилъ, что не пойдетъ — «во имя духа борьбы!» Я только одно скажу, непривычному то , знаете, и на пустяковой работѣ — обожжешься! —

Когда служащихъ П. Т. О. по веснѣ выгнали въ Народный Домъ сортиры чистить, конечно, спеціалистъ по этой части, отходникъ, все это справилъ бы мастерски — чисто, а эти — лопатками ковыряютъ и поддѣть-то путно не могутъ, только размазываютъ, смѣхота! Тоже и съ топливной повинностью — — «на засѣданіи Комтруда былъ возбужденъ вопросъ объ освобожденіи отъ топливной повинности писателей, объединенныхъ въ союзѣ писателей, замѣнивъ имъ работы по лѣсзозаготовкамъ повинностью по веденію культурной работы; комтрудъ отклонилъ это предложеніе и предложилъ привлекать писателей къ топливной повинности на общихъ основаніяхъ» — — воображаете?

А вотъ Скворцовъ изъ послѣднихъ, а тянетъ —

все принять и не отвиливать, такъ?

Да, это у него твердо и вотъ —

куча — величайшая куча на площадкѣ!

«Если бы можно было не трогать, а? И за что это ему? Какая его такая вина? Или это не по винѣ, а испытаніе? А испытать и укрѣпить одно и тоже? Для укрѣпленія его воли и терпѣнія? А, можетъ, все это показалось въ такомъ величіи: можетъ, это на камушкѣ собака сдѣлала и потому кажется великимъ? — — А уполномоченный-то? ему-то чего? Это уполномоченный припечаталъ: копровучъ!»

*

О кучѣ зналъ весь домъ.

Охотники залѣзли на самый верхъ — на 6-ой этажъ посмотрѣть.

И не для того, чтобы позлорадствовать, нѣтъ, это было самое обыкновенное любопытство! Признаюсь, и я не утерпѣлъ и подъ какимъ-то предлогомъ — да, вспомнилъ, надо было къ уполномоченному «вѣдомость» на полученіе карточекъ снести! — я отъ уполномоченнаго поднялся этажомъ выше —

Да, знаете, по размѣрамъ трудно даже представить: подлинно — копровучъ!

Кончалась недѣля, а хоть бы чуточку подсохла! И если произошло что за эту недѣлю, такъ развѣ чуть легкая пѣнка.

И скажу за всѣхъ: всѣ съ нетерпѣніемъ ждали субботы —

какъ это Скворцовъ изловчится и подыметъ такое — копровучъ!

— Не отложить ли уборку лѣстницы на недѣлю? — попробовалъ на общемъ собраніи Домкомбѣда предложить Вавилоновъ, хозяинъ Бобика, питавшагося по гостямъ: ясное дѣло, Вавилоновъ представлялъ себѣ всю трудность дѣла и сочувствовалъ Скворцову.

— Можетъ, подсохло бъ! — вставилъ кто-то изъ сосѣдей.

— Невозможно, товарищи, никакъ невозможно! — вздыбился Терехинъ, — вѣдь этакъ весь домъ провалится отъ грязи.

Терехинъ всегда дыбился: онъ, по собственному признанію, какъ перекочевавшій на этотъ берегъ съ октября, стоялъ на стражѣ революціи и считалъ своей обязанностью «подтягивать»; его всѣ побаивались, развѣ что Алимовъ да Гребнева, да матросы, впрочемъ всѣ наши балтморы стояли въ сторонѣ отъ домовыхъ дѣлъ и

были, какъ «краса и гордость», ужъ очень неприкосновенны.

И не случись Терехина, я увѣренъ, уполномоченный, пожалуй, и согласился бы, и уборку лѣстницы отложили бы на недѣлю.

Нашъ уполномоченный Назаровъ ладный и разсудительный и надо только, чтобы все было, какъ бы это сказать, не то чтобы по дектрету, а чтобы оправдательный докуменъ на все и, стало быть, въ отвѣтѣ не быть. Это сосѣднiй — товарищъ Плевковъ, тотъ — — съ тѣмъ не очень поговоришь. Товарищъ Плевковъ самого Терехина за поясъ заткнетъ, «мудрецъ»,: ужъ примется мудровать, не отпуститъ, пока не изведетъ. Въ продажѣ напр домашнихъ вещей: продавать изъ обстановки ничего нельзя безъ разрѣшенiя Домкомбѣда, тутъ все отъ уполномоченнаго! — и у насъ продаетъ всякiй, кто можетъ. А вотъ съ Плевковымъ не такъ-то это просто: бывшаго сенатора Хохлова знаете? — такъ вотъ закрутилъ-закрутилъ старика, хоть изъ дому выбирайся; ничего не разрѣшаетъ и на всякiя пустяки запретъ — понесла Хохлова, дочь его учительница, лампу продавать, такъ подкараулилъ: она ужъ въ ворота «стой, нельзя!» — — «да, и лампу нельзя!» «А что же можно-то? Вѣдь надо же какъ-нибудь, вѣдь этакъ просто пропадешь!» — «И пропадай — нельзя!» — Тоже и съ вселенiемъ. У насъ Назаровъ сооображоваться можетъ, кому и что слѣдуетъ. А съ Плевковымъ и тутъ бѣда: у Простякова есть и «охранная грамота» на библiотеку — библiотека знаменитая! — а Плевковъ говоритъ:

«можете и въ спальнѣ книги держать чего тамъ!» — и отнялъ комнату. И на слова у насъ Назаровъ сдержанъ, ну, покричитъ, когда ужъ нужно бываетъ, — вѣдь тоже народъ, сами понимаете, и хоть винить никого невозможно въ такомъ положенiи, «честнымъ» путемъ не проживешь, да все-таки надо поаккуратнѣй, да и дураковъ учить надо! — и, конечно, прикрикнетъ и даже крѣпко. Ну, а этотъ Плевковъ такое ляпнетъ — отвѣтить ничего не найдешься: тому же Хохлову — Хохловъ говоритъ какъ-то на собранiи, очень ужъ его Плевковъ донялъ, «помилуйте, говоритъ, вѣдь я же старикъ!» И Плевковъ ему «старикъ! да можетъ, вы отъ разврата постарѣли!» Ну, что ты тутъ отвѣтишь?

Нѣтъ, Назаровъ хорошiй человѣкъ — спаведливый человѣкъ и съ кучей подождалъ бы: ну, что въ самомъ дѣлѣ стоитъ недѣлю какую обождать, неужто домъ такъ-таки и провалится?

Но разъ Терехинъ вмѣшался — крышка.

*

Въ пятницу въ сумерки — завтра суббота, завтра уборка! — Скворцовъ заклеивалъ окно на своей площадкѣ:

высадили еще весною, но до холодовъ пробоина не мѣшала, даже лучше — въ родѣ вентилятора, по крайней мѣрѣ, провѣтривало, а теперь дуло немилосердно, а зимой совсѣмъ будетъ плохо.

Стекольщиковъ не было и да стекла достать негдѣ. Можно, конечно, по ордеру, да канитель съ этими ордерами: и находишься по всякимъ учрежденiямъ и контролямъ и

настоишься въ очередяхъ — вездѣ хвосты — да еще и откажутъ. Скворцовъ однажды ходилъ по ордеру, хотѣлъ баночку чернилъ получить и перьевъ, и едва добился — а цѣлый день ухлопалъ, чернилъ не получилъ, а перьевъ — три перышка! А вѣдь перо не стекло! И вотъ приходилось на свой страхъ — «самосильно» задѣлывать пробоину бумагой.

И тутъ -то вотъ и произошло нѣчто невѣроятное ——

надо сказать, что Скворцовъ за недѣлю-то понемножку покорился — принялъ и эту несмѣтную кучу! — и ужъ не думалъ о ней: завтра онъ все подберетъ, какъ-нибудь да устроится! И теперь, оклеивая бумагой окно, онъ думалъ не о этой кучѣ, а какъ бы похитрѣе сдѣлать съ оклейкой, чтобы и холодъ не шелъ и узоръ вышелъ бы и было свѣтло, — задача налегкая!

И вдругъ слышитъ —

бѣжитъ по лѣстницѣ — —

Бросилъ онъ клеить — да такъ и застылъ на мѣстѣ: «Собака!»

— — — по лѣстницѣ вверхъ, нюхая слѣдъ, бѣжала собака: въ чемъ только душа щелудивая, замухрованная съ гноящимися глазами — — —

Скворцовъ подобрался весь.

— — — собака, какъ слѣпая, ничего не видя, какъ завороженная, бѣжала собака носомъ въ полъ — по слѣду ———

и мимо Скворцова прямо на кучу.

Скворцовъ, не отрываясь, глядѣлъ — весь, какъ одинъ огромный глазъ:

«Опять»?

Нѣтъ, совсѣмъ не за этимъ —

съ жадностью изголодавшейся послѣднимъ голо-

домъ собака на́бросилась на кучу и принялась упысывать.

Не дыша, не шевелясь, слѣдилъ Скворцовъ —

а собака, все сожравъ, подлизала полъ и слѣпо, какъ вбѣжала, теперь повернула —

— — — и по своему ужъ свѣжему слѣду побѣжала съ лѣстницы внизъ — — — —

— — — —

И только когда шаги затихли, Скворцовъ какъ очнулся и прямо къ кучѣ:

а кучи, какъ не бывало!

без-слѣдно!

Подлинно, чудесный случай!

И когда на другой день послѣ уборки Скворцовъ разсказалъ уполномоченному — Назаровъ не хотѣлъ вѣрить. Да и всѣ мы, кому только ни приходилось слышать — Скворцовъ охотно разсказывалъ этотъ случай! — не очень-то вѣрили.

— Неизвѣстная собака по слѣду той неизвѣстной (съ двумя неизвѣстными!) и сожрала всю кучу!

— А вы не думаете, что это таже самая собака?

— Не знаю, не знаю.

*

Да, подлинно чудесный случай! — «чудесное избавленіе!»

Но развѣ отъ этого можно избавиться? Вѣдь это жъ вещь такая, не спрячешь! — и пусть неизвѣстная собака съѣла, но она же въ свой чередъ — — но оно же опять обнаружится!

Когда наступила зима — моленые морозы ударили — и въ уборныхъ замерзли трубы, нижніе этажи стало заливать.

И вышло постановленіе Домкомбѣда:

«впредь не пользоваться уборными!»

Скворцовъ подчинился —

«пока не оттаятъ трубы, нельзя!»

Да и всякій такъ понялъ. Но, конечно, при нуждѣ соблазнъ великій — кое-кто, должно быть, грѣшилъ: утѣшалъ себя, авось не замѣтятъ! А какъ не замѣтить — въ нижніе-то этажи протекало.

А это такая мука я вамъ скажу: не углядишь вовремя — въ комнату и польется. Только и знай, ходишь съ тряпкой и подтираешь.

А въ комнатахъ холодина: въ ванной ледъ — коли, как на рѣчкѣ! (Въ ваннѣ на верхнихъ этажахъ держали воду: вода вѣдь подымалась только-только до 3-яго этажа!).

Товарищъ Плевковъ въ сосѣднемъ домѣ поступилъ пѣшительнѣе: Плевковъ просто велѣлъ заколотить двери въ уборную — «располагайся, гдѣ хочешь!» А у насъ — у насъ деликатно-: постановленіе.

На общемъ собраніи Домкомбѣда Назаровъ, потерявъ всякое терпѣніе, грозилъ представить въ комендатуру о ~~тѣхъ~~ жильцахъ, кто будетъ замѣченъ. Но всѣ мы, кто только былъ на собраніи, всѣ мы согласно подтвердили, что, исполняя постановленіе, уборными не пользуемся и что это, должно быть, —

«старыя накопленія, застрявшія еше съ осени!»

На этомъ какъ будто и упокоилось —

угроза ли комендтурой?

(а изъ комендатуры прямой ходъ на Гороховую!)

или накопленія изсякли?

(осень-то была — не разъѣшься!)

или морозы дѣйствовали?

(и не холодна зима, да голодному все холодно!)

Ко мнѣ — въ самый нижній этажъ — прекратилось. А вотъ къ Сметовой, она надо мной, вскорѣ опять потекло.

И почему-то вообрази эта Сметова, что течь—отъ Скворцова!

Потому ли, что Скворцовъ на самомъ на верху: изволь съ верху всякій день ведро выносить, — кому хочешь, опостылитъ!

Или ужъ очень измучилась она и надо же на кого-нибудь — вѣдь подтирать-то полъ, повторяю, это такая мука, и не знаю я, что еще бываетъ хуже: въ холодъ съ треснутыми руками —

Рѣдкій вечеръ Сметова не стучала къ Скворцову (электрическіе звонки давно не дѣйствовали!) — по стуку узнавалъ Скворцовъ, кто. И всякій разъ подолгу держала она Скворцова на холодѣ.

Она доказывала ему:

«что уборной нельзя пользоваться!»
«что это — преступленіе: ее заливаетъ!»
«и руки у нея всѣ потрескались!»

И доказывая, умоляла —

— — прекратить!

И слезы стояли у нея въ глазахъ.

Скворцовъ покорный по своему, покорно принимавшій все, вдругъ стервенѣлъ:

— И почему вы увѣрены, — кричалъ онъ, — что это отъ меня? Почему? Почему не отъ уполномоченнаго? или отъ Вавилонова? Терехина? Пузырева? Алимова?

А въ отвѣтъ были однѣ слезы —

онѣ говорили яснѣе всякихъ словъ, почему.

Я какъ-то встрѣтилъ Сметову на улицѣ: она ужъ какъ

остеклѣла — лицо вздрагиваетъ, глаза косятъ. Ну, разговорились: все про это, про что же еще!

— Знаете, это-то еще ничего, а настанетъ весна и всѣхъ зальетъ! — сказала она, — у меня одно желаніе: помереть бы!

— — –

Я разсказалъ Скворцову.

Но чѣмъ же онъ можетъ помочь?

— Ей Богу жъ, я тутъ совсѣмъ не виноватъ: это — не я!

Я понимаю, и я не къ тому, чтобы кого-нибудь винить, я просто — жалко!

Сметова жаловалась уполномоченному, но Назаровъ, по привычкѣ, требовалъ оправдательный документъ (онъ на все требовалъ оправдательный документъ!), а на такое — гдѣ жъ его возьмешь?

*

Еще выше 6-го этажа по черной лѣстницѣ чердакъ и тамъ тоже площадка.

> Въ прачешной не стирали — изъ прачешной пользовались водой: вода въ домѣ совсѣмъ прекратилась и не только до 3-го этажа, а и у насъ — въ первомъ чуть только просачивалась. Чердакъ стоялъ пустой — бѣлье не вѣшали. А если бы кто и повѣсилъ и французскимъ ключомъ заперъ, все равно, стянули бы. Стирали въ комнатахъ — въ комнатахъ и развѣшивали.

И вотъ когда вышло постановленіе Домкомбѣда не пользоваться уборными, охотники — вѣдь не всякому охота на людяхъ въ орла играть! — на чердачную площадку и стали похаживать.

И ничего — морозъ! — морозъ все заколитъ, ровно и нѣтъ ничего.

Скворцовъ какъ-то встрѣтилъ: одного нисходящаго, другого восходящаго — это Мѣшковъ и Суровъ, сосѣди. И понялъ: вѣдь, когда придетъ весна, за чердачную площадку онъ отвѣчать будетъ —

и ужъ никакой чудесный случай не спасетъ: вѣдь сколько надо голодныхъ собакъ! — да столько не найдется собакъ во всемъ Петербургѣ.

— — —

Послѣдніе дни мороза ознаменовались величайшимъ событіемъ въ нашемъ районѣ, объ этомъ только и разговору.

Ни повальные обыски — это такая ерудна, о которой и говорить не стоитъ: оружія ни у кого нѣтъ и не было, а продовольствіе, хоть и маленькій запасъ — фунтовой, а всякій съ теченіемъ времени такъ исхитрился прятать, половицы подымай, ничего не найдешь! Нѣтъ ! дѣло сурьезнѣе и отчаяннѣе:

закрыли нашъ единственный рынокъ!

И теперь, если что надобно (а какъ не надобно!), или тащись къ Покрову (Покровскій рынокъ еще не закрытъ!) или плати мѣшечнику втридорого! А ужъ на счетъ продажи домашнихъ вещей, просто и н знаю.

Ко мнѣ зашелъ товарищъ Черкасскій

Черкасскій занимаетъ очень большое мѣсто: «отвѣтственный работникъ!»

Я разсказалъ ему нашу домашнюю исторію: скворцовскій чудесный случай и о Сметовой — «заливаетъ!»

Но онъ плохо меня слушалъ, я это замѣтилъ: у него засѣло свое — не менѣе чудесное. —

Черкасскій не похожъ ни ка кого: ни на Терехина, перешедшаго съ октября на этотъ берегъ и

стоящаго на стражѣ революціи, ни на Плевкова, истребляющаго «головку» контр-революціи, и «корешки» буржуазіи, ни на нашихъ балтморовъ, которымъ до нашихъ домовыхъ дѣлъ мало дѣла, онъ никого не подтягиваетъ и на на кого не опирается, льстя «красою и гордостью», онъ дѣлаетъ только дѣло — осуществляетъ «опытные» декреты.

Вотъ онъ только что закрылъ нашъ Андреевскій рынокъ: «чтобы не давать волю мародерамъ и въ корнѣ уничтожить эксплуатацію мѣшечниковъ —»

— А когда придетъ весна, мы снесемъ весь рынокъ и разобьемъ дѣтскія площадки.

И онъ принялся съ увлеченіемъ разсказывать, какъ будетъ все хорошо — всѣмъ хорошо:

«на мѣстѣ толкуна — рѣзвятся дѣти»!

«а все, что намъ понадобится — керосинъ, мыло, одежду — мы найдемъ въ продовольственныхъ лавкахъ и коммунальныхъ магазинахъ —»

— Когда придетъ весна, увидите!

А мнѣ вспомнилось:

«Когда придетъ весна, зальетъ насъ всѣхъ!»

Я вѣрилъ Черкасскому — вѣдь, дѣйствительно, по его вѣрѣ и все это прекрасно! — и вѣруя, я слышалъ остеклелѣлое и перекошенное сметовское: «помереть бы»!

*

И наступила весна.

А какая это была весна! Нигдѣ — ни послѣ, ни раньше, ни въ тюрьмѣ, ни послѣ болѣзни, — я не запомню такого. И это не только мое, а и всѣхъ — я чувствую — всѣхъ, прожившихъ, какъ и я, жесточайшую зиму.

И пусть къ удовольствію мародеровъ и спекулянтовъ-мѣшечниковъ закрыли нашъ единственный рынокъ, (воображаю, какъ они хохотали надъ «глупостями» Черкасскаго!) а въ продовольственныхъ лавкахъ пусто (да и откуда взять-то!) и никакихъ коммунальныхъ магазиновъ, а про дѣтскія площадки, вѣрно, забыли, все равно, весна! — а весна, что бѣда, и человѣкъ къ человѣку жмется!— барышни изъ Совдепа, Копровуча и другихъ страшныхъ названій совсѣмъ нестрашныхъ учрежденій, не дождавшись Пасхи, зарегистрировались въ брачномъ отдѣлѣ, товарищъ Плевковъ перемѣнилъ фамилію на товарища Румянцева, а Сметова вдругъ посмотрѣла прямо.

Съ первыми теплыми днями закипѣла по дворамъ работа.

Да, Сметова была права: и празду, какое-то всеобщее потеченіе — потопъ нечистотъ! — изъ оттаявшихъ трубъ, съ загаженныхъ площадокъ, изъ угловъ, изъ щелей, изъ пробоинъ — текло.

Въ восресенье по постановленію Домкомбѣда назначена была всеобщая чистка:

«— — — къ 10-и утра все взрослое населеніе дома обязано было явится на работу: неявившихся въ — комендатуру; докторскія свидѣтельства недѣйствительны».

Такая крутая мѣра до аннулированія докторскихъ свидѣтельствъ у насъ совсѣмъ необычно, но что подѣлать, иначе невозможно:

> вѣдь домъ зальетъ и хуже будетъ — изволь выселяться! — а куда? — вездѣ тоже — во всѣхъ домахъ.

*

Скворцовъ вышелъ спозаранку.

Онъ пробовалъ заглянуть на площадку къ чердаку, но подступиться нечего было и думать —

это какъ на пожарѣ въ дымъ и пламя!

А по лѣстницѣ стекало густыми ручейками, срываясь тяжелыми каплями въ пролетахъ — тому, кто вздумалъ бы подняться на верхъ, непремѣнно угодитъ въ физіономію!

хракъ и плевъ — —

На дворѣ уполномоченный и съ нимъ матросы, вышедшіе нарядно щеголями, подлинно «краса» среди всеобщей голи.

Скворцова встрѣтили весело: его чудесный случай у всѣхъ въ памяти!

Но самъ-то онъ смотрѣлъ — въ чемъ душа! — или его и солнцемъ не пройметъ? Весь закутанный въ какія-то шкурки, а поверхъ вязанная женская кофта и шляпа — такую шляпу въ былые годы если на огородъ чучелой, не только воробьи, ни одна ворона не полетитъ.

— Товарищъ Назаровъ, — сказалъ какой-то изъ матросовъ, — товарища Скворцова надо освободить.

И другіе поддержали.

— Что жъ, Макаръ Ивановичъ, — согласился уполномоченный, — работа съ такимъ не помощь. Только вотъ товарищъ Терехинъ провѣрять будетъ.

— Чего провѣрять? Разъ освобождаемъ — наше рѣшеніе безаппеляціонно!

Но Скворцовъ не хотѣлъ уходить: —

онъ гдѣ-нибудь въ кончикѣ постоитъ съ лопаткой
— онъ хочетъ со всѣми —
онъ пойдетъ и площадку чистить недоступную — со всѣми.

— — —

Народъ подходилъ, ежась и робко — изъ всѣхъ зале-

денѣлыхъ и теперь оттаявшихъ квартиръ, изъ уплотненныхъ комнатъ, заваленныхъ и набитыхъ дрянью:

предстояло совершить невѣроятное — подлинно чудесный случай, но безъ всякихъ голодныхъ неизвѣстныхъ собакъ! — самимъ, непривычными къ такой работѣ руками: большинство у насъ «бывшіе буржуи», т.е. бывшіе служащіе въ конторахъ, а также — свободныхъ профессій.

Вышла и Сметова.

— Мерзавцы! — всю ее дергало и перекашивало, — всѣ разбѣжались! а насъ заставили сортиры чистить!

— — —

Съ 6-го этажа если заглянуть во дворъ, ничего не увидишь, только самую верхушку арки къ воротамъ.

Скворцовъ сѣлъ у окна — любопытно! — и, хоть ничего не видать, за то все ему слышно.

На дворѣ кипѣла работа — много было и смѣха и крика.

Кричалъ уполномоченный («дураковъ тоже учить надо!») чего-то кричлъ Терехинъ: или провѣряя, не досчитался? (ни Алимовъ, ни Гребнева, конечно, не вышли!) или подтягивалъ? («нешто это работа, и лопаты въ рукѣ держать не умѣютъ!»)

Потомъ топали по лѣстницѣ — черезъ хракъ и плевъ —. неподступную брали площадку у чердака. Потомъ опять кричали, опять смѣхъ.

И затихло.

Чистку кончили и мусоръ повезли на себѣ къ остановкѣ трамвая, чтобы сложить все въ общую кучу: завтра на площадкахъ развезутъ трамваи это добро за городъ на свалку.

Подъ вечеръ Скворцова потянуло на волю:

онъ пойдетъ недалеко — къ этой остановкѣ трамвая, гдѣ съ прошлаго года виситъ полинялый

плакатъ: «царству рабочихъ и крестьянъ не будетъ конца!» По воскресеньямъ трамваи не ходятъ онъ пойдетъ по середкѣ улицы —

Скворцовъ надѣлъ на себя всѣ свои шкурки и тихонечко пріоткрылъ дверь на волю.

А на его двери — ему это сразу бросилось! — мѣломъ размашисто по-терехински:

Гражданинъ Скворцовъ

позоръ труддезертиру!

IV

ПО «БѢДОВОМУ» ДЕКРЕТУ

Съ революціей вся жизнь перевернулась и съ каждымъ днемъ вывертывалась. Нужда вылѣзла изъ всѣхъ щелей и пошла —

нужда издавала свои особые «бѣдовые» декреты, передъ которыми «совѣтскіе» шли на смарку; нужда повелѣвала подъ страхомъ смерти — воровать, лгать, изворачиваться — но это еще ерунда, хуже! — доносить и предавать, или такое: загонитъ тебя въ уголъ и тамъ броситъ — «все только себѣ и только для себя или пропадешь!» —

Совѣтскіе декреты дѣлили людей на «категоріи», нужда же, какъ на зло, мѣшала категоріи, собирая людей «по бѣдѣ».

Богатымъ, т. е. бывшимъ богатымъ, жилось пока что еще ничего — какъ ни «отбирали», какъ ни «реквизировали», а все-таки кое-что у всякаго оставалось, хотя бы изъ вещей,

которыхъ сразу то не «унесешь», и вотъ тѣ, кто не убѣжалъ или не попалъ въ тюрьму въ заложники, жили сносно, по крайней мѣрѣ, всегда были сыты безъ особаго надъ собой выверта, сохраняя «ч е с т ь».

О ту пору открывались временно, конечно или, неисповѣдимымъ образомъ — частная торговля по декрету истреблялась! — всякіе «Кулинары», «Лактобацилины» и въ этихъ «кулинарахъ» шла съѣстная торговля, этой торговлей и кормились и к о р м и л и главнымъ образомъ тѣхъ, кто попалъ въ категорію истребляемыхъ, т.е. бывшихъ богатыхъ. Это было и модно и прибыльно. Но обыкновенные-то люди — не бѣдные и не богатые — безъ всякихъ «сейфовъ», а по декретнымъ категоріямъ, какъ элементъ не трудящійся, т. е. не рабочіе, приравниваемые къ тѣмъ богатымъ съ сейфами, попали въ тягчайшее положеніе и дни свои доживали головокружительно.

Такая становилась головокружительная жизнь у Шевяковыхъ — дяди и тетки Софьи Петровны, «невѣсты Воробьева».

*

Софья Петровна ничего барышня, носъ у нея на кончикѣ раздвоенный. И у всѣхъ онъ раздвоенный въ хрящикѣ — такъ ужъ природой устроено! — только совсѣмъ незамѣтно, развѣ пальцами если тронуть. А у нея это явственно выпираетъ — ужъ какъ замѣтишь, никогда не забудешь.

А глаза у Софьи Петровны чудесные — видѣлъ я такую картинку: Марія Египетская передъ крестомъ въ пустынѣ, — вотъ они откуда у нея поднебесные «египетскіе», и тоже, ужъ какъ замѣтишь, не позабудешь.

Но почему-то носъ памятливѣе!

Софья Петровна говоритъ, всегда очень много и необыкновенно подробно, черезчуръ даже, и при этомъ всегда съ какимъ-нибудь «какъ говорится» —

«какъ говорится, за что купила, за то и продала!»
ну, что-нибудь въ такомъ родѣ ходячей поговоркой.

А вся ея рѣчь — игра «интеллигентной актрисы», ну, какая-нибудь «барышня» изъ «Гибели надежды», какъ эту «барышню» актриса играетъ. И такая актриса — идеалъ Софьи Петровны и мечта ея жизни.

И почему-то Софья Петровна никому не нравилась. И не то, что не нравилась — никакого отвращенія она не вызывала, но и не влекла — она какъ-то скользила мимо со своими чудесными глазами, раздвоеннымъ носомъ и эмалированнымъ бѣлымъ кувшиномъ, въ которомъ супъ носила изъ совѣтской столовой. —

А извѣстна она была, какъ «невѣста» —

«невѣста Воробьева!»

Такъ и всѣ ее звали да и сама она себя такъ называла.

Воробьевъ — огромный, заросшій чернымъ волосомъ балтморъ, одинъ изъ самыхъ молчаливѣйшихъ людей, какіе только появлялись когда на свѣтъ, а въ такое революціонное время, отнюдь не молчальное, просто нѣчто неподобное. Воробьевъ въ томъ же самомъ домѣ, гдѣ и Шевяковы, сосѣдъ. А познакомилась съ нимъ Софья Петровна на собраніи Домкомбѣда. Я присутствовалъ при этой памятной встрѣчѣ: я тоже ждалъ уполномоченнаго, сидя въ сторонкѣ. Софья Петровна безпрерывно говорила — передать невозможно, о чемъ она говорила: слова и по-преимуществу съ «какъ говорится» и «настроеніе». Воробьевъ

слушалъ молча (И думаю, съ часъ такъ просидѣли: она — безпрерывно, онъ — воды въ ротъ. На лѣто Воробьевъ собрался въ деревню къ старикамъ. Еще можно было ѣздить безъ особаго разрѣшенія, и я за нимъ потащился: и «воздухомъ подышать» и «подкормиться». Воробьевъ пригласилъ и Софью Петровну: ей тоже не мѣшало хоть недѣли двѣ пожить по-другому, не таская съ собой этотъ эмалированный кувшинъ съ супомъ, но она такъ и не попала въ деревню. Вернувшись отъ Воробьева, я разсказалъ ей, какъ ее тамъ ждали — «ждали, сказалъ я, какъ невѣсту!» Она приняла мои слова восторженно. Съ эихъ поръ и пошло: «невѣста Воробьева». И хотя жениха больше не видѣли — изъ балтмора Воробьевъ превратился въ черномора и уѣхалъ изъ Петербурга — «невѣстой Воробьева» Софья Петровна такъ и осталась и сама она была искренно убѣждена, что Воробьевъ — ея женихъ.

*

18-ый годъ былъ убійственно-голоднымъ для бѣдноты, 19-ый — холодъ и смерть.

Обыски и анкеты вымуштровали и самыхъ расхлябанныхъ простецовъ: всякій теперь исхитрялся, какъ бы провести или обойти предусмотрительно; а отъ постояннаго голода окончательно обвыкли на воровствѣ.

Софья Петровна ужъ зимой начала потихоньку таскать у дяди и тетки съѣдобное: все-таки дядя и тетка не мать, получатъ по карточкѣ хлѣбъ, раздѣлятъ на три части и всегда себѣ побольше, въ особенности дядя. Сначала таскала она робко и тяжело — примѣтно, но понемногу навострив-

шись, стала смѣло и чисто. Если хватались, всю вину валили на прислугу Сашу — Саша не исключеніе, конечно, подворовывала, но сказать Сашѣ боялись, а выговорить не смѣли — не прежнее время! Но когда пришелъ чередъ и Саша уѣхала въ деревню, Софья Петровна при всякой хваткѣ сочиняла разныя небылицы.

И вотъ понемногу въ домѣ установился какой-то воровской режимъ: дядя у тетки, тетка у дяди, а Софья Петровна — у дяди и тетки, каждый воровалъ и держался подозрительно къ другому.

> И не знаю, иногда мнѣ казалось, что вся совѣтская бумажная волокита — Совдепъ съ безчисленными комнатами, Районная управа и всякіе контроли, заваленные ордерами, удостовѣреніями, пропусками, все-таки какая-то «узда», «гарантія», и безъ этой загородительной бумаги, пожалуй, я ужъ и не знаю, все растащили бъ. Впрочемъ, это мало чему помогало, вѣдь бумага! — можно при желаніи поддѣлать и подписи и печати — —

Въ одинъ прекрасный день — а всѣ ходили подъ такимъ днемъ — вы думаете Шевяковыхъ свезли на Гороховую, нѣтъ, въ больницу: тифъ —

> только вѣдь и было два пути неминуемыхъ: на Гороховую или въ больницу — арестъ или тифъ.

Въ квартирѣ осталась одна Софья Петровна.

Всякій день она ходила въ больницу, навѣщала. А разъ пропустила — въ очереди долго держали: «прикрѣплялась» въ Продовольственной лавкѣ. Приходитъ на слѣдующій день въ больницу — а тетки въ палатѣ нѣтъ, и сидѣлка другая, ничего не знаетъ.

— Да, должно быть, померла! — говоритъ.

И повели ее въ покойницкую — «опознать». А въ покойницкой—и такъ лежатъ и въ гробахъ: одинъ гробъ откроютъ! другой — «не опознаетъ ли?» Тетка горбатая, заувтно. Нѣтъ, все непохожія.

Такъ тетка и пропала.

А на самомъ-то дѣлѣ вовсе никуда и не пропадада, черезъ нѣсколько дней выяснилось — а за эти-то нѣсколько дней Софья Петровна голову потеряла! — тетку перевели въ другую палату «для выздоравливающихъ».

Много помирало тогда народу, только и слышишь, бывало: тотъ померъ, другой захворалъ, третій при смерти.

А дядя и тетка выздоровѣли.

Дядя послѣ болѣзни еще жаднѣе сталъ: послѣ болѣзни по докторскому свидѣтельству ему, какъ «выздоравливающему», нѣсколько разъ выдавали шоколадъ, такъ онъ, бывало, получитъ и все сожретъ на глазахъ.

А на тетку напалъ страхъ вошинный: ей все мерещилось — ползетъ! И безъ того аккуратная, она теперь цѣлый день ползала по полу — мыла полъ и все перетирала. И вотъ, ползая, должно быть, простудилась: возвратный тифъ. И опять повезли въ больницу. И ужъ не вынесла: померла.

А какъ тетка померла, дядя Софью Петровну прогналъ.

У Ивана Васильевича давно былъ «грѣхъ», а тутъ какъ отъ тетки избавился, да весной шибануло — потекли ручейки въ Петербургѣ, какъ гдѣ-нибудь въ Вологдѣ (не прежнее время, когда въ Петербургѣ сугробовъ не знали, и снѣгъ лежалъ вотъ на столечко!) — онъ ту у себя и поселилъ, а Софью Петровну за дверь.

. . . .

Такъ и пропала съ нашего двора «невѣста Воробьева».

*

Съ матерью Софья Петровна никогда не жила: такъ ужъ съ дѣтства, сначала въ Институтѣ, потомъ у тетки.

Мать Софьи Петровны служила во временномъ «конфексіонномъ» магазинѣ кассиршей и служилъ тамъ же — продавалъ чего-то — съ необыкновенной фамиліей, нѣкто Бэзэ. И опять же эта весна — ручейки, какъ ручейки-то побѣжали по Невскому, она и зарегистрировалась съ этимъ Бэзэ, и онъ къ ней переселился.

Ну, и такъ тѣсно, а тутъ еще Софья Петровна.

Софья Петровна сразу же замѣтила и нисколько не удивилиась, что и ея мать воруетъ — «съ плиты»:

> кухня для всѣхъ жильцовъ общая, обѣдъ готовятъ на одной плитѣ, ну, кто зазѣвается или выйдетъ изъ кухни, тутъ и готово: у кого супу сольетъ у кого каши — это и называется «съ плиты».

Софья Петровна рѣдко бывала дома. Только ночью. Еще зимой поступила она въ Театръ въ контору, и въ этомъ же Театрѣ въ театральной студіи училась. И хотя послѣ нѣсколькихъ пробъ ей сказали, что дарованія у нея нѣтъ и актрисы изъ нея не выйдетъ, — «если бы я была богатой, у меня нашли бы и дарованіе!» сказала она тогда, и продолжала учиться.

> А бѣдно очень жила Софья Петровна. Лѣтомъ всегда безъ чулокъ, зимой въ полотнянныхъ туфляхъ. И какъ это еще она ходила, особенио осенью въ мокроту и слякоть: войдетъ въ комнату шлепаетъ, все-то промочено. И этотъ эмалированный бѣлый кувшинъ, съ которымъ она не разстается — раньше-то служилъ для умыванья, а теперь для супу — этимъ вѣдь только она и питалась!

> Пробовала она брать на комиссію продавать на рынкѣ — это очень рисковано, но и можетъ быть очень прибыльно! — да ничего не вышло, и тѣго, что просить надо было по расцѣнкѣ, и того не получила. Такъ и бросила. А такъ откуда же деньги достать, жалованье — — ?

Съ весной — съ ручейками-то — и у Софьи Петровны поднялось что-то: вернется она домой и все его видитъ — кто онъ? Воробьевъ? или еще кто? — видить неотступно, какъ покойница тетка вошь.

Мечта о любви поднялась въ ней, какъ эти ручейки, и ужъ ей въ самыхъ безразличныхъ словахъ слышались намеки, что кто-то, какой-то — онъ — Воробьевъ или еще кто? — ее любитъ.

Въ Студіи былъ вечеръ. Игралъ на рояли актеръ Кобяковъ, а Софья Петровна переворачивала ему ноты. Дѣвочка, прислуживающая въ театрѣ (парики убирала, мыла посуду въ буфетѣ), сидѣла во время игры въ залѣ, и на другой день она разсказала Софьѣ Петровнѣ, будто этотъ актеръ Кобяковъ («галченокъ!») —

> «не сводилъ съ нея глазъ, когда она переворачивала ему ноты».

«Кобяковъ влюбился!» — заключила Софья Петровна.

А тутъ и другой «влюбился», тоже актеръ, Колпаковъ, — этотъ Колпаковъ очень нравился Софьѣ Петровнѣ! Выходили какъ-то изъ театра и, когда прощались, руки ихъ скрестились. А товарищъ Колпакова Лебедевъ и говоритъ: «Вотъ къ свадьбѣ! Можетъ, съ Софьей Петровной!» А Колпаковъ ему: «Оставь!»

Это очень хорошо запомнила Софья Петровна и мечтала не только о Кобяковѣ. «который съ нея не сводилъ глазъ».

ни и о Колпаковѣ, съ которымъ при прощаньѣ руки скрестились — къ «свадьбѣ».

Потомъ ужъ передавали Софьѣ Петровнѣ, что Колпаковъ кому-то признавался, что «онъ цѣнитъ любовь Софьи Петровны — хотя безъ взаимности».

Софья Петровна не повѣрила:

когда она влюблялась, ей казалось, что и тотъ влюбленъ въ нее.

Кромѣ Кобякова и Колпакова, Софья Петровна влюбилась въ уполномоченнаго Максимова: она забѣгала къ нему надо или не надо за всякими справками, и терпѣливые отвѣты его принимала за особое вниманіе. И однажды, получивъ въ театрѣ жалованье за первую половину мѣсяца, она на всѣ купила розу и поднесла Максимову:

— — —

— Хорошо, — сказалъ онъ, принимая розу.

— Поцѣлуйте меня хоть разъ! — едва слышно пролепетала Софья Петровна и смотрѣла своими чудесными глазами.

Но онъ только улыбнулся и положилъ розу на ордеръ.

«Онъ — женатъ, вотъ почему!» — объяснила себѣ Софья Петровна, но не успокоилась и мечтала по-прежнему, увѣренная, что Максимовъ въ нее влюбленъ.

*

Хороши весеннія петербургскія звѣзды — въ каждой-то блестинкѣ по звѣздочкѣ. А ужъ вѣтеръ, какъ подуетъ надъ Петербургомъ, да какъ рванется въ окно весенній, ничего не понимаешь. Или эти ручейки, когда таетъ снѣгъ —

А хороша и петерубргская осень — осеннія частыя звѣзды: все налито — днемъ шелъ дождь (всякій день дождь!) — и мокрые камни блестятъ, какъ крупныя звѣзды — свѣжо.

И не знаю, гдѣ этой звѣздности больше: въ весеннемъ ли тепломъ мерцанiи или въ сыромъ блескѣ? И знаю, мечта горитъ ярче весенней.

Надя и Софья Петровна мечтали о любви.

И какiя это разныя были мечты: въ Надю влюблялись, а вѣдь, что говорить, Софья Петровна только сама влюблялась, а любила ее одна только ея бабушка, да и та померла.

Софья Петровна ходила по субботамъ ночевать къ Надѣ: Надя единственная ея подруга, — Надя и называла ее, какъ когда-то бабушка, не Соня, а Сонюша, — Надѣ она повѣряла всѣ свои тайны:

и о Воробьевѣ, и о Кобяковѣ, и о Колпаковѣ,
и о розѣ Максимову.

— Тебѣ хорошо, Надя, въ тебя влюблены были, а мнѣ никогда никто не сказалъ!

*

Надя служила гувернанткой у Лопуховскихъ. Когда Лопуховскiе «бѣжали» за границу, она осталась одна въ ихъ огромной богатой квартирѣ. Почему-то никого не вселяли. Такъ она и жила одна. Зимой отапливала одну комнату: жгла мебель, столы, все, что только можно.

И вотъ однажды получилась большая посылка на Лопуховскихъ.

А за посылкой письмо отъ Лопуховскихъ, что она можетъ этой посылкой попьзоваться.

А въ посылкѣ чего-чего не было: и шоколадъ и конфеты и мыло и печенье и сахаръ.

Это было какъ-разъ въ субботу, вечеромъ пришла Софья Петровна.

И обѣ были счастливы: сколько всякой ѣды и такой,

о чемъ онѣ и мечтать не могли! — ѣли и мечтали. И улеглись спать, а долго не могли заснуть, все разговаривали.

— — —

Софья Петровна проснулась рано.

На столѣ лежалъ свертокъ — это для нея приготовила Надя изъ посылки.

Софья Петровна сейчасъ же забрала свертокъ — и къ себѣ въ мѣшокъ. Прошла въ кухню. А въ кухнѣ все остальное: Надина доля — Надя все раздѣлила по-ровну — и шоколадъ и конфеты и печенье и сахаръ.

Софья Петровна, какъ увидала — — да, что ни попало, горстями себѣ въ мѣшокъ. Завязала мѣшокъ и хочетъ уходить —

Тутъ Надя и проснулась:

— Ты уже уходишь?

— Да, мнѣ надо.

— Я забыла сказать: тамъ въ кухнѣ два куска мыла, возьми одинъ себѣ!

Но Софья Петровна ничего не отвѣтила и не пошла въ кухню , и тихонечко вышла.

И не домой и ни въ театръ пошла она, а прямо на Покровскій рынокъ.

И сейчасъ же все продала — на такой сладкій нелегальный товаръ покупатель всегда найдется! А на выручку купила себѣ туфли — настоящія.

И какъ надѣла послѣ своихъ холщевыхъ-то шлепанцевъ, сразу поднялась и выпрямилась — и не узнать!

*

Въ субботу Софья Петровна, какъ всегда, пошла къ Надѣ. Но Нади не оказалось дома. Софья Петровна оста-

вила записку (такъ и раньше случалось!), что придетъ въ слѣдующую. Но и въ слѣдующую субботу тоже.

И еще нѣсколько разъ Софья Петровна предупреждала Надю, что придетъ, являлась въ условленный часъ и уходила домой — Надя ей не отворяла.

— — —

Софья Петровна шла по Таврической съ своимъ неизмѣннымъ эмалированнымъ кувшиномъ. И хотя на ней были настоящія туфли и она казалась и прямѣе и выше, но никогда она не была такъ расплющена — и мечты ея были жалобныя.

Накануне вечеромъ на именинахъ у Максимова — Сестры Максимова пригласили Софью Петровну, Софья Петровна и пошла, и была необыкновенно оживлена и разговорчива, но тутъ случилось совсѣмъ для нея неожиданное: жена уполномоченнаго, должно быть, что-то замѣтила, вызвала его въ другую комнату и потребовала — «или Софья Петровна или она». И въ самый разгаръ своего разговора Софья Петровна должны была уйти: встать изъ за стола и безъ пирога, безъ чаю уйти.

Софьѣ Петровнѣ хотѣлось кому-нибудь объ этомъ разсказать, о вчерашнемъ, и она пошла бы къ Надѣ и Надѣ все бы разсказала —

И видитъ навстрѣчу Надя.

Она къ ней — —

И Надя поздоровалась, но какъ холодно!

И вдругъ Софья Петровна поняла.

— Надя, ты меня когда-нибудь можешь простить?

— Не знаю! — и пошла.

— — —

ВИНИГРЕДНАЯ ЕРУНДА

Письмами читателя «откликами» я не избалованъ и никогда не страдалъ, какъ Леонидъ Андреевъ и Горькій, «завалами», отъ которыхъ можно освобождаться, лишь отвѣчая; не изводили меня и любовныя посланія, какъ Блока, Бердяева и Степуна; не очень-то кряхтѣлъ я отъ денежныхъ, какъ Яша Шрейберъ. Меня миновалъ этотъ славный придатокъ, безъ котораго писатель не писатель и музыкантъ не музыкантъ: меня никто не спрашивалъ, — «какъ жить?» — и никто не приглашалъ на свиданіе «подъ Эйфелеву башню» или тамъ — на Аугсбургерштрассе «въ кафе Менцеля» или тамъ — «къ Публичной библіотекѣ» или тамъ — «подъ царь-колоколъ».

Въ допотопныя времена я искалъ читателя Льву Шестову, Шестовъ — мнѣ. И за годъ помню, нашелъ пятерыхъ, а онъ мнѣ одного, но за то, по словамъ его, «самаго настоящаго», котораго съ толку не собьешь и не разувѣришь.

Теперь черезъ сколько лѣтъ я понялъ, что ни Шестовъ, ни я, совсѣмъ мы не тамъ искали — — Но это все не къ тому, о чемъ рѣчь. Скажу одно: изъ всѣхъ писемъ, полученныхъ мною когда-либо, или въ редакцію обо мнѣ, приводимое ниже — единственное!

Подумать только: писала дама — членъ РКП и притомъ народный судья и какъ разъ въ томъ самомъ участкѣ, гдѣ мы жили. И попадись я въ судъ — всѣ мы люди, всѣ человѣки

— что бы она надо мной сдѣлала! И думаю, не миновать мнѣ общественныхъ работъ въ «лагеряхъ» безсрочно.

А написала эта дама — народный судья! — по прочтенiи моего разсказа «Рождество».

*

Товарищи!

Будучи случайной читательницей вашего журнала, я натолкнулась на статью «Рождество». Прочтя ея содержанiе, я пришла въ ужасъ. Дѣло въ томъ, что домъ Комаровка, о которомъ шелъ разсказъ, это домъ *моего рожденiя*, въ коемъ я жила 15 лѣтъ, и всѣхъ героевъ, указанныхъ въ разсказѣ, знаю, какъ себя самое. Но эпизодовъ, подобныхъ описанiю Р., я не знаю: тамъ въ разсказѣ отъ начала до конца *ложь*.

1) Герои — т. е., какъ жена Макеева Тимофѣя Ивановича, прозванная Р. «Агафьей Петровной», въ самомъ дѣлѣ именуется Елизаветой Григорьевной.

2) Лиза, племянница швейцара, моя подруга дѣтства, нынѣ извѣстная партiйная работница, членъ Тамбовскаго Губисполкома, завѣд. отд. соцiальн. обезпечиванiя и членъ Губкома р. к. партiи. Тамъ въ разсказѣ указано, что «взмахнувъ бѣлокурыми волосами — косой», но это опять голая *ложь:* у Лизы Кустковой никогда не было бѣлыхъ волосъ, а она обладала черными, какъ смоль, волосами.

Затѣмъ, тамъ говорится, что домъ выходитъ на Миргородскую улицу, это *ложь* опять же: домъ этотъ стоитъ на Золотоношской улицѣ д. 30-4, уголъ Телѣжной улицы.

Затѣмъ портнихи Перловой, какъ пишетъ Р., въ домѣ за всѣ 15 лѣтъ не *проживало*, жила 12 лѣтъ, въ 18-мъ номерѣ портниха Ксенiя Степановна Степанова.

Затѣмъ, о подругѣ портнихи «Перовой», яко бы «Надѣ», пишетъ нѣсколько словъ Р., это опять *ложь:* «Нади» абсо-

лютно никакой не было, а подруга — это была я маленькая, бывшая дѣвочка, кого звали Настей.

Затѣмъ пишетъ Р., что «Агафья Петровна» — вернѣе Елизавета Григорьевна — была іонитка, это низкая *ложь:* она была прсто полоумная женщина, но подобными звѣрями себя не выказывала.

Теперь — въ концѣ столбца 13-ой страницы говорится: «что на всѣ разспросы Лиза начала плести такіе небылицы о брюкввенной кашѣ и о совѣтскихъ супахъ, отъ которыхъ будто бы полнѣютъ». Какъ не стыдно вашему сочинителю — *лгуну-брехуну* врать такъ нахально! У Лизы родился мальчикъ, сынъ отъ мужа, въ 1915 году около Троицына дня, т. к. я его *крестила.*

А главное, то обстоятельство, что откуда Р. могъ знать, что гр. Макеевъ, швейцаръ, жилъ «съ огородничехой Татьяной и у него былъ сынъ Колька?» Слушайте! спросите у этого идіота Р., гдѣ онъ выкопалъ такую чушь: огородовъ и близко тогда не было! Да и жилъ она не съ «Татьяной», а съ *верхней кухаркой Авдотьей*, безъ всякго сына.

Скажите, товарищи, неужели ваша редакція нуждается только заполненіемъ страницъ журнала такими халтурными *лживыми* безсодержательными статьями: написано — «Подъ Рождество», а однаго слова нѣтъ про него! Стыдно такихъ писателей допускать съ статьями въ журналъ! Неужели лучше нѣтъ. Злоба просто беретъ, когда прочитаешь такую статью.

Знайте! что съ описаннаго дома Комаровки со мною вмѣстѣ вышло много очень извѣстныхъ совѣтскихъ и партійныхъ работниковъ, коихъ увидя, дамъ имъ прочесть эту винигредную ерунду.

Подло такую *ложь* писать!

Членъ РКП, П. гор. 6. №.... Народный судья *1*-го отд. I город. района (Невскій...)

ШУМЫ ГОРОДА

I

ЗВѢЗДЫ

Знаете, на Васильевскомъ есть такой домъ сѣрый, тѣсный, изъѣденный жильемъ, а во дворѣ направо и налѣво хлопающія, визгливыя двери и полутемныя скользкія лѣстницы — идешь и прилипаешь.

И всякій день по такой лѣстницѣ Вѣра въ училище ходитъ, разнося на ногахъ лѣстничную склизь и погань.

И не знаю, зачѣмъ эта липкая погань, спертое тѣсное жилье, когда такъ широко ходятъ по чистому небу чистыя звѣзды, и по нашей же суровой землѣ прозрачные текутъ ручьи —
зачѣмъ эти нечистыя, сѣрыя отъ паутины рѣдкія лѣстничныя окна, просаленныя желѣзныя перила — —
знаю, и золоченыя перила и мраморныя ступени не отведутъ отъ обреченной души тернистаго ея пути: вся изобьется, изноетъ и у самыхъ прозрачныхъ источниковъ и даже тамъ на звѣздномъ чистѣйшемъ просторѣ —
но я никогда не могъ примириться и съ этой нашей гложущей болью липкихъ лѣстницъ и желѣз-

ныхъ перилъ, за которыя хватается рука, когда
отъ отчаянія подкашиваются ноги —
и также знаю, будь мои слова огнемъ — огнѣе
огня, мои слова не прожгутъ суроваго человѣческаго сердца —
но я ничего не могу подѣлать съ моимъ сердцемъ,
которое захлебывается отъ этой гложущей боли.

Мы по той же лѣстницѣ жили, гдѣ Вѣра и ея мать Ольга Ивановна.

И какъ, бывало, встрѣчу, просто пропалъ бы куда, просто сквозь землю провалился бы — помочь-то, вѣдь, я ничѣмъ не могъ!

И тамъ, на верхотурѣ нашей, куда и вода не подымалась и только вѣтеръ ходитъ, суровою ночью, когда выйдутъ звѣзды, звѣздамъ шепчу подъ проволочный гудъ черезъ рамы —

— звѣзды, прекрасныя мои звѣзды! —

А должно быть и тамъ, подъ нами, въ такой же холодной тѣснотѣ, уложивъ Вѣру, Ольга Ивановна, извѣрившаяся во всякія обѣщанія, и въ ужасѣ, что за ночью наступитъ опять утро — новый день, требовательный и неумолимый, поправляя занавѣску у окна, отъ котораго несетъ такой холодъ, то же самое шепчетъ подъ проволочный гудъ къ звѣздамъ —

Но ей еще нестерпимѣй.

Отойдетъ, присядетъ къ столику, а похолодѣвшая рука ея тянется: тамъ, въ самомъ углу, къ стѣнѣ, за коробочками есть пузырекъ точно съ кофеемъ, нѣтъ это не кофій, это такое лекарство, такое черное, какъ кофій, отъ котораго навѣкъ заснешь.

Ольга Ивановна не одна, съ ней Вѣра. Если бы была она одна, ну какъ-нибудь и изъ послѣднихъ до послѣдняго дотерпѣла бы и потомъ вотъ какъ лошади падаютъ —

ей и сѣна тычутъ, да что ужъ сѣно — «Благодарю тебя, Господи, наконецъ-то!» — трамвай идетъ, а она мордой какъ разъ на рельсы, — галдятъ, понукаютъ, оттаскиваютъ, — какъ дохлая, только вздрагиваетъ, — кто-то сапогомъ въ животъ ткнулъ, а ужъ ей все равно: сейчасъ — конецъ!

Да, если бы Ольга Ивановна одна была!

И Вѣрѣ лучше будетъ —

А то нѣтъ никому до нея дѣла: говорятъ «не сирота, не безпризорная, мать у нея есть». А что мать, если совсѣмъ изъ силъ выбилась!

Да, Вѣрѣ лучше будетъ. А такъ и себя и ее измучаетъ. А безъ матери не оставятъ.

Или такъ надо, и иначе нельзя на бѣломъ свѣтѣ? У всякаго свое — свои заботы. И надо такъ, чтобы очень ужъ въ глаза бросилось и только тогда — и развѣ Вѣрѣ теперь хорошо? А когда матери не будетъ? Хуже не будетъ, лучше будетъ: безъ матери, вѣдь!

Срокъ небольшой — Вѣрѣ тринадцать — а кажется, всю-то жизнь прожили вмѣстѣ, и вдругъ: она — тамъ, а Вѣра — тутъ, и никогда не подойдетъ, и никогда ужъ, никогда не позвать, и не взглянетъ.

А надо рѣшиться.

И не отъ малодушія это она. Она все готова — вѣдь, раньше-то такъ! — цѣлыми ночами, не покладая рукъ, сидѣла. Но что же дѣлать, если силъ больше нѣтъ.

Надо рѣшиться и ужъ безповоротно.

И Вѣрѣ будетъ лучше, конечно!

Я давно замѣчалъ, встрѣчая на лѣстницѣ Ольгу Ивановну, что ужъ больно задумалась, и идетъ, и глазъ не подыметъ, а поздороваешься, такъ и вздрогнетъ вся.

Или такъ ее мысль сбила, забитую нуждой и обезсиленную вконецъ?

Одна единственнная мысль сбила теперь всѣ ея мысли, а когда заполнитъ — какъ ржа всю душу проѣстъ — и тогда все и рѣшится.

И непремѣнно.

Безповоротно.

У насъ тоже бѣда — всѣ мы тутъ одинаковые подъ одной звѣздой — надо мнѣ было кипятку для грѣлки. Вотъ я къ Ольгѣ Ивановнѣ и туркнулся.

«Можетъ — думаю, — какія щепки уцѣлѣли, разожгу печурку!»

Твердо знаю, да и всѣ тутъ у насъ по лѣстницѣ это знаютъ, если что есть у нея, не откажетъ — сколько разъ приходилось, изъ послѣднихъ выручала.

> Человѣкъ-то, скажу вамъ, живъ еще и душа жива, живая и пожалуй, живѣй еще среди погани и бѣды кромѣшной.

Постучался — не откликается.

А знаю, дома; и дверь не заперта.

Заглянулъ я въ кухню:

— Ольга Ивановна! —

Нѣту.

Ну, я въ комнаты.

А она стоитъ у столика — (разъ пожаръ у насъ случился, и, помню, схватилъ я что-то очень тяжелое тащить, а тутъ зеркало висѣло, въ зеркалѣ я и увидѣлъ себя, такъ вотъ лицо свое помню озеленѣлое) — вотъ такая озеленѣлая

стоитъ, и вижу, пузырекъ съ чѣмъ-то чернымъ въ рукѣ, отпила и еще — —

Тутъ вотъ точно что и вспомнилось мнѣ, я ее за руку —

Смотримъ другъ на друга — самые враги послѣдніе!

И вдругъ она и говоритъ, да какъ сквозь сонъ, едва слова выговаривая:

— Это я, — говоритъ, —для Вѣры: Вѣрѣ лучше будетъ.

А сама такъ и валится.

Я къ сосѣдямъ. Няньку позвалъ старуху, еще сестру — сестры тоже по одной лѣстницѣ съ нами. И долго мы надъ нею бились — въ сонъ ее ударило — размаивали.

Не хотѣлось намъ, чтобы Вѣра узнала, а то испугается.

Ну, какъ будто все и ничего стало — отходили! — только ослабѣла очень.

А тутъ и Вѣра изъ училища вернулась.

Видитъ: мать лежитъ на кровати.

— Что, мама, худо тебѣ?

Поняла она что-то — или сердца-то не обманешь?

Мать открыла глаза.

— Нездоровится, — говоритъ и заплакала.

И Вѣра вдругъ заплакала.

Или все поняла она и потому такъ заплакала, или отъ бѣды, уложившей мать, всю бѣду почуяла и вотъ заплакала — чужому человѣку, глядя, не стерпѣть —

— *звѣзды, прекрасныя мои звѣзды!* —

II

СВѢТЪ СЛОВА

Все живое, отъ звѣзды и до рѣчного голыша, а также и всякое созданіе — всякое дѣло рукъ

человѣческихъ, лапъ и лапочекъ — гнѣзда,
города, дома, игрушки, машины свѣтятся своимъ
свѣтомъ —
также и мысли и помыслы человѣка свѣтятся
свѣтомъ, свѣтится своимъ свѣтомъ и слово.
Сказать о человѣкѣ хорошее куда пріятнѣе,
чѣмъ лаяться.
Да что пріятнѣе, — больше! найти хорошее
въ человѣкѣ — великое счастье.
И счастье это отъ свѣта.
А свѣтъ отъ «человѣчнаго» въ человѣкѣ
А человѣчное въ человѣкѣ — это *желанность
души*, та крѣпь, какою разрозненный избѣдо-
вавшійся міръ держится —

уста къ устамъ
и сердце къ сердцу!

Среди послѣдняго звѣрства, въ которомъ человѣкъ съ человѣкомъ въ запуски бѣгаетъ, въ безсердечіи, грызнѣ и свори, въ этой тьмѣ вдругъ взблеснетъ она теплою искрой и озаритъ — идешь по Невскому въ свинцовый холодный вечеръ и вотъ гдѣ-нибудь за Казанскимъ соборомъ расколется небо и такая разольется заревая полоса — а вѣдь ея-то зарь ярче и самой сѣверной зари.

Я видѣлъ ее, чувствовалъ —

Я видѣлъ ее даже и въ такомъ, звѣремъ что въ человѣкѣ зовется, и отъ чего сами-то звѣри открещиваются — «волки, лисицы и всякіе зайцы».

Много я видѣлъ добра отъ человѣка и въ самую великую распрю на поворотѣ жизни за всѣ эти рѣшающіе годы.

И за эти же въ десятки, а можеть, въ сотни годовъ годы я, побиральщикъ, околачивающій пороги, терпѣливо и, скажу , не безъ страха, ожидающій очереди въ пріемныхъ, какъ часто, загнанный, въ послѣднемъ униженіи, оробѣлый, съ приглушеннымъ голосомъ, или въ остервенѣніи своемъ отчаянномъ просто пропащій, проходя по улицамъ и чуя свою покинутость и беззащитность, открытый для всего, съ какимъ жарчайшимъ желаніемъ думалъ я — — о волкахъ, лисицахъ и всякихъ зайцахъ, моихъ братьяхъ и сестрахъ безгласныхъ.

*

Какъ-то иду я такъ по Литейному —

Что-то съ утра, какъ вышелъ на улицу, все-то мнѣ не ладилось: тамъ просилъ — отказали; а въ другомъ мѣстѣ — просто обманули; а еще въ третьемъ — мало отказа и обмана, а еще и, повинивъ во всемъ, выругали. И пришлось покорно и безотвѣтно принять, — не знаю ужъ, отъ зависимости ли боязливой, кабы хуже чего не сдѣлать, отвѣчая-то, или — и такое бываетъ, отчаянное! — какъ въ пропасть летишь и за тобой камни — такъ пусть же летятъ, все приму! — и летишь.

Такъ вотъ шелъ я по Литейному, сердцемъ — къ звѣрямъ, и мысленно что-то со звѣрями ужъ разговаривалъ — съ волками, лисицами и всякими зайцами, и вдругъ точно за рукавъ кто дернулъ, замедлилъ я и слышу — —

А догоняли меня двѣ женщины, такъ — простыя.

И одна разсказываетъ другой о какомъ -то человѣкѣ, — о своемъ знакомомъ, — ясно слышу необыкновенно, точно это мнѣ въ ухо кто шепчетъ, — о какомъ-то человѣкѣ, у котораго ничего-то нѣтъ ну совсѣмъ, такая послѣд-

няя бѣдность: такая, что и «подѣлиться-то ему нечѣмъ» и говоритъ онъ, этотъ человѣкъ:

— «Ну, — говоритъ, — коли нѣтъ ничего, хоть ласковымъ словомъ подѣлиться».

«Ласковымъ словомъ надо дѣлиться!» — и это, какъ въ полдень, когда гдѣ на Площади застигнетъ, ударитъ пушка —

«Ласковымъ словомъ надо дѣлиться!»

И я точно проснулся —

Вижу небо, синее такое, не наше — и вся душа потянулась —

не робкая, не забитая —

многорукая —

многокрылая —

И я какъ выросъ.

И одно чувство наполнило мое, какъ міръ, оргомное сердце.

И сказалось пробудившимъ меня отъ моей падали словомъ — —

У меня тоже нѣтъ ничего и мнѣ нечѣмъ дѣлиться — я уличный , побиральщикъ! — но у меня есть — и оно больше всякихъ богатствъ и запасовъ — у меня есть слово! И этимъ словомъ я хочу подѣлиться: сказать всему разрозненному избѣдовавшему міру —

человѣку, потерянному отъ отчаянія безпросвѣтно —

человѣку, съ завистью мечтающему о звѣряхъ —

человѣку, падающему отъ непосильнаго труда въ жесточайшей борьбѣ — быть на землѣ человѣкомъ —

уста къ устамъ
и сердце къ сердцу!

III

ЗАБОРЫ

Послѣ скотской зимы пришла весна —

Она наперекоръ безнадежности и отчаянію вдругъ пришла такая нежданная, обрадованная и такая громкая — не запомнятъ! — сь шумомъ и звономъ ломающихся тяжелыхъ, какъ чугунъ, льдовъ и изникающихъ хрупкихъ льдинокъ, пришла внезапная — сѣверная съ изсине-чернымъ вороновымъ небомь, обѣщающимъ теплые дни, и съ теплыми сверкающими днями, сулящими звѣздныя пѣсенныя ночи.

Я видѣлъ, проходя по улицамъ, какъ самое закорузлое, загнанное на зимовье въ тараканьи щели — за суровую-то нашу зиму все тараканье, всѣ тараканы покинули насиженное свое жилье, уступивъ его человѣку, который вѣдь все вынесетъ, все вытерпитъ, какъ и все сожретъ! — я видѣлъ, какъ закорузье — это съежившееся, забитое, защеленное и оскотѣвшее — принимало человѣческій образъ, видѣлъ улыбку переставшаго улыбаться сосѣда, слышалъ добрый его окликъ — смотрѣлъ и не вѣрилъ, слышалъ и не признавалъ.

Неизгладимую сохраню я память о единственной веснѣ чудесной.

Но не только отъ чудесъ превращеній и пѣсни, прогремѣвшей тогда весеннимъ громомъ — о разорванныхъ оковахъ, волѣ, мечтѣ и томящей любви — и не потому,

что самъ я, зиму живя, какъ скотъ, какъ звѣрь самый пещерный, вдругъ, ужъ издыхая, ощутилъ весеннее тепло и мое затихающее сердце забилось со всей землею — съ сердцемъ лѣсовъ, полей и горъ — звѣря, рыбъ и птицъ —

чувство необычайное, острѣйшее пронзило все мое существо.

И это чувство раскололо дни.

Я что-то понялъ и человѣка благословилъ съ его дерзающей мечтой.

*

Шелъ я на Васильевскомъ по Большому Проспекту, несъ тяжесть — гниль мороженную мокрую себѣ въ кормъ: капусту или еще какую помойную погань — драгоцѣнность большую!

День несолнечный пасмурьемъ успокаивалъ мои слѣпые глаза и на душѣ теплилось кротко.

Не глядя, шелъ я привычно.

И вдругъ визгъ отдираемыхъ досокъ ударилъ меня —

доламывали послѣднiй заборъ!

И я сразу все увидѣлъ, весь Большой Проспектъ и такъ далеко — до самаго моря.

И не узналъ —

Я не узналъ привычную дорогу — широкая открылась моимъ глазамъ воля.

Это заборы, которые тѣснили улицу, — не было больше заборовъ! садами шла моя дорога.

Это моя мечта расцвѣла въ явь садами.

Я помню, ощеренные, съ прогнившими досками заборы — — заборъ и подъ заборомъ упавшаго человѣка, когда всѣ двери передъ тобой

захлопнулись, а калитки и ворота подъ замкомъ заперты крѣпко;
и эти проклятыя стѣны, отгараживающія человѣка отъ человѣка — самодовольныя свиныя хари, выглядывающія изъ-за заборовъ на твою бѣду и отчаяніе;
проклятія твоего безсильнаго сердца;
и тупая покорность.

Я видѣлъ дальше — за море — за моря —

И въ моемъ сердцѣ вскипали слова: они были рѣзче пилъ и тяжче молота — могли бы согнуть и желѣзные прутья, разломать и чугунныя ограды желѣзнаго человѣческаго сердца.

И больше не чувствуя тяжести, шелъ я легко садами.

Так ъ

Такъ бы прошелъ всю землю — всѣ земли отъ моря до моря —

И другія слова подымались отъ сердца —

— благословенныя –

благословлящія мечту человѣка.

IV

ПАНЕЛЬНАЯ СВОРЬ

Жилъ я всегда на самомъ на верху: видишь съ голубятной высоты своей дворъ и что тамъ , на дворѣ, громоздь и скрыть петербургскихъ дворовъ, но чаще — высота такая поднебесная, что ничего ужъ не видно, никакого двора — ничего-то внизъ, а только — прямо въ лицо — косматыя дымящія трубы да небо да звѣзды —

Звѣзды — —

и звѣзда съ звѣздою говоритъ —

Я только теперь это до боли понялъ, когда больше не вижу ни неба, ни звѣздъ.

А случается подняться къ сосѣду — и всего-то этажомъ выше — и все по-другому, и самъ я какъ-то перемѣняюсь и безъ крыльевъ несешься —

«Мучной лабазъ — Варгунинъ — торговый домъ стиль — мебель заграничныхъ фабрикъ» — все это мимо — выше —

и звѣзда съ звѣздою говоритъ —

Я больше не вижу ни неба, ни звѣздъ, какъ давно ужъ не присяду къ столу въ ясный часъ утра, когда мысли какъ огоньки, а душа горяча.

Выгнанный на улицу, съ утра на ногахъ, сь мѣшкомъ въ рукѣ я куда-то иду весь пылающій, съ сердцемъ, какъ огонь, иду — —

И такъ всякій день.

На работу? — нѣ-ѣтъ! какая это работа, нѣтъ! а только затѣмъ, чтобы какъ-нибудь перебыть день и имѣть хоть одинъ единственный свободный часъ, присѣсть къ столу, но ужъ погасшимъ, съ тупымъ проклятіемъ этой судьбѣ или хуже, съ покорствомъ одолѣваемаго усталью человѣка —

еще человѣка —

у котораго пробивается струнящійся свинячій хвостъ.

Но она же, жестокая моя судьба, которая выгнала меня на улицу и въ конецъ обезкровила и изморозила до-

кости, и какъ-то случаемъ загромоздила домами небо и звѣзды, она же открыла передо мной окно на улицу.

Я вижу, какъ по Невскому бѣгутъ, какъ мушки — это безпощадный день ожесточеннаго отъ голода и гнета Петербурга съ одной упорной навязчивой мыслью схвае тить, перешагнувъ всякое «нельзя», какую-нибудь съѣдобную дрянь, чтобы какъ-нибудь перебыть день, — и разрѣзая мушиный бѣгъ, со свистомъ одинокіе несутся автомобили — столько не сгоритъ керосина или бензина, сколько ненависти и проклятія въ этой подхлестываемой бѣдой шарахающейся отчаянной, преступной нищетѣ — а тутъ прямо подъ моимъ окномъ выползаетъ ничѣмъ не истребимая панельная сворь, грохочутъ наглые грузовики въ кожаныхъ лоснящихся курткахъ и не спѣша увѣренно подъѣзжаютъ нагруженныя мѣшками подводы, ихъ ломовыя рожи, осыпанныя мукой, подергиваютъ возжами.

*

Случилось то, чего такъ боялась Нюшка, слушая сказки старухи Мыслевны, даже думать боялась, что и съ ней такое можетъ случиться, какъ въ сказкахъ, когда Баба-Яга гонялась , настигла и ловила, чтобы «на косточкахъ поваляться».

И все это случилось въ ранній часъ утра, когда я съ тупымъ покорствомъ судьбѣ , немилостивой и такой щедрой — ну, развѣ это не щедрость! выходилъ на улицу весь горящій съ открытыми глазами и рвущимся переполненнымъ сердцемъ.

Въ одинъ мигъ я все увидѣлъ — а это и длилось одинъ мигъ — и сразу попавъ въ тѣснѣйшій кругъ, различилъ все до мелочей мельчайшихъ.

Нюшка въ зеленой изстиранной кофтѣ съ такимъ же вылинявшимъ бархатнымъ вишневымъ воротникомъ, въ черномъ передникѣ поверхъ бѣлесой юбки, повязанная голубымъ платкомъ съ торчащими за спиной заяшными ушами, босая, стиснувъ крѣпко въ рученкахъ коробку, завернутую въ бѣлую бумагу, металась по мостовой отъ панели до панели съ крикомъ изъ послѣдняго крика, ни за что не поддаваясь милиціонеру въ защитной курткѣ, который съ необыкновеннымъ добродушіемъ, смѣшно ощериваясь — смѣшно вѣдь, такая крохотная чудная дѣвчонка! — гонялся за ней и никакъ не могъ изловить.

А Нюшка ничего не видѣла: ни этой улыбки, ни смѣшно растопыренныхъ, ловящихъ, какъ въ игру играя, рукъ, — Нюшка, вѣдь она вѣрила еще въ сказки и въ игры вѣрила — въ кошки-мышки! — металась, какъ металось въ мольбѣ о пощадѣ ея маленькое, всжигнутое прямо по живому сердце, металась отъ Яги или отъ разбойниковъ или отъ кошки и на крикъ кричала —

> этотъ крикъ — дѣтскій, котораго нельзя человѣку слышать безнаказно, и если нѣтъ никакихъ возмездій и сама вѣковая мудрость о карающемъ рокѣ вздоръ, я говорю: этотъ крикъ — это бѣшеный собачій ядъ, который взбѣситъ и самое крѣпкое человѣчье мясо — слышите! — завтра жъ загрызетъ отъ смертельной тоски землю.

— Оставь ее! оставь! — слышались голоса остановившихся прохожихъ, которые, за кругомъ стоя, слѣдили за всей этой сказочной и такой правдашной игрой.

И на лицахъ не было никакого удовольствія, что вотъ

случилось-таки то, что случается только въ тѣхъ страшныхъ сказкахъ, которые любила эта несчастная дѣвчонка, и что очень смѣшно, что большой взрослый человѣкъ не можетъ поймать такую маленькую, какъ мышка, дѣвчонку съ голубыми заяшными ушами.

И не поймалъ бы, будь у Нюшки «ворота» — вѣдь, это игра въ кошки-мышки! — но еще двое въ черномъ пересѣкли отъ Невскаго дорогу —

— попалась!

И съ той же улыбкой и совсѣмъ не злою поймали дѣвчонку.

— Дяденька! дяденка, отпусти!—зазвенѣло всѣмъ звономъ и далеко туда — за Фонтанку — за Неву, и туда — за дома, колокольни, трубы.

Я пересѣкъ всю эту гоньбу и, выйдя изъ круга, пошелъ своею дорогой, не помню, за какой то добычей, и прохожіе тронулись по своимъ дѣламъ — за какой-то добычей.

Но я никакъ не могъ забыть и не могу забыть и не забуду до смерти, я сохраню съ любимою музыкой и этотъ дѣтскій крикъ: отъ него никуда не уйти и никакимъ благовѣстнымъ колоколомъ не заглушишь!

*

Вечеромъ въ тотъ день, присѣвъ къ столу, я случайно заглянулъ въ окно:

среди панельной своры стояла Нюшка, въ рукахъ коробка въ бѣлой бумагѣ, и что-то очень такое, какъ сказку, разсказывала она другимъ Нюшкамъ постарше.

А я-то думалъ — —

Вотъ тебѣ, и на всю жизнь!

Или есть еще что-то, что сильнѣе всякихъ страховъ?

Или какъ и мнѣ, какъ тѣмъ прохожимъ, и ей надо какъ-нибудь перебыть жестокій неизбѣжный день?

ПЕРЕДЪ ШАПОШНЫМЪ РАЗБОРОМЪ

I

Съ начала лѣта мы на новой квартирѣ — на Троицкой. И низко и вода есть и электричество горитъ.

Какъ-то ѣхалъ я по желѣзной дорогѣ, на остановкѣ хочу выйти изъ вагона, а никакъ не выйти — народу набилось въ проходѣ и дверь загородили. Прошу пропустить, а какой-то: «это, говоритъ, вамъ не старый режимъ, товарищъ, полѣзайте въ окно!» Я покорно полѣзъ —— А тутъ — наоборотъ! — а я ужъ и не могу, я не могу освоиться послѣ Васильевскаго острова и вдругъ схватываюсь: бутылки не наполнены! Боюсь проливать воду, дрожу надъ каждой каплей.

А вода идетъ и электричество горитъ — —

Освобожденный отъ «водянной повинности» и выпущенный изъ тьмы на свѣтъ, я началъ писать и опять мнѣ сны снятся.

— — слышу звонокъ, окликнула С. П. Она говоритъ: «звонятъ!» И опять звонокъ. И еще разъ. И слышу голосъ: «Тутъ спитъ чортъ Копицынъ!» И это такой былъ голосъ — отъ стѣны — изъ стѣны. И въ ужасѣ я открылъ глаза.

II

А что я подумалъ: можетъ быть, иначе и невозможно? Нельзя, невозможно, чтобы человѣческая косная природа «двигалась» по другому! Инквизиція — огнемъ, государство — закономъ, революція — декретомъ. Надо встряхнуть съ корня до макушки — и пустить «на новую жизнь». Я не знаю, хорошо это или дурно, знаю, что это *надо*, и что для живого человѣка это очень тяжело.

— — когда я выпускалъ молочницу (она носитъ къ намъ молоко на обмѣнъ и, конечно, «изъ-подъ полы»), вижу, мальчикъ: одна рука длинная до-полу, другая маленькая и весь онъ какой-то гадкій.

«Откуда ты, — говорю, — появился?»

«А я, — говоритъ, — всегда между дверями живу въ кухнѣ!»

III

Вотъ и вода есть и свѣтъ. А мнѣ кажется, что я ужъ не выдержу — я совсѣмъ обезкровленный! И если держусь на ногахъ, когда весь валюсь, то лишь упорствомъ — упоромъ, только духомъ, какъ безголосый могу говорить отчетливо и громко только изъ какой-то внутренней силы. Иногда меня подвозятъ на извозчикѣ, но это всегда очень неудобно: совѣстно — ѣздить, когда всѣ пѣшкомъ!

— — сидимъ въ моей комнатѣ у стола: я, С. П. и мой братъ Сергѣй. Ночь. Съ улицы вызываютъ

изъ каждаго дома и тутъ же разстрѣливаютъ. Сейчасъ дойдетъ очередь до нашего дома. Чей-то голосъ называетъ (слышу ясно): «209-69». (Это № нашего телефона). И я выхожу — черезъ окно, но нисколько не подымаюсь, а какъ бы черезъ стеклянную дверь. Дорогой обернулся — вижу: у стола С. П. и Сергѣй. И я поклонился имъ (а они не видятъ!) и пошелъ. Подъ аркой, гдѣ освѣщено лампочкой, сидитъ солдатъ. Онъ что-то бормочетъ — и я понимаю: я долженъ присѣсть, чтобы съ меня сняли фотографическую карточку. И чувствую, что это не къ добру: и никакая тутъ карточка, а просто меня разстрѣляютъ. И ясно вижу, — еще солдатъ свѣтитъ краснымъ, онъ негръ — и объяснять ему безполезно, все равно , ничего не пойметъ!

*

Въ продовольственную лавку привезли возъ съ яблоками. Когда вносили въ лавку, одинъ мѣшокъ разорвался и яблоки посыпались на мостовую. Откуда ни возьмись мальчишки и прямо на яблоки: кто сколько ухватитъ, того и счастье!

За большими полѣзли и маленькіе.

Тутъ пущены были въ ходъ возжи. Мальчишки,завизжали да кто куда — всѣ разбѣжались. А одному голопузу (не понимаетъ!): нагнулся онъ за яблокомъ, протянулъ ручонку, ловитъ — а извозчикъ мѣшокъ несъ, да сапожищемъ ему прямо на руку. Тотъ такъ и закатился!

— Что ты это дѣлаешь?!

— А чего подъ ноги путается?

IV

Приходилъ С. М. Алянскій съ разсказомъ о Уэлсѣ: какъ Уэлса чествовали въ «Домѣ Искусствъ» —

«ѣли телятину съ шоколадомъ».

— Уэлсъ шоколаду не ѣлъ! — сказалъ Алянскій.

А вечеромъ разбирали, что написалъ Уэлсъ въ альбомъ Алянскому по-англійски.

— Какая мудрость въ каждой строкѣ! — замѣтилъ Соломонъ Каплунъ (Сумскій). (Соломонъ Каплунъ нашъ сосѣдъ и постоянно у насъ, много мы вмѣстѣ въ альбомы писали и за себя и за другихъ на всѣхъ языкахъ!)

— — я подымался отъ Варварскихъ воротъ, отъ часовни Боголюбской къ Ильинскимъ воротамъ — только подъемъ куда выше! — очень трудно. А когда я поднялся, вижу, нахожусь за Курскимъ вокзаломъ у Андроніева монастыря.

Н. М. Волковыскій и Б. О. Харитонъ командуютъ: кому выступать. И моя скоро очередь, да не хочется мнѣ итти. И мы ужъ въ какомъ-то загонѣ: ждемъ въ баню.

«Все равно, прочитать надо!» — говоритъ Волковыскій.

«Да что читать-то?»

«Ну, что попадется.»

А я думаю: «заставятъ меня читать Немировича-Данченко или что-нибудь о мужикахъ — —!»

И входимъ черезъ потайную дверь въ нашу новую квартиру. Очень высоко, на самомъ верху. Во дворѣ сложены ящики и угольщики разгружаютъ подводы съ яблоками. У насъ одно окно.

Ночь. Какой-то залѣзъ въ окно — да это тотъ, кого я встрѣтилъ, когда подымался отъ Варварскихъ воротъ, я узнаю его. И я схватилъ его — и въ окно. И вдругъ стало жалко: конецъ!

*

Ясное утро — такъ только бываетъ осенью ясно. Изъ противоположнаго дома вынесли гробъ — деревянный некрашенный — поставили гробъ на дроги. Лошадь рыжая. Толко священникъ серебряный въ серебряной митрѣ.

Кого это?

Старуха плачетъ.

Литія — «вѣчная память!»

Возница мальчишка сѣлъ на дроги и повезли.

И ладанъ проникъ ко мнѣ черезъ окно.

V

Потерялъ мундштукъ — ни купить! не достать!

Упала лампа и разбилось стекло — не знаю, что и дѣлать!

Лопнулъ горшокъ изъ подъ каши — гдѣ такой добудешь?

— — —

— — въ Москвѣ, пробрался въ театръ. Тутъ и Борисякъ, Есенинъ, Якуловъ и З. Г. Гринбергъ. Я взялъ стаканъ воды и полилъ Гринберга — весь стаканъ! И подумалъ: «зачѣмъ же это я сдѣлалъ?» А онъ ничего, молча всталъ и вышелъ, и вижу, возвращается съ матерью

знакомить меня. И мнѣ очень неловко. И понимаю, это вовсе не Гринбергъ, а Вик. А. Залкиндъ. И я спустился въ глубокое подземелье. Прохожу по корридорамъ къ залу: тамъ будетъ концертъ! Но музыки нѣтъ: сидитъ одинъ Пильнякъ и уписываетъ такую вотъ краюху чернаго хлѣба. Я пріоткрылъ дверь. (Я стою очень низко, полъ мнѣ по шею, но вижу не только ноги, а и весь театръ!) Играютъ такую пьесу: «какъ А. женится на своей дочери». Дочь играетъ актриса, а онъ самъ себя.

VI

Заходилъ послѣ обѣда Евг. Замятинъ: принесъ мнѣ свой старый мундштукъ. Ну, теперь покуримъ! А то никакъ не выходитъ: трубку не умѣю, а крученныя — безъ мундштука невозможно.

Не могу никакъ вспомнить сна и только вспоминаю: дорожка очень зеленая.

VII

Наступилъ новый годъ — 1921-й — четвертый революціи! Я вспоминаю эти годы — горячо прожитые, а по чувству исключительные. Слышу, звонитъ колоколъ въ Казанскомъ — мы пробираемся черезъ сугробы въ Домъ Литераторовъ встрѣчать новый годъ.

VIII

Кронштадтское возстаніе. — Рѣчь Ленина о «нэпѣ» — «Мюръ и Мерилизъ!»

*

Я медленно иду — — мимо проходятъ и говорятъ:

— — послѣ завтра ждутъ кризиса: у нея тифъ. Конечно въ дорогѣ захворала: 45 дней изъ Крыма ѣхали! по дорогѣ дѣвочку 8-ми лѣтъ похоронила —

— — —

— — конечно , изъ Отдѣла Управленія вамъ дадутъ бумажку!, но ботинки въ Петрокоммунѣ вы не получите. Получаютъ ботинки не только они сами, но ихъ жены и дѣти, ихъ матери , ихъ бабушки и даже ихъ прабабушки. А тутъ служишь съ утра до ночи, и все равно никогда не получишь —

— — —

— — — нельзя же всѣхъ разстрѣлять!

ОГНЕННАЯ РОССІЯ

— памяти Достоевскаго —

Достоевскій — это Россія.

И нѣтъ Россіи безъ Достоевскаго.

И въ послѣдній страшный часъ, — если суждено такому страшному часу, — въ внезапную послѣднюю минуту на послѣдній зовъ и судъ — кому же? — только онъ, только онъ одинъ выйдетъ за Россію, станетъ одинъ , скажетъ одинъ за всѣхъ — мучающихся, страждущихъ, смрадно-грѣшныхъ, но «младенчески любящихъ» — за Россію бунтующую, отчаянную и несчастную (вѣдь, развѣ бунтующій можетъ быть счастливъ!) за «убивца» — за весь русскій народъ.

— Суди насъ, — скажетъ судіи, — если можешь и смѣешь.

И изъ впалыхъ, испепеленныхъ болью глазъ, какъ искра, блеснетъ огонь.

Какое изгвожденное сердце — ни одно человѣческое сердце не билось такъ странно и часто, безудержно и изступленно —

> «и чѣмъ тише былъ мѣсяцъ — огромный круглый мѣднокрасный мѣсяцъ глядѣлъ прямо въ окно — тѣмъ сильнѣе стукало сердце и даже больно становилось.»

*

Кто, откуда пришелъ онъ?

Пройдя какіе квадрилліоны пространствъ — отблескъ и отвѣй какого страшнаго премудраго духа, пустыннаго огненнаго духа-искусителя, держащаго ключи отъ человѣческаго счастья.

И куда?

На какую Голгофу — безъ срока —

Чтобы словомъ содрогнуть человѣческія души, зажечь землю и, если суждено такому страшному часу, дать отвѣтъ за всю боль и грѣхъ человѣка, за бунтуюшую Россію.

*

Подъ разливной звонъ и клепъ гоголевскихъ колокольцевъ, сквозь пушкинскую лазурь — Россіи безподобной и вдохновенной, Россіи волшебной, калядной и вiйной —

> «избы черныя-пречерныя, а половина избъ погорѣла, торчатъ одни обгорѣлыя бревна. На дорогѣ бабы, много бабъ, цѣлый рядъ, все худыя, испитыя, какія-то коричневыя лица. Вотъ особенно одна съ краю, такая костлявая, высокая, кажется, ей лѣтъ сорокъ, а можетъ, и всего-то только двадцать, лицо длинное, худое, а на рукахъ плачетъ ребеночекъ, и груди-то, должно быть, у нея такія изсохшія, и ни капли въ нихъ молока. И плачетъ, плачетъ дитя и ручки протягиваетъ, голенькія, съ кулаченками, съ холоду совсѣмъ какія-то сизыя.

«Что они плачутъ? Чего они плачутъ?»
«Дите, дите плачетъ.»
«Да отчего оно плачетъ?»
«А иззябло дите, промерзла одежонка, вотъ и не грѣетъ.»
«А почему это такъ? Почему?»
«А бѣдные, погорѣлые.... на погорѣлое мѣсто просятъ.»
«Нѣтъ, нѣтъ, ты скажи: почему это стоятъ погорѣлыя матери, почему бѣдны люди, почему бѣдно дите, почему голая степь, почему они не обнимаются, не цѣлуются, почему не поютъ радостныхъ пѣсенъ, почему они почернѣли такъ отъ черной бѣды, почему не кормятъ дите?»

*

И пусть все освѣтилось —

«Снѣгъ загорѣлся широкимъ серебрянымъ полемъ и весь осыпался хрустальными звѣздами — слышите Гоголя звонъ? — морозъ какъ бы потеплѣлъ, пѣсни зазвенѣли —»

Ни пѣсенъ, ни звѣздъ. Все закрыто, зачернено, приглушено. И куда ни глянь, одна костлявая неразлучная горькая разлучница мать-бѣда.

Притти въ міръ на просторную легкую землю Пушкина и Гоголя, и съ перваго же мига чья-то безпощадная рука хлясть по глазамъ — «такъ вотъ она какая легкая земля!»

«Нѣтъ, если бы я имѣлъ власть не родиться, я не принялъ бы такого существованія».

Достоевскій увидѣлъ въ мірѣ судьбу человѣка — горше она послѣдней горести! — и не только человѣка: помните Азорку — ребятишки тащили на веревкѣ къ рѣчкѣ топить, а помните несчастную клячу, ея изсѣченные кнутомъ глаза, и даже неодушевленное этой стороной — Илюшины сапожки, старенькіе, порыжѣлые, съ заплатками тамъ въ уголку передъ постелью —

Весь міръ передъ нимъ застраждалъ — неотступно.

> «и чувствуетъ онъ, что подымается въ сердцѣ его какое-то никогда еще небывалое въ немъ умиленіе, что плакать ему хочется, что хочетъ онъ всѣмъ сдѣлать что-то такое, чтобы не плакало больше дите, не плкакала бы и черная изсохшая мать, чтобы не было вовсе слезъ отъ сей минуты ни у кого, и чтобы сейчасъ же, сейчасъ же это сдѣлать, не отлагая и несмотря ни на что со всѣмъ безудержемъ —»

*

Но что можетъ сдѣлать для счастья человѣка человѣкъ?

Страданіе и есть жизнь, а удѣлъ человѣка — смятеніе и несчастіе.

И самое невыносимое, самое ужасное для человѣка — свобода: оставаться со своимъ свободнымъ рѣшеніеъмъ сердца это ужасно!

И если есть еще выходъ, то только черезъ отреченіе воли — вѣдь, человѣкъ-то бунтовщикъ слабосильный, собственнаго бунта не выдерживающій! — отреченіемъ воли, цѣпнымъ «авторитетомъ», беззавѣтнымъ началомъ еще воз-

можно въ мірѣ что-то поправить, сдѣлать человѣчество счастливымъ.

Да захочетъ ли человѣкъ-то такого счастья безмятежнаго съ придушеннымъ «смѣть» и съ указаннымъ «хочу?»

> «и сидитъ она тамъ за желѣзной рѣшеткой семнадцатый годъ, зиму и лѣто въ одной посконной рубахѣ и все аль соломинокой, аль прутикомъ какимъ ни на есть въ рубашку свою въ холстину тычетъ. А сидитъ съ одной только злобы, изъ одного своего упрямства.»

Или ужъ ничего не подѣлаешь съ человѣкомъ?

Но вѣдь бунтомъ жить невозможно!

Какъ же жить-то, чѣмъ же любить — съ такимъ адомъ въ сердцѣ и адомъ въ мысли?

*

«И вдругъ ударилъ колоколъ — густой тяжелый колокольный звонъ.

Колоколъ ударялъ твердо и опредѣленно по одному разу въ двѣ или даже въ три секунды, но это былъ не набатъ, а какой-то пріятный плавный звонъ.

И я вдругъ различилъ, что это вѣдь звонъ знакомый, что это звонятъ у Николы въ красной церкви, выстроенной еще при Алексѣѣ Михайловичѣ, узорчатой, многоглавой и въ столпахъ и что теперь только что минула святая недѣля и на тощихъ березкахъ въ палисадникѣ уже трепещутъ новорожденные зелененькіе листочки.

Яркое предвечерное солнце льетъ косые свои лучи въ нашу

классную комнату, а у меня въ моей комнаткѣ сидитъ гостья. Да, у меня безроднаго, вдругъ очутилась гостья.
Я тотчасъ узналъ эту гостью, какъ только она вошла: это была мама —

Колоколъ ударялъ твердо и опредѣленно, но это былъ не набатъ — —

Она вскинулась и заторопилась.
«Ну, Господи... Ну, Господь съ тобой... Ну, храни тебя ангелы небесные, Пречистая Мать, Никола угодникъ.... Господи, Господи! — скороговоркой повторяла она, все крестя меня, все стараясь чаще и побольше положить крестовъ, — голубчикъ ты мой, милый ты мой. Да постой, голубчикъ...» Она поспѣшно сунула руку въ карманъ и вынула платочекъ, синенькій, клѣтчатый платокъ съ крѣпко завязаннымъ на кончикѣ узелкомъ и стала развязывать узелокъ... но онъ не развязывался...
«Ну, все равно, возьми и съ латочкомъ: чистенькій, пригодится, можетъ , четыре двухгривенныхъ тутъ, больше-то какъ разъ сама не имѣю... Прости, голубчикъ...»
Я принялъ платокъ, хотѣлъ было замѣтить, что мы ни въ чемъ не нуждаемся, но удержался и взялъ платокъ.
Еще разъ перекрестила, еще разъ прошептала какую-то молитву и вдругъ —
И вдругъ поклонилась глубокимъ медленнымъ длиннымъ поклономъ

— никогда не забуду я этого! —

Такъ я и вздрогнулъ и самъ не знаю отчего.
Что она хотѣла сказать этимъ поклономъ: вину ли свою передо мной признала? — не знаю.»

— — —

— — — —

Надъ нимъ широко, необозримо опрокинулся небесный куполъ, полный тихихъ сіяющихъ звѣздъ. Съ зенита до горизонта двоился еще неясный млечный путь. Свѣжая и тихая до неподвижности ночь облегала землю. Бѣлыя башни и золотыя главы собора сверкали на яхонтовомъ небѣ. Осенніе цвѣты въ клумбахъ около дома заснули до утра. Тишина земная какъ бы сливалась съ небесною, тайна земная соприкасалась со звѣздною. Стоялъ, смотрѣлъ и вдругъ, какъ подкошенный, повергся на землю.
Онъ не зналъ, для чего обнималъ ее, онъ не давалъ себѣ отчета, почему ему такъ неудержимо хотѣлось цѣловать ее, цѣловать ее всю, но онъ цѣловалъ ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и изступленно клялся любить ее, любить во вѣки вѣковъ.
О чемъ плакалъ онъ?
О, онъ плакалъ въ восторгѣ своемъ даже и объ этихъ звѣздахъ, которыя сіяли ему изъ бездны.
Какъ будто нити отъ всѣхъ этихъ безчисленныхъ міровъ Божіихъ сошлись разомъ въ душѣ его, и она вся трепетала. Простить хотѣлось ему всѣхъ и за все, и просить прощенія, не себѣ, а за всѣхъ, за все и за вся —»

— — — —

— — —

И кто-то шепчетъ:
«Богородица — великая мать —»
«Богородица — великая мать сыра земля есть. И великая въ томъ для человѣка радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость намъ есть. А какъ напоишь слезами своими подъ собой землю на полъ-аршина въ глубину, то тотчасъ же о всемъ и возрадуешься. И никакой, никакой горести твоей больше не будетъ.»

— — —

*

Трепетной памятью неизбывной, исступленіемъ сердца, подвигомъ , крестною мукой передъ крестомъ всего міра — вотъ чѣмъ жить и чѣмъ любить человѣку.

Достоевскій — это Россія.

Краснозвонная, опѣтая моимъ горестнымъ «Словомъ», и новая, еще не сказавшаяся, буйно подымающаяся изъ праха, безудержная —

И нѣтъ Россіи безъ Достоевскаго.

Россія нищая, холодная, голодная горитъ огненнымъ словомъ.

Огонь планулъ изъ сердца неудержимо —

Взойду я на гору, обращусь я лицомъ къ востоку — огонь!
стану на западъ — огонь!
посмотрю на сѣверъ — горитъ!
и на югѣ — горитъ!
припаду я къ землѣ — жжетъ!
— — —

*

Гдѣ же и какая встрѣча, кто перельетъ этотъ вспланный неудержимый огонь —

— *из-гор-имъ!* —

Тамъ—на старыхъ камняхъ, тамъ—встрѣтитъ огненное сердце ясную мудрость.

И надъ просторной изжадавшей Россіей, надъ выжженной степью и грозящимъ лѣсомъ зажгутся ясныя вѣрныя звѣзды.

ПЕТЕРБУРГЪ

— Петрова память —

I

ПОДЪЕМНЫЙ МОСТЪ

— Зачинается строить черезъ Мою-рѣку подъемный мостъ!

Напуганные «концомъ міра», а при всякомъ взрывѣ большого человѣческаго волненія для напуганныхъ «конецъ міра» — и кровъ и пугало, никогда не поймутъ и не почувствуютъ подъема и одушевленія при вѣсти о новой стройкѣ.

— Зачинается строить черезъ Мою-рѣку подъемный мостъ!

Да еще изъ ничего.

Или почти изъ ничего: изъ того, что есть.

А въ казенныхъ амбарахъ не такъ-то ужъ много, чего есть — надо все сдѣлать, достать, выработать.

И притомъ въ спѣшномъ порядкѣ — «безъ замедленія».

Это второй мостъ: первый — Большой, а этотъ пока безъ названія — у Мытнаго двора.

Мостъ деревянный.

Доски — съ Охты; цѣпей нѣтъ — цѣпи сдѣлаютъ вольные кузнецы; копры бить сваи — отъ архитектора (архи-

текта) Трезина; прочіе припасы изъ Казенныхъ амбаровъ отъ командировъ: мѣлъ, обивальные нити, напари, долота, говяжье сало — отъ Якова Ѳ. Шатилова, веревка — отъ майроа Заборовскаго, уголь — отъ капитана Милюкова.

Только вотъ плотниковъ нѣтъ — не идутъ на работу, и у Большого моста не работаютъ.

Зимнее время — самый злющій морозъ — январь.

Да и съ ковшами бѣда:

> «сѣти перепортились и земли ими тоскать не можно».

Тоже вотъ, какъ со шлюзами: двѣ сдѣланы, а одной нѣтъ — кирпичу не хватило и плиты для фундаменту. Еще въ прошломъ году требовали, а все нѣтъ. А теперь бы самая пора подвезти зимнимъ путемъ и поставить у Соляныхъ амбаровъ: плиты съ Тосенскихъ заводовъ, кирпичъ съ Казны.

Будетъ, все будетъ, но не такъ скоро: невозможно, не поспѣваютъ!

Послано письмо за «подписаніемъ Алексѣя Михайловича Черкаскаго» къ архитектору Онарлеусу: Онарлеусъ этимъ вѣдаетъ.

Если есть воля, а этотъ даръ есть и величайшій, воля всесильна, такая на своемъ поставитъ:

> — лежебокъ вскнутнетъ, лодарей за шиворотъ въ работу, съ такимъ несмѣтнымъ богатствомъ — Россія! — это не то, что Голландія или тамъ — только бы мастеровъ, и всѣ на работу! и все можно — города, дворцы, мосты —

А строитъ мостъ черезъ Мойку А. Девіевръ, въ помощникахъ — Василій Туволковъ.

II

МЕЛЬНИЦА

Сквозь туманъ петербургскій вижу, какъ въ Копорьѣ, Дудоровкѣ, Стрѣлиной рубятъ лѣса. И сквозь сосны, ели, березу — мельницы. Круть мельничная, шумъ воды, вой вѣтра.

Мельницы — крупяныя, мучныя, соломосѣчныя, масленыя, цементовыя, каменотесныя.

Вода и вѣтеръ — единственный двигатель, мельница — фабрика.

Сквозь туманъ петербургскій видится — валятъ лѣса, крутятъ мельницы — взгорыхнуло! — неугомонная воля — новая Россія.

Въ Красномъ строитъ цементовую мельницу архитекторъ Ягонъ Кристьянъ Ферстеръ. Завѣдуетъ стройкой — Евсевій Савинковъ.

Савинковъ долженъ достать всѣ припасы — весь матерьялъ:

> пріискавъ, приторговать сосновые лѣса; дубъ, липу, а вмѣсто кизиля и пальмы, зенгауту, напиливъ, перевезти изъ Петербурга отъ Зенбулатова, желѣзо и сталь — изъ Казенныхъ амбаровъ отъ Баранцова, желѣзный валъ, гвозди, шипы, желѣзную доску «противъ моделей» съ Оружейнаго двора отъ Арзухина, мѣдные орѣхи — отъ архитектора Микетія.

И все надо «непремѣнно» и «немедленно».

А мельничный крѣпкій камень сдѣлаютъ въ Красномъ каменоломщики.

Дьякъ Лука Тарсуковъ, дьякъ Петербургской Городовой канцеляріи, скрѣпивъ указъ, отдалъ самому Савинкову и другіе указы ему же — къ командирамъ: къ Зенбулатову, Баранцову, Арзухину.

Лука Тарсуковъ знаетъ! — и не одну только свою указную канцелярію.

— Когда въ дракѣ бьютъ по мордѣ, — говоритъ онъ Савинкову въ напутствіе, — это ничего, подживетъ, а когда при этомъ крушатъ и вещи, это ужъ чего. Морда мордой и останется, а отъ вещи дребезги, куски, — пропало! А вещь — это — духъ живой! И за это мало по мордѣ.

А на взморьѣ въ избѣ — пять бумажныхъ оконъ! — гудитъ вѣтеръ:

> тысячу лѣтъ гулялъ здѣсь на волѣ, а теперь и его въ работу — изволь колеса вертѣть.

— Сшибануть развѣ — — ! стройку?

III

БРОНШТЕЙНОВА ВѢДОМОСТЬ

И опять бѣда —

Петръ спрашиваетъ Кишкина:

> — Зачали ль кровли и потолоки въ Момплезирѣ на палатки дѣлать?

Семенъ Кишкинъ бывалый человѣкъ, курьеромъ ѣздилъ отъ Петра къ царевичу Алексѣю, не моргнулъ, отвѣтилъ:

— Зачали.

Или съ перепугу такое выскочило.

Какой тамъ зачали!

«Полатный мастеръ» архитекторъ Браунштейнъ — еще въ прошломъ году требовалъ матерьялъ крыть кровлю и на подбойку потолоковъ (потолковъ) и на полъ въ малыхъ палаткахъ въ Монплезирѣ, четыре мѣсяца прошло, а ничего еще не отправлено.

Кромѣ того Петръ затѣялъ сдѣлать два люстъ-гауза и надо чтобы къ веснѣ было все кончено (всеконечно), а нѣтъ ни досокъ , ни бревенъ.

А въ Петербургѣ все имѣется:

> замки и петли — въ Казенномъ амбарѣ,
> «досные припасы» — на Охтѣ,
> а если какихъ досокъ нѣтъ, можно взять отъ Мошкова за деньги.

— Мастеровые люди и арестанты помираютъ съ голоду безъ провіанта!

Вотъ она бѣда какая.

IV

БѢЛЫЕ МЕДВѢДИ

Борисъ Нероновъ пишетъ князю Алексѣю Михайловичу Черкаскому.

Не своей рукой пишетъ Нероновъ, — доброписецъ изъ XVII вѣка строчитъ! — своеручно онъ только подписывается.

И только однажды —

> о веревкахъ въ садъ Его Величества для обвязыванія елей —

за подписью пристягнулъ:

«отпусти спѣшно!»

Но и со словъ писаное — живо.

Нероновъ послалъ Кишкину въ Петергофъ подъемъ (лебедку,) для подъема фигуръ, а потомъ не разъ писалъ и при встрѣчахъ напоминалъ Черкаскому; чтобы вернули подъемъ. И вотъ промѣшкали — спрашиваетъ о подъемѣ государь, а подъема-то нѣтъ! —

— для милости Божьей, пошли сегодня!

Не дай Богъ: схватится опять, быть грозѣ.

А такъ все мирно и тихо.

Надо двѣ кожи — красную и сыромятную, сибирскаго татарина для уборки (убиранія), большихъ собакъ —

— которыхъ не потеряемъ!

Надо досокъ —

— на дѣло въ садъ государыни царицы лавокъ.

Надо желѣзной проволоки «противъ образца» —

— для дѣла клѣтки.

У птичника Симона Шталя въ птичникѣ завелись канарейки — это клѣтка для канареекъ. А скоро будутъ и «красные вороны».

Кожи, доски, проволоки, веревки отпустятъ изъ Казенныхъ амбаровъ отъ Якова Шатилова и Заборовскаго.

И для медвѣдей веревку — шестьдесятъ саженъ веревокъ — отъ Заборовскаго жъ:

— велѣно изготовить четырехъ медвѣдей бѣлыхъ къ свадьбѣ.

Чья свадьба? кого Петръ выдаетъ замужъ? — надо свадьбу сыграть не какъ-нибудь, надо чтобъ —

— съ бѣлыми медвѣдями!

— Весь Петербургъ бѣлыми медвѣдями!

V

ВИНО И ТАБАКЪ

Вино и табакъ — чещи соблазнительныя.

О происхожденіи н вредѣ ихъ столько написано. что ей Богу жъ ничего и не придамаешь

Петръ — первая табачная пора у насъ въ Россіи:

на табакъ была̀ мода и создавались легенды и были свои мученики.

А табакъ не такой былъ, не эта вотъ моя смѣсь —

куринный пометъ со мхомъ — Huhner Unrat mit Moos, на этикеткѣ птичка!

а горлодеръ — голландскій.

Курилъ его князь Дмитрій Михайловичъ Голицынъ (теперь на Руси и князья перевелись, одни остались «обезьяньи) и самъ директоръ надъ строеніями оберкомисаръ Ульянъ Акимовичъ Синявинъ и его братъ комиссаръ Федоръ Синявинъ

Вино же въ Россіи искони — отъ Бахуса.

И первый его слуга — царь Петръ.

Да и государыня Екатерина Алексѣевна не бразговала.

А ужъ пріемщику Савинкову и самъ Богъ велѣлъ.

Простое вино курилось дома — съ Водочнаго двора принимайте, не простое же заморское изъ Голландіи Любсь доставлялъ.

VI

ПО ПУНКТАМЪ И СВЕРХЪ

Кончилась великая съверная война.

Съ 1721-го — самая горячая стройка, заканчиваютъ работы начатыя въ войну.

Главные работы въ Петергофѣ, — въ «Питерѣ» по сокращенному.

Генералъ-архитекторъ Леблонъ, строитель Петергофа, Стрѣльны (Стрѣлиной мызы), Дубковъ, померъ отъ оспы. На его мѣстѣ — «полатный мастеръ голанецъ» архиктекторъ Браунштейнъ.

Работы дѣлаются по «пунктамъ» Е. И. В. и «сверхъ пунктовъ» -- въ совѣтѣ мастеровъ:

— какъ покажетъ полатный мастеръ голанецъ —

— какъ Мишель присовѣтуетъ —

— съ позволенія Мекентива.

Директоръ надъ строеніями оберкомиссаръ Ульянъ Акимовичъ Синявинъ. Подъ нимъ въ Петергофѣ комиссары: Павловъ, Карповъ, Елчаниновъ и русскій архитекторъ М. Г. Земцовъ.

Лѣто 1723 года.

Ужъ кроютъ свинцовыми досками каскады, площадку передъ малымъ гротомъ, палаты въ Монплезирѣ.

Фонтанный мастеръ французъ Полсолемъ (Солемъ) изготовляетъ эти доски : въ амбарѣ, гдѣ работаетъ столяръ Фарсуаръ, поставлены станы.

Кровельный мастеръ — шведъ Константинъ Генекре.

Пояльщикъ — Потапъ Басемщиковъ.

А Монплезиръ кроютъ желѣзомъ и сверхъ наметомъ —

— дабы отъ дождя какой в р е д ы не было.

Еще одно лѣто работы и не по «пунктамъ», а ужъ «сверхъ» — свинцовой крышкой покроютъ самого и намета не надо: вреды бояться нечего.

Спѣшать во всю — «къ праздниу», «чтобы не упустить удобнаго», «къ пришествiю» — одно лѣто осталось!

Все дѣлается «съ поспѣшенiемъ», «съ неусыпнымъ старанiемъ», «съ неоплошнымъ смотрѣнiемъ» и принужденiемъ:

— матерьялъ отпущать безъ остановокъ!

— быть у работы безперемѣнно!

— чтобы работы отправлялись безъ остановки!

Все отдѣлываютъ совсѣмъ въ отдѣлку, послѣднiй гвоздь вколачиваютъ —

столярный мастеръ Мишель и Кардасей додѣлываютъ галереи (галареи) на малой марлинской каскадѣ у шлюза (слюза);

балясы красятъ пока бѣлой краской, потомъ будутъ расписывать;

въ верхнихъ галереяхъ полы настилаютъ;

роютъ малые дождевые каналы;

набиваютъ глиной — укрѣпляютъ — у большихъ фонтановъ противъ большой, гладкой каскады, гдѣ положены чугунныя и деревянныя трубы;

Антонъ Квадрiй за штукатуркой смотритъ;

Кардасей бѣлымъ камнемъ отдѣлываетъ басейнъ и передъ каскадою;

маляръ Федоръ Григорьевъ съ учениками золотитъ урны;

дожидаютъ живописца Короваку для молеванья;

во флигерѣ печники дѣлаютъ печи изъ образцовъ (изразцовъ)?;

какъ въ Момплезирѣ (по Мишелю) дѣлаютъ

вставни или затворы въ малыхъ палатахъ у спальни;
отдѣлываютъ каскады по лѣстницамъ и въ Монплезирѣ и расписываютъ;
у шлюза галереи и зымцы (карнизы) прибиваютъ и расписываютъ;
Францъ Цыглеръ и Конрадъ Оснеръ привезли изъ Петербурга двѣ деревянныя фигуры къ концамъ стоковъ, деревяннаго драка и двѣ деревянныхъ курицъ (работа Пинови) — фигуры передѣлываютъ , а къ драку и курицамъ Полсолемъ свинцовыя трубки дѣлаетъ для фонтана въ нишеляхъ рѣшетчатыхъ;
проводятъ отъ большой фонтаны (фонтана) чугунныя трубы къ нужнику въ Монплезире: надо поднять свинцовый ящикъ въ столчакѣ, чтобы изъ лягушекъ било воды одинаково.

Спѣшатъ. У мастеровъ — людей для работъ съ избыткомъ («съ удовольствомъ»). Не проронить бы какой работы!

Оберкомисаръ Ульянъ Синявинъ всегда подъ желѣзной рукой: скорѣй!

*

«Въ Монплезирѣ по другую сторону шайфы или чуланецъ, конечно, вели поставить и расписать, а въ нужникѣ сукномъ зеленымъ столчакъ и стѣны убить. Во флигерѣ ко всѣмъ дверямъ замки прирѣзать. И вычистить и насыпать можжевельникомъ, садовнику скажи, подлѣ большого пруда ровъ покрыть досками и засыпать

землею, буде успѣетъ сегодня, буде же не успѣетъ, чтобъ не расчиналъ, и рыбу, какъ возможно, за рѣшетку вели сажать больше и присланную карпи вели тутъ же посадить. Солдатъ петергофской команды изъ Стрѣлиной мызы сойми, а оставь пятьдесятъ человѣкъ, кои у каменной тески, о чемъ къ Бачманову присемъ письмо. А яхта, которая прислана отъ свѣтлѣйшаго князя, вели поконопатить и починить не вынимая, въ босейнѣ, поваля на бокъ. И на всѣхъ работахъ, чтобъ исправно было — надѣюсь, что завтра императорское величество будетъ къ Бронштейну до сихъ мѣстъ. Дай шлюпку и пришли ево немедленно сюда, а квартирмейстеру вели явиться у меня! Во флигирѣ кроватей по пяти и по шти надобно изготовить и столовъ, чтобъ было числомъ двадцать и съ старымъ. А кроватей не худо бъ, чтобы и больше изготовить! Въ голореяхъ штукаторную работу надобно конечно поспѣшить и очистить начисто весь соръ по дорогамъ, — съ подкрепленіемъ садовнику прикажи! Мосты въ верхнихъ голореяхъ чтобъ гладки были и крѣпки, гдѣ ставится будутъ игры. И провесть покрытый каналецъ отъ саду мимо флигерей, чтобъ вода не взливалась на мостъ съ огороду. Учениковъ какъ на кашкадахъ, такъ на фонтанахъ опредѣлить лучшихъ, отмѣнныхъ, и сдѣлать имъ роспись и опредѣлить надъ ними добрыхъ урядниковъ и капраловъ, дабы всяко свое мѣсто зналъ и меня репортовать».

*

А комисаръ Павловъ подъ постояннымъ «на тебѣ все взыщется» знаетъ, дѣло не убѣжитъ, и на ордера «предлагаетъ свои извѣстія», разсвѣчивая ихъ не обшимъ, а словомъ своимъ именнымъ на каждую работу:

«въ большомъ каналѣ разломанной стѣны на 11 саженъ, въ томъ числѣ камнемъ выкладено и глиною набито, а дерномъ не выстлано на 5 саженъ;

«на четвертой сторонѣ стѣнки въ одну линію сваи побиты, брусье наложены и щиты защаютъ; въ другую линію сваи бьютъ и сегодня начнутъ на-дво связи класть;

«отъ моря подъ фашины землю ровняютъ, отъ малаго прудка рѣчки мелкимъ камнемъ выкладываютъ, перемиду дѣлаютъ.

*

А надо спѣшить — надо во-что-бы-то-ни-стало исполнить все по пунктамъ къ сроку —.еще, еще одно лѣто! — а и загнулъ-таки задачу!, какой тамъ на лѣто! — да и средствъ нѣтъ —

Денегъ не хватаетъ на жалованье, нечѣмъ платить —

— кровельный (покрывальный) мастеръ Генекре непрестанно докучаетъ!

— рѣзному мастеру Оснеру только въ сентябрѣ выдали 100 рублевъ въ зачетъ заслуженнаго жалованья за прошлый годъ!

— мастеровые изъ солдатъ не получили за семь мѣсяцевъ!

— а рекруты, «употребленные (размѣщенные) по шестокамъ» къ старымъ солдатамъ, «будучи

въ работѣ и видя къ пропитанію неимущество»,
бѣгутъ — за іюль сбѣжало 10 человѣкъ!

А съ Пудожи и изъ Нарвы камень везутъ: затѣваются новыя работы ужъ не въ Петергофѣ, а въ Петербургѣ — у Лѣтняго дома и Госпиталь (Шпиталь).

И опять надо деньги.

И какой-то народъ безтолковый: вѣдь каждому надо втемяшить въ башку всякую мелочь, иначе или перепутаетъ или такое устроитъ, грѣха не оберешься.

Въ Петергофъ изъ иностранцевъ — пословъ и посланниковъ — никого не пускаютъ: карауль стоялъ въ гавани и на сухомъ пути за мызниковымъ дворомъ у моста и отъ Ораніенбаума (Аранибома) смотрѣли.

И вотъ наконецъ, фонтаны и каскады — работа итальянцевъ съ архитекторомъ Микентевымъ — готовы.

Петръ затѣялъ выдать замужъ старшую свою дочь цецаревну Анну Петровну за герцога голштейнъ-готторскаго Фридриха Карла.

Прусскому посланнику барону Мардефельду было разрѣшено въ Петергофъ, и вѣлено для него отворить всѣ фонтанныя воды.

Старичокъ, скорбный ногами, этотъ Мордафельтъ, прибылъ.

Въ приказѣ обергофмейстера Матвѣя Алсуфьева между прочимъ сказано, чтобы лошадямъ его давали овесъ и сѣно. И тутъ же оговорено:

«пока онъ въ Петергофѣ будетъ».

А не оговори, съ дурьей-то головы чего добраго мордафельтовыхъ лошадей будутъ кормить до скончанія вѣковъ лошадиныхъ, — всего станется!

Тоже и въ другомъ приказѣ.

Меншиковъ распорядился, чтобы всѣмъ петербургскимъ

гарнизоннымъ полкамъ, что на работахъ въ Петергофъ, быть къ Богоявленьеву дню въ Петербургѣ на стояніи у воды.

Ульянъ Синявинъ въ ордерѣ къ Павлову по этому случаю пишетъ, чтобы отобрать у мастеровыхъ людей этихъ полковъ инструменты въ казну. И добавляетъ:

«а когда оные полки въ Петергофъ возвратятся, тогда по прежнему имъ тѣ инструменты отдайте».

Иначе можетъ всякое быть: съ великаго-то ума отобрать инструменты отберутъ, но ужъ назадъ не жди, не получишь — «велѣно отобрать!»

Или все это не оттого — не потому что вездѣ такой дуракъ подобрался, нѣтъ, дуракь-то дуракомъ, а это исконное наше, отъ «грозныхъ» и «тишайшихъ» столбцевъ идетъ — необыкновенная предусмотрительность отъ всегдашняго подозрѣнія въ злоупотребленіи: человѣкъ-то ужъ очень не надеженъ!

А тутъ — въ «гороскатъ петровскій» подъ желѣзной рукой, въ такихъ тискахъ и такомъ вопіющемъ «неимуществѣ» всего жди.

И всѣ эти толковые ордера, «пошпорта», весь этотъ подробнѣйшій «бумажный аппаратъ» вовсе не отъ неумѣнья, а отъ глубочайшаго недовѣрія человѣка къ человѣку, а къ русскому (къ своему) въ особенности. И это такое исконное русское.

*

Кровля свинцомъ покрыта, галереи росписаны, фонтаны бьютъ и каскады — русскій Версаль готовъ.

Петръ построилъ русскій Версаль —

не ударить въ грязь передъ Европой!

Петръ — «орлова полку», ни въ какихъ столчакахъ, зеленымъ сукномъ убитыхъ, не нуждался, любилъ море,

механику — фонтаны — рѣзь и строилъ, все отдѣлывалъ такъ, чтобы какъ тамъ, въ Европѣ —

Россія, какъ Европа!

И это «по пунктамъ» —

нѣтъ, еще больше, «сверхъ» —

Россія удивитъ Европу!

VII

РѢЗНОЙ МАСТЕРЪ

Со смерти Петра прошло нѣсколько мѣсяцевъ, работа идетъ, какъ ни въ чемъ не бывало.

Петровскій упоръ необчаенъ — надолго хватитъ.

Это — «воля къ дѣянію» такая страсть — дѣйствуетъ и тогда, если даже самъ-то человѣкъ, онегоженъ, дѣйствуетъ и послѣ смерти.

Петровскіе мастера — люди такой страсти, отчасти и зараженные или вѣрнѣе завороженные Петромъ, его необычайнымъ упоромъ и .кипью работы: страсть къ работѣ заразительна, какъ и противоположность ея — праздная тля.

Рѣзного дѣла мастеръ — рѣзной мастеръ Францъ Циглеръ!

Два года назадъ, Францъ Циглеръ сдѣлалъ въ Петербургѣ двѣ большихъ деревянныхъ лежачихъ фигуры — «къ концамъ стоковъ, что по обѣ стороны слюза (шлюза) въ Большомъ каналѣ». И повезъ ихъ съ другимъ рѣзнымъ мастеромъ Конрадомъ Оснеромъ въ Петергофъ всѣстѣ съ двумя деревянными курицами и деревяннымъ дракомъ — работа рѣзнаго деревяннаго дѣла мастера Пинови «для фонтану въ нишеляхъ рѣшетчетыхъ».

ВъПитергофѣ Францъ Циглеръ долженъ былъ передѣлать по указанію Петра эти большія фигуры, при этомъ въ его распоряженіи были всѣ находящіеся о ту пору въПетергофѣ рѣзные мастера и Конрад Оснеръ и Фарсуаръ и Эдгаръ Эль-Крисаръ и Кардасей и самъ мастеръ Сенлорамъ.

Изъ Петергофа Францъ Циглеръ перебрался въ Москву къ работамъ на Головинскій дворъ (дворецъ), а когда на Головинскомъ дворѣ стройка прекратилась, попалъ въ Госпиталь къ «Гофшпитальному строенію».

Онъ лежитъ въ «паралижной болѣзніи» — руками и ногами не владѣетъ, а образцы дѣлаетъ и за работами смотритъ! — всегда къ работамъ является.

Такъ доноситъ госпитальный докторъ Николай Бидлоо и добавляетъ, что человѣкъ онъ нужный и «впредь къ госпитальному строенію нуженъ будетъ.»

О чудодѣйственнномъ рѣзномъ мастерѣ разсказываютъ и штукатуры (штукаторы) Фролъ Борисовъ съ товарищи: они работали на дворѣ подлѣ Яузы, а теперь въ Госпиталѣ же — въ церкви и въ Анатомическомъ театрѣ.

— Рукамъ и ногамъ не владѣетъ, а образцы дѣлаетъ и къ работамъ всегда является, вотъ это мастеръ!

VIII

КРАСНАЯ ВОРОНА

Анна Іоановна — самая изъ русскихъ русская царица, дочь царя Ивана Алексѣевича, брата Петра, и Прасковьи Феодоровны, урож. Салтыковой. Вся въ ширь — императрица! — ножка бѣлаго гриба съ «напачканными» бровями.

(При дворѣ такая мода была: пачкать брови).

А кругъ — рощи, сады, огороды, птичники, курятники, «ранжерея».

Въ садахъ — погреба, въ погребахъ — коренья и овощи про обиходъ императрицы: петрушка, постарнакъ (пустарнакъ) порей, сельдерей, морковь, рѣпка, свекла, ондиви.

Въ птичникѣ, въ желѣзной клѣткѣ канарейки.

А живутъ еще въ клѣткахъ же красныя вороны.

Садъ насадилъ Петръ и всякихъ птицъ вывезъ изъ Голландіи и красныхъ вороновъ. И на огородахъ петровскіе солдаты-старики караулятъ — Иванъ Замараевъ да Артемій Русиновъ изъ Батальона отъ Строеній.

Садъ разросся до невозможности.

— Рѣшеточныя ворота большимъ вѣтромъ сломило, и столбы у пришпехта подгнилили и тоже большимъ вѣтромъ сломило.

Столярнаго дѣла подмастерье Димитрій Максимовъ ветхости всѣ исправитъ — по «памяти» петровской.

А памяти идетъ конецъ — —

Новаго ничего не строятъ, заканчиваютъ петровскія затѣи, заколачиваютъ послѣдніе петровскіе гвозди — черезъ годы Екатерины, черезъ годы Петра-внука — послѣдній духъ петровской силы.

Ужъ восковую персону Его Императорскаго Величества велѣно по приказу обермаршала графа фонъ-Левенвольда отдать въ Кунтсткамеру (кунштькамору) къ библіотекаріусу Шумахеру.

Скоро будетъ дѣйствовать первый русскій зотчій Земцовъ, ученикъ Трезина, помощникъ Леблона и Мекентива, скоро пріѣдетъ изъ Парижа Растрелли сынъ и опять пойдетъ дымъ коромысломъ — Елизаветинская стройка!

А пока что — все въ садахъ, огородахъ, рощахъ.

Петербургъ и Питергофъ — курятникъ.

Запахъ помета, перьями и теплыми яицами.

Контора Садовыхъ дѣлъ — все.

Въ Петербургѣ въ Васильевскомъ саду садовый мастеръ — Яганъ Эйкъ (Iohann Heug), въ Петергофѣ — седовыхъ дѣлъ мастеръ, Ле-ванъ-харнигфельтъ (Le van harnigfeltt) и старичокъ птичникъ «иноземецъ» Симонъ Шталь (Simon Stahl), въ Четвертомъ «Итальянскомъ» саду садовый подмастерье Семенъ Лукьновъ, въ Конецкомъ огородѣ смотритель прапорщикъ Алешутинъ.

А надъ всѣми — Антонъ Кормедонъ — Антонъ Антоновичъ — «красная ворона»!

*

Красныя вороны — первая птица — за ними особый уходъ и забота.

Живутъ онѣ въ клѣткѣ, сидятъ на столбикахъ (второй столбикъ протоптали!), а кормятся или, какъ говоритъ любитель лѣсковскихъ «письмовручительствъ» подканцеляристъ Петръ Часовниковъ, «принимаютъ пищу» въ корытѣ (все корыто продолбили!)

Какъ привезли ихъ въ Петергофъ — «къ пришествію въ Петергофъ Его Императорскаго Величества» — да какъ раскрыли клѣтку, всѣ диву дались.

— Что за вороны!

— Ну, и вороны!

— Красныя вороны! — сказалъ солдатъ Гороховъ.

Такъ и окрестили.

Птичникъ Шталь училъ-кликалъ:

— Der Papagei.

Но ни садовые подмастерья, ни сама птица не откликались: птицѣ понравилось русское прозвище.

Такъ и рапортовали (репортовали).

Это было еще въ 1720-мъ году, когда верховодилъ кн. Алексѣй Михайловичъ Черкаскій, а въ подручныхъ ходилъ при немъ Борисъ Нероновъ.

А теперь обермаршалъ «его графское сіятельство и ордена святаго Андрея каваперъ» фонъ-Левенвольдъ, а подъ нимъ Антонъ Антоновичъ Кормедонъ — «красная ворона».

Такъ прозвали Антона Антоновича всѣ садовники до Петра Шапошника и старосты Матвѣя Гиллера.

Да и самъ Антонъ Антоновичъ любитъ щегольнуть русскимъ словомъ:

— Ich bin russische красная ворона!

*

На всякое садовое «доношеніе», «вѣдѣніе» и «промеморію» Антонъ Антоновичъ, кладетъ резолюцію.

Все равно — о еловыхъ кольяхъ, и тычьѣ гороховомъ; о доскахъ для дѣланія столовъ и скамеекъ (скамеякъ) въ сады и по рощамъ; о лейкахъ для поливки (поливанья) овощей и фруктовъ, о колесахъ подъ роспуски и одноколокъ (аднаколакъ), на которыхъ песокъ, черную землю возятъ, также навозъ и прочая; о оловѣ, говяжьемъ салѣ, нашатырѣ деревянномъ маслѣ и для починки леекъ (леякъ); о висячихъ замкахъ большой руки и малой (такой размѣръ); о дубовыхъ кадкахъ (каткахъ) для держанія воды въ оранжереяхъ (ранжереяхъ); о починкѣ чулана, въ которомъ будутъ сидѣть подорожники»; о желѣзномъ скребкѣ для чистки (чиски)

въ клѣткахъ, о потошникахъ (поташникахъ) для ловленія птицъ: о пробной лопаткѣ и киркѣ — все равно, такъ пропишетъ, будто не птичникъ, не садъ, не огородъ, не роща, а вся Россія въ его волѣ и власти, и всякое дѣло, чтобы немедленно —

Антонъ Кормедонъ

Да, много бывало чудесъ на Руси и каркать о ея погибели, только воздухъ портить!

Это я не вамъ, это я старикамъ петровскимъ огородникамъ солдатамъ Замараеву да Русинову.

На Конецкомъ огородѣ, что за Казачею, вонъ они пригрѣлись на солнышкѣ, вспоминаютъ крутое Петровское время —

когда были настоящіе комисары:

— Оберъ-комисаръ Ульянъ Акимовичъ Синявинъ!

— Комисаръ Федоръ Акимовичъ Синявинъ!

— Комисаръ Семенъ Михайловичъ Павловъ!

— Комисаръ Степанъ Карповичъ Карповъ!

— Комисаръ Федоръ Феодоровичъ Шатиловъ!

— Свѣтлѣйшій Римскаго и Россійскаго государствъ и главный генералъ и кавалеръ Александръ Даниловичъ Меншиковъ!

— Генералъ-майоръ, лейбгвардіи майоръ Дмитреевъ-Мемоновъ Иванъ Ильичъ!

Настоящіе комисары, не эти:

— Поручикъ Алешутинъ? майоръ Коробановъ? Петръ Мошковъ... развѣ что полковникъ Андрей Ивановичъ Брунцъ?

Но главное-то — эта «красная ворона», она имъ вотъ гдѣ — Антонъ Кормедонъ.

— Погубитъ, мерзавецъ!

Ну, ничего — отъ огороднаго духу ой какъ спится! — поворчать старички и задремлятъ на своемъ «прилежномъ смотрѣніи».

А садъ разросся до невозможности и все растетъ, овощи поспѣваютъ, птицы топчутся, несутъ яйца, работа идетъ — въ Конторѣ Садовыхъ дѣлъ и въ Валдместерской (б. Лѣсныхъ дѣлъ) пишутся донесенія.

А пишутъ, какъ говорятъ. Читай, какъ написано, русскому языку научишься — русскому произношенію.

КЪ ЗВѢЗДАМЪ

— памяти А. А. Блока —

Бѣдный Александръ Александровичъ!

Покинуть такъ рано землю, никогда ужъ не видѣть ни весенъ, ни лѣта, ни милой осени и любимыхъ бѣлоснѣжныхъ зимъ —

и звѣздъ не видѣть — сестеръ манящихъ — какъ только онѣ намъ свѣтятъ!

Не видѣть земли, безъ «музыки» — это такая послѣдняя бѣда и отъ этой бѣды не уйти —

а если вовсе и не бѣда, а первое великое счастье?

Но почему же для васъ такъ рано?

Это я, еще бѣдующій здѣсь вмѣстѣ съ веснами и любимыми вьюгами и моей серебряной звѣздой, это я стучу въ затворенную дверь, не могу и никакъ не свыкнуться съ этимъ вашимъ — счастьемъ.

Въ то утро — а какая была ночь — Лирова ночь!, какой рвущій вѣтеръ и дождь —

вѣтеръ — —

самъ щечавый звѣрь содрогнулся бъ!

вѣтеръ — по — сердца!

въ суровое августовское утро , когда покорные судьбѣ, въ скотскомъ вагонѣ, какъ скотъ убойный, мы подъѣзжали къ границѣ, оставляя русскую землю, духъ вашъ переходилъ тѣсную огненную грань жизни, и вы навсегда покинули землю.

И еще огонекъ погасъ на русской землѣ.

*

А въ день похоронъ, когда вашу «Трудовую книжку» съ помѣткой:

литераторъ
грамотенъ
ПТО

отдали въ Отдѣлъ Похоронъ, я свою съ той же самой помѣткой и печатью, только нарядную, единственную, узорную по черному алымъ съ виноградами, птичкой и знакомыми нумерами Сѣвпроса, Кубу, Сорабиса отдалъ въ Ямбургѣ въ Особый Отдѣлъ Пропусковъ.

Счастливъ ли духъ вашъ?

Хоть на мгновенье вы обрадовались тамъ — вы радовались за гранью этой жизни, этой бушующей лировой ночи?

Или вамъ еще предстоитъ встрѣча — счастливые дни?

А я скажу — про себѣ вамъ скажу — ни на минуту, ни на мигъ. И не жду. Это такое проклятіе — вотъ ужъ подлинное несчастье! — оставить родную всколыхнутую землю, Россію, гдѣ въ бѣдующемъ Злосчастьѣ наперекоръ рваной бѣднотѣ нашей, нищетѣ и голи выбивается изумрудная, молодая поросль.

Помните, въ Отдѣлѣ Управленія мы толклись въ очереди къ Борису Каплуну: вы потеряли паспортъ — это было вскорѣ послѣ похоронъ О. Д. Батюшкова — и надо было возстановить, а я съ прошеніемь о нашей погибели на Островѣ безъ воды и дровъ — помните, вы сказали, поминая Батюшкова, что мы-то съ вами —

— Мы выживемъ, послѣдніе, но если кто-нибудь изъ насъ...

И я въ глазахъ вашихъ видѣлъ, не о себѣ это вы тогда.

Бѣдный Александръ Александровичъ — вы дали мнѣ настоящую папиросу! пальцы у васъ были перевязаны.

И еще вы тогда сказали, что писать вы не можете.

— Въ такомъ гнетѣ невозможно писать.

А знаете, это я теперь тутъ узналъ за границей, что для русскаго писателя тутъ, пожалуй, еще тяжче, и писать не то, что невозможно вѣдь только въ Россіи и совершается что-то, а тутъ — для русскаго-то — «пустыня». Уйти временно въ пустыню, конечно, для человѣка полезно, въ молчаніи собрать мысли — вѣдь нигдѣ, какъ въ пустынѣ, зрѣніе и чувства остры! — и Гоголь уходилъ въ римскую пустыню для «Мертвыхъ душъ». Тоже и поучиться слѣдуетъ, и есть чему. Только вотъ на счетъ прокорму — писателямъ и художникамъ вездѣ приходится туго! — надо какая-то работа, а всякая посторонняя работа, вы-то это хорошо знаете, засуетитъ душу. И выйдетъ тоже на тоже. И если судьба погибнуть, такъ ужъ погибать тамъ у себя, на міру въ Россіи.

*

Это хорошо, что на Смоленскомъ — и проще и не суетно — и никто-то васъ не тронетъ, не позарится на вашу домовину, и Горькаго не надо просить.

«Помните, какъ васъ изъ вашей-то насиженной выгнали?»

А можетъ быть, и тамъ ваша душа проходитъ еще злѣйшія мытарства? И эта жизнь — четырехлѣтній опытъ соціальнаго переустройства — ясно говорившая вамъ ужъ однимъ своимъ началомъ всеобщаго уравненія, когда вы недоумѣвая спрашивали, «нужны мы или не нужны?» (да, конечно, такіе не нужны!) эта жизнь, прицѣпившая къ вамъ бестій ярлычекъ «буржуазнаго поэта» — изобрѣтеніе всеупрощающее, подхваченное умомъ не очень взыскательнымъ и отнюдь не безпокойнымъ, а также примазавшейся шкурой и прихвостившейся мразью, загнавшая васъ въ «третью категорію» со всякими трудовыми повинностями — сгребаніемъ снѣга на мостовой, сколкой льда, разгрузкой барокъ съ дровами, чисткой загаженныхъ дворовъ, эта жизнь, которая не давала вамъ никакой воли заставляя васъ быть, какъ всѣ, и какъ всякій служить, и какъ всякаго безъ конца учитывая, регистрируя и заставляя заполнять анкеты, а за каждую милостыню — вѣдь ученые, писатели и художники это вытянувшійся дрожащій хвостъ нищихъ на паперти Коммуны! — за каждый брошенный кусокъ и льготу (право «просачиваться!»), тычащая васъ носомъ, какъ кошку, и не однажды честившая васъ, какъ ломового извозчика, — «Мы художники-писа-

тели, а съ нами обращаются, какъ съ ломовыми извозчиками!» — говорили вы въ гнѣвѣ, и наконецъ отнявшая у васъ досугъ и «праздность», это наша переустраивающаяся русская жизнь, покажется вамъ легкимъ сномъ?

Но я вѣрю, за ваше слово, за «музыку» и тамъ, въ норахъ и канавахъ — въ безнадежномъ, томящемъ кругѣ, въ кольцѣ ожесточившихся стражей муки, и тамъ найдутся, кто станетъ за васъ.

Впрочемъ, что это я — это я все о «гнетѣ» — горькое слово ваше запало! — это я по-русски по закоренѣлому нашему злопамятью! а вѣдь было жъ и совсѣмъ другое! и совсѣмъ по другому!

И знаете, Александръ Александровичъ, да это вы знаете, — и это говорю я не для пуга, — не всегда-то и Марья Федоровна можетъ: передъ уходомъ изъ ПТО какую она мнѣ подпись подписала подъ прошеніемъ въ Петрокоммуну—царскую! а все-таки отказали, и ужъ въ Ревелѣ съ вокзала я каблукъ въ рукѣ несъ.

И Гумилева — разстрѣляли! — Николай Степановичъ покойникъ теперь! — и Горькій не всегда можетъ, стало быть.

*

Да, хорошо что на Смоленскомъ —

Федору Ивановичу, хоть и обидно — помните, покойника Ф. И. Щеколдина любилъ онъ васъ! — это когда съ Гороховой-то насъ выпустили, онъ вскорѣ и померъ, на совѣтскихъ мосткахъ въ Александро-Невской лаврѣ лежитъ, — ну, Федоръ Ивановичъ пойметъ.

Я. П. Гребенщиковъ и его сестры, они на Островѣ.

сосѣди наши, отъ нихъ до Смоленскаго два шага, они-то ужъ какъ будутъ могилу вашу беречь, знаютъ тамъ каждый холмикъ, придутъ и на Радоницу — красное яичко принесутъ, похристосуются, и на зеленый Семикъ и въ Дмитровскую субботу. Я. П. Гребенщиковъ — книгочій, всякую вашу книгу имѣетъ и на иностранномъ, онъ одинъ такой въ Петербургѣ, онъ и могилу не оставитъ, «князь обезьяній!» —

А вашъ «обезьяній знакъ, Александръ Александровичъ — его ни въ какой Отдѣлъ не потребуютъ — забылъ я, съ чѣмъ онъ? — картинка? — съ какимъ хвостомъ или лапами? — у П. Е. Щеголева съ гусиными лапами и о трехъ хвостахъ выдерныхъ.

И вамъ будетъ легко лежать въ родной землѣ.

Мы тоже коробочку взяли съ русской землей —

глаза ваши пойдутъ цвѣтамъ,
кости — камню,
помыслы — вѣтру,
слово — человѣческому сердцу.

*

Бѣдный Александръ Александровичъ!

Все никакъ не могу убѣдить себя, что васъ ужъ нѣтъ на свѣтѣ.

Вотъ тоже, когда Ф. И. Щеколдинъ померъ, я тоже долго не могъ: схвачусь и все будто папиросу ищу — самъ курю и ищу, какъ въ безтабашьѣ.

Передали ли вамъ мое послѣднее слово?

«Что жъ сказать Блоку?»

А я точно испугался — чего-то страшно стало — не сразу отвѣтилъ.

«А скажите Блоку: нарисовалъ я много картинковъ, на каждую строчку «Двѣнадцати» по картинкѣ».

> Пусто и жутко было въ моей комнатѣ передъ отъѣздомъ. Пустыя полки, и игрушекъ не было, пустая зеленая стѣна съ серебряными гнѣздышками, и ваша «ягиная черпалка» — помните, на Островахъ нашли? — убралась въ жестяную довоенную коробку изъ-подъ бисквитовъ вмѣстѣ съ «ягинымъ гребнемъ», и только огонекъ передъ образомъ неугасимый свѣтилъ, какъ всегда, въ послѣднюю ночь, — разбирали послѣднее, какъ послѣ похоронъ.

«А это значитъ, — объяснилъ я, — за эти три мѣсяца я думалъ о немъ».

Евгенія Өедоровна Книповичъ такъ и обѣщалась передать.

А незадолго передъ тѣмъ заходилъ Евгеній Павловичъ Ивановъ —

«и каждый вечеръ другъ единственный»

онъ, какъ всегда вошелъ бокомъ и, стоя, завели разговоры, безъ словъ, больше мигомъ, ухомъ и скаломъ, васъ поминали и, какъ Чучела-Чумичела и кумъ его Волчій хвостъ —

шептались долгое время

Евгеній Павловичъ Ивановъ тоже «кавалеръ обезь-

яній» — съ лягушачьимъ глазомъ и хвостомъ рогатаго мыша! — съ Я. П. Гребенщиковымъ снюхаются и, пока живы, бородатые, одинъ рыжій, другой темный, какъ бѣсы изъ «Бѣсовскаго дѣтства», дико козя бородами, станутъ на стражѣ, не покинутъ вашего Креста.

*

Трижды вы мнѣ снились.

Два раза въ городѣ рыцарей — въ башенномъ Ревелѣ и разъ тутъ въ зеленомъ Фриденау у Фрау Пфейферъ, надъ Weinstube, по нашему надъ кабакомъ.

Видѣлъ я васъ въ бѣломъ , потомъ въ серебрѣ, и я пробуждался съ похолодѣвшимъ сердцемъ. А тутъ — надъ кабакомъ — вы пришли совсѣмъ обыкновеннымъ, всегдашнимъ и мнѣ было совсѣмъ не страшно. Я васъ просилъ о чемъ-то и вы, какъ всегда слушая, улыбались — вѣдь что-то всегда было чудное, когда я говорилъ съ вами.

Изъ разныхъ краевъ, разными дорогами проходили наши души до жизни и въ жизни по крови разные — мнѣ достались озера и волшебныя алтайскія звѣзды, зачаровавшія необозримыя русскія степи, вамъ же скандинавскія скалы, сѣверное небо и океанъ, и не даромъ выпала вамъ на долю вихревая пѣсня взбалмученной вздыбившейся Россіи, а мнѣ — горькое слово надъ краснозвонной Русью.

Гдѣ-то однажды, а можетъ, не разъ мы встрѣчались — на какомъ перепутьѣ? — вы закованный въ латы съ крестомъ, я въ моей лисьей острой шапкѣ подъ вой и бой бубна — или на разстани какой дороги? въ какой чертячьей Weinstube — разбойномъ кабакѣ? или тамъ — на болотѣ —

и сидимъ мы дурачки
нежить, немочь водъ
зеленѣютъ колпачки
задомъ напередъ.

Судьба съ первой встрѣчи свела насъ въ жизни и до послѣднихъ дней.

И въ рѣшающій часъ по запылавшимъ дорогамъ и бездорожью Россіи черезъ вой и вихрь прозвучали наши два голоса — Россіи —

на новую страдную жизнь
и на вѣчную память.

*

1905 годъ. Редакція «Вопросовъ Жизни» въ Саперномъ переулкѣ. Я на должности не «обезьяньяго канцеляриста», а «Домового» — все хозяйство у меня въ книгахъ за подписями (самъ подписывалъ!) и печатью хозяина моего Д. Е. Жуковскаго, помните, «высокопоставленныя лица» обижались, когда подъ дѣловыми письмами я подписывался «старый дворецкій Алексѣй.» Марья Алексѣевна, младшая конторщица, убѣжденная, что мой «Прудъ» есть романъ, переведенный мною съ нѣмецкаго, усумнилась въ вашей настоящей фамиліи:

«Блокъ! псевдонимъ?»

И когда вы пришли въ редакцію — еще въ студенческой формѣ съ синимъ воротникомъ — первое, что я передалъ вамъ, это о вашемъ псевдонимѣ.

И съ этой первой-встрѣчи, а была петербургская весна особенная, и пошло что-то, чудное что-то, отъ чего, говоря со мной, вы не могли не улыбаться.

Театръ В. Ѳ. Коммиссаржевской на Офицерской съ вашимъ «Балаганчикомъ» и моимъ «Бѣсовскимъ дѣйствомъ».

В. С. Мейерхольдъ — страда театральная.

Неофилологическое общество съ Е. В. Аничковымъ — «весенняя обрядовая пѣсня» и ваше французское средневѣковье. Вечера у Вяч. Иванова на Таврической съ вашей «Незнакомкой» и моей посолонной «Калѣчиной — малечиной». Разговоры о негазетной газетѣ у А. В. Тырковой.

1913 годъ. Издательство «Сиринъ» — М. И. Терещенко и его сестры — канунъ войны, когда мы встрѣчались всякій день и еще по телефону часовали. Вы жили тогда на Монетной, помните Острова, помните двугривенный, — вѣдь я отдалъ его, послѣднее! — какъ вы смѣялись и послѣ, еще недавно, вспоминая.

Р. В. Ивановъ-Разумникъ — «Скифы» предгрозные и грозовые.

1918 годъ. Наша служба въ ТЕО — О. Д. Каменева — безчисленныя засѣданія и затѣи, изъ которыхъ ничего-то не вышло. И наша служба въ ПТО — М. Ѳ. Андреева — вашъ театръ на Фонтанкѣ, помните, вы прислали билеты на «б. короля Лира» —

Комитетъ «Дома Литераторовъ» со «старѣйшимъ кавалеромъ обез. зн.» А. Ѳ. Кони подъ глазомъ Н. А. Котляревскаго, о-бокъ съ Н. М. Волковыскимъ, — неизмѣнные «зайцы» В. Б. Петрищева.

И черезъ четырехлѣтіе «Опыта» Алконостъ — С. М. Алянскій, «вол-исполкомъ обезьяній», мытарства и огорченія книжныя, безчисленныя, какъ засѣданія, прошенія Луначарскому, разрывъ и мировая съ Ильей Іоновымъ.

Помните, на Новый Годъ изъ Перми послѣ долгаго пропада появился влюбленный Слонъ Слоновичъ (Юрій Верховскій) — вотъ кому горе, какъ узнаетъ! — вѣдь вы первый въ «Вопр. Жиз.» отозвались на его слоновьи стихи, на «Зеленый сборникъ», въ которомъ впервые выступилъ Слонъ съ М. А. Кузминымъ и Вяч. Менжинскимъ.

Помните, чуковскіе вечера въ «Домѣ Искусствъ», чествованіе М. А. Кузмина, «музыканта обезьяньей великой и вольной палаты», и нашъ послѣдній вечеръ въ «Домѣ Литераторовъ» — я читалъ «Панельную сворь», а вы — стихи про «французскій каблукъ», — домой мы шли вмѣстѣ — Серафима Павловна, Любовь Александровна и мы съ вами — по пустынному Литейному звѣрски свѣтила луна.

Февральскія поминки Пушкина — это вашъ апофеозъ.

И опять весна — «Алконостъ» женился! — растаялъ Невскій, зваволынилъ Островъ, возстаніе Кронштата, бѣлыя ночи —

Первый день Пасхи — первая вѣсть о вашей боли.

И конецъ.

глаза ваши пойдутъ цвѣтамъ,
кости — камню,
помыслы — вѣтру,
слово — человѣческому сердцу.

*

Странные бываютъ люди — странными они родятся на свѣтъ, «странники»!

Левъ Шестовъ, о немъ еще въ Петербурга, когда онъ началъ печататься въ Дягилевскомъ «Мірѣ Искусствъ», пущенъ былъ слухъ, какъ о забулдыгѣ — горькой пьяницѣ. А и на самомъ-то дѣлѣ, — поднеси ему рюмку, хлопнетъ и сейчасъ же пѣсни пѣть! — трезвѣйшій человѣкъ, но во всѣхъ дѣлахъ — оттого и молва пошла — какъ выпивши.

Розановъ В. В., тоже отъ «странниковъ», возводя Шестова въ «умъ безпросвѣтный», что означало верхъ славословія, до того увѣрился въ порокѣ его винномъ, всякій разъ, какъ ждать его въ гости, виномъ запасался и всякій разъ, угощая, не упускалъ случая попенять, что зашибаетъ.

А настоящіе люди — ума юридическаго — отдавая Шестову должное, какъ книжнику и философу, въ одномъ корили, что водится, деликатно выражаясь, со всякой сволочью, куда первыми входили мы съ Лундбергомъ, и все приписывалось «запойному часу» и «по пьяному дѣлу».

А дѣло-то, конечно, не въ рюмкѣ — это П. Е. Щеголевъ не можетъ! — а если грѣшнымъ дѣломъ, и случалось дернуть и пѣсни пѣть, что жъ? и какой же это человѣкъ безпѣсенный? — дѣло это такое, что словами не скажешь, оно вотъ гдѣ —

А бываютъ и не только что странные... Андрей Бѣлый —

Андрей Бѣлый въ родѣ какъ ужъ и не человѣкъ вовсе, тоже и Блокъ не въ такой степени, а все-таки.

И Е. В. Аничковъ это замѣтилъ.

«Вошелъ ко мнѣ Блокъ, — разсказываетъ Аничковъ о своей первой встрѣчѣ, — и что-то такое...»

А это такое и есть какъ разъ такое, что и отличаетъ «нечеловѣческаго» человѣка.

Блокъ былъ въ родѣ какъ не человѣкъ.

И такимъ страннымъ — «дуракамъ» — и какъ нечеловѣкамъ данъ великій даръ: ухо — какое-то другое, не наше.

Блокъ слышалъ музыку.

И это не ту музыку — инструментальскую — подъ которую на музыкальныхъ вечерахъ любители, люди сурьезные и вовсе не странные, а какъ собаки мухъ ловятъ, нѣтъ, музыку —

Помню, послѣ убійства Шингарева и Кокошкина говорили мы съ Блокомъ по телефону — еще можно было! — и Блокъ сказалъ мнѣ, что надъ всѣми событіями, надъ всѣмъ «ужасомъ» слышитъ онъ — музыку, и писать пробуетъ.

А это онъ «Двѣнадцать» писалъ.

И та же музыка однажды, не сказавшаяся словомъ, дыхомъ своимъ звѣзднымъ вывела Блока на улицу съ краснымъ флагомъ — это было въ 1905 г.

Изъ всѣхъ самый крѣпкій, куда жъ Андрей Бѣлый — такъ мля газообразная съ сѣденькими пейсиками, или меня взять — въ три дуги согнутый, — и вотъ первый — не думано! — раньше всѣхъ, первый Блокъ простился съ бѣлымъ свѣтомъ.

Не отъ цынги, не отъ голода и не отъ какихъ трудовыхъ повинностей — вѣдь, Блоку это не то, что мнѣ полѣно разрубить или дровъ принести! — нѣтъ, ни отъ какихъ неустройствъ несчастныхъ Блокъ погибъ и не могъ не погибнуть.

Въ какомъ вихрѣ взвихрилась его душа! на какую жъ высоту! И музыка —

«Я слышу музыку!» — повторялъ Блокъ.

И одна изъ музыкальнѣйшихъ русскихъ книгъ «Переписка» Гоголя лежала у него на столѣ.

Гоголь тоже погибъ — та же судьба.

Взвихриться надъ землей, слышать музыку и вотъ будни — одинъ «Театральный отдѣлъ» чего стоитъ! — передвиженія изъ комнаты въ комнату, изъ дома въ домъ, реорганизація на новыхъ началахъ, начальникъ-на-начальникѣ и — ничего! — весь Петербургъ, вся Россія за эти годы переѣзжала и реорганизовывалась.

Съ угасающимъ сердцемъ Блокъ читалъ свои старые стихи.

«Въ такомъ гнетѣ писать невозможно».

И какъ писать? Послѣ той музыки? Съ вспыхнувшимъ и угасающимъ сердцемъ?

> Вѣдь, чтобы сказать что-то, написать, надо со всѣмъ желѣзомъ духа и сердца принять этотъ «гнетъ» — Россію, такую Россію, какая она есть сейчасъ, всю до кости, русскую жизнь, мечущуюся изъ комнаты въ комнату, отъ дверей къ дверямъ, отъ воротъ до воротъ, съ улицы на улицу, русскую жизнь со всѣмъ дубоножіемъ, шкурой, потрохомъ, орломъ и матомъ, Россію съ великимъ желаннымъ сердцемъ и безусловной свободной простотой, Россію — ея единственную огневую жажду воли.

Гоголь — современнѣйшій писатель — Гоголь! — къ нему обращена душа новой возникающей русской литературы и по слову и по глазу.

Блокъ читалъ старые свои стихи.

А читалъ онъ изумительно: только онъ одинъ и передавалъ свою музыку. И когда на вечерахъ брались актеры, было неловко слушать.

Ритмъ — душа музыки, и въ этомъ стихъ.

Стихи не для того, чтобы понимать, ихъ и не надо понимать, стихи слушаютъ сердцемъ, какъ музыку, а актеру — профессіональнымъ чтецамъ — не ритмъ, выраженіе — все , а выраженіе вѣдь это для пониманія, чтобы слушая стихъ, лишенные «уха», мухъ по-собачьи не ловили.

Про себя Блока будутъ читать — «стихи Блока» , а съ эстрады больше не зазвучитъ — не услышишь, если, конечно, не вдолбятъ актеру, что стихъ есть стихъ, а не разговоры, а безухій есть глухой.

У Блока не осталось дѣтей — къ великому недоумѣнію и огорченію В. В. Розанова! — но у него осталось больше, и нѣтъ ни одного изъ новыхъ поэтовъ, на кого бъ не упалъ лучъ его звѣзды.

А звѣзда его — трепетъ сердца слова его, какъ оно билось, трепетъ сердца Лермонтова и Некрасова — звѣзда его незакатна.

И въ ночи надъ просторомъ русской земли, надъ степью и лѣсомъ, я вижу , горитъ — —

ВЪ КОНЦѢ КОНЦОВЪ

Россія! — разговоръ на долгіе годы, а споръ безконечный. Всякій тутъ свое — и по своему правъ.

Одинъ жаловался:

— была у него земля — отняли, а сколько труда положено!

Другой о домѣ:

— домъ былъ въ Петербургѣ — какой домина! — и домъ забрали

Третій о деньгахъ и драгоцѣнностяхъ:

— въ Банкѣ! въ сейфѣ хранились — большой капиталъ! — и все пропало

Я же сказалъ:

— Да, это обидно, я понимаю. А у меня ничего не было: ни земли, ни дома, ни денегъ въ Банкѣ, ни драгоцѣнностей въ сейфѣ, только эти руки да это —— и одна постоянная тревога: съ квартиры погонятъ! У меня ничего не отняли.

— Какъ не отняли! — вступился еще одинъ: этотъ ни на что не жаловался, этотъ все «объяснялъ», и что «землю отняли», и что «домъ заняли», и что «деньги пропали», — да вы же потеряли больше, чѣмъ землю, домъ и деньги, вы лишились тѣхъ условій работы, при которыхъ вы писали.

— Да, конечно.

И подумалъ:

«Да, я тоже потерялъ. А вѣдь мнѣ и въ голову не приходило! Конечно жъ потерялъ. Ну, а мои чувства — жарчайшія чувства, и слова, вышедшія изъ этихъ чувствъ, и мои сны — это я получилъ въ жесточайшіе дни и пропадъ!»

— А знаете, что я замѣтилъ,— сказалъ я, — и не только на себѣ, а и на тѣхъ, кто пронесъ революцію въ Россіи, страду пережилъ въ Россіи — мы вѣдь всѣ въ родѣ какъ заворожены! — и вотъ чуть только повѣетъ вѣсть о какой-то надвигающейся въ мірѣ грозѣ, и вдругъ тебѣ станетъ весело.

— Падаль почуяли?

— Нѣ-ѣтъ — «падаль!» — ну, вотъ я по моему малокровію и смертельной зябкости, вѣдь я же — за самыя нерушимыя китайскія стѣны: никогда не выйти изъ комнаты, сидѣть въ углу у своего стола и чтобъ — —

— Чай пить?

— Да, хотя бы и чай пить — — и чтобы было все такъ, какъ есть, плохо ли, хорошо ли, только бъ неизмѣнно и нерушимо! А по душевной моей недотрогасти: вѣдь мнѣ больно отъ кошачьяго писка, не только тамъ отъ человѣческихъ — — такъ почему же мнѣ-то вдругъ становится необыкновенно весело, когда тамъ за окномъ, я чую, надвигается въ мірѣ гроза?

— — — ?!

— — въ мірѣ такая тѣснота вездѣ колючая — — или это? вотъ то, что я понимаю, и все мы понимаемъ пережившіе въ Россіи страду! и въ этомъ наша какая-то вѣра въ бурю: вотъ надвигается въ мірѣ, идетъ и придетъ, наконецъ, подыметъ и развѣетъ — развущитъ! Есть непробиваемая человѣческая упрь! И все-таки, нѣ-ѣтъ! и на тебя придетъ сила! — и станетъ тогда на землѣ легко —

— — ?!

— — знаю! — если бы революціи «освобождали» человѣка, какой бы это былъ счастливый человѣкъ! — знаю, никакія революціи не перевернуть, ну скажу такъ: «*судьбы*, которую конемъ не объѣдешь!» И все-таки — или это отъ тѣсноты невозможной, въ которой живемъ мы? — когда подымается буря — —

КОНЕЦЪ.

НЕУГАСИМЫЕ ОГНИ

Живо встаетъ старая память — ночные успенскіе крестные хода.

Ночь — долгая служба въ Успенскомъ: темучая темь и изъ тьмы костеръ — тоненькія свѣчи передъ образомъ Владимирской Божьей Матери, да въ темныхъ углахъ у мощей — у Іоны митрополита («пальцемъ погрозилъ на французовъ», такъ и лежитъ — палецъ согнутый!) и у Филиппа митрополита (котораго задушилъ Малюта Скуратовъ!), темныя вереницы черезъ соборъ къ мощамъ, старинный «столповой» распѣвъ — въ унисонъ ревутъ басы, да звенящій перекликъ кононарховъ, а подъ конецъ густой кадильный дымъ къ голубѣющимъ утреннимъ сводамъ — тропарь Преображенью —

> такъ при царѣ Иванѣ, такъ при Годуновѣ, такъ при Алексѣѣ Михайловичѣ: столповой распѣвъ — костеръ изъ тьмы — голубѣющій разсвѣтъ — тропарь Преображенью —
>
> — — —

За Москва-рѣкой заря — по зарѣ, разгораясь, звонъ изъ-подъ Симонова. Бѣлая — заалѣла соборная церковь Благовѣщенія.

Вѣки у меня тяжелыя — вся вторая недѣля Госпожинокъ крестный ходъ, ночь не спишь; глаза вспугнуты —

августовскій утренникъ, колотитъ дрожь; трепетно смотрю, какъ въ первый разъ: закричитъ серебряный ясакъ отъ Успенскаго, мохнатыя черныя лапы ухватятся за колоколъ — лапищей на доску плюхъ — — и живой стѣной подъ перезвонъ поплывутъ хоругви — тускло золото, сыро серебро, мутенъ жемчугъ —

«Апостолы идутъ навѣщать Богородицу»!

За Москва-рѣку — за Симоновъ — за Воробьевы горы лучевой надземницей красный звонъ.

*

А бывало, когда силъ ужъ нѣтъ выстоять до конца службу или просто не хочется , станешь въ вереницу, обойдешь мощи, приложишься къ Влахернской «теплой ручкѣ» (а и вправду, теплая, какъ живая!) выйдешь на соборную площадь — предутреннія сѣрыя сумерки, одна изъ тумана глядитъ зеленая башня! — и пойдешь по соборамъ.

Благовѣщенскій любимый (псковскіе мастера строили): заглянешь на кита, какъ проглатываетъ китъ Іону, все нарисовано, перецѣлуешь всѣ частицы-косточки (безъ передышки, на перегонку), поскользишь по камушкамъ — такой полъ изъ краснаго камня, скользѣе льда, — и въ Архангельскій.

Въ Архангельскомъ — къ Дмитрію-царевичу, походишь около тѣсныхъ высокихъ гробницъ — отъ Калиты до Ѳедора Ивановича — рядами лежатъ московскіе «великіе государи цари и великіе князья всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцы», просунешься въ алтарный придѣлъ къ Ивану Грозному (какой-то духъ и жутко!), постоишь у золотыхъ хоругвей: самыя онѣ тутъ золотыя, самыя тяжелыя! — и въ Чудовъ.

А въ Чудовѣ — Алексѣй митрополитъ лежитъ, и тутъ же знамена — отъ французовъ 12- года, всегда поглазѣешь. Въ Вознесенскій еще рано: еще горячія просвиры не поспѣли, потомъ, послѣ крестнаго хода будутъ.

И пойдешь подъ Ивановскую колокольню.

Подъ колокольней потолкаешься у Ивана Лѣствичника, а отъ Лѣствичника къ Николѣ Густинскому; Никола тамъ, какъ живой, нахмурился, а свѣчей костеръ, какъ передъ Владимирской. Приложишься къ Николѣ и айда, на колокольню!

— — —

За Москва-рѣкой заря разгорается. Звенитъ серебряный ясакъ: пора звонить.

И вдругъ со звономъ какъ ударитъ лучъ и золотымъ крыломъ надъ Благовѣщенскимъ — —

«Апостолы пошли навѣщать Богородицу!»

За Москва-рѣку — за Симоновъ — за Воробьевы горы лучевой надземницей красный звонъ.

*

Но еще чудеснѣй — незабываемо — крестный ходъ въ субботу послѣ всенщной.

Осенняя ночь разсыплется звѣздами. Какъ звѣзды, загорятся хоругви. А на звѣздныхъ крестахъ осенніе послѣдніе цвѣты. И живыя поплывутъ, звеня, надъ головами:

«Въ послѣдній разъ апостолы идутъ навѣщать Богородицу!»

Надъ Москва-рѣкой, надъ Кремлемъ, выше Ивана-великаго къ звѣздамъ — — красный звонъ.

*

И дождешься Успеньева дня —

Ударятъ на Иванѣ-великомъ въ реутъ-колоколъ ко всенощной — ручьями побѣгутъ ревучіе звоны надъ Москвой, надъ седьмихолміемъ, по Кремлю, по Китаю, по Бѣлому, по Земляному за ворота и заставы. На соборной площади колокольный шумъ — ничего не слышно.

По зеленой травѣ проберусь впередъ къ рѣзному Мономахову трону, стану у амвона передъ Благовѣщеніемъ — отъ царскихъ вратъ три иконы: Спасъ-золотая-ряса, цареградская, съ десницей указующей, Успеніе — Петръ митрополитъ писалъ, и Благовѣщеніе (передъ нимъ устюжскій юродивый молился, Прокопій-праведный, каменную тучу отвелъ отъ города) — жемчужная пелена подъ лампадами тепло поблескиваетъ.

И до полночи, какъ станешь, такъ и стоишь въ живой стѣнѣ: не двинуться, не выйти.

И когда послѣ «великаго славословія», послѣ ектеньи, запоютъ послѣднее, вмѣсто «Взбранной воеводе», кондакъ Успенію, одного хочется: дождаться бъ, когда и на будущій годъ за всенощной запоютъ Успенію —

Въ молитвахъ неусыпающую
Богородицу...

*

Какое это счастье унести въ жизнь сіяющія воспоминанія: событіе неповторяемое, но живое, живѣе, чѣмъ было въ жизни, потому что, какъ воспоминаніе, продуманно и выраженно, и еще потому, что въ глубинѣ его горитъ напоенное свѣтомъ чувство. Такое воспоминаніе сохранилъ я о Страстной недѣлѣ.

Помню годы съ Великаго понедѣльника, когда въ Кремлѣ въ Мvроваренной палатѣ у Двѣнадцати апостоловъ мvро варятъ и іеродьяконы подъ Евангеліе мѣшаютъ серебряными лопатками серебряный чанъ съ варомъ изъ душистыхъ травъ и ароматныхъ маслъ Аравіи, Персіи и Китая. Первые солнечные дни — весна — (а что про дождикъ, про холодъ — все забылъ!) — весенній воздухъ и ватка, которой обтирали лопатку или край чана.

Незабываемъ въ Великую среду (послѣ исповѣди) «Чертогъ Твой»; въ Великій четвергъ «Благоразумный разбойникъ»; въ Великую пятницу «Благообразный Іосифъ»

Сокровененъ на стихирахъ знаменитый догматикъ — пѣснь Богородицѣ, кровной стариной вѣетъ литійный стихъ «Подобаше» — выйдутъ на литіи соборяне къ облачальному амвону, да въ-голосъ: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй — — »

А когда за архіерейской обѣдней мальчики альтами затянутъ «Святый Боже», и вправду не знаешь:

ли на землѣ ты, ли на небѣ!

*

Все остановилось. Не звонитъ колоколъ. Не сторожитъ лампада. Пуста соборная площадь. Пустынно и тишина.

(Какъ-то осенью послѣ всенощной я помню такой пустынный часъ).

»Какая сила опустошила тебя, русское сердце?»

— — —

И вотъ — вижу — надъ южными дверями отъ Богородицы блеснули глаза, архангелы метнулись: и все застлало тонкимъ дымомъ. Съ тихимъ стукомъ кадилъ, съ ослопными свѣчами шли соборяне — большой фонарь и два

хрустальныхъ корсунскихъ креста — архіереи, митрополиты, патріархи длинной пестрой волной въ поблекшихъ мантіяхъ, въ бѣлыхъ клобукахъ и митрахъ. И я увидѣлъ знакомые лики святителей, чтимыхъ русской землей: въ великой простотѣ шли они, одинъ посохъ въ рукахъ. Вѣнчанныя шапки, золотыя бармы «великихъ государей царей и великихъ князей всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцевъ» — черным҄ъ покрытый одиноко шелъ властитель «всея Русіи», въ крѣпко сжатой рукѣ прыгалъ костяной посохъ. Въ мѣдныхъ каскахъ, закованные въ сѣрую сталь, проходили ливонцы, обагрившіе кровью московскій берегъ, а слѣдомъ пестро и ярко царевичи: грузинскіе, касимовскіе и сибирскіе. Шишаки лѣсовчиковъ и русскихъ «воровъ», а подъ ними шаршавыя головы юродивыхъ — не брякали тяжелыя вериги, висѣло желѣзо, какъ тѣнь, на измученномъ тѣлѣ. И въ бѣлыхъ оленьихъ кухлянкахъ скользили лопари-нойды, шептались — шаптали — и отъ ихъ шопота сгущался туманъ, и сквозь туманъ: ослѣпленные зотчіе и строители, касаясь руками стѣнъ – –

Неугасимые огни горятъ надъ Россіей!

1917—1924.

СОДЕРЖАНІЕ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Это и именной указатель, это и некоторые комментарии, это и некое дополнение к тем картинам Октября и первых пооктябрьских лет, что так ярко представлены во *Взвихренной Руси* А. М. Ремизова. Как ни выразительны и ни ярки эти картины, но ведь писаны они в те дни, когда живы были свидетели, деятели и жертвы Октября, когда одно лишь упоминание, скажем, какой-нибудь жены партсановника, какой-нибудь Ольги Давыдовны Каменевой сразу же много говорило читателю. Ну, а попробуйте найти эту жену тогдашнего председателя Совнаркома и сестру Льва Давыдовича Троцкого в любом доступном читателям советском справочнике — никогда не найдете. Ведь и самого-то Троцкого не обнаруживается даже в последнем издании Большой Советской Энциклопедии. Троцкизм есть. Троцкого как ни бывало. А уж менее заметные фигуры, иной раз гораздо более характерные для эпохи, которых знали лично или хотя бы по наслышке современники, — о них уже и старики иной раз позабыли. А много ли осталось этих стариков, свидетелей Октября! Поэтому так необходимы комментарии. И комментарии эти — по возможности — должны быть не только сухими справками — с датами рождения и смерти (но и их не часто найдешь и установишь!), но и какой-то дополнительной краской к картинам Ремизова. И не всегда крупному деятелю будет уделено в комментариях больше строк и больше внимания, чем какому-нибудь захудалому поэтишке, такому, как Тиняков, — или чем такому второстепенному советскому вельможе, как Борис Каплун. Ведь они зачастую более отчетливо живописуют время, быт, атмосферу и настроения, чем большие „деятели''. Конечно, для того, чтобы что-либо вразумительное сказать о сотнях лиц, упоминаемых во *Временнике* Ремизова, нужны были бы томы и домы, — целая библиотека. Но не в этом главная задача „именного указателя'' — комментария. Дать не столько характеристику упоминаемых лиц, учреждений, произведений, а создать, вместе с самой книгой Ремизова, некую мозаику цитат-высказываний этих лиц и рассказов о них других, привести некоторые отрывки, может быть, для этих авторов и не столь характерные, но характерные для тех дней — их горестей и раздумий, надежд и безнадежностей.

Отдельные кусочки смальты в мозаичном изображении шероховаты, неплотно пригнаны друг к другу, но солнце играет на их неровной поверхности, особенно же отсвечивает на кроваво-красных, бурых, как запекшаяся кровь, и траурно-лиловых тонах — и широкая картина, так блистательно данная автором во *Взвихренной Руси*, дополнится этой мозаикой, взлохмаченной, отнюдь не приведенной в какую-то систему. Она создана, она составлена из самых противоречивых высказываний, фактов, наблюдений, но, по большей части, сделанных современниками по горячим следам событий.

В хоре голосов этого послесловия к книге, этого ,,поименного" комментария к ней, запевалой, — если ни почти всегда, то очень часто, — будет сам А. М. Ремизов — отрывками из других его книг.

Думается, что именно **мозаика**, не слишком стройный х о р красочных кусочков, обрывков, — наиболее подходит к нашей цели — передать разноголосицу, сливающуюся в гул эпохи великого катаклизма.

Страшный — и в чем-то пленительный, смертной мукой объятый — и продолжающий еще жить, по инерции, статься может, — но продолжающий еще в те дни жить какими-то исконными традициями русской культуры и русской мысли Город Петра, — он еще только через несколько лет станет городом Ленина. Он живет — и не живет. ,Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы; в скалах — пещеры. ... Одно ясно: зима. И надо покрепче стиснуть зубы, чтобы не стучали; и надо щипать дерево каменным топором; и надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру, все глубже, и надо все больше навертывать на себя косматых звериных шкур. Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил сереброхоботый мамонт. И завернутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья пещерные люди отступали из пещеры в пещеру. На Покров Мартин Мартинович и Маша заколотили кабинет; на Казанскую выбрались из столовой и забились в спальне. Дальше отступать было некуда; тут надо было выдержать осаду — или умереть". (Евг. Замятин. *Пещера*. В его кн.: *Сочинения*. Ред. Евгения Жиглевич. Т. 1, Мюнхен, 1970, стр. 453) .

Поздней ночью над Невой,
В полосе сторожевой
Взвыла злобная сирена,
Вспыхнул сноп ацетилена.
Снова тишь и снова мгла.
Вьюга площадь замела.
Крест вздымая над колонной,
Смотрит ангел окрыленный
На забытые дворцы,
На разбитые торцы.
Стужа крепнет. Ветер злится.
Подо льдом вода струится.
Надо льдом костры горят,
Караул идет в наряд.
Провода вверху гудят:
Славен город Петроград!
В нише темного дворца
Вырос призрак мертвеца,
И погибшая столица
В очи призраку глядится.
А над камнем, у костра,
Тень последнего Петра —
Взоры прячет, содрогаясь,
Горько плачет, отрекаясь.
Ноют жалобно гудки.
Ветер свищет у реки.
Сумрак тает. Расцветает.
Пар идет от желтых льдин,
Желтый свет в окне мелькает.
Человека окликает
Гражданин:

— Что сегодня, гражданин,
На обед?
Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
— Я сегодня, гражданин,
Плохо спал.

Душу я на керосин
Обменял.
От залива налетает резвый шквал,
Торопливо наметает снежный шквал,
Чтобы глуше еще было и темней,
Чтобы души не щемило
У теней.

(В. Зоргенфрей. *Над Невой.* В его сборн. *Страстная суббота*. Стихи. Изд. „Время", Петербург, 1922).

„Мы жили в трудном и сложном мире, который мне сейчас уже не легко описать таким, каким он воспринимался тогда. В горячем, предгрозовом воздухе тех лет было трудно дышать, нам все представлялось двусмысленным и двузначущим, очертания предметов казались шаткими. Действительность, расплываясь в сознании, делалась сквозной. Мы жили в реальном мире — и в то же время в каком-то особом, туманном и сложном его отражении, где все было 'то да не то'. ... Явления становились видениями. Каждое событие, сверх своего явного смысла, еще обретало второй, который надобно было расшифровать. Он не легко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий. Таким образом, жили мы в двух мирах..." (Вл. Ф. Ходасевич. *Некрополь*. Воспоминания. Изд. „Петрополис", Брюссель, 1939, стр. 102).

***

Занавес поднят. Трагедия Взвихренной Руси продолжается — в осколках „именного указателя"...

Составитель не всегда ручается за правильную „расшифровку" многих упомянутых в книге Ремизова лиц. Обыкновение Ремизова примешивать изряднейшую дозу выдумки и мистификации, включать имена и вовсе не существовавших лиц в „документальную" часть своих книг — еще больше затрудняет

задачу. Но, думается, если и допущены ошибки, то общей-то картины они существенно не меняют. Составитель приносит благодарность всем лицам, оказавшим ему помощь. Особенно же — А. С. Беляеву, Андрею Седых, проф. Г. П. Струве и З. В. Трифунович.

АВЕРЧЕНКО, Аркадий Тимофеевич (1881 — 1925). Один из самых прославленных и популярнейших писателей-юмористов дореволюционной России. После Октября — эмигрант. „Особое внимание проявлял Ленин к эмигрантской литературе, которая за редкими исключениями находилась в его кабинете... Здесь много книг И. Наживина, А. Аверченко (в том числе и *Дюжина ножей в спину революции*, на которую Ленин написал рецензию), А. Ремизова, Тэффи, Н. Ф. Лаппо-Данилевской и др." (П. Н. Берков. *Русские книголюбы*. Изд. „Сов. Писатель", М-Л, 1967, стр. 39). **143-144, 232**

АВКСЕНТЬЕВ, Николай Дмитриевич (1878 — 1943). Один из лидеров партии эсеров. Член ЦК. С конца 1918 — эмигрант. **116,234**

АДРИАНОВ, Сергей Александрович (1871 — 1941). Помощник присяжного поверенного. Адвокат. Литературный критик. „... в годы между революциями — когда на всех собраниях и вечерах гремели три имени на 'А': Аничков, Арабажин и Адрианов — они говорили, когда угодно, о чем угодно и сколько влезет..." (А. Ремизов. *Мышкина дудочка*. Изд. „Оплешник", Париж, 1953, стр. 45). „... И право, мне, не понимающему до конца Мережковского, легче ему руки целовать за то, что он — царь над Адриановыми..." (из письма Ал. Блока к В. Н. Княжнину, 9 ноября 1912, *Собр. соч. в 8 тт.*, т. 8, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 405). „Сейчас я не могу сказать, почему С. А. Адрианов попал в помощники редактора 'Русской Молвы'. Он был с левым уклоном и потом остался служить большевикам. Русский газетный персонал до революции в массе был левый". (А. Борман. *А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына*. Лувен-Вашингтон,

АЛЯНСКИЙ, Самуил Миронович (р. 1891). Основатель и владелец изд-ва „Алконост" (1918 — 1923), автор воспоминаний о Блоке. **348, 468, 510**

АНДРЕЕВ, Леонид Николаевич (1871 — 1919). Писатель, драматург. После Октября — эмигрант. Несмотря на его прижизненную известность, Блок писал о нем: „...Знаю о нем хорошо одно, что главный Леонид Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и всегда обращен лицом в провал черного окна, которое выходит в сторону островов в Финляндии, в сырую ночь, в осенний ливень, который мы с ним любили одной любовью. В такое окно и пришла к нему последняя гостья в черной маске — смерть". (Ал. Блок. *Памяти Леонида Андреева. — Собр. соч. в 8 тт.*, т. 6, ГИХЛ, М-Л, 1962, стр. 135). **446**

АНДРЕЕВА, Мария Федоровна (1868 — 1953), актриса (1898—1905 — Моск. Худож. Театр), общественная деятельница, член Коммунистич. партии с 1904 г., многие годы — жена Максима Горького, 1919-1921 — заместительница народного комиссара просвещения в Петрограде, начальница Петроградского Театрального отдела (ПТО). Начальница Всероссийского ТЕО, О. Д. Каменева, в разговоре с поэтом В. Ф. Ходасевичем, „полунебрежно, но в то же время не скрывая легкой досады, спрашивает: — А вы, значит, по-прежнему заведуете московским отделением 'Всемирной Литературы'? — Да, — отвечаю я, но этот вопрос заставляет меня насторожиться. Дело в том, что идея этого издательства принадлежала Максиму Горькому, который и стоял во главе его. ... Между семействами Горького и Каменева идет вражда. Когда в Москве утверждался Театральный отдел, на заведывание им претендовала жена Горького, М. Ф. Андреева, бывшая артистка Художественного театра. По разным причинам кандидатура Андреевой в Москве провалилась, и вместо всероссийского Театрального отдела ей дали в заведывание маленький петербургский отдел, а управлять всероссийским посадили г-жу Каменеву. Андреева, однако же, не сдавалась и, говорят, вела под Каменеву подкопы. Ольга Давыдовна всячески защищалась

и, между прочим, на помощь призвала Мейерхольда''. (Вл. Ходасевич. *Литературные статьи и воспоминания*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 368 – 369) . **328, 329, 510**

АНДРЕЕВА–ДЕЛЬМАС, Любовь Александровна (1884 – 1969). Артистка оперы (1913-1919 – Театр Музыкальной Драмы), жена знаменитого баритона Мариинского театра П. З. Андреева и подруга А. А. Блока, воспетая им в цикле стихов ,,Кармен''. Из дневников Блока: ,,Ночью – на улице – бледная от злой ревности Дельмас. А от Mme Коган лежит письмо. 'Они' правы все, потому что во мне есть притягательная сила, хотя, может быть, я догораю''. (3 июня 1917). ,,... Ночью бледная Дельмас дала мне на улице три розы, взятые ею с концерта... ... Милая моя, мы, если будем, состареемся, и тогда нам с тобою будет хорошо. Господь с тобою''. (4 июня 1917). ,,... а ночью Дельмас долго ходила перед окнами''. (11 июня 1917). ,,... Л. А. Дельмас – разные отношения с ней''. (25 мая 1921). (Ал. Блок. *Собр. соч. в 8 тт.*, т. 7, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 256, 257, 261, 420). **511**

АНДРУСОН, Леонид Иванович (1875 – 1930). Поэт, автор книг стихов *Сказка любви*, СПб, 1908, и *Тишина*, Осташков, 1922, секретарь редакции ,,Журнала для Всех''. Слабый стихотворец, но попавший в некоторые провинциальные ,,Чтецы-декламаторы''. ,,'Журнал для Всех' с редактором В. С. Миролюбовым, прозванным Сенекой: поправил в статье Лундберга Аристотеля на Сенеку (учитель Александра Македонского), и с секретарем Андрусоном – штаны на одной пуговице и та с мясом''. (А. Ремизов. *Мышкина дудочка*. Изд. ,,Оплешник'', Париж, 1953, стр. 43).
137

АНИЧКОВ, Евгений Васильевич (1866 – 1937). Литературовед, критик, профессор. После Октября – эмигрант (в эмиграции, между прочим, издал книгу *Новая русская поэзия*, 2-ое изд. которой, И. П. Ладыжникова, вышло в Берлине в 1923 г.). ,,Проф.

мир-то — Божий. ... La Divina Commedia. С лязгом, скрипом, визгом спускается над Русскою Историею железный занавес. — Представление окончилось. Публика встала. — Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось". (В. В. Розанов. *Апокалипсис нашего времени. — Избранное*, стр. 446, 448-449, 453, 465, 466, 475, 494) . „Тема Апокалипсиса сплетается из вопросов религиозно-философских и общественно-политических. Заглавие, по словам автора, не требует пояснений в виду событий, имеющих не мнимо-апокалипсическое значение, но действительно апокалипсических. От былого христианства, по мнению Розанова, образовались колоссальные пустоты, в которые проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатство. Все это проваливается в пустоту души, лишившейся древнего содержания. ... Солнце загорелось раньше христианства и не потухнет, если даже христианство кончится. 'Попробуйте распять солнце, — говорит он в двухстрочной заметке..., — и вы увидите, который Бог'. В этом для него ограничение христианства, против которого не помогут ни обедни, ни панихиды. С одним христианством человеку не прожить: хорош монастырек, в нем полное христианство, а все-таки питается он около соседней деревеньки, без которой все монахи перемерли бы с голоду. Солнце больше может, чем Христос, и больше Христа желает счастья человечеству. Христос в глазах Розанова вовсе не Единосущен Богу. Говоря о делах духа в противоположность делам плоти, Христос через это именно показал, что Он и Отец **не одно**. 'Отцовский' завет отличается от 'Сыновьего' своим непрестанным **попечением о человеке**, каким-то кутающим и пеленающим. Для Розанова это ценно и важно, потому что он уверен, что это попечение и вообще вся физиология, которой насыщен Ветхий Завет, есть нечто космическое. Для него земное залог, а не антитеза небесного. Небесное возникает из земного, как бабочка из гусеницы (куколка — смерть, труп) ". (Э. Голлербах. *В. В. Розанов. Жизнь и творчество.* Изд. „Полярная Звезда", Петербург, 1922, стр. 61-63) . **97**

АПОЛЛОН ТИРСКИЙ. Рассказ А. М. Ремизова (написан 23-27 февр. 1917) . В его кн.: *Трава-мурава. Сказ и величание*. Изд.

кой известности. Он шел медленно и одиноко, в благородной отдаленности. Принадлежал к символистам московским старшего поколения (Бальмонт, Брюсов), их сверстник и товарищ. ... Читатели знали его мало, писатели ценили и уважали. В 1918 г. Юргис Казимирович был избран председателем Союза Писателей. На следующий год получил назначение литовского посланника (был литовского происхождения) — в Союзе его заменил другой. Но личных связей с писателями он не прерывал. В 1920 г. помог уехать заграницу Бальмонту, в 1922-м мне с семьей в том же содействовал. С тех пор так и остался на дипломатическом посту в Москве до самой войны, погубившей самостоятельность Литвы. Посланничество его кончилось. Юргис Казимирович с Марией Ивановной /его женой/ поселились во Франции. ..." (Борис Зайцев. *Далекое*. Изд. МЛС, Вашингтон, 1965, стр. 144-145).
122, 154

БАННОВ, владелец обувного магазина в Петрограде. **122**

БАРАНЦОВ, один из сподвижников Петра I. **482, 483**

БАРДАЛЕАН, Алексей Георгиевич. Революционер, женевский эмигрант 1900 — 1910-х гг. **83**

БАРСУКОВ, Лука. Дьяк С-Петербургской градской канцелярии в первой половине 18-го века. **483**

БАСЕМЩИКОВ, Потап, мастер-паяльщик в Петергофе при Петре I. **487**

БАТЮШКОВ, Федор Дмитриевич (1857 — 1920). Филолог, литературовед, профессор. После Февральской революции, при Временном правительстве — главный уполномоченный по Петербургским государственным (бывш. императорским) театрам. Смещен А. В. Луначарским. „В конце 1917 года проф. Ф. Д. Батюшков, которого Временное правительство назначило Главноуполномоченным по государственным (бывшим императорским) театрам, пытался восстановить труппы театров против

Мельниковым – Андреем Печерским сличим Борис Николаевич Бугаев – Андрей Белый''. (А. Ремизов. *Подстриженными глазами*. Изд. УМСА, Париж, 1951, стр. 73-74) . ,,Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. ...Он давно мечтал выехать заграницу. ... Большевики не выпускали его. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу. Он подумывал о побеге – из этого тоже ничего не вышло, да и не могло выйти: он сам всему Петербургу разболтал 'по секрету', что собрался бежать. Его стали спрашивать: скоро ли вы бежите? Из этого он, разумеется, заключил, что чрезвычайка за ним следит, и, разумеется, – доходил до приступов дикого страха. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева, большевики смутились и дали ему заграничный паспорт. .../Осенью 1923 г. решил вернуться в СССР,/ ... потому что понял: в эмиграции у него нет и не будет аудитории, а в России она еще есть. Ехал к антропософам, к тогдашней молодежи, которая его так любовно провожала два года тому назад, когда он уезжал заграницу. ... Нельзя отрицать, что перед отъездом он находился в состоянии полной невменяемости. Однако, как часто бывает в подобных случаях, сквозь полубезумие пробивалась хитрость. Боясь, что близость с эмигрантами и полуэмигрантами... может быть поставлена ему в вину, он стал рвать заграничные связи... /В берлинских советских учреждениях/ он до такой степени ругал своих заграничных друзей, что даже коммунистам стало противно его слушать... /В СССР/ много времени он отдавал писанию автобиографии. ... Апологию Блока стал превращать в издевательство над его памятью. ... Прикосновенность к религии, к мистике, к антропософии – все это, разумеется, ставилось ему в вину... В автобиографии все это надо было отчасти затушевать, отчасти представить в ином смысле... Теперь, говоря об эпохе, лежащей 'между двух революций', он не только перед большевиками, но и перед самим собой (это и есть для него самое характерное) стал разыгрывать давнего, упорного, сознательного не только бунтовщика, но даже марксиста или почти марксиста, рьяного борца с 'гидрой капитализма'.'' (В. Ф. Ходасевич. *Некрополь.* Воспоминания. Изд. ,,Петрополис'',

Брюссель, 1939, стр. 85, 86-87, 93-94, 96, 97) .
106, 107-108, 110, 120, 121, 149, 333-334, 339, 512, 513

БЕНУА, Александр Николаевич (1870 — 1960) . Художник, театральный художник и режиссер, историк искусства, один из возглавителей журнала и художественного движения „Мир Искусства". С середины 20-х гг. — эмигрант. „... Думаю, он вообще к Франции и Западу был ближе, чем к России. Вижу его в Версале, но не вижу его среди русских полей и лесов..." (Борис Зайцев. *Далекое*. МЛС, Вашингтон, 1965, стр. 83) . „Я должен начать свой рассказ с признания, что я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом, я так и не узнал пламенной любви к чему-то огромно-необъятному, не понял, что его интересы — мои интересы, что мое сердце должно биться в унисон с сердцем этой неизмеримой громады. ... Напротив, Петербург я любил. ... Я понимал прелесть моего города, мне нравилось в нем все; позже мне не только уже все нравилось, но я оценил значение всей этой целостности. ... Скажу тут же — из всех ошибок 'старого' режима в России мне представляется наименее простительной его измена Петербургу. Николай II думал, что он вполне выражал свое душевное созвучие с народом, когда отворачивался от самого Петра Великого, от того, кто был настоящим творцом всего его самодержавного величества". (Александр Бенуа. *Жизнь художника*. Том 1. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 7-8) . **167**

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович (1874 — 1948) . „Н. А. Бердяев. И до чего он жизнерадостный. И в Вологде с ним было весело..." (А. Ремизов. *Кукха. Розановы письма*. Берлин, 1923, стр. 25) . „С Н. А. Бердяевым я познакомился в Вологде, в ссылке. Хорошая память: **благородный человек**..." (А. Ремизов. Из письма к Н. В. Кодрянской. В кн.: Наталия Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 210) . „... В его душе бьет ключ (источник) радости. Такое мое первое впечатление в Вологде (1902) . И неизменно до его смерти. ... Из всех моих современников Бердяев и Андрей Белый гениальны. Блок особенный... Блок — лунный, свет таинственный, но не бурный. Бердяев, не одаренный словом, словесно беспомощный и не книжный, а чем объ-

яснить его словесный напор, силу его бессвязных фраз?" (*Там же*, стр. 300) . „... Поверили, что равенство, не пропорциональное, а механическое равенство, есть столь великое благо, и что хорошо все, что приложится к нему. Но это обоготворение равенства и есть первородный грех; оно ведет к подмене конкретной, качественной, индивидуальной природы человека природой отвлеченной, количественной и безличной. Основанное на ложном равенстве всеобщее избирательное право есть отрицание человека. ... Всякий человек, если он взят не как отвлеченная математическая точка, имеет свой ценз, свои качественные достижения. Принцип ценза — истинный принцип, более человеческий принцип, чем полное его отрицание. Принцип ценза — качественный, а не количественный, и в этом его правда. Принцип ценза может искажаться и вырождаться, может пониматься исключительно-материалистически, как ценз материальный. Но это нисколько не говорит против его основной правды, ибо вырождаться может все на свете и всем на свете можно злоупотреблять. Но одно несомненно и для религиозного сознания и для философской мысли: человека нужно брать в его качественности, т. е. делать подбор лучших и способнейших. ... Социальный вопрос порожден не внешними, а внутренними причинами. И он не может быть решен внешними материальными средствами. Социальный вопрос ставится и решается в психической среде и в основе его лежат те или иные душевные стихии. Лишь сотрудничество классов создаст здоровую душевную атмосферу в решении социального вопроса. Когда он решается исключительно движениями снизу, в этом решении действуют нездоровые и злобные душевные стихии. Социальное движение построено исключительно на принципе классовой борьбы, культивирует не высшие, а низшие инстинкты человеческой природы. Оно является не школой самоотвержения, а школой корыстолюбия, не школой любви, а школой ненависти. Снизу идущие исключительно классовые разрешения социального вопроса разрывают единство человеческого рода и разделяют его на две враждебные расы. Это движение понижает психический тип человека. Оно отрицает космический, т. е. иерархический строй общества. Это революционное разрешение социального вопроса предполагает

отрыв от духовных основ жизни, отрицание их и презрение к ним. ..." (Ник. Бердяев. *Философия неравенства*. Изд. 2-е, УМСА, Париж, 1970, стр. 139-140, 153-154) . ,,Он... написал книгу *Философия неравенства*, против коммунизма и уравниловки, в защиту свободы, вольного человека (но никак не в защиту золотого тельца и угнетения человека человеком) . Она печаталась частью в 'Народоправстве', журнале Чулкова в Москве, в самом начале революции, когда такие вещи еще проходили. Книга-памфлет, написана с такою яростью и темпераментом, которые одушевляли, даже поднимали дарование литературное: уж очень все собственной кровью написано.. Замечательная книга... ... Революция шла, и мы куда-то шли. Разносил ветер кучку писателей российских по лицу Европы. Бердяев попал в групу высланных заграницу в 22 году..." (Борис Зайцев. *Далекое*. Изд. МЛС, Вашингтон, 1965, стр. 65-66) . **14, 31, 60, 135, 155, 396, 446**

БЕСОВСКОЕ ДЕЙСТВО. Драматическое действо А. Ремизова. Издано в: *Собр. соч. А. Ремизова*, т. VIII, изд. ,,Сирин", М, 1910-1912; отд. изд.: *Бесовское действо*. Представление. Обложка по рис. автора. Изд. ТЕО, Петербург, 1919. Шло в Театре В. Ф. Комиссаржевской (премьера — 4 дек. 1907) . Музыка Мих. А. Кузмина (хор — А. А. Архангельский) , постановка — Ф. Ф. Комиссаржевского, декорации М. В. Добужинского. Полное название: *Бесовское действо над неким мужем, а также Прение Живота со Смертью*. ,,Ясной мысли, чего мы хотим от театра, у нас не было, ясно было, что современный театр — не театр, и что реализм — разрушение театра. Без всяких рассуждений у Блока вышел *Балаганчик*, у меня *Бесовское действо*, — это было так непохоже на все, что тогда называли 'театром'. ... *Действо* принято было, как безобразие, оригинальничанье и издевательство над зрителем — 'Бесовское действо насупротив публики за то, что с доверием принесли свои рублики'." (А. Ремизов. *Пляшущий демон. Танец и слово*. ,,Дом Книги", Париж, 1949, стр. 37, 53) . ,,Ремизов несет свое *Бесовское действо* в театр, туда, где вчера еще публику волновал автор *Балаганчика*, этот истинный маг театральности. ... И, быть может, это-то обстоятельство, ... что публика осмелилась так неистово свистать, лучше всего доказывает, что здесь

установилось отношение к представлению, как представлению театрального порядка. Неомистерия Ремизова, как и всякая мистерия, потребовала от зрителя иного к этому новому действу отношения... ... Я убежден, что до тех пор, пока создатели неомистерий не порвут связи с театром..., до тех пор мистерия будет мешать театру, а театр мистерии''... (Вс. Мейерхольд. *О театре*. 1912; переизд.: В. Э. Мейерхольд. *Статьи. Письма. Речи. Беседы*. Т. 1, изд. ,,Искусство'', М, 1968, стр. 209) . **508, 510**

БИДЛОО, Николай. Врач, личный врач Петра I, затем — глава гошпиталя в Москве, один из возглавителей Главной медицинской канцелярии в первой половине 18-во века. **495**

БИСК, И. С. Может быть, опечатка, и имеется в виду (что очень вероятно, т. к. Ремизов имел отношение к печати левых эсеров) Биск, Лев Соломонович, сотрудник журнала левых эсеров ,,Новый Путь'' (1917) . **227**

БЛЕЙХМАН. **85, 124**

БЛОК, Александр Александрович (1880 — 1921) . ,,... Я встречу еще одного человека, тоже обнаженная совесть, это А. А. Блок. Мне говорили, таким был Глеб Успенский''. (А. Ремизов. *В розовом блеске*. Англия, 1969, стр. 293) . ,,Вспоминая *Двенадцать* Блока, Ремизов говорит: 'Редкий вечер не говорили мы с Блоком по телефону. Однажды он мне сказал, что слышит музыку и пробует писать. Я понял, он в вихре слов, но каких, я не могу себе представить: революция разнословна. Я в те же дни писал мое прощальное слово о Московской Руси: *Вечная память!* Это слово прозвучало во мне в Кремле после всенощной в Успенском соборе, под красный звон Ивана Великого (*Взвихренная Русь*) . Когда я прочитал *Двенадцать*, меня поразила основная материя — музыка уличных слов и выражений — подскреб слов неожиданных у Блока. ... В *Двенадцати* всего несколько книжных слов! Вот она какая музыка, подумал я. Какая выпала Блоку удача: по-другому передать улицу я не представляю возможным! Тут Блок оказался на высоте словесного выражения. А

заключительный 'Христос' прозвучало книжно. Христос для меня — да и для одного ли меня? — 'двенадцать Евангелий', Христа ведут на крестную муку — Христос-Спаситель. ... Христос в *Двенадцати* не к месту, чего-то неловко, когда читаешь. 'Христос' нарушил строй слов — музыку. Уж если необходимо возглавлять 'революционный шаг', надо было — не Христос, а Никола. Никола ведет своих горемычных. В одной сказке Никола говорит святым о русском народе: 'Пожалел их, уж очень мучаются' — он мог бы идти впереди! Тогда музыка была бы пламенной, народной. В революцию мне было легче рисовать, чем выражаться: я нарисовал *Двенадцать*, но не удалось показать Блоку. ..." (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 103-194) . После убийства германского посла графа Мирбаха чекистом — левым эсером, а вскоре большевиком, Блюмкиным, — и начала расправы с мнимыми участниками мникого „заговора левых эсеров", был арестован и препровожден на Гороховую, 2 (Петроградская ЧК) литератор, литературовед и критик Р. В. Иванов-Разумник. 14 февраля 1918 г., рассказывает он, „в пять часов утра — как потом узнал — ряд автомобилей с чекистами подъезжали в разных частях города к домам, где жили мои знакомые, адреса которых я имел неосторожность занести в свою записную книжку (с этих пор никогда больше я этого не делал) . Были арестованы и отвезены на 'Гороховую 2': поэт Александр Блок..., писатель Алексей Ремизов, художник Петров-Водкин, историк М. К. Лемке..., писатель Евгений Замятин..., профессор С. А. Венгеров..., еще, и еще, со всех концов Петербурга. ... Какая бурная деятельность бдительных органов советской власти! ... Стали поочередно вызывать на допросы. Там их огорашивали сообщением, что арестованы они, как участники заговора левых эсеров. ... /Блок/ был явно связан с левыми эсерами: поэма *Двенадцать* появилась в партийной газете 'Знамя Труда', там же был напечатан и цикл его статей *Революция и интеллигенция*, тотчас же вышедший отдельной брошюрой в партийном издательстве. В журнале левых эсеров 'Наш Путь' снова появились *Двенадцать* и *Скифы*, вышедшие опять-таки в партийном издательстве отдельной книжкой... Ну, как же не левый эсер! Поэтому допрос Александра Блока затянулся, и в то время, как всех

других вместе с ним арестованных мало-помалу после допросов отпускали по домам, его перевели на чердак. ... Одновременно с ним попал на чердак и стал соседом Блока наш будущий 'ученый секретарь' Вольфилы /Вольной Философской Ассоциации/ А. З. Штейнберг. ... На следующий день Александр Блок был освобожден''. (Р. В. Иванов-Разумник. *Тюрьмы и ссылки*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 39-43) . ,,Для Блока все это было грозней. Но земля притягивала камень, и полет превращался в падение. Блок говорил: 'Убийство можно превратить в худшее из ремесл'. Блок потерпел крушение дела, в которое он вложил всю свою душу. От старой дореволюционной культуры он уже отказался. Новой не создалось. Уже носили галифе. Не вышло. Блок умер от отчаяния. Он не знал от чего умереть... Перед смертью бредил. Он хлопотал о выезде заграницу. Уже получил разрешение. Не знаю, помог ли бы отъезд. Может быть, Россия лучше на расстоянии. Ему казалось, что выносят уже вещи. Он едет заграницу... Умер Блок. Несли его до Смоленского кладбища на руках. Народу было мало. Все, кто остались... Смерть Блока была эпохой в жизни русской интеллигенции. Пропала вера...'' (Виктор Шкловский. *Сентиментальное путешествие*. Воспоминания 1918-1923. Изд. ,,Атеней'', Ленинград, 1924, стр. 141-143) . ,,Блок проходит мимо Ленина. Он не слышит 'музыки' в речах Ленина. Ему, напротив, кажется, что большевики-то — это какой-то поплавок на поверхности разбушевавшихся народных масс, а Ленин и его разумность, очевидно, казались Блоку лишь порождением того же интеллигентского разума, который хочет сделать прививку своих программных затей к великому, внезапно выросшему таинственному древу, родившемуся из недр народа''. (А. В. Луначарский. Цитирую по статье: Ф. Борисов. *Россия и революция*. ,,Грани'', № 2, Кассель, 1946, стр, 35) . **74-75, 88, 91, 119, 145, 176, 228, 229, 233, 234, 255, 262, 275, 318, 326-327, 339, 348, 446, 501-515**

БОГУСЛАВСКАЯ (по мужу — Щеголева) , Валентина Андреевна (1878 — 1931) . Драматическая артистка. ,,... Смутно вижу перед глазами и... бывшую артистку театра Комиссаржевской, увековеченную в стихах Блока *Валентина, звезда, мечтанье* ... и в не-

скольких строчках *Возмездия* и, кроме того, в посвященном ей стихотворении Ахматовой, написанном в благодарность за лето, проведенное на щеголевской даче..." (А. Бахрах. *Два Щеголева.* „Новое Русское Слово", 28 января 1979) . „... Я думаю о Вас давно. Я давно кружу около Вашего дома. Теперь — второй час ночи. К Вам — нельзя. И никогда — нельзя. Сейчас я хотел идти к Вам и сказать Вам: сегодня — все, что осталось от моей молодости — ваше. И **не иду**. Но услышьте, услышьте меня сейчас..." (Письмо А. А. Блока к В. А. Щеголевой, 28/29 января 1911. Ночь. *Собр. соч. в 8 тт.*, т. 8, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 328) . Но по словам А. Бахраха („Русская Мысль", 22 мая 1980, „Новое Русское Слово", 25 мая 1980) у Ремизова речь идет о художнице Ксении Леонидовне Богуславской (1892 — 197?), жене худ. Ивана Пуни. **124**

БОЛОТНИКОВ, Иван Исаевич (казнен в 1608) . Вождь крестьянского восстания в Смутное время, 1606-1607. **85**

БОРИС ФЕДОРОВИЧ ГОДУНОВ (ок. 1552 — 1605) — Царь с 1598. **519**

БОРИС ГОДУНОВ. Народная музыкальная драма М. П. Мусоргского (1869). Первое исполнение в Мариинском театре — отдельные сцены — 1872, полностью — 1874. **34**

БОРИСОВ, Фрол. Штукаторный мастер в Петергофе при Петре I. **495**

БОРИСЯК. Трудно решить, о каком Борисяке идет речь: оба — литераторы: Борисяк, Алексей Алексеевич (1872 —?) , геолог и палеонтолог, псевдоним — А. Б.; или — Борисяк, Андрей Алексеевич (1885 — 1962), виолончелист, журналист и... любитель-астроном, открывший в 1901 г. новую звезду в созвездии Персея. **469**

БРАУНШТЕЙН (Бронштейн) , Иоган-Фридрих (последн. треть 17

— первая половина 18 в.). „Палатный мастер", немецкий архитектор, приехавший в Россию вместе с Андреасом Шлютером в 1713 г. После смерти Шлютера — архитектор в Петергофе, Кронштадте и Петербурге. Уехал обратно в Германию в 1728 г. **483, 484, 487-490**

БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ, Екатерина Константиновна (1844 — 1934), „Бабушка", „Бабушка русской революции". С 1873 участница народнического движения. 1874-1876 — на каторге и в ссылке. В 1896 возвратилась к революционной работе, в 1899 организовала вместе с Г. Гершуни „Рабочую партию политического освобождения России", влившуюся в 1902 году в партию социалистов-революционеров (эсеров), в члены ЦК которой „Бабушка" неоднократно избиралась. 1903-1905 — в эмиграции (Швейцария, США). В 1905 вернулась в Россию. В 1907 вновь арестована и сослана на поселение в Сибирь. Вернулась из ссылки после Февральской революции 1917. Заняла непримиримую позицию по отношению к большевикам. С 1919 в эмиграции (США, затем — Чехословакия). **58, 130**

БРУНИ, Лев Александрович (1894 — 1948). График и художник-монументалист. **123**

БРУНЦ, Андрей Иванович. Полковник, комиссар строительных дворцовых работ при императрице Анне Иоановне. **499**

БРЮСОВ, Валерий Яковлевич (1873 — 1924). В начале века „он основал 'Скорпион' и 'Весы' и самодержавно в них правил; он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными путями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна. ... Чувство равенства было Брюсову совершенно чуждо. ... Брюсов старался окружить

себя раболепством — и, увы, находил подходящих людей. ... Он не любил людей, потому что прежде всего не уважал их. Возможно, что он действительно чтил любовь, но любовниц своих он не замечал. ... Он любил литературу, только ее. ... /Когда ему надоела очередная его возлюбленная, Надя Львова, молодая поэтесса,/ Брюсов систематически приучал ее к мысли о самоубийстве. Однажды она показала мне револьвер — подарок Брюсова. ... /Надя застрелилась, а Брюсов вскоре после этого написал стихи:/

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов...

... Он страстною, неестественною любовью любил заседать, в особенности — председательствовать. Заседая — священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, параграф — эти слова тешили его слух. ... Заседаниям он жертвовал совестью, друзьями, женщинами. ... Он был антисемит. ... Как и почему он сделался коммунистом? Некогда он разделял идеи самого вульгарного черносотенства. ... В 1905 г. он всячески поносил социалистов, проявляя при этом анекдотическое невежество. Однажды сказал: — Я знаю, что такое марксизм: грабь, что можно, и — общность мужей и жен. ... Накануне Февральской революции, в Тифлисе, на банкете... он встал... и провозгласил тост 'за здоровье Государя Императора, Державного Вождя нашей армии'. ... После 'Октября' он впал в отчаяние. Одна дама... в начале октября..., наклонясь ко мне, прошептала: Валерий Яковлевич говорит, что теперь нами будут править жиды. ... Только летом 1918 года, после разгрома Учредительного собрания и начала террора, — он приободрился и заявил себя коммунистом. ... В коммунизме он поклонился новому самодержавию. ... Брюсову предоставлялось возможным прямое влияние на литературные дела; он мечтал, что большевики откроют ему дополнительную возможность 'направлять' литературу твердыми, административными мерами. ... Когда в Москве образовался союз писателей, Брюсов занял по отношению к нему позицию, гораздо более резкую и непримиримую, чем настоящие большевики''. (В. Ф. Хода-

севич. *Некрополь*. Воспоминания. Изд. „Петрополис'', Брюссель, 1939, стр. 33, 34, 37, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57). ,,Антимузыкальность Брюсова, вопреки внешней (местной) музыкальности целого ряда стихотворений — антимузыкальность сущности, сушь, отсутствие реки. ... Такого второго случая в русской лирике не было: застегнутый наглухо поэт. ...

И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств... Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются! Задание, овеществленное пятнадцать лет спустя 'брюсовским институтом поэзии'. ... Поэт ли Брюсов после всего сказанного? Да, но не Божьей милостью. Стихотворец, творец стихов, и, что гораздо важнее, творец творца в себе. ... Смерть Блока — громовой удар по сердцу; смерть Брюсова — тишина от внезапно остановившейся машины. Часто сталкиваешься с обвинениями Брюсова в продаже пера советской власти. А я скажу, что из всех перешедших или перешедших-полу — Брюсов, может быть, единственный не предал и не продал. Место Брюсова — именно в СССР. Какой строй и какое миросозерцание могли более соответствовать этому герою труда и воли, нежели миросозерцание, волю краеугольным камнем своим поставившее, и строй, не только бросивший — в гимне — лозунг: 'Владыкой мира будет труд'. Но как Бонапарт — орден героев чести, основавший — орден героев труда. А вспомнить отвлеченность Брюсова, его страсть к схематизации, к технизации, к систематизации, к стабилизации... ... Его исконную арелигиозность, наконец''. (Марина Цветаева. *Герой труда*. В кн.: *Проза*. Изд. им. Чехова. Нью-Йорк, 1953, стр. 203, 205, 209, 265-266). **88, 122, 151**

БУНИН, Иван Алексеевич (1870 — 1953). Эмигрант с 1920. ,,Единственный Бунин обратил внимание не на слова, а на слог — связь слов. Мой синтаксис приводил его в ярость: безграмотно. ...'' (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр.

300) . „Москва, 1918 г. 1 января (старого стиля) . Кончился этот проклятый год. Но что же дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так..." (Ив. Бунин. *Окаянные дни*. Изд. „Заря", Лондон, Канада, 1973, стр. 5) . „На обращаемые ко мне вопросы иностранцев: в чем особая заслуга Бунина перед мировым искусством, ... подлинно ли он талантлив и оригинален, я упорно отвечаю, что талант и оригинальность его, конечно, весьма значительны, но что не это самое главное в нем, а та подлинность, или, еще лучше, **первозданность его таланта**, которой в мире становится все меньше, хотя сознание, что без нее ни жить, ни творить дальше, всюду растет". (Федор Степун. *Встречи*. „Товарищество Зарубежных Писателей", Мюнхен, 1962, стр. 88) . Из письма И. А. Бунина к Андрею Седых (1929) : „Вопрос: что будет с Россией через десять лет? Ответ: не знаю. Думаю, однако, что десять лет большевики все-таки не продержатся, несмотря на всю пассивность русского народа и все старания почти всех так называемых цивилизованных государств неизменно поддерживать их. Вопрос: какой хотели бы видеть Россию? Ответ: какой угодно, лишь бы не большевистской". ... (Андрей Седых. *Далекие, близкие*. Изд. 2-е, Нью-Йорк, 1962, стр. 203) . **151**

БУРЛЮК, Владимир Давидович (1886 — 1919) . Художник и поэт -футурист. Брат Давида Бурлюка. Входил в организацию „будетлян" — „Гилея". „Владимир одною рукою пишет свои 'клуазоны' и 'Витражи', а другой — школьные этюды. ... мне не нравится: ... Если уж рвать с прошлым, так уж совсем". (Бенедикт Лившиц. *Полутораглазый стрелец*. Изд. Писателей в Ленинграде, 1933, стр. 28) . „Несется утром из ванной раскатистый бас Давида Бурлюка. Его брат, Владимир, существо субтильное, требует себе утренний завтрак в кровать: ему нездоровится, он полежит немного... И нарядная горничная несет ему на серебряном подносе 'кофе' — графин водки и огурец...

Как я люблю беременных мужчин...
... Искусство — уксус-то...
Асоц-поэт-худ-фут-куб...

поэзии. — Собр. соч. в 4 тт. под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 4, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 250) .
134, 233, 510

о. ВИКТОРИН — священник Викторин Михайлович Добронравов (1889 — 1937) . Известный церковный деятель в Петербурге-Ленинграде. Активный участник „Иосифлянского" движения — сопротивления части епископата, клира и мирян-прихожан политике местоблюстителя Патриаршего престола (будущего Патриарха Всероссийского) митрополита Сергия, обратившегося к советскому правительству с декларацией о единстве его направления с устремлениями русского Православия: „Ваши радости — наши радости"...; о. Викторин 4 или 5 раз арестовывался, с 1930 по 1937 г. был заключенным в лагерях НКВД. В 1937 году был освобожден, но через несколько месяцев — в том же 1937 году — арестован вновь. Судьба его — его семье неизвестна: погиб ли он в лагерях или расстрелян в подвалах Ленинградского ГПУ. Известно только, что в 1937 г. его не стало. И о. Викторин, и его братья, в их числе — прозаик Л. М. Добронравов, были близкими друзьями А. М. и С. П. Ремизовых. **34-35**

ВИЛЬГЕЛЬМ II, император Германский (1859 — 1941, император с 1888 по 1918) . **47, 63, 152, 253**

ВИЛЬЯМС, Гарольд Васильевич (ум. в 1928) . Английский журналист, долголетний корреспондент британских газет в России, второй муж А. В. Тырковой. В Штутгарте, при редакции оппозиционной русскому правительству газеты „Освобождение" „... у Струве живет очень милый и замечательный новозеландец... А говорит по-русски и знает очень много языков, а также он... бывший толстовец... ... В начале он нас больше всего поражал тем, что знал не то 30, не то 40 языков. Всю жизнь он говорил с нами только по-русски и знал русский язык превосходно. Он писал по-русски статьи... Знал русскую литературу, историю и историю языка. ... Авторитет Гар. Вас. в русском вопросе был тогда /в Лондоне, в 1918/ настолько высок, что на одну из его статей не-

ВЛАДЫКИН, врач, „абиссинский доктор" — был некоторое время врачом у абиссинского негуса. **149**

ВОЛКОВЫССКИЙ, Николай Моисеевич (1881 —?). Литератор, журналист. Играл значительную общественную роль в самые первые годы после Октября. Занимал антикоммунистическую позицию в „Доме Литераторов". **468, 510**

ВОЛЬФСОН, М. К. Владелец частного издательства „Мысль" в 1918 — начале 1920-х гг. в Петрограде. **232**

„ВОПРОСЫ ЖИЗНИ". Журнал, орган философов-идеалистов, выходивший в 1905 г. в Петербурге. „В январе 1905 г. с нас /А. М. и С. М. Ремизовым — после их ссылки в Вологодскую губернию им было запрещено проживание в столицах/ было снято запрещение Москвы и Петербурга и в феврале мы переехали из Киева в Петербург. Прямо в редакцию 'Вопросов Жизни'...: я заведывал хозяйством. Нам дали две комнаты в редакции с освещением и отоплением и 40 рублей жалованья". (А. Ремизов. *Кукха. Розановы письма*. Берлин, 1923, стр. 11). „... Петербург начала века, журнал 'Вопросы Жизни', огромная квартира, где обитал при редакции приятель мой Георгий Чулков — вроде редактора. Жил там и худенький Ремизов, в очках, уже тогда слегка горбившийся, волосы несколько взъерошенные — секретарь редакции. Издатель журнала — скромный меценат Жуковский. Главными тузами считались Булгаков (еще не священник) и Бердяев, только что начинавший, но сразу обративший на себя внимание. ... Георгий /Чулков/ тогда кипел, действовал, проповедывал свой мистический анархизм (позже пришел просто к христианству). ..." (Борис Зайцев. *Далекое*. МЛС, Вашингтон, 1965, стр. 61). В „Вопросах Жизни" опубликована была и первая, неполная, редакция *Столпа и утверждения Истины* о. Павла Флоренского. Был сотрудником этого журнала и А. А. Блок: „... но я не играю мистикой, а играю словами, очень нудно и скверно. — Говорил он в письме к Андрею Белому (15 окт. 1905): Относительно мистики я знаю, что она **реальна** и страшна и что накажет меня..." (*Собр. соч. в 8 тт*., т. 8, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 138). **509, 511**

ВОР — см. Лжедмитрий II.

„ВРЕМЕННИК'' А. М. Ремизова опубликован в журнале А. Белого „Эпопея'' (изд. „Геликон'') , Берлин, №№ 1 — 3, 1922. Целиком и без изменений включен во *Взвихренную Русь*. **228, 231**

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА''. Издательство, основанное М. Горьким в 1918 г. в Петрограде. Ставило своею целью издать в хороших русских переводах чуть ли ни все лучшие произведения мировой литературы — западной и восточной (и дать какой-то заработок вымиравшей от голода и холода русской интеллигенции) . О. Д. Каменева, в разговоре с В. Ф. Ходасевичем, ''небрежным тоном, как бы стараясь дать мне понять, что предмет разговора не особенно ее занимает, сказала: — Говорят, Горький по уши ушел в свою 'Всемирную Литературу', так что сам уже ничего и не пишет. Это верно? — Не знаю, откуда у вас такие сведения, — отвечал я, — мне, напротив, показалось, что он делами издательства интересуется даже меньше, чем можно было ожидать. —Это была правда. ... Ольга Давыдовна словно ожидала моих слов — и тоже оживилась: — А значит верно мне говорили, что 'Всемирная Литература' устроена только для того, чтобы такие-то... могли мошенничать за счет государства? Ну, разумеется!... Это же гнездо мошенников, потому что он /Горький/ сам мошенник и покровитель мошенников!'' (Вл. Ходасевич. *Литературные статьи и воспоминания*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 370) . **373**

ВЫШЕСЛАВЦЕВ, Борис Петрович (1877 — 1954) . Философ и социолог. В 1922 выслан из России. „Следует ли еще напоминать, что Ленин отрицал совместимость социализма и демократии, и не без основания, ибо демократия может во всякое время отменить социализм; а потому социализм должен прежде всего отменить демократию, разогнать учредительное собрание, разбить машину либерального правого государства там, где она уже действует, и признать 'социал-демократов' социал-предателями. Ленин, конечно, прав в том смысле, что при настоящей демократии весь русский народ проголосовал бы 'свободу торговли'

и стал бы развивать частно-правовой капитализм, который действительно мог бы догнать Америку. Никакой 'социализм' в духе Коммунистического Манифеста в России, конечно, не был бы построен. Что может ответить на эту критику социализма·социал-демократизм? Прежде всего он признает, что все сказанное верно: **такой** 'социализм', конечно, несовместим со свободой и демократией. Социал-демократия его критикует... и ... утверждает, что это лжесоциализм. Существует **другой** социализм, который осуществляется демократией и через демократию. ... Мы хорошо знаем, что такое авторитарный социализм, он имеет за собою тысячелетнюю традицию социалистических учений и был реализован на практике в трех формах на наших глазах; мы знаем, что он не совместим со свободой и демократией. Но мы совершенно не знаем, каким будет тот 'социализм', который дает нам честное слово соблюдать свободу и демократию (и не знаем, сможет ли он сдержать это слово) : будет ли он синдикализмом, анархизмом, кооперативным движением, развитием свободных рабочих союзов, или просто социальным реформизмом в либеральной демократии? Наконец, захочет ли он остаться 'марксизмом' и сохранить связь с Коммунистическим Манифестом или от него отречется? В этом и состоит современный кризис социализма: мы не знаем, что такое 'социализм'. ...'' (Б. П. Вышеславцев. *Кризис индустриальной культуры*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 175, 178) . **135**

ГЕНЕКРЕ, Константин, швед, кровельный мастер („покрывальный майстер'') на строительных работах в Петергофе при Петре I. **487, 491**

ГЕРАКЛИТ Эфесский (около 544-540 до Р. Х. — год смерти неизвестен) . „Когда-то я изучал философию, перевел с помощью Бердяева книгу Леклэра *К монистической гносеологии* и одолел речь философов, но сколько ни пытался философствовать, ничего не вышло... ... И осталось только мое пристрастие к 'философствованию'... Из философов огнем застряли в моей памяти Гераклит и Эмпедокл''. (А. Ремизов. *В розовом блеске*. Англия, 1969, стр. 327) . **263**

Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, МЛС, Вашингтон, изд. 2-е, 1971, стр. 104-105, 107). „Первое и бесспорное достоинство стихов Вл. Бестужева в их певучести. Кажется, поэта больше всего пленяют переливы гласных, ускорения и замедления ритма..." (Н. Гумилев. *Статьи и заметки о русской поэзии. — Собр. соч. в 4 тт.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр, 310). **119**

ГИППИУС, Зинаида Николаевна (1869 — 1945). В эмиграции с 1920. „Она не любила, не понимала и совершенно не знала музыки в точном значении этого слова. Но о 'музыке' в том отвлеченном, расплывчатом, отчасти нитшевском значении, в каком слово это часто употребляется в наше время, говорить любила. Блоковский призыв 'слушайте музыку революции!' приводил ее в негодование, но недоумения в ней никакого не вызывал. Она к этому языку привыкла, сама способствовала его утверждению, и недаром же величала себя 'бабушкой русского декадентства'... Однако сама она была человеком без 'музыки'." (Георгий Адамович. *Одиночество и свобода*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 158). 29 октября 1917 г. З. Гиппиус писала:

Веселье

Блевотина войны — октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твое похмелье,
О бедная, о грешная страна!
Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном
Народ, безумствуя, убил свою свободу
И даже не убил — засек кнутом?
Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!

(Зин. Гиппиус. *Стихи. Дневник 1911-1921.* Изд. „Слово", Берлин, 1922, стр. 76). **232**

ГЛЕБОВА-СУДЕЙКИНА, Ольга Афанасьевна (1885 — 1945). Драматическая атристка, героиня *Поэмы без героя* и долголетняя приятельница Ахматовой. В эмиграции с начала 1920-х гг. „Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, выдающаяся танцовщица, первая жена знаменитого художника и театрального декоратора Сергея Судейкина, умершего в Соединенных Штатах Америки. Женщина рафинированной культуры, вращавшаяся в центре художественного и литературного мира тогдашней России и близкая подруга Анны Ахматовой''. (Юрий Анненков. *Дневник моих встреч. Цикл трагедий*. Т. 1, МЛС, 1966, стр. 77). „В *Бродячей Собаке*... улыбается Карсавина, танцует свою очаровательную 'полечку' О. А. Судейкина. Переливаются черно-красно-золотые стены. Музыка, аплодисменты, щелканье пробок, звон стаканов...'' (Георгий Иванов. *Петербургские зимы*. Париж, 1928, стр. 60). „Кто-то выдумал, что Ольга была выдающейся танцовщицей. Чепуха: 'цветок театральных училищ', или 'булавочно-маленькая актриса'. Капля жеманства и чуть-чуть припахивает Кузминым. ... Ахматова считала Ольгу воплощением всех женских качеств и постоянно сообщала мне рецепты, как хозяйничать и обольщать людей согласно Ольге Афанасьевне Глебовой-Судейкиной, козлоногой героине 'Поэмы', в которой нет героя''. (Над. Мандельштам. *Вторая книга*. Изд. УМСА, Париж, 1972, стр. 510).

Ты в Россию пришла ниоткуда,
О мое белокурое чудо,
Героиня десятых годов...
... О, подруга поэтов...

(А. Ахматова. *Поэма без героя*). **279**

ГОГОЛЬ, Николай Васильевич (1809 — 1852). „Чары Гоголевского слова необычайны, с непростым знанием пришел он в мир. ... Путь Гоголя — дорога странника, очарованного и чарующего: очарованного пустотой призрачного вийного мира, огнем вещей и чарующего своим волшебным вийным словом; дорога окончится тем последним земным мигом, когда в чичиковой немой 'сердечной пустыне' прозвучит расковывающее слово и за синим

рассеивающимся туманом звездного гоголевского неба откроется белый, самый жаркий пронзительный свет с 'преступной' жалостью (из памяти 'пекла') и райской незабываемой любовью (Старосветские помещики)". (А. Ремизов. *Огонь вещей*. Изд. ,,Оплешник", Париж, 1954, стр. 21).

108, 134, 225, 236, 270, 329, 374, 379, 399, 405, 503, 514

ГОДИН, Яков Владимирович (1887 — 1954). Поэт. **137, 138**

ГОЛИЦЫН, князь Дмитрий Михайлович (1665 — 1737), государственный деятель, член Верховного тайного совета. **486**

ГОЛОВИН, Александр Яковлевич (1863 — 1930). Академик живописи, театральный художник. ,,Мою живопись некоторые критики считают оторванной от современности. В свое 'оправдание' я могу сказать следующее. Сюжет, фабула, тема — всегда, конечно, имели и будут иметь в искусстве важное значение. Но меня в станковой живописи привлекал не только сюжет, а и чисто живописные задачи. Я охотно писал натюрморты и цветы, привлекавшие меня сочетанием звонких и радостных красок. Меня увлекало иногда какое-нибудь яркое пятно и его сочетание с другими тонами, с окружающей средой. ..." (А. Ф. Головин. *Встречи и впечатления*. Изд. ,,Искусство", Л-М, 1940, стр. 128).

148

ГОНЧАРОВА, Наталия Сергеевна (1881 — 1962). Художница, театральная художница. С 1915 жила заграницей. ,,Она отличалась большим умом и высокой культурой и была очаровательным товарищем. ... Успех Гончаровой, сумевшей слить тончайшую красочную изысканность с наивностью русского лубка, был огромный..." (Юрий Анненков. *Дневник моих встреч. Цикл трагедий*. Т. 2, МЛС, 1966, стр. 222, 220). **43**

ГОРДИН, Владимир Николаевич (1882 —?). Поэт и журналист. В 1921 г. редактировал литературный отдел ,,Красного Балтийца". ,,... Слог его /Ив. Рукавишникова/ ужасен; у самого Гордина

нет такого слога..." (Н. С. Гумилев. *Статьи и заметки о русской поэзии. — Собр. соч. в 4 тт.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 4, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 247).

118, 119

ГОРНФЕЛЬД, Аркадий Георгиевич (1867 — 1941). Литературовед, критик, переводчик. Был близок к народникам. Горький умилялся его книге *Муки слова*. А А. Блок писал: „Заслуга автора брошюры, написанной не совсем стройно и бледновато, — в постановке темы: почва шатка, а материал соблазняет к обобщениям, которые создали бы неизбежную путаницу. Горнфельд ищет научной точки зрения..." (А. Блок. *Собр. соч. в 8 тт.*, т. 5, ГИХЛ, М-Л, 1962, стр. 637). **127**

ГОРОДЕЦКИЙ, Сергей Митрофанович (1884 — 1967). Поэт. „Вообще, что за талантливое существо Городецкий! За что ни возьмется — талантливо. И все с налету, шутя, с улыбкой, мимоходом... Так и стихи начал писать и, шутя, — прославился. Лег спать никому неведомым двадцатилетним студентом, а на утро — вышла *Ярь* — проснулся знаменитостью. И кто не читал через месяц наизусть:

Стоны, звоны, перезвоны,
Стоны звоны, звоны-сны. ...

Бывают и неприятности, конечно. Сологуб, например, прощаясь /после литературного вечера ' в русском стиле' у Городецкого/, поворчит по-стариковски: — А где же ваш главный распорядитель? — Какой, Федор Кузьмич? — Да Лейферт, костюмер. Лапти-то у него напрокат брали? ... Весной 1920 года Городецкий приехал в Петербург с новеньким партийным билетом в кармане и в предшествии коммунистки Ларисы Рейснер. Муж Рейснер, известный Раскольников, комиссар Балтфлота, захватил где-то на фронте, вместе с поездом 'Освага' /Осведомительное агентство — пропагандный отдел Добровольческой армии ген. Деникина/ и работавшего в 'Осваге' Городецкого. ... На эстраде на этот раз

стоял не Кольцов, а Ленин... И уже не косоворотка, а 'революционный' френч был на Городецком. Рейснер говорила вступительное слово. — Кто из нас бросит в него камнем? У кого из нас руки не выпачканы... грязными чернилами 'Речи'? /дореволюционная либеральная газета кадетского направления/. Он заблуждался — теперь он наш. Забудем прошлое. — После Рейснер — Городецкий, встряхнув кудрями и окинув аудиторию милыми, серыми глазами, читал стихи о Третьем интернационале''. (Георгий Иванов. *Петербургские зимы*. Париж, 1928, стр, 77, 84-85, 85-86) . **135**

ГОРОХОВ, солдат (в царствование Анны Иоановны) . **497**

ГОРШКОВ, Алексей Иванович. Хозяин московской пивной. **174**

ГОРЬКИЙ, Максим (Алексей Максимович Пешков: 1868 — 1936) . ,,Нередко случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительною беззаботностью, точно уверен был, что его никто не сможет или не захочет уличить во лжи. Вот один случай, характерный и в этом отношении, и в том, что ложь была вызвана желанием покрасоваться — даже не передо мной, а перед самим собой. Я вообще думаю, что главным объектом его обманов в большинстве случаев был именно он сам. 8 ноября 1923 г. он мне писал: 'Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в 'Накануне' /сменовеховская берлинская газета, издававшаяся на советские деньги и фактически редактировавшаяся московским отделением редакции, в котором, между прочим, работал и М. А. Булгаков/ напечатано: 'Джиоконда, картина Микель-Анджело', а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: 'Отдел религии должен содержать только анти-религиозные книги'. Все сие будто бы отнюль не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: *Указатель об изъятии анти-художественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя'*. Сверх строки мною написано 'будто-бы'

тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу *Указатель*. Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой? Знали бы Вы, дорогой В. Ф., как мне отчаянно трудно и тяжко!' В этом письме правда — только то, что ему было 'трудно и тяжко'. Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого 'духовного вампиризма'. Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществит протест, послав заявление о выходе из советского подданства. Может быть, он даже и начал писать такое заявление, но, конечно, знал, что никогда его не пошлет, что все это — опять только 'театр для себя'. И вот он прибег к самой наивной лжи... : сперва написал мне о выходе *Указателя*, как о совершившемся факте, а потом вставил 'будто-бы' и притворился, что дело нуждается в проверке... ... Между тем, никаких сомнений у него быть не могло, потому что *Указатель*, белая книжечка небольшого формата, **давным давно у него имелся**. За два месяца до этого письма, 14 сентября 1923 г., в Берлине, я зашел в книгоиздательство 'Эпоха' и встретил там бар. М. И. Будберг /многолетнюю секретаршу и друга Горького/. Заведующий издательством С. Г. Сумский при мне вручил ей этот *Указатель* для передачи Алексею Максимовичу. ... Тотчас по приезде *Указатель* был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания /у него/ ... о нем было не мало говорено. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел *Указатель* у него в руках, — и вот он беззаботнейшим образом уверяет меня, будто книжки еще не видел и даже сомневается в ее существовании. ..." (В. Ф. Ходасевич. *Некрополь*. Воспоминания. Изд. „Петрополис", Брюссель, 1939, стр. 266, 268-269) . Ремизов о Горьком: „... Но и среди простых смертных — Горький, я различаю его голос. А ведь дарования ни ахти сколько, а слышно!" (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 91) . „... Человек 'высокого сердца' " (там же, стр. 232) . „... Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав,

за торжество которых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к 'социальной революции' — на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции. На этом пути Ленин и соратники его считают возможным совершать все преступления, вроде бойни под Петербургом, разгрома Москвы, уничтожения свободы слова, бессмысленных арестов — все мерзости, которые делал Плеве и Столыпин. ...'' (М. Горький. *К демократии*. ,,Новая Жизнь'', 7/20 ноября 1917. Перепеч. в книге его: *Несвоевременные мысли*. Сост. Г. Ермолаев. Париж, 1971, стр. 102) .

69, 91, 113, 131, 349, 255, 215, 377, 446, 505

ГОСПОЖИНКИ: двухнедельный пост перед днем Успения и самый этот день (15 авг./ст. Ст.) . (Вл. Даль. *Толковый словарь живого русского языка*, т. 1, 1880, стр. 386) . **519**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ. Совещание, созванное Временным правительством. Состоялось в Москве, 12-15 (25-28) августа 1917. Присутствовало около 2.500 человек. ,,Оно состояло из представителей разных партийных и профессиональных организаций, а также воинских частей. На маму произвело большое впечатление триумфальное появление Верховного Главнокомандующего генерала Корнилова и его выступление, а также других военных вождей. Наоборот, поведение Керенского и представителей революционной демократии на Государственном Совещании произвело на маму удручающее впечатление. Все их выступления ограничивались воплями, именно воплями, о необходимости спасения революции. Возвратившись в Петроград, мама все время повторяла, что вся надежда на военных вождей и на армию. — 'Если генералы ничего не смогут сделать, то никому не удастся спасти положение, спасти Россию от полного революционного развала и выполнить наши обязательства по отношению к союзникам', — постоянно повторяла она''. (Арк. Борман. *А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына*. Лувен-Вашингтон, 1964, стр. 135) . **189**

ГРЕБЕНЩИКОВ, Яков Петрович (1883 —?) . Журналист. ,,Книго-

ГРИНЕВИЧ, Вера Степановна. Составляла в 1906 г. и по рекомендации В. В. Розанова могла привлечь Ремизова к работе „по составлению образцового и руководственного каталога... по детскому чтению. ... Сама же она — баба умная и летучая — не в смысле мази, а в смысле птицы" (из письма к Ремизову Розанова, 1906: А. Ремизов. *Кукха. Розановы письма*. Берлин, 1923, стр. 50). Вера Степановна Гриневич, приятельница Е. К. Герцык. „Сын ее был убит чуть ли ни на ее глазах во время гражданской войны в их имении на Украине"... (С. Полякова. Примеч. в кн.: София Парнок. *Собр. стихотворений*. Изд. Ардис, Ан-Арбор, 1979, стр. 339). **142**

ГРИЦЕНКО. Человек, разбивший икону. **106**

ГРОЗНЫЙ — см. Иван Васильевич IV, Грозный.

ГРОСМАН, или Гутман. Звонарь на колокольне Ивана Великого в Москве. **178**

ГУМИЛЕВ, Николай Степанович (1886 — 1921). Из официального списка „активных участников заговора в Петрограде", расстрелянных по постановлению Петроградской ЧК 24 августа 1921: „Гумилев Николай Степанович, 33 лет, б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии 'Издательства Всемирная Литература', беспартийный, б. офицер. Участник Петроградской Боевой Организации, активно содействовал составлению прокламации контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности". (Г. П. Струве. *Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество*. Вст. статья в кн.: Н. Гумилев. *Собр. соч. в 4 тт.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 1, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1962, стр. XLI). „Стихи были всей его жизнью. Никогда не встречал я поэта до такой степени 'стихомана'. 'Впечатления бытия' он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строчки. ... В связи отчасти с этим стихотворным фанатизмом была известная ограниченность его мышления,

прямолинейная подчас наивность суждений. Чеканные, красочно-звучные слова были для него духовным мерилом. При этом — неистовое самолюбие! Он никогда не пояснял своих мыслей, а 'изрекал' их и спорил как будто для того лишь, чтобы озадачить собеседника. Вообще было много детски-заносчивого, много какого-то мальчишеского озорства в его словесных 'дерзаниях'... ... Замечу, к слову, что Готье был для него идеалом поэта''. (Сергей Маковский. *На Парнасе 'Серебряного века'.* Изд. ЦОПЭ, Мюнхен, 1962, стр. 199, 218) . ,,Блок умер 7-го, Гумилев — 27 августа 1921 года. ... Пожалуй, трудно себе представить двух людей, более различных между собой, чем были они. ... Принадлежа к одной литературной эпохе, они были людьми разных поэтических поколений. Блок, порой бунтовавший против символизма, был одним из чистейших символистов. Гумилев, до конца жизни не вышедший из-под влияния Брюсова, воображал себя глубоким, последовательным врагом символизма. Блок был мистик, поклонник Прекрасной Дамы, — и писал кощунственные стихи не только о Ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия. Для Блока его поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни. Для Гумилева она была формой литературной деятельности. Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни. Гумилев лишь тогда, когда писал стихи. Все это (и многое другое) завершалось тем, что они терпеть не могли друг друга — и этого не скрывали. ... Блока в Гумилеве должны были задевать 'пустоватость', 'ненужность', 'внешность'. ...'' (В. Ф. Ходасевич. *Некрополь*. Воспоминания. Изд. ,,Петрополис'', Брюссель, 1939, стр. 118-119, 127) . **338-340, 505**

ГУТМАН, или Гросман. Звонарь на колокольне Ивана Великого в Москве. **178**

ГЮНТЕР, Иоганнес фон- (1886 — 1973) . Немецкий поэт и переводчик русских поэтов и прозаиков на немецкий язык. Сотрудник ,,Аполлона''. Участник ,,Сред'' на ,,Башне'' Вя '. Иванова. Жил в Петербурге в 1908 — 1914 гг. Автор интересной книги

воспоминаний. „'Аполлон' — это Johannes von Guenther из Митавы — когда он читал свои немецкие стихи, не отличить было — манера, голос — да это сам Стефан Георге!" (А. Ремизов. *Мышкина дудочка*. Изд. „Оплешник", Париж, 1953, стр. 44). **124**

ДАЧА ДУРНОВО. Дурново, Петр Николаевич (1844 — 1915) — государственный деятель, министр внутренних дел в кабинете гр. Витте. **95, 124**

ДВОРЕЦ КШЕСИНСКОЙ. Дом, подаренный Николаем II его фаворитке (до брака с будущей императрицей Александрой Федоровной) — балерине М. Ф. Кшесинской. Дом — на набережной Петроградской стороны в Петербурге. „Вскоре мне удалось несколько раз увидеть Ленина на балконе особняка эмигрировавшей балерины Кшесинской, ставшего штаб-квартирой большевиков. Вокруг балкона собиралась разношерстная толпа, перед которой Ленин и неизвестные мне тогда его соратники беспрерывно произносили пропагандные речи". (Юрий Анненков. *Дневник моих встреч. Цикл трагедий*. Т. 2, МЛС, 1966, стр. 259-260). **95, 101-102**

ДЕВИЕР, граф Антон Михайлович, денщик Петра I, бывший еврей-юнга на португальском корсарском корабле, генерал-полицмейстер (1718) С-Петербурга. **481**

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ — Всероссийское демократическое совещание, созванное ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполнит. комитетом крестьянских депутатов. Происходило 14—22 сентября (27 сент.—5 окт.) 1917 г. в Петрограде. Так как на этом совещании, как и в самом составе тогдашних Советов рабочих и солдатских (не говоря уже о крестьянских!) депутатов большинство принадлежало не большевикам, а эсерам и меньшевикам, то в большевитской литературе к этому совещанию относятся с враждой и его всячески искажают в книгах, справочниках и в историях Октября. **206**

ДЕНИКИН, Антон Иванович (1872 — 1947). Генерал-лейтенант, Главнокомандующий Добровольческой Армии. В 1920 г. сдал командование ген. Врангелю и эмигрировал. Из телеграммы Г.В. Вильямса жене: „... Многие знакомые, которых я встретил, сильно изменились. Они разорены в финансовом отношении. Они не знают, где находятся члены их семейств. Но здесь царит поразительный дух, дух крестового похода. Бывают неудачи, но они скорее физического, чем морального характера. ...'' (Арк. Борман. *А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына*. Лувен-Вашингтон, 1964, стр. 178).

1.

Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу — грудь и висок.

Божье да белое твое дело:
Белое тело твое — в песок.

Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает...
Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.

11 марта 1918

2.

Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
— Где были вы? — Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет: — На Дону!
— Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

17 марта 1918

Приписка М. Цветаевой под этими стихами: „мои любимые''. (Марина Цветаева. *Лебединый стан.* Стихи 1917 — 1921 гг. Под-

Весь мир проникнут антиномизмом. Утверждение и отрицание, активность и пассивность, мужественность и женственность, и множество других парных взаимоотношений, одновременно сочетающихся и противоборствующих, постоянно присутствуют в глубине мирового процесса". (Э. Голлербах. *Рисунки М. Добужинского*. М-П, 1923, стр. 25) . **232**

ДОМ ИСКУССТВ. „... 'Сумасшедший корабль' — 'Дом Искусств', организованный Горьким (официально открыт 19 дек. 1919) при содействии 'великого комбинатора' и доставалы, знаменитого дореволюционного ресторатора Родэ ('Вилла Родэ' памятна многим не только петербуржанам) , чтобы как-то поддержать помиравших с голоду, полярного холода и бестопливья, зачастую и просто бездомных писателей страшного, но по-своему пленительного Петербурга 1920-1921 годов. Помещался 'Дом Искусств' в огромном узком здании, выходившем на Невский, Мойку и Большую Морскую, ныне улицу Герцена, в бывшем дворце постройки Варфоломея Растрелли, последним дореволюционным владельцем которого был известнейший хозяин фруктовых и винно-гастрономических магазинов — Елисеев. Дом этот напоминал корабль не только Ольге Форш /написавшей полудокументальную повесть *Сумасшедший Корабль*, Изд. Писателей в Ленинграде, 1931, после **никогда** не переиздававшуюся в СССР, хотя это — лучшее произведение писательницы/: в своих воспоминаниях *Дом Искусств* другой временный насельник этого художнически-писательского дома-обители, Владислав Ходасевич..., пишет, что когда 'по вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах — некоторые видны были с самой Фонтанки — ... весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье.' ... Петербург тех дней был жуток и романтичен, поражен проказой голода и холода — и нечеловечески красив не только своей архитектурой и Невой, но и какой-то отвлекшейся от всего материального духовностью. Этому не мешала, а даже как-то своеобразно способствовала бешеная погоня за куском насущного хлеба, поленом сырых дров. Один из обитателей Сумасшедшего Корабля, Осип Мандельштам, писал в те годы: 'Трава на петербургских улицах — первые побеги девственного леса, который

покроет место современных городов. Эта яркая, нежная зелень, свежестью своей удивительная, принадлежит новой одухотворенной природе. Воистину Петербург самый передовой город мира. Не метрополитеном, не небоскребом измеряется бег современности: скорость, а веселой травкой, которая пробивается из-под городских камней. ... Да, старый мир — 'не от мира сего', но он жив более чем когда-либо. Культура стала церковью. Произошло отделение церкви-культуры от государства. Светская жизнь нас более не касается, у нас не еда, а трапеза, не комната, а келья, не одежда, а одеяние. Наконец мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье. ... Яблоки, хлеб и картофель — отныне утоляют не только физический, но и духовный голод. Христианин, а теперь всякий культурный человек — христианин, не знает только физического голода, только духовной пищи. Для него и слово, и простой хлеб — веселье и тайна' /*Слово и культура. — Собр. соч. в 3 тт.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, изд. 2-е, МЛС, 1971, стр. 222-223/". В Доме Искусств жили — в разное время — Виктор Шкловский и Пяст, Ходасевич и Тихонов, Ольга Форш — и Зощенко, Юрий Слонимский и критик и эссеист Аким Волынский, художница Щекотихина и прозаик Александр Грин, написавший о „Доме Искусств" свою лучшую повесть — *Крысолов*. На литературных вечерах Сумасшедшего Корабля выступали Александр Блок и Мария Шкапская, Корней Чуковский и Николай Гумилев, Осип Мандельштам и Евгений Замятин. И все одинаково голодали и холодали. Но вели занятия в творческих студиях — с поэтами, а больше с поэтессами — Гумилев, с прозаиками — Замятин... (см. Вступ. статью к кн.: Ольга Форш. *Сумасшедший Корабль*. Повесть. Ред. Б. А. Филиппов. МЛС, Вашингтон, 1964, стр. 7-8, 9-10 и след.).
„Скоро потом /после Кронштадтского восстания/ завершилось и существование Сумасшедшего корабля. Решено было, из соображений хозяйственных, этот дом, населенный писателями, ликвидировать. Шли переговоры. Дом старались отстоять. Однажды громадный человек /глава Петрокоммуны Г. Зиновьев/ грузно перевалился через порог. ... Разводя руками перед собственным объемом и отдуваясь, он сказал: — ну, я сделал для русской литературы все, что мог. Я передал Дом Искусств — Дело-

вому Клубу". (Ольга Форш. *там же*, стр. 228). **468, 511**

ДОМКОМБЕД. — „Комитет домашней бедноты" — дома, отобранные у домовладельцев, передавались коллективам беднейших жителей этих домов. Одновременно в бывшие „барские" квартиры (а в сущности, в квартиры всех интеллигентных людей) вселялись из подвальных помещений семьи дворников, из близ лежащих общежитий рабочих — семьи рабочих, и т. д. Об этом очень красочно пишет Мих. Булгаков в своем *Собачьем сердце*. Само по себе такое переселение бедноты из подвалов и трущоб — дело вполне достойное. Но чаще всего вселялись не труженики, а босяки, полу- и просто уголовный элемент...
337, 410, 426, 428,431

ДОСТОЕВСКИЙ, Федор Михайлович (1821 — 1881). „А имена, под которыми прошла жизнь в России за 44 года (1877 — 1921) — Достоевский, Лесков...". „Когда говорят: Толстой или Достоевский, надо спросить себя: кто из них сказал больше о человеке. И ответ будет один: да, конечно, Достоевский. Впрочем, Достоевского читают глазами для острого развлечения, а о том, что он показывает, не задумываются — голова не подготовлена". (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 111, 137).
52, 230, 270, 271, 397, 398, 400, 472, 479

ДЬЯКОНОВ, Михаил Александрович (1855 — 1919). Историк, проф. истории права. Много писал об истории русского крестьянства. **130, 131**

ДЯГИЛЕВ, Сергей Павлович (1872 — 1929). Русский театральный и художественный деятель, главный редактор журнала „Мир Искусства", организатор художественных выставок, музыкальных русских сезонов в Париже, глава и художественный руководитель многолетней балетной антрепризы в Европе. Гениальный организатор. „... Деморализация преемников встряхнула Дягилева, и он... блестяще доказал преимущества единоличного начала, и то, что для него трудностей не существует, что он все может, если захочет... ... Дягилев даже близких людей то обвораживал простотой и лаской, то отталкивал грубо проявляемым чванством. Это особенно стало заметным с момента, когда он

стал иметь общественный успех, и эта самая черта почти всегда вредила его успеху; в ней, в каком-то барском самодурстве, заложены причины всех его неудач и главной среди них — того, что он так и не создал себе почвы под ногами на родине, да и на чужбине он видел такие подъемы и провалы, которые всякого другого давно бы 'укатали' и просто отвратили бы его от избранного поприща. Это 'гарцевание', это 'чванство' сказались не только в общении с людьми Дягилева, но и в его личном творчестве, и помешали ему занять то место в критике, которое ему по правам таланта принадлежало. ... /Но/ Дягилев без чванства, без снобистических замашек, без чрезвычайной изысканности своего вида, без монокля, без надменного тона, без задранной головы, без оскорбительного подчас крика на своих 'подчиненных' был бы уже не Дягилевым. ... Дягилев был скорее чужд литературе и философии и самого общения с литераторами он избегал''. (Александр Бенуа. *Возникновение „Мира Искусства''.* Изд. Гос. Акад. Матер. Культуры, Ленинград, 1928, стр. 54, 44, 41). **114, 512**

ЕГОР, садовник московских фабрикантов Найденовых (братьев матери А. М. Ремизова), прошедший выучку в Париже. **18**

ЕГОРОВ, содержатель бань в Петербурге. **218**

ЕЛИСЕЕВ, владелец знаменитиых на всю Россию винно-гастрономических и фруктовых магазинов в Петербурге и Москве. **319**

ЕЛЧАНИНОВ, комиссар при строительстве Петергофа при Петре I. **487**

„ЕРЕМЕЕВСКАЯ НОЧЬ'' — Варфоломеевская ночь. **46**

ЕРМОГЕН (Гермоген), святитель (не позже 1530 — 1612), московский партиарх (с 1606), умученный поляками в тюрьме голодом — в Смутное время. **127**

ЕСЕНИН, Сергей Александрович (1895 — 1925). „Вращался он

тогда в дурном обществе. Преимущественно это были молодые люди, примыкавшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира. Философствовали постоянно и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие. Мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали. Ходили к проституткам проповедовать революцию — и били их. ... Все писали стихи и имели непосредственное касательство к че-ка. Кто-то из серафических блондинов позднее прославился именно на почве расстреливания. Думаю, что Есенин знался с ними из небрезгливого любопытства и из любви к крайностям, каковы бы они ни были. Помню такую историю. Тогда же, весной 1918 г., Алексей Толстой вздумал справлять именины. Созвал всю Москву литературную. ... Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. ... Это был /чекист/ Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотел щегольнуть — и простодушно предложил поэтессе: — А хотите посмотреть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою''. (В. Ф. Ходасевич. *Некрополь*. Воспоминания. Изд. ,,Петрополис'', Брюссель, 1939, стр. 210-211) .

От оклеветанных Голгоф
Тропа к Иудиным осинам.

геровым, А. З. Штейнбергом и др., Замятин так рассказывал Р. В. Иванову-Разумнику „о сцене допроса. Нахохотавшись вдоволь по поводу предъявленного ему обвинения, он... заполнил лист неизбежной анкеты, причем на вопрос — не принадлежал ли он к какой-либо политической партии, ответил кратко: 'принадлежал'. После чего между ним и следователем произошел следующий диалог: — К какой партии принадлежали?... — К партии большевиков! — В годы студенчества Е. И. Замятин действительно входил в ряды этой партии, ярым противником которой стал в годы революции. Следователь был совершенно сбит с толка: — Как! К партии большевиков? — Да. — И теперь в ней состоите? — Нет. — Когда же и почему из нее вышли? — Давно, по идейным мотивам. — А теперь, когда партия победила, не сожалеете о своем уходе? — Не сожалею. — Объясните, пожалуйста, не понимаю. — А между тем понять очень просто. Вы коммунист? — Коммунист. — Марксист? — Марксист. — Значит, плохой коммунист и плохой марксист. Будь вы настоящим марксистом, вы бы знали, что мелкобуржуазная прослойка попутчиков большевизма имеет тенденции к саморазложению, и что только рабочие являются неизменно классовой опорой коммунизма. А так как я принадлежу к классу мелкобуржуазной интеллигенции, то мне непонятно, чему вы удивляетесь. Эта ироническая аргументация так подействовала на следователя, что он тут же подписал ордер на освобождение". (Р. В. Иванов-Разумник. *Тюрьмы и ссылки*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 41-42). В 1921 г. в № 1 альманаха *Дом Искусства* Замятин опубликовал статью *Я боюсь*, говорящую о том, что вот „французская революция гильотинировала переряженных придворных поэтов. А мы 'юрких авторов, знающих, когда надеть красный колпак и когда его скинуть', когда петь Сретение Царя /это выражение — из верноподданически-монархического сборника стихов Городецкого, будущего коммуниста.../ и когда серп и молот — мы их преподносим народу, как литературу, достойную революции. И литературные кентавры, давя друг друга и брыкаясь, мчатся в состязании на великолепный приз: монопольное право писания од, монопольное право рыцарски швырять грязью в интеллигенцию. ... Главная причина молчания /подлинной, не рептильной, большой лите-

ратуры/ — не хлебная, не бумажная, а гораздо тяжелее, прочнее, железней. Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. ... Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое''. (Евг. Замятин. *Лица*. МЛС, 1967, стр. 185-186, 189-190) . ,,... Замятин, обескураживающий своей Англией доверчивого, преклоняющегося перед заграничной культурой, Горького...'' (А. Ремизов. *Подстриженными глазами*. Изд. УМСА, Париж, 1951, стр. 219) .

116, 211, 254, 275, 348, 377, 470

ЗАНДЕР, А. Л. Не опечатка ли? Может быть: Зандер, Лев Александрович (1893 — 1964) . Религиозный мыслитель, критик. Эмигрант. **145**

ЗАСУЛИЧ, Вера Ивановна (1849 — 1919) . Революционерка, террористка, публицист, критик. **70**

ЗЕЛЕНЫЙ СБОРНИК. Альманах, вышедший в 1905 г. ,,Кузмин выступил в 1905 г. в *Зеленом Сборнике*. Блок написал рецензию в 'Вопросах Жизни'. ... И тоже стихи — в первый раз был напечатан Ю. Н. Верховский, известный под 'обезьяньей' кличкой 'Слон Слонович'... ... Третий участник *Зеленого Сборника* — проза: Вяч. Менжинский, впоследствии заместитель Дзержинского. Блок выделил Менжинского...'' (А. Ремизов. *Пляшущий демон. Танец и слово*. Изд. ,,Дом Книги'', Париж, 1949, стр, 48) . **511**

ЗЕМЦОВ, Михаил Григорьевич (1688 — 1743) . Архитектор, сначала работавший под руководством Трезини по застройке Петербурга, а затем — самостоятельно. **487, 496**

ЗЕНБУЛАТОВ. Один из сотрудников Петра I. **482, 483**

ЗЕРНОВ, Михаил Степанович (1857 — 1938) , доктор медицины,

создатель и владелец санатории в Ессентуках, общедоступной, приемлемой по цене для малоимущей интеллигенции. ,,А какой рай Божий открыл нам московский доктор Михаил Степанович Зернов...'' (А. М. Ремизов. *Мышкина дудочка*. Изд. ,,Оплешник'', Париж, 1953, стр. 179) . Др. Зернов лечил Ремизовых и в Париже, в эмиграции — вплоть до самой смерти. **190**

ЗИЛОТИ, Александр Ильич (1863 — 1945) . У Ремизова — Зилотти. Пианист (ученик Франца Листа; написал воспоминания о нем), дирижер, педагог, музыкальный деятель. ,,Ученик Н. Рубинштейна и Листа. В течение многих лет, начиная с 1900 года, возглавлял основанные им симфонические и камерные концерты, сначала в Москве, затем (с 1903 г.) и в Петербурге. ... В 1919 году эмигрировал заграницу'' (С. И. Шлифтштейн. Примечания в кн.: С. С. Прокофьев. *Материалы. Документы. Воспоминания.* Изд. 2-е, Музгиз, М., 1961, стр. 628) . ,,В Мариинском театре на место ушедшего Теляковского был назначен Зилоти, но он ничего не мог поделать с певцами и оркестром, которым совсем не хотелось путаться в дебрях 'Игрока'...'' (С. Прокофьев, в той же книге, стр. 158) . Зилоти был одним из возглавителей той части труппы Мариинского театра, какая не хотела работать с большевиками, и был снят Луначарским с поста Директора государственных — бывших императорских — театров. **145, 148**

,,ЗНАМЯ БОРЬБЫ'' — ошибка Ремизова. Газета эта, орган партии левых эсеров, выходившая в 1917-1918 гг., называлась: ,,Знамя Труда''. В ней сотрудничали А. А. Блок, Н. А. Клюев, А. М. Ремизов, Р. В. Иванов-Разумник и др. **278**

ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ, Евгений Александрович (1884 — 1954) , прозаик, драматург, театровед, шахматист, секретарь редакции журнала ,,Аполлон'', после Октября — эмигрант. 3 декабря 1910 в ,,Доме Интермедий'' в постановке Вс. Э. Мейерхольда шла его пьеса *Обращенный принц*. ,,Евг. Зноско-Боровский своей пьесой *Обращенный принц* начинает вводить в русскую драму характерные особенности испанского театра, сгущая приемы гротеска''. (Вс. Мейерхольд. *Новый театр*. В его кн.: В. Э. Мейерхольд.

Статьи. Письма. Речи. Беседы. Т. 1, изд. „Искусство", М., 1968, стр. 188). **119**

ЗОЛОТАРЬ, следователь Петроградской ЧК в первые годы Октября. **283, 284, 285**

ЗОНОВ, Аркадий Павлович (ум. 1922). Режиссер, актер (псевдоним — Павлов). „Давнишнее знакомство и верная дружба связывала нас с Зоновым. Я познакомился с ним, когда он и Мейерхольд учились в Филармонии. Я был выслан в Пензу и тайком приехал в Москву — приютили меня Зонов и Мейерхольд. ... Меня выслали в Устьсысольск. Из Устьсысольска мне удалось пробраться в Вологду. А. А. Богданов (Малиновский) выдал мне свидетельство о болезни, и губернатор Князев оставил меня в Вологде 'под присмотром П. Е. Щеголева и Б. В. Савинкова'. И в Вологду приезжали ко мне Мейерхольд и Зонов. А когда кончилась ссылка, я поехал в Херсон и поступил в театр к Мейерхольду. Там же был и Зонов". (А. Ремизов. *Кукха. Розановы письма*. Берлин, 1923, стр. 40-41). **121, 258**

ЗОРГЕНФРЕЙ, Вильгельм Александрович (1882 — 1938). Поэт, переводчик, журналист (один из псевдонимов — Зор). „Репрессирован и посмертно реабилитирован", как о нем пишет *Краткая Литературная Энциклопедия*. Друг А. А. Блока. Вышла единственная книжка его стихов *Страстная суббота*. Стихи. Обложка работы С. В. Чехонина. Изд. „Время", Петроград, 1922, 56 стр.

Вот и все. Конец венчает дело.
А, казалось, делу нет конца.
Так покойно, холодно и смело
Выраженье мертвого лица. ...
... Вот и верь, как говорится, дружбе:
Не могли в последний раз придти!
Говорят, что заняты по службе,
Что трамваи ходят до шести.
Дорогой мой, милый мой, хороший,
Я с тобой, не бойся, я иду...

Господи, — опять текут калоши,
Простужусь, и так совсем в бреду!
Господи, верни его, родного!
Ненаглядный, добрый, умный, встань!
Третий час на Думе. Значит снова
Пропустила очередь на ткань. ...

связано, и что поэт только тогда поэт, когда он это сознает и чувствует... У него была не эрудиция, а чудесный, действительно редчайший дар проникновения в эпохи, его уму и сердцу близкие, особенно в мир античный. При том, по складу своему он вовсе эллином не был...'' (Георгий Адамович. *Одиночество и свобода*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 253-255) . ,,Я вновь ее увидел, вырвавшись из круга ее мук — агонию души, не узнающей себя в своих внутренних противоречиях и яростно, в отчаянии борющейся сама против себя самой. Так, содрогаясь, думал о своей родине В. И., когда он оказался стоящим на верной не взрывчатой почве. Он огляделся: вокруг него мир — равнодушный, пресыщенный; вокруг него люди изысканные и извращенные, но духовно примитивные невегласы, готовые все испытать и сочетать при условии, чтобы слова и поступки их не имели никакой действенной силы, и ни к чему не обязывали. И вдруг ему стало очевидно, что эта духовная тупость перекликается в какой-то полярной бесовской сопряженности с революционным неистовством. Его охватила гнетущая тоска. И Россия предстала перед ним страшнее чем раньше, когда он был включен в круг ее пыток. Но, всматриваясь в ее страшный образ, он увидел, что чрез искаженное болью лицо явственно проступает другой ее — строгий, смиренный, светлый лик. В Риме 1924 года В. И. понял: между двумя волями нет средних позиций. Все сводится к трагической диаде: *δίχα πάντα διέσχισται*. 'Пришел час, когда должно решить идешь ли ты за или против Того, Кто есть единственный предмет ненависти апостолов Ненависти. Пусть каждый выбирает один из воюющих Градов''. (О. Дешарт. *Введение*. В кн.: Вячеслав Иванов. *Собр. соч.*, т. 1, Брюссель, 1971, стр. 173-174) .

Небесный Царь! Приди к нам Утешитель,
Дух Истины! Повсюду Ты еси;
Все в полноту возводишь Ты, Живитель.
Вселись же в нас, живый на небеси,
И наших тел очисть от скверн обитель,
И наши души, Дух Благий, спаси.
Источник Благ, Хоровожатый Жизни,

Град Божий нам яви в земной отчизне.

(Вяч. Иванов. *Человек*. „Дом Книги", Париж, 1930, стр. 98).
122, 144, 510

ИВАНОВ, Евгений Павлович (1879 — 1942). Поэт, литератор, близкий друг Блока. „Женя... непонятен мне, но дорог и любим" (А. Блок. *Дневник. 17 окт. 1911. — Собр. соч. в 8 тт.*, т. 7, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 69). **507-508**

ИВАНОВ-РАЗУМНИК, Разумник Васильевич (1878 — 1946). С 1941 — эмигрант. Литературовед, социолог. „В России после годов 'под коленку' я нашел себе пристанище: 'Заветы' и 'Скифы'. Иванов-Разумник принял меня безоговорочно, каков я есть. Крылатые Андрей Белый и Блок, а я с подрезанными на первый взгляд крыльями — где-то и в чем-то мы соприкасались. Никогда не успокоенный, я чувствовал себя земляным, а Блока и Белого — небесными детьми". (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 127-128). После ареста в феврале 1918 г., в качестве мнимого участника мнимого „заговора левых эсеров", „целых пятнадцать лет... меня не трогали и позволяли, хоть и на больших тормозах, двигаться в литературе. Но видя все, что творилось кругом, я никогда не верил в прочность своего дома, построенного на песке: знал, что для ГПУ я — 'идеолог народничества' и убежденный противник марксизма, хотя и противник с заткнутым ртом. ... Пятнадцать лет до третьей тюрьмы осталось. ... 'Раньше были только цветочки — ягодки будут впереди'." (Р. В. Иванов-Разумник. *Тюрьмы и ссылки*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 77). „'Индустриализация' — лицевая сторона медали, 'коллективизация' и миллионы ее жертв — сторона оборотная. Ты ничего не смеешь сказать о последней? Молчи же и о первой: бывают эпохи, когда писатель обязан **не** быть публицистом. ... Художник должен быть целомудренным в выборе темы и в формообразовании ее. Порнография — детская игрушка по сравнению с тем разлагающим души социально-политическим ядом, который ... может отравить иной раз целое поколение молодежи. Вот где именно

евангельское слово о соблазне малых сил: лучше бы жернов повешен был на шее его и потонул он в пучине морской. Лучше бы потому, что ведь впоследствии, когда придет время -суда истории, жернов осуждения будет повешен на имени этого художника''. (*Там же*, стр. 128-129) .

74, 153, 161, 176, 201, 211, 231-232, 233, 275, 327, 510

ИВОЙЛОВ — см. Княжкин, В. Н.

ИЛИОДОР (С. М. Труфанов, 1880 —?) , иеромонах, проповедник-черносотенец. **121**

ИННОКЕНТИЙ, монах. **195**

ИОНА, святой, митрополит московский с 1448 г. (ум. 1461) .

178, 519

ИОНОВ (Бернштейн) , Илья Ионович (1887— 1942). Поэт пролеткультовского направления и качества, старый коммунист, заведывавший Госиздатом в 20-е годы. ,,Горький..., узнав об Ионове и моих книгах /Собрание стихов Блока, задерживаемое Ионовым/, сказал, что такие факты надо собирать, что Ионов бездарен и многому навредил''. (Ал. Блок. *Дневник. 6 янв. 1919. — Собр. соч. в 8 тт*., т. 7, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 352) . ,,Утром Алянский сообщил о подлости, которую чинит мне г. Ионов — лучше не вспоминать: так тяжело и тоскливо в этот день''. (Ал. Блок. *Дневник. 13 янв. 1921. Там же*, стр. 396) . ,,Нового начальника, Ионова, выдвинуть... /на травлю Мандельштама/ было легче легкого. Старый шлиссельбуржец..., он отличался крутым нравом. Проще говоря, у него не все были дома: в Ленинграде, заведуя там Госиздатом, он безумствовал, как хотел. Однажды, рассердившись на одного из служащих, он приказал продержать его часок-другой в лифте, остановленном между этажами. Кажется, он разделил общую участь и погиб, как все''. (Над. Мандельштам. *Вторая книга*. УМСА, Париж, 1972, стр. 64) . **378, 510**

ИОНОВА, А. С. — очевидно, жена И. И. Ионова. **378**

Помилования я не просил, когда меня уговаривала великая княгиня Елизавета. И сейчас просить не буду'' (сказано осужденным в день казни помощнику прокурора Федорову. Роман Гуль. *Азеф*. Изд. 4-е, ,,Мост'', Нью-Йорк, 1974, стр. 187) .

Из стихов Каляева:

Да, судьба неумолима,
Да, ей хочется, чтоб сами
Путь мы вымостили к счастью
Благородными сердцами. ...
... Миг один, и жизнь уходит,
Точно скобрный, скучный сон,
Тает, тенью дальней бродит,
Как вечерний тихий звон. ...
... Что мы можем дать народу
Кроме умных, скучных книг,
Чтоб помочь найти свободу?
— Только жизни нашей миг.

(Цитирую по той же книге Р. Гуля, стр. 87) . **90**

КАМЕНЕВА. Ольга Давыдовна. Заведующая Театральным отделом Наркомпроса, коммунистка. ,,Ольга Давыдовна Каменева, жена Льва Каменева и сестра Троцкого, существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка. Быть может, в юности она игрывала в любительских спектаклях. Заведывать ТЕО она вздумала от нечего делать и ради престижа''. (Вл. Ходасевич. *Литературные статьи и воспоминания*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк., 1954, стр. 347) . **304, 510**

КАМЕНСКИЙ, Василий Васильевич (1884 — 1961). Поэт-футурист, прозаик, драматург, летчик. В футуристическом сборнике *Садок Судей* — ,,из пяти поэтов, давших туда свои стихи, подлинно дерзают только два: Василий Каменский и В. Хлебников... ... Василий Каменский говорит о русской природе. Она для него необъятна, так что охватить он может только частности. Отношение больших ветвей к маленьким, крик кукушки в лесу, игра

мелких рыбок под плотиком — вот темы его стихотворений, и это хорошо, потому что поэту не приходится напрягать своего голоса, и все, что он говорит, выходит естественно. Даже его неологизмы, подчас смелые, читатель понимает без труда и от всего цикла стихов уносит впечатление новизны, свежей и радостной''. (Н. С. Гумилев. *Статьи и заметки о русской поэзии. — Собр. соч. в 44 тт.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 4, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 260) . **151**

КАПЛУН, Борис Гитманович (Сумский) — ответственный работник управления Петрокоммуны, затем — Петросовета в начале 20-х гг. ,,... я встречал /Гумилева/ у представителя Петросовета (что-то вроде советского петербургского губернатора) , молодого Бориса Каплуна, где мы порой засиживались с Евгением Замятиным, Всеволодом Мейерхольдом и с молчаливо-мечтательной красавицей, балериной Ольгой Спесивцевой, которой Каплун оказал большую услугу, выдав ей бумаги на выезд заграницу... ... Студент Технологического института, Каплун сделал свою административную карьеру благодаря одной случайности: он был племянником Урицкого (основателя ЧК) и репетитором сына Зиновьева (или — наоборот) . К революции он относился без всякого интереса, но очень увлекался вопросами искусства и литературы. В качестве влиятельного партийца, Каплун сделал много страшных вещей, но много и очень добрых (я стараюсь быть объективным) . Однако, несмотря на это, спасти Гумилева ему не удалось. ... Я не могу все же не рассказать об одном трагическом дне, проведенном мною в Петербурге с Гумилевым, Каплуном и одной девушкой. Чрезвычайное увеличение смертности петербургских граждан благодаря голоду, всякого рода эпидемиям и отсутствию лечебных средств, а также недостаточное количество гробов, выдававшихся только 'на прокат' похоронным отделом Петросовета, — навели Каплуна на мысль построить первый в России крематорий. Это казалось ему своевременным и прогрессивным. Каплун даже попросил меня нарисовать обложку для 'рекламной брошюры', что я и сделал. В этом веселом 'проспекте' приводились 'временные правила о порядке сожжения трупов в петроградском государственном

Крематориуме' и торжественно объявлялось, что 'сожженным имеет право быть каждый гражданин'. Борис Каплун вообще отличался своеобразной изобретательностью. Так, в те же годы он печатно обратился 'к целому ряду писателей и драматургов с предложением написать пьесу на тему о продовольственной нужде РСФСР и о необходимости всемерной поддержки голодающих частей республики', добавив, что подобный 'план агитации при помощи **театрализации лозунгов Наркомпрода** (Народного Комиссариата Продовольствия) поможет ему в его продовольственной политике'. Не знаю, помогли ли эти пьесы Наркомпроду (ему помогла щедрая американская организация АРА), но некоторым 'драматургам', откликнувшимся на воззвание Каплуна, она принесла несомненную материальную поддержку... ...Укутанная в старую шаль поверх потертой шубы, девушка грелась, сидя в кресле у камина, где пылали березовые дрова. У ее ног на плюшевой подушке отдыхал огромный полицейский пес, ... счастливо уцелевший в ту эпоху, когда собаки, кошки и даже крысы в Петербурге были уже почти целиком съедены населением. За бутылкой вина, извлеченной из погреба какого-то исчезнувшего крупного буржуа, Гумилев, Каплун и я мирно беседовали об Уитмене, о Киплинге, об Эдгаре По, когда Каплун, взглянув на часы, схватил телефонную трубку и крикнул в нее: — Машину! — Это был отличный Мерседес, извлеченный из гаража какого-то ликвидированного 'крупного капиталиста'. Каплун объяснил нам, что через полтора часа должен был состояться в городском морге торжественный выбор покойника для первого пробного сожжения в законченном крематории — и настоял на том, чтобы мы поехали туда вместе с ним. В огромном сарае трупы, покрытые их лохмотьями, лежали на полу, плечо к плечу, бесконечными тесными рядами... — Выбор предоставляется даме, — любезно заявил Каплун, обратившись к девушке. Девушка кинула на нас взгляд, полный ужаса, и, сделав несколько робких шагов среди трупов, указала на одного из них... — Бедная, — шепнул мне Гумилев, — этот вечер ей будет, наверное, долго сниться. — На груди избранника лежал кусочек грязного картона с карандашной надписью: 'Иван Сидякин. Соц. пол.: Нищий'. — Итак, последний становится первым, — объявил Каплун и, обер-

нувшись к нам, заметил с усмешкой: — в общем, довольно забавный трюк, а?" (Юрий Анненков. *Дневник моих встреч. Цикл трагедий*. Т. 1, МЛС, 1966, стр. 100-102). **503**

КАПЛУН, Соломон Германович (Сумский). Журналист. Издатель русских книг в Берлине, заведующий издательством „Эпоха". В частности, издатель многих книг Андрея Белого. „Из таких людей, опекавших... /Андрея Белого/ самоотверженно и любовно, хочу назвать ... С. Г. Каплуна (Сумского), его тогдашнего издателя..." (В. Ф. Ходасевич. *Некрополь*. Воспоминания. Изд. „Петрополис", Брюссель, 1939, стр. 91). **468**

КАРАВАК, Луи (р. в конце 17-го в., ум. 1754). Придворный художник в России с 1716. **488**

КАРДАСЕЙ. „Резной мастер" — столярный и каменных дел мастер в Петергофе, в первой половине 18-го века. **488, 495**

КАРЛ-ФРИДРИХ, герцог Голштейн-Готторский, жених, а потом муж дочери Петра I Анны Петровны. Род. в 1700, ум. в 1739. **492**

КАРПОВ, Пимен Иванович (1887 — 1963). Поэт и прозаик. Крестьянин, летом многие годы зарабатывавший себе хлеб — как батрак в деревне, на сельских работах. Автор ряда книг стихов и романа *Пламень*, о котором писал А. Блок, как о важном документе эпохи (статья *Пламень*): „Карпов не видит в русской жизни ничего, кроме рек крови и моря огня: страсть, насилия, убийства, казни, все виды мучительств душевных и телесных — это 'фон' повести. ... Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной". (Ал. Блок. *Собр. соч. в 8 тт.*, т. 5, ГИХЛ, М-Л, 1962, стр. 484, 486).

З в е з д н о к о р м ч и й

Сторона ли моя окаянная,
Звезднокормчих-хлыстов сторона,

Ты ли Русь моя обетованная
На пропятие мне отдана?
Заряжу ружье патронами,
Отточу зазубренный штык
И за пламенными знаменами
Закачусь, бесшабашный мужик!
Сторонитесь, попы долгогривые!
Нипочем теперь мать и отец!
Разгулялось поволье гулливое,
Понакликало свету конец!...
·Только голову жаль забубенную...
Не скули ты, гнусавый набат,
Будто Русь искромсали крещенную
Штык зазубренный, острый булат!

(Пимен Карпов. *Русский Ковчег.* Стихи. Изд. ,,Новая Жизнь'', М. 1922) . **147**

КАРПОВ, Степан Карпович, комиссар строительства Петергофа при Петре I. **487, 499**

КАРТАШЕВ, Антон Владимирович (1875 — 1960) . Проф. Петербургской Духовной академии, после Февральской революции 1917 — министр исповеданий Временного правительства. В 1900-1917 гг. — участник Религиозно-философских собраний, близкий к кружку Гиппиус — Мережковского. Был арестован большевиками. После Октября вскоре же — в эмиграции. Был профессором Св.-Сергиевской Академии в Париже. ,,... Карташев (длинная и блестящая речь /на Религиозно-философском собрании/ с закрытыми (буквально) глазами; особенно поразило меня то место, где он говорил о том, что когда все споры и противоречия будут поставлены на истинную почву и доведены до конца, только и возникнет не евангельское, а неизвестное, **больше евангельского**, религия Иисуса Христа)''. (Ал. Блок. *Дневник. 22 ноября 1912. — Собр. соч. в 8 тт.*, т. 7, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр.180) . **201**

КАТЯ, прислуга А. М. и С. П. Ремизовых. **249-252**

КВАДРИЙ, Антон. Штукатурный мастер в Петергофе при Петре I. **488**

КЕРЕНСКИЙ, Александр Федорович (1881 — 1970). Народный социалист, член Государственной Думы, сначала — министр юстиции, а затем — глава Временного правительства и Главнокомандующий (его называли в те годы иронически „Главноуговаривающим"). С 1918 г. — в эмиграции. „... визит к Керенскому показал мне, в каких абсурдно-ненормальных условиях новой власти приходится работать. Я увидел, как эти люди, облеченные властью, **устают** — в самом обыкновенном, физическом смысле этого слова. Устают и не имеют, вероятно, возможности ни спать, ни есть. По длинным коридорам министерства юстиции взад и вперед носился А. Ф. Керенский, забегая в разные комнаты. Он был так озабочен, что на все, что попадалось в коридорах смотрел недоумевающими глазами, в том числе и на меня с Горьким... ... А за министром, еще более озабоченный, носился по пятам человек..., держа в руках бутылку с молоком. Он, по-видимому, бегал за министром с тем, чтобы не пропустить удобной минуты дать ему выпить хоть немного молока... ... Помню, как меня, помимо бутылки с молоком, поразила крайняя нервозность и издерганность людей, пытавшихся в это критическое время управлять Россией". (Ф. Шаляпин. *Маска и душа*. Париж, 1932, стр. 227). „В комнате, куда нас... ввели, было довольно много народу, все больше солдаты вперемежку с офицерами. Очевидно к назначенному нам часу был приурочен прием и других делегаций. ... Керенский с такою быстротою вошел в комнату, что показалось он вбежал в нее. Одет он был в темную тужурку... ... Его похудевшее, пергаментное лицо было крайне оживлено. Казалось, он вбежал к нам после ответственного выступления, волнение которого еще не отхлынуло от сердца. Новым в Керенском показалось мне некая военизация всего его образа, очевидно, дань революционной эпохе и его роли в ней. По окончании речей председателей армейских делегаций, заговорил сам Керенский, громко и твердо, характерно раз-

рывая и скандируя слоги слов. В его речи были стремительность и подъем. Он говорил, как власть имущий, патетически подчеркивая общенародный и демократический характер 'великой русской революции'. Было ясно, что Керенскому, как единственному среди членов Временного правительства кровному сыну революции (на Гучкове, Львове и Милюкове явно лежала печать адоптации), придется рано или поздно встать во главе ее. В ее центре он уже стоял, соединяя в своем лице власть министра Временного правительства со званием товарища председателя Совета рабочих и солдатских депутатов. Выступлением Керенского я лично остался вполне удовлетворен. ... Декларация Временного правительства, опубликованная в связи с его первым преобразованием, вернее, с развалом в мае месяце...: 'Основою политического управления страной Временное правительство избрало не принуждение и насилие, но добровольное подчинение свободных граждан суверенитету свободно избранной ими парламентской корпорации. Никогда оно не искало себе поддержки в физической, а всегда только в моральной силе. С тех пор как оно существует, Временное правительство ни разу не изменило этим принципам, а потому оно торжественно слагает с себя ответственность за пролитую кровь. Им не было пролито ни капли народной крови'. Приведя в своих воспоминаниях это 'завещание' Временного правительства, низвергнутый большевиками Керенский еще в 1922-м году 'открыто' признается, что, несмотря на все пережитое, он не может перечитывать прекрасные слова Временного правительства без 'сердцебиения и душевного подъема'. Нет спору, прекрасные слова, но все же вряд ли уместные в устах революционной власти в момент наступления на нее 'безответственных элементов', стремящихся — как это прекрасно понимали не только уходившие, но и остававшиеся члены Временного правительства — 'разгромить родину и революцию'. ... Осуждая бессилие и безволие Временного правительства, я осуждаю его не за то, что оно до конца пыталось защитить свободу, которую ненавидели его враги, а за то, что оно недостаточно энергично защищало ее от всех свободоненавистников". (Федор Степун. *Бывшее и несбывшееся*. Том 2. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1956, стр. 34-35, 59-60).

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы,
И ощетинился убийца-броневик
И пулеметчик низколобый, —
— Керенского распять! — потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала:
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
И сердце биться перестало!
И укоризненно мелькает эта тень,
Где зданий красная подкова;
Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
Вязать его, щенка Петрова!
Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.
И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые —
Благословить тебя в далекий ад сойдет
Стопами легкими Россия.

Ноябрь 1917

(Осип Мандельштам. *Собр. соч. в 3 тт.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 1, изд. 2-е, МЛС, 1967, стр. 130).
57, 58, 161-162, 164, 201, 202, 230, 397

КИРЕЕВ, Григорий Сильвестрович. Купец. **79-80**

КИШКИН, Семен. Строитель, при Петре I. **483, 485**

КЛИМ, плотник. **125**

КЛОПОТОВСКИЙ (Лери), Владимир Владимирович (ум. 1944 в Риге). Поэт, журналист, автор театральных обозрений. После Октября вскоре — эмигрант: в Париже, в Риге. Из одной из его книг стихов:

... Пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я как память свято берегу... **123**

КЛЮЕВ, Николай Алексеевич (1884 — 1937). Поэт, сосланный в Сибирь и расстрелянный в Томской тюрьме в 1937 г.

На божнице табаку осьмина
И раскосый вылущенный Спас,
Не поет кудесница-лучина
Про мужицкий сладостный Шираз.
Древо жизни бурею разбито,
Не Триодь, а Каутский в углу.
За окном расхлябанное сито
Сеет копоть, изморозь и мглу.
Пучит печь свои печурки-бельма:
„Я ослепла, как скорбящий дед...''
Грезит парень стачкой и Палермо,
Президентом, гарком кастаньет...
Сказка — чушь, а тайна — коршун серый,
Что когтит, как перепела, ум.
Облетел цветок купальской веры
В слезный рай, в озимый древний шум!
Кто-то черный, с пастью яро-львиной
Встал на страже полдней и ночей.
Дед, как волхв, душою пестрядинной
Загляделся в хляби дум-морей.
Смертны волны львиного поморья,
Но в когтисто-жадной глубине
Серебрится чайкой тень Егорья
На бурунном гибельном коне.
„Страстотерпец, вызволь цветик маков!
Китеж-град ужалил лютый гад...''
За пургой же Глинка и Корсаков
Запевают: „Расцветай, мой сад!''... 1918

***

... Железный небоскреб, фабричная труба,
Твоя ль, о родина, потайная судьба!

Твои сыны-волхвы багрянородный труд
Вертепу Господа иль Ироду несут?... 1918

***

Не хочу Коммуны без лежанки,
Без хрустальной песенки углей. ...
... Ненавистен мудрому поэту
Подворотный, тявкающий стих. ... 1918

(Ник. Клюев. *Сочинения*. В 2 тт., под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 1, Мюнхен, 1969, стр. 475-476, 477, 491) . „Перед самой революцией, в декабре 1916 года, крестьянский поэт Александр Ширяевец, ... ныне покойный, прислал мне свой сборник *Запевки*, с просьбой высказать о нем мое мнение. Я... написал Ширяевцу, ... что не понимаю, как могут 'писатели из народа', знающие мужика лучше, чем мы, интеллигенты, изображать этого мужика каким-то сказочным добрым молодцем... ...Ведь такой мужик, какого живописуют крестьянские поэты, — вряд ли когда и был, — и уж во всяком случае, больше его нет и не будет. 7 января 1917 года Ширяевец мне ответил таким письмом: '... Скажу кое-что в свою защиту. Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет?... И что прекраснее: прежний Чурила в шелковых лапотках, с припевками, да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом или 'Летописью' /журнал Горького, марксистского направления/ в руках, захлебывающийся от открываемых там истин?... Ей-Богу, прежний мне милее!... Знаю, что там, где были русалочьи омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола, со всеми удобствами, но мне все же милее омуты, а не купальни... Ведь не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от нынешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно 'лозунгами'... Пусть уж о прелестях

современности пишет Брюсов, а я поищу Жар-Птицу, пойду к тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем. Ну, как не очароваться этими картинками?... И этого не будет... тут выростет город с фабричными трубами... Может быть, чушь несу я страшную, это все потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житье на свете?" (В. Ф. Ходасевич. *Некрополь*. Воспоминания. Изд. „Петрополис", Брюссель, 1939, стр. 219-221). **135-136**

КЛЮЧОВ, Тарас Петрович. Библиофил. **343-348**

КНИПОВИЧ, Евгения Федоровна (1898 —). Литературовед, критик. „Евгения Федоровна (Книпович) ... Есть и то, что в современной молодежи, но пострадала от того и — **борьба**. ... Женщина, может быть, тоже может пройти фаустовский путь. — Честность в жизни. Сидеть у печки и читать Достоевского..." (Ал. Блок. *Дневник. 14/1 февр. 1918. — Собр. соч. в 8 тт.*, т. 7, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 324). **507**

КНЯЖНИН (подлинная фамилия — Ивойлов), Владимир Николаевич (1883 — 1942). Поэт, литературовед. „... Сквозь чужое и трудное для меня я слышу все-таки его высокую ноту..." (Ал. Блок. *Дневник, 15 ноября 1912. — Собр. соч. в 8 тт.*, т. 7, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 180). **162**

КОВАЛЕВСКИЙ, Максим Максимович (1851 — 1916). Социолог, этнограф, историк. **82**

КОЖЕБАТКИН, Александр Мелентьевич (1884 — 1942). Владелец издательства „Мусагет". „... Кожебаткин очарователен — в нем какая-то мягкая человеческая нежность..." (Из письма Ал. Блока к Андр. Белому, 8 мая 1911. *Собр. соч. в 8 тт.*, т. 8, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 337). **151**

КОКОШКИН, Федор Федорович (1871 — 1918). Один из основоположников и член ЦК партии кадетов. Член Гос. Думы. Как

лживо сказано в *Сов. Исторической Энциклопедии* (т. 7, М, 1965, столб. 475) : „убит (вместе с А. И. Шингаревым) матросами-анархистами''. На самом же деле это возмутившее все русское общество убийство было делом рук большевиков. **254-255, 513**

КОЛЛОНТАЙ, Александра Михайловна (1872 — 1952). Революционерка, публицистка, старый член РСДРП, с 1915 — член Коммунистической партии. Была полпредом в Норвегии, в Мексике, послом в Швеции. Прозаик, даровитостью не отличавшийся. В сборнике прозаических произведений *Любовь пчел трудовых* (1923) проповедовала полную, неограниченную свободу половых отношений (половой акт — это не больше, чем выпить стакан воды). **145**

КОЛЧАК, Александр Васильевич (1873 — 1920). Адмирал (с 1917). Возглавитель антисоветских сил в Сибири. Всеми белыми армиями признан был „Верховным правителем России''. Командованием чехословацких войск был предательски выдан „Политическому центру'' в Иркутске (состоял преимущественно из большевиков и меньшевиков). По приговору иркутского большевистского ревкома расстрелян. **169, 400, 401, 403, 404, 416**

КОМИССАРЖЕВСКАЯ, Вера Федоровна (1864 — 1910) (у Ремизова — Коммиссаржевская). „У Коммиссаржевской было вдохновение. Научиться играть она не могла, она плохо играла, но вдохновляясь, она могла творить чудеса. ... Коммиссаржевская была трагической актрисой — вот по какой дорожке надо было ей идти. ... Мейерхольд завораживал /ей/ голову наукой, А. В. Тыркова-Вильямс общественной деятельностью. 'Наука' довела ее до слез, тут и произошел разрыв с Мейерхольдом. А мысль об общественной деятельности привилась...'' (А. Ремизов. *Пляшущий демон. Танец и слово*. „Дом Книги'', Париж, 1949, стр. 37, 38). „В чем секрет обаяния Комиссаржевской? Почему она была вождем, какой-то Жанной д'Арк? Почему Савина рядом с ней казалась умирающей барыней, разомлевшей после Гостиного ряда? В сущности, в Комиссаржевской нашел свое выражение

мастер, а с 1732 г. глава (бездарнейший) ,,Канцелярии от строений''. **497, 498-500**

КОРМЧИЙ, Л. (псевдоним. Наст. имя — Леонард Юлианович Перагис). Третьестепенный поэт первых двух десятилетий 20-го века. **137**

КОРНИЛОВ, Лавр Георгиевич (1870 — 1918). Генерал, один из основателей и первый Главнокомандующий Добровольческой армии.

Корнилов

... Сын казака, казак...
Так начиналась — речь.
— Родина. — Враг. — Мрак.
Всем головами лечь.
Бейте, попы, в набат.
— Нечего есть. — Честь.
— Не терять ни дня!
Должен солдат
Чистить коня...

4 дек. 1917

,,Да, и солдат должен чистить своих лошадей!'' (Москва, лето 1917 г. — речь на Московском Совещании) — куда дороже всего Керенского (как мы тогда говорили)''. (Марина Цветаева. *Лебединый стан*. Стихи 1917 — 1921 гг. Подготовил к печати Г. П. Струве. Мюнхен, 1957, стр. 25). **75, 189, 194**

КОРАВАК — см. Каравак.

КОРОБАНОВ, майор, комиссар строительных работ при Анне Иоанновне. **499**

КОРОЛЕНКО, Владимир Галактионович (1853 — 1921). ,,... Короленко. Ту же чистоту, бережность и тихость (только это совсем не смирность) и, может быть, после Аксакова единствен-

ные в русской литературе, я почувствовал и в его словах — разговоре. Я всегда помнил его лучшее, но менее прославленное, не *Слепого музыканта*, не *Сон Макара*, не *Старого звонаря*, а его *В дурном обществе* и *Соколинца*, откуда пошел Горький со своим 'дном'...'' (А. Ремизов. *Мышкина дудочка*. Изд. „Оплешник'', Париж, 1953, стр. 183-184). „Деятельность большевистских чрезвычайных следственных комиссий представляет пример — может быть, единственный в истории культурных народов... Рабочие вначале пошли за вами. Еще бы! После идиотского преследования всяких попыток к борьбе с капиталом, вы сразу провозгласили пролетарскую диктатуру. Рабочим это льстило и много обещало... Они ринулись за вами, т. е. за мечтой немедленного осуществления социализма. Но действительность остается действительностью. ... И рабочая масса прежде всех почувствовала на себе последствия вашей схематичности. Вы победили капитал, и он лежит теперь у ваших ног, изувеченный и разбитый. Вы не заметили только, что он соединен еще с производством такими живыми нитями, что, убив его, вы убили также производство. Радуясь своими победами над деникинцами, над Колчаком, над Юденичем и поляками, вы не заметили, что потерпели полное поражение на гораздо более обширном и важном фронте. ... Увлеченные односторонним разрушением капиталистического строя, не обращая внимания ни на что другое в преследовании этой своей схемы, вы довели страну до ужасного положения. ... Голодом поражена **вся Россия**, начиная со столиц, где были случаи голодной смерти на улицах. ... И главное — вы разрушили то, что было органическим в отношении города и деревни: естественную связь обмена. ... вы отдали все городское (а часто и сельское) население на милость и немилость враждебным силам природы, и это одинаково почувствует как разоренный, заподозренный, 'неблагонадежный' человек в сюртуке, так и человек в рабочей блузе. ... Как вы узнаете и как вы выражаете его /пролетариата/ волю? Свободной печати у нас нет, свободы голосования — также. Между тем отсутствие свободной печати делает вас глухими и слепыми на явления жизни. В ваших официозах царствует внутреннее благополучие в то время, когда люди слепо 'бредут врозь'... от голоду...'' (Владимир Короленко.

Письма к Луначарскому. Изд. „Задруга", Париж, 1922, стр. 13, 42-43, 44, 45). **190-194, 195-196**

КОТЛЯРЕВСКИЙ, Нестор Александрович (1863 — 1925). Литературовед. „На стр. 210 своей книги /о Лермонтове/ профессор Котляревский внезапно обмолвился одной фразой, будто с неба звезду схватил: '... истина заключалась в бессменной тревоге духа самого Лермонтова'. Эта роковая обмолвка уничтожает все исследование. Что же значат теперь все эти сравнения Онегина с Печориным (за них, впрочем, любой преподаватель поставит пять) или бесконечные рассуждения о русской жизни, поэзии и критике? Будем надеяться, что болтовня профессора Котляревского — последний пережиток печальных дней русской школьной системы — вялой, неумелой и несвободной, плоды которой у всех на глазах". (Ал. Блок. *Педант о поэте. — Собр. соч. в 8 тт.*, т. 5, ГИХЛ, М-Л, 1962, стр. 29-30). **257, 510**

КОТЫЛЕВ, Александр Иванович. Сотрудник желтой прессы в первое десятилетие XX века. У Ремизова в ряде его произведений он — „Кот-и-Лев". По рассказам пишущему эти строки, Котылев иной раз не останавливался и перед шантажем, и перед „мордобоем" — всячески зарабатывал свой нелегкий хлеб мелкого журналиста-сплетника. Ни одно купеческое семейное торжество (свадьба ли, крестины ли), ни одни купеческие поминки не проходили без того, чтобы не присутствовал почетным гостем Котылев, около прибора которого всегда был положен и конверт с немалым денежным приношением. Иначе — горе тому, кто не „почествует" Котылева! „Разнесет в газете". Это рассказывал один из самых главных компаньонов Ив. Д. Сытина, покойный ныне А. А. Коновалов. Но спасибо маленькому журналисту А. И. Котылеву: он полюбил Ремизова, и всячески добивался у издателей, редакторов опубликования вещей писателя.
137, 138, 142-143, 226

КОШИЦ. Хоровой дирижер. Одного из самых огромных и наиболее художественно совершенных хоров (славился и своими басами-октавистами — их в хоре было что-то около 12-14 чело-

век, что создавало и особенную „глубину" звучания хора). Вскоре после Октября — хор находился в эмиграции. Все западные критики 20-х гг. отмечали „органное звучание" хора Кошица. **146**

„КРАШЕНЫЕ РЫЛА". Книга Ал. Ремизова: *Крашеные рыла. Театр и книга*. Изд. „Грани", Берлин, 1922. Дарственная надпись Ремизова жене на книге: „А это тебе *Крашеные рыла*, с ней связана вся моя страда театральная, все тягчайшие годы — 1917-1921. Жгучая память и опыт, как человек над человеком мудровать может. И опять ничего здешнего, только печать. А сколько с этой книгой волнений было, не чаял уж, что и выйдет когда". (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 154). **259-260**

„КРЕСТОВЫЕ СЕСТРЫ". Книга А. Ремизова. Отдельное издание: *Крестовые сестры*. Роман. Обложка Н. В. Зарецкого. Изд. З. И. Гржебина, Москва-Петербург-Берлин, 1923. До этого: *Сочинения*. Том 5, изд. „Сирин", 1910-1912. Дарственная надпись жене на книге: „Должно быть, больше такого не напишешь, по напряжению, по огорчению против мира. Теперь спокойнее подхожу ко всему, и сужу сверху, а не изнутри... И как странно все то тогда собиралось ко мне: появилась Акумовна, болезнь пришла, — чтобы все выразить. Это память, очень больная. Но в прошлом я все принял и как-то понял и благословил". (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 168). **281**

КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ, урожд. Бекетова, по первому мужу — Блок, Александра Андреевна (1860 — 1923). Мать А. А. Блока. **262**

КУБУ — Комиссия по улучшению быта ученых. Организована по инициативе Максима Горького. **502**

КУГЕЛЬ, Александр Рафаилович (1864 — 1928). Писал и под псевдонимом Homo Novus. Драматург, театральный деятель, театральный критик, режиссер. Основал, вместе со своей женой,

актрисой Холмской, театр сатиры „Кривое зеркало", в котором большое участие принимали Н. Н. Евреинов, Ю. П. Анненков и др. **341-342**

КУЗМИН, Михаил Алексеевич (1875 — 1936). Поэт, драматург, прозаик, композитор (ученик Римского-Корсакова), критик. „Я рассказал В. В. Розанову... о Кузмине, какой это удивительный человек: и стихи пишет и музыкант и поэт и Бог знает что — Кузмин тогда ходил с бородой — чернющая! — и вишневой бархатной поддевке... глаза и без того — у Сомова хорошо это нарисовано! — скосится, ну, конь! а тут еще карандашом слегка, и так смотрит, не то сам фараон Ту-танк-хамен, не то с костра из скитов заволжских, и очень душился розой — от него как от иконы в праздник". (А. Ремизов. *Кукха. Розановы письма*. Берлин, 1923, стр. 106). „Но сам Кузмин — какая затейливая жизнь, какая странная судьба!... Кузмин ходит в смазных сапогах и поддевке. ... Кузмин принимает гостей в шелковом кимоно, молодцом в мучном лабазе... Он воспитывался в Италии у иезуитов... У Кузмина удивительные глаза... Кузмин урод... В этих пересудах много вздора, но в самом вздорном есть капля правды... Все это кусочки пестрой мозаики, составляющей биографию... Кузмина. ... У Кузмина было все, чтобы стать замечательным писателем. Не хватало одного — твердости. 'Куда ветер подует'. Ветер подул сначала в сторону бульварного романа, потом обратно к стилизации, потом к Маяковскому, потом еще куда-то..." (Г. Иванов. *Петербургские зимы*. Париж, 1928, стр. 131, 134). „Начитанность Кузмина в русской старине не заронила ни малейшего сомнения в незыблемости русской книжной речи: Карамзин и Пушкин. Следуя классическим образцам, он добирался до искуснейшего литераторства: **говорить ни о чем**. ..." (А. Ремизов. *Пляшущий демон. Танец и слово*. „Дом Книги", Париж, 1949, стр. 145). **89, 119, 138, 279, 511**

КУЗМИН, Григорий. Заплечный мастер-палач 17-го века. **311-312**

КУПРИН, Александр Иванович (1870 — 1938). С 1919 по 1937 в эмиграции. „Я был поражен совершенно неожиданным для

меня известием: 'Александр Иванович Куприн возвратился в СССР...'. Никаких политических чувств по отношению к его 'возвращению', я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россию, — его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше''. (И. А. Бунин. *Воспоминания*. Изд. ,,Возрождение'', Париж, 1950, стр. 147-148). **151**

КУРЛУШКИН. **154**

КУСТОДИЕВ, Борис Михайлович (1878 — 1927). ,,... Кустодиев мечтает о создании типично **русской картины**, как есть картина голландская, французская... Русская жизнь при этом определенно ассоциируется с временами года. Русская зима, весна, лето и осень мыслятся как замкнутые круги, каждый из которых имеет свою особую физиономию и психологию. Он сказал, что его влечет к рассказу, а отнюдь не к анекдоту. ... Кустодиев стремится к рассказу, органически связанному с бытом. ... У него — быт, преображенный через живописные задачи, в которых корень его искусства... картина — главное, тот стержень, на котором расцветает быт''. (1921). (Вс. Воинов. *Встречи и беседы*. В кн.: *Борис Михайлович Кустодиев*. Письма. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. Воспоминания. Изд. ,,Художник РСФСР'', Л, 1967, стр. 203). **113, 261**

КШЕСИНСКАЯ, Матильда Феликсовна (1872 — 1971). Балерина, с 1895 г. — прима-балерина Мариинского театра. Кшесинскую вспоминают, чаще всего, либо как подругу Николая II — до его женитьбы, либо как всесильную ,,диктаторшу'' императорского Мариинского балета. Но была она и исключительно даровитой артисткой. Знаменитая балерина Тамара Карсавина пишет о ней: ,,... Матильда Кшесинская, доходящая до дерзости в своей отчаянной технике... ... Когда Кшесинская уезжала танцевать в Москву, все первые ряды партера Мариинского театра пустели: верные поклонники устремлялись вслед за своим кумиром. ... Она была одарена совершенно поразительной жизнеспособностью и силой воли. За месяц до появления на сцене Кшесинская цели-

ком отдавалась работе — усердно тренировалась, отказывалась от всех визитов и приемов, ложилась спать в 10 часов вечера, взвешивалась каждое утро, ограничивала себя в еде, хотя ее диета и без того была достаточно строгой''. (Т. П. Карсавина. *Театральная улица*. Изд. ,,Искусство'', Л, 1971, стр. 132, 130, 133-134). **95, 101-102**

Л. А. Трудно сейчас установить — кто это. Любовь Александровна Дельмас? — Едва ли: вряд ли М. М. Пришвин мог быть ,,очень обижен'', что она ,,за третьего вышла'', а не за него: соревнование Пришвина с мужем Дельмас — красавцем и большим певцом -артистом П. З. Андреевым, соревнование и с возлюбленным — А. А. Блоком — было Пришвину не по плечу. Да притом Ремизов нередко просто присочинял — и выдумывал персонажи. **142**

ЛАДЫЖНИКОВ, Иван Павлович (1874 — 1945). Издатель, владелец изд-ва в Берлине, особенно деятельного в первой половине 1920-х гг. Друг Горького и его многолетний издатель. **149**

ЛАНГ, Георгий Федорович, доктор медицины (1875 — 1948). ,,... Доктор Ланг для меня, — он в полчаса расстроил мое здоровье...'' (Ал. Блок. *Записные книжки*. ГИХЛ, М-Л, 1965, стр. 263 — запись 8 мая 1915). **234**

ЛЕБЛОН, Жан-Батист (1679 — 1719). Выдающийся французский архитектор, прибыл в Россию по приглашению Петра I, автор генерального плана застройки С-Петербурга, автор основного корпуса Большого Петергофского дворца (расширен и перестроен Растрелли). ,,Сей мастер из лучших и прямо диковинькою есть'', — говорил о нем Петр. **487, 496**

ЛЕВЕНВОЛЬД, Рейнгольд, граф фон-, обер-гофмаршал двора Анны Иоановны, наряду с Бироном — главный временщик. **496, 498**

ЛЕВИН, Давид Абрамович (1863 —?). Публицист, юрист. Но, может быть, у Ремизова ошибка в инициалах, и речь идет о Левине, Давиде Самойловиче (1891 — 1928), сотруднике издательства ,,Всемирная Литература''. ,,... магазин Цектрана /Централь-

ного Комитета профсоюза работников транспорта/, которым заведовал Д. С. Левин. Это был очень культурный человек..." (Ф. Шилов. *Записки старого книжника*. Изд. „Искусство", М, 1959, стр. 134). **127, 128**

ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ. Левое крыло партии социалистов-революционеров — „интернационалистов", отколовшееся от эсеров около 1915-1916 года, а затем оформившееся как самостоятельная политическая партия. Лидеры — М. А. Спиридонова, М. А. Натансон, Б. Д. Камков и др. Близкой к левым эсерам была литературно-идеологическая группа „Скифы" (Блок, Иванов-Разумник, Андрей Белый, Клюев, Есенин, отчасти — Мандельштам, и др.). Левые эсеры вошли в соглашение с большевиками, и в составе первого Совнаркома были Народные комиссары левые эсеры (нарком юстиции Штейнберг, напр.). „... Я видела Литвинова /в Лондоне/ в клубе 17-го. ... Сноуден, ... дамы декадентского вида, молодые люди, вроде наших горе-поэтиков, вертелись там, любезно с ним болтали. В это утро было напечатано чичеринское сообщение в Берлине, что они застрелили двести левых эсеров. Это за одного графа /Мирбаха/ столько своих вчерашних товарищей отдали. Никто из левых снобов не потрудился спросить у Литвинова — принимает ли он ответственность за эти расстрелы?" (Дневник. запись А. В. Тырковой. В кн.: Арк. Борман. *А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына*. Лувен-Вашингтон, 1964, стр. 166). „Террор эпохи военного коммунизма был тогда в полном разгаре. Арестовывали и расстреливали 'заложников', открывали действительные и мнимые заговоры. Одним из таких был в феврале 1919 года 'заговор левых эсеров', никогда не существовавший, но приведший к ряду 'репрессий' — вплоть до расстрелов. Тут волна арестов докатилась и до меня". (Р. В. Иванов-Разумник. *Тюрьмы и ссылки*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 33). В эмиграции левые эсеры основали издательство „Скифы", издававшее Блока, А. Белого, Клюева, Иванова-Разумника... **262, 275**

ЛЕМЕШЕВ, следователь Петроградской ЧК, ведший дело А. М. Ремизова. **288-289**

ЛЕМКЕ, Михаил Константинович (1872 — 1923). Историк русского общественного движения, историк литературы, редактор собраний сочинений Добролюбова, Герцена. Сотрудник журналов „Былое", „Русское Богатство", „Русская Мысль", „Мир Божий" и др. Автор многочисленных работ по истории революционного движения в России, по истории русской литературы и общественной мысли. Был арестован в связи с так называемым „заговором левых эсеров" — вместе с Ремизовым, Блоком, Ивановым-Разумником, Замятиным, Венгеровым и др. „Незадолго до смерти вступил в члены РКП (б)", как пишет о нем М. Седов в *Сов. Исторической Энциклопедии*, т. 8, М, 1965, столб. 543. Сыграл большую роль в деле собирания и публикации документов литературы и общественной жизни.

176, 275, 282-283, 287-292

ЛЕНИН, Владимир Ильич (1870 — 1924). „... Я не знал, что такое Ленин. Мне вообще кажется, что исторические 'фигуры' складываются либо тогда, когда их ведут на эшафот, либо тогда, когда они посылают на эшафот других людей. В то время расстрелы производились еще в частном порядке, так что гений Ленина был мне, абсолютно невежественному политику, мало еще заметен". (Ф. Шаляпин. *Маска и душа*. Париж, 1932, стр. 239). „ — Я, знаете, в искусстве не силен, — сказал Ленин /Ю. П. Анненкову, рисовавшему его портрет/..., — искусство для меня, это... что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! вырежем. За ненужностью. ... — Вообще, к интеллигенции, как вы, наверное, знаете, я большой симпатии не питаю, и наш лозунг 'ликвидировать безграмотность' отнюдь не следует толковать, как стремление к нарождению новой интеллигенции. 'Ликвидировать безграмотность' следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель — совершенно практическая. Только и всего. /Черновик записки

Ленина, подобранный и сохраненный Ю. П. Анненковым и **нигде**, кроме его книги, не опубликованный:/ 'В результате моих непосредственных наблюдений в годы моей эмиграции я должен признаться, что так называемые культурные слои Западной Европы и Америки не способны разобраться в современном положении вещей, ни в реальном соотношении сил; эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним, исходя из этого положения. ... Революция никогда не развивается по прямой линии, по непрерывному возрастанию, но образует цепь вспышек и отступлений, атак и успокоений, во время которых революционные силы крепнут, подготовляя их конечную победу. На основании тех же наблюдений и принимая во внимание длительность нарастания мировой социалистической революции, необходимо прибегнуть к специальным маневрам, способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами. а/ Провозгласить, для успокоения **глухонемых**, отделение (фиктивное!) нашего правительства и правительственных учреждений (Совет Народных Комиссаров и пр.) от партии и Политбюро и, в особенности, от Коминтерна, объявив эти последние органы как независимые политические группировки на территории Советских Социалистических Республик. **Глухонемые поверят**. б/ Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических сношений с капиталистическими странами на основе полного **невмешательства** в их внутренние дела. **Глухонемые снова поверят**. Они будут даже в восторге и распахнут свои двери, через которые эмиссары Коминтерна и органов партийного осведомления спешно просочатся в эти страны под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей. Говорить правду — это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь, напротив, часто оправдывается целью. Капиталисты всего мира и их правительства, в погоне за завоеванием советского рынка, **закроют глаза** на указанную выше действительность и превратятся таким образом **в глухонемых слепцов**. Они откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и, снабжая нас недостающими у нас материалами и техниками, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих атак против

ник, историк искусства, критик. После Октября — эмигрант. ,,... Творцы 'новых форм' не дали... ни одной 'логической формы', не создали ни одного нового материала. Ведь значение железобетона еще очень спорно и во всяком случае в качестве вполне неэстетического материала не может идти в счет. Железо тоже не имеет права на признание: время выносливости его определяется всего 50-ю годами; по-прежнему кирпич и камень остаются единственным идеальным материалом. Если жизнь выдвинула за последнее вермя несколько тем нового характера, то уж не такие новые формы вызываются этими архитектурными задачами, чтобы их не мог осуществить огромнейший арсенал готовых деталей и чтобы в современные приемы нельзя было вместить старые планы''. (Г. Лукомский. *Современный Петроград. Очерк истории возникновения и развития классического строительства. 1900 — 1915 гг.* Петроград, 1916, стр. 38). **259**

ЛУКЬЯНОВ, Семен. Садовых дел подмастерье первой половины 18-го века. **497**

ЛУНАЧАРСКИЙ, Анатолий Васильевич (1875 — 1933). Народный комиссар просвещения. Старый коммунист. Сотоварищ Ремизова по вологодской ссылке. Писатель, драматург, журналист. ,,Луначарский откинулся назад, сверкнул пенснэ, внимательно осмотрел нас /писателей/ (мне показалось — пересчитал), молча пожевал губами, а потом сказал речь. Он говорил очень гладко, округленно, довольно большими периодами, чрезвычайно приятным голосом. По его писаниям я знал, что он не умен, самовлюблен и склонен к вычурам. ... В общем, это была вполне характерная речь либерального министра из очень нелиберального правительства, с приличной долей даже легкого как бы фрондирования. Все, однако, сводилось к тому, что, конечно, стоны писателей дошли до его чуткого слуха; это весьма прискорбно, но, к сожалению, никакой 'весны' он, Луначарский, нам возвестить не может, потому что дело идет не к 'весне', а совсем напротив. Одним словом, рабоче-крестьянская власть... разрешает литературу, но только подходящую. Если хотим, мы можем писать, и рабоче-крестьянская власть желает нам всяческого

успеха, но просит помнить, что лес рубят — щепки летят. ... После этих слов стало уже окончательно ясно, что с ним говорить не о чем и не к чему. ...'' (Вл. Ходасевич. *Литературные статьи и воспоминания*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 351-352) .
129, 275, 377, 510

ЛУНДБЕРГ, Евгений Германович (1883 — 1965) . Писатель, журналист. Писал в левоэсеровской печати („Наш Путь'', „Скифы'' и др.) , с 1920 по 1924 организовал в Берлине и руководил издательством „Скифы''. „... Е. Г. Лундберг: ходит он, как птица. Так птицей прошел весь юг России от Каспийского моря до Черного и все Балканские государства, вдоль и поперек. Приключения его самые невероятные. Только присутствие духа и находчивость спасали его от верной гибели''. (А. Ремизов. *Кукха. Розановы письма*. Берлин, 1923, стр. 36) . „... в феврале 1938 года был арестован в Москве писатель Евгений Германович Лундберг, старый мой знакомый, и просидел в Таганской тюрьме до мая. За все эти три месяца его допрашивали в Таганке только один раз — именно 12 апреля... не предъявляя никаких обвинений, а только предложили дать наиподробнейшее показание обо всем том, что Лундберг обо мне знает. Изумленный Лундберг исполнил предложение, исписал листы, тщетно ожидая, какое же обвинение предъявят лично ему? Но так и не дождался. .../Лундберг не дал ГПУ никаких компрометирующих Иванова-Разумника показаний/... Но вот что самое удивительное: после этого Е. Г. Лундберга ни разу больше не допрашивали и через месяц выпустили из тюрьмы, не предъявив никаких обвинений. Он три месяца просидел в Таганке только для того, чтобы в три часа написать сводку того, что знал обо мне. ... И на основании какого же 'закона' был он арестован 'в самой свободной стране в мире'?'' (Р. В. Иванов-Разумник. *Тюрьмы и ссылки*, Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 339-340) . **120, 232, 258, 512**

ЛУРЬЕ, Артур Сергеевич (1892 — 1966) . Композитор. После Октябрьского переворота вскоре — начальник МУЗО — Музыкального отдела Наркомпроса. С 1922 года — эмигрант. Католик, проповедник воссоединения христианских церквей, главное,

православия и католичества. „Человек высокого ума, знающий, а по инструменту вряд ли другой найдется — композитор, пианист, виртуоз..." (А. Ремизов. *Мышкина дудочка*. Изд. „Оплешник", Париж, 1953, стр. 13) . „... неутомимый Кульбин свел меня с Артуром Лурье, окончившим в том году /1914/ консерваторию. ... Я должен был поверить на слово и Кульбину и самому Лурье ..., что не кто иной, как он, Артур Винцент Лурье, призван открыть собою новую эру в музыке. Скрябин, Дебюсси, Равель, Прокофьев, Стравинский — уже пройденная ступень. Принципы 'свободной' музыки (не ограниченной тонами и полутонами, а пользующейся четвертями, осьмыми и еще меньшими долями тонов) , провозглашенные Кульбиным еще в 1910 году, в творчестве Лурье получали реальное воплощение. ... Став футуристом из снобизма, Лурье из дендизма не называл себя им. Но он заполнял в рядах будетлян место, бывшее до него пустым... ... Впрочем, это не мешало ему писать романсы на слова Верлена и Ахматовой. ... Сговориться с Лурье мне было нетрудно, ибо сговариваться, правду сказать, было не о чем: я без колебаний отдавал ему на съедение всего Баха с потрохами, а он, хотя в своих литературных вкусах не шел дальше акмеистов, ни за что не решился бы не только выступить против воинствующего будетлянства, но даже признаться в своем равнодушии к Хлебникову и Маяковскому". (Бенедикт Лившиц. *Полутораглазый стрелец*. Изд. Писателей в Ленинграде, 1933, стр. 102, 105) . А. С. Лурье написал в начале 1961 года *Заклинания* — музыку к *Поэме без героя* А. Ахматовой. Фрагмент ее опубликован в альманахе II *Воздушные Пути*, Ред.-изд. Р. Н. Гринберг, Нью-Йорк, 1961, стр. 153-165. „**Возможно ли музыкальное сознание, как сознание антихристианское**? ... Наше музыкальное сознание выросло целиком на почве европейского сознания. Иного до сих пор не существует, как начала действенного в музыке, а не начала экзотического. Можно говорить о музыкальном ощущении, возникающем на иной почве, чем почва европейская, но отнюдь не о целостном музыкальном сознании. Европейское сознание выросло из христианства. Но европейское сознание в очень многих своих проявлениях христианство упраздняет. Значит ли это, это оно тем самым упраздняет и музыку? Дух музыки на протя-

нравова (1892 – 1984). С 1944 г. в эмиграции. **34-35**

МАЯКОВСКИЙ, Владимир Владимирович (1893 – 1930). „...1919 г. ... Маяковский был тогда вполне искренен. — Ты с ума сошел! — говорил он мне в одно из наших московских сидений, — сегодня ты еще не в партии? Черт знает что! Партия, это ленинский танк, на котором мы перегоним будущее! — Маяковский был 'футуристом'. Однако марксистско-ленинский Интернационал оказался совсем другой вещью: это был интернационал агрессивный, 'империалистический' и невероятно ретроградный. Мечтания нашей юности были обмануты. Мы почувствовали это довольно скоро, благодаря бездарным лозунгам и административно-полицейским мерам, выдвинутым ленинскими 'вождями', а также убедившись в неприемлемости, в недопустимости диктаторского духа коммунистической партии. ... /Маяковский позже других, но тоже почувствовал это, во всяком случае, к концу 1920-х гг./. ... Тяжкие разочарования, пережитые Маяковским, о которых он говорил со мной в Париже..., заключались в том, что... коммунизм, идеи коммунизма, его идеал, это — одна вещь, в то время, как 'коммунистическая партия', очень мощно организованная, перегруженная административными мерами и руководимая людьми, которые пользуются для своих личных благ всеми прерогативами, всеми выгодами 'полноты власти' и 'свободы действия', это — совсем другая вещь. Маяковский понял, что можно быть 'чистокровным коммунистом', но — одновременно — совершенно разойтись с 'коммунистической партией' и остаться в беспомощном одиночестве. ... В последний раз я встретил Маяковского в Ницце, в 1929 году. ... Мы зашли в уютный ресторанчик около пляжа. ... Маяковский, между прочим, спросил меня, когда же, наконец, я вернусь в Москву? Я ответил, что я об этом больше не думаю, так как хочу остаться художником. Маяковский хлопнул меня по плечу и, сразу помрачнев, произнес охрипшим голосом: — А я — возвращаюсь... так как я уже перестал быть поэтом. — Затем произошла поистине драматическая сцена: Маяковский разрыдался и прошептал едва слышно: — Теперь я... чиновник" (Юрий Анненков. *Дневник моих встреч. Цикл трагедий*. Том 1, МЛС, Вашингтон, 1966, стр. 185, 201, 207). **89, 121**

МЕЙЕРХОЛЬД, Всеволод Эмильевич (1874 — 1940). „Уж если ждать мистерию в русском театре, то от кого же и ждать ее, как не от Алексея Ремизова или Скрябина?'' (Вс. Мейерхольд. *Балаган*. В его кн.: *О театре*. 1912; переп.: В. Э. Мейерхольд. *Статьи. Письма. Речи. Беседы*. Т. 1, изд. „Искусство'', М, 1968, стр. 208). Конец речи В. Э. Мейерхольда на Всесоюзной конференции режиссеров, 15 июня 1939 г. — по записи Ю. Б. Елагина: „... Что такое антиформализм? Что такое социалистический реализм? Вероятно именно социалистический реализм является ортодоксальным антиформализмом. Но я хотел бы поставить этот вопрос не только теоретически, а и практически. Как вы называете, что происходит сейчас в советском театре? Тут я должен сказать прямо: если то, что вы сделали с советским театром за последнее время вы называете антиформализмом, или вы считаете то, что происходит сейчас на сценах лучших театров Москвы, достижением советского театра, то я предпочту быть, с вашей точки зрения 'формалистом'. Ибо по совести моей я считаю происходящее сейчас в наших театрах страшным и жалким. И я не знаю, что это такое — антиформализм или реализм, или натурализм, или еще какой-нибудь 'изм'? Но я знаю, что это бездарно и плохо. И это убогое и жалкое нечто, претендующее называться театром социалистического реализма, не имеет ничего общего с искусством. А театр — это искусство! И без искусства нет театра! Пойдите по театрам Москвы, посмотрите эти серые скучные спектакли, похожие один на другой и один хуже другого. Трудно теперь отличить творческий почерк Малого театра от театра Вахтангова, Камерного от Художественного. Там, где еще недавно творческая мысль била ключем, где люди искусства в поисках, ошибках, часто оступаясь и сворачивая в сторону, действительно творили и создавали — иногда плохое, а иногда и великолепное, там, по вашей милости, унылое и добропорядочное среднеарифметическое, потрясающее и убивающее своей бездарностью. К этому ли вы стремитесь? Если да — о, тогда вы сделали страшное дело. Желая выплеснуть грязную воду, вы выплеснули вместе с ней и ребенка. Охотясь за формализмом, вы уничтожили искусство!'' (Юрий Елагин. *Темный гений (Всеволод Мейерхольд)*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 409-410). **510**

МЕКЕНТИВ — см. Микетти.

МЕНЕЛИК II (1844 — 1913), негус абиссинский (император Эфиопии). **149**

МЕНЖИНСКИЙ, Вячеслав Рудольфович (1874 — 1934). Один из страшнейших чекистов, садист. „Оба вождя террора — люди некрупного калибра, но у Менжинского перед Дзержинским были свои превосходства. В то время как образование Дзержинского остановилось на брошюрах, и Дзержинский от природы был не щедро наделен умом, ... Менжинский... был умен и образован. Но ум и душа были нездоровы. Уподочник, вырожденец, автор болезненно-извращенных стихов и символистски-эротических романов, Вячеслав Менжинский был интересен тем, что принадлежал к довольно редкой категории большевиков. Глава коммунистической полиции, чьи портреты висят в канцеляриях концентрационных лагерей СССР, был 'декадент-марксистом'. На коммунистическом Олимпе этот эстет должен был бы стоять рядом с очаровательным пошляком Луначарским, кого Ленин называл не иначе, как 'наша прима-балерина'. Вячеслав Рудольфович Менжинский родился в дворянской и обеспеченной семье в Петербурге. Его отец, Рудольф Игнатьевич, заслуженный преподаватель Пажеского корпуса, был лично известен Николаю II и любим царем. Выросший в хорошей образованной семье будущий начальник ГПУ унаследовал прекрасные манеры, был воспитан, с детства превосходно владел французским языком. ... Худой, бледный брюнет, очень холеного и очень девического облика, этот болезненно-застенчивый юноша... был снедаем мечтой стать 'либо знаменитым адвокатом, либо знаменитым писателем'. ... Во всяком случае, путь дегенеративного и очень странного юноши в революцию не диктовался ни чувством классовой борьбы, ни тем более жаждой социальной справедливости... ... Как и Дзержинский, Менжинский сам допрашивал арестованных, сам рылся в следственных материалах, сам производил очные ставки и сам нередко инсценировал 'процессы контрреволюционеров'. Известна его ледяная холодность, когда только для того, чтобы крепче держаться на своем вельможном

кресле, этот человек расстреливал заведомо невинных и не шевелил пальцем для спасения бывших товарищей, попавших в лапы ЧК. Для Менжинского это была бы — недостойная сентиментальность. ... Из всех чекистских фигур этот 'неудачный поэт' является едва ли ни одной из отвратительнейших''. (Роман Гуль. *Дзержинский*. Изд. 2-е, „Мост'', Нью-Йорк, 1974, стр. 146-147, 148, 159, 162). **511**

МЕРЕЖКОВСКИЙ, Дмитрий Сергеевич (1866 — 1941). „В те времена 'мракобесия' — корифеем был Мережковский, облепленный сверху донизу Достоевским — выражались туманно''. (А. Ремизов. *Пляшущий демон. Танец и слово*. „Дом Книги'', Париж, 1949, стр. 37). „Розанов, хорошо знавший Мережковского, внимательно к нему присматривавшийся, сказал о нем: 'Мало кто из русских писателей принял в душу свою столько печали, как он'. Это очень верно. Печаль у Мережковского какая-то изначальная, природная, противоречащая всей его метафизике. Спасение обеспечено, финальная гармония неизбежна, тайны все разгаданы, казалось бы, остается только радоваться и ликовать, каковы бы ни были временные жизненные невзгоды! Но если действительно 'стиль — это человек', Мережковский в будущих свершениях и торжествах был как будто не вполне уверен. Смысл слов у него — один, тон слов — совсем другой, но смысл ведь можно выдумать какой угодно, а тон приходит сам собой''. (Георгий Адамович. *Одиночество и свобода*. Изд. им. Чехова. Нью-Йорк, 1955, стр. 52). „Должно учесть как следует безмерность того, что сейчас происходит в России. В судьбах ее поставлена на карту судьба всего культурного человечества. Во всяком случае безумно надеяться, что зазиявшую под Россией бездну можно окружить загородкою и что бездна эта не втянет в себя и другие народы. Мы первые, но не последние. Большевизм, дитя мировой войны, так же как эта война — только следствие глубочайшего кризиса всей европейской культуры. Наша русская беда — только часть беды всемирной''. (Д. Мережковский. *Большевизм, Европа и*

Россия. 1921. Цитирую по кн.: Глеб Струве. *Русская литература в изгнании*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1956, стр. 91) .
120, 323, 324, 377

МИКЕТИЙ — см. Микетти.

МИКЕТТИ, Никколо. Архитектор, работавший в Петербурге и пригородных царских резиденциях с 1718 по 1722 г.
482, 487, 492, 496

МИКИТОВ, матрос — см. Соколов-Микитов, И. С.

МИЛЮКОВ, капитан, один из работников „гнезда Петрова". **481**

МИЛЮКОВ, Павел Николаевич (1859 — 1943) . „Слушать Милюкова всегда было наслаждением. Был он оратором англо-саксонского типа: говорил спокойно, избегая всяческого пафоса, цветистых образов, красивых фраз, почти не жестикулировал, не пользовался звуковыми модуляциями. Был у него один, очень характерный жест, — он слегка выдвигал вперед правую руку, словно что-то выкладывал перед слушателем на кафедре, и это помогало воспринимать его слова. Форма всегда подчинялась содержанию речи; для Милюкова вообще важна была не форма, а основная мысль. И, вместе с тем, как-то естественно получалось, что и с точки стилистической выступления Милюкова всегда были блестящими. Он говорил на прекрасном, очень точном русском языке". (Андрей Седых. *Далекие, близкие*. Изд. 2-е, Нью-Йорк, 1962, стр. 162) . **85, 86, 87**

МИНАЕВ, член петроградской продовольственной управы. **195**

МИНСКИЙ, Николай Максимович (Виленский) (1855 — 1937) . Поэт. С 1906 жил заграницей. **144**

„МИР ИСКУССТВА". Журнал (1899 — 1904) и связанная с ним, но пережившая его группа художников и художественных деятелей. Журнал был организован группой художников и художест-

царя. Он всегда напоминал, что он рюрикович, и подчеркивал древность своего рода по сравнению с Романовыми. Мандельштам морщился". (Над. Мандельштам. *Вторая книга*. УМСА, Париж, 1972, стр. 20). Все это не помешало ему впоследствии стать правоверным соцреалистом. **88, 255**

МУЙЖЕЛЬ, Виктор Васильевич (1880 — 1924). Прозаик народнического направления, подражатель В. Г. Короленко и, частично, Горькому. Имя его для многих было синонимом бесконечно нудного, серого повествователя, но „социально-благородного" направления. **137, 138, 377**

МУРАТОВ, Павел Павлович (1881 — 1951). Писатель, искусствовед, автор одной из первых работ об иконописи, трактующей о ней не с точки зрения „сюжетов", а ее художественных особенностей. Прославился своей книгой *Образы Италии* (2 тт.,1911 — 1912; изд. 2-е, 3 тт., Берлин, 1924). Автор романа *Эгерия* и нескольких небольших повестей и рассказов. В эмиграции с 1922. „Муратов — писатель культурный, изысканный, западноевропейского покроя. Его рассказы (многие из них на западноевропейские сюжеты, в других играет роль элемент 'магический') и его исторический роман *Эгерия* отмечены занимательной фабулой, быстро развертывающимся действием, нарочитым пренебрежением к психологизму. ... В русской литературе они, пожалуй, всего ближе стоят к некоторым вещам Кузмина и Брюсова". (Глеб Струве. *Русская литература в изгнании*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1956, стр. 121). „... В один теплый августовский вечер 1921 г., когда в особняке на Собачьей площадке /в Москве/ чекисты арестовали весь Комитет помощи голодающим, членами которого мы оба были, Павел Павлович /Муратов/ вдруг (с опозданием) появился около дома. — Куда, куда ты? — крикнул я ему в окно. Но он ухмыльнулся (...'ну, Боря, что там...'), не замедлил шага. Неторопливо опуская левое плечо по-литераторски, перешагнул заветную черту, отделявшую нас от свободы. — Чего там... будем вместе. — И первую ночь на Лубянке, в камере 'Контора Аванесова', мы провели рядом, на довольно жестких нарах..." (Борис Зайцев. *Далекое*. МЛС, Вашингтон, 1965, стр. 94). **154**

МУХИН. Работник петроградской продовольственной управы. **346**

МЮР и МЕРИЛИЗ — владельцы громадного универсального магазина в Москве. **366, 471**

НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, учительница. **192**

НАЙДЕНОВЫ, московские купцы-фабриканты. Мать Ремизова — урожденная Найденова. **18**

НАРБУТ, Владимир Иванович (1888 — 1944). Поэт. Брат художника Егора Нарбута. После Октября — коммунист, редактор-издатель журнала „Сирена", Воронеж, 1918-1919; организатор и глава издательства „Земля и Фабрика". До революции входил в группу поэтов-акмеистов. „Незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно" (*Краткая Литер. Энциклопедия*, т. 5, М, 1968, столб. 100). „Синодальная типография, куда была сдана для набора *Аллилуйя* /вторая книга стихов автора/, ознакомившись с ней, набирать отказалась ' в виду светского содержания'. Содержание, действительно, было 'светское' — половина слов, составляющих стихи, была неприличной. ... Нарбут широко сыпал чаевые наборщикам и метранпажам, платя сверхурочные, нанял даже какого-то специалиста по церковно-славянской орфографии... В три недели был готов этот типографский шедевр, отпечатанный на голубоватой бумаге с красными заглавными буквами и (Саратов дал себя знать) портретом автора с хризантемой в петлице, и лихим росчерком... ... В период остепенения Нарбут решил издавать журнал... /Купил либерально-социалистический журнал, рассчитанный на низовую интеллигенцию — „Журнал для Всех", но не принял во внимание характера подписчиков и читателей журнала, — потерпел большие убытки и решил журнал продать/. ... Покупатель нашелся. ... Гром грянул недели через две, — когда вдруг все как-то сразу узнали, что 'декадент Нарбут' продал, как-никак, 'идейный и демократический' журнал Гарязину — члену Союза русского народа и другу Дубровина /крайнего черносотенца/... В 1920 году в книжном магазине я

увидел тощую книжку, выпущенную каким-то из провинциальных отделов Госиздата: Вл. Нарбут. *Красный звон*, или что-то в этом роде. Я развернул ее. Рифмы 'капитал' и 'встал' сразу же попались мне на глаза''. (Г. Иванов. *Петербургские зимы*. Париж, 1928, стр. 138, 142-143, 145) . **132-133**

НАРБУТ, Егор (Георгий) Иванович (1886 — 1920) . Русский и украинский график, примыкавший к „Миру Искусства''. „Из всех мастеров ставшего самостоятельным рисунка, радовавших нас за последние (сколько?) лет, именно Георгию Ивановичу Нарбуту мы охотно предоставляем первое место в деле художественно-графического соучастия в книге''. (А. А. Сидоров. *Г. И. Нарбут*. В кн.: *Мастера современной гравюры и графики*. Под ред. Вяч. Полонского. ГИЗ, М-Л, 1928, стр. 80) . **132, 133**

НАРОДНЫЙ СУДЬЯ, коммунистка, в Петрокоммуне. **447-448**

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО, Василий Иванович (1844 — 1936) . Прозаик, журналист, брат Вл. Ив. Немировича-Данченко. После Октября — в эмиграции. Автор настолько плодовитый, что, как он говорил в двадцатых годах А. В. Бахраху, собрание избранных его сочинений составило бы не менее 200 томов. ,,А вокруг /Ионова, начальника Петроградского Госиздата/ толпятся два самых плодовитых русских писателя — Вас. И. Немирович-Данченко и И. И. Ясинский''. (Ал. Блок. *Дневник*. Запись *10 янв. 1919. — Собр. соч. в 8 тт.*, т. 7, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 355) . **468**

НЕРОНОВ, Борис. Подручник кн. А. М. Черкасского. **484-485, 498**

НИКИТИНСКИЙ, Яков Яковлевич (ок. 1855 — 1924) , профессор, автор работ по химической технологии. **134**

НИКОЛАЙ II (1868 — 1918) . Император Всероссийский с 1894. **233, 381-382**

,,НИКОЛИНЫ ПРИТЧИ''. Никола Угодник — один из излюбленнейших героев в творчестве Ремизова: *Николины притчи и ска-*

зания. Петроград, 1917; *Никола Милостивый. Николины притчи*. П-М, 1918; *Звенигород Окликанный. Николины притчи*. Париж, 1924; *Три серпа. Московские-излюбленные легенды о Николе*. 2 тт., Париж, 1929-1930; *Образ Николая Чудотворца*. Париж, 1931. „Немыслимость, невозможность подойти к Богу, — /говорит/... Ремизов, — побудила человека создать легенду о праведном человеке — Николе Чудотворце. Так возник образ Николы Мирликийского в четвертом веке в Византии. И в веках сложились легенды: чудеса при жизни и чудеса по смерти праведного человека. И вышли на Русь сказкой. А в русских веках Никола Угодник и Чудотворец — заместитель Бога на русской земле". (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 85).
90-91

НИКОЛА МОКРЫЙ. Так назывались в Старой Руси храмы св. Николая, в которых служились молебны о даровании дождя — в засуху. В древней Руси, особенно в Новгородской земле, были храмы, называвшиеся и так: „Никола Сухой" — в них молились о прекращении ливней, мешавших убoрке хлебов и сеноуборке. **311**

НИКОН (Никита Минов) (1605 — 1681), Патриарх Московский с 1652 г. **378**

„НОВАЯ ЖИЗНЬ" — газета Максима Горького, резко оппозиционная большевикам. Выходила в 1917-1918 гг. и закрыта по распоряжению Ленина. „Владимир Ленин, — писал в этой газете Горький, — вводит в России социалистический строй по методу Нечаева — 'на всех парах через болото'. И Ленин, и Троцкий, и все другие, кто сопровождает их к гибели в трясине действительности, очевидно, убеждены вместе с Нечаевым, что 'правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно', и вот они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляют его устраивать кровавые бойни, понукая к погромам, к арестам ни в чем не повинных людей, вроде А. В. Карташева, М. В. Бернацкого, А. И. Коновалова и других. Заставив пролетариат согласиться на уничтожение свободы печати, Ленин

и приспешники узаконили этим для врагов демократии право зажимать ей рот; грозя голодом и погромом всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина-Троцкого, эти 'вожди' оправдывают деспотизм власти, против которого так мучительно долго боролись все лучшие силы страны. 'Послушание школьников и дурачков', идущих вместе с Лениным и Троцким, 'достигло высшей черты', — ругая своих вождей заглазно..., школьники и дурачки, в конце концов, покорно служат воле догматиков и все более возбуждают в наиболее темной массе солдат и рабочих несбыточные надежды на беспечальное житье. Вообразив себя наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России — русский народ заплатит за это озерами крови''. (Максим Горький. *Несвоевременные мысли*. Сост. Г. Ермолаев. Париж, 1971, стр. 111-112; первонач. — „Новая Жизнь'', 10/23 ноября 1917) . **91, 132, 167**

НОВОЖИЛОВ, Яков Гаврилович. Книготорговец-антиквар. **81, 150, 292-293**

НУВЕЛЬ, Вальтер Федорович (? — 1949) . Музыковед, один из учредителей „Мира Искусства''. Но, почти отойдя от него, „... Нурок и Нувель основали самостоятельно свою собственную затею 'Вечеров современной музыки'.'' (Александр Бенуа. *Возникновение „Мира Искусства''*. Изд. Гос. Акад. Матер. Культуры, Л, 1928, стр. 51) . **268**

НЮРЕНБЕРГ, Арон Давидович, доктор медицины. **75-76, 111-112**

ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛ. „Обезьянья-Великая-и-Вольная-палата''. „Обезьянья палата возникала в 1908 году, когда я писал *Трагедию о Иуде принце искариотском*: обезьяний царь Асыка, действующий в трагедии, награждает обезьяньими знаками. А сама мысль об обезьяньем знаке вышла из игры. ... Я играл с своей маленькой племянницей Ляляшкой (Елена Сергеевна Ремизова) . Надо было чего-нибудь особенное придумывать. Она приставала ко мне сделать ей такое, чего ни у кого нет. Вот тут-то я и сделал

„Искусство", Л, 1971, стр. 169, 170).
31-32, 123, 176, 254, 275, 278-279, 281-292

ПЕТРОКОММУНА — „Петроградская трудовая коммуна", март 1918 — февр. 1919. В связи с переездом правительства РСФСР в Москву, были в Петрограде организованы как бы автономные органы власти — комиссариаты. В Петрокоммуну входили Новгородская, Псковская, Олонецкая губернии, Мурманский округ, губерния Череповецкая, не говоря о Петроградской. Это была как бы большая сатрапия с неограниченным сатрапом Г. Зиновьевым. **410, 411, 471, 504**

ПЕШКОВ — см. Горький, Максим.

ПИЛЬНЯК, Борис Андреевич (Вогау, 1894 — 1937). „Незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно", как пишут о нем советские справочники. Р. В. Иванов-Разумник видел на стенах тюремной бани надписи и слышал в московской тюрьме ГПУ, а слухи эти были всегда точными: „Не было большой или малой страны в Европе или Азии, 'шпионы' которых не проходили бы через тюремные камеры! Писатель Борис Пильняк оказался японским шпионом... ...'Писатель Пильняк приговорен к расстрелу'..." (Р. В. Иванов-Разумник. *Тюрьмы и ссылки*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 346, 252). „Где же искать речевые русские лады, не подчиняющиеся правилам грамматики церковно-славянской, Мелетия Смотрицкого (17 в.)? ... Сказ — живая вода... книжную, застылую в книжных формах фразу, надо встряхивать и **выговорить**, и такая фраза зазвучит живо и выразительно. — Надо переучиваться грамматике. Эти мои грамматические рассуждения... поразили... когда-то Пильняка. И Пильняк-Вогау упорно переучивался грамматике и встряхивал фразы". (А. Ремизов. *Мышкина дудочка*. Изд. „Оплешник", Париж, 1953, стр. 148). „Борис Пильняк был рыжеватый литератор..., в нем всегда чувствовалось пестрое, мутное. Природных сил довольно, а как их прилагать неведомо. Прежний стиль свой (довольно бледный) он сменил на нечто по наследству от Белого. Получилась сумятица, с темпераментом, но без толку. Ему нравилось

земляное, плотское. В революции привлекала стихия и разнузданность, думаю, нравился ему и разбойный дух ее — т. е. первых ее шагов. ... Прошло время. Пильняк очень прославился. ... Но потом как-то вышло, он написал *Повесть непогашенной луны* (смерть Фрунзе после 'приказанной' операции) — и со своим своеволием, стихийностью земляной, резкостью попал в немилость. А там... и под пулю. 'На крови и насилии вся жизнь, вся история. Нельзя без этого'." (Борис Зайцев. *Далекое*. МЛС, Вашингтон, 1965, стр. 128-129). В 1945 г. встретился я в лагере перемещенных лиц под Касселем с сыном Пильняка, жившим там под другой — польской — фамилией. Был он, как и вся его семья — отец, мать, сестра — арестован, сидел в тюрьме и лагере, во время войны послан „искупать своей кровью" „преступления свои и отца" на фронт, брал, уже в чине младшего лейтенанта, Берлин, и не выдержал творящихся советскими войсками массовых изнасилований немок, повальных грабежей и бесчинств, диких оргий, садизма, повального пьянства командного состава, — и бежал. Его укрыли офицеры армии Андерса, снабдили его польскими документами, и, после капитуляции Германии, он попал в лагерь перемещенных лиц. Он много рассказывал мне об издевательствах следователей НКВД, применении пыток при допросах его и его семьи и о том, что он слышал о гибели отца. **60**

ПИЛЬСКИЙ, Петр Моисеевич (1876 — 1942). Журналист, критик, прозаик. После Октября — эмигрант. „Петр Пильский, сотрудничавший до революции в 'Биржевых Ведомостях'..., принадлежал к типу хлесткого и не слишком разборчивого критика-журналиста. Помимо литературной критики он писал и обычные газетные фельетоны, а также под псевдонимом 'А. Хрущев' — детективно-политические романы". (Глеб Струве. *Русская литература в изгнании*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1956, стр. 183). Пильский был постоянным сотрудником рижской газеты „Сегодня". **144**

ПИНЕС, Ефим Семенович. **126, 127**

ПИНКЕВИЧ, Альберт Петрович (1883 — 1939). Профессор, одно

значении Октябрьской революции я не имел ясного представления. То, что я, как всякий гражданин, могу ей быть полезен, еще не дошло до моего сознания. Отсюда и рождение мысли об Америке: пока в России не до музыки, в Америке можно много увидеть, многому научиться и свои сочинения показать". (С. Прокофьев. *Автобиография*. В кн.: *С. С. Прокофьев. Материалы. Документы. Воспоминания*. Изд. 2-е, Музгиз, М, 1961, стр. 160). **130**

ПРОТОПОПОВ, Александр Дмитриевич (1866 — 1918). Октябрист, министр внутренних дел и шеф жандармов (1916), ставленник Распутина. **34**

ПРОХОРОВ. Владелец кондитерской фабрики и магазинов в Москве и Петербурге. Славилась на всю Россию прохоровская фруктово-ягодная пастила. **34**

„ПРУД" — Ал. Ремизов. *Пруд*. Роман. Обложка М. В. Добужинского. Изд. „Сириус", СПб., 1908. „Симфоническое построение новеллы. Я пользуюсь им в *Крестовых сестрах*, возвращающийся мотив, а главное музыкальное начало одновременно у меня и у Андрея Белого, пример композиции *Пруда*. Я начинаю с лирического запева и перехожу к повествованию (это музыкальное начало песенное). ... Но я это бессознательно, а у Андрея Белого очень сознательно..." (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 110). **509**

ПУГАВКА. Барышня. **59-60**

ПУНИ, Иван Альбертович (1894 — 1956). Художник-абстракционист. С начала 1920-х гг. — эмигрант. „В дневнике (Рождество 1956) Ремизов пишет: 'Иван Альбертович Пуни единственный из художников по-настоящему интересовался моими многомерными рисунками. Имя Пуни я стал знать с моим первым театром. Дед Пуни — автор балета *Конек-Горбунок*. *Конек-Горбунок* первое, что я видел в театре. Его внуки: художник Иван Пуни,

неразговорчивый, а другой внук — художник Бруни, тоже интересовался моими рисунками. Не простой натуры, был независимым художником''. (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 98) . Футуристы — „будетляне имели собственный 'салон'... ... Я говорю о квартире четы Пуни, возвратившихся в тринадцатом году из Парижа и перенесших в мансарду на Гатчинской жизнерадостный и вольный дух Монмартра''. (Бенедикт Лившиц. *Полутораглазый стрелец*. Изд. Писателей в Ленинграде, 1933, стр. 271) . „Вообще русское искусство, это какое-то постоянное разрубание Гордиевых узлов, завязывать узлы мы совсем не умеем''. (Иван Пуни. *Современная живопись*. Берлин, 1922, стр. 16) . **124**

ПУНИН, Николай Николаевич (1888 — 1953) . Искусствовед, долгие годы муж А. А. Ахматовой. После Октября вместе с Блоком, Клюевым, Мейерхольдом, Маяковским, В. Кандинским, М. Шагалом приветствовал Октябрь и работал активно с большевиками. В 1935 г. арестован. Умер в ссылке. „Он был умный человек, но резко остановленный''. (Над. Мандельштам. *Вторая книга*. УМСА, Париж, 1972, стр. 259) . „Стихи эти в *Реквиеме* и относятся к аресту Н. Н. П. в 1935 году'' (А. Ахматова. *Мандельштам. — Соч.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, МЛС, 1968, стр. 181) :

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки.
Смертный пот на челе не забыть.
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

(*Соч.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 1, изд. 2-е, МЛС, 1967, стр. 363) . **124**

ПУЧКОВ. Работник продовольственной управы в Петрограде. А, может быть, это и бывший поэт, Анатолий Пучков, про которого Гумилев сказал: „Анатолий Пучков — отличный образчик не-

поэта. Ему нечего сказать, и он путается в словах и ритмах, как в каких-нибудь крепких тенетах...'' (Н. С. Гумилев. *Собр. соч. в 4 тт.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 4, изд. В. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 325) . Это вполне возможно, ибо в те годы множество неудачников, обозленных на всех и вся, наводнило коммунистическую партию... **346**

ПУШКИН, Александр Сергеевич (1799 — 1837) . „У нас нет культуры слова, не было Буало. И единственное наше 'Art Poétique', наша литературная совесть: Пушкин''. (А. Ремизов. *Огонь вещей*. Изд. „Оплешник'', 1954, стр. 124) . **350, 351, 397, 398, 400, 511**

ПЯСТ, В. (Владимир Алексеевич Пестовский, 1886 — 1940) . Покончил самоубийством. „... Владимир Пяст, небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет. .../В 1918 — 1921 гг./ где то на Васильевском Острове жила его жена с двумя детьми. Весь свой паек и весь скудный заработок отдавал он семье, сам же вел существование вполне нищенское...'' (Вл. Ходасевич. *Дом Искусств*, в его кн.: *Литературные статьи и воспоминания*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 406-407) . Пяст — после написания Блоком *Двенадцати* — прекратил знакомство с ним надолго. Он в начале 20-х гг. чувствовал себя бойцом против большевизма, бойцом обреченным. В августе 1920 г. он писал:

Каждое сердцебиение —
Это биенье твое...
  Красная армия где-то
  Вскинула к глазу ружье.
Ты возлюбила поэта,
Чем он ответит тебе?...
  Страшное будет мгновенье,
  Если угодно судьбе. ...
... Лучшая в мире, прощай же!
Лучшая в мире миров.

Приготовления к бою
Кончены. Что ж? — Я готов.

(Вл.Пяст. *Третья книга лирики*. Изд. З.И. Гржебина, Берлин-П-М, 1922, стр. 25) . **138**

РАДЛОВА, Анна Дмитриевна (ур. Дармолатова, 1891 — 1949) . Поэтесса, драматург, переводчица Шекспира. Вместе со своим мужем, выдающимся режиссерем Сергеем Эрнестовичем Радловым, и частью труппы руководимого им театра (Ленинградский театр им. С. Радлова) , обслуживавшей воинские части Советской армии на фронте Второй мировой войны, попала в плен к немцам. И, хотя и репатриировалась — с мужем и частью актеров — в СССР после капитуляции Германии, но все-таки все они были признаны коллаборантами, долгие годы провели в тюрьмах, лагерях и ссылках, о чем советские источники умалчивают.

Черным голосом кричала земля,
Меченосный ангел говорил поэту о чуде,
Били и бились, убивали и падали люди,
И на земле не осталось ни одного стебля.
От голода, от ветра ли закружились звезды,
Люди, звери, птицы, деревья и фонари,
И не стало ни утренней, ни вечерней зари,
Только черный, светящийся и режущий воздух.
Сердце кружилось, как гудящий волчок,
Оторвалась звезда и навстречу летела,
Острым алмазным краем мне сердце задела,
Брызнула кровь и тысячедневный исполнился срок.
От головокруженья дрожали ноги,
Я снова на пыльной, на белой дороге,
Верстовые столбы, пастухи и стада,
И в тверди прибита восточная звезда.

Май 1921

(Анна Радлова. *Крылатый гость*. Стихи. Изд. „Петрополис", П-Берлин, 1922) . **111, 112**

си', — может сейчас же распорядиться, чтобы Балтийский флот шел бомбардировать Финляндию. ... Что же такое, дело житейское. В 1919 году, вообще, мало чему удивлялись. Разве чему-нибудь, в самом деле, колоссальному. Бутылке коньяку, например. ... Женщина всегда женщина — Лариса Рейснер, говоря, что она 'коморси', немного прихвастнула: 'коморси' был, собственно, ее муж, мичман Раскольников. Сама же Рейснер носила всего лишь звание 'заместительницы комиссара по морским делам' (тоже ничего себе чин: по буржуазному — товарищ министра). ... Потом только слышал о ней. Слышал разное. О смертных приговорах, которые она, говорят, подписывала. О капитане /адмирале/ Щастном, которого кормила завтраком и развлекала милой болтовней, покуда шли последние приготовления к его 'суду' и расстрелу''. (Георгий Иванов. *Петербургские зимы*. Париж, 1928, стр. 161-162, 167). **152**

РЕМИЗОВ, Виктор Михайлович (1876 — 1919). Брат А. М. Ремизова. ,,Виктор постоянно болел... Окончил он /Коммерческое училище/ 'кандидатом коммерции' и поступил в банк. ... В 1914 году Виктор в чине прапорщика запаса был призван на войну. ... Дослужился до полковника, а в революцию был назначен инспектором в Красную армию. Отряд, которым он командовал, попал в плен к Колчаку и его расстреляли''. (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 76). **109, 138, 168-173**

РЕМИЗОВ, Николай Михайлович (1874 — не ранее 30-х гг.). Старший брат А. М. Ремизова. Адвокат. ,,По устремлениям — Алеша Карамазов'' (А. Ремизов. *Подстриженными глазами*. УМСА, Париж, 1951, стр. 183). ,,... специалист по вексельному праву. После смерти знаменитого адвоката Плевако, у которого был в начале своей карьеры помощником, староста Московского Большого Успенского собора. Учился и на юридическом факультете, и на филологическом, и рисованию — в Строгановском училище''. ,,Всю жизнь вне всякой политики..., Николай Ремизов был арестован в революцию. Освободило Николая из тюрьмы заступничество одного старого большевика-экономиста, лично с ним Алексей Михайлович знаком не был. Только потом Горь-

кий ему расскажет, что этот экономист был большой любитель его словесных 'завитушек', и в спорах о литературе всегда его защищал''. (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 73-74) . **115**

РЕМИЗОВ, Сергей Михайлович (1875 — не ранее 30-х гг) . Брат А. М. Ремизова. ,,Писал стихи и всегда был влюблен. После гимназии — медицинский факультет и филармония по классу пения — баритон. А кончил неожиданно — бросил медицинский, филармонию и сделался неудачным биржевым маклером, а в конце концов служащим на товарной станции Курской железной дороги. Никакой 'политик' в революцию занял видное место''. (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 75) .
132, 134, 141, 146-147, 150, 171, 174-175, 466-467

РЕМИЗОВА, Мария Александровна, урожд. Найденова (ум. 1919) . ,,Моя мать из богатой московской семьи вышла замуж не по расчету — революционерка не продается, и не по любви, другого она любила: художник семейный, имя не громкое, она вышла замуж — 'на зло'. ... Она взяла на свою душу неподъемную тяжесть: месть. И пять лет она держала зло на сердце. ... С моим появлением больше она не выдержала — я освободил ее душу. Без повода, без объяснения она уехала и всех нас увезла с собой из отцовского дома. ... Она взяла нас с собой, чтобы начать новую жизнь...'' (А. Ремизов. *В розовом блеске*. Англия, 1969, стр. 305) . ,,В *Пруде* Ремизов выразил ее отчаяние''. (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 78) . **175, 176**

РЕМИЗОВА-ДОВГЕЛЛО, Серафима Павловна (1876 — 1943) . Жена А. М. Ремизова. Ученый палеограф. ,,Уже до замужества, до ссылки в Устьсысольск, Вологодскую губернию, про нее говорили: 'Из Оли /так в повести названа С. П./ не выйдет революционерка до конца: червь у нее есть мистический, и это помешает'.'' (А. Ремизов. *В розовом блеске*. Англия, 1969, стр. 132) . ,,Она меня учила моей любимой словесной грамоте: слова, корни слов, история языка. Она была моим учителем — сорок лет, — и цензором в литературе и в жизни. ... Она предостерегала

зраком и раздувавшая с демагогическими целями страх перед 'контрреволюционной опасностью', 'революционная демократия' социалистических партий принялась систематически дискредитировать Гос. Думу и ее председателя М.В. Родзянко, пользовавшегося в первое время революции громадной популярностью в стране и в армии''. (П. Н. Милюков. *История Второй Русской Революции*. Т. 1, София, 1921). **47, 48, 56-57**

,,РОЖДЕСТВО'' — рассказ А. Ремизова, входящий в его книгу *Лимонарь. Апокрифы*. Изд. ,,Оры'', СПб, 1907: *Рождество Христово*. **447-448**

РОЗАНОВ, Василий Васильевич (1856 — 1919). Розанов о Ремизове в письме к З. Н. Гиппиус: ,,Голова это — путанная, с психологией малой мыши на большом сыре, которая боится быть пойманною...'' (А. Ремизов. *Кукха. Розановы письма*. Берлин, 1923, стр. 21). ,,Теплота в сердце, тревога за человека, а отсюда и внимательность к людям — это редкий дар человека. И этот дар был у Розанова''. (А. Ремизов. *Та же книга*, стр. 47). Из письма Розанова к Ремизову: ,,Я Пирожкову /издателю/ недавно говорю: — это потерянный бриллиант, и всякий будет счастлив, кто его поднимет: ум, спокойствие, археология + Style moderne! Ах, дорогой, как хотелось бы Вам помочь: ведь и у меня, и у Варвары Дмитриевны болит по Вас сердце, но от **бессилья** я ругаюсь''. (*Там же*, стр. 49). ,,А ведь Розанов не только философ 'превыше самого Ничше!' Розанов — сотрудник 'Нового Времени'. И понятно, какой шкурный мог бы быть соблазн уехать из России /и не уехал/''. (*Там же*, стр. 64). ,,Как раковая опухоль растет и все прорывает собою, все разрушает, — и сосет все силы организма, и нет силы ее остановить: так социализм. Это изнурительная мечта, — не осуществимая, безнадежная, но которая вбирает все живые силы в себя, у молодежи, у гимназиста, у гимназистки. Она завораживает самое идеальное в их составе: и тащит несчастных на виселицу — в то время как они убеждены, что она им принесла счастье. И в одном поколении, и в другом, в третьем. ...'Мечта общего счастья посреди общего несчастья'. Да: но именно **мечта** о счастье, а не работа для счастья. И она даже

противоположна медленной, инженерной работе над счастьем. — Нужно копать арык и орошать голодную степь. — Нет, зачем: мы будем сидеть в голодной степи и мечтать о том, как дети правнуков наших полетят по воздуху на крыльях, — и тогда им будет легко летать даже на далекий водопой". (Вас. Розанов. *Опавшие листья. Короб второй. — Избранное*. Под ред. Евг. Жиглевич. Мюнхен, 1970, стр. 353) . „Революция имеет два измерения — длину и ширину; но не имеет третьей — глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь **спелого, вкусного плода**; никогда не 'завершится'. Она будет все расти **в раздражение**: но никогда не настанет в ней того окончательного, когда человек говорит: 'довольно! Я — счастлив! **Сегодня** так хорошо, что не надо **завтра**'... Революция всегда будет с мукою и будет надеяться только на 'завтра'... И всякое 'завтра' ее обманет и перейдет в 'послезавтра'. Perpetuum mobile, circulus viciosus, и не от бесконечности, — куда! — а именно от короткости. 'Собака на цепи', сплетенной из своих же гнилых чувств. 'Конура', 'длина цепи', 'возврат в конуру', тревожный коротенький сон. В революции нет радости. И **не будет**. Радость — слишком царственное чувство, и никогда не попадет в объятия этого лакея. Два измерения: и она не выше человеческого, а ниже человеческого. Она механистична, она материалистична. Но это — не случай, не простая связь с 'теориями нашего времени'; это судьба и вечность. И, в сущности, подспудная революция в душах обывателей, уже ранее возникшая, и толкнула всех их понести на своих плечах Конта-Спенсера и подобных" (*Там же, короб первый*, стр. 106) . **39, 90, 94-98, 109, 137, 147, 218, 219, 233-234, 299-300, 303, 512, 515**

РОЗАНОВА, Варвара Дмитриевна. Жена В. В. Розанова. **94-96**

РОМАНОВ — владелец гастрономического магазина. Славился сырами. **34**

РОМАНОВ, Пантелеймон Сергеевич (1885 — 1938). „... Пантелеймон Романов, автор *Руси*, способный из семинаристов, — про

Пантелея в Москве говорили, что он как Лев Толстой, да и сам Пантелей думал, что он Толстой: тоже из Тулы". (А. Ремизов. *Мышкина дудочка.* Изд. „Оплешник", Париж, 1953, стр. 132).
136

РОСЛАВЛЕВ, Александр Степанович (1879 — 1920). Поэт, прозаик, фельетонист. „... Стихи его — жалкая трескотня и чудовищная пошлость..." (Ал. Блок. *Литературные итоги 1907 года. — Собр. соч. в 8 тт.*, т. 5, ГИХЛ, М-Л, 1962, стр. 232). „... Александр Рославлев давно перестал считаться в рядах поэтов". (Н. С. Гумилев. *Статьи и заметки о русской поэзии. — Собр. соч. в 4 тт.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 4, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 316). **136, 137, 138**

„РОССИЯ В ПИСЬМЕНАХ" — книга А. Ремизова, изд. „Геликон", М-Берлин, 1922. Из дарственной надписи жене: „... Никогда я не думал, что удастся осуществить такую книгу. Начало положено было, когда ты археологический институт кончала, и я 'восприял' приятную науку археологию". (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 152). **228**

РОШАЛЬ, Семен Георгиевич (1896 — 1917). Деятель Коммунистической партии. В июльские дни 1917, в спровоцированных Лениным выступлениях, матросы-„кронштадцы были, несомненно, главной ставкой партии Ленина и главным, решающим фактором в его глазах. Решив накануне **призвать** массы к 'мирной манифестации', большевики, конечно, приняли меры к мобилизации Кронштадта. В часы ночных колебаний, когда движение стало затихать, Кронштадт стал единственным козырем тех членов ЦК, которые отстаивали восстание... Потом восстание отменили. Но, видимо, относительно Кронштадта соответствующих мер не приняли, — одна большевистская рука не знала, что делала другая. ... Кронштадтцев вели известные большевики Рошаль и Раскольников. И они привели их к Ленину. Шансы восстания и переворота вновь поднялись необычайно высоко. Ленин должен был жалеть, что призыв к петербургскому пролетариату и гарнизону был отменен в результате ночных колебаний. ... Движение

развивалось снова и помимо кронштадтцев. ... Начались небольшие, частичные погромы. ... Под предлогом обысков начались грабежи. ... Все это совсем не походило на манифестацию против министров-капиталистов; но это не походило и на восстание против них, за власть Советов... Часам к 4-м число раненых и убитых уже исчислялось, по слухам, сотнями. ... Но, вдруг, над Петербургом разразился проливной дождь. Минута-две-три, и 'боевые колонны' не выдержали... ... солдаты-повстанцы разбегались, как под огнем... Настроение было сбито, ряды расстроены. Дождь распылил восставшую армию. Выступавшие массы больше не находили своих вождей, а вожди — подначальных... Командиры говорили, что восстановить армию уже не удалось, и последние шансы на какие-нибудь планомерные операции после ливня совершенно исчезли. .../Вскоре начались насилия матросов над деятелями не-большевиками/. Я понимал хорошо, что такое — стихийное движение. ... Но... я не знал, что большевики уже по меньшей мере целый месяц... находятся в полной готовности взять в свои руки всю полностью государственную власть 'при благоприятных условиях'... Раскольников имел соответствующие директивы. Однако, хотя движение было огромно, переворота все же 'не выходило'. ... Ведь прямых приказов Раскольников и Рошаль не получили, а только условные. ... Но стоять на месте и ничего не делать многотысячной толпе, приведенной 'защищать революцию', — было также невозможно. ... Разозленный /в споре с/ Раскольниковым я уже, было, взобрался на... передок автомобиля... ... Но в этот момент туда уже вскочил Рошаль. По-детски картавя, в заискивающих выражениях он прославлял кронштадтцев за выполнение их революционного долга, — а затем предлагал отправиться на отдых в указанные им пункты, где армия получит кров и пищу. Но доблестные кронштадтцы должны быть готовы. В каждый момент они могут понадобиться революции, и их призовут опять''. (Ник. Суханов. *Записки о революции*. Кн. 4. Изд. З. И. Гржебина, Берлин, 1922). Потом вся эта нерешительность, неразбериха, колебания и нерешительность Ленина и ленинцев превозносилась, как гениальная репетиция Октября. 3 июля 1917 — стало одной из „великих дат'' истории КПСС.

145

у поэтов. Я подразумеваю 'русскую прозу' в ее новом, а в сущности древнем ладе: в ладе красного звона и знаменного распева, в ладе 'народной речи' и в образах русской иконы; лад этой прозы мало в чем совпадает с Мельниковым-Печерским, еще меньше с Горбуновым и никак с гр. Ал. К. Толстым. Закоренелый 'западник'..., зачарованный музыкой природной русской речи..." (Ал. Ремизов. *Подстриженными глазами*. УМСА, Париж, 1953, стр. 153-154).

68, 74, 85, 115, 124-125, 126, 137, 138, 151, 212, 234, 292, 330

САБАШНИКОВА, Маргарита Васильевна (1882—1973). Художница, поэтесса. Первая жена Макс. А. Волошина. Деятельная участница антропософского движения в Германии (эмигрантка после Октября). Автор книги воспоминаний: Margarita Woloschin. Die Grüne Schlange. Lebenserinnerungen. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1954. „Стихи Маргариты Сабашниковой, очевидно, порождены мистицизмом автора, но они не убедительны ни как мистические прозрения, ни как поэзия". (Н. С. Гумилев. *Статьи и заметки о русской поэзии. — Собр. соч. в 4 тт.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. 4, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 271). **124**

САВИНКОВ, Борис Викторович (1879 — 1925). Псевдоним — В. Ропшин. Один из лидеров эсеров. Террорист. Прозаик и поэт. Убийца Вел. кн. Сергия Александровича (вместе с Каляевым). После Октября — эмигрант, продолжавший активную борьбу с большевизмом. Сотоварищ Ремизова в Вологодской ссылке. „Да, ... со стороны Дзержинского это была только уловка /уговоры 'сдаться, перейти к коммунистам'/, дабы публично скомпрометировать врага, как позднее был скомпрометирован заманенный из-заграницы через провокаторов и схваченный Борис Савинков. ... Судьба иногда жестоко сводит людей. В те годы /первое десятилетие века/ в студенческом полулитературном, полуреволюционном петербургском кружке девически-застенчивый студент Вячеслав Менжинский встречался с бурным студентом Борисом Савинковым. Оба студента интересовались литературой. Савинков писал талантливые стихи. Менжинский

пробовал декадентские романы. С первых же встреч эти студенты стали инстинктивными и непримиримыми врагами, и это было естественно, ибо декадентская 'тень человека' и сангвинический Савинков были очень разными. ... Через тридцать без малого лет, революции было угодно, чтобы террориста и бывшего военного министра Савинкова в Париже в 1924 году спровоцировали, заманив в ловушку, агенты вождя тайной коммунистической полиции и чтобы именно Менжинский, уже тяжело больной, укутанный в пледы, лежа на диване в своем инквизиторском кабинете, допрашивал схваченного и привезенного на Лубянку, нелегально перешедшего границу России, Савинкова". (Роман Гуль. *Дзержинский*. Изд. 2-е, „Мост", Нью-Йорк, 1974, стр. 130, 147-148). Из стихов Савинкова (ок. 1903):

Когда принесут мой гроб,
Пес домашний залает,
Жена поцелует в лоб,
А потом меня закопают.

Глухо стукнет земля,
Сомкнется желтая глина,
И не станет того господина,
Который называл себя 'я'.

(Цитирую по кн.: Роман Гуль. *Азеф*. Изд. 4-е, „Мост", Нью-Йорк, 1974, стр. 106). „... не пойму, стерлась, понимаешь, вот самая эта тончайшая грань стерлась, перестал понимать, почему для революции убивать хорошо, а для контрреволюции, скажем, дурно? Больше того, — для партии убить надо, а для себя почему-то никак нельзя?..." (*Там же*, стр. 138).

80, 89-90, 112-113, 115, 218, 219

САВИНКОВ, Евсевий. Помощник архитектора в первой половине 18-го века. **482, 483, 486**

САДОВСКОЙ (наст. фам. — Садовский), Борис Александрович (1881 — 1952). Поэт, прозаик, критик, историк литературы. „В

роли конквистадоров, завоевателей, наполняющих сокровищницу поэзии золотыми слитками и алмазными диадемами, Борис Садовской, конечно, не годится, но из него вышел недурной колонист в уже покоренных и расчищенных областях''. (Н. С. Гумилев. *Статьи и заметки о русской поэзии. — Собр. соч. в 4 тт.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 4, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 212). ,,Борис Садовской, человек умный и хороший, за суховатой сдержанностью прятавший очень доброе сердце''. (В. Ф. Ходасевич. *Некрополь.* Воспоминания. Изд. ,,Петрополис'', Брюссель, 1939, стр. 38). ,,Борис Садовской был слабый поэт. ... От русского поэта у него было только одно качество — лень. Лень помешала ему заняться его прямым делом — стать критиком''. (Г. Иванов. *Петербургские зимы*. Париж, 1928, стр. 104). **141, 142**

САРТЫ. Так до революции назывались узбеки, а зачастую и уйгуры, а даже иногда таджики. **35**

САХАРОВ. Может быть, имеется в виду регент хора церкви Ильи Пророка в Москве (см. А. Ремизов. *Кукха. Розановы письма*. Берлин, 1923, стр. 93). ,,На первом месте из частных хоров: хор Сахарова...'' (А. Ремизов. *Подстриженными глазами*. УМСА, Париж, 1951, стр. 190). **232**

СВЕРЧКОВ. Чиновник. **241-243**

СВИРСКИЙ, Алексей Иванович (1865 — 1942). Прозаик. В марксистской прессе с 1900, в КПСС с 1919. Как и ранний Горький, в своих произведениях изображал жизнь босяков, уголовников, бродяг. Родился в беднейшей еврейской семье, был беспризорником, много бродяжил по России. **137**

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ, кн. Дмитрий Петрович (1890 — 1939). После Октября — эмигрант. В 1932 вернулся в СССР. В 1937 ,,незаконно репрессирован, посмертно реабилитирован''. ,,... в это время /1926 — 1928/ был лектором русской литературы в Лондонском университете и сотрудником многих передовых фран-

цузских и английских литературных журналов... ... Как раз в 1926 г. он выпустил первый том своей прекрасной двухтомной *Истории русской литературы* — лучший сжатый и обобщенный очерк русской литературы с ее зарождения по 1925 г. на каком-либо языке. ... В советской литературе Мирского... привлекало именно то, что вскоре оказалось несозвучным партийной линии: Пастернак, Бабель, экспериментаторство Сельвинского. Но не прошло много времени, прежде чем Святополк-Мирский сменил вехи и оказался правоверным марксистом и членом британской коммунистической партии. Года через два после этого — летом 1932 года — он уехал в СССР. Для знакомых его этот поступок представлялся продиктованным каким-то духовным озорством, желанием идти против эмигрантского течения, и ничего хорошего для Мирского не сулившим. ... В 1935 году коммунистические критики обрушились на него за то, что он позволил себе критиковать Фадеева. При этом Мирскому напомнили, что он бывший князь (Мирский был сыном бывшего министра внутренних дел, который 'делал весну' накануне революции 1905 г.) и 'белогвардеец'. ... Это было в 1935 г. А год спустя Мирский был... арестован...'' (Глеб Струве. *Русская литература в изгнании*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1956, стр. 73, 75, 76). **115, 119**

С-ДРП — см. РС-ДРП.

СЕВПРОС. Кооператив служащих в Комиссариате просвещения Северной коммуны. **348, 410, 411, 502**

СЕЗЕМАН, В. Е. (1884 — 1937). Философ-трансценденталист. Писал преимущественно (уже в эмиграции) по-немецки. **135**

СЕЗЕМАН, Нина Николаевна. **145**

СЕМЕНОВ. Уполномоченный. **129**

СЕМЕНОВ, Леонид (Леонид Дмитриевич Семенов-Тяньшанский, 1880 — 1917). Поэт. Товарищ А. А. Блока по университету.

СИНЯВИН, Федор Акимович (Сенявин). Комиссар строений при Петре I, брат У. А. Сенявина. **499**

„СИРИН". Издательство (и название выпускавшихся им альманахов), 1913 — 1914. Владелец и руководитель издательства — М. И. Терещенко и его сестры. **88, 161, 229, 510**

„СКИФЫ" — альманахи под редакцией Р. И. Иванова-Разумника, А. Белого, Мстиславского и др. и одноименное издательство левых эсеров в Берлине (альманахи: 1-й — 1917; 2-й — 1918; изд-во — 1918-1924). В них участвовали А. Блок, А. Белый, Н. Клюев, С. Есенин и др. **88, 278, 510**

СКУРАТОВ-БЕЛЬСКИЙ, Григорий Лукьянович, прозванный „Малютой" (погиб в бою в 1573). Один из возглавителей Опричины при Иване Грозном. **519**

СМИРНОВ, А. С. Может быть, не А. С., а Александр Александрович (1883 — 1962). „Молодой приват-доцент А. А. Смирнов, ... недавно /1913/ возвратившийся из Парижа. ... Смирнов привез писанную от руки Делонэ и его женою, Соней Терк, на длинных полосах бумаги сантраровскую Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France. Подобно тому как в живописи речь шла об одновременном восприятии всех элементов картины, вместо последовательного их восприятия одним за другим, основным принципом симюльтанистской поэзии было вытеснение последовательности одновременностью". (Бенедикт Лившиц. *Полутораглазый стрелец*. Изд. Писателей в Ленинграде, 1933, стр. 206). **142**

СОКОЛОВ-МИКИТОВ, Иван Сергеевич (1892 — 1975). Прозаик. В 1920-1922 — вне России. Об этих годах в *Автобиографических заметках* говорит очень осторожно, рассказывает, что попал на Запад случайно, а „в двадцать первом году, мучительно тоскуя по родине, пробрался в Германию, в Берлин, показавшийся мне преддверием России. Здесь, в Берлине, наполненном русскими людьми и русскими издательствами, познакомился и крепко

сдружился с А. Н. Толстым, приехавшим из Парижа, еще раз встретился с Горьким и гостил у него в Герингсдорфе, изредка переписывался с И. А. Буниным, с большой доброжелательностью относившимся к моим первым рассказам о деревне..." (*Советские писатели. Автобиографии*. Т. 3. Сост. Б. Я. Брайнина и А. Н. Дмитриева. ГИХЛ, М, 1966, стр. 641).

77-78, 94, 109, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 225, 234, 266

СОЛЕМ — см. Полсолем.

СОЛОГУБ, Федор (Федор Кузьмич Тетерников, 1863 — 1927). „Я не принадлежал никогда к классу господствующих в России и не имею никакой личной причины сожалеть о конце старого строя жизни, но я в этот конец не верю. Не потому, что мне нравится то, что было, а просто потому, что в новинах наших старина слышится мне наша. Я поверил бы в издыхание старого мира, если бы изменилась не только форма правления, но и форма мироощущения, не только строй внешней жизни, но и строй души. А этого как раз и нет нигде и ни в ком". (Из неопублик. статьи Ф. Сологуба *Что делать?* Цитирую по статье Г. П. Струве *Три судьбы*, „Новый Журнал", № 17, 1947, стр. 208).

Вот подумай и пойми:
В мире ты живешь с людьми, —
Словно в лесе, в темном лесе,
Где написан бес на бесе, —
Зверь с такими же зверьми.
Вот и дом тебе построен,
Он уютен и спокоен,
И живешь ты там с людьми,
Но таятся за дверьми
Хари, годные для боен.
Человек иль злобный бес
В душу, как в карман, залез,
Наплевал там и нагадил,
Все испортил, все разладил
И, хихикая, исчез.
Смрадно скорчившись у двери,

Над тобой хохочут звери:
— Дождался, дурак, чудес?
Эти чище, чем с небес,
И даются всем по вере.
Дурачок, ты всем нам верь, —
Шепчет самый гнусный зверь, —
Хоть блевотину на блюде
Поднесут с поклоном люди,
Ешь и зубы им не щерь.

(Цитирую по той же статье Г. П. Струве, стр. 209).
161, 162, 254, 266, 278, 279, 323, 377

СОМОВ, Константин Андреевич (1869 — 1939). Живописец и график. С 1924 — эмигрант. „Эпоха, представляющаяся нам наивной, с некрепкими мускулами, без паровозов — тихоходящая, ползучая (сравнительно с нашей), — а как она овладеть может природой, обольстить природу, почти сделать ее продолжением своего замысла". (В. Розанов. *На выставке „Мира Искусства*. „Мир Искусства", т. 2, 1903, № 6, стр. 54). Эротика Сомова „становится бичом прекраснодушной лирики, его интеллект, его спокойное владение рисунком вызывает ощущение еще большей издевки, антиромантической и — дальше, глубже — антилирической. Это же 'интонация похоти' в красивейших символах. Пластические формы, живопись, узор, орнамент — это 'маски похоти' во всевозможных ее метаморфозах". (Б. А. Асафьев /Игорь Глебов/. *Русская живопись. Мысли и думы*. М-Л, 1966, стр. 85).
120, 167, 268

СОРАБИС. Союз работников искусств. **502**

С. П. — см. Ремизова-Довгелло, С. П.

СПИРИДОНОВА, Мария Александровна (1889 — 1941). Член ЦК партии левых социалистов-революционеров — в качестве „руководительницы и моральной вдохновительницы" так называемого мятежа левых эсеров — была осуждена, но „амнистирована". Не-

журнала. Выпустить его мне стоило больших усилий. Каждую статью и каждый рассказ приходилось зубами выдирать у цензуры, но зато и результат получился исключительный. В конце концов мы с цензором Мещеряковым, старым большевиком, умным, внимательным человеком — спасибо ему — выпустили литературно-философский сборник, ни одним словом не свидетельствующий о том, что он вышел в Советской Москве, а не в эмигрантском Париже. Интересно отметить, что, пропустив таких авторов, как Бердяев, Муратов и я, а также и лучшие беллетристические вещи сборника: *Бурыгу* Л. Леонова, и *Письма из Тулы* Пастернака, Мещеряков, несмотря на все мои старанья, не пропустил недурно написанного натуралистически беспристрастного рассказа Лидина из провинциально-революционной жизни. На мои доводы, что в статьях сборника гораздо больше 'ереси', чем в рассказе Лидина, Мещеряков не без иронии ответил, что наши мудрствующие статьи ни до кого не дойдут и души революции не отравят. От правдивого же рассказа Лидина веет такой скукой, такой революционно-бытовой обывательщиной, что даже ему, старому борцу, стало как-то тошно после его прочтения. Ощущения же скуки в революционное время надо бояться как огня. Может быть, в этом замечании надо искать объяснение тому, почему поэтам-символистам до поры до времени разрешались некоторые 'вольности дворянства'..." (Федор Степун. *Бывшее и несбывшееся*. Том 2. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1956, стр. 314-315, 268-269) . **166, 446**

СТРУВЕ, Михаил Александрович (1890 — 1948) . Поэт-акмеист, участник „Цеха Поэтов", племянник П. Б. Струве. „Вот стихи хорошей школы. ... Уверенность речи, четкость образов и стройность композиции заставляют принять его стихи без оговорок..." (Н. С. Гумилев. *Статьи и заметки о русской поэзии. — Собр. соч. в 4 тт.*, под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 4, изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1968, стр. 367) . **119**

СУВЧИНСКАЯ, Вера Александровна. **152**

СУВЧИНСКИЙ, Петр Петрович (1892 —) . Музыкальный критик,

музыковед. В эмиграции — один из зачинателей евразийства.
131-132

СУМСКИЙ (Каплун), С. Г. — см. Каплун-Сумский, С. Г.

СУСАНИН, Иван (погиб в 1613). **151**

СУХАНОВ, Николай Николаевич (Наст. фамилия Гиммер; 1882 — 1940). Меньшевик-интернационалист, экономист-аграрник, публицист, сотрудник горьковской „Летописи", сотрудничал и в печати левых эсеров, и в газете М. Горького „Новая Жизнь". Автор чрезвычайно ценной книги *Записки о революции*, в 7 кн., Берлин-П-М, 1922-1923. В 1931 и в 1939 был осужден как контрреволюционер, погиб в застенках НКВД или расстрелян. „... В Смольный я попал около 3 часов /25 окт. 1917 — ст. ст./. ... беспорядок увеличился. Защитников налицо было много, но сомневаюсь, чтобы защита могла быть стойкой и организованной. По темному, заплеванному коридору я прямо пошел в большой зал. Он был полон и не было ни малейшего намека на порядок и благообразие. Происходило заседание. Троцкий председательствовал. Но за колоннами плохо слушали и сновали взад и вперед вооруженные люди. Когда я вошел, на трибуне стоял и горячо говорил незнакомый лысый и бритый человек. Но говорил он странно знакомым хрипло-зычным голосом, с горловым оттенком и очень характерными акцентами на концах фраз... Ба! Это — Ленин. Он появился в этот день после четырехмесячного пребывания в подземельях. Ну, стало быть, тут окончательно торжествуют победу. ... На другой же день после победоносного восстания петербуржцы не досчитались нескольких столичных газет. ... Их закрыл военно-революционный комитет — за травлю Советов и тому подобные преступления. ... С утра были посланы матросы в экспедицию 'Речи' и 'Современного Слова'. Все наличные номера были конфискованы, вынесены на улицу и тут же сожжены. Невиданное доселе аутодафе вызвало большое стечение публики. ... Разгром буржуазной печати, будучи полной бессмыслицей, сильно повредил большевикам. Он отпугнул, отшатнул и возмутил, заставил насторожиться решительно все ней-

тральные и колеблющиеся элементы, каких было немало. Вот как начинает править новая власть! Больше пока ничего нет, но погром и бессмысленное насилие уже есть. ...'' (Ник. Суханов. *Записки о революции*. Кн. 7, изд. З. И. Гржебина, Берлин, 1923). **153, 275**

СУХОТИН, Павел Сергеевич (1884 — 1935). Поэт, прозаик, драматург, критик. Сотрудник журнала П. П. Муратова ,,София''. ,,... Ваши статьи в 'Софии' (о повестях) мне гораздо больше нравятся, чем книжка стихов. ... Я просто не люблю таких стихов, они для меня, грубо говоря, 'не питательны'.'' (Ал. Блок. *Письмо к П. С. Сухотину, 1 апр. 1914. — Собр. соч. в 8 тт.*, т. 8, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 437). **119**

СЮННЕРБЕРГ — см. Эрберг, К. А.

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ. Дворец, подаренный Екатериной II кн. Г. А. Потемкину-Таврическому, затем опять отошедший императорскому дворцовому ведомству. В 1905 — 1917 гг. — в нем заседала Государственная Дума. **56, 57**

ТАРСУКОВ, Лука. Дьяк С-Петербургской городской канцелярии в первой половине 18-го века. **483**

ТЕО. Театральный отдел Наркомпроса РСФСР, 1918 — 1920. ,,Это было учреждение бестолковое, как все тогдашние учреждения. Им заведовала Ольга Давыдовна Каменева, жена Льва Каменева и сестра Троцкого... Писатели в ТЕО были только вкраплены. Основное ядро составляли какие-то коммунисты, рабочие, барышни, провинциальные актеры без ангажемента, бывшие театральные репортеры, студенты, художники. Они неизвестно откуда являлись и неизвестно куда пропадали, высказав свое мнение... ... Ни один вопрос не ставился точно и ни одно дело не доводилось до конца. Впрочем, никто и не знал, что надо делать. Говорили преимущественно 'к порядку дня' и перманентно 'организовывались', неизвестно с какою целью. ... Мы /писатели/ старались протащить классический репертуар... ... Коммунисты

— *Собр. соч. в 8 тт.*, т. 7, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 355) .
88, 119, 130, 229, 257-258, 510

ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ. Купец. **50-51**

ТИНЯКОВ, Александр Иванович (псевдоним — Одинокий; 1886 — 1922) . Поэт и журналист. „... Как я уже говорил, во дворе елисеевского дома некогда еще находились еще одни меблированные комнаты. Их помещение тоже принадлежало 'Диску' /'Дому Искусств'/, но ими не пользовались по той причине, что оно уже было кем-то разгромлено и загажено. По человеческой жестокости поселили там одну старую, тяжело больную хористку Мариинского театра. Она ночь и день лежала в своей конуре, под грудой тряпья, ожидая смерти. Ей по очереди носили еду. Весной 1921 года приехал в Петербург из Казани поэт Тиняков, начавший литературную деятельность еще лет восемнадцать тому назад, но давно спившийся и загрязнивший себя многими непохвальными делами. Ходили слухи, что в Казани он работал в чрезвычайке. Как бы то ни было, появился он без гроша денег и без пайка. Голодал начисто. Вскоре он сумел пустить корни (опять по сомнительной части) , раздобылся деньжонками и стал пить. Девочки, торговавшие папиросами, почти все занимались проституцией. По ночам он водил их к себе. Его кровать тонкой перегородкой в одну доску, да и то со щелями, ... отделялась от кровати, на которой спала старуха. Она стонала и охала. Тиняков же стучал кулаком в стену, крича: — Заткнись, старая ведьма, мешаешь! Заткнись, тебе говорят, а то сейчас приду и тебя задушу..." (Вл. Ходасевич. *Литературные статьи и воспоминания.* Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 410-411) . „Вместе с тем, кроме учености (он был всесторонне образован, был большим знатоком египетских древностей, Талмуда, философии) , Тиняков был ревностным младшим собратом 'символистского ордена'. Он говорил как-то Ходасевичу: '— Мне, Владислав Фелицианович, на Господа Бога — тьфу! (Тут он отнюдь не символистически плюнул...) — Был бы только Валерий Яковлевич /Брюсов/, ему же слава, честь и поклонение!'." (В. Ф. Ходасевич. *Некрополь*. Воспоминания. Изд. „Петрополис", Брюссель,

1938, стр. 36-37). И было-то это не в 20-х годах, а задолго до революции... „Это был человек страшного вида, оборванный, обросший волосами, ходивший в опорках и крайне ученый. ... В пьяном виде, а пьян он был почти всегда, грязный, оборванный, небритый. ... Однажды он пришел в гости к писателю Г. Поговорили о том, о сем и перешли к политике. Тиняков спросил у Г., что тот думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думает. — А, вот как, — сказал Тиняков. — Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти! ... Хоть мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск. — И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных ЧК..." (Г. Иванов. *Петербургские зимы*. Париж, 1928, стр. 105-106). **63, 120, 137, 147**

ТИХОНРАВОВ, Николай Саввич (1832 — 1893). Академик. Историк литературы. **354**

ТОЛСТОЙ, Алексей Николаевич (1883 — 1945). „... Алексей Толстой. Этот заплывший жиром человек, талантливый брюхом..., совершенно беспомощный в вопросах творческих, всю жизнь, однако, умел прекрасно устраивать свои дела, держал нос по ветру и чуял, где жареным пахло. Разумеется, он был теперь самым верноподданнейшим слугою коммунизма". (Р. В. Иванов-Разумник. *Тюрьмы и ссылки*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953, стр. 127). „... отношение Толстого к большевистской революции было в то время самое отрицательное, на юге России он был связан с Добровольческой Армией, работал в ее Отделе пропаганды, и эмигрировав в Париж, продолжал ее поддерживать, сотрудничая в 'Общем Деле' и ' Последних Новостях'." (Гл. Струве. *Русская литература в изгнании*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1956, стр. 107). Открытка И. А. Бунина к А. Н. Толстому — на имя „Известий", после прочтения *Петра Первого*: „Алешка, хоть ты и сволочь, мать твою..., но талантливый писатель. Продолжай в том же духе. Ив. Бунин". (Андрей Седых. *Далекие, близкие*. Изд. 2-е, Нью-Йорк, 1962, стр. 207). **135, 149**

ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич (1828 — 1910). „Улыбка человека просвет **оттуда**. Это то, что есть в человеке от 'клочков и обрыв-

ков' другого мира. Был у Толстого этот свет — цвет улыбки и унес на волю в темную ночь, озаренный обрадованной улыбкой жить на земле — улыбка Наташи Ростовой, и жалостной — улыбка Катюши Масловой, обреченной на горький труд жизни". (А. Ремизов. *Огонь вещей*. Изд. „Оплешник", Париж, 1954, стр. 13). „Думаю, ушастый был Достоевский, а глазастый Толстой". (А. Ремизов. В кн.: Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 139). **397, 398, 400**

ТРЕЗИН — ТРЕЗИНИ, Доменико Андреа (ок. 1670 — 1734). Архитектор. С 1703 работал в России, главным образом, в Петербурге. **481, 496**

ТРЕПАЧ, Яков Петрович — „Яшка" — заключенный в ЧК. **280, 282, 284**

ТРОЦКИЙ (Бронштейн), Лев Давыдович (1879 — 1940). „... Но революция и искусство — это единение еще не найдено. Я возразил Троцкому, что революция в искусстве есть, прежде всего, революция его форм выражения. — Вы правы, — ответил Троцкий, — но это — революция местная, революция самого искусства, и притом — очень замкнутая, недоступная широкому зрителю. Я же говорю об отражении общей, человеческой революции в так называемом 'изобразительном' искусстве, которое существует тысячелетия. 'Тайная Вечеря' — есть; 'Распятие' — есть; даже 'Страшный Суд' есть, да еще какой: Микельанджеловский! А революция? Революции я не видел. Картины, пишущиеся сейчас советскими живописцами, стремящимися 'отобразить' революционную стихию, революционный пафос — нищенски недостойны не только революции, но и самого искусства..." (Юрий Анненков. *Дневник моих встреч. Цикл трагедий*. Т. 2, МЛС, 1966, стр. 287). „Вот что писал о терроре убивший адмирала Щастного за спасение Балтийского флота, Троцкий: 'Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтоб этого не понимать. Трудно обучить массы хорошим манерам. Они действуют поленом, камнем, огнем, веревкой!' О, разумеется, Троцкий тогда не предполагал, что через несколько

лет (после того, как Сталин применил к нему это самое 'полено') он будет унизительно просить демократические правительства Европы о 'праве убежища'. Впрочем, те, кого Троцкий должен был бы при наступлении мировой революции поставить к стенке, ведут себя вполне воспитанно, охраняя 'генералиссимуса' приставленными к нему специальными полицейскими". (Роман Гуль. *Дзержинский*. Изд. 2-е, „Мост", Нью-Йорк, 1974, стр. 99).

Ленин Троцкому сказал:
Пойдем, товарищ, на базар —
Купим лошадь карюю,
Накормим пролетарию.

(Из частушек начала 1920-х гг.). **258, 401, 403**

ТУВОЛКОВ, Василий. Был помощником Девиера. В 1715 был отправлен во Францию — обучаться строительству каналов. **481**

„ТУРКА", Илья. **78-84**

ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС, Ариадна Владимировна (1869 — 1962). Эмигрантка с 1918. Политическая деятельница, член ЦК партии кадетов, прозаик и публицист. „На вечере у Ариадны Владимировны Тырковой перед ее отъездом в провинцию читать лекции или, как сказал В. В. Розанов, 'баб поднимать' было много гостей. Все важные государственные люди и политики: Шингарев, Родичев, Жилкин, Адрианов, Д. Д. Протопопов, Струве. Был и В. В. Розанов". (А. Ремизов. *Кукха. Розановы письма*. Берлин, 1923, стр. 96). Дарственная надпись Ремизова на его *Пляшущем демоне*: „Ариадне Владимировне Тырковой-Вильямс, старому и неизменному другу моя огненная память. 31/X 1949. Алексей Ремизов". Из разговоров А. В. Тырковой с редактором „Русской Мысли" П. Б. Струве (по неопублик. ее воспоминаниям, 1943): „Литература? что теперь считается литературой? Вот вы дружите с Ремизовым. Скажите этому сумасшедшему, чтобы он со мной больше таких штук не выкидывал. — Я посмотрела на него с недоумением. — Этого синдетикона я ему никогда не прощу. —

Смех Вильямса перешел в заразительный шумный хохот. Он спросил: — Петр Бернардович, а зачем же вы про синдетикон напечатали? — Да кто же его знал. ... Я заглянул в рукопись. Вижу, плетет Ремизов, как всегда, что-то непонятное. Послал. А у Ремизова там какой-то сон идиотский. Заставил члена Государственной Думы вымазаться с головы до ног синдетиконом и кататься под кроватью — ведь это же издевательство над здравым смыслом... — С тех пор Струве много передумал, переоценил. Вероятно, и с чудно́й ремизовской манерой примирился. Но тогда он этим злостным синдетиконом меня долго корил. Хотя Ремизов уже стал настолько крупным писателем, что мог сам за себя постоять, и я тут была решительно не причем". (Арк. Борман. *А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына*. Лувен-Вашингтон, 1964, стр. 87-88) . ,,... У нас в доме Ремизов впервые прочитал свою пьесу *Бесовское действо*. ... Она /в Лондоне, в 1918 г./ засела за писание книги о первом годе русской революции. ... Весной 1919 года книга вышла в издательстве Макмиллана под названием... From Liberty to Brest-Litovsk. Вероятно, это была первая книга о русской революции, вышедшая в Англии. Она является обвинительным актом русской демократии, доведшей Россию до большевиков. ... 'Социалисты сделали из моего отечества огромное опытное поле для своих догм и теорий. Я знаю, что лучшие из них искренне хотели дать счастье трудящимся массам. Их побуждали к действиям догматические иллюзии Интернационала, и они забывали, что человек является самым неизвестным, наиболее плохо изученным из всех существ на земле и что психология отдельных людей — и еще более масс — развивается неисследованными путями и направляется силами, которые не поддаются ясному пониманию'. 'Я верю, что трагические уроки неизвестной, далеко лежащей страны и безумие преступных социалистических экспериментов крайних группировок могут послужить суровым предупреждением для других народов. Они могут помочь тем, кто борется за лучшее будущее человечества и за более достойные условия жизни. Стоит только прочесть внимательно залитые кровью страницы о Русской Революции'... 'Ариадна Тыркова была когда-то мадам Ролан русского либерализма. О ней говорили: ' В кадет-

ской партии был только один настоящий мужчина, и он был женщиной'. Начав свою карьеру левой, она была вынуждена, как и ее муж, пересмотреть свои взгляды'. Из предисловия лорда Самуэля Хора к книге Тырковой-Вильямс Cheerful Giver, Лондон, 1934". (*Та же книга*, стр. 87-88, 106, 160-162, 265) . **510**

ТЭФФИ (Бучинская, урожд. Лохвицкая) , Надежда Александровна (1872 — 1952) . Эмигрантка с 1920. „В канун мировой войны /1914 г./ Б. М. Кустодиев лепил меня и одновременно, наряжаясь во фрак, ездил в Царское Село лепить Николая II. Как-то Николай II спросил: кого еще он делает? Кустодиев назвал меня, с прибавлением 'писатель'. — 'А, знаю, декадент!' — и он досадливо махнул рукой, что означало — ' и охота тратить время на такое'. И вдруг оживился: 'Постойте!' — и вышел. ... Николай II вернулся, — нет, это не *Лимонарь*, книга редкая! — раскрыл книгу — 'вот это настоящее!' — сказал он и начал читать. И читал превосходно. А это был рассказ Тэффи". (А. Ремизов. *Подстриженными глазами*. УМСА, Париж, 1951, стр. 231-232) . „'Скучно жить на этом свете, господа!', склонна была она сказать вслед за своим великим учителем. Но и 'чудно жить!', несмотря ни на что". (Г. Адамович. *Одиночество и свобода*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 239). „Тэффи раздражало, что люди считают ее юмористкой и что, по их мнению, всегда должно случаться что-то забавное. — Анекдоты, — говорила она, — смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают, это трагедия". (Андрей Седых. *Далекие, близкие*. Изд. 2-е, Нью-Йорк, 1962, стр. 57) . **279**

УНКОВСКИЙ, Владимир Николаевич. Был врачом в Абиссинии. После Октября — в эмиграции. В ряде вещей Ремизова — „Африканский доктор" был врачом у негуса. Запойный пьяница, на одном из придворных балов сел на пол среди танцующих и... помочился, почему и был выслан из страны. „... африканский доктор читал свои черные авантюры: *Зунон Меджие, король ночи и лесов*. У дагомейского короля было пятьсот сыновей,

творение и **единственное**, написанное в женском роде, Гиппиус посвящает Философову''. (В. Злобин. *Тяжелая душа*. Изд. В. П. Камкина, Вашингтон, 1970, стр. 49, 92-93) . „27 января 1918. ... Голод и к журналистам забирается. Философов сидел как всегда элегантный, как будто даже чванный, и вдруг сказал: 'Мне больше всего хочется спать и есть. Всегда хочется'. И все ему откликнулись: 'Да, да, и я голоден, еще бы не голоден'. Утомительно, что всюду говорят об еде и, конечно, думают. Иначе нельзя. Но как это понижает сознание. ... Здесь /в Москве/ как будто начинается уплотнение среди туманности. Несколько отдельных центров /антибольшевистских/. Но крутится около одного солнца — возрождения России. Справа и слева идет. А внизу кипит, загорается гневом православная душа. В недобрый для себя час пошли большевики на церковь...'' (Из дневниковых записей А. В. Тырковой. Арк. Борман. *А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына*. Лувен-Вашингтон, 1964, стр. 150) . **114, 218, 219**

ФРИДРИХ-КАРЛ, герцог — см. Карл-Фридрих.

ФРОЛОВ, купец из Ростова Великого. **38**

ХАНЖА. Примитивно изготовленный самогон с большим содержанием эфирных масел, а потому вонючий. **36**

ХАРИТОН, Борис Осипович (1875 —?) . Журналист. Вместе с Н. М. Волковысским входили в руководство петроградского „Дома Литераторов'' в 1918 — 21 гг. В начале 20-х гг. „выехал в Ригу, где долгое время был редактором вечерней газеты 'Сегодня Вечером'. В 1940 г., после занятия Риги советскими войсками, был депортирован в Сибирь''. (Н. Берберова. *Курсив мой. Автобиография.* Мюнхен, 1972, стр. 687) . **468**

ХЛЕБОСОЛОВ, Никита Иванович. Заплечный мастер в конце 17-го века. **312**

ХЛОПКА. Атаман, предводитель восстания холопов и крепостных крестьян в 1603 г. **85**

„ХОВАНЩИНА''. Народная музыкальная драма М. П. Мусоргского. **34**

ХОВИН, Виктор Романович. Литературный критик, близкий к футуристам. Издатель журнала „Очарованный Странник'', 1913 — 1918, вышло 10 номеров. После Октября — владелец и редактор издательства и книжного магазина „Очарованный Странник'' выпускавшего и журнал „Книжный Угол'', 1918-1919, 1921, — вышло 8 номеров. „В номерах 3 и 4, протестуя против литературной политики А. В. Луначарского, Ховин писал, что 'на грядах государственного садоводства тиранической опекой блюстителей чистоты 'пролетарской' культуры ничего кроме чертополоха выращено быть не может'. /...Автор ряда книг и брошюр, в частности, о В. В. Розанове. В эмиграции не позже 1922 (создал Розановский кружок в Берлине). Потом — Париж./ „Личная судьба Ховина была трагическая: во время войны и он и его жена были, как евреи, увезены немцами и 'погибли обычной еврейской смертью', как написал мне мой брат, бывавший у них в книжной лавке''. (Г. Струве. *О Викторе Ховине и его журналах*. „Russian Literature, Амстердам, IV, № 2, 1976, стр. 128, 145-146). **124, 233**

„ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА'' — драма в стихах Л. А. Мея. В василеостровском театре в Петрограде, в постановке Рокотова и с его участием, шла в самом начале 1920-х гг. драма Мея, к которой уже давно привыкли — не как к драматическому произведению, а как к материалу для либретто одноименной оперы Н. А. Римского-Корсакова — оперы весьма популярной. Спектакль Василеостровского театра был чрезвычайно слабым — типичной „халтурой'': бедствующим безработным артистам нужен был какой-то заработок. Такими были в те годы спектакли этого театра. **262**

„ЦАРЬ МАКСИМИЛИАН''. Пьеса Ремизова: *Царь Максимильян. Театр*. Обложка Ю. П. Анненкова. Изд. „Алконост'', Петроград, 1919. Дарственная надпись жене на этой книге: „И опять 19-й

год. Нашествие последнее на Петербург Юденича. Вот когда я читал его бесчетно, а поставили, в первый раз и единственный, кажется, уже в 20-м году, в Кронштадтское восстание, в Доме просвещения, в железнодорожном клубе. В последние наши петербургские месяцы, в дни опасные для Троицкой, когда стали оттуда выезжать 'страха ради', а по двору 'поговаривать' кому быть наперед". (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 158). **408**

ЦВЕРНЕР. **227**

ЦЕНЗОР, Дмитрий Михайлович (1879 — 1947). Поэт. „... Кругозор его по-прежнему не широк, на стихах лежит печать газеты; перепевает он самого себя без конца... /но/ он чист душой и, главное, поет как птица, хотя и хуже птицы..." (Ал. Блок. *Собр. соч. в 8 тт*., т. 6, ГИХЛ, М-Л, 1962, стр. 335). **137**

ЦЕРЕТЕЛИ, Ираклий Георгиевич (1882 — 1959). Меньшевик, министр внутренних дел и министр почты и телеграфа Временного правительства. После Октября — эмигрант. Марксисты в Исполнительном комитете Советов рабочих и солдатских депутатов в 1917 г., до Октября: „Все делает история — для человека нет места. И. Г. Церетели, полный страстного горения, но всегда ровный, изящно-сдержанный и спокойный идеолог, руководитель и организатор Комитета, отдававший напряженной работе остатки надорванного здоровья. Но все это были марксисты". (В. Б. Станкевич. *Воспоминания 1914 — 1919 гг*. Изд. И. П. Ладыжникова, Берлин, 1920). „С начала... обсуждения вопроса в Комиссии /составленной „из двух руководящих фракций Съезда — меньшевиков и социалистов-революционеров"/ я внес предложение считаться с фактом перехода /в июне 1917/ большевиков к методу вооруженной борьбы против политики большинства революционной демократии и признать необходимым радикально изменить, в соответствии с этим, методы нашей борьбы с большевиками. — Ведь ни у кого из нас, — сказал я, — нет сомнений, что мы стоим перед лицом возможности кровавых столкновений на улицах Петрограда, сознательно подготовлявшихся большевист-

ской партией, чтобы, в случае недостаточного отпора со стороны демократии, захватить власть и установить свою диктатуру. ... Мы видели, с помощью какой беззастенчивой, не останавливающейся ни перед какими клеветническими обвинениями демагогии большевики довели до крайнего предела возбуждения самые темные элементы столичных рабочих и солдат. Затеянная ими авантюра /в июне 1917/ была предотвращена усилиями большинства Съезда. Но нет никакого сомнения, что большевики держат в готовности свои вооруженные силы с тем, чтобы в более благоприятную минуту... с удвоенной энергией предпринять новую авантюру. И тогда их выступление может нанести смертельный удар демократическому строю. При таком положении, — сказал я, — мы уже не можем удовлетвориться одной идейной борьбой с большевизмом и словесным запрещением вооруженных выступлений, но должны вместе с тем принять практическую меру, мешающую их возможности вооруженных нападений на демократический строй. А такой мерой является отобрание оружия у военных частей и Красной гвардии, отдавших себя в распоряжение большевиков". /Но, увы, часть меньшевиков и эсеров не согласилась с такой „недемократической" мерой.../ (И. Г. Церетели. *Воспоминания о Февральской Революции*. Кн. 2-я. Мутон и Ко., Гаага-Париж, 1963). **200**

ЦИГЛЕР (Цыглер), Франц. Резчик по дереву, ваятель в Петергофе, в первой четверти 18-го века. Работал в России еще до 1702 г. **489, 494-495**

ЧАСОВНИКОВ, Петр. Подканцелярист при Анне Иоановне. **497**

ЧЕРКАСКИЙ, кн. Алексей Михайлович (1680 — 1742). Государственный деятель из рода Кабардинских князей. С 1714 — член Комиссии городских строений в С-Петербурге. 1715-1719 — Оберкомиссар. **481, 484, 498**

ЧЕРНОВ, Виктор Михайлович (1876 — 1952). Лидер партии эсеров. Эмигрант с 1920. „Никто /в ЦК партии с-р./ не придал значения речи Чернова. Все знали словоточивость теоретика".

(Роман Гуль. *Азеф*. Изд. 4-е, „Мост", Нью-Йорк, 1974, стр. 125). „... крупные деятели революционной демократии были абсолютно не знакомы с техникой государственного управления и аппаратом его. Даже среди кадетов многие чувствовали себя 'недостаточно подкованными' в этой области. ... Эти 'облеченные доверием' ничего не сделают. Почему? Да потому, что мы ничего не понимаем в этом деле. Техники не знаем. А учиться теперь некогда! А ведь кадеты учились этой 'технике' и в органах самоуправления, городских думах и земствах, и в четырех последовательных Государственных Думах... ... Вожди же революционной демократии... они 'учились' в тюрьмах и на этапных пунктах, в качестве **объектов** государственного управления... ... Прыжок из заброшенного сибирского улуса или колонии изгнанников в Женеве на скамьи правительства был для них сходен с переселением на другую планету". (Виктор Чернов. *Рождение революционной России. — Февральская Революция*. Париж-Прага-Нью-Йорк, 1934). **120**

ЧЕРНОВА-КОЛБАСИНА, Ольга Елисеевна (1886 — 1964). Литератор. Вторая жена лидера эсеров В. М. Чернова. Приятельница Ремизовых в Петербурге и в эмиграции. Дочь Елисея Яковлевича Колбасина, друга И. С. Тургенева. В годы, о которых говорит Ремизов, была замужем за художн. М.С. Федоровым. (См. вступ. заметку в кн.: Марина Цветаева. *Неизданные письма*. Под ред. Г. П. и Н. А. Струве. УМСА, Париж, 1972, стр. 65). **121**

ЧЕРНЯВСКИЙ, Н. Г. **161, 162**

ЧЕСНОКОВ. Хозяин петроградского магазина деликатесов. **34**

ЧЕХОВ, Антон Павлович (1860 — 1904). **192**

ЧЕХОВ, Иван Павлович (1861 — 1922). Брат А. П. Чехова. Педагог. По свидетельству Мих. П. Чехова — в его кн. *Вокруг Чехова*, М, 1933, стр. 85 — прообразом рассказа Ант. П. *Иван Матвеевич* (1866) послужил брат Иван... **192, 194**

ЧЕХОНИН, Сергей Васильевич (1878 — 1937). График и живописец. С 1927 в эмиграции. „Чехонинские розы, листья и травы неразрывно связаны в зрительном воспоминании с Петроградом первых послереволюционных лет. ... Сергей Васильевич Чехонин — график pur sang воспринял и отразил современность". (Елена Данько. *С. В. Чехонин*. В кн.: *Мастера современной гравюры и графики*. Сборник под ред. Вл. Полонского. ГИЗ, М-Л, 1928, стр. 63). **38**

ЧУКОВСКИЙ, Корней Иванович (1882 — 1969). **230, 232, 377**

ЧУЛКОВ, Георгий Иванович (1879 — 1939). Поэт, прозаик, мемуарист, драматург, критик. Идеолог и творец „мистического анархизма". „Под анархизмом я разумею учение о безвластии, т. е. учение о путях освобождения индивидуума от власти над ним **внешних** обязательных норм — государственных и социальных. Под **философским анархизмом** я разумею учение о безвластии в более глубоком смысле, т. е. учение о путях освобождения индивидуума от власти над ним не только внешних форм государственности и общественности, но и всех **обязательных норм вообще** — моральных и религиозных. ... Под **мистицизмом** я разумею совокупность душевных переживаний, основанных на положительном иррациональном опыте, протекающем в сфере **музыки**. Я называю **музыкой** не только искусство, открывающее в **звуковых** сочетаниях начало мелодии и гармонии, но и всякое творчество, основанное на ритме и раскрывающее нам непосредственно ноуменальную сторону мира. ... Музыка не снимок явления, а непосредственно изображает вещь самую в себе. При чем — разумеется — мистический опыт, как начало музыкальное, обуславливает **утверждение личности** в ее сущности, открывая единство индивидуума с миром. И — наконец — под **мистическим анархизмом** я разумею учение о путях последнего освобождения, которое заключает в себе **последнее утверждение личности** в начале абсолютном". (Георгий Чулков. *О мистическом анархизме*. Изд. „Факелы", СПб, 1906, стр. 27-28). Под некоторым влиянием этих воззрений были и Вячеслав

Иванов, написавший предисловие к этой брошюре Чулкова, и Ал. Блок. **232**

ШАВЛЫГИН. Хиромант. **26**

ШАЛЯПИН, Федор Иванович (1873 — 1938). С 1922 — в эмиграции. „В чем была тайна шаляпинского обаяния? Соединение музыкальности, искусства пения с чудесным постижением творимого образа". (Конст. Коровин. *Шаляпин. Встречи и совместная жизнь*. Изд. „Возрождение", Париж, 1939, стр. 119). „Революция шла полным ходом... Обычная наша театральная публика, состоявшая из богатых, зажиточных и интеллигентных людей, постепенно исчезла. Залы наполнились новой публикой. Перемена эта произошла не сразу, но скоро солдаты, рабочие и простонародье уже господствовали в составе театральных зал. Тому, чтобы простые люди имели возможность насладиться искусством наравне с богатыми, можно, конечно, только сочувствовать. Этому, в частности, должны содействовать национальные театры. ... Но напрасно думают и утверждают, что до седьмого пота будто бы добивался русский народ театральных радостей, которых его раньше лишали, и что революция открыла для народа двери театра, в которые он раньше безнадежно стучался. Правда то, что народ в театр не шел и не бежал, а был подталкиваем либо партийцами, либо военными ячейками. Шел он в театр 'по наряду'. То в театр нарядят такую-то фабрику, то погонят такие-то роты. Да и то сказать: скучно же очень какому-нибудь фельдфебелю слушать Бетховена в то время, когда все сады частных домов объявлены общественными, и когда в этих садах освобожденная прислуга, под гармонику славного Яшки Изумрудова, откалывает кадриль!.. Я понимаю милого фельдфебеля. ... Ведь, когда он танцует с Олимпиадой Акакиевной и в азарте танца ее крепко обнимает, то он чувствует нечто весьма осязательное и бесконечно-волнующее. Что же может осязательно почувствовать фельдфебель от костлявого Бетховена?.. Надо, конечно, оговориться. Не весь народ танцевал в новых общественных садах. Были среди народа и люди, которые приходили молча вздохнуть в залу, где играли Бетховена. Но их, к не-

счастью, было ничтожнейшее меньшинство. А как было бы хорошо, если бы это было наоборот". (Ф. И. Шаляпин. *Маска и душа. Мои сорок лет на театрах*. Изд. „Современные Записки", Париж, 1932, стр. 241-242). **34, 131, 132**

ШАПОШНИКОВ, Петр. Садовник в Петергофе при Анне Иоановне. **498**

ШАПОШНИКОВ, Владимир Георгиевич (1870 —?). Инженер-технолог. **347**

ШАТИЛОВ, Федор Федорович. Комиссар при Петре I. **499**

ШАТИЛОВ, Яков Федорович. Заведующий казенными амбарами при Петре I. **481, 485**

ШЕБУЕВ, Николай Георгиевич (1874 — 1937). Писатель, журналист, издатель сатирических журналов — особенно в 1905-1906 гг. О нем см. в кн.: В. Боцяновский и Э. Голлербах /сост./. *Русская сатира первой революции. 1905 — 1906*. ГИЗ, Л, 1925, стр. 32-35. **150**

ШЕСТОВ, Лев (Лев Исаакович Шварцман, 1866 — 1938). С 1920 — эмигрант. Философ-экзистенциалист и литературный критик. „Друзей /у Ремизова/ было мало — только со Львом Шестовым и Андреем Белым был на ты". (Нат. Кодрянская. *Алексей Ремизов*. Париж, 1959, стр. 92). „Шестов и Розанов учили меня житейской мудрости, потому я о них говорю к слову, хотя бы и не к месту". (А. Ремизов. *Мышкина дудочка*. Изд. „Оплешник", Париж, 1953, стр. 132). „У Вячеслава Иванова пленяла Шестова его огромная ученость, не мешавшая, однако, — как это порой случается, — полету мысли. Не по душе ему было, по-видимому, только то, что у Вячеслава Иванова этот полет мысли привел к наличию 'мировоззрения', великолепно-торжественного и стройного: Иванов как-будто знал, что такое бытие, что такое культура, какой смысл в творчестве, у Иванова концы сходились с концами, а для Шестова основной и даже единственной истиной было то, что никаких концов вообще нет, если же они существо-

вали бы, то разбросаны оказались бы по таким временным и пространственным безднам, в которых разуму нашему решительно нечего делать. У Шестова было во всемирной литературе несколько любимых мыслей или даже фраз, которые он во всех своих книгах приводил, повторял и без устали комментировал. Одной из этих фраз было предположение героя *Записок из подполья* насчет того, что дважды два, пожалуй, вовсе не четыре, а пять. Если бы нужно — и если бы возможно было, в схематической и упрощенной форме выразить сущность шестовской философии, то более выразительной фразы и не сыскать: а может быть — кто знает? дважды два в самом деле пять или даже шесть, или, скажем, сто один? И именно это огорчало и удивляло Вячеслава Иванова, человека слишком проницательного, чтобы не понимать трагической значительности шестовского вопроса, но всем существом своим чувствовавшего его неразрешимость, его безвыходность, и, значит, его праздность. Да, может быть, пред лицом вечности вы и правы! Но что мы о вечности знаем? ... А вместо бунтов и загадок, будем по мере сил строить, воздвигать духовную культуру, как некий невидимый храм! Для Шестова такого рода возражения были филистерством и прекраснодушием..." (Г. Адамович. *Одиночество и свобода*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 261-262). „Рядом с Бердяевым по известности заграницей надо поставить Л. И. Шестова, который, как мастер философской прозы, стоял значительно выше Бердяева". (Г. Струве. *Русская литература в изгнании*. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1956, стр. 188). „Сама по себе **тенденция**, очевидно, не так опасна, как это принято думать. Если намерение у художника является как следствие имеющихся в его распоряжении сил и средств, — оно не только не вредит достоинству его произведения, но, наоборот, может придать ему большую ценность. Если же 'идеей' прикрывается убожество мысли и недостаток изобразительного таланта, тогда получается жалкое произведение. Кроме Достоевского, примером первого рода может служить Толстой. Примеров второго — бездна. Аналогия — в добродетели. Слабый человек охотно болтает о добре. Но никогда одно желание 'быть добрым' не приводило ни к чему, кроме лицемерия. В искусстве 'тенденция' большей частью — тоже лице-

мерие, т. е. желание прикрыть 'идеей' пустоту в голове и в сердце. Но это у посредственных авторов. Достоевскому же, как и Толстому, их 'идеи' не мешали говорить к делу''. (Лев Шестов. Фрагмент неоконченной рукописи *И. Тургенев*. „Воздушные Пути'', альм. 2, ред.-изд. Р. Н. Гринберг, Нью-Йорк, 1961, стр. 266-267) . „Нравственные люди — самые мстительные люди, и свою нравственность они употребляют как лучшее и наиболее утонченное орудие мести. Они не удовлетворяются тем, что просто презирают и осуждают своих ближних, они хотят, чтоб их осуждение было всеобщим и обязательным, т. е. чтоб вместе с ними все люди восстали на осужденного ими, **чтоб даже собственная совесть осужденного была на их стороне**. Только тогда они чувствуют себя вполне удовлетворенными и успокаиваются. Кроме нравственности, ничего в мире не может привести к столь блестящим результатам''. (Лев Шестов. *Апофеоз беспочвенности. — Собр. соч.*, т. 4, изд. „Шиповник'', С-Пб, 1911 /переизд. УМСА, Париж, 1971/, стр. 63) . Вот потому-то высоконравственные органы, учрежденные величайшим гуманистом Лениным и нежнейшим и суровейшим человеколюбцем Дзержинским и требуют всеобщего, всенародного осуждения „врагов народа'' — и собственного признания своей неправоты от этих самых врагов.

60, 65, 110, 151, 155, 169, 446, 512

ШИНГАРЕВ, Андрей Иванович (1869 — 1918) . Член Государственной Думы, министр земледелия и министр финансов Временного правительства, убитый — по официальным советским данным — „матросами-анархистами''. „В день созыва Учредительного Собрания, в Мариинской больнице ворвавшиеся матросы зверским образом убили лежавших там, в качестве больных, видных политических деятелей проф. Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева. ... Андрей Иванович Шингарев начал свою жизненную карьеру земским врачем в Воронежской губернии. Он был избран от кадетской партии в Государственную Думу, переехал в Петроград, и в Четвертую Думу он был избран уже от города Петрограда. В Думе он стал специалистом по государственным финансам и всегда произносил обстоятельные речи по бюджетным вопросам. ... Шингарев был спокойным, вдумчивым чело-

веком, никогда не высказывавшим никаких крайних взглядов. ... Во время революции он проявил полное бесстрашие, когда выступал на большевистских митингах. ... Убийство Кокошкина и Шингарева на всех произвело исключительно тяжелое впечатление. Весть о нем прокатилась по всей России. Всюду служили панихиды". (Арк. Борман. *А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына*. Лувен-Вашингтон, 1964, стр. 146-147).
254, 513

ШИШКОВ, Вячеслав Яковлевич (1873 — 1945). Писатель. „В наше советское время я не сидел на месте. Жизнь кабинетного литератора была чужда мне. Пока были силы, я путешествовал, не чураясь и пешего странствования. В 1918, 1920, 1924 годах я ездил и ходил по Ленинградской области, по Смоленщине, по Костромской губернии. ... Действующие лица моих произведений — это главным образом крестьяне..., ремесленники, таежные охотники, рабочие, солдаты, служилые люди, низовая интеллигенция..., таежные бродяги, каторжники, купцы, промышленники..." (*Автобиография.* В кн.: *Советские писатели. Автобиографии*. Т. 2, сост. Б. Я. Брайнина и Е. Ф. Никитина, ГИХЛ, М, 1959, стр. 685-687). **74, 108, 211, 377**

ШКЛОВСКИЙ, Виктор Борисович (1893—1984). Писатель, критик, литературовед. „А помните, Василий Васильевич, как-то вы сказали..., помню, что рассказов писать вы никак бы не могли. А вот Шкловский книжку написал *Розанов*, и там как раз наоборот: если кто за последнее время написал беллетристическое, так это Розанов — *Уединенное, Опавшие листья* — ведь это целый роман, новая форма! ... Шкловский это такой, у него — нога: идет и, кажется, такие сапожищи... у Шкловского нога 3 пуда, может разделать, что̀ хочет. И вот доказал, а вы горевали..." (А. Ремизов. *Кукха. Розановы письма*. Берлин, 1923, стр. 123-124). „Я дал ... большую статью, в лист, о Розанове. Это доклад, который я только что читал в 'Опоязе' /Обществе изучения поэтического языка — организация **формалистов**/. Смысл его — понимание Розанова не как философа, а как художника. ... Большевики верили, что материал не важен, важно оформление, они хотели

проиграть сегодняшний день, проиграть биографии и выиграть ставку истории. Они хотели все организовывать. Анархизм жизни, ее подсознательность, то что дерево лучше знает, как ему расти — чужд им. Проекция мира на бумаге не случайная ошибка большевиков. Верили, что формула совпадает с жизнью, что жизнь сложится 'самодеятельностью масс' по формуле". (Виктор Шкловский. *Сентиментальное путешествие. Воспоминания 1918 — 1923*. Изд. „Атеней", Л, 1924, стр. 145, 71) . **121, 255, 374-375**

ШМЮКИНГ. Хозяин гастрономического магазина. **34**

ШПЕНГЛЕР, Освальд (1880 — 1936) . „Новая действительность не может быть романтической реставрацией Москвы, ибо почему же и для чего же была революция? И всякое Возрождение — патриотично. Вопрос только в том: будет ли оно европейским? Христианство довело свою культуру до кризиса. В этом признаются называющие себя христианами. Условно противопоставление культуры и цивилизации, но раз оно сделано, всмотримся в него. Христианская культура дошла до христианской цивилизации. Крестом осеняли и святою водою кропили не только человеческие лбы, но и стальные машины. Культуру изгадили цивилизацией, — в этом каются, но не раскаиваются. Не раскаиваются — это видно из того, что в жалобах на 'кризисы' взывают о спасении к **востоку**. Где же на Востоке культура? Восток, как и все мировое варварство, способен только к восприятию, к усвоению, а может быть и к творчеству — **цивилизации**. Инженер с раскосыми глазами — в этом нет ничего противоестественного, но Платон, Эсхил, Данте, Шекспир, Гегель — с раскосыми глазами — мотив из Гойи. Скандальная книга Шпенглера сильно шумит, и его противопоставление культуры и цивилизации, на наших глазах, делается для толпы каноническим. Из него извлекают мудрость и поучение. Между тем именно у Шпенглера это противопоставление только формально, и чем его заполнить — вопрос. Цивилизация есть 'завершение и исход' культуры. И потому 'каждая' культура имеет свою цивилизацию. Как будто в мире существует не одна культура, варьирующаяся по народам, не единая и генетически и существенно! Да уж если цивилизация —

'исход и завершение', то какой смысл в этом противопоставлении? — Отливы и приливы, ниже и выше. Но новый прилив, разве не есть Возрождение, т. е. продвижение той же единой культуры? ... Но это едва ли чему научит Шпенглера, — хозяином фактов он считает одного себя...'' (Густав Шпет. *Эстетические фрагменты*. I. Изд. ,,Колос'', Петербург, 1922, стр. 70-73). **351**

ШПЕТ, Густав Густавович (1878 — 1940). Философ, эстетик, литературовед. ,,Для науки предмет ее — маска на балу, аноним, биография без собственного имени, отчества и дедовства героя. Наука может рассказать о своем предмете мало, много, все, но одного она никогда не знает и существенно знать не может — что такое ее предмет, его имя, отчество и семейство. Они — в запечатанном конверте, который хранится под тряпьем Философии. Искусствоведение — это одно, а философия искусства — совсем другое. Много ли мы узнаем, раздобыв и распечатав конверт? — Имя, отчество и фамилию, всю по именам родню, генеалогию — и всякому свое место. Это ли эстетика? Искусствоведение и философия искусства проведут перед нами точно именуемое и величаемое искусство по рынкам, салонам, трактирам, дворцам и руинам храмов, — мы узнаем его и о нем, но будем ли понимать? Узрим ли смысл? Уразумеем ли разум искусств? Не вернее ои, что только теперь и задумаемся над ними, их судьбою, уйдем в уединение для мысли о смысле? Уединенность рождает грезы, фантазии, мечту — немые тени мысли, игра бесплотных миражей пустыни, утеха лишь для умирающего в пустыне анахорета. Уединение — смерть творчеству: метафизика искусства! Благо тому, кто принес с собою в пустыню уединения, из шума и сумятицы жизни достаточный запас живящего **слова** и может насыщать себя им, воздавая себя, умерщвляя ту жизнь: смертью смерть попирая. Но это уже и не уединение. Это — беседа с другом и брань с врагом, молитва и песня, брань и сатира, философия и звонкий детский лепет. Из Слова рождается миф, тени — тени созданий, мираж — отображенный Олимп, грезы — любовь и жертва. Игра и жизнь сознания — слово на слово, диалог. Диалектика сознания, сознающего и разумеющего смысл в игре и жизни искусства, в его беге через площади и рынки, в его при-

любленный М. А. Кузмина — с 1913 г. — и до женитьбы Юркуна на красавице-актрисе Александринского театра О. Н. Абрениной в 1920 г. После страшных пыток в застенках НКВД расстрелян. „Этот милый поэт /М. А. Кузмин/ был, как всегда, не один. Около него вертелся юноша с цветочком в петлице /Юркун/, и поэт посматривал на него с нежностью, как многоопытный мэтр на неискушенного еще ученика. — О чем мы будем говорить с этим поэтом? — думал я, припоминая его сихи, в которых он воспевал то меч архангела Михаила, ... то хорошеньких мальчиков, то александрийских куртизанок". (Г. Чулков. *Вчера и сегодня*. „Народоправство", 1917, № 12, 16 окт.) . „— Ну, Кузмин умер собственной смертью... ... Умер без свидетелей. Его друг Юркун, к тому времени уже женившийся, был при нем, но в момент смерти не был, куда-то вышел. Смерть его в 1936 году была благодеянием, иначе он умер бы еще более страшной смертью, чем Юркун, который был расстрелян в 1938 году". (Рассказ А. А. Ахматовой: Никита Струве. *Восемь часов с Анной Ахматовой.* В кн.: Анна Ахматова. *Сочинения*. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, т. 2, МЛС, 1968, стр. 331) . **119**

ЯБЛОЧКОВ. **137**

ЯКОВ ГАВРИЛОВИЧ — см. Новожилов, Я. Г.

ЯКУЛОВ, Георгий Богданович (1884 — 1928) . Живописец, театральный художник, график. „У него была своеобразная гносеологическая концепция, противопоставлявшая искусство Запада, как воплощение геометрического мировосприятия, направляющегося от объекта к субъекту, — искусству Востока, мировосприятию алгебраическому, идущему от субъекта к объекту. Именно ему принадлежит указание на это в совместно выпущенной нами декларации, точно так же как и противоположение территориального искусства Европы строющемуся на космических элементах искусству России". (Бенедикт Лившиц. *Полутораглазыи стрелец*. Изд. Писат. в Ленинграде, 1933, стр. 207) . **469**

ЯЩЕНКО, Александр Семенович (? — 1934) . Юрист и литератор. После Октября эмигрант. „Близкую и сменовеховству, хотя и

менее определенную, позицию занимал издававшийся в Берлине с 1921 г. критико-библиографический журнал 'Русская Книга', с 1922 года переименованный в 'Новую Русскую Книгу'. Выходил он, если не ошибаюсь, до середины 1923 года. Редактором этого журнала был профессор Пермского университета по международному праву А. С. Ященко, в 1918 году выехавший заграницу в научную командировку и обосновавшийся в Берлине (судьба Ященко после 1923 года мне неизвестна)". (Глеб Струве. *Русская литература в изгнании.* Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1956, стр. 35). **59, 135**

ЯСИНСКИЙ, Иероним Иеронимович (псевдоним его — Максим Белинский, 1850 — 1931). Поэт, прозаик, журналист. „Перед и после обеда чтение потрясающей повести Пяста. ... Это не какой-нибудь роман Ясинского". (Ал. Блок. *Дневник, 22 ноября 1911. — Собр. соч. в 8 тт.*, т. 7, ГИХЛ, М-Л, 1963, стр. 96). **161**

NELKE, Frau. **110**

WALPOL. **115**

WILLIAMS – см. Вильямс, Г. В.

КНИГИ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА

Настоящая библиографическая справка, не претендующая на исчерпывающую полноту, основана как на перечнях книг автора, им самим приложенных к ряду его публикаций, так и на библиографиях публикаций А. М. Ремизова, составленных г-ном А. П. Капуста (рукопись любезно предоставлена нам составителем) и г-жой Е. Синани (Bibliothèque Russe de l'Institut d'Études Slaves. Tome XLIV. Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov. Établie par Hélène Sinany. Sous la direction de T. Ossorguine. Paris, 1978, 255 pp.), а также ряда других источников.

В этой справке указаны лишь книги А. М. Ремизова (и то — без книг, Ремизовым переведенных), но не его многочисленнейшие публикации в повременной печати, в альманахах, сборниках. Все эти сведения читатель может найти в указанной выше библиографии Е. Синани. В конце многих из „библиографических единиц" самим А. М. Ремизовым даны в скобках имена издателей и „крестных отцов" той или иной книги.

Книги, изданные в России: 1907 — 1921

Книги, изданные заграницей: 1921 — 1957

Книги, изданные посмертно (за исключением фотопереизданий, указываемых в первых двух разделах под литерными №№)

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ В РОССИИ
1907 — 1921

1. ПОСОЛОНЬ. Рис. Н. П. Крымова. Изд. журнала „Золотое Руно", Москва, 1927, 82 стр. /Н. П. Рябушинский/.
2. МОРЩИНКА. Сказка. Рис. М. В. Добужинского. Изд. „Шиповник" /Детская библиотека/, /С-Петербург/, 1907, 16 стр. /С. Ю. Копельман, З. И. Гржебин/.
3. ЛИМОНАРЬ, сиречь ЛУГ ДУХОВНЫЙ. Обложка, марка изд-ва и концовка М. В. Добужинского. Изд. „Оры", С-Петербург, 1907, 136 стр. /Вяч. И. Иванов/.
4. ПРУД. Роман. Обложка М. В. Добужинского. Изд. „Сириус", С-Петербург, 1908, 284 стр. /А. А. Трубников, М. Н. Бурнашев, С. Н. Тройницкий/.

5. ЧТО ЕСТЬ ТАБАК. Гоносиева повесть. Рис. К. А. Сомова. /Изд. „Сириус"/, С-Петербург, 1908, 34 стр. В 25 именных экз. /С. Н. Тройницкий/.
6. ЧАСЫ. Роман. Обложка М. В. Добужинского. Изд. „ЭОС", С-Петербург, 1908, 174 стр. /Саксаганский/.
7. ЧОРТОВ ЛОГ и ПОЛУНОЩНОЕ СОЛНЦЕ. Рассказы и поэмы. Обложка М. В. Добужинского. Изд. „ЭОС", С-Петербург, 1908, 321 стр. /Саксаганский/.
8. РАССКАЗЫ. Изд. „Прогресс", С-Петербург, 1910, 254 стр. /Стракун/.

9 — 16. СОЧИНЕНИЯ. В 8-ми томах, с портретом, рис. М. В. Сабашниковой, обложка С. В. Чехонина. Тт. 1, 2, 4, 5 и 6 изд. „Шиповник", тт. 3, 7 и 8 изд. „Сирин", С-Петербург, 1910-1912, 225, 213, 214, 370, 237, 274, 205 и 306 стр.

9 — 16а. СОЧИНЕНИЯ. Фотопереиздание. Изд. 2-е. Изд. Вильгельм Финк, Мюнхен, 1971. К тт. 4 и 6 прибавлены предисловия /на немецком яз./ Катарины Öстрайх-Гайб /VI и XI стр./.

17. ПОДОРОЖИЕ. Рассказы. Обложка С. В. Чехонина. Изд. „Сирин", С-Петербург, 1913, 264 стр.

17а. ПЯТАЯ ЯЗВА. Фотопереиздание части „Подорожия". Предисл. /на англ. яз./ Дж. Д. Уэста. Изд. Брэдда Букс, Лэчуорт, 1970, 99 стр.

18. ДОКУКА И БАЛАГУРЬЕ. Сказки. Обложка С. В. Чехонина. Изд. „Сирин", 1914, 279 стр.

18а. ДОКУКА И БАЛАГУРЬЕ. Русские сказки. Фотопереиздание. 1976, 277 стр.

19. ВЕСЕННЕЕ ПОРОШЬЕ. Рассказы. Обложка С. В. Чехонина. Изд. „Сирин", Петроград, 1915, 329 стр. /„Подорожие", „Докука и балагурье" и „Вес. прошье" — М. И. Терещенко и его сестры: П. И. Чайковская, Е. И. Саранчова/.

20. ЗА СВЯТУЮ РУСЬ. Думы о родной земле. Обложка и рис. Н. К. Рериха. Изд. журнала „Отечество", /Петроград/, /1915/, 59 стр. /З. И. Гржебин/.

21. УКРЕПА. Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе. Обложка М. В. Добужинского. Изд. „Лукоморье", Петроград, 1916, 140 стр. /А. С. Суворин/.

22. СРЕДИ МУРЬЯ. Рассказы. Изд. „Северные Дни", Москва, 1917, 235 стр. /„Книга вышла в день революции. Никто ее не читал". А. Ремизов/.
23. НИКОЛИНЫ ПРИТЧИ. Сказания. Обложка С. В. Чехонина. Петроград, 1917, 128 стр. /З. И. Гржебин/.
24. НИКОЛА МИЛОСТИВЫЙ. Николины притчи. Изд. „Колос" /„Коробейник", чтение для города и деревни, № 10/, Москва, 1918, 31 стр. /Правые эсеры/.
25. РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ. Сказки. Народные образы. Марка К. С. Петрова-Водкина. Изд. „Скифы", Петроград, 1918, 146 стр. /Левые эсеры/.
26. СТРАННИЦА. Повесть. Изд. „Революционная Мысль", Петроград, 1918, 59 стр. /Правые эсеры/.
27. О СУДЬБЕ ОГНЕННОЙ. От слов Гераклита. С рис. Е. Туровой. Изд. Артели художников „Сегодня", /Петроград/, /1918/, 8 стр. /Н. И. Любавина, Е. Турова, Натан Венгров/.
28. СНЕЖОК. Сказка. Обложка, рис. и клише Е. Туровой. Изд. артели художн. „Сегодня", /Петроград/, /1918/, 4 стр.
29. КРЕСТОВЫЕ СЕСТРЫ. Изд. „Универсальная Библиотека" /№ 1300-1301/, Москва, 1918, 192 стр.
30. СИБИРСКИЙ ПРЯНИК. Большим и для малых ребят сказки. Обложка автора. Изд. „Алконост", Петербург, 1919, 46 стр. /С. М. Алянский/.
31. ЭЛЕКТРОН. От слов Гераклита Эфесского. Обложка автора. Изд. „Алконост", Петербург, 1919, 32 стр. /С. М. Алянский/.
32. БЕСОВСКОЕ ДЕЙСТВО. Представление в трех действиях с прологом и эпилогом. Титульн. лист работы автора. Изд. ТЕО — Театр. Отдела Наркомпроса, Петербург, 1919, 48 стр.
33. ТРАГЕДИЯ О ИУДЕ ПРИНЦЕ ИСКАРИОТСКОМ. В 3-х действиях. Изд. ТЕО — Театральн. Отдела Наркомпроса, Петербург-Москва, 72 стр. /„Под глазом А. В. Луначарского и О. Д. Каменевой", как и „Бесовское действо"/.
34. ЦАРЬ МАКСИМИЛИАН. Театр Алексея Ремизова по своду В. В. Бакрылова. Обложка и марка Ю. П. Анненкова. Изд.

„Алконост", Петербург, 1920, 126 стр. /С. М. Алянский/.

35. ЦАРЬ МАКСИМИЛИАН. Театр. ГИЗ, Петроград, 1920, 126 стр. /Повторение предыдущ. издания, но с другой издательской маркой, „под глазом И. Ионова"/.
36. ЗАВЕТНЫЕ СКАЗЫ. Сказки. Изд. „Алконост", Петербург, 1920, 102 стр. /С. М. Алянский/.
37. ЦАРЬ ДОДОН. Сказка. Рисунки Л. С. Бакста, марка Ю. П. Анненкова. Изд. „Обезвелволпал" /Обезьяньей Великой Вольной Палаты; „Алконост"/, /Петроград/, 1921, 32 стр.
38. Ё. ЗАЯШНЫЕ СКАЗКИ ТИБЕТСКИЕ. Линогравюры Илен /И. М. Левина/. Изд. „Скифы", Чита, 1921, 22 стр.

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ЗАГРАНИЦЕЙ 1921 — 1957

39. ШУМЫ ГОРОДА. Рассказы. Изд. „Библиофил", Ревель, 1921, 176 стр. /„Под глазом М. Л. Кантора"/.
40. ОГНЕННАЯ РОССИЯ. Слово. Изд. „Библиофил", Ревель, 1921, 86 стр. /„Под глазом М. Л. Кантора/.
41. ПОВЕСТЬ О ИВАНЕ СЕМЕНОВИЧЕ СТРАТИЛАТОВЕ. Неуемный бубен. Изд. „Русское Творчество", Берлин, 1922, 78 стр. /Ф. Иванов/.
42. СКАЗКИ ОБЕЗЬЯНЬЕГО ЦАРЯ АСЫКИ. Обл. и рисунки В. Н. Масютина. Изд. „Русское Творчество", Берлин, /1922/, 80 стр. /Ф. Иванов/.
43. Ё. Тибетский сказ. Изд. „Русское Творчество", Берлин, 1922, 48 стр.
44. ЧАКХЧЫГЫС—ТААСУ. Сибирский сказ. Изд. „Скифы", Берлин, 1922, 39 стр. /Ал. Шрейдер — левые эсеры/.
45. ЛАЛАЗАР. Кавказский сказ. Обложка автора. Изд. „Скифы", Берлин, 1922, 36 стр. /Ал. Шрейбер/.
46. В ПОЛЕ БЛАКИТНОМ. /Из „Оли"/ /Повесть, 1-я часть/. Обл. Арнштама. Изд. „Огоньки", Берлин, 1922, 136 стр. /А. Г. Левенсон/.
47. РОССИЯ В ПИСЬМЕНАХ. Том 1. Обложка В. Н. Масютина. Изд. „Геликон", Берлин, 1922, 224 стр. /А. Г. Вишняк/.

48. КРАШЕНЫЕ РЫЛА. Театр и книга. Изд. „Грани", Берлин, 1922, 138 стр. /С. Пестряк/.
49. АХРУ. Повесть петербургская. С факсимильным автографом автора. Рис. В. Н. Масютина. Изд. З. И. Гржебина, Берлин, 1922, 56 стр.
50. ПЕТУШОК. Повесть. Изд. „Мысль", Берлин, 1922, 42 стр.
51. ТРАВА—МУРАВА. Сказ и величание. Обложка автора. Изд. С. Ефрон, Берлин, /1922/, 192 стр.
52. МАРА. Книга рассказов. Изд. „Эпоха", Берлин, 1922, 152 стр. /С. Г. Каплун/.
53. ПЛЯС ИРОДИАДЫ. Вертеп. Рис. и шрифт Н. Исцеленного. Изд. „Трирема", Берлин, 1922, 62 стр.
53а. ПЛЯС ИРОДИАДЫ. Фотопереиздание. Изд. „Антиквариат", Орендж, Конн., Дюссельдорф, 1986, 62 стр.
54. КОРЯВКА. Повесть. С факсимильным автографом автора. Изд. Е. А. Гутнова /Библиотека „Сполохи"/, Берлин, 1922, 88 стр.
55. БЕСПРИЮТНАЯ. /Странница/. Повесть монастырская. Изд. Е. А. Гутнова /Библиотека „Сполохи"/, Берлин, 1922, 120 стр.
56. ГОРЕ—ЗЛОСЧАСТНОЕ. Сказка. С рис. С. А. Смирнова. Изд. „Книжный Кустарь", Берлин, 1922; книга издана не в обычной — страничной — форме, а в виде свитка...
57. РУСАЛИЯ. Театр. Обложка. Н. В. Зарецкого. Изд. З. И. Гржебина, Берлин, 1922, 88 стр.
58. КРЕСТОВЫЕ СЕСТРЫ. Роман. Обложка Н. В. Зарецкого. Изд. З. И. Гржебина, Берлин, 1922,142 стр.; изд. 2-е, З. И. Гржебина, Берлин, 1923, 175 стр.
58а. КРЕСТОВЫЕ СЕСТРЫ. Роман. Фотопереиздание 1-го берлинского изд., изд. Брэдда Букс, Лэчуорт, 1969, 139 стр.
59. ПЯТАЯ ЯЗВА. Роман. Обложка Н. В. Зарецкого. Изд. З. И. Гржебина, Берлин, 1922, 116 стр.
60. КУКХА. Розановы письма. Изд. З. И. Гржебина. Берлин, 1923, 128 стр. /Подлинники писем у Л. С. Поляка — 1943/.
60а. КУКХА. Розановы письма. Фотопереиздание /изд. 2-е/, изд. „Серебряный Век" /Г. Д. Поляк/, Нью-Йорк, 1978, с предисловием Б. А. Филиппова, 132 стр.

61. СКАЗКИ РУССКОГО НАРОДА, сказанные Алексеем Ремизовым. /Докука и балагурье/. Обложка Н. В. Зарецкого. Изд. З. И. Гржебина, Берлин, 1923, 350 стр.
62. ЗВЕНИГОРОД ОКЛИКАННЫЙ. Николины притчи. Обложка автора /„шаманский бубен"/. Изд. „Аталас", Париж—Нью-Йорк—Рига—Харбин, 1924, 162 стр. /Н. К. Рерих/.
63. ЗГА. Волшебные рассказы. Обложка автора. Изд. „Пламя", Прага, 1925, 284 стр. /В. Ф. Мансветов/.
64. ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ. Эпопея /1917 — 1921/. Изд. „Таир", Париж, 1927, 530 стр. /Татьяна и Ирина Рахманиновы/.
64а. ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ. Изд. 2-е /фотопереиздание/, Лондон, 1979, обложка С. Л. Голлербаха, комментарии /именной указатель/ Андрея Козина /стр. 535 — 696/, портрет работы Г. С. Верейского.
65. ОЛЯ. Повесть /1, 2 и 3-я части/. С рис. В. Н. Скоропадского /С. П. Ремизовой-Довгелло/. Изд. „Вол", Париж, 1927, 352 стр. /В. В. Диксон/.
66. ЗВЕЗДА НАДЗВЕЗДНАЯ. Stella Maria Maris. Изд. УМСА, Париж, 1928, 80 стр.
67. ПО КАРНИЗАМ. Повесть. С фотографией и факсимильной подписью автора. Изд. „Русская Библиотека", Белград, 1929, 130 стр.
68. ТРИ СЕРПА. Московские любимые легенды о Николе. Том 1. Изд. „Таир", Париж, 1929, 160 стр. /Рахманиновы/.
69. ТРИ СЕРПА. Московские любимые легенды о Николе. Том 2. Изд. „Таир", Париж, 1929, 160 стр. /Рахманиновы/.
70. ПОСОЛОНЬ. Волшебная Россия. /3-е изд./. Изд. „Таир", Париж, 1930, 240 стр. /Рахманиновы/.
71. ОБРАЗ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА. Алатырь — камень русской веры. Со снимком со старинного образа Николы Угодника. Изд. УМСА, Париж, 1931, 91 стр.

1931 — 1949

„Тут меня и прикончили. И стал я альбомы делать: рукопись с картинками. Больше 200 альбомов, больше 2000 рисунков. И сорвал правый глаз. Никогда не знаешь, что такое 'чересчур'."

А. Ремизов

72. ГОЛУБИНАЯ КНИГА. Изд. „Родник" /Художественная

Школа в Гамбурге/, 1946, 37 стр. /Издано без ведома автора; арх.-худ. Киверов, Вл. Каралин/.

73. ПЛЯШУЩИЙ ДЕМОН. Танец и слово. Рис. и факсимильный автограф автора. „Дом Книги", Париж, 1949, 109 стр.

74. ПОВЕСТЬ О ДВУХ ЗВЕРЯХ. ИХНЕЛАТ. Обложка и рис. автора. Изд. „Оплешник", Париж, 1950, 62 стр.

75. БЕСНОВАТЫЕ. САВВА ГРУДЦЫН И СОЛОМОНИЯ. Обложка автора. Изд. „Оплешник", Париж, 1951, 96 стр.

76. ПОДСТРИЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ. Книга узлов и закрут памяти. Изд. УМСА, Париж, 1951, 304 стр.

77. МЕЛЮЗИНА. БРУНЦВИК. Обложка и рис. автора. Изд. „Оплешник", Париж, 1952, 72 стр.

78. В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1952, 424 стр.

78а. В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ. Фотопереизд. Изд. 2-е, Вильгельм Финк, Мюнхен, 1968, 632 стр.

78б. В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ. Фотопереиздание. Изд. 3-е, Брэдда Букс, Лэчуорт, 1969, 422 стр. и — дополн. — Вступление /на англ. яз./ Дж. Уэста 4 стр.

79. МЫШКИНА ДУДОЧКА. Обложка автора. Изд. „Оплешник", Париж, 1953, 207 стр.

80. ОГОНЬ ВЕЩЕЙ. Сны и предсонье. Обложка и рис. автора. Изд. „Оплешник", Париж, 1954, 227 стр. /Под глазом Д. Г. Резникова/.

80а. ОГОНЬ ВЕЩЕЙ. Сны и предсонье. Обложка и рис. автора. Фотопереиздание УМСА, Париж, 1977, 229 стр.

81. МАРТЫН—ЗАДЕКА. Сонник. Обложка автора. Изд. „Оплешник", Париж, 1954, 103 стр.

82. ТРИСТАН И ИСОЛЬДА. ВОВА КОРОЛЕВИЧ. Обложка автора. Изд. „Оплешник", Париж, 1957, 141 стр.

83. КРУГ СЧАСТЬЯ. Легенды о царе Соломоне. Обложка автора. Изд. „Оплешник", /Париж/, 1957, 74 стр. /Е. А. Холмогорова-Кост, Г. В. Чижов-Холмский; под глазом А. Г. Савченко/.

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ ПОСМЕРТНО

84. ИЗБРАННОЕ. Составление, подготовка текста, вступ. статья и комментарий Ю. А. Андреева. С портретом автора. ГИХЛ, Москва, 1978, 510 стр.
85. ВСТРЕЧИ. Петербургский буерак. Изд. „Лев", Париж, 1981, 293 стр.
86. О ПРОИСХОЖДЕНИИ МОЕЙ КНИГИ О ТАБАКЕ. — ЧТО ТАКОЕ ТАБАК. Изд. Гл. Чижова, Париж, 1983. Тираж сто нумер. экз., 68 стр.
87. УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. Каторжная идиллия. Подготовка текста, вступ. статья и примечания Антонеллы д'Амелиа. Париж, 1983, IV + XXXIV + II + 576 стр.
88. ИВЕРЕНЬ. Загогулины моей памяти. Редакция, послесловие и комментарии О. Раевской-Хьюз. Беркли, 1986, 389 стр.

* * *

Отрывки из дневников. Письма.

89. Наталья КОДРЯНСКАЯ. Алексей Ремизов. Париж, 1959, 331 стр. Основное содержание книги — отрывки из дневников и заметок, из писем Ремизова. Запись бесед с ним. Много рисунков Ремизова.
90. Наталья КОДРЯНСКАЯ. Ремизов в своих письмах. /Избранные письма Ремизова к Кодрянской/. Париж, 1977, 416 стр. Много иллюстраций.
91. ПИСЬМА А.М. РЕМИЗОВА И В.Я. БРЮСОВА К О. МАДЕЛУНГУ. Под ред. П. Альбертс Йенсена. Копенгаген, 1976, 80 стр.

* * *

Из наиболее значительных неопубликованных — или опубликованных лишь частично — произведений А. М. Ремизова назовем:

1. ПЛАЧУЖНАЯ КАНАВА /другие названия: „Канава" и „Ров Львиный"/: опубликована отдельными частями и отрывками в журналах русского зарубежья и, очевидно, не полностью: части 1 и 2-я, под назв. „Канава", — „Корье" и „Плетеницы" — в журн. „Русская Мысль", 1923, №№ 1 и 2; отрывок „Ров Львиный" — в „Литературной России", 1923, № 2; отрывок „Про любовь" /из романа „Ров Львиный"/ — в „Воле России", № 36, 1925; „Плачужная канава" /из неопублик. романа/ — в „Новом Журнале", № 39, 1954; „Со креста" /из неизд. романа „Плачужная канава"/ — в „Гранях", № 34-35, 1957; „Истины" /из неопубл. романа „Плачужная канава"/ — в журн. „Опыты", № 8, 1957.
2. ПЕТР И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ.
3. ЧАЕМЫЙ ЦАРЬГРАД.
4. ДОСТОЕВСКИЙ ДО КАТОРГИ. — СНЫ.

ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РЕМИЗОВА

(Только отдельные книги: переводов в сборниках и в периодике не указываем)

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

1. THE CLOCK. Transl. by John Cournos. Chatto & Windus, London, 1924, 223 pp.; Knopf, New York, 1924.
2. THE FIFTH PESTILENCE, together with The History of the tinkling cymbal and sounding brass, Ivan Semyonovich Stratilatov. Transl. with a preface, by Alec Brown. Wishart & Co., London, 1927, 235 pp.
3. ON A FIELD AZURE. Transl. by Beatrice Scott. Transatlantic Arts, Forest Hills, New York, 1949, 125 pp.

НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

4. SUR CHAMP D'AZUR. Trad. de Jean Fontenoy. Librairie Plon-Nourit, Paris, 1927.

5. SOEURS EN CROIX. Trad., avec une introduction par Robert Vivier. Éd. Rieder, Paris, 1929, 237 pp.
6. TOURGUENIEV POETE DU REVE. Orne de douze dessins de l'auteur. Trad. par H. Pernot-Feldmann. Hippocrate, Paris, 1933, 67 pp.
7. SOLOMONIE LA POSSEDEE. Trad. de S. et Gilbert Lély. Ill. de l'auteur. Hippocrate, Paris, 1936, 28 pp.
8. SENTIERS VERS L'INVISIBLE. Nouvelles. Trad. et préface de Jean Chuzeville. Avec une ill. de l'auteur. Les éd. du Chêne, Paris, 1945, 207 pp.
9. L'AVENTURE DE RONGETOUT–TRAPUE ET TROTINETTE–MOUSTACHUE, racontée par Alexis Remizov. Ill. par Jean Cagnard. /Paris/, /1946/, 16 pp.
10. LA MAISON BOURKOV. /SOEURS EN CROIX/. Roman. Trad. par Robert et Zénita Vivier. Éd. du Pavois, Paris, 1946, 251 pp.
11. L'ANTRE SECRET. Trad. d'Alexandre Bachrach et André Maugé. Éd. Fontaine, Paris /Coll. „L'âge d'or"/, 1947, 66 pp.
12. OU FINIT L'ESCALIER. Récits de la 4ème dimension. Contes et legendes. Trad. par Gilbert Lély, J. Chuzeville, Denis Roche, et Boris de Schloezer. Éd. du Pavois, Paris, 1947, 336 pp.
13. LES YEUX TONDUS. Nouvelles. Trad. par Nathalie Reznikoff. Préface de Marcel Arland. N.R.F. Gallimard, Paris, 1958, 280 pp.

НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

14. DIE SCHWESTERN IM KREUZ. Erzälung. Einleitung v. Eugene Anitschkow. Autoriz. Uebersetzung v. Fega Frisch. Georg Müller Verlag, München, 1913, 322 SS.
15. PRINZESSIN MYMRA: Novellen und Träume. Uebersetz. v. Alexander Eliasberg. G. Kiepenheuer, Weimar, 1917, 285 SS.
16. LEGENDEN UND GESCHICHTEN. Uebersetz. v. Arthur Luther. /S. „Der Jüngste Tag"/. Kurt Wolff Verlag, Leipzig, 1919, 86 SS. Neue Ausg. Scheffler Verlag, Frankfurt a. M., 1970.
17. DIE GOLDENE KETTE. Weltpassionen. Altrussischen Legenden. Uebertrag. v. Gertrud Hahn. Ein Nachwort v. G. Hahn. Pflüger Verlag, München, 1923, 60 SS.

18. RUSSISCHE FRAUEN. Dem Volksmunde nacherzählt. Uebertrag. v. Alexander Eliasberg. Dreimasken Verlag, München, 1923, 154 SS.
19. IN BLAUEM FELDE. Berecht. Uebersetz. v. Käthe Rosenberg. S. Fischer Verlag, Berlin, 1924, 258 SS.
20. DIE FUENFTE PFLAGE. Uebertrag. v. Käthe Rosenberg. Propyläen Verlag, München, 1925.
21. RUNZEL–PUNZEL. Die Geschichte zweier Mäuslein. Illust. /z. T. Farbig/ v. Mathilde Ritter. Pestalozzi Verlag, 1928, 16 SS.
22. STELLA MARIA MARIS. Russische Legenden. Uebertr. v. Gertrud Hahn und Wilhelm Ruhtenberg. Orient-Occident Verlag, Stuttgart, 1929, 118 SS.
23. DIE GEBURT CHRISTI. Der Neue Geist Verlag, Berlin, 1947, 20 SS. /In 350 Exemplaren/.
24. GESCHICHTEN. Uebertr. v. Arthur Luther. Der Neue Geist Verlag, Berlin, 1947, 48 SS.
25. LEGENDEN. Uebertr. v. Arthur Luther. Der Neue Geist Verlag, Berlin, 1947, 48 SS.
26. DAS KNOCHERNE SCHLOSS UND ANDERE ERZAEHLUNGEN. Uebertr. v. Alexander Eliasberg. Wilhelm Goldmann Verlag, München, 1965, 165 SS.

НА ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК

27. FIABE RUSSE. Trad. di Raja Pirola Pomerantz. A. Barion Editore, Milano, 1927.
28. SORELLE IN CRISTO. Trad., prefazione e note a cura Renato Poggioli. „Slavia", Torino, 1930, 282 pp.

НА ГОЛЛАНДСКИЙ ЯЗЫК

29. NIKOLA DE BARMHARTIGE. St. Nicolas in het Oosten. Tr. Boris Raptchinsky. Nederlandsche U.M., Leiden, 1949, 188 pp.

НА ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК

30. KŘIŽOVE SESTRY. Přel. Ladislav Ryšavá. Vydava Kemilla Neumanova, Praha, 1916, 159 ss.
31. PATA JIZVA. Přel. L. Ryšavá. Vydava Aloise Srdec, Praha, 1919.
32. APOKRYFY A JINĖ ZKAZKY. Přel. Ladislav Ryšavá. Vydava Stanislava Jilovska, Praha, 1920, 231 ss.
33. RYBNIK. Přel. Ladislav Ryšavá. Družstvo Pratel Studia, Praha, 1923.

НА СЛОВАЦКИЙ ЯЗЫК

34. NAROŽENI PANĚ. O. F. Babler, Rostislav Kolbe a Fr. Macura. Olomouc, 1932, 16 ss.

НА БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК

35. ОЛЯ. София. 1930.

НА СЕРБО—ХОРВАТСКИЙ ЯЗЫК

36. NA MODROM POLJU. Per. Dr. Ljubomir Marakovic. Drustvo Sv. Jeronima, Zagreb, 1929, 172 cc.

НА СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК

37. NA SINJEM POLU. Per. Miran Jarc. Jugoslovanska Knjigarna, Ljubljana, 1931, 221 ss.

НА ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК

38. JUJIKA NO SHIMAI. /Trad. by/ Tetsuya baba. Shinshosha, Tokyo, 1924, 315 pp. /„Крестовые сестры"/.